ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №5 | 2015

16+

Борис Степанов

Поздняя осень
70 × 75 | холст, масло

Бабушкино окно
70 × 75 | холст, масло

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 5 | 2015

В номере

ДиН эссе

Александр Щербаков
3 Крупицы соли

ДиН юбилей

Юрий Беликов, Лариса Васильева
8 Земля ещё не народилась, или Тайна Божьего послания

Лариса Васильева
15 И скошен поздний хлеб

ДиН память

Марина Саввиных
18 Сердце-алмаз, или Кто наградил Адалло

Олег Балезин
27 Сломанный гром на весах

ДиН перевод

Адалло
25 Заговорит моя слеза

Петер Гериш
165 Из глубины звучания

ДиН проза

Александр Астраханцев
31 Житие советской женщины

ДиН лит

Дни и ночи Литературного института имени А. М. Горького

Роман Ненашев
89 Memento…

Ольга Кутанина
123 Пред аналоем

Фонд Астафьева

Павел Великжанин
90 Гранитный генерал

Александр Ольхин
93 Утреня

ДиН роман

Дмитрий Филиппов
95 Я — русский

ДиН поэма

Лилия Газизова
124 Москва-80

ДиН ревю

Елена Безрукова
125 Книга ветра

Владимир Леонович
158 Деревянная грамота

Марат Валеев
160 Зона турбулентности
225 Строчил пулемётчик

Андрей Ключанский
172 «Бог мотыльков танцует…»

ДиН стихи

Александр Емельяненко
126 Мой герой

Филипп Пираев
128 Самописцы небес

Амирам Григоров
131 За колокольнями Посада

Борис Бергин
133 Жернов

Сергей Брель
135 Такая короткая жизнь

Анатолий Кобзев
159 Обратный самолёт

Дарья Лысенко
161 Вечный ребёнок

Станислав Феньков
163 Вечерний гость

Людмила Гайдукова
164 Охотники на снегу

Сергей Тенятников
166 Остановка на Земле

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Александр Ломтев
137 Я однажды не умер…

Николай Ерёмин
142 Семь рассказов

Марат Валеев
151 Свидание

Кирилл Берендеев
156 День счастья и годы разлук

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Михаил Юдсон
170 Неприкаянные дни

ЖИВОЕ СЛОВО ЕНИСЕЯ

Виталий Неизвестных
173 Босоногое детство

Денис Зуев
192 Остров сокровищ

Максим Тихомиров
205 Ракета Земля

Владимир Юрченко
211 Охота

Маргарита Радкевич
223 Дорога в лето

Светлана Мель
224 Вкус утра

Наталья Арбатская
226 Иду по зеркалам

Андрей Пермяков
228 Живёт такая Даша

Д*и*Н ПАРОДИЯ

Евгений Минин
222 Глазеется…

Д*и*Н ДЕТИ

233 Синяя тетрадь

234 Д*и*Н АВТОРЫ

Борис Степанов: чистота и изящество формы

Уроженец Красноярска, Борис Степанов, по его словам, «художник в третьем поколении»: дед и отец его тоже были художниками. После окончания Красноярского художественного училища имени В. И. Сурикова он служил в армии, потом работал художником-оформителем в Красноярском краеведческом музее и художественном фонде, занимался на учебных семинарах по дизайну в экспериментальной студии «Сенеж» (Москва). С 1989 года — член Союза художников России, участник краевых, зональных, республиканских и международных выставок. В 2002 году его пейзажи были представлены на выставке в Южной Корее.

Сейчас художник живёт и работает в Дивногорске. Последние годы он отошёл от дизайна и занялся станковой живописью, работает в основном в жанре натюрморта и пейзажа.

Александр Щербаков

Крупицы соли

Светлые знаки России

Минувшей осенью в очередной раз навестил родное Таскино, что на самом юге Красноярского края, под Саянами. И, конечно, сходил на сельское кладбище. На нашенское, староверское, где похоронены мои родители и сёстры, оставившие этот бренный мир. Кладбищенская роща встретила, как обычно, той по-особому глубокой и отстранённой тишиной, которую не нарушают, а вроде даже подчёркивают птичий посвист и шорох ветра в макушках деревьев, треск хворостинок под ногами и звон комаров над головой. Роща — сплошь берёзовая (подсаженные вербы, рябинки у иных могилок не в счёт), вековая, но почти без подлеска, лишь с печальной порослью осьмиконечных крестов. Берёзы прямые, одна к одной, изголуба-белые, точно облитые извёсткой, уходящие в самое небо световыми столбами…

И вот когда погружался я в белоствольную колоннаду, то поймал себя на том, что повторяю в уме светло-печальные строки поэта-иеромонаха Романа, которые, слившись с органичной мелодией, стали ныне известным романсом: «За родником белый храм, кладбище старое. Этот забытый край Русь нам оставила…» Никакого храма передо мною не было, но всё же он незримо присутствовал здесь. В молчаливом хоре, в тихом молитвенном стоянии белёсых берёз, в лазурных просветах меж ними. И невольно подумалось, что особая любовь русских людей к берёзам, тоже нередко называемым русскими, должно быть, как-то внутренне связана с нашим поклонением православным, преимущественно белым, церквям и часовенкам с их колокольнями и куполами. Берёзы ведь явно похожи на них — и своей белизной, словно бы свидетельствующей об их природной чистоте и непорочности, и устремлённостью в горние выси, и, летом, зеленью округлых крон, напоминающих шатровые церковные покрытия, а осенью, «в багрец и золото одетые», — позлащённые купола. Не говорю уж о берёзах зимних, заснежённых, заиндевелых, и о ранневесенних, будто светящихся изнутри…

Возможно, именно этим объясняется неизменно возвышенный, почти молитвенный настрой, с которым испокон обращаются к берёзам наши поэты. Примеров тому не занимать. Любой навскидку приведёт их дюжину: от, положим, лермонтовской «средь жёлтой нивы четы белеющих берёз» до есенинской «страны берёзового ситца» или до рубцовского радостного признания: «Русь моя, люблю твои берёзы!» — и скорбного пророчества: «Я умру, когда трещат берёзы…»

Да и не обязательно взывать к именам великих и выдающихся. У каждого самого скромного стихотворца, русского сердцем, найдутся за душою строки с поклоном нашей берёзе. Есть они, конечно, и у автора этих заметок. Вот хотя бы такие:

Брошу всё и уйду на заре
В лес тишайший, седой от мороза,
И под тоненький звон снегирей
Помолюсь белокорым берёзам.
А кого ещё боготворить,
На кого возлагать нам надежды?
Если начистоту говорить,
Лишь они нынче в белых одеждах.
Помолюсь за собратьев своих,
Что попали в объятия бесов,
И помимо стяжанья у них
Не осталось других интересов.
……………………………
И за всю оскудевшую Русь,
За бездольных её ребятишек
Помолюсь, ибо очень боюсь:
Не видать им ни книжек, ни пышек.
Да минует их рабский хомут,
Да минуют сиротские слёзы…
Помолюсь — и берёзы поймут,
И помогут святые берёзы…

Или давние-давние, из юношеских тетрадей:

Качаясь, к берегу причалил
Мой дощаник.
Пришёл тревожный и печальный
Час прощанья.
Прощайте, милые берёзы,
В далях синих
Пусть ваши светятся берёсты
Негасимо.
Горят столбы дневного света,
Так прозрачны,

Вдоль троп, где я бродил всё лето,
Ждал удачи.
Мне ничего не надо боле
В мире этом—
Свети, берёза, в русском поле
Вечным светом.

К месту будет сказать, что как раз на том деревенском кладбище, у материнской могилы, во мне сложились «опорные» строки из самого свежего «берёзового» стихотворения: «Чёрный крест, домокованый, грубый, и берёза—как свет в небеса…» Думается, они были исподволь навеяны образом храма, непременно всплывающим в православном сознании возле родных пепелищ. И цепочка ассоциаций здесь вполне понятна: подобно белым берёзам, как уже замечено, светлые церкви наши устремлены в горнюю синеву, в иные пределы своими колокольнями и маковками, впрямь «как свет в небеса»…

И вполне правомерно предположить, что именно с «подачи» поэтов разных времён и рангов берёза стала, по сути, символом нашей России.

Хотя вообще-то, если заглянуть в глубь отечественной истории, исконным знаком Руси выступал скорее дуб. Отчасти потому, что был он весьма распространённым «древом» на русском пространстве и типичным для его пейзажа, но главным образом потому, что наиболее точно отражал характер (менталитет, говоря по-нынешнему) русского человека, известного своей крепостью, «остойчивостью», укоренённостью в отчей земле и редким сочетанием вольности с долготерпением. Предки наши поклонялись верховному богу Перуну и земному воплощению его—дубу. И не случайно именно дуб из древесного семейства избрал мудрый Пушкин в магическом зачине своей поэмы, полной отголосков русской старины: «У лукоморья дуб зелёный…» А сколько поныне живёт в народе песен, загадок, пословиц и поговорок, замешанных на дубах и дубравах! Не перечесть. «Как бы мне, рябине, к дубу перебраться…», «ела, ела дуб, дуб, поломала зуб, зуб», «держись за дубок, дубок в землю глубок», «и мал дуб, да здоров», «черепком напьюсь, дубиной отобьюсь»… и так далее до бесконечности.

Возвышение берёзы над дубом началось, надо полагать, с крещения Руси, ставшей, после утверждения в ней неповреждённой веры христианской в ипостаси своеобычного Русского Православия, «уделом Богоматери»; с появления на её просторах тысяч церквей, белых, «космостремительных», «берёзообразных», наподобие знаменитой церкви Покрова на Нерли. Ну и, конечно, со всеобщего упования народного на то, что Русь Православная находится под особым покровительством (покровом) Пресвятой Девы Марии. В ней воплощённое женское, материнское начало просвечивает не только в образе самой России-матушки, но и в облике нашей кудрявой берёзки, в её белых, пречистых одеждах, в её изяществе и женственности, в мягкости, незлобливости, но и твёрдости, верности её нрава, к примеру, запечатлённого в пословице: «Берёза не угроза, где стоит, там и шумит»…

Ну а ежели опуститься с поднебесных высот на грешную землю, шагнуть из бытия в житейский быт и обиход, то, оглянувшись, нельзя не заметить, что народ давно нашёл разрешение «противоречий» между берёзою и дубом—во взаимной дополняемости и «гармонизации» их лучших качеств. Скажем, в типичной русской избе двери, пол, матица, которым требовались особые крепость и плотность, обычно были дубовыми, а, положим, гибкий очеп (жердинка под потолком, на конце которой подвешивалась детская зыбка)—чаще берёзовым. Как и черенки разных хозяйкиных «помощников» при русской печи—ухватов, лопат, сковородников. Как и—дрова наилучшие, под чудесной белой берёстой, легко загорающиеся и жарко пылающие с голубыми струйками дыма, что так тонко и приятно отдают камфарой и скипидаром. Ну а, допустим, любителям попариться в русской баньке доподлинно известно, что самые превосходные веники, дарующие здоровье, очищение и просветление,—берёзовые и дубовые.

И даже здесь видится некое внутреннее единение двух знаковых деревьев нашей Руси, сочетающих свет духовный с крепостью телесною. Хотя родовая, исходная суть остаётся при них…

А, кстати, знаете ли вы, как в былые времена отвечали свахам о результате «торга»? В случае согласия: «Берёза!», в случае отказа: «Дуб»…

Персты боярыни Морозовой

Персты твои тонкокостны, очи твои молниеносны…
Протопоп Аввакум

Напомним, что в пушкинской фразе «мы ленивы и нелюбопытны», которую так любят ныне приводить к месту и не к месту, имеется в виду «нелюбопытство», чтобы не сказать—равнодушие, к отечественной истории.

И здесь поэту трудно отказать в правоте не только по отношению к своим современникам. Достаточно обернуться хотя бы на наше с вами школьное образование. Мы совершенно точно с младых ногтей, как говорится, куда подробнее учили и глубже знали историю Древней Греции, Древнего Рима и европейского средневековья, чем родную—древнерусскую, да и дальнейшую—российскую, царскую, советскую…

И если заглянуть в нашу художественную литературу, даже в её «золотой» и «серебряный» века, то мы найдём там довольно скромный перечень эпопей, романов, повестей, написанных на

собственном историческом материале. По крайней мере, значительно меньший, чем, положим, в литературе английской или французской. Как ни грустно сознавать, у нас недоставало популярных авторов вроде плодовитого Вальтера Скотта или дерзкого Александра Дюма, говорившего, что для него «история—это гвоздь», на который он «вешает свои романы». И хотя в советские, в постсоветские времена наблюдались попытки исправить такое положение, число исторических авторов и произведений заметно возросло, однако ещё столько осталось важных, знаковых событий, не тронутых писательским пером, столько ярких личностей, не отражённых в литературе. И остаётся по сию пору…

Мне вот, к примеру, частенько приходит на ум Феодосия Прокопьевна Морозова. Будь подобная персона в истории той же Франции, Англии либо Италии, о ней бы давно написали гору книг в стихах и прозе, не говоря уже о череде поставленных опер и балетов. У нас же редко кто прикоснулся к её образу, и в народе она известна во многом лишь благодаря картине нашего великого живописца Василия Сурикова «Боярыня Морозова» в центре с неистовой страстотерпицей, вознёсшей двуперстие…

Между тем эта трагическая фигура, что называется, сама просится не только на полотно, но и в книгу, и на сцену, и на экран, да и на постамент—в бронзе и мраморе. Вы только задумайтесь над этой невероятной судьбой, над этим характером с чисто русскими «крайностями»—от широты и вольности до гордого терпения и кроткого смирения. До полной самоотрешённости ради избранного раз и навсегда духовного идеала—Христа Живаго и неколебимой веры в Него.

Послушайте, что пишет один из старинных авторов о ней—родовитой боярыне и первой красавице-богачке на Руси в свои времена: «Окружённая роскошью, она выезжала в расписной карете, запряжённой 12-ю арабскими конями с серебряными цепями. В доме её было не менее 300 слуг, а крестьян насчитывалось до 8 тысяч. К ней сваталось множество самых знатных в России женихов…»

Но вот наступает полоса испытаний в её жизни. И что же? Эта дама из высшего света, эта барыня-боярыня, когда мятущийся патриарх Никон замахнулся на некоторые догматы исконно русского Православия, решив его «подреформировать», подтянуть к новым веяниям в мировом христианстве, вдруг обнаруживает в себе ревностную преданность древлему благочестию. Она отвергает все новшества Никона и, вместе с огненным протопопом Аввакумом, идёт на прямое противостояние им. Идёт в раскол.

Так, по крайней мере, трактуются эти драматические события семнадцатого века в нашей истории, хотя, по существу, раскольниками-то явились скорее Никон и его послушные «никониане», отступившие от отеческой традиции. На боярыню Морозову, как и на Аввакума Петрова, со стороны тогдашних «обновленцев» церкви обрушиваются все мыслимые и немыслимые гонения, давления и преследования. И эта первая богачка Русского царства, выросшая в роскоши и неге, мужественно переносит их, оставаясь глубоко преданной «неповреждённой» вере отцов и завещанному ими обряду. Кандалы, застенки, дыбы, ямы, не говоря уже о лишении всех боярских имений и привилегий,—всё претерпевает она воистину стоически, с непостижимою отвагой и жертвенностью.

Наконец, гонители пытаются запугать её угрозой такого страшного испытания, как позорная казнь на её глазах любимого сына Ивана. По сути дела, рабу Божию Феодосию ставят перед выбором: сын или Христос, в староверском Его исповедании. И она, ни минуты не колеблясь, выбирает «своего» Христа, Его путь и заветы. Вот что, по свидетельству современников, говорит она своим истязателям, недавним единоверцам: «Ивана я люблю и молю о нём Бога безпрестанно. Но Христа люблю более сына… Знайте, ежели вы умышляете сыном меня отвлекать от Христова пути, прямо вам скажу: выводите сына моего на лобное место, отдайте его на растерзание псам,—не помыслю отступить от благочестия, хотя бы и видела красоту, псами растерзанную…»

Описывая последние часы боярыни Морозовой в Боровском остроге, в мрачной, холодной яме (была поздняя осень 1672 года), протопоп Аввакум приводит трогательную деталь, достойную целой повести. Он замечает, что боярыня попросила одного из сторожей тайком взять и вымыть в реке её до крайности загрязнившуюся сорочку, чтобы перед смертью надеть чистую. Сторож, оказавшийся сострадательным человеком, исполнил эту просьбу.

Тело Феодосии Прокопьевны завернули в рогожу и погребли рядом с княгиней Евдокией Урусовой, её сестрой, умершей ранее в той же яме от холода и голода.

Вот как стояли в вере православной, как пеклись о чистоте душевной и телесной наши благочестивые предки! Вот что нужно бы проповедовать в нынешних школах и вузах, вместо пресловутой «толерантности» в мировоззрении, «вариативности» в трактовании событий истории и всяческого «секспросвета» насчёт свободы в отношениях полов.

Между прочим, если отойти от духовно-нравственной сферы и обратиться к сфере идеологической, социальной, то можно заключить, что одной из главных причин развала нашей Державы было падение числа носителей и защитников

социалистических идей — народовластия, равенства и братства — до уровня «критической массы». И ниже её. В обществе образовался явный недостаток людей, силою духа равных боярыне Морозовой, протопопу Аввакуму и их младшим советским сёстрам и братьям по вере в высшую справедливость (как они её понимали), наподобие Зои Космодемьянской или Саши Матросова. Слишком много «толерантных» и «плюралистических» мещан вырастили мы в том обществе и его авангарде — «ведущей и направляющей» партии.

Помнится, когда, уже во время смуты и разрухи Державы, журналисты спросили замечательного философа и социолога Александра Зиновьева, смогут ли нынешние коммунисты, социалисты вернуть власть в России, он ответил примерно так: «Смогут... Если среди них найдётся достаточно людей, готовых умереть за свои идеалы добра и справедливости». Как это, добавим мы, отчасти было в дореволюционные и в «молодые» советские времена. Особенно — в пору военного лихолетья, в годы яростных сражений с коричневой нечистью «до последнего патрона». Ведь те советские люди, формально безбожные, тоже шли до конца «по пути Христа» — в широком смысле слова, ибо они шли за торжество правды и справедливости, и не из личной корысти, а ради общего мира и счастья, «ради жизни на земле».

Иные, пожалуй, заметят мне: а что, мол, пользы из того стоического сопротивления ревнителей древлего благочестия, если всё кончилось их разгромом, ссылками, заточениями, кострами и торжеством сомнительных обновленцев? Да и во втором случае жертвы героических защитников советского строя, чаемого общества социальной справедливости оказались напрасными, ибо победила в конце концов социально несправедливая, но красочно размалёванная либеральная демократия.

Что до подвижников староверия, то я отвечу: «Не скажите!» Их упорное стояние в отческой церковной традиции пусть через столетия, но всё же получило признание. В начале минувшего века официально были отменены преследования старообрядцев, а позднее признаны равно благодатными богослужения по древлеправославному чину. И теперь, насколько мне известно, во многих храмах Русской православной церкви, в частности, подмосковных, наряду с обычными ведутся службы по старому обряду. Давно бы так-то...

Ну а насчёт социализма, коммунизма... Конечно, отход от идей общественной собственности, коллективных форм труда и «человечьего общежития» налицо. Да и ряды их нынешних защитников, прямо скажем, пока не изобилуют фигурами, подобными «виртуальному» Павке Корчагину или реальному Дмитрию Карбышеву, белому генералу, ставшему красным страстотерпцем. Но, как говорится, «ещё не вечер». Вечная народная жажда социальной справедливости и солидарности никуда не исчезала. Серьёзные социологи, политологи отмечают на фоне массового разочарования в рыночной демократии явное «полевение» настроений в мире, включая наше царство-государство. А значит, появятся и новые борцы «за освобождение человечества», сильные духом.

Впрочем, это уже другая история. Мне же хотелось только напомнить о сонме достойных отражения в литературе, в искусстве лиц и ликов из той родной истории, какою, по слову Пушкину, «её нам Бог дал». И прежде всего, конечно, натур цельных, прямодушных, бескомпромиссных... Истинно русских.

Дело седых

Помню, я немало удивился, когда впервые встретил в опубликованном письме Варлама Шаламова к Борису Пастернаку такие слова: «Поэзия — дело седых, не мальчиков, а мужчин...» Тотчас невольно пришли на ум строки другого российского пиита советских времён, умершего, правда, в Израиле: «До тридцати поэтом быть почётно, и срам кромешный — после тридцати...»

И ведь, кажется, он был намного ближе к истине. Поэзия привычно сочетается в нашем сердце со светом, молодостью, с мечтами и надеждами — и с любовью, конечно. Ведь именно в юности, молодости почти все поголовно увлекаются поэзией, заучивают наизусть, переписывают в заветные тетрадки полюбившиеся строки из поэтических томиков и сами тайно или явно сочиняют стихи.

Да и наши первостатейные поэты, по крайней мере — большинство из них, были молодыми и красивыми, а многие таковыми остались навек — от Пушкина и Лермонтова до Есенина и Маяковского, Павла Васильева и Николая Рубцова. Рано уходя, они словно бы уже этим фактом подчёркивали, что поэзия — исключительное состояние и достояние молодости. И если молодость увядает, уходит, то незачем жить и творцу поэтических строк.

Да, всё вроде бы так. Но в чём-то важном всё-таки более правым подспудно чувствуется Варлам Шаламов. В чём же? А послушайте, что он далее пишет в том же письме: «Для меня никогда стихи не были игрой и забавой. Я считал стихи беседой человека с миром. На каком-то третьем языке, хорошо понятном и человеку, и миру, хотя родные-то языки у них разные...»

Вот в этом-то и суть дела. Конечно, далеко не все «молодые» стихи являются игрой и забавой, но всё-таки в них, рождаемых «пламенем уст», заведомо превалируют «буйство глаз и половодье чувств». И уж простите, но кажется даже, не случайно в метафоре с «половодьем» по созвучию исподволь слышится нечто «половое». Это если грубо и приземлённо. А если возвышенно — то сердечное, страстное, нежное...

Большинство «молодых» поэтических строк пишется о любви. И среди них немало достойных, высоких по духу и мысли, многое говорящих и уму, и сердцу и не страдающих недостатком выразительного авторского мастерства. Более того, любовь была, пожалуй, главной темой поэзии всех времён и народов и остаётся таковой до сего дня. И творцами «любовной лирики» выступают преимущественно молодые поэты, как водилось всегда. Исключения редки. Наподобие, скажем, семидесятичетырёхлетнего Гёте с его «Мариенбадской элегией», полной «страсти нежной», или Петрарки с его посланиями возлюбленной Лауре, которую он пылко воспевал до конца своих дней, далеко не юношеских. Правда, образ её всё же представляется нереалистичным, романтически условным и чрезмерно опоэтизированным. Особенно в наши прагматические времена.

Впрочем, не только в наши. Старческая песнь любви и прежде, пожалуй, воспринималась как немножко оксюморон и жаркий холодок. Не зря когда-то Лев Толстой подшучивал над Афанасием Фетом, седобородым лириком, который такие сентиментальные стихи, как «Шёпот, робкое дыханье, трели сословья», написал на… керосиновом счёте. Яснополянский мудрец явно намекал своему старшему другу и соседу по поместью, что почтенный возраст требует иных слов и чувств, более «серьёзных» тем и размышлений. Года всех «к суровой прозе клонят», включая тех, кто продолжает говорить на «третьем языке», таинственном, но всем «понятном». Должны клонить…

Варлам Шаламов называет подобные «поздние» стихи «беседой с миром». Но я бы дерзнул на первое место поставить «беседу» с небом, с миром горним (с Богом то есть!), а уж потом — с миром дольним. Конечно, и здесь найдутся исключения. Первым на память приходит уже помянутый Михаил Лермонтов, в своём, по сути, юношеском возрасте уловивший и передавший, как «пустыня внемлет Богу» и «звезда с звездою говорит». Но чаще всё-таки «беседа» с Богом и миром слышится в стихах поэтов, убелённых сединами. Тут примеры бесчисленны и бесконечны. От, положим, Гаврилы Державина, автора хрестоматийной оды «Бог», до нашего современника Юрия Кузнецова с его поэмою «Путь Христа» и неоконченным «Раем». Но мне хочется напомнить строки, может быть, не самые известные, однако весьма характерные тем, что они были написаны если не последним, то одним из последних глубоко «седым» поэтом — Иваном Буниным, одиноко доживавшим свои дни на чужбине, в Приморских Альпах, в тихом французском городке Грассе:

Ночь

Ледяная ночь, мистраль
(Он ещё не стих).
Вижу в окнах блеск и даль
Гор, холмов нагих.
Золотой недвижный свет
До постели лёг.
Никого на свете нет,
Только я да Бог.
Знает только Он мою
Мёртвую печаль,
Ту, что я от всех таю…
Холод. Блеск. Мистраль.

И уж такой вот «разговор», такая поэзия в её «неслыханной простоте» и обнажённой правде есть действительно «дело седых, не мальчиков, а мужчин», чьи виски́ посыпаны порошею прожитых лет и солью нажитого опыта, мучительных поисков и размышлений, которые зовутся мудростью.

Отнюдь не претендуя на эту самую мудрость, могу в заключение предложить и свои строчки из числа последних, тоже невольно посыпанных крупицами соли пролетевших годочков:

● ● ●

Я уже не бунтую,
Я смирился со всем.
Даже с тем, что бытую
До поры в мире сем.

А поскольку навряд ли
Долго мне бытовать,
На земные порядки
Глупо негодовать.

Чту законы и догмы,
Не перечу судьбе.
Верю Господу Богу…
И немного — себе.

Юрий Беликов, Лариса Васильева

Земля ещё не народилась, или Тайна Божьего послания

Наш диалог пришёлся на конец января, когда знаменитая русская писательница, лауреат многих отечественных и международных премий, в том числе — имени Анны Ахматовой и Антона Дельвига, приезжала в Пермь на вручение ей награды общественного признания — ордена Достоевского I степени. Около года мой диктофон хранил сенсационное откровение, сделанное автором известных и любимых в народе книг: «Кремлевские жёны», «Жёны русской короны», «Дети Кремля», «Жена и муза», «Альбион и тайна времени», «Исчезновение императора».

А именно: Лариса Николаевна призналась, что эти и многие другие «известные и любимые в народе» книги стали в некотором роде операцией прикрытия, потому что на протяжении всей своей жизни писательница работала над главным трудом — «Василисой». Жанр его определить сложно. Кто-то называет это произведение футурологическим и нумерологическим романом о тайнах Земли и мироздания. А кто-то — сводом предсказаний, близких «Центуриям» Нострадамуса.

Что же подвигает меня огласить нашу беседу сейчас?.. Нет-нет, не только приближающийся юбилей Ларисы Васильевой. Всё происходящее в масштабах нашей планеты — череда катастрофических наводнений и засух, оползни, сели, ураганы и температурные скачки климата — слишком стало напоминать содержание «Василисы». Написанный и опубликованный текст обрёл свою грозную материализацию. Не опоздать бы!..

— Лариса, прежде вдену бирюзовую серёжку в мочку твоего уха. Сейчас пошла мода — целая череда астрологов и экстрасенсш ударилась в писательство. Например, Павел Глоба издал роман. Вполне читабельный и даже полифонический. Но масса примеров похуже. А вот ты, если посмотреть на твоё творчество в развитии, начиная с первого поэтического сборника «Льняная луна», совмещаешь в себе по меньшей мере две неизменных ипостаси. Сказительство и предсказательство. Причём второе — изначально, с первых же дней сказительства. И в данном случае меня особенно волнует и привлекает образ твоей Василисы. Он ведь возник у тебя первоначально ещё в стихах? И даже выходила книжка с одноимённым названием? А недавно увидела свет большая «Василиса». Между первой и второй «Василисой» «перерывчик» был не в пример застольной поговорке. В жизнь. Получается, большая «Василиса» — книга всей твоей жизни?

— Знаешь, это всё как будто не моя затея. Словно кто-то сверху подсказал. Мне нужен был мой двойник, который был бы — и я, и не я. Двойник, за которого я могла бы спрятаться. Уйти от своей реальной жизни и даже от себя пишущей — в нечто, немного потустороннее. При всём при этом мне необходим был такой же двойник, но мужской. Я всегда была в поиске брата (так я его называю) — литературного брата, «должность» которого в разное время «исполняли» то Серёжа Поликарпов, то Юра Кузнецов, немножко Глеб Горбовский, и каким-то образом я приспосабливала на эту «роль» Колю Рубцова, но очень слабо. То есть не муж, не друг, не возлюбленный, а человек, думающий близко, но видящий мир глазами мужчины. Ты прав: сначала у меня появилась небольшая одноимённая поэма «Василиса». Однако уже там, одновременно с образом Василисы, возникает и образ этого её спутника.

— В чём же заключалась потребность в двойничестве? Тебя что-то в самой себе не устраивало?

— Мне не хватало воздуха, полёта, определения фантазии, уловления каких-то верхов — там, в небесах. Не хватало какой-то фигуры высшего свойства, которая была бы более чем я. Или скажем так: мне не хватало моей идеальной формы.

— Но откуда пришла к тебе Василиса? Из некой анаграммы, заложенной в сочетании имени-фамилии — Лариса Васильева? Ты Василису придумала? Или она тебе приснилась?

— Сначала приснилась…

— Ты можешь её описать?

— Лица у неё нет. Но фигура есть. Она высокая — выше меня, в белом. И отвечает на все мои вопросы, на которые ответить не могу.

— Ты впадаешь в некий транс, в сумеречное состояние, прежде чем вызвать её?..

— Нет, я просто пишу стихи или излагаю мысли в прозе, а Василиса каким-то образом мне их диктует.

— Извини, что я перехожу на лексику психиатра: «И давно это у вас, Лариса Николаевна?»

— Не помню времени, когда это начало проявляться. Давно. У меня были стихи, с Василисой связанные, — одни, потом вторые, затем — целый стихотворный цикл, где есть такие строчки:

Случайность — плохая актриса,
В постели зато хороша.
Но это была Василиса —
Зовущая к свету душа…

Помню, Саша Иванов, наш сейчас уже немного подзабытый пародист, тут же схватил это четверостишие, и у него в какой-то телевизионной передаче «постель» моя крутилась довольно долго. Что очень возмущало моего сына. Он даже порывался: «Я набью ему морду!» Но я-то как раз была к этому благосклонной. Пусть болтают — я ведь не придумала образ Василисы, он возник как бы вне меня, но во мне. И помогал, и помогает.

Но, как я уже сказала, у меня ещё был и мужской двойник — Михаил Трофимович Панченко. Он умер в тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году, но это совершенно реальный человек. Старший преподаватель факультета журналистики МГУ по международным темам. Личность абсолютно гениальная. Во время Великой Отечественной войны он служил шифровальщиком, и не существовало шифра, который бы он не раскрыл. Потрясающе видел мир. В своей большой «Василисе» я представила целый ряд его взглядов. И в том, как я подошла к теме Василисы — к женскому началу в этой книге, особенная его заслуга. Он не давил на меня, не учил, не вещал, не показывал. Мы просто с Михаилом Трофимовичем собирались и разговаривали. Он приходил в одиннадцать утра — муж мой Олег как раз шёл на работу. В семь вечера приходил. А мы с Панченко всё ещё продолжали беседовать… «Да ты замучила Михаила Трофимовича!» — сетовал Олег. Михаил Трофимович был небольшого роста и совершенно неприметной внешности. Но когда он говорил, весь преображался!

— При этом ты вела записи или запоминала?

— Самое поразительное: я начинаю записывать — и ничего не получается. Включаю диктофон — Михаил Трофимович говорит так, что можно с ума сойти, как необыкновенно и ярко! И я это всё ловлю, а потом, когда прослушиваю записи, происходит странность: это куда-то всё пропадает. То есть записи остаются, но не впечатляют. Более того, я устраиваю встречу с Михаилом Трофимовичем на телевидении. Это было в день, когда умер Брежнев. Телевизионщики первого канала записывают Панченко. И спрашивают: «А, собственно, что такого во взглядах этого человека?! Он произносит общеизвестные вещи. Это совершенно не интересно!» — «Да!..— почти радостно соглашается Михаил Трофимович. — Я произношу общеизвестные вещи, но свожу концы с концами, чего люди обычно не делают». Однако телевизионщики — люди циничные, они пожимают плечами: «Объясним это всё тем, что Лариса Васильева расстроилась по поводу смерти Леонида Ильича — и…» И материал в эфир не вышел.

— Но всё-таки тебе ведь удалось воспроизвести некоторые взгляды Михаила Трофимовича в «Василисе»?

— Я получила его тринадцатую тетрадку. Даже не всю её воспроизвела…

— Но сейчас мы с тобой ведём речь как некие посвящённые или заговорщики, а я хочу, чтобы предмет нашего диалога был понятен читателям. Попробуем выстроить концепцию «Василисы» как таковой. Давай зацепимся за оселок…

— Главное в этой книге — её идеология. И она заключается в том, что Земля — гигантский зародыш в матке мироздания. Причём — на седьмом месяце. Впрочем, кроме Земли, там сидит ещё один плод женского рода. Это Венера. И шесть зародышей-мальчиков: Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон, Нептун, Уран.

— Почему — именно на седьмом месяце?

— А потому что… семь дней творенья. Оно заканчивается седьмым днём. И человечество находится либо в начале седьмого дня, либо в начале восьмого. Я думаю, что всё-таки — в начале седьмого дня. Шестой день — это когда Бог создал мужчину и женщину. А седьмой — когда Он собирает всё, что сделал до сих пор, — и природу, и животный мир, и человека, и в его лице — женщину и мужчину…

— Тогда что означает в твоей трактовке пребывание зародыша Земли на седьмом месяце?

— Седьмой месяц — это всё то, что до сих пор мы сделали, что увязывается между собой и обретает образы гармонии. А на восьмом месяце — усиление сделанного. Седьмой месяц, он настолько особенный и завершённый, что ребёнок, рождающийся в это время, уже вочеловечен и будет жить. Восьмимесячные, как правило, не живут, потому что там опять идёт процесс нарастаний. А тут — как бы всё закончено, гармонично.

— А как же: «Я не ищу гармонии в природе. / Разумной соразмерности начал / Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе / Я до сих пор, увы, не различал»? Если память мне не изменяет, эти стихи написаны Николаем Заболоцким где-то в сороковых годах

прошлого века, а как будто предвосхищают день нынешний. С точки зрения человека сегодняшнего, всё то, что теперь на нашей планете происходит, есть сплошная дисгармония — в окошко глядеть не надо. Как же совместить гармонию существования Земли на седьмом месяце с тем, что человеку не приходится «искать гармонии в природе»?

— Это — с точки зрения мужчины. И в этом смысле Заболоцкий — очень мужчина. Женщина ищет только гармонии.

— То есть даже в дисгармонии…

— …она её найдёт!

— Хотя в концовке своего стихотворения Заболоцкий, на мой взгляд, приходит к тому же:

> *Так, засыпая на своей кровати,*
> *Безумная, но любящая мать*
> *Таит в себе высокий мир дитяти,*
> *Чтоб вместе с сыном солнце увидать.*

Впрочем, ты ведь не ради красного словца обмолвилась о седьмом месяце зародыша Земли?

— Дальше получается так. Если это конец седьмого месяца, то идёт гармонизация. Она заканчивается, и плод уже в какой-то степени готов выйти. Но он не выходит, продолжает нарастать мясо и всё то, чем он станет. Идёт укрепление. Вбирая нарастание двух гармонических колец, эта восьмёрка уже ведёт в бесконечность. А потом наступает девятый месяц… У меня странно получалась эта книга. Начиная с самого первого месяца, я не знала, что будет дальше.

— Полагаю, шёл некий процесс кристаллизации, и на то, чтобы родилась наконец «Василиса», ушли годы?..

— Ты прав. Были перерывы. И на это ушли годы. Но когда я начала печатать «Василису» в журнале «Наука и религия», у меня появилась необходимость каждый месяц сдавать материал. «Василиса» печаталась здесь четыре года! Бедная «Наука и религия»!..

— Но параллельно ты работала над какими-то другими своими творениями? «Кремлёвскими жёнами», «Женами русской короны», «Евдокией Московской», стихами?

— Я жила, ездила куда-то, писала другие книжки. Но всегда знала: у меня есть «Василиса». И всегда к ней возвращалась. Чувствовала: это *главная* моя книга. Но всё то, о чём я в ней написала (что Земля — зародыш в матке мироздания), должна была доказать. И доказываю это с помощью… «инструментов». Один из них — циферблат. Другой — алфавит. В алфавите много букв. В циферблате — девять знаков. Причём ко мне пришла эта мысль совершенно неожиданно и по пустяковому случаю. Сижу и надписываю конверт. Заполняю индекс, где проставляются цифры. Предположим, один, два, три, четыре, пять, шесть. Пишу их, потом продолжаю до десяти: семь, восемь, девять… Девятка и шестёрка очень похожи. И вдруг я вижу, что это картина развития зародыша! В матке. Вот единичка, когда как будто бы ещё ничего нет. Дальше — двойка. Появляются ручки, ножки, головка. Ножки — ещё не ножки, но — уже хвостик. Тройка — что-то уже из области духа и души, не материальное, но уже связанное между собой (ведь дух — мужского рода, а душа — женского). И дух находится в душе. Как мужчина в женщине. Потом — четвёрка. Не совсем понятное мне. Пятёрка — увеличенный зародыш. Даже головка видна. Шестёрка — закрытая, законченная пятёрка. Семёрка — тот самый месяц, на котором Земля якобы находится сейчас. Восьмёрка… А девятка — это когда плод будет выходить. Головкой пойдёт… А что будет с Землёй, когда она начнёт выходить на девятом своём месяце, не знаю.

— То есть книга «Василиса» развивается сама по себе? Она даже не закончилась? А растёт вместе с развитием…

— …Земли. Я должна протащить идею, что именно цифры мне показали развитие зародыша. Разговариваю с одной гинекологиней. Рассказываю ей то, что сейчас — тебе. Но — попроще. Она выслушивает. Восклицает: «Как интересно!» Переходим на другую тему.

Минуло примерно полгода. В это время я изменяю «Василисе» с кем угодно из героев других своих книг. Звонок. Та самая гинекологиня: «Лариса Николаевна, помните, вы мне как-то говорили про особенность цифр? Что они — как развитие зародыша… Это вы придумали? Или где-то прочитали?» Спрашиваю: «А вам какая разница?» — «Ну, я всё-таки врач — мне интересно знать». Я: «Это я придумала. Нигде не прочитала». Она: «Дело в том, что я недавно смотрела шестимесячную беременность и вдруг, повернув живот пациентки, увидела то, о чём вы говорили: тот самый зародыш, что крутится в матке в околоплодной воде, которой являются океаны и моря, омывающие остатки суши, пока что ещё прикрытой…»

«Ну, хорошо, вы до этого додумались, — продолжает гинекологиня, — я смотрела и другие месяцы беременности. Всё сходится. Про шестой месяц я уже сказала. Дальше не смотрела…» Я: «Вы можете всё это записывать?» Она: «Упаси Бог!» — «Почему?» — «Да потому что вы это получите, увидите, что я права и вы правы тоже, и на радостях ещё где-то напечатаете. Меня главврач давно мечтает отправить на заслуженный отдых — я пятнадцать лет переработала, а мне ещё внуков поднимать. Чего это я буду записывать? Нет, и не подумайте, откажусь я от всего, что вам сегодня рассказала…»

— Галилея из вашей знакомой не получилось…

— Не получилось. И я больше ни к кому по этому поводу не обращалась. Нет, я несколько раз на сей счёт, конечно, говорила, и некоторые очень понимающие гинекологи-женщины мою идею поддерживали и подтверждали. И мне стало интересно это зафиксировать. Что я и сделала в «Василисе». Причём я не медик — не претендую ни на что. Я претендую лишь на одно — чтобы меня поняли и, может, развили мои идеи, если это интересно специалистам. Потому что Земля — это наша матерь, а она, как правильно примечал Вернадский, требует к себе внимания. Она — живая. Она — существо и вещество, вместе взятые.

— Ты сказала, что на протяжении четырёх лет публиковала «Василису» в «Науке и религии», но всем содержанием этой книги ты хлещешь по обе стороны — и по науке, и по религии…

— Правильно!..

— Потому что современная наука не в состоянии объяснить очень многое, что происходит, по крайней мере, в развитии Земли (я уж не говорю про глубины Вселенной) и чему мы с каждым днём становимся свидетелями. А религия, она, по определению, остановилась, замерла в некой константе и не желает наблюдать каких-то подступающих к нам очевидностей. Но то, что ты раздаёшь двум сестрам по серьгам, бумерангом тебе не прилетело?.. Или учёные вкупе с церковными иерархами в принципе не хотят этого замечать?

— Это — раз. Во-вторых, я баба. Да ещё поэтесса. Сижу на ветке и чирикаю. Если б я ещё была мужиком, да к тому же крутилась в науке, меня бы точно — задушили. Ко всему прочему я — дочка какого-то засекреченного человека, одного из создателей танка т-34. «Значит, на неё работает какая-то система?..»

— Лучше не связываться?

— На всякий случай. А кроме того, люди заняты собой. В частности, материальным. У меня были возможности — главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков предлагал мне: пожалуйста, устраивайте на страницах «лг» обсуждение «Василисы». Я даже размышляла над тем, кого пригласить. И — прекращала. Из десяти человек, кого бы я предположительно могла назвать, набирала трёх-четырёх. Ну хорошо — в «Литературке» появится публикация. Некоторые заинтересованные люди вырежут её для себя как необычную точку зрения. Но ведь на этом всё и закончится…

— Дело в том, что наша, условно говоря, научно-эзотерическая мысль за последнее время понесла немало ощутимых потерь: нет ни создавшего философский свод о национальных космосах Георгия Гачева, которому, смею предположить, твоя «Василиса» была бы жутко интересна, нет Вадима Рабиновича, выпустившего на излёте жизни свои «Имитафоры», — не сомневаюсь, он тоже прочитал бы твой труд с превеликим любопытством. Да много кого уже нет…

— Гачев, в определённом смысле, на коленях передо мной стоял. И говорил: «Лариса! Вы изобретаете что-то фантастическое. Это может быть новым направлением в жизни…» Рабинович вообще был моим поклонником. Но я всегда жду, что, к сожалению, что-то случится… Я даже знаю: должна возникнуть какая-то такая ситуация, когда «Василиса» человечеству ещё понадобится. А понадобится потому, что мы закатываемся. Так я предсказываю. Эти околоплодные воды, они ещё хлынут, свет погаснет, и тогда поневоле придётся… обращаться к «фантастическому».

— Иными словами, всё то, что сегодня происходит, — разрушительные оползни, сели, цунами, тайфуны и наводнения плюс температурные изменения климата, — это, по твоей трактовке, свидетельство того, что ворочается плод?

— Совершенно верно.

— Либо — сам по себе, либо — под воздействием человечества?

— И то, и другое. Воздействие человечества, может быть, и не такое катастрофическое в сравнении с тем, что зародыш Земли повернётся, и — хлясь! — ту же Америку зальёт океан. Однако в науке довлеет мужская точка зрения. А мы — женщины. Моя точка зрения в науке не учитывается. Дмитрий Сергеевич Лихачёв, которого я не люблю потому, что он слабый учёный в той области, которой занимался, путал норманнов и нормандцев, так вот, Лихачёв говорил, что женская точка зрения антинаучна. И тут я, кстати, согласна с ним. По той простой причине, что женская точка зрения, как правило, имеет отношение не к науке, а к реальной жизни. Оттого что женщина очень физиологична по сути своей. И — идёт по кругу: мыслит животом. У женщины кру́говое мышление. Поэтому, если разделить на четыре части столетие — осень века, зима века, весна века и лето века (что я в «Василисе» и делаю) — и уместить в эти периоды всю историю, приходишь к выводу: всё повторяется. Только в разных формах. А суть одна.

— Видимо, не случайно Габриэль Гарсиа Маркес, между прочим, живший далеко от России — на другом континенте, нарёк один из своих романов «Осень патриарха». Заметь: «Осень» — не «Зима», не «Весна» и не «Лето».

— Потому что «Осень» — это период властителей, действующих под знаком преобразования.

Согласись: Пётр Первый и Александр Первый — разные фигуры. Но они люди одного времени. Туда же можно записать и Василия Первого, тоже нёсшего преобразование. Почему я на этом настаиваю? Все трое имели прямое отношение к осени века — то есть к его первой четверти. И все трое несли преобразование. В начале двадцатого века тоже присутствовали две знаковых фигуры. Это, как ни странно, Николай Второй, низложенный в тысяча девятьсот семнадцатом году, и Ленин, который вроде как пришёл, но по сути — не пришёл. Он ведь через год после своего «пришествия» был, в сущности, убит. Три отравленных пули, из которых последнюю вынули в тысяча девятьсот двадцать втором году. А в тысяча девятьсот двадцать четвёртом он умирает. Но уже подступал тысяча девятьсот двадцать пятый год, когда всё меняется. Осень века переходит в его зиму. Получилось, Ленин сменил Николая Второго и ничего не успел. Какая-то историческая проруха. Сначала — ужасная слабость Николая, затем — приход Ленина, который на первых порах обрадовался, потом испугался, потому что они с Надеждой Константиновной не представляли себе, что победят. Никто ж не брал власть. Он один её схватил и выдвинул три лозунга, за которыми люди пошли. А когда он довольно быстро стал «мёртвым» (это дело рук не Фанни Каплан, которая ни в кого не стреляла, поскольку была слепая), за Ленина всё делала Надежда Константиновна. Женщины пеклись об Александре Первом из-за его всё усиливающейся глухоты. А Крупская была озабочена тем, чтобы никто не подумал, что Ленин полумёртвый…

В этом тоже проявлялась женская точка зрения, о которой речь. Однако я не хочу быть правой в своих предсказаниях. Лучше бы я была не права! Но я просто вижу, как жизнь сама всё подтверждает. А кроме того, мне Трофимыч перед своей кончиной говорил: «Учтите, вы всё будете видеть собственными глазами! И я вам буду *оттуда* помогать…»

— То есть Панченко был твоим гуру? Человеком, который, уходя, что-то тебе передал?

— Да.

— И ты пишешь под диктовку?

— И да, и нет. Потому что я всё-таки тоже там присутствую. Я строю текст, редактирую. У меня мозги включены. У меня есть юмор. Здесь надо всё соизмерять. К тому же я не хочу прослыть сумасшедшей… А основания-то для «вознаграждения» таковым ярлыком, сам понимаешь, имеются…

— Мало того, всерьёз замахиваясь на современную науку, ты всерьёз замахнулась и на религию. Автор «Василисы» спрашивает: ежели существуют Бог Отец и Бог Сын, тогда нужно признать и существование Бога Матери?

— И в знаках (тут мы подходим к моей трактовке алфавита) это находит своё выражение: Мать-ерь и Дочь-ерь. И Душа Светлая. А там — Дух. Тоже — Светлый. Так бы я сказала относительно Духа. Потому что слово «свят» ничего не выражает. Нет такого слова.

— Если бы наш разговор подслушал уже упомянутый Георгий Гачев, он тут же бы перевернул эти два понятия: «мать» и «тьма». Стало быть, Лариса Васильева не единственная, кто мыслил в этом направлении?..

— Совсем нет. У меня вообще на сей счёт — никаких амбиций. Я была бы счастлива, если бы геоэкологи всё это увидели-услышали, подстроились бы к этому мышлению и развили его. Я готова сотрудничать с любым физиком, даже с атомщиком, который портит атмосферу. Я хочу, чтобы они что-то поняли из того, что я — через Василису — пытаюсь донести. И вот когда я начинаю искать в христианстве Мать-ерь, Дочь-ерь и Душу Светлую, кроме того, что есть Отец, Сын и Дух Святой, — я понимаю: тут уже всё полноценно, и от этого происходит рождение, плодоношение. Лев Толстой однажды понял, что Святая Троица неполноценна — от неё ничего не родится: от Отца, и Сына, и Духа Святого. А ведь нет ничего на свете более совершенного и необходимого, чем продолжение рода — рода Земли, растений, животных и человека. Всего на свете. Всё — живое, даже — камень. Он лежит, а сколько в нём звуков, мы не слышим.

А то, что мы состоим из воды?.. Твёрдость кости — вопрос температуры. Кость тут же тает, если это будет огромная температура. Кость превратится в желе. А желе тоже какая-то форма воды. Я считаю, что мы на сто процентов состоим из воды. И вопрос — только в температуре. И тут я начинаю раздумывать: где Бог? Я хочу понять: кто такой Бог Сын? На Земле Он — Иисус Христос. А там, наверху, когда Он уходит туда, Он — Бог Сын. Тогда всё на месте.

— Почему же христианская религия не включает в Троицу Богородицу?

— Богородица вообще находится в стороне.

— В России Её почитают.

— А не включают потому, что Она не разделена — на Бога Мать-ерь и Бога Дочь-ерь. На Земле Она — Богородица. На Земле Он — Христос. На Земле Она ему Мать, и на Земле Он Ей Сын. Однако когда Она наверху, Она — Бог Дочь-ерь. На Земле Христос и Богородица находятся в отношениях противоположных. Он — Сын, Она — Мать. Но на небе Она — Бог Дочь. А Христос — Бог Сын.

— То есть получается, на небе они — Брат и Сестра?

— Когда я лезу в это зерно, в этот оплодотворительный предмет, в это земное семя, там всё очень непросто. К Иоакиму и Анне ангелы приходили и оповещали. Приходили двое. Это — по поводу Богородицы. А по поводу Христа приходил один. И вот здесь-то какая-то одна хромосома и теряется. У меня тут недодумано…

Но подхожу к самом главному — я должна была прочесть первую главу Библии. Но не просто прочесть, а выполнить её дешифровку. Но как я это могу сделать? Только атомизировав алфавит. Беру каждую букву — каждую звукву — в глаголице и кириллице. То есть парно — две буквы. И помещаю их в «О» — окружность. Близко к краю. И они начинают разговаривать! Каждая буква говорит одно и то же: «Я Бог ваш…» Я — это «Аз», «Азь». Они всюду и всегда двойные. У каждого народа (в книге у меня это показано) в алфавите присутствуют он и она. Там, где мужское начало, тут же рядом — начало женское. У нас конкретно — «Аз» и «Азь». То есть это Мать-ерь — Дочь-ерь. Всё сходится. Поэтому я ничего тут не придумала. Итак: «Я („Аз" и „Азь") Бог ваш говорю (глагол) добро есть (потерянная „ёть") жизнь Земли…» «Ёть» то появляется, то теряется. Потому что «ёть» — это буква совокупления. Продолжаю читать: «…добро есть совокупление всей Земли. Говорю это вам твёрдо: вас двое…»

Неужели это и есть Божье послание?! Проще пареной репы. Но совокупление — самое главное на Земле! Что главнее этого?.. Ведь мы все — результаты совокупления. Просто человек так испохабил сей акт (он акт и факт), что чуть ли не превратил его в первую древнейшую профессию. Сколько страданий и переживаний связано с этим очень простым и ясным, даже, я бы сказала, светлым мигом, когда соединяются двое — мужчина и женщина. Как трудно это соединить, потому что включается понятие «подходящие-неподходящие фигуры», и тут уже каждый случай — отдельный, и везде — очень часто бывает что-то такое, что впоследствии отражается на потомках, — какие-то кармические явления. Потому что потомок, если нет гармонии в чём-то, становится или неполноценным, или… несёт на себе, как дальнее эхо, череду всяких-разных испытаний-страданий. И сколько я у себя и у других это ни просматриваю, опять всё сходится именно тут: даже в хорошем случае светлому здесь не бывать, если та самая *«ёть»* плохо сотворена.

— Я задам тебе, может быть, самый тяжёлый вопрос, от которого можно уйти…

— Я отвечу на все твои вопросы!..

— Отталкиваясь от твоей главной идеи, что зародыш Земли пребывает на седьмом месяце развития…

— Это же — миллионы лет! Три миллиарда лет!

— И всё-таки: что можно спрогнозировать в отношении будущего Земли, если исходить из того, чтó диктуют тебе твои двойники — Василиса и Михаил Трофимович?

— В том-то и дело, что вперёд нет пути. Прямая скругляется, как две параллельные линии в бесконечности. А три миллиарда — это достаточная бесконечность для нашего слабого человеческого мозга-разума, ограниченного представлениями в лучшем случае о столетиях. И в самом начале у нас — неизвестно кто (от кого мы родились?), и в самом конце — неизвестно кто от нас будет…

— Я всегда говорю: Земля не совсем наша Родина. В повести своей «Изба-колесница», некогда опубликованной в журнале «День и ночь», я веду речь о том, что природа человека и (тут более чем уместна тавтология!) природа природы — не одно и то же. Гармония может быть разлита в природе природы, но при этом дисгармония корёжит природу человека. А раз это так, то мы не совсем от природы природы, или, скажем дипломатично, не полностью от природы Земли… Мы внедрены в неё, пробуем прирасти к ней — плохо или хорошо, и, может быть, то, что мы с ней делаем, — оттого, что у нас иная природа?

— Вот видишь, к чему ты подходишь… Природа очень понятная вещь. Она прекрасно раскладывается на пестики-тычинки, причём пестик — женского рода, а тычинка — мужского, хотя мы думаем, что наоборот. В животном мире на каком-то этапе — там, где млекопитающие, где самодвижущиеся существа, которые могут оторваться от земли, побежать, полететь, догнать, прижать, сожрать, — уже начинается другая природа. В этой природе есть такое движение, которого нет в природе растений. А что мы знаем вообще?.. Ведь мы же язык растений и животных не учим. У кота хвост качается — сколько он говорит! А усы-антенны? Что они улавливают и сообщают? Мяу — это ж всего только один возглас. Повернулся — уже что-то сказал, а мы не знаем что. Лапу поставил не так, как обычно, — это что-то да означает. И вся его природа нам неведома, потому что мы не хотим знать этого языка. Мы на своём языке разговариваем с ними…

— Упокойного пермского поэта Алексея Решетова есть на сей счёт стихотворение:

Я, как волк, появился в апреле
В этом яростном мире большом.
Мне авдотка играл на свирели.
Я лежал на земле нагишом.
Объясните-ка мне, буквоеды:
Мы не волки — а плечи сильны,
Мы не волки — а головы седы,
Мы не волки — а песни грустны.

И когда я ночные потёмки
Пью вприкуску с гусиным пером,
Я-то ведаю, чьи мы потомки,
Разрази Чарльза Дарвина гром!

— Дарвин, он прислуживал церкви. Породил дарвинизм, взятый на вооружение материалистами. Хотя сам Дарвин не был материалистом. Он был чистым идеалистом. Но то и другое в нём не совпало. Он не смог найти гармонию в самом себе. И мы не виноваты, что он вдруг выскочил со своей идеей и все радостно запрыгали: «А мы произошли от обезьяны!» Я сыну, который ходил в школу в Англии, сказала: «Ты — не от обезьяны! Ты произошёл от меня и от отца». Он: «Я же двойку принесу!» Я: «Неси двойку!» Его, к счастью, по этому поводу не спросили.

Надо помнить: *там* есть заведующий. У всех у нас. Даже — у тех, кто понятия не имеет, что он такое.

— Давай уточним: заведующий — это не Бог? А некая субстанция, которую можно перевести как ангела-хранителя?

— Можно вполне. Заведующего можно найти и среди икон. Вот у меня есть одна заведующая. Не уверена, что сила её до конца мною продумана, но она мне очень помогает. (Показывает иконку.)

— Богородица?..

— Владимирская…

— Та самая, которая и власть даёт, и не единожды отводила беды от Русской земли?

— Да. В своё время к ней пришла Екатерина II… И, судя по тому, что она тридцать лет просидела на российском троне, Богородица, наверное, посчитала: лучше такая, чем другая. Богородица очень благосклонно отнеслась к Елизавете Петровне, хотя наградила её падучей болезнью. Когда пришёл Гришка Отрепьев — Лжедмитрий, она ему недолгий срок отпустила: выкинула из Кремля, как собаку. Она ко всем относилась по-своему. Если заглянуть в древнерусский Киев, то выяснится: ещё с тех давних-давних пор это очень гнилое место. Там всегда было то, что сейчас происходит. Князь Андрей Боголюбский остро это чувствовал. И даже когда его отец Юрий Долгорукий получил ярлык на владение Киевом, Андрей сказал отцу, что из Киева он уйдёт. И ушёл. С Богородицей. Она его за собой повела. Киевская Русь пала. Ведь они же, князья, дрались между собой — убивали друг друга. А здесь, на суздальской земле, стала создаваться Россия. Брак Евдокии и Дмитрия Донского повёл Евдокию в Москву, а вместе с ней — и эту икону. Мать попросила сына Василия (он тогда Москвой правил), чтобы икону принесли в Москву, и они встретились у нынешнего Сретенского монастыря, где икона Богородицы Владимирской и была передана в руки Евдокии Московской.

— Но где сейчас эта икона?

— Она находится не на своём месте, не в Успенском соборе Кремля, где должна быть, но и не в плохом: на задах Третьяковской галереи, в храме Николы в Толмачах.

— Наши правители знают силу этой иконы?

— Я видела, как Патриарх Московский и всея Руси благословлял ею Президента России.

Лариса Васильева

И скошен поздний хлеб

Собирая воедино стихи разных лет, заметила я в них одну особенность: за годы, в которых они отлежались, с ними случилось нечто. Словно ви́на, окрепли и переменились. Повзрослели. Набрали силу. Но далеко не все.

Журнал, издаваемый Мариной Саввиных, называется необычно — «День и ночь». Он уверенно держит образы природы в своих ещё молодых руках.

Я с удовольствием передаю Вам, Марина, для журнала подборку моих стихотворений, не вошедших в книги. Некоторые даже не изданы. Тематика их типична для моей лирики 70–80-х годов XX века. Это были годы моих увлечений словесным рисованием. Есть перекличка с некоторыми строками из «Льняной луны». Стихи «И скошен поздний хлеб» очень близки мне — мотивы общественной вины и невиновности.

С приветом, Лариса Васильева

• • •

Поворотных речек плавни,
зазеркалье озерка.
И повсюду жёстки камни.
И везде трава мягка.

И на всё свои заплаты
времена и люди шьют.
Гор шатровые палаты —
это Северный Приют

зазывает издалёка,
на транзите тормозит,
издали — ласкает око,
близко — холодом пронзит.

Горы издали покаты,
и вершины не остры.
Люди издали богаты,
люди издали добры.

Я всё знаю.
Я всё вижу
на излучине пути.
Отчего так тянет ближе,
ближе, ближе подойти?

• • •

Покрылся бурой ряской
прудок в кустах.
Забор зелёной краской
насквозь пропах.

В саду повисли груши,
красны с боков,
как маленькие туши
крутых быков.

Сидит малыш на грядке,
про всё забыл,
играет с солнцем в прятки,
глаза смежил.

Прикроется ладошкой:
— Ищи-свищи!
Заправлены картошкой
мои борщи.

Янтарно брызжет масло.
Стрижи поют.
И всё на свете ясно
на пять минут.

• • •

А я стыдилась прежде
признаться, что твоя,
следила, на одежде
чтоб не было репья,

лукаво и окольно
ютилась у огня,
тебе бывало больно
за жалкую меня.

Случилось же такое —
ума не приложу —
в открытую с тобою
по улице хожу,

в студёном небе тает
мальчишье:
— Улюлю!
Никто кругом не знает,
что больше не люблю.

Горючий брод

I.

Голосом лучшего друга
мне напевала пурга.
Стихла колючая вьюга,
смолкла — и вся недолга.

Что же мне слышится это
дикое, злое до слёз
в отзвуках лёгкого лета,
в песенном звоне берёз?

Может быть, эта тревога —
эхо минувших обид?
Может быть, гордо и строго
Время со мной говорит?

Может быть, тайны в природе
водят беседы вольнó?
Может, не всякой породе
слышать такое дано?

Чем отозваться на звуки,
явственно слышные мне?
К солнцу протянуты руки,
что обгорели в огне.

II. Облик музы

Вот она в нежданном дне
то надвинется вплотную,
дрогнет в левой стороне
и застынет одесную.

Непохожая на тех,
нарисованных иными:
глаз бездонных горек смех,
в шали с прядками седыми.

Говорить она велит
без опаски и оглядки,
господин Великий Быт
перед нею не в достатке.

Не зову её, а жду,
не люблю её — желаю,
принимаю как нужду,
как надежду — отпускаю.

И уходит — не сдержать,
миг назад близка — чужая,
и опять — учись дышать,
плотный воздух разрушая.

III.

Опять весна нас посетила,
опять за песнями гонюсь,
и всех обидевших простила,
перед обиженным винюсь.

Свет неба надо мной прозрачен,
вода речная глубока,
и каждый возглас многозначен,
как плеск волны о берега.

Но почему-то в каждом звуке
и в набегающей волне
я слышу отголосок мýки,
завещанный веками мне.

IV. Простота

Плакали приветливые стены,
улыбался хмурый потолок,
в тщетном ожиданье перемены
ветер страхи улицей волок.

Женщина стояла на пороге.
Озарила потемнелый миг,
обтерлá натруженные ноги
о шершавый серый половик.

Я её сестрою величаю,
мягко отстраняет:
— Погоди,
поднеси-ка мне с дороги чаю,
суетой его не остуди.

Села.
Не корила, не хвалила,
не просила к чаю сахарку,
невзначай мне слово обелила,
обломила чёрствую строку:

— Ладно ли искать в далёкой дали
лебеду, что под твоим окном?
Ладно ль утоплять в густой печали
голубой и ясный окоём?

Ты умеешь мучиться и помнить,
каяться, смеяться, забывать,
полный неожиданностей полдень
можешь синим сумраком назвать —

это время в кровь твою проникло
и гудит, как ветер в проводах,
а ко мне ты просто не привыкла,
да к тому ж не в тех ещё годах.

Слушай!
Не перебивай напрасно:
искренно — не то же, что свежо,
просто, милая, не всё, что ясно,
истинно не всё, что хорошо.

Словом можно в стужу отогреться,
словом можно мир заледенить —
никуда от этого не деться —
вот решай, как дальше будешь жить.

И ушла.
И я не побежала.
Не вернула и не позвала,
молча вслед глядела и дрожала,
будто виноватою была.

* * *

И скошен поздний хлеб.
Закат пошёл по сини.
Черным-черна земля,
и не видны межи.
Мы—дети трудных лет.
А кто в России
дитя нетрудных лет, скажи?

От серого дождя
устали луговины.
Горяч комок земли
в сомкнувшейся горсти.
Никто не виноват—
и все кругом повинны,
но некому сказать:
«За всё меня прости!»

Какой тревожный день!
Какой высокий берег!
Теченью вопреки плывущий плот.
Какой нелепый сон:
зачем-то стая белок,
согнувшись под дождём,
проходит реку вброд,

навстречу ей дугой
взлетает эстакада,
и падают во тьму
седые облака…

На, выпей, дорогой,
из тонкого стакана
прохладной и густой
надежды полглотка.

Нет, сердцу не отдать
тяжёлого богатства:
всё видеть самому,
ни слова не забыть,
и есть о чём рыдать,
и есть над чем смеяться,
и есть кого жалеть,
кого любить.

* * *

Хмурая туча—это я,
если на всех сердита.
Солнечный лучик—это я,
если душа открыта.
Быстрая речка—это я,
если спешу куда-то.
Тёплая печка—это я,
если теплом богата.
Пташкина клетка—это я,
если хитрю с тобою.
Вешняя ветка—это я,
если с твоей любовью.

Снег

Упругий красный гребешок
застыл в сугробе оперенья.
Уснул куриный городок,
привыкший спать без сновиденья,
и засыпающий легко,
и просыпающийся просто,
усевшийся недалеко
на жёлтом дереве помоста.

Уходит птичница домой.
Идёт. Ей ветер дует в спину.
На лбу клочок незавитой
скрывает раннюю морщину.
А дома—комнатная тишь,
всё накрахмалено и бело,
как будто белопёрых птиц
она забыть не захотела.

Ей часто ночью снится снег
средь зеленеющего лета
и незабытый человек,
которым сердце не согрето.
Восстав от тягостного сна,
отбросив все его волненья,
привычно распахнёт она
ворота своего владенья.

И шум, и гам, и топот тут
днём ни на миг не умолкают,
и волны белые бегут,
и гребни алые взлетают,
и будто не было вовек
ни одиночества, ни скуки,
и тёплый-тёплый белый снег
доверчиво идёт к ней в руки.

* * *

Тихо. Рассвет занимается.
Белой кувшинкой качается
в во́лнах небесных луна.
Времени вспышка мгновенная—
женщина неоткровенная
к дому подходит одна.

Ключ о замок цепляется.
Дверь, заскрипев, отворяется.
Женщина сбросит платок,
сядет к окошку, расплачется,
будто за счастье расплатится,
горького выпьет глоток.

Ах, как отчаянно кается,
слабость клянёт, зарекается,
гордость поругана в ней…
Солнце в оконце заблудится,
глядь, и беда позабудется—
не было б горя сильней.

Марина Саввиных

Сердце-алмаз, или Кто наградил Адалло

1.

Майские праздники 2015-го я встретила в Махачкале. В моём родном городе на тополях и берёзках только-только проклёвывались первые листочки, а столица Дагестана уже утопала в свежей зелени и цветах. Всюду — нежно-зелёный, розовый, белый. А ещё красный — словно каспийский берег, улицы и парки захлестнул кумачовый ветер. Махачкала готовилась к параду Победы. И чувствовалось, что это не пустая формальность. Вот стайка ребятишек выпорхнула из школы — у большинства к воротникам курточек приколоты гвардейские ленты. Такие же — у многих прохожих на улице. Ленты, флажки и всевозможную праздничную символику можно купить на каждом углу, и торговля идёт бойко — люди охотно выражают своё отношение к предстоящему событию, которое в этом году обрело — казалось, уже безвозвратно утраченный — смысл.

Открытая, приветливая, гостеприимная, как всегда, и уже по-свойски ласковая, Махачкала на этот раз показалась мне детски беспечной, словно и не было здесь ещё так недавно стрельбы, взрывов, унёсших многие жизни, словно не было и нет противостояния сил, готовых в любой момент ополчиться друг на друга и принести новые жертвы на алтарь вражды… Люди хотят верить в добро, радоваться наступившей весне, любить, растить детей, чтить и поминать предков. И делать это — так, как привыкли. Как на роду написано. Оказывается, за это иногда приходится платить непомерную цену.

Отправляясь в гости к выдающемуся аварскому поэту Адалло[1], мы с Миясат[2] договорились, что не будем затевать с ним разговоров о политике. Но разве можно, говоря о поэзии, то есть о красоте и безобразии, о справедливости и подлости, о добре и зле, избежать опасных поворотов?.. Наша беседа, занявшая два незабываемых вечера, сама собой «притянула» основной вопрос эстетики и морали: возможно ли человеку, устроенному Творцом для созидания и всеобщего блага, счастливо и в то же время честно жить на земле?

2.

От Адалло буквально струился свет… но не сразу мне удалось избавиться от… предубеждённости? настороженности? Я слышала о нём столько нелицеприятных определений, из которых «старый ваххабит», пожалуй, самое мягкое. А передо мной — седой, как лунь, Дон Кихот со смеющимся взором. Смотрит с явной симпатией и откровенным любопытством. Старец-дитя. Поэт. Читает стихи на аварском. Ни слова не понимаю, но музыка его речи — завораживает. И когда Адалло начинает повторять те же строки по-русски — догадываюсь, почему меня так увлекло его чтение. Дело не только в звуках (хотя звукопись Адалло считает основным инструментом своей поэтики). Главное — энергия смысла, космическая перспектива, с высоты которой начинается разговор с читателем-собеседником.

3.

Адалло. Поэзия как предсказание и борьба
4 мая 2015 года

Мне восемьдесят лет. Даже с лишком. Между прочим, мужчины до шестидесяти лет отбрасывают

1. *Адалло Магомедович Алиев* (15 февраля 1932 года, Урада, Дагестанская АССР — 30 августа 2015 года, Махачкала, Дагестан) — дагестанский поэт, прозаик, публицист. Известен как классик аварской поэзии и один из самых жёстких критиков существующего в Дагестане политического строя, ведущего — по его словам — курс на деэтнизацию и деисламизацию дагестанцев. Писал стихи и начал печататься ещё в школьном возрасте. Был приглашён на работу в республиканскую газету «БагIараб байрахъ» («Красное знамя»). Окончив в 1965 году Литературный институт им. А. М. Горького, работал референтом общества «Знание», редактором журналов «Соколёнок», «Дружба», газет «Путь Ислама», «Мосты». С 1990 года возглавлял аварскую секцию Союза писателей Дагестана. В 1992 году вышел по политическим убеждениям из членов Союза писателей СССР и оставил работу в Союзе писателей Дагестана. Автор более тридцати книг на аварском и русском языках. Отдельные произведения вышли в свет за рубежом на турецком и других языках. Основные творческие работы: «Птица огня», «Тайные письма», «Алмазное стремя», «Воспоминания о любви», «Годекан», «Живой свидетель». Не менее 20 стихотворений переложены на музыку.
2. *Миясат Шейховна Муслимова* — поэт, журналист, переводчик, филолог; член редколлегии «ДиН». Живёт в Махачкале.

свои годы, а после шестидесяти — добавляют. (*Смеётся.*) Какой мудрец! Столько лет жить и только в конце жизни догадаться — я только в последние годы обнаружил, почему чиновники так не любят талантливые произведения… я тайну открыл, об этом никто ещё не знает! Оказывается, надо сделать так, чтобы существовала литература, поэзия… и чтобы она была посредственной. Почему — посредственной? А потому что — поэзия учит людей видеть правду! Если поэзия не несёт правду, она уже не поэзия. Поэзия вся пропитана правдой. Поэтому поощряется посредственность. Лауреаты… то, сё… Телевизор… зачем? Да чтобы глушить! Чтобы заменить в мозгах у людей представления… чтобы люди вообще не имели понятия о поэзии. Вы поняли мою мысль?

…Они вывели породу этаких литературных «гусей», которые чуть-чуть бегают, чуть-чуть летают, чуть-чуть плавают… Недавно я дал большое интервью «Литературной России», оно было опубликовано… там тоже я высказал эту мысль…

Так вот, эти «гуси» действительно думают, что они владеют поэзией. А на самом же деле я встречал людей: сапожник, каменщик, чабан — мастер чего-то, — если он любит свою работу и делает её аккуратно — слушай! — великолепные собеседники поэзии! А тут — пятнадцать книг изданы, поэты, лауреаты! И не ведают, что такое поэзия. «Гуси», «гуси»… Самое ужасное — это то, что людям проще слушать телевидение, радио — слышать, что о ком-то говорят: он — поэт! Правда, я имею в виду только аварскую литературу — я не имею права говорить о других литературах, потому что я не умею на кумыкском читать, на лакском… и вторгаться туда я не могу.

…Я плохо отношусь к переводам. Особенно — к русским переводам. В моём родном селении, в горах, академик Н. Ф. Яковлев из Москвы обнаружил камень в стене… с письменными знаками… этому камню полторы тысячи лет. Его расшифровывал ещё академик Марр. Но расшифровке это не поддаётся. Единственное, что он сказал: это один из языков древней Албании. Так это как раз один из языков моего селения! И историки нашли, что на этом языке изданы были книги! А современный поэт, который плавает где-то между небом и тучами, пишет о том, что наши предки не умели даже держать карандаша в руках!.. И никто не думает: а вот эти аварские поэты… откуда они черпали свой великий, богатый литературный язык? Для того чтобы создать литературный язык для поэзии, нужны сотни и сотни лет! Национальная политика российская была настолько груба, бессмысленна, безграмотна и зверски вредна для культурной самобытности народов Кавказа. Тысячелетние традиции были насильственно прерваны!

…Подстрочники при переводе — это слепая вещь. Я работаю над строкой — до тех пор, пока она не подчинится мне так, как надо… до тех пор — я её никуда не выпускаю.

…Могу ввести вас в историю: в тысяча восемьсот семьдесят седьмом году, после пленения Шамиля, на Кавказе против России были большие восстания… это было страшно подавлено. И много могил наших авар… там, у вас, в Сибири, в Красноярском крае… Я покажу вам книгу — «История Гидатля». Почему такая большая, тяжёлая книга? Кто её не похвалит — тот ею получит по голове. (*Смеёмся.*) Пусть попробует кто-нибудь поругать её! Мне пришлось очень много в архивах копаться. Тысяча восемьсот семьдесят седьмой год. После этого как топором была обрублена аварская поэзия. Она состояла из любовной лирики и поэзии героической, воспевающей воинскую удаль. Это потрясающей силы стихи! А после этого поэзия прекратилась начисто. Есть действительно могучий классик аварской поэзии. Махмуд из Кахаб-росо. Он был убит. Я не очень высоко его ценил, но позднее пересмотрел своё отношение. Этот человек знал мощно восточную литературу. Он выводит в своих стихах таких героев, о которых мог знать только очень просвещённый человек! Так не мог же он писать только любовные стихи!

Хочбар[3] в пламени выдержал несколько секунд! а мои соплеменники из Ахульго в самое жаркое время лета… без воды, без пищи — сколько выдержали?!.. И представить себе поэта, который в то же самое время жил в селении, откуда был виден Ахульго, — и чтобы он никак не откликнулся на это?! Такой поэт, такая громадина! Как мог?! Я удивлялся… как он мог видеть такую трагедию Народа, такой героизм — и не отреагировать… в мире ещё не существовало такого бытового героизма… женщины снимали одежду со своих убитых мужей и занимали их место…

Русский офицер усыновил пленного мальчика, дал ему свою фамилию и, когда тот вырос, отправил на службу в армию. Царь смотрел войска и спросил: есть ли жалобы какие-то у кого-нибудь?.. что вы хотите? — выйдите из строя… Вышел этот Парамонов… «У меня есть». — «Что вы хотите?» — «Восстановить мою родную фамилию».

И восстановили же — в офицерском звании. Как раз из Ахульго был этот человек.

3. Хан заманил к себе обманом гидатлинца Хочбара и приказал своим слугам схватить его, а тот — прыгнул в костёр, захватив с собой двух ханских сынков… там они и сгорели заживо.

Имея великое образование, память, талант, вряд ли Махмуд мог ограничиться одними любовными стихами… он не мог! Значит, стихи героические у него всё-таки были! Но они были уничтожены. Его отец считал, что Махмуд занимается неподобающим делом, стишки какие-то сочиняет. Но стихи эти были уничтожены не отцом, а большевиками. Почему? Потому что большевикам нужно было растлить дух народа… Вот что им нужно было.

…Поэзия — это предсказание и борьба. Даже в лирическом стихотворении, о любви к женщине, должна где-то в глубине присутствовать борьба. Вот — песня о Хочбаре. Считается, что это он сам поёт. И что вроде бы он не сгорел, а выбежал из огня. А на самом же деле эту песню сочинили другие люди, и я совершенно случайно узнал, почему это было сделано, откуда взялась версия, что Хочбар не сгорел, а убежал. На это свет проливает другая история. Бахтику, сестру аварского хана Алихана, выдали замуж за карабахского хана. Она говорит брату: не выдавай меня туда. Он отвечает: как же не выдавать, если моя казна заполнена деньгами этого хана? Неужели нам деньги не нужны? Смысл этого стихотворения какой? Брат её продаёт! Душу народа, дух народа… так для меня Бахтика и Хочбар — одно! Почему я это вижу? Почему поэт скрыл от меня то, что я вижу? Что Хочбар выбежал из огня?.. А потому что образ Хочбара был бы ущемлён! Во-вторых, этому величайшему поэту — он был величайшим из величайших, потому что вложил это в стихи… он должен был сказать: придёт время, когда нам нужны будут молодые люди, которые, как Хочбар, могли бы войти в пламя за родину, за честь, за достоинство… но вот здесь как раз и есть предсказание… это — Ахульго…

…Плохой, мелкий, гадкий человек не может быть поэтом. Но сейчас — люди очень озлоблены. Завистью ослеплены. Если бы вы знали, что пишут обо мне. В… как его?.. в Интернете. Часто — талантливые люди. И пишут — талантливо. Алкаш, говорят. Когда нечего выпить, говорят, он идёт на христианское кладбище, и там выброшенные бутылки — после поминок — выливает остатки и пьёт… (*Смеёмся.*) Это ли не талант — такое придумать?[4] Поэт… в нём есть что-то такое… он не может быть вредоносным… Иначе в том, что он пишет, обязательно будет фальшь. Если не сразу, то рано или поздно это заметят обязательно. Я уже говорил это: поэт должен быть чище падающей с неба снежинки. Я очень часто употребляю это выражение: Коран ниспослан в стихах. Достойные, настоящие поэты об этом не забывают. Там говорится о том, что поэты — это люди, которые говорят то, что им Сатана внушил. А Сатана подслушивал где-то там, в небесах, и оттуда им нашептал… и — посмотрите, сказано: они блуждают в долинах бессмысленно… поэты… но те, которые чисты, приравниваются к пророкам… хотя такого слова там нет, но очень высоко ценится дело поэта… там, при Коране, видимо, тоже знали, что поэты могут много[5].

…Если ты ждёшь от государства чего-то — ты его раб. Ты будешь ждать, что его слуги тебе скажут. Ты уже не поэт. Ты рождён для того, чтобы драться с ними до конца! Кто, кроме тебя, будет с ними драться?

Миясат. Всегда — драться?

МС. Истину царям с улыбкой говорить?

Миясат. С улыбкой и драться — это же разные вещи!

МС. Но — истину же говорить?

Миясат. Но всегда ли надо драться, чтобы истину говорить?

Адалло. Истину говорить — это и есть драка. Один «поэт» оказался за границей. Ловчил, мошенничал, что угодно… другой «поэт» — спился,

4. Адалло — мусульманин, он вообще не прикасается к алкоголю.

5. Я так поняла: чистые души, поэты, пропуская через себя, очищают это сатанинское наущение.

6. Устаз — дословно с арабского: учитель. В данном случае — это шейх, который обучал своё время, как правильно блюсти Ислам. Саид-афанди Чиркейский (Саид-афанди аль-Чиркави) — самый известный среди шейхов современного Дагестана, обладающих правом распространять тарикаты «накшбандийа» и «шизалийа», передавать их своим ученикам. По разным оценкам, его мюридами являются от 10 тысяч до 25 тысяч человек, проживающих в Буйнакском, Кизилюртовском, Хасавюртовском, Шамильском, Гергебильском, Гумбетовском, Казбековском районах Дагестана, а также и в других российских регионах — Сибири, Центральном федеральном округе и Поволжье. Последователями Саида-афанди являются представители многих дагестанских народов. В совместных радениях или зикрах (упоминание имени Аллаха) шейх Саид Чиркейский собирал, наряду с шизалийцами, накшбандийцев и кадирийцев. По его мнению, нет принципиальной разницы между этими тарикатами, ибо все они — пути, ведущие верующего к Богу. Среди почитателей Саида Ацаева — высокие государственные чиновники и крупные предприниматели. С середины 1990-х годов всё руководство ДУМ Дагестана принадлежало к числу приверженцев Саида-афанди, хотя сам он не принимал непосредственного участия в общественных мероприятиях. Саид Чиркейский говорил, что между шариатом и тарикатом нет принципиальных различий. Шариат, по образному выражению Саида-афанди, сравним с кораблём, тарикат — с морем, а истина (хакикат) — с жемчужиной, добываемой из моря. По его мнению, чтобы «объединить или собрать мусульман воедино, необходима партия». Саид-афанди считал, что какая-то часть Конституции Дагестана должна соответствовать Корану и сунне. Саид-афанди Чиркейский был убит в 2012 году террористкой-смертницей.

валялся где попало на улице… но — добавляю — ни тот, ни другой не были поэтами. Тот был бизнесмен от литературы, а этот — графоман. Я вот написал сегодня: «Оторванный от Творца, человек не может быть свободным». Хочешь узнать, какие премии я получил за литературную деятельность?

Мне позвонил Чиркейский устаз[6]… который потом взорван был… он хотел, чтобы я прочитал ему одну поэму, ещё не опубликованную. Я поехал к этому муфтию. Он был там с несколькими мюридами. Я начал читать поэму. Это большая поэма. Часа три с лишним я читал. Надо было это читать с комментариями. Там есть места, которые они могли не понимать. Такого внимания я нигде никогда не имел. Настолько они внимательно слушали! Свою поэму я знаю наизусть — и мог бы читать наизусть, но читал с бумаги, потому что хотел следить за выражением их лиц, как они воспринимают, потому что я подверг критике их духовенство. Но — справедливой. И что же? Никаких вопросов, никаких выступлений… выпили чай, вышли на дорогу. Все, во главе с устазом. Провожать меня. Я подаю каждому руку. А устаз, великий устаз — в конце стоит… как только я подал ему руку — он поднял к своим губам мою руку и поцеловал. Мою руку. А я терпеть не могу такие вещи, но раз он дал повод — давай я тоже его руку тянуть к себе… нет! Не дал! И — слава Богу! (*Смеёмся.*) И тогда он сказал: «Адалло, ты не думай, что это ты написал эту поэму…» Я подождал: что-то он скажет… «Когда ты её писал, — говорит, — над тобой витал ангел, который каждую букву кидал под твоё перо». Никогда никто в мире такую оценку не получил! Это я — получил! Слышишь? (*Смеёмся.*)

Другая награда связана с героиней моей поэмы по имени Анисат. Смотрю, что-то Хадижат моя… невнимательна ко мне… что-то хмурится… что-то не то… я терплю… наконец выяснилось: дело в поэме! В моей героине. «Кто она такая?» — говорит. Я не понял сначала: «Кто — кто такая?» — «Эта Анисат?» — «Да это выдумка моя!»

Не поверила! И тогда я сделал вывод: Адалло — лучший поэт! То, что она поверила, — чем не оценка литературная?!

В Хунзахе были какие-то спортивные состязания. Из близлежащих районов туда тоже ездили смотреть. И мои племянники ездили туда. Один человек, который смотрел эти соревнования, спросил: «Откуда вы?» Они сказали, из какого они селения. Он дальше спрашивает одного из них: «Адалло знаешь?» — «Знаю. Я — племянник его». Этот человек суёт в карман руку, вынимает пять рублей и дарит ему. Совершенно неизвестный человек… Чем — не премия? Вот такие у меня премии. (*Смеёмся.*)

…Стихи требуют очень большого здоровья. Физического. Я уже написал последнее стихотворение. И на этом завершаю своё творчество. Месяца три-четыре тому назад я проснулся от собственных слов. Которые составлялись в стихотворные строки. Я включил лампу и записал это себе вот здесь. Это очень грустное стихотворение.

Я тороплюсь, дорогой друг,
Оставить этот мир, жизнь,
Уйти туда… далеко,
И вечно стремится в груди
Сердце
Увидеть то место,
Где ты будешь вечно.
Когда посчитаешь эти годы,
Прошедшие годы, и подумаешь —
Ты увидишь впереди
Усмехающуюся над тобой пустоту.
И когда поднимешься
Над морщинами своих мечтаний
И вокруг поднимутся
Леса вопросов —
Лишь одна пустота
Смотрит на меня,
И она говорит:
Ценнее меня ничего нет.
И падает дождь,
И это, оказывается,
Из моих глаз
Слёзы.
И я был на этой земле,
Послан Аллахом,
И не мог я делать ничего,
Кроме правдивого, правильного,
К хорошему лишь я шёл,
Для друга я делал это. Что поделаешь?..
Вот, мама, я не человек,
Который жаждал славы.
Я сушёный и жаждущий.
………………………
Двадцать или сто лет
Если даже пройдёт,
В сердцах будут обо мне
Горевать
Далёкие будущие писатели,
Возьмут с меня пример.
Оставшийся один-единственный
Горец
Будет глотать слезу
Над моими мечтами…

Это что-то такое… Не смахивает это на «Памятник» Пушкина? (*Смеётся.*)

Время сейчас такое. Люди должны задуматься. Люди нового поколения, во всяком случае. То, что сейчас пишут, я не могу читать. Имею в виду аварскую литературу.

Миясат спросила: нужна ли аварская поэзия русской литературе?
— Нет,— сказал Адалло.— Русской литературе нужны русские поэты. А я по воле Творца родился аварцем и должен работать на этот народ! А не бежать в Москву показать себя!

4.

Миясат Муслимова. В измерении, далёком от политических пристрастий

Удивительная судьба у Адалло: являясь самым большим поэтом современной Аварии, будучи признан народом и ценителями литературы, знатоками родного языка, он остаётся вне литературной жизни республики. Политическая опала не просто сыграла с ним злую шутку, обернувшись поэтическим одиночеством. Политическая опала диагностировала имитационный характер дагестанского литературного процесса, в котором настоящие таланты либо умалчиваются, либо оказываются под явным или скрытым прессом чиновников от писательского союза, руководство которого ориентировано на властные кабинеты. Власть, в свою очередь, полагает, что назначенные ими представлять дагестанскую литературу лица и их подопечные и есть наше всё. Литературная ситуация такова, как если бы при жизни, например, Пушкина, его имя было подвергнуто забвению, а литературная жизнь вращалась в публичной сфере преимущественно вокруг Ноздрёвых или Чичиковых от литературы. Но поэтический голос Адалло живёт в ином измерении, далёком от пристрастий любой политической или литературной погоды. К нему применимы в полной мере слова О. Мандельштама о поэзии как сознании своей правоты. Его поэзия укоренена не в сегодняшнем дне, хотя о нём он свидетельствует как никто, не в традициях советской литературы, открывшей нам много талантливых имён, ярчайшее из которых — имя Расула Гамзатова, оказавшегося вольно или невольно гениальным имиджмейкером республики. Поэзия Адалло не деформирована или не обогащена — как кому удобнее — реалиями советского образа жизни, она так мощно впитала духовную силу и способ чувствования, переживания и выражения национального духа, так органично укоренена в тысячелетиях его существования, что представляет собой единственный, по сути, в дагестанской литературе пример явления кавказского архетипа. Не псевдоэтника, не антуражная образность, не тамадическая мудрость в ожидаемом обрамлении, а кровная, неразрывная связь со своей землёй и с её историей, с голосами тех, кто пронёс через века героику преодоления и ярость сопротивления, стоицизм и бескомпромиссность самостояния — вот что питает нерв поэзии Адалло. Диапазон его поэтического звучания широк и богат, в нём есть всё: тончайший лиризм и обличительный сарказм, дерзкий вызов и медитативная сосредоточенность, ирония, трагическое вопрошание и спокойное приятие неизбежного. Не много можно назвать поэтов, чувства которых с годами, в возрасте старца, звучали бы с той же, если не большей, силой переживания, что и в дни молодости. Жизнь и Смерть сталкиваются в его стихах, и старость становится не столько мерой их ощущения, сколько силой, оттеняющей контраст между верностью Духа самому себе, его вечной молодостью и бренностью тела. Слово Адалло ёмкое и точное, оно никогда не сбивается на общее место или литературную традицию — оно всегда есть сама жизнь, и чуткость поэтического слуха автора всегда есть отражение полноты его существования. Жаль, что непостижимое мастерство звукописи автора доступно только носителям аварского языка. Богатейший язык, а главное — виртуозное владение им, использование аллитерации как носительницы смысловой акцентировки, когда рифмуются не окончания строк, а словно все звуки, перекликаясь и отсылая друг к другу, наполняя новыми оттенками смысла образы и разворачивая целую поэтическую вселенную,— всё это не позволяют передать ни переводы, ни подстрочники. Адалло очень требователен к себе, поэтому скептически относится к переводам и никогда не стремится быть переведённым, полагая, что подстрочники больше позволяют передать индивидуальность автора. Тем не менее его переводили крупнейшие русские поэты: Ю. Кузнецов. П. Кошель и другие. Но это было в доперестроечные времена. И только в этом году к стихам аварского поэта Адалло, автора около пятидесяти книг на аварском и русском языках, живого классика дагестанской литературы, обратились переводчики.

5.

О переводах и переводчиках

Листаю двенадцатый том Собрания сочинений Адалло на русском языке, изданный Дагестанским научным центром РАН в 2014 году. Здесь собраны русские подстрочники аварских стихов, выполненные филологом З. Гаджиевой, журналистом М. Идрисовым и самим Адалло — с обстоятельным разъяснением необходимости такой публикации.

Директор Института языка, литературы и искусства имени Г. Цадасы ДНЦ РАН профессор М. Магомедов пишет в предисловии к книге: «Поэтический перевод обязан стать живым близнецом оригинала и активно включиться в полнокровный литературный процесс на языке перевода.

Естественно, что во имя этой цели — сбережения того главного, ради чего и существует поэзия, то есть сохранения и воспроизведения самостоятельной поэтической ценности, — переводчик обязан жертвовать близостью в деталях второстепенных. Разумеется, для этого он должен быть, во-первых, отзывчивым поэтом, а во-вторых — столь же чутким филологом». И далее: «…бывают случаи слишком резкого несовпадения образных систем в поэтическом языке оригинала и языке, на который переводят, и тогда возникает вопрос о пределах переводимого. Подсознательно чувствуешь, например, что на аварском языке стихотворение является шедевром и звучит божественно (например, многие лирические произведения Махмуда из Кахаб-росо), но при переводе на русский язык — язык совершенно другого строя и со своими особенностями поэтической системы, — к сожалению, ничего не получается, кроме бледного подобия, представляющего бессмысленный набор слов, или адаптации, граничащей с пересказом… в таких случаях лучше отказаться от художественного перевода, чем дать жизнь произведению в искажённом виде»[7].

Но что значит — «в искажённом виде»? Первое же стихотворение Адалло, поразившее моё воображение, знаменитое «Алмазное стремя», я прочла в гениальной интерпретации Юрия Кузнецова. В интерпретации. Не в переводе. Ибо, как выяснилось при знакомстве с русским подстрочником оригинала, стихотворение, включённое в сборники Адалло как перевод, на самом деле — блестящий образчик собственной лирической стихии Юрия Кузнецова, имеющий с шедевром Адалло лишь самое приблизительное сходство.

Текст Адалло:

Я в алмазное стремя
Беспечно вдел ногу —
Засветилось в небе высокое чудо,
Глубокая тайна загудела внизу.
По порогам жизни моей
Потоком потёк Тобот[8] мечтаний.
От стука уносимых камней
Грохот постоянно звучит в голове.

Как летучие сны, померкли солнца,
Короткими встречами опустели луны,
На просторы новых людей
Торопливо помчалась жаждущая мысль.

В каких пустотах небесных
Простился, драгоценный алмаз?
В твоём сердце достойном, нору вырыв,
Как теперь мне хочется заснуть.

Я в алмазное стремя
Беспечно вдел ногу.

Вариант Юрия Кузнецова:

Как только нога моя в стремя войдёт,
Небесная синь, словно гнев, полыхнёт.
Земля задрожит, и разверзнется время,
И, камни влача по иссохшему дну,
Гремя, моё стремя настигнет волну.
Алмазное стремя!

Как сны, проплывают заря и закат,
Неверные луны навстречу летят.
Поведай, где спешится Всадник, гоня
Покрытого пеной Вселенной коня,
Крылатое стремя?!

Я в сердце алмаза тайник прорублю,
Чтоб царственным сном позабыться на время.
Беспечный, во сне я ногою ловлю
Летящее стремя,
Заветное стремя!

Сравнивая два этих текста, буквально физически чувствуешь, как, оттолкнувшись от «зацепивших» его нескольких образов «Алмазного стремени», гениальный Кузнецов увлекается восходящим потоком собственных переживаний и совершенно перестаёт заботиться о том, что, собственно, говорит Адалло. М. Магомедов замечает по этому поводу: «…бросается в глаза, что оригиналу соответствует только половина образов перевода и не соответствуют многие действия и сама структура стихотворения. Здесь введены новые образы, не сохранён „звуковой узор", исчезли дух и настрой оригинала. В этом переводе Ю. Кузнецов вообще не понял идею произведения Адалло»[9].

Но что это за «идея»? В чём заключён «дух» произведения Адалло? И тут всё, что может сделать филолог или переводчик, — это встать на тот же путь свободной интерпретации. Помнится, М. Л. Гаспаров в одном из выступлений перед московскими школьниками провёл убедительное разграничение между «анализом» и «интерпретацией». Меня очень привлекает его подход, так как даёт ключ и к пониманию работы над художественным переводом с языка на язык. Гаспаров утверждает: «При анализе мысль идёт от целого к частностям, при интерпретации — наоборот, от частностей к целому. Ана-лиз этимологически (по-гречески) означает „раз-бор" на части: мы читаем простое стихотворение, понимаем его в целом и после этого пытаемся лучше понять его части, его подробности. Интерпретация (по-латыни) означает

7. *Адалло*. Собрание сочинений. Махачкала: РАН ДНЦ ИЯЛИ им. Г. Цадасы, 2014. Т. 12. — С. 4–5.

8. Река в Хунзахском районе.

9. *Адалло*. Собрание сочинений.Махачкала: РАН ДНЦ ИЯЛИ им. Г. Цадасы, 2014. Т. 12. — С. 8.

„истолкование“: мы читаем трудное стихотворение, мы не можем понять его в целом, но можем понять смысл хотя бы отдельных частей, которые проще других. Опираясь на это частичное понимание, мы стараемся понять смысл смежных с ними частей, всё дальше и дальше, как будто решая кроссворд,— и в конце концов весь текст оказывается понят, и лишь некоторые места, может быть, остаются тёмными». И далее, о «понимании»: «Понять текст, пересказать текст—это значит сделать реконструкцию: какая ситуация описывается в этих словах, или в какой ситуации могут быть произнесены эти слова? То есть речь идёт о понимании только на уровне здравого смысла. Это важно, потому что многие учёные склонны думать, что каждое, даже простейшее, стихотворение есть загадка, ожидающая разгадки, интерпретации, и начинают искать в нём, а точнее, вчитывать в него мысли и концепции, занимающие их самих. В любовном стихотворении Пушкина или Блока один видит поиски Бога, другой—психоаналитические комплексы, третий—отголоски первобытного мифологического сознания и т. д. А это уже не исследовательская работа, а творческая работа по домысливанию и переосмысливанию своего предмета. Конечно, каждый читатель имеет право на такую творческую работу, но он не должен приписывать результаты своего творчества изучаемому поэту»[10].

Адалло настойчиво просит переводчиков не приписывать ему «результаты своего творчества». Какими бы блестящими—как в случае с «Алмазным стременем» Юрия Кузнецова—ни были эти результаты.

Но как же быть? Ясно же, что подстрочники не решают проблемы донесения до иноязычных читателей «идей» и «духа» шедевров, допустим, персидской или кавказской поэзии. В самом оптимальном случае—переводчик должен в совершенстве, как родными, владеть обоими языками; должен быть, как родное дитя, погружён и в ту, и в другую культуру. К счастью, современный кавказский билингвизм даёт эту надежду. Но есть и другой путь. Тот, который когда-то избрал Пушкин, отнюдь не претендовавший на лавры переводчика, когда откликался на латинские оды, или библейские стихи, или Песни «Божественной комедии», или произведения итальянских, французских или английских поэтов. Он предпосылал своему отклику соответствующий заголовок—например, «Из Пиндемонти». И свободно парил на крыльях чужого и собственного вдохновения.

Я увидела в «Алмазном стремени» Адалло—обращение Поэта к Священной Книге. Алмазные скрижали Корана—«посланного людям в стихах»—содержат такое знание о вечном и преходящем, достичь которого возможно только через великую дерзость и великое смирение. Путь Художника—в искушении, близком к безумию, в тяжком труде и тяжких муках—обрести вечный покой в сердце бесценного алмаза, неопровержимой истины.

Из Адалло

Беспечный, как ветер, стремясь за предел,
В алмазное стремя я ногу продел—
И небо рассёк ослепительный свет,
И тайна глубин загудела в ответ.

С тех пор под напором великой тоски
Я мчусь по течению горной реки,
И грохот влекомых потоком камней
Уже в голове не смолкает моей.

И солнца померкли, как детские сны,
И луны разлуки пусты и темны,
А дерзкие мысли не знают узды,
Всё рвутся—
К звезде от звезды…

Бесценный алмаз, из небесных пустот,
Прощаясь, меня твоё сердце зовёт?
Я цели достиг!
Да пребудет со мной
Скрижали твоей покой.

Красноярск—Махачкала—Красноярск,
май—август 2015

10. http://rus.1september.ru/article.php?ID=200204301

Адалло

Заговорит моя слеза

Авторизованный перевод с аварского Миясат Муслимовой

• • •

Детей моих трудных, ягнят неокрепших—кому завещаю?
Никого… Только мёртвые могут помочь, как солдаты, рядами лежат…
Я пугливой, как серна, жене возвращения не обещаю.
Долгим молчаньем смогу ли развеять тоску Хадижат?
Под проливными дождями, под снегом слепящего дня
Много раз я плясал, пел на этой упругой земле.
Нынче ноги иссохли, и я, их недвижность кляня,
Как подрубленный столб, тяжелею, вздыхаю во мгле.
Кому же мне руку подать? Нет рядом родных!
В чужой и далёкой стране одиноко сгорает душа.
У огня её, знаю, никого не согреть из земных,
Из небесных—никто её свет не изведал,
Клокочущий свет…
Он пробьётся, преграды круша…

Этот век

Этот век мне достался, как песне—хребет перебитый,
Эта жизнь мне досталась в эпоху поэтов-рабов.
Столько мук испытавшая плоть, ты ещё не убита?
Дух несломленный мой, ты всё так же могуч и здоров?

Бычий рёв—песни прошлых веков, я поныне их слышу,
Им в ответ содрогаются горы, развернёт свои крылья орёл,
Над потоками пенистых вод поднимаясь всё выше и выше.
В тайне песен отцовских я свой голос и душу обрёл.

Мой родной Дагестан! В доме каждого горца
Есть подпорка для крыши—столб опорный для дома,
В нём изъедены гнилью древесные кольца,
Сердцевина опоры,—предвестие слома.

Мой родной Дагестан!
Те же черви, что столб твоей гордости съели,
Точат сердце моё,
И страдание множится день ото дня…
Твои новые песни никого не согрели,
Отцовские песни в дыму их сгорели.
Мой родной Дагестан!
Уничтожен твой дух.
Но в израненном теле
Неужели не бьётся наследье огня?

Заговорит моя слеза

Я всё стерплю: предательство друзей
И трусость вашу, сытую от дани.
Бей в спину, вор, и досыта глазей
В прицел плевка невежества и брани.

Не преклоню колени перед миром,
Ни перед кем слезинки не пролью,
Не сотворю из смертного кумира
И спину перед вами не согну.

Лишь пред Аллахом встану на колени,
Лишь перед Ним не скрою горечь слёз.
Он—мой хранитель, я—Его творенье,
И лишь Его я в слове превознёс.

Пусть эшафот воздвигнут для меня,
Ведут к столбу позорному, на плаху,
Пусть вешают, за прямоту кляня,
За чистоту, за преданность Аллаху.

И в миг последний так же высоко
Я голову держать смогу, я знаю.
И даже то, к чему меня влекло,
Я перед смертной мукой отвергаю:

Ни лунный свет, ни звёздный ряд
Мой тайный ропот не услышат.
Лишь слёзы с Ним заговорят—
И только с Ним, с одним Всевышним.

Я ещё маленьким…

Со школьных лет был ею ослеплён,
Но лишь сегодня пробудилась память.
«Сквозь толщу дней и череду времён
Зачем меня воспоминаньем ранить?»—
Так спрашиваю гул прошедших лет,
К своим сединам обращаю слово:
«Услышу ли, пойму ли я ответ—
Зачем в мой сон она приходит снова?»
Приподнимая тяжкую плиту
Ко мне идёт, протягивая руки:
«Здесь мальчик был, и я к нему иду.
Не видели? Мы так давно в разлуке…»

О детских глаз печаль и чистота…
Что ей сказать? Молчанье разгадав,
Помедлила, в природе растворилась…
Весной цветком проснётся красота.
Вспорхнёт в саду, взлетит из летних трав
И будет ждать у входа Божья милость.

Со школьных лет был ею ослеплён—
Мы встретились. Как долго длился сон…

* * *

Знаю—
В горах моего Кавказа ещё не рождался Всевышним
Поэт с судьбой, уготованной мне.
О моя вечно бунтующая в этом бренном мире душа!
Придёт скоро и к тебе грозный и милый мне ангел,
Придёт Азраил—ангел смерти.

* * *

Мне невозможно умереть.
Боль моего ослабевшего сердца
Чувствуешь, друг?
К хрупкой груди прильни, словно к младенцу:
Слышен ли стук?
Не безнадёжен ли, как полагаешь?
Быть ли беде?
Глупым речам докторов доверяешь
Или судьбе?
Смогут ли в сердце мелодии птичьи
Вечно звучать?
Будет ли жизнь меня в том же обличье
В мире подземном встречать?
Если мне время—под плиты ложиться,
Разве по-прежнему будет кружиться
Эта земля?
Не погаснет ли солнце,
Не ослепнет луна?
Не притихнут ли реки,
Не замрут ли моря?
Не исчезнет навеки
Тепло очага?
…Звёзды с синего неба
Потекут чередой,
И весь мир в эту небыль
Поверит со мной.
И заплачет над вестью
Тяжёлая тьма,
Это мир как без чести—
Без меня,
Без меня…
Без меня—невозможно.
Слышишь, песня звучит?
Стук в груди осторожный
Всё сильнее в ночи.
Сердце вновь встрепенётся—
Не умею стареть,
И пока слово бьётся—
Не дано умереть.

Олег Балезин

Сломанный гром на весах

Станция, которую не переименуешь

Он любил сиживать с друзьями в летних кафешках. Например, с Серёжей Нохриным. Кто не слышал песен екатеринбуржца Нохрина (хотя бы: «…а всё ж, мужики, ох, поспеть бы нам надо / посеять да сжать от войны до войны!»), отсылаю к наследию Александра Башлачёва, к его недавно обнаруженной переписке с Серёжей, с которым они играли в одном университетском ансамбле. Согласитесь, Башлачёв не стал бы слагать подробных старинных чернильных писем (тогда ещё смс и электронной почты не существовало) абы кому. Как, впрочем, и Нохрин. А у Сергея есть строка: «…и на пустых скамейках нету места». Возможно, она — о Башлачёве, о той череде русских поэтов, расписавшихся на скрижалях судьбы кровью. Когда не стало Серёжи (разрыв аорты!), Балезин посвятил ему стихи, взяв эту строчку в эпиграф. Там — как раз про летнее кафе, про уже ощутимые сквозняки, про то, что «наконец эту точку прихлопнут»:

Голые стулья.
Сидельцев на этой черте
скольких повыдуло,
будто не лето, а Лета
с нами гудела.
Серёга заметил вчерне,
что тесновато теням
на пространстве прогретом.

Теперь уже — ни Башлачёва, ни Нохрина, ни Балезина. «На пустых скамейках» не просто «тесновато», а впритык. Ещё чуть-чуть — и тени начнут вести бои с тенями…

Родившийся в Кунгуре шестьдесят лет назад, где, собственно, жил всё последнее время, как схоронил отца, Олег и в этот раз ехал туда вместе с сыном на машине из Екатеринбурга, чтобы попроведать-поддержать матушку. А до того «прихлопнулась» ещё одна «точка» — старейшая уральская газета «На смену!», которую Балезин, по сути, тянул на себе долгие годы, будучи замом главного редактора.

Однажды я нарёк Олега «екатеринбургским Бальзаком», намекая не только на его физические габариты, но и на диапазон эрудиции, универсальный склад ума. Если бы в журнале «Юность» продолжилась придуманная мною во второй половине 80-х годов прошлого века рубрика «Письма государственного человека», Балезин, несомненно, стал бы одним из её героев. Ещё до закрытия «Насменки!» он написал, а затем издал футурологический труд «Самоспас», возникший словно в противовес вырванной современными лжемессиями из Достоевского «красоте, которая спасёт мир». Олег предлагал спасаться каждому, спасаться самим. И не просто предлагал — указывал конкретные способы спасения с точки зрения смекалистого «земножителя», как определил он себя, подписывая мне книгу. Этим он напоминал своего деда — знаменитого кунгурского архитектора, проектировавшего не просто дома и мосты, а «курс ковчега». Помню, издав свой трактат, Балезин принялся развозить тираж вместе с сыном Ильёй в пространстве от Екатеринбурга до Москвы, вручая выстраданные экземпляры в библиотеки, книжные магазины и тем, от кого зависит принятие решений. Не исключаю, что балезинский «Самоспас» мог дойти и до администрации президента России. Или ещё не дошёл?..

В этом сквозила та самая требующая сужения широта русского человека, о которой упоминал устами Ивана Карамазова всё тот же Фёдор Михайлович. Во всяком случае, на похоронах в Кунгуре (а положили государственного человека в родимую землю рядом с храмом, где покоятся протоиреи) один из одноклассников Олега сказал мне, что «обязательно будет распространять „Самоспас", который, признаться, не сразу одолел, как и булгаковского „Мастера"». Он прав: это продиктовано не только по праву памяти — времена требуют того.

Я позвонил Балезину буквально за день до его нынешней поездки. Не знаю — почему (теперь, увы, знаю). Усталым, одышливым голосом (а ещё хотят сместить пенсионный порог для русских изработавшихся мужиков!) он поведал: «В начале августа должна выйти книга моих стихов. Первая… — тут он споткнулся, — и последняя…» — «Как назвал?» — спросил я после паузы. И был ответ: «Дистанция»…

Через сутки Илья сообщил: «Отец умер от разрыва аорты…»

…На маршруте из Москвы в Пермь есть станция, где поезд делает долгую передышку. Балезино.

Олег сам, шутя, рассказывал, как кто-то из его друзей, ещё толком не проснувшись в вагоне от лёгкого толчка остановки, глядя в окно, прочитал: «Балезин О.». Я всегда звонил Олегу с этой станции: «Не догадываешься, откуда звоню?» Он похохатывал. Отныне уже не услышать его отрывисто-хрипловатого смешка… «Я больше не могу смотреть друзей в гробу. / Латать прорехи в воздухе мне нечем»,—это его же, балезинские слова. Вместе с Нохриным Олег был дикороссом первого призыва, с 2002 года—с выхода в столичном издательстве «Грааль» книги «Приют неизвестных поэтов», составителем которой стал ваш покорный слуга. Дикороссы—поэты «края бытия». Этим они и отличаются от не дикороссов. Прочитайте у Балезина: «Даже когда по цепи золотой / лапками мягкими перебираешь, / круг замыкается, и понимаешь, / что золотая не лучше стальной».

Господи! Сколько уже «прорех» в том самом воздухе?.. В Перми задохнулся от дыма в заброшенном доме Валерий Абанькин. В Томске выбросился из окна Александр Казанцев. В Обнинске, Саратове и Великих Луках ушли «после тяжёлой и продолжительной» Валерий Прокошин, Игорь Алексеев и Андрей Власов… Список, ясное дело, не полон. Фестивальные лавры, прижизненные навеличивания—для одних. Для тех, кто привык разгуливать по золотой цепи. А дикороссы заняты «замыканием круга», «латанием прорех», поиском смыслов. Зато после них остаются станции. Как в случае с Балезиным.

Он завещал нам её, свою узловую, которую уже не переименуешь. Собственную дистанцию пути. Там пыхтит маневровый тепловоз, передвигая составы: «Чем меньше степень пониманья, / как управлять полётом пуль, / тем напряжённее камланье / и лиц значительнее нуль». Там обходчики простукивают буксы: «„Паллада“! На хрустнувших сбоку бортах / напишут красивое имя…» Там диспетчеры уточняют маршрут: «В начале мы то Петербург затеем, / то казаками Сену удивим…» Там вышедший на перрон размять ноги пристальный командировочный, узрев перевозимые на платформе брёвна, замечает: «Не с той делянки рублен лес, / пошедший на стропила. / Хотели храм, а вышло без / ума, тепла, ветрила…»

Не потому ли поэт Олег Балезин и похоронен возле храма?

Юрий Беликов

Гордыня

Прозревая логику богов,
безъязычьем мучаясь и сыпью,
мнишь себя носителем даров,
трубным гласом, на болоте—выпью.
Ходишь, не касаясь этих троп,
с небом разговариваешь ночью.
Заслуживши званье «мизантроп»,
презираешь жрущих и порочных.
Ловишь весть, транслируешь в ответ
колебанья вод, октавы ветра
и на спектр раскладываешь свет
с точностью нездешней геометра.
Целишь горном прямо в высоту,
но сигнал разбудит рядом спящих,
не достигнув даже птиц парящих,
а не то что ангелов в саду.
Вот же му́ка—бисер золотой,
трепетный, брильянтовый, горящий,
рассыпать пред серою толпой,
тупо обретающейся в чаще.
Всё затем, чтоб не забыли вбить
имя над неполотой могилой,
чуждое мычанью севших пить,
шороху листвы берёзки хилой.

* * *

Как бильярдист на кончик кия
или язычник на огонь,
в дисплеи вперилась Россия,
серьёзная—попробуй тронь.
Не пух снегов сегодня образ
покоя, летаргии, сна,
а эта грузная серьёзность
у электронного окна.
Чем меньше степень пониманья,
как управлять полётом пуль,
тем напряжённее камланье
и лиц значительнее нуль.
Вглядевшись словно в темь колодца
или в геральдику небес,
девчонка в никуда смеётся,
прочтя в маршрутке эсэмэс.
Приимчив рукотворный Боже.
На все конфессии забив,
он—проводник любых ничтожеств,
любого праведника лифт.
Намоленная общим кликом,
как обещание красот
торчит в окошках-базиликах
иконка с ликом «Майкрософт».

● ● ●

Ты понял всё… Что каша—из пшена,
любовь—морковь, и женщины—обманка,
в собрании людей хитро и марко,
и вавилонской выделки пожарка
ревнивым Богом нам запрещена;
что россказни Историю творят,
штык—молодец, а пуля, ясно,—дура,
что на фиг не нужна литература,
один С. Кинг—бессмертная фигура,
и то лишь по количеству деньжат;
что подлецы обычно при чинах,
Иван—дурак, и в третьем поколенье
тебя забудут, потому как Ленин
положен здесь для общих поклонений
и памяти. Все остальные—прах.
Ты понял всё… Всё суета сует.
Когда, упёршись взглядами в экраны,
мы смотрим в них, как в черепные раны,
то проблески в отходах так желанны,
но редко их доносит Интернет.
Ты понял всё… Что водка не спасёт.
В крови она накопится, и вскоре,
где стол был яств, там тело в чистом поле,
ну, может быть, при скошенном заборе.
В ширинке—клевер,
а в ноздре—осот.
В деньгах умело спрятан кукловод.
На тысячной купюре
ярославский
звонарь верёвки дёрнет, парень баский,
и ты впрягайся лошадью в салазки,
вози сюда—расход,
туда—доход.
Ты видел всё… Бессмыслицу страстей,
в столетия не высохшую лужу,
в навершье ветер глупый обнаружил
и выпутал из веток без затей.
Ты понял всё… Решил не дорожить
ни запахом сирени, ни участьем
собачьей морды, потому что частью
их посчитал вселенской этой лжи.
Ты понял всё… Доволочась на одр,
последний вдох хвативши, как затяжку,
вобрал в себя, у горла сжав рубашку,
весь воздух до околицы и от.

● ● ●

У муравья, несущего травинку,
и у коня, везущего арбу,
не спрашивайте даже под сурдинку
про жизнь и смерть, про славу и судьбу.
Ленивый кот часа четыре кряду
лежит у края пёстрого ковра—
спроси его и получи в награду
холодный отсвет вышнего костра.

Топография ледяной горы

Слева от кладбища, вниз по тропе,
берегом правым по каменной осыпи,
вверх по течению—вот она, Господи,
дверь, за которой уже не в мольбе,
в ранней смиренности, пробною поступью
по лабиринту проходим к Тебе.

Если скалу начиняет пещера,
значит, гора получает права
думать как дерево, речка, трава,
как головы поднебесная сфера.
В этих извилинах наши слова
материальны, как мысль и химера.

В самом начале холодом входа,
мимо прошедших дыханий резьбы—
знаки и очерки спетой судьбы,
как бриллианты[1], застынут под сводом,
и сталагмитов пометят столбы
грань девятин, неизбежность провóда.

Дант[2] ли заглядывал дальше в проём:
хаоса мощь и, как атомы, глыбы—
горка яиц, нерестилище рыбы—
то ли Начала решительный слом,
то ли в аду, наподобие дыбы,
колется—весь из углов—окоём.

Сылвенских вод загипсованный лик—
мёртвых озёр неземная прозрачность[3],
только рачок крангоникс как удачу
воспринимает, что полностью влип
в тину на дне. Под покровом стоячим
сослепу жизнь шевелится, как всхлип.

Так проведите скорее к Нему!
Брезжит в тоннеле свет не отсюда.
Выход из брюха горы—это чудо.
Жмуришься, красок хватив кутерьму,
и через жар отступает остуда,
будто покинул сырую тюрьму.

Дуриком прёшь до вершины горы
И, обомлев в ковыле и осоке,
видишь плато, и усмешка сороки
плохо понятна тебе до поры.
Нету горы—просто берег высокий,
по горизонту—лесные боры.

Если обманка на что-то дана,
сядь на траву, посмотри между прочим:
небо крышует, как чистые Очи.
И на реке не моторка слышна—
детской трещоткой гремит перевозчик.

1. Отсыл к гроту Бриллиантовый Кунгурской ледяной пещеры.
2. Отсыл к гроту Данте.
3. Считается, что пещерные озёра связаны под землёй с протекающей рядом рекой Сылвой.

● ● ●

…и на пустых скамейках нету места.
Сергей Нохрин

В летнем кафе,
задирая подолы зонтов,
сбрасывал ветер
стаканов пластмассовых
стопку,
крошки сдувал
и остатки раскиданных слов.
Значит, зима.
Эту точку—прихлопнут.
Что ж так сквозит?
Видно, встречных потоков вражда
ходит в проёме
меж прошлым и нынешним
веком,
или, точнее,
меж тем, что родней навсегда,
и незнакомым,
вбирающим
будущим светом.
Голые стулья.
Сидельцев на этой черте
скольких повыдуло,
будто не лето, а Лета
с нами гудела.
Серёга заметил вчерне,
что тесновато теням
на пространстве прогретом.
Горечь пивная
скаталась в гортани в комок.
Ветер играет
осточертевшую ноту.
Белые стулья
горой громоздит паренёк.
Скоро зима.
Наконец эту точку прихлопнут.

● ● ●

Поэтов бабочки влекут—
нет, не бабло, не бабы даже—
капустница в небесной саже
и адмирал, в чьи крылья всажен
зрак, чёрный, как подземный труд.

К нектару взбалмошен полёт,
и стол везде, куда присели.
Как летом красочны метели,
дают понять, сплошную зелень
разбавив промельком свобод.

Не так ли ты, поэт? Но вот
дар не отращивает крылья.
Из гусеницы сухожилья
флюиды выдавишь с усильем
и ходишь задом наперёд.

● ● ●

Ты выйдешь над пропастью—
серый маяк
скользнёт, как тушканчик, по небу.
Лопатки—как лопасти.
Лепится страх,
морочит тошнотная небыль.
Простите на сходнях заблудшую дщерь,
она не искала изгнанья.
Бросает, как милость, корявую дверь
Господь посреди мирозданья.
Не баре. Что Вологда под топором
рубцовским, что штоф в «Англетере»—
за всё с нарумяненным кстати лицом
войдёшь в заскрипевшие двери.
«Паллада»! На хрустнувших сбоку бортах
напишут красивое имя—
на сходнях, на сбитых моих башмаках,
на плате, торчащем, как вымя…

● ● ●

Тогда надо вынести мусор,
«лентяйкой» втереться в полы,
тогда надо нитку намуслить,
настаивать в водке полынь,
тогда надо гвоздь забубенить,
повесить красотку, смотреть,
связать развалившийся веник,
врубиться в радийную сеть.
Тогда у распахнутой бездны
на краешке, чувствуя дрожь,
зацепишься ногтем облезлым.
Тогда, может быть, поживёшь.

● ● ●

От посвиста света
до жёлтой рванины в лесах—
дорога извета,
и сломанный гром на весах,
и сбитая напрочь
прицельная планка,
и плен
распахнутых на ночь
очей не добытых елен.
Как холмик ромашковый
или растёртый светляк,
вам светом помашет
белёсая прядь на висках.
Запрятаны в белом
свиставшие прежде цвета.
Наброшена мелом
осенних небес нагота.
И грома остаток—
попавший под ногу сушняк.
И страшен, и сладок
на свет прилетающий мрак.

Александр Астраханцев

Житие советской женщины

Документальная повесть

Советская женщина… Из одних только произведений российских писателей, посвящённых ей: очерков, рассказов, повестей, романов, пьес, киносценариев,—можно составить огромную библиотеку. Тысячи и тысячи километров строк. Аз, грешный, тоже не чурался этой темы: был период, когда я посвятил моей современнице много рассказов и несколько повестей и романов.

Казалось бы, всеми этими произведениями (талантливыми—или не выбившимися из общего литературного ряда; реалистическими—или поставленными на романтические котурны) охвачены все стороны её жизни: нравственный свет, который она несёт, строй её души, роль её в семье и обществе, её радости, собственное её счастье, счастье, которое она несёт мужчине, детям,—или, напротив, драматизм (или даже трагизм) её судьбы, невзгоды, которые выпали на её долю в двадцатом веке. В неё, в эту женщину, героиню тех произведений, влюблялись, любили её, восхищались её терпением, трудолюбием, стойкостью, прощали ей её грехи и слабости—казалось бы, нет ни единой детали её жизни, ускользнувшей от внимания наших писателей.

И всё же во всех этих произведениях мне не хватает одной существенной—может быть, даже главной—мысли: об огромной, непреходящей роли простой советской женщины в судьбе нашей страны; как я твёрдо считаю, именно на ней, этой женщине, продержалась, не рухнувши ещё тогда, в послевоенные сороковые, пятидесятые, шестидесятые годы двадцатого века, вся советская система. Не на сталеварах, шахтёрах, или строителях, возводивших ГЭС и огромные предприятия тяжёлой индустрии, или на людях других, не менее важных и почётных в те годы профессий советская власть сумела продержаться. И не на вдохновляющем мифе о грядущем коммунизме, так похожем на рай, который должен был наступить в далёком, туманном будущем, она держалась. Советская власть держалась тогда только на миллионах простых советских женщин, которые работали даже не наравне с мужчинами, а гораздо больше их, чаще всего—на износ, выполняя самую простую, порой самую тяжёлую и грязную физическую работу. А помимо этой работы, ещё и стояли в бесконечных очередях едва ли не за каждым продуктом питания, едва ли не за каждой обыденной вещью для семьи, рожали и воспитывали детей, ухаживали за домашними животными, готовили дома еду, кормили и обстирывали семью, в том числе и своего мужа-«кормильца» (если только он у неё был); словом, именно они приняли на себя всю тяжесть, все неимоверные бедствия и невзгоды, которые легли на плечи россиян в двадцатом веке.

Родившись и выросши в сибирском селе, я многие годы видел, как на женском каждодневном тяжком труде держалось наше российское село и вообще всё сельское хозяйство: как с утра до ночи, без выходных и отпусков, работали женщины на молочных и свинофермах, на покосах, на обработке огромных полей и уборке урожаев льна, конопли, турнепса, картошки, на сушке и подработке зерна, даже на погрузке его (ручной, естественно,—с помощью огромных металлических совков объёмом в ведро, так называемых «плиц») в машины, чтобы те отвезли его на элеватор—чтобы кормить потом страну.

В нашем огромном селе после войны остались буквально единицы мужчин (так что я больше доверяю тем историкам, которые считают, что в Великой Отечественной войне погибло не меньше сорока—сорока пяти миллионов человек, а не двадцать семь, как уверяет нынче официальная статистика). Эти пришедшие с войны мужики, если они были «партейными», как правило, занимали начальственные должности председателей колхозов и сельсоветов, бухгалтеров, заведующих фермами и колхозными отделениями; «беспартейные» же, то есть мужики рангом пониже, оседали возле техники—трактористами, комбайнёрами, а то и завклубами или киномеханиками; мужики рангом ещё ниже работами учётчиками, объездчиками (вроде бы и неказистые то были должности—а всё же исполняли её, сидя в телеге или верхом на лошади, а стало быть—разместившись выше рядового колхозника). Самые никудышные мужики пристраивались пастухами или конюхами на конном дворе, так что, как ни крути,—тоже на лошади или возле неё. А основную-то, самую тяжёлую, самую грязную работу в колхозе исполняли женщины; они были там кем-то вроде

подневольных рабынь, людей второго сорта. Однако без их труда, изнурительного, многочасового, безвылазного, сельское хозяйство неизбежно рухнуло бы, а вместе с ним — и вся советская система.

Закончив школу, я уехал в город, закончил инженерно-строительный институт, пришёл работать на стройку; и опять та же картина: на самой тяжёлой и грязной работе, где много ручного труда, — каменщицами, штукатурами, малярами, операторами на растворо- и бетономешалках — тоже почти сплошь работали женщины (если только стройка обходилась без заключённых)… Причём, как я в дальнейшем убедился, каждой советской женщине досталась своя часть этой незавидной доли, независимо от того, крестьянкой она была или горожанкой, грязную ли исполняла работу — или относительно чистую. Всем досталось.

Но если кому-то думается, что эта женщина — всего лишь терпеливое, отупевшее от работы существо, нечто вроде ломовой лошади, — это совсем не так: женщина эта, несмотря на то что тащила на своих отнюдь не могучих плечах семью, детей, домашнее хозяйство, свою бесконечную тяжёлую работу и целую страну, способна была петь песни, сочинять забористые иронические частушки, в том числе и про Сталина, про Хрущёва, про партию и «партейных», иметь на всё происходящее свои, отнюдь не зависимые от официальной пропаганды взгляды, и, не жалея сил, в случае необходимости спасать из беды ближних своих, и страстно, безоглядно влюбляться, и любить «не по правилам», и в состоянии аффекта делать глупости, так что порой могло казаться, что в ней сам чёрт сидит — настолько она могла быть иррациональна и непредсказуема, так что если даже у кого из них имелись грехи, то их и грехами-то назвать язык не повернётся — настолько они были бесхитростны и безгрешны. И даже насильно отлучённые от церкви и не знавшие евангельских заповедей, женщины эти жили по-евангельски, и в жизни едва ли не каждой из них было столько бесконечного труда, забот, бед, несчастий, что хоть с каждой пиши жития святых.

К сожалению, эта мысль со всей ясностью пришла ко мне поздно. В то время, о котором я завёл речь, я был слишком мал или молод, и занимали меня тогда совсем другие мысли; но с той поры, как эта мысль в меня вселилась, она не даёт мне покоя и требует развития. При этом чувствую, что не смогу развить её какими-то художественными средствами — с участием вымысла, сюжетных и композиционных ухищрений: просто нужен точный и очень правдивый документальный рассказ, иначе получится очередная мелодраматическая слезливая «клюква»; «клюквы» на эту тему тоже уже написаны многие и многие километры строк.

Но где взять такую рассказчицу со своим рассказом? Вопрос существенный: простые женщины умеют много и терпеливо работать, но не умеют рассказывать о себе и своей жизни, увязая в никому, кроме них самих, не интересных мелочах и не помня самых важных и серьёзных деталей, полагая их никому не нужными. Существует и странная аберрация людской памяти, когда с возрастом, особенно к старости, остаются одни лишь приятные воспоминания, а тяжёлые память напрочь вычёркивает: с помощью такой избирательности человеческая психика, видимо, непроизвольно оберегает себя от перегрузок.

И всё же нужную мне рассказчицу я нашёл. Причём, будучи знаком с ней давным-давно, рассказчицу в ней я обнаружил не сразу — должно было пройти много лет, прежде чем, во-первых, в ней самой вызрело чувство непреходящей горечи от пережитых невзгод, обид, от унизительной бедности, преследовавшей её всю жизнь, больше похожей на нищету, несмотря на то что она всю жизнь, не покладая рук, работала с утра до ночи, во-вторых, к ней пришло осознание ценности каждой детали в её вроде бы неприметной жизни, и в-третьих, видно, необходимо было время, чтобы она почувствовала доверие ко мне и уверенность в том, что её рассказ будет воспринят правильно.

Зовут мою героиню Ирина Петровна Митрофанова.

Примечательно, что из небольшой семьи Митрофановых, состоящей всего из трёх человек: главы семейства Вениамина Алексеевича, самой Ирины Петровны и их сына Константина, — с самой Ириной Петровной я познакомился в последнюю очередь — потому, наверное, что и глава семьи, и их сын -— личности настолько яркие и талантливые, притягивающие к себе внимание, что Ирина Петровна из-за скромности своей многие годы не только была заслонена ими — но ещё и сама старалась держаться в их тени; причём если я хорошо помню, как и при каких обстоятельствах познакомился с Вениамином и Костей, то обстоятельств знакомства с самой Ириной Петровной вспомнить совершенно не могу — случилось это, видимо, как-то автоматически, хотя нельзя сказать, что внешне женщина эта неприметна: невысокого роста — можно даже сказать, миниатюрная, пропорционально сложённая (в те годы, когда я встретил её впервые, — теперь-то, с возрастом, признаюсь вам вместе с ней самой, она пополнела), черноглазая и черноволосая, с матово-светлой, по-детски чистой кожей на миловидном лице, с мелодичным голосом, в котором преобладают всегда мягкие и приветливые интонации: «Да, Венечка», «Хорошо, Венечка», «Сделай, пожалуйста, Костенька», «Спасибо, Костенька», — она, конечно же, была приметна, но только — при очень внимательном взгляде на неё.

Причём, оглядываясь назад, за все тридцать с лишним лет, что мы знакомы, не могу вспомнить

ни единого раза, чтобы она была раздражена, повысила голос и сказала бы хоть одно грубое слово. С ней всегда было приятно поговорить: она обладает правильным и ярким языком и вполне словоохотлива, хотя становится такой, если только разговор заходит о её близких—муже, сыне или обо всех её внуках, и когда она рассказывает о них, в её интонациях звучит безмерная любовь ко всем им без исключения; но лишь только разговор зайдёт о ней самой—легко уходит от него, снова переводя его на близких.

Но однажды, через много лет знакомства, во время одного из наших с ней случайных «кухонных» разговоров о каких-то житейских хлопотах, её вдруг прорвало на откровенный рассказ о себе и своей жизни, и этот вроде бы спокойный, бесстрастный и чуть-чуть даже ностальгически грустный рассказ поразил меня своим драматизмом и заставил взглянуть на неё совсем другими глазами: я удивился, сколько же выпало на плечи этой скромной хрупкой женщины трудностей, бед, забот, но—и душевных переживаний тоже, которых, по-моему, просто не замечали никогда даже самые близкие ей люди, занятые собственными делами и проблемами, принимая её хлопоты и заботы её о них самих за пустую докуку. И в то же время меня страшно поразило, какой тонкий душевный аппарат хранится в ней, какой богатый спектр эмоциональных всплесков, переживаний, сколько накопленных за жизнь горечи и обид, и в то же время—сколько неизжитой внутренней поэзии прорвалось из её души и открылось мне, сколько неиссякаемой любви лилось из её сердца на близких!

Этот её рассказ о себе настолько запал мне в память, что через некоторое время я уговорил её повторить его для меня снова, с тем чтобы она припомнила как можно больше ярких деталей, а я, соответствующим образом подготовившись, сумел бы её рассказ записать. И она на это согласилась.

Но сначала—об истории моего знакомства со всей их семьёй, и прежде всего с главой семьи, Вениамином Алексеевичем.

Давненько уже в очерке «Капеля» я писал о том, как мне пришлось некоторое время жить в мастерской красноярского художника Владимира Капелько (Капели). Сам он к тому времени перебрался в Абакан, но красноярскую мастерскую старался удержать за собой; потому-то я и жил там—чтоб её ещё и стеречь. И вот однажды вечером, то ли поздним летом, то ли в начале осени, в Капелину мастерскую через незапертую дверь вваливается незнакомый мне невысокий крепыш с круглым лицом и русой кудрявой шевелюрой, одетый по-походному—в ковбойке и спортивном трико, а за спиной у него громоздится огромный «абалаковский» рюкзак, под весом которого гость сгибался и едва стоял на ногах.

Войдя, он тотчас же скинул его, и мы наскоро объяснились. Оказывается, звали его Вениамином Митрофановым (мы были ещё довольно молоды тогда и легко обходились без отчеств), он—художник из соседнего города, Капелин товарищ; они сговорились съездить летом на этюды на красноярский Север, а точнее—на Хантайское озеро. Капеля остался там ещё, а он вот—подневольный человек, заводской дизайнер, и уже послезавтра ему надо быть на работе…

Заварили чай и под чаёк проговорили с ним едва ли не всю ночь.

Перед утром он соснул часа два и чуть свет уехал на вокзал, а у меня осталось тёплое ощущение знакомства с хорошим человеком, своим сверстником. Причём я и не подозревал тогда, что наше знакомство со временем перерастёт в дружбу, которая (хотя мы и живём в разных городах) длится вот уже больше тридцати лет, а потому за это время успел перезнакомиться со всеми членами его семьи и хорошо знаю теперь все дальнейшие перипетии их судеб.

Итак, сначала о самом Вениамине. Заводской художник-дизайнер. Но во время нагрянувшей перестройки завод, на котором он работал, как говорили тогда, «упал набок», а сам Вениамин остался не у дел и, чтобы как-то прокормить себя и свою семью при всеобщих хаосе и безработице, взялся за работу, которая во время перестройки стала вдруг необыкновенно востребованной и к тому же давала в те времена пусть небольшой, но твёрдый заработок: реставрировал старые иконы и писал новые, проектировал иконостасы, реставрировал старые фресковые росписи и создавал собственные в храмах, восстанавливаемых в те годы в большом количестве на всём российском пространстве, и на этом новом для него поприще, будучи человеком долготерпеливым и упорным, он, во-первых, стал высоким профессионалом, а во-вторых, успел сделать на этом поприще очень многое.

Сначала ему пришлось несколько лет работать вдали от дома—как говаривали в старину, «отходником»: переезжая с места на место, он расписывал церкви в Пятигорске, затем в селе Аблязово Пензенской области, в посёлке Каменка Воронежской области. Это придало ему опыта и уверенности в своих силах, так что в 1997 году, вернувшись домой, он взялся за роспись огромного городского собора, построенного в конце девятнадцатого века, в советское время служившего складом, пришедшего от этого в большое запустение и в середине девяностых годов двадцатого века возвращённого церкви.

И эта работа оказалась, скорей всего, главной в его судьбе—ей он посвятил пятнадцать лет своей жизни. За эти годы им в этом соборе выполнены сотни квадратных метров росписей, изображены

тысячи персонажей и практически запечатлены в красках всё содержание Ветхого и Нового Заветов и вся история русского православия. Фрески выполнены по строгим канонам византийского церковного письма, и в то же время выполнены они сочными, яркими современными красками и наполнены обилием света и воздуха. При этом все подготовительные работы — эскизы, макеты, картоны в натуральную величину, тщательную подготовку поверхностей под росписи — тоже делал он сам.

Это был настоящий художнический подвиг, и подвиг этот был по достоинству оценён: по линии Московской патриархии ему, как автору и исполнителю монументальных росписей этого огромного храма, вручён орден Преподобного Сергия Радонежского, а эскизы и фрагменты его росписей неоднократно экспонировались на художественных выставках и получали высокую оценку собратьев по кисти.

Попутно с этим он был избран в 2000 году руководителем областного филиала Всероссийского творческого союза иконописцев; сами же выполненные Вениамином фрески запечатлены в огромном цветном альбоме-фолианте…

За те годы, что он расписывал храм, я несколько раз бывал в их городе по своим делам, жил у него дома, заходил в храм и видел, как медленно, но неостановимо продолжалась его работа, как росли и ширились эти грандиозные фрески, как ежедневно вскарабкивался Вениамин на высокие леса и, запрокинув голову, сантиметр за сантиметром заполнял росписями внутренние поверхности стен, колонн, сводов, каким измотанным каждый вечер буквально доползал до дома, медленно и немногословно поглощал поданный женой ужин и как, казалось бы, уже не в силах делать что-либо ещё, отдохнув немного, становился за кульман (установленный, за неимением мастерской, прямо в спальне), чтобы делать новые эскизы, и как после этого, сделав всего несколько шагов, падал в постель, чтобы утром снова идти в храм, подниматься на леса и продолжать свой ежедневный подвиг.

Во время этой работы у него разрушились два с половиной шейных позвонка. Думаю, что отчасти это — и от постоянного неудобного положения, когда приходилось работать с запрокинутой головой. Искусные городские хирурги сумели заменить их, слепив из его же рёберной костной ткани. Отходив положенное время в жёстком гипсовом воротнике, он возвратился к прерванной работе (впрочем, даже будучи в гипсе, он не прерывал своей работы — стоял за кульманом, занимаясь эскизами предстоящей работы) и всё-таки выполнил всю её до конца.

Я восхищался этой творческой отвагой и энергией, исходящей из его невеликого тела, и спрашивал себя: откуда в нём столько сил, духовных и физических, столько художнической страсти и вдохновения, и где он их черпал, чтобы изо дня в день, из года в год пятнадцать лет подряд с утра до ночи выполнять эту грандиозную работу, посильную, казалось бы, лишь целой бригаде художников?..

Прекрасный вдохновляющий пример тому, ответят мне, — великие художники-гиганты прошлого: Джотто, Микеланджело, Андрей Рублёв и так далее; но ведь, возражу я им на это, нынешние профессиональные художники, все до единого, прекрасно знакомы с этими примерами, однако лишь немногие имеют волю, мужество и неисчерпаемые духовные силы следовать им!..

Может быть, снова попытается кто-то ответить на мой вопрос, ему придавало сил сознание того, что он был занят благим Божьим делом? Но ведь в нынешнее время, опять же возражу я на это, многие профессиональные художники причастны к такому Божьему делу — но они дорого за это берут, а Вениамин выполнял росписи храма, едва сводя концы с концами — только чтобы выжить…

Вторым членом семьи Митрофановых, с которым я коротко познакомился, был их единственный сын Константин. Через некоторое время после моего знакомства с Вениамином Константин, окончив среднюю школу и отслужив в армии, приехал поступать в Красноярское художественное училище (в их городе такого училища тогда не было). К тому времени я уже жил с семьёй в просторной благоустроенной квартире, и Костя, пока сдавал вступительные экзамены, квартировал у меня, и лишь когда поступил — арендовал в городе жильё.

Однако обращает на себя внимание не то, что он решил пойти по папиной стезе — таких случаев сколько угодно, особенно в семьях, где взрослые её члены заняты творческим трудом. Да и что тут удивительного? Ребёнок рождается и растёт в творческой среде, с младенчества подражает родителям и с раннего детства постигает тайны творчества. Нет, в случае с Константином не это обращает на себя внимание — а резкий поворот в жизни, который он делает после окончания училища! Ведь, родившись и выросши в большом городе, пусть в небольшой, но благоустроенной квартире со всеми коммунальными удобствами, в семье художника и сам став художником, он неизбежно должен был вернуться домой, в родной город, на обжитое место, к товарищам детства, к родителям, в атмосферу, в которой вырос, и, думаю, отец-художник помог бы ему, хотя бы на первых порах, найти подходящую работу, устроиться с жильём… Но Константин выбирает не просто другой вариант — а другую судьбу: женившись на сокурснице (тоже, между прочим, горожанке!), вместе с ней уезжает работать в старинное сибирское село, расположенное на берегу Енисея.

Благословенные для художника места—но ведь это село! Обоим, горожанам по рождению и художникам по профессии, надо было втягиваться в сельский образ жизни, в сельский быт, так разительно не похожий на городской!

Однако они решительно берутся за это: оба работают в средней школе и одновременно—в детской художественной школе, живут в деревянном доме с удобствами во дворе, с печью, которую надо топить зимой дважды в день, с большим приусадебным огородом, который надо обихаживать, приобретают корову. Растят двоих сыновей, заводят друзей, входят в тесный круг немногочисленной местной интеллигенции. При этом оба не порывают с творчеством, регулярно участвуют в краевых художественных выставках, и как следствие—оба становятся членами Союза художников России…

Появилась проблема: там негде было брать рамы и подрамники для своих работ,—и Константин сооружает себе столярную мастерскую, хорошо оборудованную, и учится делать рамы и подрамники не хуже первоклассного столяра.

Чтобы быть мобильнее, он покупает легковую машину, благодаря которой часто бывает в Красноярске, поддерживает связи с оставшимися в городе товарищами, возит картины на выставки, а также на продажу в городских художественных салонах.

Так проходит много лет. Казалось бы, жизнь устроилась, устоялась до мелочей… Но, как часто бывает в наше время, супруги, много лет жившие дружной семьёй, однажды становятся чужими друг другу. Семья—вдребезги. Развод.

Причём если в большом городе эта драма перемогается легче: «разбежались», разменяли квартиру—и жизнь продолжается, разведённые продолжают заниматься каждый своим делом, продолжают с определённой степенью регулярности общаться с общими друзьями, с детьми, а через них и друг с другом… Однако развод в селе—это трагедия: вместе с семьёй до основания рушится общее хозяйство с неизбежно налаженным разделением труда, рушится весь уклад жизни, устоявшийся за многие годы, и восстановить его уже невозможно… Знаю, как Константин переживал развод, как на его глазах рушился мир, который он много лет терпеливо строил своими руками буквально по кирпичику.

Супруга Константина вернулась в свой родной город. Старший сын вскоре ушёл в армию, а вернувшись, женился и стал жить собственной, обособленной от родителей жизнью. Младшего сына дед с бабушкой, родители Константина, забрали к себе, окружили заботой, чтобы подросток не чувствовал себя заброшенным, помогли ему закончить там художественную школу, поступить в художественное училище (которое к тому времени появилось в их городе) и закончить его.

Что оставалось делать Константину, оставшемуся в одиночестве? Казалось бы, одно: бросить всё и наконец вернуться в родной город. Да он и вернулся, но лишь на время—только чтобы немного помочь отцу с росписями в огромном соборе. А когда боль утраты семьи утихла, вернулся в своё село…

Проходит время, лучшее, как известно, лекарство от семейных драм, и он делает новую попытку устроить семейную жизнь: женится на местной, сельской девушке. И попытка удалась!..

Теперь у них—дружная семья, просторный деревянный дом и четверо детей: старшей, дочке,—двенадцать, младшему, сыну,—три года.

Конечно же, им, Константину вместе с супругой Ниной, приходится порой очень трудно: душит постоянная нехватка денег, а также, что немаловажно, нехватка времени—много приходится работать и «крутиться», чтобы содержать большую семью. Продуктов из магазина или с рынка, конечно же, не напасёшься, поэтому покупается только самое необходимое, а всё остальное даёт большое домашнее хозяйство: две коровы, несколько телят, четыре поросёнка, стадо гусей, куры и, естественно, огород. А ведь оба ещё и работают: Константин преподаёт в школе, Нина заведует созданным ими же обоими сельским музеем. Чтобы управляться со всем этим—и с работой, и с хозяйством,—встают в шесть утра, занимаются животными, потом кормят и отправляют в школу детей, потом бегут на работу сами… И так—до десяти вечера.

При этом ещё успевают заниматься и с детьми; хотя когда детей в семье много—их уже не нужно развлекать и придумывать им занятия: в какой-то степени дети становятся единым самоуправляемым коллективом, учась друг у друга, подражая—и помогая тоже!—один другому. Они, эти дети, у них всегда заняты: они рисуют, сочиняют сказки, шьют и расписывают игрушки, вяжут для кукол одежду; возятся с животными; у них есть свой театр, отдельная гимнастическая комната с кольцами, канатами и батутом; а когда они играют во дворе в прятки, им есть где прятаться—столько там закоулков, сараев, чердаков, сеновалов: настоящий детский рай… А количество котов и кошек, живущих в этих закоулках, на чердаках и сеновалах, по-моему, уже не поддаётся точному учёту, причём у каждого из детей есть своя кошка, с которой они играют и о которой заботятся…

Так что им там просто некогда скучать. Причём это весёлые и счастливые дети, легко обходящиеся без пресловутого компьютера,—а может быть, именно потому весёлые и счастливые?

Помню, видел однажды примечательный эпизод из Костиного быта того времени, когда трое детей его ещё были маленькими, а четвёртого не было и в помине. Супруга его была очень занята: приехала

какая-то красноярская чиновница проверять её музейную работу, и с детьми дома оставался один Константин. При этом всех детей он сумел занять: одна дочь, сидя на полу, строила из цветных кубиков дом, вторая, лёжа на животе, рисовала что-то на листе бумаги; третью, самую маленькую, он держал на левой руке, а правой в это время рисовал пастельными мелками пейзаж на большом листе бумаги, закреплённом на мольберте, и одновременно разговаривал с ребёнком, советуясь с ним: «А давай-ка вот тут усилим тень?.. А тут давай добавим голубого цвета…»,—и ребёнок удовлетворённо гулькал в ответ.

Несмотря на большую семью и активную, деятельную энергию всех, и больших, и малых,—в их просторном, во много комнат, доме нет толкучки; места хватает всем. Однако дети растут, и хозяин всерьёз задумывается над тем, как расширить жизненное пространство семьи; да ему и самому хочется иметь просторную мастерскую и одновременно—место общения с друзьями,—и он решается возвести над своим просторным домом ещё один этаж: находит деньги, покупает пиломатериалы для этого, и стройка уже вовсю идёт.

Да, он—очень занятый человек. Но, несмотря на занятость такими земными делами и хлопотами, много сил и времени он по-прежнему отдаёт и творчеству, и организации в Красноярске и других сибирских городах своих выставок. Причём выставок не только своих собственных работ—а ещё и работ всех трёх поколений Митрофановых: кроме Митрофанова-старшего, то есть Вениамина, и Митрофановых-«средних», то есть самого Константина и его бывшей супруги Любови, с которой он продолжает поддерживать творческие связи, в выставках участвуют и уже взрослые их сыновья; Митрофановы-младшие—тоже оба творчески одарены: один из них, Виктор, теперь студент Красноярского института искусств, уже проявивший себя талантливым живописцем и имеющий за душой несколько художественных выставок, а также всевозможных грамот и призов как студент, а второй, Роман, научился создавать из дерева так называемые «кинетические», самодвижущиеся конструкции, вид скульптуры, пока ещё мало популярный у нас в России, уже выставил свои первые работы на одной из семейных выставок, и они тотчас же привлекли внимание зрителей своей необычностью и изяществом: они «дышат», несмотря на то что сделаны из косного дерева, и, что немаловажно, их жаждут покупать. При этом учился он этому самоучкой, запершись на несколько лет в сарае и, можно сказать, вслепую, на ощупь экспериментируя там на свой страх и риск в полном творческом одиночестве, совершенно не зная ещё, что из этого получится, потому что, опять же, у нас в России никто и нигде пока что этому виду искусства не учит.

Но вернёмся к Митрофанову-«среднему», к Константину. Ко всему прочему, в последнее время он увлёкся ещё и сочинением и исполнением собственных песен под гитару и, кажется, делает в этом виде творчества успехи; во всяком случае, на районных и краевых смотрах самодеятельности он как бард берёт призы и занимает классные места, а среди селян-земляков стал настолько популярен, что земляки рассказывают о нём друг другу: «Это тот самый бард, который ещё и рисует!..»—и Константин слегка обижается на земляков, которые высоко ценят его как барда и недооценивают как художника, певца их же сельских просторов—только в красках.

А как вам нравится его замысел организовать на знаменитом своей красотой берегу Енисея возле своего села летний лагерь творческой молодёжи всего Красноярского края: молодых художников, писателей, поэтов, бардов, музыкантов,—который он организовал летом 2013 года и предлагает превратить в ежегодный?..

А летние выездные мастер-классы для художников-любителей, организуемые краевым Домом народного творчества, в которых Константин активно участвует в роли руководителя мастер-класса?..

Неудивительно, что его энергии хватает на все эти дела, занятия и заботы,—уже при беглом взгляде на него становится понятно, что это человек могучий, телесно обильный, в полном расцвете всех своих сил, красивый истинно русской красотой: рослый, сероглазый, рыжебородый, с русой кудрявой шевелюрой и добрым выражением лица, выдающим широко открытую душу, переполняющую его, готовый щедро и безоглядно делиться с ближними всем, чем богат сам.

Только много-много лет спустя я понял наконец тайную причину его решения выбрать село своим местом жительства, причём—решения, может быть, даже и не осознанного сразу им самим. Ну что бы он делал со своей широкой, неостановимо рвущейся наружу натурой в большом городе, где каждому уготована тесная жизненная ячейка, за границы которой не смей высовываться?

И вот, невольно следя за жизнью этого клана Митрофановых, часть которого осталась в их родном городе, часть обосновалась в селе на берегу Енисея, а часть уже активно обосновывается в Красноярске, я всё чаще задаю себе вопрос: откуда у них у всех это жизнелюбие, эта активность? Где они черпают творческую энергию, спонтанно брызжущую из них? Какие силы ведут их по жизни и поддерживают?..

Но, может, пока что хватит задавать вопросы относительно упомянутых здесь персонажей мужского пола—вопросы, отчасти обращённые к читателю, а отчасти—и к самому себе? Тем более

что не Митрофановы-мужчины — главные герои моего очерка, и мои вопросы относительно их — в некоторой степени риторические, на которые трудно найти однозначные ответы. Но, может быть, ответы на них всплывут сами собой по мере продолжения рассказа?..

А пока что предлагаю вернуться к главной героине очерка, Ирине Петровне Митрофановой, и рассказать о ней поподробней, тем более что, рассказывая об этом клане, подозреваю, что именно Ирина Петровна — главное лицо в нём; как говаривали, кажется, ещё древние: «Всё — от женщины», — а современные французы чуть-чуть переиначили этот древний афоризм своим: «Ищите женщину!»...

Иногда я бываю в доме Митрофановых-«средних» в их селе, чтобы встретиться там со своими старыми друзьями — Митрофановыми-старшими, которые время от времени навещают семью своего сына, и когда бываю — любуюсь этим шумным и, по нынешним меркам, многочисленным Константиновым семейством: удивительно, сколько душевного здоровья излучает оно!..

Знаю, что Ирину Петровну неумолимо тянет туда из-за младших внуков, по которым она скучает. Причём Вениамин, муж её, в последнее время непременно сопровождает её в этих поездках, потому что всё, что она везёт туда из дома, одной ей увезти просто невозможно — столько тюков, сумок, пакетов они с собой тащат; при этом ещё Ирине Петровне приходится без конца пересчитывать их, чтобы — Боже упаси! — не растерять дорогой.

Однажды я приехал в то село вместе с ними и невольно подсмотрел акт встречи двух этих семейств... Сначала мы, новоприбывшие, были с дороги сытно накормлены. А пока хозяйка кормила нас, гостей, — явились из школы три цветущих розовощёких дочки Митрофановых-«средних», причём пришли они раньше, чем их ожидали: как оказалось, очень уж они торопились домой, зная, что сегодня должны приехать бабушка с дедушкой.

Все втроём, ворвавшись в дом, не успев раздеться, запыхавшиеся, с криками: «Бабуля! Бабуля приехала!» — наперебой кинулись обнимать и целовать Ирину Петровну, теребить её и возбуждённо выписывать вокруг неё круги... Правда, тут есть один маленький секрет: конечно же, они знали, что «бабуля» приезжает сюда не с пустыми руками — с подарками.

Однако прежде чем раздать их, детей сначала заставили пообедать, и как они ни упирались, желая взглянуть на подарки «хоть одним глазком» — всё же вынуждены были сесть за стол и «умять» всё, что им дали. А за компанию с ними пообедал и их младший братик.

Попутно расскажем (из этнографического, так сказать, интереса), из чего состоял их обед. Он был по-деревенски простым, но сытным — вот он, источник их цветущего вида: «умяли» они по большой тарелке густого супа с добротным куском свинины в каждой тарелке, так что блюдо это получалось одновременно и первым, и вторым; а на третье они «умяли» общим счётом две трёхлитровых банки (то есть по полтора литра «на нос») цельного молока, к которым были добавлены куски бабушкиного самодельного торта и бабушкино же варенье.

Только после этого обеда перешли в самую большую комнату, имеющую свойство быть общей гостиной, и при трепетном предвкушении всего сельского семейства Митрофановых начался ритуал раздачи подарков.

Однако Ирина Петровна не спешила с раздачей. Сначала она вынула из своей поклажи и вручила подарок самому маленькому представителю семейства; то была нарядная тёплая курточка; добавим по ходу дела, что происходило это поздней осенью, так что она была весьма кстати. После того как прошёл восторг ликующего малыша и всего остального семейства при одном только виде этой куртки, с активной помощью сестрёнок малыш был облачён в неё, выслушал новые восторги семьи, сам насладился обновой и снимать её уже не желал.

Только после этого была вынута вторая куртка — для сестрёнки малыша, следующей за ним по возрасту. И повторились восклицания восторга, подкреплённые на этот раз девчоночьим писком счастливицы. И снова — примерка и дефиле в обновке... Примерно такие же куртки с теми же восторгами были вручены и остальным сестрёнкам.

После курток началась раздача таких же нарядных шапочек, и снова — восклицания и восторги. После шапочек явились на свет Божий не менее нарядные носки и рукавички, а после них — платьица и костюмчики...

Более всего при этой раздаче подарков я смотрел на детей; для них это действо походило на праздник чудес, а сама Ирина Петровна была на том празднике волшебницей, по мановению рук которой неизвестно откуда появлялось сказочное обилие подарков... Но меня-то, взрослого, присутствующего на этом празднике волшебных чудес, больше всего удивляло, что каждая вещица, подаренная ребёнку, точно совпадала с его ростом и габаритами — будто её только что примерили, прежде чем подарить; вот это действительно было волшебство!..

А между тем после платьиц и костюмчиков началась раздача, каждому индивидуально, детских книжек, красивых блокнотиков, тетрадок, наборов карандашей и ручек. После наборов следовали игрушки, пусть небольшие, но всем — разные: мальчику — машинка, девочкам — куклы, причём мне даже показалось, что каждая кукла была чем-то

похожа на свою хозяйку… И уж в самом конце раздачи каждому ребёнку вручена была какая-нибудь сладость.

Пока дети, разбредясь по дому, продолжали радоваться подаркам, рассматривать и показывать их друг другу, Ирина Петровна принялась вручать подарки родителям семейства. И эти подарки тоже были красивы и добротны: оба получили по роскошной вязаной вещи,—и хоть родители и вели себя сдержанней, чем дети, однако и они радовались им вполне искренне.

Пользуясь тем, что всё семейство Митрофановых-«средних» удалилось, унося с собой подарки, а Ирина Петровна, Вениамин и я остались,—я, восхищённый только что увиденным, спросил Ирину Петровну: как она умудрилась накупить столько подарков—ведь это стоит огромных трат и огромных сил? Она мне спокойно на это ответила:
—Так ведь мы же с Веней пенсию получаем—с каждой пенсии хожу по магазинам, по комиссионкам, прикупаю потихоньку.
—Это что же, всю пенсию на это и тратите? А живёте на что?—невольно вырвалось у меня.
—Так ведь у нас дача!.. И потом, у нас же там полно друзей и родственников—у них вырастают дети, внуки. Причём все прекрасно знают, что у Кости большое семейство,—и несут. Между прочим, много прекрасных вещей приносят.
—Меня удивило, как каждая вещь точно подошла каждому ребёнку.
—Так у меня глаз намётанный,—рассмеялась Ирина Петровна.—Последний раз мы были тут всего полгода назад—знаю, насколько мог подрасти каждый из них. А если вещь не подошла одному—то уж точно подойдёт другому.
—Но больше всего меня восхитило,—рассмеялся я,—какой шикарный праздник устроили вы сегодня вашим внукам!
—Так ведь я устроила праздник им—а они мне,—ответила Ирина Петровна.—Ради этого праздника, поверьте, всё можно вынести: усталость, хлопоты, безденежье, хождение по магазинам, таскание сумок. Вы знаете, сколько сил дают мне эти праздники? Вот приеду домой и сразу начну готовиться к новой поездке сюда…

И пока мы вот так неспешно беседуем—всё семейство Митрофановых-младших входит в гостиную принаряженным и по-заговорщицки преувеличенно серьёзным, а в руках у Константина—гитара.
—Начинаем семейный концерт, посвящённый нашим дорогим гостям!—торжественно объявляет он…

И концерт начинается. Тут и хоровые песни, и дуэты, и песни соло, и декламация…

Наконец «артисты», показав нам все свои артистические таланты, под наши аплодисменты исчезли за дверью. И пока Константин развлекал нас в роли конферансье, дополняя только что законченный концерт,—как я потом понял, нарочно тяня при этом время,—дети появились снова, теперь уже с ответными подарками для гостей… И я до сих пор как дорогие реликвии, как трогательные для меня воспоминания о сельском доме Митрофановых-«средних» и о том празднике, который затеяла там Ирина Петровна, храню эти выполненные детскими руками подарки, вручённые мне в тот вечер: несколько альбомных листков со смешными детскими рисунками, сшитую из розового шёлка в виде сердечка подушечку для хранения швейных иголок, и ещё—енисейскую округлую речную гальку, расписанную голубой, зелёной, жёлтой красками, напоминающую своими цветными разводами пейзажи енисейских окрестностей той осени.

А теперь—обещанный мною сам автобиографический рассказ Ирины Петровны, правда, мною отредактированный, но не исключающий ни смешных и весёлых, ни драматических, даже трагических эпизодов; выброшены только отдельные, не относящиеся конкретно к повествованию, эпизоды да исправлены неправильно или невнятно произнесённые фразы. Итак, вот он, этот рассказ—я назвал его «житием советской женщины», причём уверен, что каждая советская женщина могла бы рассказать о своей жизни не меньше, если не больше—если б только умела; и ещё в том уверен, что многие-многие детали этих рассказов были бы схожими, независимо от статуса рассказчицы. Итак:

Житие советской женщины

1. Детство и девичество

Я родилась четвёртым ребёнком, а всего нас у родителей пятеро: два брата и три сестры. Родители мои—выходцы из деревни. Что мне нравится в них—так это то, что они православные и венчанные. Сами они родились, выросли и поженились в деревне, но там родился только самый старший мой брат, Ваня, а мы, все остальные, родились уже здесь. Это из-за того, что папа, будучи женатым, в тысяча девятьсот тридцать третьем году отслужил в армии под Читой, и когда вместе с двумя товарищами возвращался домой—на нашем городском вокзале военный патруль из комендатуры проверял у них документы, и именно моему папе велели зайти в саму комендатуру. Там ему предложили работать в городской милиции и пообещали дать жильё. Папа сначала отнекивался, говорил, что у него семья в деревне,—а они ему говорят: мы всей вашей семье жильё дадим, а сейчас поезжайте домой и через недельку возвращайтесь.

Почему предложили именно ему? Оказывается, они звонили в Читу, на место их военной службы, и спрашивали: кто у них самые лучшие солдаты из нашей области?—и им назвали всех троих. Но в комендатуре проверили их данные и выбрали именно папу. Я так думаю—потому, что он был самый честный и исполнительный из них.

Он уехал домой, посоветовался с мамой, и они решили так: в городе, по сравнению с деревней, всё же есть медицинская помощь; образование можно получить и им самим, и детям… Через неделю папа вернулся в город и начал служить, хотя жильё ему не давали ещё целый год, так что мама оставалась в деревне. А когда дали, наконец-то и мама приехала, так что мы, все остальные дети, появились уже здесь.

Жили всемером—папа, мама и нас пятеро—в квартире на втором этаже. А квартира состояла всего из одной большой, в три окна, комнаты и маленькой кухоньки. Правда, была ещё большая веранда, которая нас спасала летом: дом был старый, ещё дореволюционной постройки.

Ну, раз родители переехали в город—вся деревенская родня стала часто к нам ездить, так что у нас почти ежедневно жило полно народа. Спали на полу, вповалку, на старых папиных шубах, и—так тесно, что, чтобы ночью встать и сбегать на двор, сначала щупаешь ногой, чтобы не наступить на кого-нибудь в темноте.

Туалет был на улице. Воду носили из колонки за три квартала от дома, и там постоянно стояла большая очередь. Да за всем, что ни возьми, были очереди. В том числе и за хлебом.

Мой старший брат и обе старших сестры характеры имели сложные, так что маме с ними было трудновато. Меня они называли подлизой и подхалимкой, потому что я была тихоней, беспрекословно слушалась маму, а потому постоянно делала работу, от которой они отказывались, в том числе и с малых лет в любую погоду, в дождь ли, в мороз, рано утром шла и стояла в хлебных очередях, а потом приносила домой по шесть буханок хлеба (уходило у нас по три буханки в день), так что соседи меня даже Золушкой звали.

Мама любила стряпать: встанет в пять утра, поставит на кухне тесто, и уже к завтраку на столе—пышные пироги, да с разной начинкой! Схватим по два-три пирожка, глотнём чаю с сахаром (чай—одно название: заваривали один заварочный чайник на всех)—и бегом в школу.

А муку давали только раз в год. Очереди занимали с вечера и писали на ладони химическим карандашом номера, а потом всю ночь их сверяли, и когда кто-нибудь уходил из очереди, то обратно его уже не пускали. И стояли целыми семьями, потому что в одни руки давали только по три килограмма.

Так и жили. Родители у нас были хорошие. Все соседки нам постоянно говорили: «Папа у вас просто золото!»

Маму звали Анастасией Титовной, или Настенькой. Она была очень добрая и заботливая: сама всему семейству всё шила и вязала.

Пока у неё было трое детей, она работала на ткацкой фабрике; её портрет даже висел там на Доске почёта. Но Ваню, старшего сына, однажды, ещё до моего рождения, украли цыгане, и хоть быстро нашли по горячим следам—однако папа запретил ей работать: «Сиди лучше с детьми». А уж раз она сидела дома, то и мы, двое остальных, появились.

Папа рассказывал, что мама была самой красивой, самой весёлой девушкой в деревне и—рукодельницей. Очень сильно он её полюбил, но маму хотели выдать за богатого, и когда папе передали, что Анастасию сосватали, он упал перед дедом на колени и говорит… Дело в том, что папа был круглый сирота: мать родила его и через десять дней умерла, а отец его ходил на заработки и где-то пропал без вести, так что папу воспитывал дед. Короче, папа встал перед ним на колени и говорит: «Дед, придумай перехват!» Дед взял четушку водки, пошёл к её родителям и уладил всё как надо, так что через три дня уже гуляли свадьбу…

Когда они переехали в город и им дали комнату—папа стал учиться. Дома, в деревне, у него было всего три класса образования, а в городе он закончил семь. По тем временам это же о-го-го какое образование!

Был он очень верующим человеком, но в школе ему стали объяснять, что никакого Бога нет, что вас, мол, обманывали, и он сказал: «Ну, раз нет, так нет»,—и когда закончил семь классов, то вступил в партию. А так как был он всегда примерным и исполнительным, его из милиции пригласили работать в нквд.

А в нквд сами знаете что тогда было. Дали ему в подчинение двух человек и послали на «воронке» на первое задание: арестовать ночью врага народа, причём этот враг народа—их же работник. Приехали; папа стучит: «Откройте!»—а этот человек уже предполагал, что к нему приедут,—готовый узелок у него лежал возле двери. И вот папа заходит с двумя подчинёнными и говорит: «Поедемте с нами!» Тут жена этого человека бросилась к мужу на шею, давай причитать; дети проснулись, кричат: «Папочка, папочка!»—и тоже плачут. И тут мой папа упал в обморок: ну какой же это враг народа, когда у него жена, дети малые, точно такие же, как у него самого?

После этого папу хотели самого расстрелять: да как же, мол, ты пожалел врага народа?—но начальником у папы был наш же сосед по дому, и мама дружила с его женой; и жена его стала

отговаривать мужа: как же ты его расстреляешь — ведь он же хороший работник, и у него столько детей? — и сосед сумел выручить папу.

После этого папу назначили на должность фельдъегеря, и он месяцами ездил с секретными документами и куда-то на север, и в Москву. Летал на самолётах, ездил на поездах, на лошадях. Много раз бывал в авариях, несколько раз на него нападали бандиты, а так как у него с собой бывали и деньги, и золото — и пистолет у него всегда был с собой, ему даже приходилось отстреливаться.

Когда мы стали учиться, у нас появились тетради, книжки, учебники — а этажерка в четыре полочки была одна, причём две верхних полки занимал старший брат Ваня, потому что он долго-долго учился: сначала в школе, потом в ФЗУ, потом в институте. Правда, с двенадцати лет он перешёл учиться из дневной школы в вечернюю — началась война, и детей его возраста посылали работать на завод вместо взрослых, которые уходили на фронт.

Ваня работал на токарном станке; но пока рост у него был маленький, ему делали деревянную подставку под ноги, чтобы он мог дотянуться, и он так хорошо работал, что о нём даже писали в газетах. А вечером учился. Да ещё участвовал в художественной самодеятельности: читал стихи, басни, пел, танцевал, а в выходные даже ходил выступать в оперном театре — участвовал в массовках.

И я пошла по его стопам: тоже любила петь.

Между прочим, мама, хоть и выросла в глухой деревне и закончила всего три класса сельской школы, старалась всячески развивать нас и заботилась, чтобы нам было интересно жить. Во дворе нашего многосемейного дома она устраивала летом детский театр, и я любила там выступать; потом пела в детском хоре при кинотеатре «Пионер»; так что не так уж и скучно нам жилось — по принципу: «За душой — ни гроша, но поёт моя душа». Телевизоров же не было! — вот и развлекали себя сами, кто как умел.

А в будни все были заняты делом. Я, например, после девятого класса пошла работать и тоже перевелась в вечернюю школу, так что совсем не помню, чтобы была в будни дома: или на работе, или в школе.

Но хорошо, что были праздники: Первое мая, Седьмое ноября и Новый год. Мы очень любили их; у нас было весело, поэтому к нам всегда приходили и родственники, и соседи. А чтобы было веселее, я составляла сценарии. Жаль только, не сохранила их: как только праздник кончался — тут же выбрасывала…

Приходил к нам на праздник друг семьи с кинокамерой и снимал нас всех, а в следующий выходной приносил готовый фильм, и опять все собирались — теперь уже смотреть; при этом приносили у кого что есть из еды, так что пили чай, смотрели фильм и хохотали до упаду.

Но я с раннего детства мечтала заниматься музыкой, умоляла маму отдать меня в музыкальную школу и купить пианино или хотя бы гитару — но она только отмахивалась: «Отстань, денег нет!» Понятное дело, послевоенное же время было — сами знаете, как жили: редко кто имел пианино. Но у трёх моих подружек оно было — так я приходила к ним и играла на слух. Научилась играть несколько песен; особенно любила наигрывать «Танец маленьких лебедей».

Желание заниматься музыкой было у меня такое сильное, что когда я уже стала взрослой и пошла работать в детский сад — там же обязательно пианино есть, — так я просила заведующую, чтобы она разрешала мне поиграть на нём, и я приходила туда по выходным — и играла.

А когда поняла, что родители никакого инструмента уже не купят и я никогда не научусь музыке, то решила стать учительницей. Решила — и сразу же взялась за дело: собирала деток со всего двора, усаживала их так, чтобы вместо парт были табуретки, раздавала бумагу и огрызки карандашей, сама для важности надевала сестрёнкины очки, давала детям задания, и они у меня учились.

Одновременно и библиотекарем хотела быть: побелила в сарае стены, смастерила там полочки, поставила на них старые книжки и раздавала их детям.

Но больше всего мне хотелось быть детским воспитателем. Мама к тому времени уже сильно болела, и я начала с того, что принялась воспитывать своего младшего братика — да, видно, так перестаралась, что когда он подрос, то взял и однажды, когда я спала, прижёг мне пятку раскалённым гвоздиком; потом папа гонялся за ним с ремнём.

В детстве я трижды была в пионерлагере. Мне там нравилось: как ходили в лес, купались, жгли костры, — но почему-то невыносимо было ходить строем и петь хором песни. Ещё не нравилось, что в группе обязательно были девочки-отличницы или дочки больших начальников; они страшно задавались этим и старались унизить тех, кто, по их мнению, глупее их или стоит ниже их по рангу, так что я хоть и была тихоней и послушной девочкой, но ездить туда в конце концов отказалась наотрез, чем очень расстраивала маму — ей же хотелось, чтобы летом мы побольше бывали на свежем воздухе и хорошо питались! Почему-то главной заботой у родителей тогда было — на сколько килограммов ребёнок поправился: время-то трудное, послевоенное было, а в пионерлагере кормили намного лучше, чем дома…

Но сколько же глупостей вытворяли мы в детстве и юности! Даже я, тихоня, совершала иногда отчаянные поступки — никакого страха не было.

Своё девчоночье детство помню плохо, и, думаю, вот почему: когда мне было лет двенадцать—со мной от этой отчаянности случилась беда. Зимой мальчишки с нашей улицы катались на санках рядом с обрывом: доедут до самого обрыва—и свернут! Дай-ка, думаю, и я так попробую. Попробовала—понравилось: дух захватывает от страха,—и я тоже стала там кататься вместе с мальчишками. А мама увидела из окна—давай строго грозить мне пальцем, а я смотрю: как только она отойдёт от окна—качусь. И вот однажды так катилась, а меня окликнули; я отвлеклась, выскочила из колеи—да как полечу с обрыва! Главное, лечу вниз и в полёте только об одном думаю: лишь бы мама не увидела—с ней же плохо будет: она сердечница!.. А внизу—домá, заборы, острые колья; район тот назывался Нахаловкой.

Ну, упала я с обрыва—и жива осталась; смотрю: руки-ноги целые. А вверх идти было сорок ступенек. Поднимаюсь по ним, а ноги трясутся—так сильно испугалась.

И после падения—я это только потом поняла—у меня совершенно отшибло память: учу-учу, а выхожу в школе к доске—ничего не помню. Сначала думала, что просто учу плохо,—стала по ночам вставать и учить, и всё равно ничего не помнила. Тогда я начала писать шпаргалки: в них ведь надо хотя бы самое главное записать. Только благодаря им и закончила девять классов, а в десятый, как я уже говорила, пошла в вечернюю школу.

Почему в вечернюю? Потому что у меня к тому времени появилась твёрдая мечта—поступить в педучилище, чтобы стать воспитательницей детского сада, но я боялась, что не поступлю—там был большой конкурс, и уже знала, что те, кто работает в детсадах, идут вне конкурса, поэтому перешла в вечернюю школу и одновременно поступила в детсад нянечкой.

Сама потом удивлялась, какая была храбрая в шестнадцать лет: возвращалась из школы в пол-одиннадцатого вечера, зимой, в темноте, одна, а рядом—обрыв, и внизу—эта самая Нахаловка. Мама за меня страшно боялась. Иногда даже, когда могла, ходила меня встречать.

Спала я тогда по четыре-пять часов, не больше, потому что день надо было отработать в детсаду, потом отсидеть на уроках в школе, а потом ещё позаниматься дома.

А когда закончила школу—стала собирать документы для поступления в педучилище. Уже и хорошую характеристику получила от заведующей детсадиком, пошла медкомиссию проходить—а у меня обнаруживают мало гемоглобина в крови и говорят:

— Мы вам справку не дадим. Отдохните с годик, потом посмотрим…

Я—в плач: что делать?.. Плакала, плакала, да и думаю: ладно, ещё годик нянечкой поработаю.

А я уже привыкла к такому ритму, поэтому решила просто так время не терять, пошла ещё и на восьмимесячные курсы кройки и шитья—очень уж мне хотелось научиться шить самой, потому что всю жизнь носила обноски после двух сестрёнок: сначала старшая поносит, а когда ей купят новенькое—ношеное отдадут средней. А уж мне доставалось такое тряпьё, что его приходилось штопать целыми днями, и эта штопка мне так осточертела, что когда я потом вышла замуж, то, как только приходилось штопать, думала: «Господи, опять эта проклятая штопка!» И сейчас стараюсь обходить её стороной: что угодно, только не она! Муж даже ругает меня: «Для тебя, смотрю, пуговицу пришить—целая проблема!»—совершенно не понимает, как я устала за свою жизнь штопать и шить.

Короче, пошла я на курсы кройки и шитья, чтобы шить себе всё новенькое,—и научилась: с тех пор платья и кофточки себе шила только сама, а когда вышла замуж—так ещё и брючки, и рубашки мужу шила…

Через год, когда надо было поступать в училище снова, у меня уже было два с половиной года стажа работы в детсаду!—но за это время, увы, в работе воспитателя я успела страшно разочароваться.

Дело в том, что летом мы выезжали с детсадом на дачу, и я насмотрелась, как работают воспитательницы: за детьми совершенно не следят, а соберутся с кавалерами—и «ха-ха-ха» да «хи-хи-хи»; вечером у них непременно—танцы, а на танцах кто-то кому-то из них дорогу перешёл—начинаются сплетни, склоки. Я просто в шоке была: я-то была такая наивная, что для меня работа с детками—мечта, самая прекрасная на свете!—и вдруг вижу эту подноготную.

И потом, когда сдаёшь в поликлинике анализы—невольно знакомишься в очереди с женщинами из других садиков, и когда пожалуешься им на наших воспитателей—они машут рукой: «Да-а, у нас такая же история!»—и я тогда думаю: ни-че-го себе! неужели мне всю жизнь придётся в этой клоаке работать? Дети—это же святые существа! Я их любила, и они меня тоже: где бы я ни работала, они всегда теснились возле меня, даже из других групп прибегали. Страшно нравилась мне моя работа, но жить в таком коллективе—Боже упаси!

Примерно в это же самое время я посмотрела фильм «Заводские девчата», и когда увидела, как девушки на заводах работают сплочёнными коллективами, вместе ходят в театр, в кино, в походы разные,—спрашиваю у Зины, своей подруги, которая на заводе работала:

— И что, у вас тоже так?

— Да, конечно!—говорит.

— А можно,—спрашиваю,—я к вам на завод перейду?

— Давай,—отвечает.—Я договорюсь!

А она работала на оборонном заводе полупроводниковых приборов — их проходная прямо напротив нашего дома была, и зарплата там хорошая: нянечкой я, например, получала сорок пять рублей, а Зина на заводе — целых девяносто! Да я за такие деньги могла накупить столько красивой ткани, одеться, обуться! Мне уже восемнадцать было, хотелось дружить, влюбляться — а выйти на улицу не в чем…

На следующий же день побежала я на завод, отстояла очередь в отдел кадров. Кого-то берут, кого-то нет; брали только с десятью классами, и — с испытательным сроком. Подходит моя очередь; захожу к начальнику отдела кадров; волнуюсь, конечно. Он меня спрашивает:

— Школу закончила?

— Да, — отвечаю.

— Где-то работаешь?

И я решила схитрить, а то ведь не возьмут.

— Нет, — говорю, — нигде не работаю.

— Испытателем пойдёшь?

— Пойду!

— Хорошо, — говорит. — Оформляйся в трёхдневный срок.

Но я же ещё не уволилась из детсада! Бегу к заведующей, а она мне:

— Ира, ты же хотела воспитательницей быть! Нет, я тебя не отпущу!

Я взмолилась:

— Ну пожалуйста, я вас очень-очень прошу!

И упрашивала до тех пор, пока она не сказала:

— Хорошо, я тебя отпущу, только если найдёшь себе замену.

А как найти нянечку на сорок пять рублей? Это же сложно. Тогда мы с Зиной пошли прямо по улице и стали спрашивать каждую женщину подряд. И нашли!

За эти три дня я успела и уволиться, и устроиться на новом месте и была на седьмом небе от счастья, как будто в рай попала, — всё было именно так, как в кино показывали: длиннющая — конца не видать! — линейка столов под куполом, за столами работают девушки, молодые, красивые; у всех белые халаты, белые чепчики и тапочки. Только не разрешалось ни краситься, ни маникюр делать — а мне этого и не надо! Причём там, в цеху, даже запахи, даже звуки — особенные!

Устроено там было так: четыре стола сдвинуты вместе; сначала сидит напайщица, потом настройщица, потом снова напайщица, а потом ещё штамповщица, — и мы передаём друг другу готовые детали. Я была напайщицей. Причём перед тобой лежат часы, и ты смотришь: одна секунда — одна деталь, следующая секунда — вторая деталь…

Однако мне эта работа потом аукнулась: паста, с которой я работала, была свинцовой, и неизвестно, сколько свинца мы в себя впитывали, — ведь все операции производились вручную, и никому из начальства и в голову не приходило, что этим ядом дышат молодые девушки, которым надо ещё жить, рожать и воспитывать детей. Правда, давали молоко, но неправильно это было продумано: только намного позже я узнала, что нужно было давать что-то кислое — яблочный сок, например, — а молоко лишь способствует впитыванию свинца в кровь. Мы этого, конечно же, не знали — молодые были, весёлые, задорные, и думать о каком-то далёком будущем не было никакого желания.

Причём этот свинец аукнулся потом не только на моём здоровье, а ещё и на моём ребёнке: сын родился с почечно-каменной болезнью, стоял на учёте в детской больнице; я возила лечить его от этой свинцовой пасты в Пятигорск, на воды, и сама рядом с ним лечилась. Курортных путёвок, конечно же, было не достать; мы ездили туда «дикарями», за свой счёт, пили там вместе с ним минеральную водичку и проходили процедуры…

В то время, когда я ещё работала в детсаду, у меня появился кавалер. А раз кавалер — мне весело, у меня настроение прекрасное!.. А как получилось-то?

Мама меня, пока я училась в школе, никуда не пускала — боялась: кругом случались разные жуткие истории, одна другой страшнее, и я даже мечтать не могла о танцах. Но когда мы вместе с детсадом выехали летом на детскую дачу, девчонки позвали меня на танцы — ну, я и пошла с ними.

К тому времени я уже платьев себе нашила: надеваю самое красивое, красное, с белым воротничком, с красными пуговками, — надеваю красные туфельки, делаю себе причёску — и такая красивая становлюсь!

Подходит ко мне на танцах симпатичный мальчик и весь вечер от меня не отходит — как приклеенный. Звали его Миша. Я вне себя от счастья: первый раз в жизни пошла на танцы, и тут же у меня — такой красивый молодой человек!..

Возвращаться надо было через лес. Он после танцев хочет меня проводить, а я ему:

— Нет, я только с девочками.

Он соглашается:

— Хорошо, — и идёт с нами.

Но когда к домику-то подошли, где мы с девчонками жили, они все как-то сразу убежали, а он меня держит за руку и не отпускает. Потом — р-раз! — поцеловал в щёчку и побежал, а сам кричит издалека:

— Завтра приду!

И вот он, мой первый рабочий день после того вечера! Делаю уборку и порхаю между столиков: со мной танцевали, меня поцеловали!

Воспитательница меня спрашивает:

— Ирина Петровна, что это с вами?

А я ей:

— Я познакомилась с парнем!

— А что,—спрашивает она,—разве до этого не знакомилась?
— Нет!—говорю.
А она мне тогда:
— Сразу видно, что ты такая,—в смысле: дурочка…
Вот жду я следующим вечером своего ухажёра—а его нет! Я тут же скисла. И на второй, и на третий вечер он не пришёл. Я совершенно разочаровалась в танцах. Девчонки меня уговаривают:
— Ну что ты будешь его ждать? Плюнь ты на него, пойдём на танцы!
А я им:
— Ну вас, никуда я не пойду!
Пошла в библиотеку, книг набрала, читаю—а сама жду: вдруг всё же придёт? Или с ним что-то случилось?..
Но через несколько дней девчонки меня всё же уговорили—снова пошла на танцы. Ко мне там подходит другой мальчик, Юра, и говорит:
— А Миша к вам больше не придёт.
— Какой Миша?—спрашиваю.
— Тот, который вас провожал. Он же поспорил на вас: вон та девушка, что сейчас зашла, будет сегодня моя. У него,—говорит этот Юра,—таких, как вы, много. Он киномехаником работает и каждый день знакомится с новой.
Я ему говорю, вроде бы спокойно:
— Ну и ладно.
Но мне тут же захотелось убежать с этих проклятых танцев.

И только хотела уйти—подходит высокий, молодой, но абсолютно лысый человек; только кудряшки сзади. «Ну вот,—думаю,—лысого мне ещё не хватало!»
Станцевал он со мной и идёт приглашать снова. Я девчонкам говорю:
— Спрячьте меня, не хочу с ним!—и спряталась за них.
А тем временем одну пригласили, вторую, третью, и я остаюсь одна. Он—опять ко мне:
— Пойдёмте танцевать!
Я тогда ещё не умела отказывать: раз приглашают—надо идти,—а он всё со мной да со мной. Зовут его, оказывается, Слава. Я уже разозлилась и решила уйти—зову девчонок, а они не хотят:
— Чего это мы пойдём? Танцы в разгаре!
Ну, думаю, и чёрт с вами, пойду одна—и пошла к выходу. А Слава видит, что я ухожу,—догоняет меня:
— Давайте я вас провожу!
Ладно, думаю, парень всё-таки, не так страшно идти.
По дороге разговорились. Оказывается, он студент пединститута, первый курс закончил; здесь у них студенческий лагерь. Довёл он меня до моей комнатки, и я спокойно распрощалась с ним. Он, конечно, намекал на дружеские отношения, но я этот разговор пресекла: меня в тот вечер просто возмутило, что на меня могут спорить! Я разуверилась в мужчинах.
На следующий день ко мне подходит сторож и говорит:
— Тебя там какой-то парень ждёт.
Я подумала, что это Миша, киномеханик, и как была босиком—как раз пол мыла,—так босиком и рванула к нему прямо по сосновым шишкам—ими там всё усеяно было; ноги колют, больно же!—а бегу. Смотрю, стоит этот лысый Слава с охапкой полевых цветов:
— Ирочка, я сегодня уезжаю. Вот решил преподнести тебе цветы. Скажи: когда мы можем встретиться?
А я ему отвечаю:
— Никогда, Слава. Ты же уезжаешь, а я остаюсь на всё лето, и выходных у нас нет.
Ушёл он. А я на танцы больше не хожу, всё для меня кончилось—занялась своими делами: читаю, вяжу. Прошла неделя; опять сторож идёт:
— Ира, там к тебе опять этот лысый парень.
Думаю: «Господи, да ведь он же уехал!»—но иду. Смотрю, а он снова с охапкой полевых цветов. Говорит:
— Ирочка, мне так скучно без вас—вот приехал повидаться! Давайте погуляем?
Ну ладно, думаю, можно и погулять—не увидит же никто. Мне восемнадцатый год шёл, и лысый парень был для меня каким-то нонсенсом. И ещё кое-что мне в нём не нравилось: больно уж мудрёно он говорил, что-то даже на английском языке лепетал, о литературе рассказывал: он же на историко-филологическом отделении учился, причём на одни пятёрки—на Ленинскую стипендию, кажется. А я иду с ним, совершенно не понимаю, что он говорит, и только думаю: «Ну зачем я это слушаю? Зачем с ним иду?»
Погуляли по лесу; на прощанье он спрашивает:
— Ирочка, а где вы в городе живёте?
И я, чтобы только побыстрее отвязался, называю ему свой адрес, а сама думаю: ну придёт он ко мне домой, а там мама—отправит его, откуда пришёл, и всё.
Но как только я заявляюсь после окончания летнего сезона домой—день в день приходит мой Слава, и опять—с букетом цветов. Оказывается, он уже и с родителями моими, и с сёстрами познакомился. И стал регулярно ходить, и я начала привыкать к нему; у меня же, думаю, нет кавалера—пусть хоть он ходит!
Только странно: такой умный—а девушки у него нету. И главное, уже в армии отслужил. Мне с ним даже интересно стало: в оперный театр меня водит, стихи мне посвящает. Даже целую поэму для меня сочинил.
Но как-то раз он решил меня поцеловать, и мне это стало так неприятно, что я пришла и говорю маме:

— Мама, я не люблю Славу! Что мне делать?

И она мне говорит:

— Надо ему сказать прямо — нельзя парня за нос водить.

А совесть моя ну никак не позволяла взять и брякнуть: «Не ходи ко мне, ты мне не нравишься», — ведь он же хорошо ко мне относится!

Однажды пошли с ним в оперный театр на «Лебединое озеро», сидим, смотрим спектакль, и он мне — шепоток во весь роток:

— Ирочка, вон та лебедь так на тебя похожа!

И тут все вокруг как давай на нас оглядываться! Мне так стыдно стало, так неприятно, что я подумала: вот уж сегодня точно скажу. Возвращаемся из театра; он провожает меня до дома, и я ему говорю:

— Слава, нам с тобой надо расстаться.

— Ты куда-то уезжаешь? — спрашивает.

— Нет, Слава, просто я тебя не люблю.

А он только что мне свои стихи читал. Погрустнел сразу и говорит:

— Но мы же можем друзьями остаться! Можно, я буду приходить как друг?

— Ради Бога, приходи как друг, — говорю.

И он стал приходить как друг. Стихи мне по-прежнему писал, открытки к праздникам подписывал. Узнал, что я воспитателем хочу быть, — приносил книжки по воспитанию. Приглашал на студенческие вечера в их институте.

Однажды пригласил в кино; подходит к нам в фойе женщина и говорит:

— Славик, познакомь меня, пожалуйста, со своей девушкой.

Это его мама оказалась — она знала уже, что у него есть я и что я его не люблю, и решила ввязаться в наши отношения.

— Ой, — говорит она, — а я пироги испекла! Пойдёмте после кино к нам?

И я не могла отказаться — пошла к ним. Попили чаю с пирогами; потом она подаёт мне игрушечный стеклянный самоварчик и говорит:

— Когда Славик был маленьким, то любил играть с этим самоварчиком. Он был такой аккуратный, что даже не разбил его. Я его сохранила и подумала: когда у него будет невеста, я подарю его ей, — и дарит мне.

А я про себя думаю: «Что же делать-то? Ведь она ко мне так хорошо отнеслась». Между прочим, она была журналисткой, а папа — музыкант.

Она завернула этот самоварчик в бумагу и отдала мне, а я, когда уходила, незаметно оставила его — вроде как дала знать, что никакая я ему не невеста. Уж не знаю, обиделась она или нет, но через некоторое время прихожу домой, а мама мне и говорит:

— Была у нас Славина мама и спрашивала: почему Ира не любит Славу? Он так расстроился, что даже тройку получил, первую за всю жизнь.

А мама ей будто бы сказала: «У меня, — говорит, — была старшая сестра, Ульяна. Её выдали замуж за нелюбимого, так она пошла и утопилась прямо в свадебном наряде. Как вы думаете, хочу я своей дочери такого же? Они друзья и пусть пока остаются друзьями…»

Между прочим, две моих старших сестры, Аня и Галя, тоже, как и я, учились и работали. Обе — красивые, но такие скромные, такие стеснительные, что ни с кем из мальчиков не дружили. И вот мама наша, видно, сговорилась с соседками, чтобы те пригласили для них на праздник Первое мая каких-нибудь хороших парней-родственников. И те пригласили двоих, Борю и Валеру, а те, чтобы мне тоже не было скучно, прихватили с собой какого-то рыженького, Толика.

А перед этим мама мне сказала:

— Давай я сошью тебе белый фартучек, сделаем на голове такую беленькую штучку, вроде короны, в каких официантки в ресторанах ходят, и ты будешь подавать всем обед…

Сшила она мне всё это, я надела и пошла подавать гостям. Порхаю, такая вся счастливая, разношу блюда; музыка играет; чувствую себя прямо как Наташа Ростова на первом балу — помните?..

А когда пообедали, начались танцы. И Боря — тот самый, что Гале предназначался, — подходит не к ней, а ко мне и приглашает на танец. Я и пошла. А он и на второй, и на третий танец приглашает. «Мой»-то, рыженький Толик, пытается меня у него отнять, а Боря не отпускает. Галя на меня уже злыми глазами смотрит — а мне это зачем? Сбегу-ка, думаю я, от них от всех к Зине, подружке своей.

Оделась, выхожу из дома, смотрю — Боря за мной увязался. Спрашивает:

— Чего вы ушли? А мы на салют собираемся. Пойдёмте с нами? — и не отпускает.

Пришлось идти с ними на салют. Боря с одной стороны от меня идёт, рыженький Толик — с другой. То ни одного кавалера — а тут сразу два! Галя, смотрю, просто изводится вся. Я тогда говорю Боре:

— Вы же к моей сестрёнке пришли!

— А мне понравились вы, — отвечает…

Сходили мы в центр, посмотрели на салют. Парни проводили нас и ушли, а я с сестрёнками вернулась домой. И тут мне от Гали влетело как следует: и сидела-то я не так, и танцевала не так, и говорила не то!.. Мама тоже ругает. Что ты будешь тут делать?

На следующий день смотрю в окно: Боря идёт. Я бегом — к Зине.

А он сидит и сидит у нас, меня дожидается… Один, второй, третий день ходит. Тогда мама поняла, что это, наверное, всё же любовь, — не стала меня больше ругать за то, что будто бы я «отбила» Борю у Гали, и разрешила мне с ним встречаться. И в конце концов я Борю полюбила.

Слава, мой лысый товарищ, когда узнал, что у меня появился парень, даже заболел — что-то у него с психикой случилось. Но я-то не виновата — я ж ему сразу всё сказала!

Через год Боря сделал мне предложение, и дело пошло к свадьбе. Галя сшила мне свадебное платье; Борины родители — они в Белоруссии жили — прислали мне посылку с огромными яблоками; подружки мне подарков на свадьбу накупили, соседи — тоже… Осталась неделя до свадьбы — и вдруг Боря исчезает: нет и нет его. А я слышала, что в городе разбился трамвай — как раз в том направлении, где он живёт, — и погибли люди. Я думаю: Господи, а вдруг и он там был? — испугалась страшно. Послала Зину — разузнать всё.

Зина разузнала, приходит:

— Нет, — говорит, — его там не было.

У меня, конечно, — слёзы в три ручья, и мама пилит:

— Я ж тебе говорила, что не надо с ним дружить — он старше тебя! Да у него, поди, и невеста есть?..

А Зина, оказывается, — вот настоящая-то подруга! — всё-таки нашла его, отругала и взяла с него слово, что он придёт ко мне и объяснится.

На следующий день Боря приходит, поднимается к нам по лестнице — у нас там крутая деревянная лестница на второй этаж была! — мнётся и говорит:

— Ира, прости меня, но ты знаешь — я женат.

Я от неожиданности так толкнула его, что он полетел с лестницы кубарем. «Ой, — думаю, — разобьётся же!» — а сама убежала к себе и дверь захлопнула.

Он встал, опять поднялся по лестнице и умоляет:

— Ирочка, открой!

А я ему:

— Иди к жене — с женатыми не связываюсь!

И он ушёл.

Я днями напролёт хожу и плачу: вот скамеечка, где сидели, — плачу; вот дерево, под которым стояли, — плачу; дорожка, по которой ходили, — плачу, просто слезами вся заливаюсь. Ревела, ревела…

Подружки видят, что мне совсем плохо, — а они знали, что я люблю петь, — уговаривают меня пойти в хоровой кружок в заводском Доме культуры. И я пошла: в самом деле ведь, когда поётся, легче становится!

Прошло два месяца, как моего Бори нет со мной, а я всё тоскую и тоскую по нему. Даже запах его сигарет любила: кто-то пройдёт мимо да пахнёт этим запахом — у меня просто сердце замирает; едва в обморок не падала.

Перед самым Новым годом наш хор участвовал в концерте самодеятельности в Доме культуры, а после концерта — конечно, танцы.

Пока это мы после концерта костюмы сняли, пока переоделись, пока грим с лица смыли — выходим в фойе потанцевать, а танцы уже кончаются.

И на самый последний танец подходит ко мне молодой человек, представляется:

— Веня, — и приглашает меня.

А у меня и в мыслях нет, что этот Веня — моя судьба: я-то всё ещё Борю люблю, и мне не важно, Веня тут или ещё кто.

А Веня этот танцует со мной и обычный любезный разговор заводит:

— Где вы работаете?

— На заводе, — отвечаю автоматически.

— В каком цехе?

— Во втором.

— А как вас зовут?

— Ирина.

— А фамилия?

— Да зачем вам моя фамилия? — возмутилась я и не сказала.

— А можно вас проводить?

— Нет, я с девочками пойду…

В гардеробе смотрю: подбегает ко мне этот Веня, выхватывает пальто, помогает одеться, суетится и — опять:

— Ну можно я всё же вас провожу?

— Нельзя! — говорю.

На этом и расстались…

А я после того вечера во вторую смену работала. Через неделю выхожу в первую, и одна девушка из нашего цеха, тоже Ирина, говорит мне:

— На прошлой неделе заводской художник всех Ирин к себе вызывал.

— Что ему надо?

— Не знаю, — говорит. — Может, пойдём, сходим?

— Да ну его, некогда мне! — отвечаю.

И всё же она меня уговорила. Да и интересно стало: зачем ему Ирины?

Пошли; заходим к нему — смотрю: там стоит этот самый Веня и разговаривает с нашим цеховым художником, Сергеем. К ним подходит моя подруга, представляется ему:

— Я — Ирина.

А Веня говорит:

— Ну вот, опять Ирина — и не та.

А я за ней стояла; Веня увидел меня и кричит Сергею:

— Да вот же она — а ты говорил: такой нету!

— Так ты же большие глаза рисовал — у неё не такие, — отвечает тот.

Я услышала этот торг — развернулась и пошла, а Веня кричит вслед:

— Ира, подожди! Ира!

Догнал в коридоре и говорит, явно волнуясь:

— Я ведь уже вторую неделю вас ищу, всех Ирин перебрал!

— Зачем вы меня ищете? — спрашиваю строго.

— Ты мне понравилась.

— Извините, но я не хочу с вами разговаривать! — сказала и ушла.

Тогда он стал мне писать письма. А у меня — то работа, то вечерние занятия; к тому времени я уже рассудила так: раз в детском саду не понравилось, а образование надо получать, — поступлю-ка я в электротехнический институт, чтобы потом на нашем же заводе работать инженером — завод мне нравился; стала ходить вечерами на подготовительные курсы, так что Венины письма даже не распечатывала. Он передавал, передавал их мне, да тихонько от меня и отстал.

А между тем в нашем доме произошло следующее: наша соседка с первого этажа, Аннушка, болела туберкулёзом в тяжёлой форме, и мама ходила подкармливать её; пошла она однажды отнести ей свежих пирожков, через несколько минут прибегает и говорит:
— Аннушка умирает — пойду посижу с ней!

И ушла. А через какое-то время вернулась и объявляет мне:
— Умерла Аннушка. А перед смертью знаешь что сказала? «Не хочу, — говорит, — уносить с собой в могилу один секрет. Этот Боря, который к твоей Ирине ходил, никакой не женатый. У вашей соседки Антонины есть племянница, которая в институте преподаёт, — так эта племянница увидела у вас Борю и говорит Антонине: „Тётя Тоня, познакомь меня с этим мужчиной — он мне понравился; мы с ним прекрасной парой будем“, — и эта Антонина, чтобы Боря отстал от вашей Ирины, подкараулила его и сказала, что будто бы твоя дочь Ира — туберкулёзная: „Видишь, — мол, — её даже из детского сада поэтому уволили. Так что не ходи к ней — заразишься“, — а потом и со своей племянницей его познакомила». Разговор этот, — продолжала мама, — происходил под Аннушкиным окном, и она всё слышала…

Меня мамин рассказ просто как громом поразил: какой страшной бывает подлость! Я всю ночь проревела. Да, у меня в детстве была туберкулёма, что-то вроде туберкулёза, да, я лежала целый год в санатории, и соседи знали про это. Но даже туберкулёмы в это время у меня уже не было; я имела справку, что совершенно здорова, — без этой справки меня бы ни в какой детсад работать не взяли!

Той же ночью я написала Боре письмо. Пишу и реву, так что всё письмо залила слезами. Приложила к нему эту справку, что здорова, и все его фотографии, которые он мне дарил, — а как отправить?.. Решила идти к нему в общежитие сама. Вышла рано, часов в пять утра, ещё трамваи не ходили, — а идти далеко, остановок пятнадцать. Пришла в общежитие часов около шести — там ещё все спали. Просунула его фотографии вместе с письмом и справкой в щель под дверью в его комнату, выхожу на улицу, и — вы знаете — с меня эта любовь, как пелена какая-то, спала. А ведь до этого просто умирала… И опять пешком — уже на работу.

Выхожу с завода после смены, — стоит Боря с паспортом в руке и говорит:
— Вот, посмотри: паспорт чистый, неженат я. Прости меня!..

Конечно же, я ему всё простила, и мы снова задружили. Но он меня целует — а будто трава: ничего не чувствую; исплакала я свою любовь. Хоть и продолжала встречаться с ним, а сама спрашивала себя: люблю ли я его? — и понимала, что не люблю, а встречалась по привычке — только потому, что любила когда-то.

Между тем вечерами я продолжала ходить на подготовительные курсы при заводе, а курсы находились в подвале. Однажды — уже зима была, на улице как раз минус сорок стояло — выхожу, замёрзшая вся, голодная, из подвала, чтобы домой идти — смотрю: Веня, художник наш, идёт из столовой и пирожки несёт. Увидел меня, руки растопырил и говорит:
— А-а, вот вы где мне попались! — и пирожки-то у него из рук и попадали, а он всё на меня смотрит.
— Да ведь вы же вся ледяная! — спохватился он и потащил меня к себе в мастерскую.

А я — заторможенная какая-то, и мне всё равно. Заводит он меня к себе в мастерскую. Там стоит раскалённый докрасна «козёл» из проволоки, и кругом на стенах — портреты красивых женщин. На полу лежат две картины — или плакаты? — и на них — летящие голуби. Я так и обалдела от всего этого. Гляжу на него — а на нём такой красивый свитер, и сам он такой красивый! Почему же я раньше-то этого не замечала? Да ещё такие красивые портреты рисует!..
— Та-ак, — распоряжается он, — садись, грейся! Я вот чайник поставил, сейчас ещё за пирожками сбегаю, а тебя пока закрою на ключ, чтоб не убежала, — и ушёл.

Сижу одна, греюсь, осматриваюсь. А всё вокруг — такое яркое, неожиданное — просто сюрреализм какой-то!

Пришёл он с пирожками, чай заварил. Попили чаю.
— Ну что, согрелась?
— Да-а!
— Вот уж теперь-то я тебя провожу! — говорит…

Он меня проводил домой, и с той поры мы с ним задружили.

А между тем и Боря ко мне ходит, и Слава-лысый. Мама мне говорит:
— Ира, мне перед соседями стыдно: то один у тебя, то второй, то третий, — это что за безобразие?
— Мама, но я же не виновата! — оправдываюсь. — Ты же знаешь, со Славой мы просто друзья, а Борю, наверное, уже не люблю.
— Ну а художник? Его ты любишь?

— Кажется, нравится — но не знаю ещё… Ничего, мама, пока не знаю!..

Да я и в самом деле никаких ориентиров ни одному из них не давала: так, провожали только, в щёчку целовали — и всё. Не разрешалось же больше!

А тут мне надо было вступительные экзамены сдавать, и я им сказала:

— Никто не приходите — готовиться к экзаменам буду!..

Но приду после консультаций из института — сидят Веня с Борей, в шахматы режутся. Вене я, между прочим, рассказала про наши с Борей отношения, в том числе и про несостоявшуюся свадьбу. И Веня стал мне говорить:

— Долго ещё этот мужик в валенках ходить будет?

А у Бори постоянно ноги мёрзли — никак не мог привыкнуть к сибирскому климату, ходил в валенках.

— Не надо, Веня, торопить события, — говорю ему. — Я ещё ничего не решила.

А Боря, когда Вени нет, предлагает мне:

— Ира, я же в институте учусь — давай буду тебе помогать?

— Ну, помогай, — говорю.

И он приходит и помогает мне готовиться к экзаменам. Математику, например, я сдала только благодаря ему. Он мне скажет во время экзаменов:

— Ты в туалет попросись, и я тебе всё решу.

И вот я выхожу вроде бы в туалет, а он меня ждёт на подоконнике и всё мне решает. И на сочинении подстраховывал. Там ведь было десять человек на место — куда же мне, с моей-то дырявой памятью?

А у нас мама любила поговорить, так что дома заниматься было невозможно. У нас курятник был; так я сделала там себе комнатку: побелила, полочку повесила, столик поставила — и занималась в курятнике, шпаргалки писала. Как-то пришёл туда ко мне Слава, увидел, что я их строчу, и говорит:

— Ирочка, а тебе не стыдно шпаргалки писать?

— Стыдно, Слава, — говорю, — но почему-то я ничего не запоминаю.

— Значит, плохо учишь!

Из-за шпаргалок он меня чуть ли не возненавидел.

И всё же я поступила в институт. А первого сентября нас отправили в колхоз…

Возвращаюсь из колхоза — опять Веня с Борей у нас в шахматы играют.

Первым не выдержал Веня — он же нетерпеливый был: вызывает меня на улицу и спрашивает решительно:

— И долго ещё этот мужик к тебе ходить будет?

— Веня, но он же мне помог в институт поступить! — говорю ему. — Да и мама велела мне пока ни о чём, кроме учёбы, не думать!

— Нет, ты должна решиться! В общем, если хочешь со мной остаться, приходи в воскресенье к двум часам дня в столовую на площади, где мы с тобой — помнишь? — обедали! — повернулся и ушёл.

Потом Боря меня вызывает на улицу и тоже спрашивает:

— Ира, долго ещё этот мужик будет к тебе ходить?..

А я, между прочим, навела справки и досконально узнала, что он продолжает встречаться с Антонининой племянницей, и говорю ему про это, а он мне:

— Да, встречаюсь. Но я понял, что люблю только тебя одну.

— Ладно, — говорю, — подождём ещё…

Мама-то и в самом деле не велела мне ни о чём, кроме учёбы, не думать.

Но и Борю нетерпение одолевает — и он тоже ультиматум мне ставит:

— Нет, — говорит, — выбирай: или со мной — или с ним! Если решишься — подходи в воскресенье в два часа дня к оперному театру.

А я никак не могла ни на что решиться и просто никуда не пошла: мне же и в самом деле учиться надо, а не о женихах думать!

Села заниматься, да с этими мыслями и уснула нечаянно… Просыпаюсь оттого, что кто-то меня холодными губами в щёку целует. Открываю глаза — Веня.

— Я ждал, ждал тебя, замёрз — а ты, оказывается, уснула!

А Боря так и не пришёл. И я подумала: раз так — пусть уж тогда будет Веня!

И с той поры он стал ходить ко мне на правах жениха: как-то так получилось, что вся любовь, которая была у меня к Боре, плавно перетекла на Веню — он стал мне нравиться.

А он обрадовался и начал меня торопить: давай поженимся да давай поженимся, — а я ему:

— Нет, давай всё-таки подождём — я же ещё только на первом курсе…

И мы ещё целых два месяца гуляли. А на Восьмое марта он пришёл к моим родителям сватать меня, и родители решили: раз уж трое ходят, пусть лучше будет один, — и дали ему согласие. В том же марте, не откладывая, справили свадьбу, и я была в том самом платье, которое сшила мне Галя для свадьбы с Борей.

2. Замужество

Мы с Веней сняли частный домик и стали в нём жить. Там была всего одна комнатка, а в ней умещались только печка, кровать и маленький столик.

А Слава, мой лысый воздыхатель, видно, надеялся, что ничего из моего замужества не получится, что я в конце концов буду с ним, и напросился однажды в гости — посмотреть, как я живу. Я пригласила; он пришёл, посмотрел и говорит:

— И как только вы в такой комнатушке помещаетесь? — да ещё иронизирует: — Хотя, конечно, с милым рай и в шалаше!
— А нам, — говорю ему, — больше ничего и не надо.
— Ира, но ведь у меня — квартира!

Я, чтобы уж не обижать его, не стала ему ничего говорить…

Летом нам с Веней там было и в самом деле хорошо; мы жили душа в душу, и я была на седьмом небе от счастья. Но осенью в домике стало так холодно, что ночами замерзала вода в баке, хотя с вечера Веня хорошо протапливал.

Потом нашли другой домик, попросторней, и прожили в нём ещё два с лишним года. И на втором году нашей совместной жизни я забеременела.

В это время Веня узнал, что создаются жилищные кооперативы и можно купить там квартиру. Но я была студенткой дневного отделения, работал один Веня, и квартира нам никаким образом не светила. Так что Веня обрадовался возможности попасть в кооператив, написал и отнёс заявление на двухкомнатную квартиру — однокомнатных, как мы сначала запланировали, уже не оказалось: все разобрали.

Первый взнос за неё составлял тысячу восемьсот рублей. Где их брать, мы понятия не имели, но решили попробовать. Мне пришлось перейти с дневного отделения на вечернее и снова поступить на работу; теперь я две недели училась, а две работала напайщицей на той же конвейерной линии…

Прошёл год, и я поняла, что учиться не смогу: там столько надо было сдавать экзаменов на каждой сессии, что даже парни с хорошей памятью — и те с трудом учились. Хотя Веня и помогал мне: чертил вместе со мной чертежи, химию со мной учил. А я только возьму в руки учебник — сразу засыпаю. Веня придёт с работы, а я сплю как убитая, с учебником под подушкой. Он мне и говорит:
— А не пора ли тебе завязать с учёбой? Тебе что, она нравится?
— Нет, — говорю, — не нравится.
— Так уходи — зачем чьё-то место занимать?
— А как же мама? — говорю.

А он мне:
— Какая мама? Теперь я твой хозяин!..

Написала я заявление и ушла из института — снова полностью перешла на завод, и мы начали копить на квартиру. Нам надо было накопить эти первые тысячу восемьсот рублей за полгода. И мы тщательно продумали, как их копить.

У меня было старое выцветшее пальто — так я его перелицевала и стала носить, а другое, поновее, а также плащ и все кофточки продавала на базаре: решила, что и без них обойдусь. Питались мы в заводской столовой дважды в сутки, по тридцать три копейки на каждого; это значит — только первое и второе блюда и чай с булочкой. Поэтому когда сейчас говорят, что в советское время жили лучше, — это неправда. Может, кто-то и жил лучше, но я таких там не видела — все вокруг постоянно считали копейки и еле-еле сводили концы с концами.

Так вот, хоть мы с Веней и жили на копейки, а денег на первый взнос за квартиру всё равно не хватало. Веня взял себе вторую работу, и я тоже, уже будучи беременной, стала работать в две смены: в первую продолжала работать напайщицей на своём постоянном месте, а во вторую делала ту же самую работу — только уже на семи станках.

Начальник цеха сопротивлялся, никак не хотел устраивать меня во вторую смену, да ещё на семь операций — это было нарушением; ему бы за это влетело, — но мы с моей верной подружкой Ирой его уговорили, тем более что и в первую, и во вторую смену Ира всегда была рядом.

А когда до декретного отпуска осталось всего три дня, у меня уже не было сил не то что на семь операций — даже на одну: ни рукой, ни ногой шевельнуть не могу — такая накопилась усталость. И говорю Ире:
— Напишу-ка я, наверное, заявление на административный отпуск.

А она мне:
— Да ты что — тебе же тогда декретных меньше заплатят! Давай я за тебя встану!

И все три дня отработала вторые смены и за себя, и за меня, а я только сидела и подавала ей детали.

Наконец пошла я в декретный отпуск. А декретные всё не давали.

Между тем моя сестра с мужем тоже решили вступить в кооператив, и мы договорились с ними так: сложим вместе деньги, купим сначала одну квартиру, будем жить в ней все вместе и сразу же начнём копить на вторую, причём кто больше накопит — тот первым и купит. Мы с Веней накопили шестьсот рублей, а они — всего триста; значит, первая квартира должна быть нашей; теперь, с их деньгами, у нас было девятьсот рублей, да получу декретных шестьсот — будет тысяча пятьсот. А на первый взнос надо тысячу восемьсот.

Но я-то ещё и свои декретные не получила. И меня выручила вторая сестра; она работала в КБ и попросила у друзей, которые копили на машину, — они сняли с книжки и отдали нам шестьсот рублей. Осталось собрать ещё триста.

Сто рублей нам прислал Венин брат Коля из Пятигорска, десять рублей папа дал, по десять рублей мы с Веней занимали на работе у всех, кто мог дать.

Наконец собрали мы тысячу восемьсот и пошли отдавать. А был как раз март, солнышко, тепло, и я — уже с большим животиком. Идём по улице; я прижимаю к груди сумочку с деньгами: не дай Бог потерять!.. Отдали мы эти деньги; возвращаемся

такие счастливые: у нас скоро будет своя квартира!.. И вдруг Веня мне говорит:
— Вот смотрю я на тебя, Ира: хуже твоего пальто ни у кого нет.

Да конечно же: я его, своё старое пальто, перелицевала! И мне страшно обидно стало: как же так? Мы еле-еле собрали деньги; я всё, что могла, продала с себя; при этом работала, беременная, в две смены! Должен же он оценить мои усилия?.. Странно, но такие обиды остаются на всю жизнь…

Через месяц нам присылают бумагу: надо доплатить ещё сто рублей,—кирпич подорожал. К кому идти просить? Уже всех оббегали.

Пошла к маме и расплакалась:
— Мама, что мне делать? Ведь мы и так собрали всё, что могли!

А мама мне и говорит:
— Сейчас ко мне должны прийти соседки—давай попробуем занять у них.

Пришли две соседки. Мы с мамой всё им рассказали, и одна говорит:
— Ирочка, я смогу тебе занять пятьдесят рублей на один месяц.
— И я дам пятьдесят,—говорит вторая.—Причём когда будут, тогда и отдашь…

Вот так: добрые люди, все вместе, выручили нас.

Отдали мы и эти сто рублей, и вскоре после этого родился Костя.

Между прочим, Веня работал в подвале, и в одной комнате с ним работал Гена Бобровский, а у него был туберкулёз, который то открывался, то закрывался. Я переживала из-за этого; давала Вене стакан и говорила:
— Пей только из своего стакана!

Прихожу—а стакан опять у Гены на столе.

Так продолжалось, пока я ходила беременной.

Возвращаюсь с сыном из роддома—вижу: муж мой что-то похудел, и подушка под ним после сна подозрительно влажная; да ещё и покашливает; а соска у ребёнка упадёт, он её оближет и—в рот ребёнку.
— Веня, что с тобой?—спрашиваю его.
— Ты же знаешь,—говорит,—я работаю в две смены, устаю.
— Веня, я тебя умоляю: сходи проверься!..

Уговорила его—пошёл.

Обычно он торопился домой, бежал, приносил воду, мы топили печку и купали вместе сына—а тут его нет и нет. Сама сходила за водой, затопила печь, искупала ребёнка. Темно уже, а Вени всё нет… Вдруг открывается дверь, входит он—голову повесил, весь бледный, и говорит:
— Ира, я тубик…
— Что такое тубик?
— Ты права оказалась, у меня туберкулёз. Завтра надо идти проверяться: открытая или закрытая форма. Сказали: ложку, чашку, полотенце, постель—всё отдельно от тебя.
— Да ладно,—говорю, стараясь быть спокойной,—тубик так тубик. Вылечимся! Но я не хочу отдельно: столько вместе ели, пили, спали—давно бы уже заразилась.

Он посмотрел на меня как-то очень серьёзно и говорит:
— Я никогда этого не забуду—ты такая у меня молодец!—и заплакал.

И мы обнялись.

Утром он ушёл проверяться… Я волнуюсь за него, а его всё нет и нет. И тут подъезжает санитарная машина; из неё выходят санитары и спрашивают:
— Здесь квартира Митрофановых?
— Да. А что случилось?
— У вашего мужа открытая форма туберкулёза, его в больницу положили. А у вас мы заберём постель и всё обольём хлоркой…

А мы жили за стенкой у старика-хозяина. Он увидел санитарную машину, прибегает возбуждённый:
— Ира, что случилось?
— Веня заболел туберкулёзом, приехали дезинфицировать квартиру.
— Ах, так? Тогда и ты уходи!—кричит он.—Мне туберкулёзные не нужны!
— Дедушка, да куда же я, с ребёнком-то?
— А мне какое дело?..

Я беру ребёнка, иду в магазин—там телефон. Звоню папе:
— Папа, я стою с Костей на улице, нас хозяин выгнал!
— Как выгнал? А Веня где?
— Веня в больнице.
— Жди, сейчас приеду!—говорит.

И действительно—приезжает на машине и забирает нас вместе с Костей и с нашими вещами. Только спросила:
— Папа, куда ты меня хочешь везти?
— К себе—куда же ещё?
— Да как же я там помещусь?—говорю.

Знаю же, что там мама, папа, моя сестра Галя с мужем, их годовалая Анечка, четырёхлетний сын второй сестры Женька,—и все в одной комнате. Да ещё и я с трёхмесячным Костей?
— А мы тебя в сенях поселим,—отвечает.—Сейчас лето; отгородишься занавесочкой и поживёшь в сенях…

И я там, в сенях, прожила до августа. Правда, у меня на нервной почве молоко пропало. Но как только я приехала к ним, мама мне говорит:
— Ира, иди на работу, я одна со всем справлюсь.
— Мама, но у тебя же год назад инсульт был!..—испугалась я за неё: ведь на ней будут трое маленьких деток!
— Выдержу,—говорит она.—Иди-иди—у тебя полная тетрадка долгов…

Я пошла. И мама справилась. А в августе наш дом построили, и мы, все впятером — Галя с мужем и Анечкой и я с Костей, — заехали в него, хотя там ещё не было ни воды, ни электричества, и стали думать: как жить дальше? Мамы с папой здесь нет; кто ж нам теперь помогать-то будет?

Даже когда я жила в сенях у родителей, то есть практически на улице, — квартиру на заводе мне бы всё равно никто не дал. Веня болел туберкулёзом и хоть и числился заводским художником — но и ему никто не хотел давать квартиру. Веня даже ходил на приём к директору завода и сказал, что у него открытая форма туберкулёза и что ему положена квартира с отдельной комнатой, но тот ему сказал только:
— Вставайте в льготную очередь.
— Так это — ждать минимум три года! А где мне с семьёй жить всё это время? — спрашивает Веня.
— Меня это не касается, — ответил ему директор…

Уже потом, когда люди нам подсказали, что всё-таки надо было встать в льготную очередь и ждать, но мы-то уже внесли вступительный взнос за кооператив, поэтому от льготной квартиры решили отказаться и ждать кооперативную — а ведь могли схитрить: вписать в очередь на кооператив маму или папу, а сами — встать в льготную; но мы же честными были: такая комбинация нам и в голову не могла прийти!

Мало того, нам ещё и с самой квартирой не повезло. В кооперативе тянули жребий: кому на каком этаже жить. Но более хитрые — были ведь и тогда хитрые люди! — заранее дали председателю и бухгалтеру «в лапу», и им выделили самые удобные этажи — вторые, третьи и четвёртые, — а честным, то есть тем, кто тянул жребий, доставались только первый и последний этажи.

Я надеялась, что достанется хотя бы пятый, с балконом, — а достался первый; да ещё прямо под самыми окнами — крыша лестницы, ведущей в подвал. Я даже поплакала от расстройства… И всё-таки была счастлива уже тем, что у меня — своя квартира со своей ванной. Когда я первый раз наполнила её водой и легла в неё, то не было никого счастливее меня: Боже мой, у меня теперь своя ванна! — и не надо ни воду носить, ни печку топить.

Но долгое время у нас не было штор на окнах, в то время как на первом этаже без штор просто нельзя: каждый, кому не лень, может заглянуть в окна; тем более что прямо под окном — крыша лестницы в подвал: встань на эту крышу и спокойно лезь к нам. Поэтому я приносила с работы белые тряпочки, которыми вытирала детали, сшивала на швейной машинке вместе — слава Богу, у меня была машинка, и я умела на ней шить. Тряпочки были по полметра длиной и сантиметров по двадцать шириной, причём, чтобы пронести их через проходную, надо было ещё прятать у себя под одеждой — с завода-то выносить ничего нельзя!.. Дома я пропаривала их, отстирывала и сшивала двойным швом, так что все шторы, простыни и пододеяльник у меня были из этих лоскутков.

Я работала в бригаде коммунистического труда, а бригада была первой на заводе. Мы с девочками жили дружно — выпускали, например, цеховую стенгазету, причём меня они выбрали редактором, так что, когда кто-то гнал брак или опаздывал, я писала там про него как про бракодела или прогульщика; даже сатирические стихи сочиняла… А однажды сама проспала — так уставала, что не слышала утром будильник, — и девчонки мне говорят:
— Ага, теперь сама про себя пиши!

И вот сижу, помню, плачу от стыда и на себя самоё строчу стихи.

Так вот, девчонки в бригаде знали, что я в бедственном положении: муж в больнице, я — одна с маленьким ребёнком, а надо платить за кооператив, и в доме — шаром покати, — сочувствовали мне и чем могли помогали. Так, они стали собирать эти тряпочки для меня: подходили к кладовщику, который выдавал их со склада, и говорили:
— Я сегодня буду протирать детали вчерашней, а мою новую отдай Ирке.

Да и сам этот мужик говорил мне:
— Я тут подобрал тебе тряпочки побольше размером, чтоб тебе хотя бы на пододеяльник хватило.

То есть у нас было всеобщее взаимопонимание, и я страшно благодарна за это им всем.

Потом не помню уж кто ещё подарил мне белую скатерть, кто-то — белое покрывало на кровать, так что когда я повесила на окна эти сшитые из тряпочек шторы — смотрю и глазам не верю: какая у меня квартира нарядная! Господи, думаю, неужели это всё теперь — моё?..

Галя с мужем тогда ещё ждали свою кооперативную квартиру, и мы жили вместе. А чтобы оставаться с детьми по очереди, договорились, что работать будем в разных сменах: они оба — в первую, а я — во вторую, — и после своей смены они бегом бежали домой, а я — на вторую. Но получалось так, что они оставались с двумя нашими детьми вечерами вдвоём, а я, тоже с двумя, — одна, только днём. Однако днём мне надо было ещё бегать за питанием в детскую кухню, причём в любую погоду — в дождь, в мороз, в слякоть, — да ещё с детьми: мне-то не с кем их оставить! Однажды торопилась туда — а лил сильный холодный дождь, — и моя колясочка с детками переворачивается прямо посреди тротуара! Я стою и реву, и ребята со мной ревут… Пришла вечером на работу — сижу на напайке и плачу.
— Чего плачешь? — спрашивает напарница.

— Ребятишек днём перевернула! — и рассказываю, как всё получилось.
— Слушай, — говорит она мне, — я ведь недалеко от тебя живу. Давай сделаем так: мой сын будет носить тебе детское питание.
— Ой, да конечно же! Спасибо! — радуюсь я. — Я ему платить буду!
— Платить ничего не надо! — твёрдо говорит она…
И этот её мальчик — ему всего-то десять лет было — целый год ежедневно приносил мне детское питание. Он так меня тогда выручил!..

Через год Веня поправился. Уходя в больницу, он оставил Костю трёхмесячным, а когда вернулся, ему уже исполнился год и три месяца!..

Это был долгий год и для меня, и для Вени. Ему там сделали операцию на лёгких, а когда шов зажил — дали путёвку на курорт в Крым, в Симеиз.

Он уехал туда, начал курс лечения, но примерно через месяц почувствовал, что у него очень болит левая рука — с той стороны, где его оперировали. Он стал жаловаться на боль, а врачи только знай отмахиваются:
— Отстань! Перенёс такую операцию — и хочешь, чтобы не болело?

А он терпел-терпел — да пришёл наконец к лечащему врачу и говорит:
— Я никуда отсюда не уйду — ночевать здесь буду, пока вы не проверите, почему болит рука!

Только тогда врач отправил его к хирургу. Тот осмотрел, потрогал шов и говорит:
— Завтра же — на операцию!..

И назавтра же его оперировали: опять резали этот шов, опять — под наркозом, — и длилась она даже дольше, чем первая. Оказалось, после первой операции в груди у него забыли нить, и она дала такую инфекцию, что у него успела сгнить половина мышцы на руке, — а после этого ещё две недели из него откачивали длинными иглами жидкость. И Веня всё это пережил, перетерпел!

А как только зажили швы — он тут же начал там, на курорте, рисовать: брал вместо обеда сухой паёк, уходил на этюды и приходил только к ужину.

Привёз он из Симеиза много интересных этюдов и одну очень красивую картину — просто шедевр: клумбу с розами. Думаю, это оттого, что когда он заболел туберкулёзом, то очень боялся умереть, а когда выжил — стал так радоваться жизни, что всё, что бы он ни рисовал, получалось прекрасно.

Вернувшись домой, он начал часто ходить на художественные выставки, на выставкомы — стал очень интересоваться художественной жизнью города. И художники, которые знали, что у него тяжёлая ситуация: долги за квартиру, сам он болел туберкулёзом и перенёс две операции, — похлопотали, чтобы у него купили эту «Клумбу с розами»… И вот он прибегает домой и светится от радости:
— Ира, поздравь, у меня картину за триста рублей купили!..

Конечно, за тот год, что он болел и получал больничные, я сумела раздать много долгов, но всё равно долги ещё оставались, и жили мы скудно: я получала на своём заводе девяносто рублей в месяц и тридцать семь из них тут же отдавала за квартиру.
— Как? — удивилась я. — За одну картину — и триста рублей, три моих зарплаты?

Это было немыслимое счастье: во-первых, он вернулся домой живым, а во-вторых, ещё и получил такие деньжищи! Обнов накупили ради такого случая и сыну, и себе…

Но счастье моё длилось недолго; оказывается, Веня приехал совершенно другим человеком.

Дело в том, что он по три раза в день пил горсть таблеток, и нервная система у него стала совсем изношенная — взрывная, так что с ним просто невозможно стало разговаривать: он не откликался на мои просьбы и не хотел ничего дома делать.
— Всё это — женская работа! — говорил он.

Я возмущалась: да как же это так? Стирать — женщина, ужин готовить — женщина, в магазин — женщина, уборку делать, посуду, пол мыть — всё женщина? А ведь я же ещё и на производстве работаю!..

При этом, когда я стала водить сына в детский сад, меня вдруг с новой силой потянуло работать в детсаду.

В это самое время я подружилась с прекрасным человеком — своей начальницей цеха Алиной Васильевной, с которой дружу до сих пор. Она, умничка такая, сначала была комсоргом завода, потом закончила юридический институт, и её поставили начальником цеха. Кстати, она и Веню хорошо знала.

Я призналась ей, что меня снова потянуло в детсад, и она мне говорит:
— Ира, я тебя хорошо понимаю. Представь себе: всю жизнь работать на нелюбимой работе — каторгой жизнь покажется! Конечно же, возвращайся.
— Но как? У меня ребёнок маленький, муж больной, — сомневалась я.

Однако она меня убедила, и я пошла по всем детским садам подряд — искать место:
— Возьмите меня хотя бы нянечкой — я потом поступлю в педучилище и буду воспитательницей!

И вот одна заведующая пообщалась со мной и говорит:
— Ирина Петровна, да вы не только нянечкой — вы и воспитателем сумеете быть: я вас послушала и поняла, как вы любите детей. Я возьму вас воспитателем младшей группы…

И вот после пяти лет работы на заводе я снова попала в детский сад, причём на заводе даже увольняться не пришлось — оформили переводом; и то утро, когда я шла на новую работу, почему-то

запомнилось мне на всю жизнь: иду, а душа просто поёт, ликует: «Неужели уже скоро, уже сейчас я буду работать с детками?» — а когда зашла туда — была на седьмом небе от счастья…

И начался мой новый период жизни.

Веня, конечно же, противился этому: на заводе меня к тому времени повысили — я получала уже сто сорок рублей, а в детсаду — всего шестьдесят два. Да ещё за кооператив платить… Но я ему твёрдо сказала:

— Веня, я не могу иначе — я люблю свою работу.

И когда перешла работать в детсад, мне так захотелось стать настоящим воспитателем, что я вскоре же поступила в педучилище.

Счастье моё было омрачено ещё одним обстоятельством: видно, от эйфории, что остался живым, Веня пустился во все тяжкие, причём, как я выяснила, ещё на курорте. Сначала я этого не знала — только потом мне объяснили, что лекарство, которое ему там давали, тубазид, вызывает эйфорию и сексуальное возбуждение. Там, естественно, было много женщин из медперсонала, а он — художник; и он их рисовал в самых разных видах. При этом, соответственно, налево-направо влюблялся, и они, конечно же, охотно крутили с ним любовь: как же, художник!.. И, приехавши домой, он тоже начал без конца влюбляться.

Сначала влюбился в одну новосибирскую художницу, Елену. Надо сказать, что эта Елена не утруждала себя принципами: влюбляла в себя всех мужчин подряд, сама ни в кого не влюбляясь, причём если в неё влюблялся женатый — за этим непременно следовал развод…

Вот Веня приходит однажды и объявляет:

— Ира, я влюбился, поэтому жить с тобой мы будем раздельно: я в своей комнате, а ты — в своей…

Что делать? Мне и жалко-то его: столько всего перенёс! — и, конечно же, обидно: что же это за семейная жизнь получается? Но, может быть, подумала я, повлюбляется да и одумается: всё-таки у него — дом, семья, ребёнок!

А он ежедневно стал приходить в три-четыре часа ночи, да ещё иногда и нетрезвый.

Эта Лена и сама иногда приходила к нам или звонила среди ночи:

— Ирочка, ты не волнуйся, Веня у меня…

За это время он написал несколько её портретов, и когда она однажды позвонила вот так, я взяла самый лучший из них, который Веня особенно любовно выписывал, и изломала вдребезги через колено. Помню, ломаю, а сама думаю: ох, придёт сейчас Веня, увидит и убьёт меня!.. Но он пришёл, увидел, почувствовал, видно, что слишком уж у меня накипело, и — ни словечка.

А я работала и училась и порядок в доме, естественно, навести не всегда успевала. Мне хотелось, чтобы и он помогал, а он мне:

— Вся работа в доме — женская, и меня не волнует, когда ты будешь успевать.

Я ложилась спать в два часа ночи: пока всё не постираю, не развешаю, уборку не сделаю, посуду не вымою, — а в шесть ноль-ноль снова на ногах. Причём у сына был всего один костюмчик; так я его вечером постираю, за ночь подсушу, утречком поглажу и вместе с ребёнком — бегом в детсад. Да вечером ещё надо контрольные писать. А он приходит среди ночи, ещё и пьяный иногда; спать я, естественно, не могу — он же через мою комнату идёт, на кухне что-то делает, возится, шумит.

Мне уже просто невыносимо стало терпеть это, да ещё от переживаний у меня открылся язвенный колит — это мне моя работа напайщицы боком вышла: та свинцовая паста, с которой я делала напайку, накопилась во мне и при стрессовом состоянии проела во многих местах мою прямую кишку. Боли ужасные, а к врачу идти некогда — терпела и терпела: авось, думаю, само пройдёт… И когда поняла, что не выдержу, — решила разойтись с Веней, найти подходящего человека и снова выйти замуж, потому что так жить стало уже невмоготу, и в мыслях своих приготовилась к тому, что придётся с Веней расставаться, раз он меня не любит. И как только решила — сказала ему:

— Давай, Веня, уходи совсем и живи как хочешь. Будем разменивать квартиру.

И он ушёл. А через три дня приходит Лена, его подруга, и говорит:

— Веня уехал на Украину.

И подаёт мне его записку, а в ней: «Ира, я уезжаю не от тебя, а от себя. Я должен всё решить сам. Скажи сыну, что папа уехал рисовать туда, где красивая природа».

И я осталась одна, с маленьким ребёнком на руках, в квартире, за которую надо платить тридцать семь рублей в месяц, причём за два последних месяца ещё не заплачено, а в карманах — ни копейки.

И вот получила я эту записку, осмотрелась вокруг каким-то совершенно безучастным взглядом: посреди квартиры стоит ведро с краской — это Веня собирался делать ремонт; на улице мрак, холод — поздняя осень, скоро зима, — и на меня вдруг такое безысходное состояние навалилось, что я решила уйти из жизни. Быстро села, написала маме прощальную записку: «Мама, ты меня очень хорошо воспитала. Прошу тебя: воспитай таким же моего сына. И простите меня»… Помню, как, уже машинально, будто во сне, приготовила верёвку, накинула на трубу в туалете. Причём входную дверь в квартиру нарочно оставила открытой, чтобы потом людям не надо было ломать…

А Ира, подружка моя драгоценная, уже знала, что у меня тяжёлая депрессия, зорко следила за мной, часто навещала и пришла именно в тот самый момент — будто чуяла неладное. Увидела записку на столе, кинулась меня искать — а я

заперлась в туалете, накинула петлю на шею, и когда она стучала в дверь, я уже не слышала: помню только, как тихо поплыла куда-то, и так легко, так освобождённо мне стало… Ира дёрнула изо всех сил дверь в туалет, сломала защёлку, увидела меня в петле, сорвала с меня верёвку—да как давай хлестать меня ею же по лицу! Я пришла в себя.

А она любила выпить. Хватает она меня за руку и говорит:

— Пойдём!

— Куда?

— В магазин!

Иду за ней, как сомнамбула. Заходим в магазин, покупаем большую бутылку вина, приходим домой. Она наливает мне стакан:

— Пей!

— Не хочу!—говорю.

— Пей, а то буду снова тебя сейчас бить!

Я с горем пополам выпила полстакана.

— Ещё пей!

— Не могу-у!—взмолилась я.—Можно, не буду больше?—и стала плакать.

Плакала-плакала… Только перестану—она мне снова:

— Пей!..

Так мы с ней всю бутылку за ночь и выпили, и я очнулась наконец. Читаю свою записку и хватаюсь за голову: Боже мой, что же я хотела натворить!..

И навек осталась благодарна своей милой подружке. Мы с ней до сих пор дружим и любим друг друга—дай Бог моей спасительнице счастья и здоровья.

А через некоторое время Веня стал нам с Костей присылать деньги и письма и в них начал писать: «Я вернусь домой».

Но я-то хорошо помнила, как мы жили последнее время, и не хотела его возвращения—поняла, что жить с ним не смогу: я ему нужна только затем, чтобы у него были еда, чистая рубашка и чтобы дома было убрано. Поговорить с ним о чём-то, хотя бы просто отвести душу невозможно: как человек я ему совершенно не нужна и неинтересна, он сосредоточен лишь на себе, и я не имею права ничего от него требовать—у него на всё один ответ: «Ты же видишь, я работаю! Чего ты ещё от меня хочешь?..»

И когда я теперь слушаю по радио передачи о художниках, о творческих личностях, и когда там говорят, что эти люди принадлежат не себе, а только своему творчеству,—я это пережила сама.

Но я не хочу быть всего лишь служанкой у мужа, если даже он художник! Ведь я же не машина для исполнения чужих желаний: нажал кнопочку—и всё сделано!.. Я не отказываюсь от своей части работы—но ведь я живой человек, и у меня есть свои желания, планы, мечты, мне тоже хочется иметь занятия для души! Мне не хочется целый день стоять у плиты и три раза в день варить и жарить еду, которая самой мне не нужна: могу сварить себе кастрюльку гречки, и мне её хватает на целый день, а то и на два. Я всю жизнь работала, причём много лет—в две смены. Мне хочется теперь почитать книги, которые я не успела прочитать, потому что мне всю жизнь было некогда, хочется слушать музыку, писать дневник, но я всё бросаю только потому, что моему художнику нравятся котлеты, жареное мясо и разнообразие стола. Иду в магазин, тащу обратно по две сумки—только чтобы ему было хорошо! И ему хорошо.

Сын наш уже в Красноярском крае тогда жил—приезжает и говорит:

— Папа, какой ты счастливый: тебе не надо думать о быте—всё тебе на блюдечке с голубой каёмочкой! Так можно работать…

Венин товарищ, художник Володя, то же самое говорит:

— Как хорошо, Веня, что тебя быт не мучает!..—сам-то он из-за этого быта с женой развёлся.

А Веня не только не думает о быте—а ещё и, если я не успела что-то помыть или убрать к его приходу, предъявляет мне претензии: «Чем ты, интересно, занималась?» Я, значит, ещё должна отчитываться, чем без него занимаюсь? Но он же передо мной не отчитывается!

Теперь-то я отвечаю ему просто: «Не помню, чем занималась!»—так что он уже и не придирается, если чего-то не успела: дошло наконец, что я не раба, а такой же человек, как и он,—пусть даже из меня ничего особенного не вышло.

Я уже говорила, что с детства мечтала музыке учиться, но—не получилось. Когда вышла замуж, несколько раз была возможность пианино взять—бесплатно отдавали, но Веня неизменно протестовал:

— Когда ты будешь на нём играть? Да ты же всё равно и не умеешь! И куда мы его поставим? И что с ним делать будем—картошку, что ли, в нём хранить?..

Даже своего стола у меня никогда не было. Как-то пожаловалась на это Алине Васильевне—через неделю она мне звонит и говорит:

— Ира, я нашла тебе стол—он дожидается тебя на лестничной площадке; приезжай и забирай!

Я обращаюсь к Вене:

— Веня, помоги мне стол привезти—Алина Васильевна отдаёт.

— Давай,—говорит,—сама организуй и вези, мне некогда.

А как мне организовать? Это ж машину найти надо, каких-то мужиков искать… Вот так и получается: живёт рядом с тобой человек, подстраивается под тебя всю жизнь—так подстройся и ты под меня хоть немножко!..

Сын как раз приехал—прошу его:

— Костенька, помоги стол у Алины Васильевны забрать.

— Ой, мама, мне сейчас некогда — потом…

Алина Васильевна звонит через некоторое время:
— Что ж ты стол не забрала? Его уже кто-то вчера взял!
— Значит, Алина Васильевна, не мой это был стол, — грустно пошутила я.

Так вот, когда я поняла, что не смогу с Веней жить, а сам он уехал на Украину, то попросила Алину Васильевну помочь мне правильно оформить развод — она же юрист! А она мне говорит:
— Подожди, Ирочка, не спеши: ведь он же пишет тебе письма, шлёт деньги — он тебя любит. Думаю, пройдёт у него эта страсть — он вернётся, и вы снова будете счастливы…

В общем, уговорила она меня подождать, хотя я и не была уверена, что у нас с ним что-то ещё срастётся.
— Только когда он приедет, — посоветовала она, — не упрекай его ни в чём, ладно?..

Прошло десять месяцев, как мы с ним расстались… Помню, я как раз пол мыла — слышу, ребятишки кричат Косте с улицы:
— Коська, твой отец приехал!

Я глянула в окно — точно: стоит посреди двора Веня, одетый с иголочки, и два красивых чемодана рядом. А когда Костя выбежал — Веня подхватил его на руки и закружился с ним, и я подумала: как же я буду с ним расставаться, рвать по живому, если они так любят друг друга?.. И когда он пришёл домой, я, помня наказ Алины Васильевны, ни словом его не упрекнула — как будто он уезжал ненадолго в командировку и вот вернулся.

Уложили Костю спать. Веня купил бутылочку, выпил и сказал:
— Ирочка, я тебе так благодарен за то, что ты ни единым словом меня не упрекнула. Что бы со мной ни случилось, я всегда буду об этом помнить…

И мы стали жить дальше.

Через некоторое время он мне признался, что Лена насолила не только мне, когда разбивала нашу семью, но и ему тоже: обещала приехать к нему туда — и не приехала, причём за это время успела разбить здесь ещё три семьи. И он так отозвался о ней:
— Когда буду умирать, то сначала задавлю её, а уж потом — сам…

И всё же он продолжал к ней хорошо относиться — любил её и ничего не мог с собой поделать.

У них это началось, ещё когда Веня перешёл работать с завода в СХТБ — специальное художественно-техническое бюро. Кстати, я тогда впервые услышала слово «дизайн»; в этом бюро разрабатывали художественное оформление промышленного оборудования, и Веня там был художником-конструктором высшей категории, а Лена — художником в его подчинении. Именно тогда он её и полюбил.

Кроме того, что она была художницей, она ещё преподавала живопись в техникуме и слыла хорошим педагогом, делала прекрасные иллюстрации к книгам, обожала поэзию. Особенно — Марину Цветаеву. Её все любили: талантливая, необычная, оригинальная была женщина, умница большая — но со странностями. Когда, например, Веня уехал в Пятигорск — она стала приходить ко мне. Ходит и ходит, да ещё предлагает:
— Ирочка, давай дружить?
— Как «дружить»? — возмутилась я. — Ты разбила мою семью — и ещё дружить со мной хочешь? — и прогнала её.

У нас такие трудности: кооператив, безденежье, Венин туберкулёз; наш с Веней союз с таким трудом лепится, семья на грани развала, — а она лезет ко мне со своей дружбой!..

Потом они с Веней стали просто друзьями, и она приходила к нам домой, причём всегда вела себя экстравагантно.

Как-то пришла на Новый год, вся в чёрном, просвечивающем насквозь платье, и под ним — ничегошеньки; а я делаю вид, что ничего не замечаю. Когда посидели за столом, она предлагает мне:
— Пойдём потанцуем?
— Пойдём, — говорю; Веню же всё равно не вытащить.

А на мне было очень красивое, просто очаровательное платье с летающими рукавами. Танцуем мы с ней, и вдруг ни с того ни с сего она как рванёт на мне это платье! Я в полном недоумении: что за дикий жест?

Только потом поняла, в чём тут дело. Точнее даже, когда я стала жаловаться друзьям на её наглость, они объяснили мне, что она — лесбиянка. А я и понятия не имела, что это такое, пока самой не коснулось. Они мне растолковывают, а я никак не пойму: что это? как это?.. И выходит, я — предмет её притязаний? Ничего себе влипла!..

Потом Веня вернулся из Пятигорска, и мы с ним вроде как снова сдружились. Но идём как-то с ним по улице, разговорились о ней — и Веня заявляет:
— Ты знаешь, а Лена для меня — солнышко.

Я даже остановилась и рот открыла от его признания: ну вот, приехали — оказывается, не я, а Лена для него солнышко!.. Что ты тут поделаешь? Любовь!

3. Измена

В общем-то, со временем наши с Веней отношения восстановились. Живём дальше. И вот однажды прихожу с работы домой — сидит и пьёт с Веней коньяк какой-то очень красивый человек: огромные голубые глаза, русые вьющиеся волосы до плеч, длинные тонкие пальцы, — прямо принц какой-то. Зовут Эдуардом.

— Ирочка, садись с нами,— предлагает мне Веня.

Я и села. И как только взглянула на гостя внимательно — так сразу же, с первой минуты, и влюбилась. А он в меня. Мы просто опьянели — нет, не от коньяка, а от внезапной любви. Музыку поставили; он приглашает меня танцевать… Потом Веня мне рассказывал:

— Я никак не мог вас растащить: только тебя от него оторву — он к тебе лезет, только его оторву — ты к нему лезешь…

Поздно уже было, и мы оставили его ночевать в другой комнате. А когда утром встали — он улучил момент и опять стал ко мне лезть. И Веня ему сказал:

— Знаешь что, Эдуард,— забудь нашу квартиру!

И меня предупредил:

— Ира, и ты тоже забудь этого человека.

— Конечно! Зачем он мне нужен?— пожала я плечами…

Прошёл год. В течение его Эдуард, узнавши номер моего рабочего телефона, стал регулярно звонить мне на работу, но я, как только слышала его голос, строго отвечала:

— Извините, вы не туда попали!..

У Вени же в том году, кроме Лены, появилась ещё и некая Марина. Прихожу с работы — сидит на моём новеньком паласе женщина в грязных сапогах: это Веня привёл с собой очередную, так сказать… Я его спрашиваю:

— Веня, кто это?

— Это Марина.

— А чего она сидит тут в сапогах?

— А что вам не нравится?— спрашивает она меня жеманно.

— Я, между прочим, его жена,— отвечаю ей.— И мне не нравится, когда в грязных сапогах — по паласу: я его своими руками чищу.

— Ну, извините. Веня, я пойду?

— Я провожу,— говорит Веня.

И уходит вместе с ней…

В общем, у него появилась новая пассия, а я опять никому не нужна.

Всё это длилось долго. Уже сын уехал учиться в Красноярск, и мы с Веней остались вдвоём… Он по-прежнему с этой новой пассией Мариной крутит любовь, а я терплю: у меня ведь семья!

И тут Веня снова заболевает. Дело в том, что туберкулёз, который он когда-то перенёс, дал осложнение: у него сгнили два с половиной шейных позвонка, а первый позвонок сросся с затылочной костью. Боли адские; через каждые два часа я вызывала скорую, и ему делали обезболивающие уколы. Потом сама научилась их делать.

А когда его привезли на рентген — тут и оказалось, что у него этих самых позвонков просто нет; надо делать операцию. Но перед операцией его на целый месяц положили на вытяжку, то есть уложили на твёрдую прямую, без подушки, кровать, а к голове привязали гири, чтобы они ему оттянули голову от позвоночника, и он лежал неподвижно.

Я приходила к нему в больницу и протирала ему тело ваткой со спиртом.

Потом, перед операцией, доктор велел его вымыть. Погрузили его санитары на каталочку, потому что стоять он не мог, привезли в ванную; я стала его мыть, и тут он потерял сознание. Бегу, мужиков-санитаров зову. Кое-как они помогли мне его домыть, положили на каталку и повезли. А я иду рядом и упрашиваю их:

— Можно после операции побыть возле него? Как же он будет без меня?

— Хорошо,— говорят,— приходи. Когда доктор уйдёт, мы тебя впустим.

Прихожу во вторую смену; они меня впустили; вхожу в палату. Сильно пахнет наркозом. Веня лежит, весь, до пояса, в гипсе, и шепчет мне:

— Ира, дай руку — я не могу, я задыхаюсь.

Дала ему руку, и он уснул. А рядом лежит девочка на вытяжке — у неё одна нога привязана к потолку — и просит меня:

— Тётенька, поиграй со мной!

А я боюсь Венину руку отпустить. И тут мужики заглядывают:

— Медсестра идёт!

А как я его руку отпущу? Говорю им:

— Ну и пусть идёт — я не уйду!

Она входит и — строго мне:

— Почему тут посторонние?

— Но вы же видите, как ему тяжело!— взмолилась я.— Не гоните меня!

— Ладно! Покорми его через трубку…

А я тоже бульону принесла. Покормила его. Веня мне говорит:

— Как хорошо, что ты пришла! Завтра придёшь?

— Конечно,— говорю,— приду.

Стала ходить каждый день, кормить его, и он пошёл на поправку.

А как раз шёл тысяча девятьсот восемьдесят пятый год; и настало Девятое мая, сорокалетие Победы. В такие праздники в те годы приходило на центральную площадь множество людей — погулять, посмотреть на салют. Музыка играет, многие танцуют, все весёлые; знакомые лица мелькают. И мы с моей подружкой Ирой пошли.

Встречаем там Вениного товарища, Лёшу, тоже художника.

— Как там Веня?— спрашивает.

— На поправку пошёл,— отвечаю.— Скоро выпишут.

— А пойдёмте ко мне,— предлагает он.— У меня бутылочка есть…

А тогда, как вы знаете, спиртное было страшным дефицитом — по талонам давали.

— Нет, не пойду,— сказала я.

Но моя Ира давай меня уговаривать: пойдём да пойдём — хочу у художника побывать, на картины полюбоваться.
— Он женатый, — говорю ей, — и у него двое детей.
— Ну и что? Мы же только картины посмотрим!..
В общем, она меня уговорила. Приходим туда; распили бутылочку; танцы затеяли — мы же ещё молодые, праздника хочется. И тут звонок в дверь. Оля, Лёшина жена, говорит:
— Это Эдуард пришёл.
— Какой Эдуард? — спрашиваю, а у самой сердце ёкнуло.
И она называет фамилию того самого Эдуарда, в которого я когда-то влюбилась.
— Оля, спрячь меня — не хочу его видеть! — умоляю её.
Договорились, что я спрячусь в туалете, а когда он пройдёт в квартиру — я тихонько уйду. Я спряталась, а она открывает ему дверь и говорит:
— Эдик, а Ира спряталась от тебя в туалете. Чем ты её так напугал?
— Какая Ира?
— Митрофанова.
— Ира, откройте, пожалуйста! — стучит он мне.
— Не открою! — говорю.
— Хорошо, — говорит. — Я буду стоять здесь, пока вы не откроете.
И не уходит — всё стоит и уговаривает. Куда деваться? Открыла.
— Да я вас не трону, — говорит он, — я с вашей подругой танцевать буду.
Но как только он сказал, что будет танцевать с подругой, — во мне всё вдруг заклокотало, и я поняла: моё чувство к нему никуда не делось, — однако вида не подала. Говорю подруге как можно строже:
— Всё, Ира, праздник кончился, идём домой!
Простились мы с хозяевами и пошли — а Эдуард увязался за нами:
— Поздно уже; я вас обязан проводить.
Пока провожали Иру до её дома, я ей шепнула:
— Забери его с собой — ты же одинокая! Посмотри, какой он красавец!
А он услышал и говорит мне:
— Нет, Ира, теперь я должен проводить до дома тебя, — и никак от меня не отстаёт.
Дошли до моего дома.
— Всё, — говорю ему, — спасибо, идите домой!
А он не уходит — уговаривает и уговаривает меня:
— Неужели вы не пустите меня хотя бы погреться? Ведь я же замёрз! Это, в конце концов, бессердечно!
— Хорошо, — говорю, — зайдите, погрейтесь.
Зашли.
— А чай можно поставить? — просит он.
— Можно.
Поставила чай. Заварила. Он достаёт маленькую бутылочку коньяка:
— А давайте к чаю выпьем по капельке, чтобы окончательно согреться?
Выпили. После этого он закрывает на ключ входную дверь и говорит:
— А теперь я никуда не уйду! Я уже целый год тебя люблю, и ты меня любишь — я это сразу понял!
И больше я уже ничего не помню... Началась наша любовь...
Но после того, как он остался у меня, я неделю проплакала.
— Ира, ты что плачешь? — спросит он. — Тебе так плохо?
— Нет, — мотаю я головой, а сама не могу унять слёз и не пойму: что это со мной?
Только потом дошло: это моя душа открылась любви, и всё, что накопилось в ней горького, стало исходить слезами.
На следующий же день я пошла к Алине Васильевне и говорю:
— Алина Васильевна, что мне делать? Мы с одним человеком полюбили друг друга. Видите, какая я плохая: муж в больнице, а меня любовь закрутила!
А она рассудила так:
— Ира, ты столько натерпелась от мужа, что имеешь право на своё маленькое счастье. Раз тебя захватило такое сильное чувство — что же в этом ужасного? Вспомни, сколько раз Веня тебе изменял, — так почему ты не имеешь права хотя бы на один раз?
В общем, она рассудила меня, и мне стало спокойней.
А Эдуард почувствовал, что я немного успокоилась, и начал настаивать, чтобы я как можно быстрее разошлась с Веней и мы бы с ним поженились, потому что Веня, мол, меня не любит — у него есть любовница, и все об этом знают. А я не могла сказать Эдуарду твёрдо «да» или «нет» — я уклонялась от ответа, оправдываясь тем, что Веня в больнице и ему там очень плохо. Вот, говорю, выйдет — тогда и будем решать.
Прихожу в очередной раз навестить Веню в больнице — а у него там Марина сидит. Я ему и говорю:
— Ты бы хоть график составил, что ли: когда мне приходить, а когда ей?
А он мне:
— Да зачем тебе график? У тебя же теперь Эдуард есть!..
В общем, он уже всё знал: оказывается, лучший друг Лёша ему и рассказал, когда навещал его. И я твёрдо решила: как только Веня выйдет из больницы — разойдусь с ним.
Примерно в это же самое время был однажды у меня в гостях папа, и как раз пришёл Эдуард. Я познакомила их; и тут Эдуард падает перед папой на колени и умоляет:
— Пётр Иванович, мы с Ирой любим друг друга и не можем друг без друга жить! Пожалуйста,

скажите ей: пусть она разведётся с Вениамином,—я не в силах ее уговорить!
— Ну, бывает, и женатые люди влюбляются,—спокойно рассудил папа.—А потом всё проходит.
— Нет, поверьте: это настоящее чувство,—страстно говорит Эдуард,—ещё никогда ни у меня, ни у неё ничего подобного не было!
— Ну, я тут не командир,—отвечает папа.—Пусть сама думает—у неё ведь, кроме мужа, ещё и сын есть…

А когда Эдуард ушёл, говорит мне:
— Что-то я, Ира, не поверил этому человеку. Не верю, и всё: какая-то в этом есть игра… А ты когда-нибудь,—спрашивает он,—видела его пьяным?
— Нет,—говорю,—мы только недавно сошлись.
— А ты сходи с ним в компанию и понаблюдай за ним…

И через некоторое время такая возможность случилась: пришли мы с ним в одну компанию; а там были красивые женщины. Он выпил—да как давай за ними ухаживать! И про меня забыл. Я посидела, посидела молча, понаблюдала за ним и поняла: есть у меня муж, который любит всех подряд, и этот—не лучше. Нет, думаю, опять не получилось… Туфли в руки—да бежать тихонько! А он заметил, что я ушла,—и за мной:
— Ирочка, ты что, приревновала? Я же только тебя люблю!..

Но хоть я и поняла его суть—а сердцу-то не прикажешь! Скрепя сердце простила его, и он продолжал ко мне ходить.

Но когда с Вени сняли гипс, выпустили из больницы и он, ещё не совсем здоровый, вышел снова на работу, я решила «завязать» с Эдуардом и объявила ему об этом. Но однажды—не помню уж по какому поводу—он зазвал меня к себе, вроде как ненадолго, запер дверь на ключ и говорит:
— Теперь я тебя отсюда не выпущу!

Я была просто в отчаянии.
— Ну нельзя же так, это бессовестно!—взмолилась я к нему.—Веня, наверное, уже с работы пришёл, а вы меня тут держите!
— А ты позвони ему, что ты у меня,—улыбается он.

Я позвонила домой; Веня уже был дома и взял трубку. Но я не насмелилась сказать ему правду—соврала:
— Веня, я задержусь у Светы, племянницы.

А он мне говорит:
— Я ей уже звонил, тебя там нет.
— Веня, я вру,—говорю я ему тогда.
— Так и скажи. Ты что, у Эдуарда?
— Да.
— Приходи утром.

Пришла утром домой, и он мне говорит:
— Всё, Ира, хватит—сейчас же бери свой узелок и уходи к нему.

Но мне же на работу надо! Пошла я на работу. Эдик звонит мне туда, явно с нетерпением:
— Ну как?

И я рассказываю, что мне Веня сказал. Он обрадовался:
— Прекрасно! Подгоню вечером такси, заберу тебя вместе с твоим узелком—и будем жить!

Затем звонит Веня:
— Ира, приди вечером домой—разговор есть.

Прихожу после работы—он борща наварил, и бутылочка на столе.

Сели, выпили с ним, как бы на прощанье, и он говорит:
— Знаешь, что, Ира, я подумал, пока тебя вечером не было? Я вспомнил, как обещал тебе, что если у тебя будет подобный моему жизненный случай, то я тебя пойму. И вот видишь, такой случай произошёл. Поэтому я решил так: уеду на три года в Пятигорск, к брату—вчера я звонил ему, и мы всё обсудили. Родственникам скажи всю правду, но соседям не говори. И если ты его за три года не разлюбишь, то я дам развод. А если любовь пройдёт—будем жить с тобой дальше…

Веня уехал, а Эдуард переехал ко мне, и мы стали жить вместе. Но я уже знала его характер и всё время боялась, что у нас с ним ничего не получится.

У него оказалась очень сложная судьба. Он—латыш. Отец его был чуть ли не генералом в Латвии, и когда наши заняли Латвию перед войной, его расстреляли, а мать, беременная Эдуардом, бежала сюда, в Сибирь,—тут у неё были какие-то родственники. Тут и он родился. А война ведь шла, нищета, бедность. Родственники выкопали ей землянку, и она стала жить в ней. Закрывала маленького Эдика на замок и уходила на работу, а он целый день оставался в холодной землянке один. Когда она однажды пришла домой, он лежал на полу без сознания.

Тогда, чтобы спасти сына от гибели, она решила побыстрее выйти за кого-нибудь замуж. В конце концов вышла и уехала с мужем в Норильск. Но муж там погиб от чего-то, и она опять осталась одна.

Эдуард вырос там, закончил школу, а закончив её, решил уехать в Ригу—отыскать в Латвии родственников. А мать его осталась в Норильске.

В Риге он закончил академию художеств и приехал к нам по распределению. Женился здесь, появилась дочь. Но когда он уехал на какие-то заработки, жена ему изменила. Он не хотел ей простить, решил уйти и забрать с собой дочь, но жена не отдала её; тогда он в порыве гнева изрезал ей лицо ножом. Его посадили; дали ему восемь лет.

И вот он, весь из себя такой красавец-интеллигент, попал в колонию—а там свои ранги: раз ты художник, да ещё за дочь заступался,—там это

уважают. За него заступились лагерные главари, а он им за это делал красивые наколки.

Только потому и выжил. Но выжить-то выжил, а здоровье угробил: у него там начались тяжёлые сердечные приступы. Его увезли в лучшую в нашем городе клинику, сделали операцию, а когда он поправился, отправили на поселение, и он ещё три года жил в деревне, на поселении. После поселения он и пришёл к нам в гости.

Потом они вместе с Веней работали в СХТБ. И хотя он восемь лет по профессии не занимался — всё же был хорошим художником-дизайнером; его ценили там и жалели, даже позволяли не выходить на работу — мог работать дома…

Но когда мы с ним начали жить вместе, я быстро поняла, что жить с ним невозможно, и вся моя любовь быстро испарилась. В общем, попала я из огня да в полымя… Дело в том, что работать он не хотел; как только у него появлялись деньги — он запивал и в пьяном виде был агрессивным. А когда я получала зарплату, начинал клянчить у меня деньги:

— Ирочка, займи мне на время — мне нужно холст и краски купить. Я напишу картину, продам, и у нас с тобой будут деньги…

Но как только я давала ему их — он тут же пропадал, потом через два-три дня приходил, клялся, что у него их украли, или ещё какую-нибудь головоломную историю придумывал и просил у меня прощения. Просит — а у самого глаза юлят, так что я поняла: за восемь лет тюрьмы он как личность полностью деградировал.

А Веня приезжал каждый Новый год. Приедет и обязательно спросит:

— Ну как, Ира, у вас с Эдуардом?..

Сразу же, при первом его приезде, я ему сказала:

— По-моему, Веня, у нас с ним ничего не выйдет.

— Ладно, — говорит он, — поживи ещё. Три года пока что не прошло. Ты же сама хотела решать свои проблемы — вот и решай, а я ещё поезжу туда.

Дело в том, что Веня поехал в Пятигорск к своему младшему брату Коле, а Коля — прекрасный мастер по золочению. Золотил он, главным образом, убранство церквей, и у него всегда водились деньги. И когда Веня к нему приехал, Коля сказал ему:

— Ты никогда не жил для себя: то на производстве вкалываешь, то халтуру какую-то делаешь, — и совсем не рисуешь для души. Давай так: я буду платить тебе деньги, а ты сиди и рисуй — и ни о чём не думай.

Веня согласился. Но походил на этюды с месяц — и взмолился к брату:

— Не могу я сидеть и рисовать, когда сын мой учится, да ещё в другом городе, а Ира со своих ста рублей платит за кооператив и ещё умудряется посылать деньги сыну! Найди мне какую-нибудь работу!..

Тогда Коля договорился в храме, чтобы Вене дали там работу как художнику, и он расписал им одну стену. Ему хорошо заплатили; Вене это понравилось, и он взялся расписывать церкви дальше.

Как раз тогда началась перестройка; потихоньку всем перестали платить деньги — а у него они появились! Стал высылать мне и сам, как я уже говорила, приезжал раз в год с чемоданами, с деньгами, с подарками. Я наконец вздохнула облегчённо. Не шиковали, конечно, но я оделась, обулась; у нас впервые в жизни наладилось финансовое положение.

Он и Косте тоже высылал. Костя учился, да ещё к тому времени и женился в Красноярске, и у него появился ребёнок, так что он смог вместе с семьёй снять на эти деньги квартиру и тоже оделся-обулся.

В это время уже началась перестроечная свистопляска; заводы останавливались; моим подругам перестали платить зарплату, и я впервые в жизни смогла им помогать, так что с радостью раздавала им деньги и была такая счастливая!

Мне всегда хотелось иметь дома красивые вещи, но купить что-нибудь приличное раньше было просто невозможно: всё, что ни попадалось под руку, тут же в магазинах расхватывали; да у меня и денег на красивые вещи не было. А тут появились на улицах блошиные рынки, и там откуда-то вдруг взялось всё, что хочешь. Иду, смотрю: хрусталь продают! Сколько стоит?.. Покупаю хрусталь. Так что и у меня теперь, как и у всех, хрусталь дома есть.

Я могла теперь съездить к Косте и купить им всем подарки.

У меня появились свободные деньги; я даже могла их подкопить.

При этом я стала душевно спокойна. И когда у меня совпало финансовое и душевное насыщение, я стала думать о своём будущем — и решила: как только выйду на пенсию — постараюсь выскочить из беличьего колеса, в котором всю жизнь кручусь без передышки, которое сжирает всё моё время, всю мою жизнь.

В общем, я стала думать о том, как стать свободной.

А Веня жил там, в европейской части России, своей собственной жизнью. Он — человек влюбчивый, да с деньгами теперь, да умеет женщин обаять. И, конечно же, они у него и там появились — ведь он мог и угостить их, и на море свозить.

А обо мне по городу среди друзей и подруг поползли слухи: вот, дескать, она какая — живёт с каким-то мужиком, а муж ей ещё и деньги привозит, — так что я для них чуть ли не стервой стала; подружки на меня смотрят косо, стороной обходят, не хотят разговаривать. А я ж не умею врать — говорю как есть:

— Да, мы с мужем договорились жить так: сначала он влюблялся — а теперь я! Ну и что?

— И он сам тебе деньги отдаёт?
— Да,— говорю.
— Но это же нехорошо! Стыдно так жить!..

Даже родная сестрёнка позорила меня и оскорбляла по-разному.

Я тогда в себе замкнулась; да говорите, думаю, что хотите!..

В общем, сложное для меня было время. А любовь моя так и не проходила.

Сначала я, конечно, всё от Эдуарда терпела, хотя страшно теперь вспомнить, какие были иногда тяжёлые дни рядом с ним. И когда я окончательно поняла, что не смогу с ним жить — или он меня убьёт, или я не выдержу и сотворю что-нибудь страшное,— я начала его убеждать: давай будем расставаться. А он мне:
— Нет, мы не расстанемся — мы созданы друг для друга!..

Тогда я решила схитрить.

К тому времени я уже покрестилась. Дело в том, что в детстве меня не крестили — папа был коммунист и маме крестить меня не разрешал. А ставши взрослой, я сама долго не решалась принять крещение — считала, что внутренне не готова, хотя религия меня уже интересовала.

А тут одновременно и Веня в отпуск приехал, и сын со всей своей семьёй. И Веня с Костей сговорились покрестить Костиных деток, Витю и Рому. А заодно с ними Веня и меня — чуть ли не за шиворот:
— Пойдём, тоже покрестись, иначе тебя завербуют баптисты или адвентисты, и тогда уж мы с тобой точно разойдёмся!..

А он знал, что говорил: Ира, которая мне жизнь спасла, стала баптисткой, вторая подруга — адвентисткой, и обе наперебой тащили меня в свои секты.

И Веня повёл меня креститься.

Сначала, пока внуков крестили; я отошла в сторонку, чтобы не мешать; стою, смотрю, слушаю, ничего в службе не понимаю, а сама думаю: ладно, внуки — маленькие, а меня-то зачем сюда притащили? — всё здесь мне чужое!.. И уйти уже не могу.

Потом, когда до меня очередь дошла, батюшка подошёл ко мне, нарисовал кисточкой крестик у меня на лбу и говорит:
— Теперь ты безгрешная — грехи твои Господь забрал. Не греши больше...

И вдруг ни с того ни с сего с моего затылка что-то покатилось по спине, по ногам и в пол ушло. Я обалдела: значит, Бог, оказывается, есть?.. И с тех пор начала в храм ходить, духовные книги читать.

И тут мне стало стыдно: я, замужняя женщина, живу с Эдуардом — значит, страшно грешу!.. И я стала просить Веню:
— Давай, Веня, когда Эдик уедет, повенчаемся с тобой?

А он мне:
— Нет, я пока ещё не готов.

Ну, раз нет — так нет, что ж я буду к нему приставать?

Во всяком случае, сначала мне надо было расстаться с Эдуардом. Но как?..

А мне предстояла операция. Я сказала ему, что операция будет тяжёлая, сложная, и после операции я не смогу быть женщиной, так что, мол, давай, дружок, расставаться — ищи себе новую... И мы расстались.

Операция прошла, а он опять явился. Тогда я решила сделать «ход конём». Однажды я слышала, как он разговаривает с какой-то женщиной из Алма-Аты: та знала его как хорошего художника и настойчиво звала туда работать. Я записала номер её телефона, а когда Эдик уснул, позвонила этой женщине и говорю:
— Пожалуйста, возьмите его работать — он здесь пропадёт, сопьётся.
— А вы кто? — спрашивает она.
— Я — его друг. Запишите мой телефон, только не говорите, что я вам звонила. Давайте сделаем так: я куплю ему билет на поезд, а вы его там встретите и тут же устроите на работу.
— Да, с удовольствием,— говорит она,— потому что раньше он был прекрасный работник — нам тут таких очень не хватает...

После этого я пошла в храм и помолилась Божьей Матери:
— Господи, освободи меня от этой любви — ни к чему хорошему она не приведёт. Я хочу жить нормальной семьёй!..

И всё получилось, как я задумала, хотя это было сложно: я уговорила его съездить отдохнуть в Алма-Ату, взяла ему билет, мы с моей Ирой пошли проводить его на вокзал и едва-едва запихнули в вагон, благо Эдик был нетрезвым. В вагоне я быстро договорилась с проводницей, что мы посидим до того момента, когда поезд тронется, а потом быстро выскочим.
— Закройте его,— попросила я её,— и не выпускайте. Его там на работе ждут, а он выпил и не хочет ехать.

И она поняла нас. Мы сидим с Ирой и Эдиком в купе, а он ворчит:
— Не хочу никуда ехать! Не хочу! Не поеду!..

Проводница подала мне знак; мы с Ирой бегом выскочили из вагона, а проводница подняла площадку и захлопнула дверь:
— Всё, мужчина, поехали! — так что он в вагонном окне только кулаком нам грозил.

Эта женщина в Алма-Ате приняла его на работу, даже нашла ему там невесту; он женился. А через неделю после свадьбы — здрасьте! — приехал показать мне свои свадебные фотографии: вот какая красивая у него жена, да как он на Медео стоит с ней возле чёрной «Волги»! Смотрю — и в самом деле красивая женщина, и белоснежная фата на ней. А он душу мне упрёком разрывает:

— Вот, ты бы сама могла быть на её месте!
— Спасибо, Эдик,— едва выговорила я…

Причём заявился он ко мне со своими местными друзьями; они вино принесли… Один из них, артист оперного театра, стал петь; мне понравилось его пение, и я ему говорю:
— Голос у вас — прямо как у Шаляпина.
— А у вас есть его пластинки? — спрашивает он.

Я достала и поставила одну — которая мне больше всех нравилась. Слушаю её вместе с ним, а сама думаю: «Слава Тебе, Господи, что Эдик женился — хоть могу теперь спокойно, без скандалов, поговорить с кем хочу».

И вдруг Эдуард подходит, хватает эту пластинку и — хрясть через колено! Тогда артист берёт его за шиворот, заводит за шифоньер и начинает там бить, а я не подхожу — думаю: он и в самом деле этого достоин — знает же, как мне всё это тяжело, я ведь люблю его, а он пришёл хвастаться передо мной, что женился…

И в это время шифоньер от их возни падает! Я только успела отскочить.

Сам шифоньер от падения разваливается; всё, что сверху на нём лежало,— раскатилось по полу; столик с закусками опрокинулся; одним словом, в комнате — битое стекло и полный раскардаш. Я говорю им:
— Ради Бога, уходите все отсюда!..

Они ушли, а я сижу и реву. И тут — звонок в дверь: это подружка пришла со своим мужем. Глядят они на мой раскардаш и удивляются:
— Ирка, что у тебя тут происходит?

Я объяснила. Они мне помогли собрать, сколотить кое-как шифоньер, убрали всё. Я вроде как успокоилась. Но всё же об Эдуарде думаю и радуюсь за него; главное, что у него жена такая симпатичная: может, думаю, и в самом деле всё у него получится?

Он снова уехал в Алма-Ату и стал оттуда регулярно мне звонить — а разговор один и тот же:
— Ирочка, можно, я приеду?
— Чего тебе тут делать? У тебя теперь жена есть! — строго говорю ему.
— Но мне нужно туда по делу! Могу я с тобой встретиться?..

И звонит, и звонит… Тогда я стала обманывать его: то будто бы Веня приехал, то папу возьму к себе пожить и велю ему брать трубку.

И всё-таки он приезжал и меня обязательно находил. Только теперь встречались мы или на улице, или в кафе, и он всё время хвастался: то какую ему мама квартиру купила — а мама его продолжала жить в Норильске, и у неё там была куча денег; то на какую хорошую работу он устроился; да какая у него жена красивая и умная, да как они с ней организовали какую-то там фирму…

Однажды приехал прекрасно одетым, с шикарным «дипломатом» в руке, а в «дипломате» — какие-то деловые бумаги и печать его фирмы. «Ну,— думаю,— слава Богу, человек попал в хорошие руки».

Но не тут-то было: он умудрился где-то опять напиться, пропил и этот «дипломат», и печать; и жена в конце концов его выгнала. А он, видно, рассказывал ей про меня, и она стала гнать его сюда:
— Езжай к своей Ирине!

Купила ему билет, посадила в поезд.

Он приезжает, звонит мне:
— Это аэропорт? — такая у нас с ним условная фраза была, что-то вроде пароля для телефонных звонков.
— Аэропорт, аэропорт,— отвечаю.— Ты где?
— На вокзале. Встреть меня. Вениамин приехал?
— Да,— отвечаю, потому что уже боюсь его сюда пускать, хотя Вени и не было.

Сама поехала на вокзал, встретила. Естественно, у меня — вопросы к нему: как, что, почему?
— Я,— говорит,— написал заявление на развод; не хочу с ней жить, не моя это женщина. Пусть всё остаётся ей, а я к дочери приехал…

Кстати, дочку его звали Джулией… Помню, однажды я спросила его: почему он так странно её назвал, не по-русски? — а он мне: «Да захотелось назвать по-английски»,— причём рассказал, что когда регистрировал её рождение, то в загсе его долго уговаривали назвать по-русски — Юлией, но он их переупрямил…

Причём, оказывается, ещё когда его судили, на тот же вопрос судьи: почему назвал дочь Джулией? — он ответил точно так же, как и мне; поэтому судья, видимо, понял, что у него голова на Запад повернута, и влепил ему срок на полную катушку: вот, мол, тебе за этот Запад!.. То есть всё показывало, что в России ему ничего не нравится, даже имена. И одеждой он выделялся всегда — ходил как иностранец: белое пальто на нём, яркие шарфы, галстуки модные. А я одевалась просто, так что когда мы шли с ним вместе — женщины оглядывались на него и думали, наверное: чего это он такую халду себе выбрал?..

А потом с ним произошла трагедия…

Приехать-то он приехал — а жить негде. Он тогда попросился в мастерскую к одному художнику и решил написать много картин, чтобы устроить выставку-продажу и на вырученные деньги купить маленькую квартиру рядом с Джулией — она уже взрослой была и жила самостоятельно.

Картины он писал, а хранить их было негде; и он попросил меня, чтобы я их где-нибудь сохранила; даже часть их уже принёс ко мне. Веня как раз был в отъезде, но со дня на день должен был вернуться, и я за голову схватилась: куда я их дену? — я ж Вене слово дала, что не только встречаться с Эдуардом, а даже общаться по телефону с ним не стану!.. Однажды Эдуард позвонил мне при Вене — так Веня такой выговор мне сделал!..

— Веня, но я же с ним не встречаюсь,— оправдывалась я.— Подумаешь, несколько слов по телефону сказала!

А он мне:

— Нет уж, раз решила с ним расставаться — расставайся совсем!

А тут — куча картин… Звоню моей верной подруге Ирине, объясняю ситуацию, и она предлагает:

— Конечно же, приносите — пускай лежат у меня!..

И вот мы с ним стали переносить картины к ней, а пока носили — общались, и между делом он мне поведал:

— Я ночую на вокзале — там тепло. Только бомжей много. Я им бутылочку винца куплю, и они мне рассказывают, как стали бомжами, а я всё это записываю. Потом книгу издам…

А когда все картины к Ирине перенесли, он меня спрашивает тихонько:

— Можно, чтобы она ещё разрешила мне вымыться в ванной?

— Знаешь что?— говорю ему.— Приходи завтра ко мне — вымоешься у меня.

Он пришёл, вымылся. А я смотрю на его одежду — грязная-то прегрязная.

— Давай-ка,— говорю,— я тебе чистое Венино бельё дам, а твоё постираю и потом верну.

Он переоделся во всё чистое и спрашивает:

— А можно, я ещё брюки поглажу?

— Конечно, гладь,— разрешила я.

И пока он гладил — признался мне:

— Ты знаешь, на вокзале недавно одного бомжа убили: взяли за шиворот, об стенку шарахнули — и готов. Почему-то мне кажется, что и я так же кончу — какое-то у меня предчувствие есть.

— С чего ты взял?— возмутилась я.

— Не знаю.

Я ему тогда:

— А ну-ка дай мне на всякий случай адреса жены, матери и Джулии.

Он мне написал все их адреса и телефоны. А я тем временем сложила в пакет всю еду, какая была в холодильнике, и отдала ему:

— Вот, поешь на вокзале. И беги оттуда быстрее — ты там погибнешь.

— Да, конечно,— говорит.— Мне работу предлагают, обещают хорошо платить, и комнатку дать обещали,— а на прощание сказал:— Какой ты, Ирочка, добрый человек — спасибо тебе огромное за всё, за всё!— и такой чистый, радостный, светлый от меня ушёл.

А через два дня звонит мне один наш знакомый и говорит:

— Ира, что ты сейчас делаешь?

— Да вот стою и с тобой разговариваю.

— Сядь,— говорит он.

— А что такое?

— Сядь!

Я села, и сразу — нехорошее предчувствие.

— Что случилось?— спрашиваю.

— Эдуарда ночью убили. Прямо в милицейской камере.

— Милиция, что ли, убила?

— Нет, хулиган один — их там много сидело. В милиции попросили тех, кто Эдуарда знает, дать адреса его родственников и, если есть, фотокарточку…

У меня голова пошла кру́гом: «Боже мой! Да ведь вечером перед этим — может, даже перед самой смертью,— он хотел поговорить со мной!..» Позвонил и, как всегда, произнёс пароль: «Это аэропорт?»— а Веня уже дома был; причём голос Эдуарда показался мне пьяным. «Опять напился!»— мелькнуло у меня, да и Веня, подумала, услышит, и снова мне выволочка будет, и отключила телефон.

И тут же я очень ясно представила себе, что с ним там случилось: конечно же, он опять пил с бомжами и записывал их рассказы, а на вокзале пить нельзя, и его забрали в каталажку — выяснять, кто он такой. А он перед этим паспорт потерял — или, может, те же бомжи вытащили?— и какой-нибудь хулиган в этой каталажке сказал Эдуарду презрительно, что он бомж, а Эдуард, конечно же, стал ему возражать: я не бомж, я художник!— и этот хулиган треснул его головой об стену, как рассказывал два дня назад сам Эдуард… И в то же время у меня — какое-то чувство успокоения, даже радости за него: умер чисто вымытым, в выглаженной одежде, и все его картины не где попало — а сохранены мною…

Я тут же поехала в милицию. Эдуарда уже увезли в морг; милиционеры показали мне протокол его смерти, причём всё до мелочей оказалось именно так, как я почему-то себе представила,— как будто видела своими глазами… Я переписала для них адреса его матери, жены, дочери и отдала одну фотографию — они у меня были.

Как только вернулась домой — тотчас же написала письма его матери и его жене и в письмах рассказала, какой это был талантливый человек, но — со сложной судьбой и изломанной психикой: очень агрессивный, когда выпьет,— да как ему было трудно жить — его мало кто понимал… Не стала я описывать подробности его смерти — просто сказала, что он сам распорядился своей жизнью и что в его положении это был, наверное, один из лучших вариантов. Написала и отправила. Но ответов на оба письма так и не получила.

А Джулия, между прочим, незадолго до этого вышла замуж. Я позвонила ей и рассказала всё подробно. И сказала ещё, что её папа оставил мне свои картины — чтобы они приехала с мужем и забрали их; причём, предупредила я, когда-нибудь эти картины будут стоить очень дорого — об этом говорили все художники, которые их видели, так

что, мол, сейчас их продавать не стоит—пусть полежат…

Но прежде чем отдать картины Джулии, я пригласила нашего друга с фотоаппаратом, и он все их заснял—на случай, если вдруг пропадут,—и плёнка с цветными снимками теперь у меня. Сама я взяла на память лишь три картины, которые мне нравились, и когда принесла домой, Веня посмотрел на них и сказал с сожалением:

—Вот дурак-то! Такой талантливый мужик, а жизнь—псу под хвост!..

Потом Джулия приехала с мужем и забрала картины.

При жизни отца она плохо к нему относилась—мать настроила её против него: дескать, он, сволочь, изрезал меня всю. Но, молодчина такая, хоронить отца Джулия пришла и сделала всё, чтобы похоронить его достойно.

На похоронах было много художников; они выступали, говорили о его большом таланте и тяжёлой судьбе—в смысле, что ему, несмотря на талант, не удалось уйти ни от сумы, ни от тюрьмы… Смотрю, у Джуленьки ушки на макушке: послушала, послушала—да и разрыдалась:

—Прости меня, папочка, я тебя люблю!..

В гробу он лежал чистым, в красивой одежде, с выражением улыбки на лице—как будто даже довольный, что отмотал своё по жизни и успокоился. И я успокоилась, хотя и продолжала скучать по нему, несмотря ни на что.

У меня остались все его письма и телеграммы отовсюду, где бы он ни был. Остались три картины. А когда умерла в Норильске мать Эдуарда и муж Джулии летал её хоронить, то привёз и передал мне пачку моих писем к нему.

Мы с Джулией долго перезванивались; она делилась со мной своими заботами. А когда узнала, что мы с её папой были близки—спросила меня:

—Ирина Петровна, а у вас от моего папы дети были?

—Нет,—ответила я.—Мы поздно встретились, когда уже были в возрасте.

—Как жаль, что я у папы одна!—вздохнула она.—И поговорить не с кем…

А ровно через девять месяцев она позвонила мне и сказала, что у неё родился сын. Я поздравила её—да взяла и брякнула:

—Надо же—какое совпадение!..—в том смысле, что, может быть, в тот момент, когда умирал Эдуард, был зачат его внук.

Я тогда уже верила в перевоплощения. А ей намёк, видно, не понравился: с того дня перестала звонить—как отрезала…

Через сорок дней после смерти Эдуарда несколько художников, которые ценили его талант, решили устроить сороковины по нему и гадали: где собраться? А Веня как раз уезжал на целый день, и я взяла на себя грех перед ним—предложила:

—Давайте у меня?

Договорились. Обзвонила всех, знавших Эдуарда. Пришли, принесли кто что мог, выпили немножечко и разошлись. А Эдуард любил песню «Не сыпь мне соль на рану, она ещё болит…». Вечером Веня приезжает, а я сижу, слушаю магнитофонную запись песни и слёз не могу унять. Он спрашивает:

—Чего ты эту блатную дрянь слушаешь?

Я тогда взяла и рассказала и про то, что это любимая песня Эдуарда, и что сегодня у меня сороковины его отметили,—а он как рассвирепеет:

—Да как ты могла? Ты меня подставляешь в такое трудное время!..

В общем, влетело мне от него по первое число. Но после этого мы с ним оба успокоились, и наша жизнь пошла своим чередом…

А через некоторое время мне надо было ехать к Косте. Еду ночью в поезде, уснула, и снится мне сон: как будто бы передо мной на перроне стоит на коленях Эдуард, кланяется мне низко-низко и благодарит за то, что я любила его, и за всё, что я для него сделала. Этот сон, конечно же, на всю жизнь в память мне врезался, причём—настолько чёткий, явственный, будто Эдуард с того света мне поклонился за всё, что я для него смогла сделать.

И примерно в то же самое время—или чуть позже?—включаю я радио, а там звучит песня с такими словами: «На что, на что, на что мы время тратим? Куда, куда мы мчимся, как в бреду? С меня довольно, надоело, хватит! Остановите Землю, я сойду». Так до сих пор и не знаю: кто её написал? кто исполняет? И других слов из неё не помню—больше я её не слышала никогда; только этот припев и запомнился: потому, наверное, что уж очень песня созвучна жизни Эдуарда—как будто про него написана.

Но сначала всё-таки произошла трагедия с Вениной подругой Леной—об этой Лене я тоже немного не договорила…

Дело в том, что, по моему мнению, у каждого из нас с одной стороны стоит Бог, а с другой—Дьявол, и если человек идёт к Богу, то Бог его поддерживает и защищает, а если к Дьяволу—Дьявол защищает. Но Бог-то защищает любовью, а Дьявол чем? Вот вопрос.

Короче, Лена была в жизни такой, что всё делала наперекор остальным, и всё, что злило людей,—её радовало. То есть, в принципе, она была человеком от Дьявола. А ведь Дьявол, как и Бог, тоже даёт и красоту, и талант. Но однажды человек падает в бездну. Почему? Потому, видно, что начинает прозревать, что Бог есть, но что все грехи, которые ты намотал на себя, можно искупить только ценой жизни…

Ну, раз уж у нас с Веней так вышло, что мы оба с ним стали свободны друг от друга: никаких претензий, куда он пошёл, куда я пошла, у нас друг

к другу не было,—я всё-таки с Эдуардом, когда он приезжал из Алма-Аты, встречалась иногда—правда, только в кафе или в сквере на лавочке; зато теперь я могла свободно общаться с ним, уже не трясясь от страха, что кто-то меня увидит и кому надо доложит. Я была благодарна Вене за это, а он—мне, потому что он тоже постоянно куда-то уходил, и я не лезла к нему с расспросами. И сейчас, между прочим, не лезу: живём теперь на другом уровне—на доверии.

Кстати, когда я слышу, как по телевизору учат, что если в семье нет любви, надо непременно расходиться, чтобы не мучить детей и друг друга, я считаю, что всё это—лицемерие и оправдание своего эгоизма. Конечно, мы с Веней жили не совсем как муж с женой, но всё же это лучше, чем если бы семья развалилась: мы всё-таки делали усилия, чтобы сохранить её ради сына и ради внуков и не раскачивать, не усугублять ситуацию…

Так вот, я—о Лене.

Когда Веня приезжал из своих поездок, то обязательно встречался с Леной, или она к нам приходила. Но мне было тяжело с ней встречаться, поэтому перед тем, как она придёт, я уходила из дома и гуляла часа три, а перед тем, как вернуться домой, обязательно звонила Вене: «Лена ушла?»—и только когда он подтвердит: «Да»,—приходила… Но однажды, когда я очередной раз вернулась из больницы, Веня звонит ей при мне и говорит:

— Лена, я сегодня не приду тебя кормить—Ира из больницы вернулась, я с ней побуду.

«Ничего себе!—думаю.—Он её уже кормит?»—и спрашиваю:

— А почему ты должен её кормить?

— У неё крыша поехала,—объясняет он мне.—Бросила работу, не ест, сидит дома и без конца курит. Ударилась в спиритизм, сына выгнала в общежитие; никто к ней не ходит. Я покупаю ей еду и делаю уборку. У неё же две собаки, и она их не выгуливает, так что ещё и собачьи кучи приходится убирать.

«Да-а, дела!»—думаю…

Когда-то она жила замужем на Украине, да, видно, плохо жила: ночью, пока муж спал, собрала вещи, написала записочку: «Меня не ищи»,—вызвала такси, забрала сына и уехала сюда, в наш город, к матери. Муж понял, куда она уехала, примчался, а мать твёрдо ему сказала: «Лена жить с тобой не хочет и не будет!»—и он уехал. С тех пор она жила здесь с матерью и сыном. Потом мама её умерла.

Веня очень ценил её и как художницу, и как большую умницу и сохранил много её рисунков.

И вот, уже когда у неё поехала крыша, она однажды возвращалась с поминок одного художника, остановила на улице машину, чтобы доехать до дома,—и тут её похитили, увезли, искололи наркотиками, убили и выбросили голой на улицу. Вот такая печальная история…

Видите, сколько вокруг меня печальных историй?.. Кстати, и Слава-лысый тоже погиб.

Ещё в то время, когда он со мной дружил, его после окончания института оставляли на кафедре, чтобы он продолжил заниматься наукой,—но оттого, видно, что у нас с ним ничего не получилось, у него начались сильные сердечные боли, и он решил уехать после института в районный посёлок—там учителем в школе работал: преподавал историю, литературу, ботанику, географию. Потом стал директором школы.

Когда он там жил, мы переписывались. Он такие хорошие письма мне присылал! Описывал, например, как с ребятами в лес ходил и что они там видели, и в каждом письме—цветок полевой засохший или пушинка, которую зайчик на кустике оставил. И каждую неделю обязательно присылал мне открыточку—в честь солнечного дня, например, или в честь хмурого дня.

Однажды он приехал—а у меня тогда уже начались нелады с Веней; он узнал про это, стал настаивать на встрече со мной: может, даже надеялся возобновить отношения?—и мы встретились с ним в кафе, посидели, поговорили. А я смотрю на него внимательно и думаю: даже сейчас не вышла бы за него замуж—нет к нему любви, и всё тут!

Между тем мама его, оставшись в городе, заболела раком; он нанял женщину, чтобы ухаживала за ней, прописал её в своей квартире, а когда мама умерла и он вернулся из посёлка, эта женщина не пустила его в квартиру. Он начал было выгонять её; дошло до драки; она вызвала милицию, его забрали, и эта женщина сделала всё, чтобы его судили за хулиганство.

Вот так этот идеальный мальчик Слава попал в тюрьму. А там над ним начали издеваться: этакий тюха-матюха, весь из себя чистый такой, попал к ним в оборот! Били, наверное. Он от всех отвернулся, писем мне больше не писал, и я потеряла его из виду. Да у меня и у самой тогда проблем было по горло.

Когда он вышел из тюрьмы, я его увидела случайно: стояла в очереди за колбасой в магазине—смотрю, Слава идёт по магазину и—прямиком в тот отдел, где водку продают; проходит мимо, смотрит на меня в упор—и не узнаёт. Я усомнилась: он это или не он?—бросила очередь, пошла за ним—посмотреть, что он будет делать. А он купил бутылку, вышел на улицу, подошёл к сапожнику, который на улице в открытой будочке работал, и сел рядом. Сапожник достаёт стаканы; они наливают их доверху и выпивают. Я подхожу к ним ближе… Слава увидел меня и говорит так приветливо, интеллигентно:

— Подходите, женщина, — сапожник хорошо подшивает и берёт недорого…

Я, конечно же, узнала его голос, его интонации — а он меня так и не узнал. Выпил, поднялся и ушёл. И всё же у меня какие-то сомнения остались. Спрашиваю сапожника:
— Скажите, пожалуйста, вы знаете его? Как его зовут?
— Знаю. Вячеславом зовут, — отвечает он.
— А что с ним случилось?
— Да что случилось? Обыкновенный алкаш.
— Какой он вам алкаш? — возмутилась я. — Он на Ленинскую стипендию в пединституте учился!
— Он и мне так говорил — да только кто ж ему поверит?..

Потом, ещё через сколько-то лет, один Венин товарищ попал в сумасшедший дом. Он был музыкантом, начал на работе бузить, и его отправили в психушку. Мы с Веней ходили попроведовать его, и когда уже выходили оттуда — а там несколько ступенек при входе — спускаемся по ним, и я смотрю: сидит на корточках мужчина и моет эти ступени — медленно, задумчиво возит по ним грязной тряпкой. Я всмотрелась в него, и мне вдруг показалось, что это Слава! У меня просто сердце оборвалось, и когда уже прошли мимо — говорю Вене:
— Вень, а ведь это, по-моему, Слава?..

Но он только пожал плечами.

После этого я навела справки у Славиных знакомых, и они мне сказали, что он в самом деле сидел в психушке. А потом передали, что он там умер. Представляете? Какой был талантливый человек, умница — и что с ним стало!

До сих пор я храню его письма, стихи, открытки. Некоторые стихи помню наизусть, хотя память у меня знаете какая… Вот, например, такие, которые он мне посвятил, когда мы расстались:

> Что ж, значит, и впрямь не вернёшься,
> и писем мне не писать?
> Как ты хмуришься? Как ты смеёшься? —
> я лицо твоё стал забывать.
> Стал лицо забывать. Из тумана —
> только грустные взгляды твои.
> Погоди, всё забудется поздно иль рано,
> и лишь боль сохранится в груди…

Ну и так далее… Или вот такие:

> Но память прошлое хранит,
> Моя душа к твоей стремится.
> Так, вздрогнув, всё ещё летит
> Убитая в полёте птица…

Много его стихов у меня осталось. И как вспомню его — начинаю плакать: так его жалко!.. У него ведь действительно была настоящая, большая любовь ко мне — он же потом так и не женился.

И когда у меня начались неприятности сначала с Борей, потом с Веней — когда мы с Веней мучились и расходились, — я часто думала о том, что мне всё это послано за Славу, за его муки безответного чувства.

Но вот не было у меня любви к нему, и всё тут! Как быть? Что делать?

4. Идущая к Богу

Примерно к тому времени я уже покрестилась, и мне стали сниться странные сны, а я никак не могла понять: отчего они у меня? Рассказываю их знакомым: может, растолкуют? — а знакомые, вижу, слушают и крутят за моей спиной пальцем у виска: типа — ненормальная. Только один Венин товарищ, Володя, — он глубоко верующим был — однажды выслушал меня внимательно и говорит:
— Никому, Ира, про свои сны и предчувствия не рассказывай, даже священнику: обязательно скажет, что это — от Дьявола… А почему они тебе посылаются? Ты встала на православную стезю, и тебе даются знаки, чтобы ты сама разобралась: в том ли ты идёшь направлении — или не в том? Я считаю, идёшь ты правильно…

Почему я сейчас про сны рассказываю? Потому что за неделю до Елениной смерти я видела страшно неприятный сон: будто бы смутно вижу снежное поле, и на снегу лежит голая женщина, а впереди — какая-то чёрная не то дыра, не то яма. Тут я проснулась, и так тревожно стало, а понять не могу: зачем мне такой тяжёлый сон? И вот — пожалуйста: через неделю погибает Лена, причём именно зимой — на снегу её нашли…

Потом у моей хорошей знакомой, Алины Васильевны, про которую я часто здесь упоминаю, сын Олежка под поезд попал.

Она уже большим начальником работала. Но семейная жизнь у неё не сложилась — разошлась с мужем, и сын у них отбился от рук: скажет матери: «Мама, я к папе», — а отцу скажет: «Папа, я к маме», — а сам шатается неизвестно где. Так что Алина Васильевна, когда уезжала в командировки, стала приводить его ко мне. А я с ним и на дачу работать ездила, и квартиру белила, и разговаривала с ним, и песни с ним пели, так что когда Олежка со мной, она была спокойна. А придёт его забирать — он и идти к ней не хочет: «Мама, а мне с тётей Ирой нравится быть…» Но когда ему исполнилось шестнадцать, он совсем одичал; сказал ей однажды, что поехал к отцу, а сам пропадал где-то несколько дней, сел на рельсы отдохнуть, заснул, и его переехал поезд.

Так за неделю до его гибели я видела во сне рельсы, крупное лицо в профиль, и будто бы светлые волосы развеваются — а туловища нет! Что, думаю, за сон такой нехороший — на душу давит? Всем знакомым позвонила, сестре в Алма-Ату — там у них часто бывают землетрясения: нет, всё вокруг спокойно. А через неделю Олежка попал под поезд, да так его ударило, что голова

при ударе оторвалась и покатилась—вот тебе и рельсы, и голова без туловища…

И ещё несколько подобных случаев было, когда мои сны сбывались,—долго и тяжело рассказывать.

Причём я заметила, что они стали у меня случаться именно тогда, когда я покрестилась и в Бога поверила, стала ходить в храм, православные каналы слушать, больше читать и конспектировать книги. Отчего это?

Но иду к вере трудно—ведь пятьдесят лет была неверующей!

Правда, в храм хожу редко, потому что верю в перевоплощение душ, а в православии считается, что перевоплощения нет,—и всё же я в перевоплощения верю, потому что со мной происходят случаи, которые подсказывают мне, что всё-таки иная жизнь у меня была. Почему, например, в детстве во мне постоянно звучала музыка, и почему я всегда мечтала играть на каком-нибудь инструменте?

Подружки мне говорят: «Ира, ты очень артистичная—тебе надо было артисткой стать…»—а я никогда не хотела быть артисткой—хотела только музыкой заниматься. Почему?.. Я думаю, потому, что музыка как-то связана с небом, с какой-то высшей прекрасной силой, которая поднимает нас, притягивает к себе, и что-то, чувствую, в моей прошлой жизни было связано с музыкой. А иначе почему я к ней так неотступно привязана?..

Опять же в связи с верой мне часто приходят на ум неуместные вопросы: почему, например, столько трагедий на Земле? Почему чуть не в каждой семье—разлад?.. Никто ни во что не хочет вдуматься, не хочет никого выслушать, не хочет ни во что верить; все только стараются перекричать друг друга; один кричит: «Я, я прав!»—второй: «Нет, я, я прав!»—а третий кричит на кричащих, и так далее. Думаю, это оттого, что у нас было столько войн, революций, столько людей было убито, уничтожено, столько семей, судеб исковеркано, столько было разрушено храмов—некуда было прислониться, когда душа просила покоя, негде и некому было лечить усталую психику! Людей сознательно отлучали от религии, запрещали её—наоборот, приучали к развлечениям: смотреть кино, потом телевизор. И, конечно же, превозносили в людях гордыню: надо, мол, гордиться собой, нашим строем, нашей страной, нашими победами! Приучали ненавидеть своих врагов и презирать милосердие. Но стал ли от этого кто-нибудь счастливей? Наоборот, жизнь от этого всё больше становится похожа на ад. Как я понимаю, жизнь—это бумеранг: сколько ты совершил в жизни зла—столько к тебе и прилетит когда-то и ударит по тебе. Мне кажется, единственный выход—это всё же исполнять евангельские заповеди, которые высказаны уже две тысячи лет назад, и потихоньку очищаться от зла. Именно потихоньку, потому что разрушать—всегда быстрее, чем создавать; и если мы разрушали нашу жизнь семьдесят лет—то сколько же времени надо будет её воссоздавать?..

Смотрите: ведь евангельские заповеди знают все—а исполнять никто не хочет! Зачем же мы тогда строим церкви, ходим туда?

Мне всё вспоминается одна легенда, которую я вычитала в духовной литературе. Жил когда-то один святой, который всю жизнь молился, и даже когда умирал, всё ещё продолжал молиться, так что все вокруг говорили: вот уж он-то точно попадёт в рай. Через некоторое время он впал в кому; все решили, что он уже где-то возле Бога, и стали молиться за его упокой—а он вдруг очнулся, страшно испуганный, и кричит в ужасе: «Молитесь, чтобы я выжил! Молитесь, чтобы я выжил!»—«Зачем? Ты же хотел умереть?»—«Да, я уже умер, но я такое там увидел! Я ещё не отработал свои грехи!»—«А что ты там видел?»—спрашивают. «Я не могу, не могу этого сказать—но это жутко!..» И он прожил потом ещё много-много лет и всё молился и молился… А ведь он был святой!

Да, я поверила, но в храм хожу редко, хотя и Евангелие, и сами заповеди Христа мне очень нравятся. Но я часто думаю о том, что Христа никогда не понимали как следует, даже при Его жизни; все хотели, чтобы Он земным царём стал: правь, мол, нами, а мы будем тебя слушаться; а если не хочешь быть царём—так зачем ты со своими речами нам нужен?.. Да и нынче тоже: все хотят только выпросить у Него что-нибудь, свою выгоду получить—а ведь Он пришёл сказать людям, что они должны сами меняться, сами развивать свою духовную суть,—а люди никак не хотят работать духовно: всё им подай на блюдечке.

И коммунисты тоже: вон сколько взяли из Евангелия, а толку-то?—так что и они ничего в нём не поняли. А уж сейчас—тем более: политики ходят в церкви, кресты на себя кладут и хотят, чтобы на них при этом по телевизору смотрели—прямо театр какой-то,—а что творят? И воруют, и взятки дают и берут, и откаты какие-то, и друг друга грязью поливают… Жизнь настолько не устроена! Она по всему земному шару не устроена, а уж у нас—тем более: на какой дикой ступени развития мы ещё находимся!

Хотя я и сама для православия полностью ещё не созрела—многое в нём меня не устраивает. Не нравится, например, что в храмах все стоят тесной толпой: старушки, женщины, дети,—причём те, кто покрепче, да ещё пришёл пораньше, непременно вперёд норовят и загораживают тех же старушек и детей—как-то неуважительно это к ним.

Не нравится также, что когда я слушаю службу в храме, то многое не понимаю из того, что батюшка говорит,—почему-то говорит он быстро, будто

торопится куда-то, и слишком уж у него непонятный язык. Мне говорят: надо ходить чаще и изучать службу,—но бабушки-то часто ходят, а спроси их, о чём им говорят,—тоже ведь ничего не понимают.

Ещё вот что мне там не нравится: когда я была воспитательницей, то обязательно следила, чтобы дети чаще мыли руки, не ели немытых фруктов, чтобы чужие игрушки не брали,—а здесь при причастии суют ложечку в рот всем подряд; вытрут—и снова. Мне объясняют, что я не заражусь, потому что всё здесь святое. Но говорить-то говорят, а мозг не воспринимает! Почему бы, например, каждый не приходил со своей ложечкой? Или окунать куда-то для дезинфекции?

Ира, моя подруга, которая меня спасла от смерти, ходит к баптистам—так и у них то же самое; я, говорит, приду пораньше, чтобы впереди встать, и когда дают пить из чаши, смотрю, с какой стороны все пьют, а я—с другой. Тоже боится, потому что столько сейчас заразы! Ещё и СПИД этот… Может, праведные и не заразятся—но я-то же ещё не праведная! Ходи потом лечись…

Когда батюшка крестил меня—то сказал, что Бог все мои грехи на себя принял и что я стала безгрешной. «Только,—говорит,—больше не греши».

Но я же всё равно грешу, потому что выполнять Божьи заповеди очень трудно. «Полюби врага своего»,—а как я могу его полюбить? Или: «Не прелюбодействуй»,—а как прожить, если знаешь, что муж тебя уже не любит и ты одна-одинёшенька? А хочется же, чтобы возле тебя кто-то был и тебя пожалел. Женщины так не пожалеют, как мужчины; они—завистливые. У меня вон сколько подружек, и почти все предали—я их уже бояться стала: обязательно подковырнут, на больной мозоль наступят. Я, например, начинаю им объяснять, что это мой любимый человек, а они: «Ах, вот ты какая!» А что я им плохого сделала? Только одна Алина Васильевна меня и поняла.

Но я уже дошла до того, что начала понимать, что перевоплощения нет. То есть просто надо по-другому вопрос ставить: не перевоплощения нет—а оно не нужно, если ты поверил Богу.

А когда я начинаю что-либо понимать—появляется желание перечитать Библию, почитать того же Василия Великого или про Сергия Радонежского. Но когда я открываю Библию, меня тут же клонит в сон. Уже выспалась, кажется; сажусь заниматься, открываю тетрадку, начинаю конспектировать—а через полчаса просыпаюсь, и моя голова лежит на книге. Понимаю, конечно: чтобы читать такие тексты, нужна тренировка ума, терпения, но главное—я ещё настолько грешная, что меня Дьявол туда не пускает; вот что сложно.

Плохо ещё, что меня мои домашние не поддерживают: ни у Вени, ни у Кости—никакого интереса к вере; им очень трудно прийти к Богу—гордыни много, а ведь гордыня—большой грех.

Начинаю с ними говорить об этом—отмахиваются: «Извини, мне некогда»,—хотя у Вени, например, такая возможность общения с Богом—столько храмов расписал, икон нарисовал! Но ему интересно расписывать храмы только с точки зрения живописи, а с религиозной—он ещё не готов. И Костя тоже одно время занимался росписью храмов—и тоже пока не готов.

Даже когда заказчик, который пятнадцать лет подряд давал Вене работу в храме, то есть, попросту говоря, кормил нас всех, спросил у него однажды:

—Вениамин Алексеевич, а вы верующий человек?—Веня ответил:

—Нет, я пока—идущий,—а ведь он почти всё время работал в действующих храмах—работал и одновременно слушал службы…

И всё-таки Бог нам помогает. Нет, например, у Вени работы—я помолюсь, и уже назавтра ему звонят, предлагают работу. Точно так же и у Кости: сидят без денег—помолюсь, и смотришь, очередные деньги откуда-нибудь пришли. Я им говорю: «Как вы думаете, почему так получается?»—а они надо мной смеются: «Конечно же, это просто совпадения!»

Но Веня правильно сказал, что он—идущий. Все мы—идущие. И я тоже идущая: видите, сколько у меня грехов? Но я, по крайней мере, ищу себя, я уже знаю, куда идти и где искать.

И всё-таки я благодарна Господу. Не знаю, Он ли, или ангел-хранитель, или Высший Разум,—но кто-то за мной всегда следит и не даёт погибнуть, хотя несколько раз в жизни я бывала на краю гибели.

Помню, когда первый раз лежала в больнице со своим язвенным колитом, врач сказала моей маме, что больше трёх лет я не протяну—с этой болезнью долго не живут, чтобы мама была ко всему готова. А мама сказала Вене—так что они на меня смотрели уже как на кандидата в морг.

А я выжила! Слава Богу, бабушка узнала про мою болезнь, принесла мне чайный гриб в банке; только благодаря грибу я встала. Хотя теперь-то понимаю, что болезни посылаются нам затем, чтобы мы благодаря им духовно очищались; ведь мы же из атеистической страны: куда нас тащат страсти, туда и идём покорно.

И всегда в трудную минуту рядом со мной оказывался человек, мужчина или женщина, который бы меня поддерживал,—только благодаря им я и выживала. Если б была совсем одна, меня сейчас, поди, и на свете-то бы не было. Слишком уж это тяжело—выцарапываться к жизни совершенно одной, беспомощной.

Но теперь, когда я почувствовала, что Бог есть,—поняла, что все эти испытания были мне нужны: через них я созревала, что ли, и приобретала опыт. И, несмотря на всё, что со мной было, я всё же

находила в себе силы ещё и помогать и Вене, и Косте, и внукам: ведь если бы не я, Веня точно погиб бы. Значит, я ему тоже пригодилась?..

Я знала, что любовь бывает только раз в жизни. И подруги мне это не раз говорили. И когда я любила Борю, а ничего у меня с ним не вышло, то решила, что больше уже любви не будет; и когда стала встречаться с Веней — подумала: ну и ничего, что не будет, — зато буду просто служить ему всю жизнь.

Но Господь мне помог — а Он мне действительно много помогал, хотя я тогда ещё не верила. Когда я, например, лежала в больнице и умирала — звоню домой, чтобы поговорить с Веней, а его дома нет; сын сидит один. Время вечернее, квартира на первом этаже, а под окнами у нас железная крыша. И вот я разговариваю с сыном по телефону — а ему тогда всего десять лет было, — и он мне говорит:

— Мама, я боюсь: кто-то по крыше под окнами ходит.

— А папа где?

— Задержался на работе — он мне звонил...

Я почти всю ночь тогда проплакала от отчаяния, от безнадёги, а утром подхожу к окошку, смотрю: солнце встаёт, выглядывает из-за облака, такое ласковое, хорошее, хотя была осень, — и я ни с того ни с сего говорю:

— Здравствуй, милое солнышко! Помоги мне — я не знаю, что делать. Я болею и уже умираю, а у меня маленький сын. Кто его воспитывать будет?

И вдруг солнце стало огромное такое — у меня даже мороз по коже до сих пор, как вспомню, — и лучи, будто руки, мне протягивает. Я обалдела, говорю ему:

— Солнышко, ты живое?

А оно — ещё ярче! Я ничего понять не могу. И у меня невольно вырвалось:

— Господи, спаси меня — я хочу воспитать своего единственного сына!..

Так вот поговорила с солнышком; оно меня лучиками, как руками, погладило, и мне стало легче. И с тех самых пор каждый день, как только выйду на улицу и выглядывает солнышко — здороваюсь с ним. И всех своих детей в садике научила:

— Так, — говорю им, — давайте-ка поздороваемся с солнышком: здравствуй, солнышко, здравствуй, милое, здравствуй, ясное! Спасибо тебе, солнышко, за всё, что есть на свете, — свети нам всегда!..

И. вот, вы знаете, выйду на улицу — пасмурно; мне надо с солнышком поздороваться — а его нет! Я встану и подожду; и вдруг ни с того ни с сего тучи расступаются, и выходит солнышко, сначала тусклое, потом всё ярче, ярче — и, наконец, совсем яркое — и начинает пульсировать. Разве это не чудо? И я тогда думаю: а может, солнышко и есть Бог на нашей планете?

И ещё думаю о том, что если душа бессмертна, то когда человек умирает — куда она уходит и где хранится, если стала достойна того, чтобы больше не перевоплощаться, раз Иисус пришёл и взял все грехи на себя и не надо их больше выплачивать в новой, перевоплощённой жизни? Может быть, думаю я тогда, эти души идут к солнцу и потом помогают людям? То есть, как мне кажется иногда, солнце и есть Бог.

5. Муж

А у Вени вообще сложная судьба. Когда он рассказывал мне про своё детство, я даже плакала: всё было так непросто. Хотя у кого тогда было просто?

Жили на Сахалине два товарища и любили одну и ту же девушку, будущую Венину мать. Она выбрала будущего Вениного отца, и сначала у них родился Веня, потом Коля. А товарищ Вениного отца женился на подружке Вениной мамы, и у них тоже родился сын. Это было перед Великой Отечественной.

Вскоре оказалось, что у товарища Вениного отца — туберкулёз. Но он выжил, а жену заразил, и она умерла.

К тому времени дело уже шло к войне; Вениного отца призвали в армию как резервиста и отправили во Владивосток — там готовились к войне с японцами. А товарища его из-за туберкулёза не призвали, и он, раз любил Венину мать, стал к ней похаживать. Родственники Вениного отца взяли и написали ему про это.

И как только началась война, Венин отец пишет заявление, чтобы его отправили на войну с фашистами, уезжает вместе с добровольцами и погибает под Москвой. А товарищ его женился на Вениной матери и её тоже заразил туберкулёзом, так что, когда Вене исполнилось шесть лет, мама его тоже умерла от туберкулёза, и он вместе с Колей стал жить у бабушки с дедушкой.

Между прочим, Венин отец был родом из зажиточной семьи где-то в европейской части России (как у нас в Сибири говорят, «в России»); они шили шапки, кожаные пальто, сапоги. Их раскулачили и отправили в ссылку во Владивосток. Во Владивостоке они занялись тем же, чем занимались всю жизнь: опять стали шить шапки, кожанки, сапоги, — и опять разбогатели; их тогда снова раскулачили и на этот раз отправили на Сахалин — просто дальше уже было некуда. И там они запили: сколько ж можно людей раскулачивать?

Веня, ещё будучи ребёнком, придёт к отцовым родственникам — те его пожалеют, обошьют, нарядят: ах ты, сиротинушка ты наш! Приходит к маминой родне — те тоже: ах ты, сиротинушка наш... Делать, естественно, ничего не заставляли: как можно заставлять сироту? — и страшно его этим избаловали.

Семья была патриархальная, и, конечно же, Веня слышал от старших, что все домашние дела в семье должна делать женщина, и, конечно же, этот

взгляд на женщину запал в него с младенчества. Когда он рассказал мне про это — с тех пор, если у нас с ним что-то не складывалось и он отказывался делать что-то по дому, я думала: но он же не виноват, что его таким воспитали!

Он рано начал рисовать. Ещё и читать не умел — а уже возьмёт прутик и рисует на песке. В школе, когда появилась у него бумага, стал рисовать карандашом. В этой школе работал ссыльный художник; он заметил, что Веня любит рисовать, стал давать ему краски, альбомы для рисования и взялся его учить, так что Веня ещё мальчишкой твёрдо решил после седьмого класса поступить в самое ближайшее от Сахалина художественное училище, Иркутское, и стать художником.

Дядья его, конечно же, боялись отпускать четырнадцатилетнего мальца; но в Иркутске, на его счастье, жила одна из его бабушек, и Веня поехал к ней.

У нас есть его фотокарточка тех лет: худенький такой заморыш в метр с кепкой — в чём только душа держалась! А вот поди ж ты, переупрямил судьбу: поступил и пять лет учился там на копейки, на хлебе с маргарином и с водой. Зимой даже носки купить не на что было, так что подошвы ног к ботинкам примерзали. Родной его дядя, брат отца, высылал ему деньги на учёбу, а Веня тратить их стеснялся — скопит и вышлет обратно: знал, что дядя сам живёт небогато. Да ещё учился на пятёрки — то есть, можно сказать, идеальным юношей был. Вот за это ещё я его и полюбила — может, даже больше, чем до этого Борю…

Так ни разу за пять лет, пока учился, он и не побывал дома: денег на дорогу не было, — поехал, только когда уже закончил. Однако денег ему хватило только на полпути; дальше добирался бродяжкой. И в комендатуру-то его забирали, и чуть ли в тюрьму не посадили, так что он ехал домой целый месяц.

Приехал домой — его взяли в армию. Служил там же, на Сахалине, в морской части — правда, моряком сухопутным: то почтальоном, то библиотекарем.

Тогда служили в армии три года. Но за два года эта служба ему так надоела — ни разу ведь кисти в руки не брал! — так что решил поступить в какой-нибудь институт: тем, кто поступал, разрешалось брать отпуск в армии.

А куда поступать? В географии он был не силён; взял карту Союза, ткнул в неё пальцем наугад — и попал на наш город. Оформил отпуск, приехал сюда — а где приткнуться, не знает. А он ехал в вагоне с парнем, который из тюрьмы «откинулся», — у него и переночевал. Наутро пошёл, сдал в институт документы, ему выделили койку в общежитии: сдавай экзамены. А он же не готовился и на первом же экзамене — на сочинении — погорел.

— Всё, парень, — говорят ему, — езжай обратно.

А денег на обратный путь нет. Приходит в военкомат:

— Дайте денег, мне надо в часть возвращаться.

— Откуда у нас деньги? — пожимают там плечами.

— А мне что делать? Мне даже есть не на что!..

Два дня он так ходил, клянчил безрезультатно, а на третий ему говорят:

— Давай-ка мы тебе оформим военный билет.

Оформили билет, как будто он уже прошёл службу, и он остался. А из общежития-то его уже выгнали. Что делать? Ходит по городу, видит: парень торгует на улице книгами. Веня подошёл, полистал от нечего делать книги по живописи — соскучился по искусству!

— Что, интересуешься? — спрашивает парень.

— Да, — отвечает.

— А кто ты по жизни?

— Художник…

Так, слово за словом, разговорились, и Веня рассказал, что в институт не поступил, из общежития выгнали, уже дважды ночевал на вокзале и не знает, куда идти и что делать. И парень посоветовал ему пойти в строительную организацию: там, по крайней мере, общежитие дают.

Что Вене делать? Конечно же, пошёл в строительную организацию и устроился работать. Дали койку в общежитии. Написал письмо Коле, рассказал, где и как устроился… Коля тотчас же приехал к нему с Сахалина, и они стали работать вместе. Спали на одной койке.

Но у Вени начались сложности. Он был комсомольцем, причём — честным, и его избрали там комсоргом. Он стал выяснять, почему рабочим в бригаде платят гроши, хотя они хорошо работают, — выявил приписки, поднял вопрос на собрании — и его за это попёрли из организации. А Колю оставили — он-то не выступал!

Что делает Веня? Навёл справки — и оказалось, что на том самом заводе, который они строили, нужен художник. Он пришёл на завод и предложил свои услуги.

В нашем городе тогда ещё не было художественного училища, так что художниками на заводах работали все кто попало, а тут художник с дипломом — и его тут же взяли, да не просто цеховым — заводским художником! Стали платить нормальную зарплату; он снял квартиру… Тут-то мы с Веней и встретились…

И когда поженились — прекрасно жили, пока он не заболел и не съездил потом в Симеиз.

Но он великий труженик, и я благодарна ему за то, что он полюбил меня — а ведь я тоже не идеал. Но когда чувствую, что он вот-вот взорвётся, — сразу роток на замок, а утром он скажет: «Прости, Ира», — и я радуюсь. Или я вдруг разорусь на него — смотрю, ушёл в свою комнату, закрыл

дверь, и—тишина. То есть мы научились беречь и уважать друг друга.

Причём—заметьте, сколько вокруг нас было смертей! Будто какая-то сила сталкивала нас с ней и косила вокруг, как косой.

Возьмём Славу-лысого: не пошла бы я тогда, в юности, на танцы—он встретил бы другую, и жизнь бы у него удалась—а она вон как обернулась!

Или мы с Веней: не хотела же я с ним дружить—я Борю любила! Но пойду в столовую, а Веня—навстречу, иду в библиотеку—он навстречу, выхожу откуда-нибудь—он опять навстречу! Да что же это такое?—думаю. Чего он мне без конца дорогу загораживает?.. И ведь всё равно познакомились, и всё равно нам было дано пройти наш путь вместе. Видно, и в самом деле силы Господни непреодолимы.

Единственное, чего мне сейчас хочется,—чтобы у него больше никогда не было работы в церквях: она его слишком увлекает. Может, это и плохо—так говорить, но чувствую, что когда её не будет и мы станем жить только на пенсию—может, станем с ним ближе и будем лучше понимать друг друга.

Ещё больше я была бы рада, если б он написал ещё хоть одну, но самую главную свою картину, пусть не за один присест, да вложил бы в неё все свои мысли и чувства, и успокоился бы наконец, и подумал бы как следует во время этой работы, что итоги—не только в творчестве, что они—это же ещё и семья, дети, внуки, их души, согласие между ними всеми, и что именно им мы оставляем в наследство наш мир.

Между прочим, по телевидению часто показывают, как многие художники сейчас припадают к православию и переходят на новый духовный уровень. Как бы я мечтала, чтобы и с Веней это произошло! Но, видно, это не его путь.

Я, конечно, тихонько капаю ему на мозги в этом направлении, хотя и стараюсь не перегнуть палку… Как-то сказала ему:

— Веня, у тебя очень много работ в подвале. Не дай Бог, что-то с тобой случится—что мне с ними делать?

Сначала он отговаривался:

— Меня это не касается! Выброси на свалку.

Но, видно, что-то до него всё-таки дошло из моих слов: взялся, потратил уйму сил, денег, времени, оформил их и устроил наконец нынче огромную юбилейную выставку, причём выставил много старых своих работ,—и всё это заиграло, зазвучало там как одно целое. Выступали на выставке художники, много говорили о его творчестве. Очень он доволен ею остался, и я радовалась за него и понимала, что в этой его работе длиной в целую жизнь есть и моя заслуга, и не только в том, что я постаралась, подготовила к выставке хороший фуршет,—я ведь все его картины тоже прожила вместе с ним.

Я уже рассказывала, что когда он вернулся с Украины—у нас с ним после всех наших передряг началась совсем другая жизнь. Он перешёл работать дизайнером в СХКБ. Дизайнеров тогда было мало, а Веня хорошо себя проявил, и через несколько лет его, как одного из лучших художников, отправляют на творческие курсы в Дом творчества на озере Сенеж под Москвой.

Он поехал туда окрылённый: во-первых, курсы—бесплатные; во-вторых, это жизнь в Подмосковье; в-третьих, там творческая среда, встречи с близкими по духу людьми, лекции о дизайне, свежие идеи; в-четвёртых, если ездить на эти курсы три года подряд, то закончившим их выдавали диплом о высшем образовании… Я и сама была на седьмом небе оттого, что у Вени всё так хорошо складывалось с этими курсами. Сама я к тому времени уже закончила педучилище, хотя оно и отобрало у меня много здоровья. И самое приятное для меня было в том году—мне впервые в жизни дали отпуск летом! И решила я в то лето съездить с сыном в Пятигорск, попить минеральной водички: там ведь жил Венин брат Коля, и туда же к тому времени перебрался на жительство Венин дядя.

Веня предложил мне по пути в Пятигорск заехать вместе с сыном к нему в Сенеж и посмотреть, что это такое—Дом творчества.

И вот мы с Костей в Сенеже… Это была сказка! Дом творчества—на берегу озера; красотища вокруг неописуемая; бродят по дорожкам парка бородатые мужики с трубками, какие-то экстравагантно одетые женщины, рассуждают всё о важном… Потом Веня привёл нас в столовую, а там на столах—белые скатерти, накрахмаленные салфетки; нам—прямо как в ресторане!—принесли меню, и мы заказывали себе блюда с какими-то иностранными названиями, которые непременно хотелось попробовать!..

Причём приехали мы как раз в день праздника Нептуна; вечером они все нарядились, как на карнавале, костёр зажгли и прыгали вокруг…

В общем, это был мир небожителей.

А на следующий день Веня сказал нам:

— Всё, праздник кончился; мне надо работать,—проводил нас на вокзал, и мы покатили в Пятигорск на лечение.

Причём уехали мы с сыном обалдевшие, с гордостью за нашего папочку: раз он туда попал—значит, он самый-самый умный, самый-самый талантливый!..

И всё же Веня диплома о высшем образовании так и не получил.

После Сенежа он взял для дипломной работы тему дизайнерского оформления старинных

домов в центре города: слепил макеты этих домов, придумал украшение для них, расположил на планшете,— и защитил проект.

После этого ему предложили оформить краеведческий музей, причём работа эта проводилась под строгим партийным контролем, так что для надзора к Вене приставили партийного деятеля, причём — как раз того самого, который когда-то спас моего папу от расстрела.

Почти весь проект оформления музея Веня делал один: чертил, рисовал. Потом руководил его выполнением, даже ездил в каменоломню выбирать камни для оформления, а в лесу выбирал сосны для экспозиций: где, скажем, сидит на сосне рысь или глухарь или стоит возле неё медведь; для оформления дореволюционного периода искал старинные наряды; писал для каждой экспозиции планшеты на прозрачном пластике…

Через год ему снова пришло приглашение в Сенеж — а партийный этот деятель никак не хочет его отпускать: оформишь, мол, музей до конца — тогда и поедешь! Веня ругался с ним, даже пытался уволиться — так ему и уволиться не разрешили: прямо подневольного из него сделали, и ему одно осталось — приходил домой и жаловался мне:

— Надоел мне этот партийный деятель: делай так да делай этак,— а что он понимает? Так и хочется послать его подальше!..

А я его уговаривала никуда не «посылать»: ведь он когда-то папу спас!.. А приглашения в Сенеж всё слали, слали — да и исключили его из списков. Может, если б съездил, у него была бы какая-то совсем иная жизнь?

В конце концов Веня поругался с этим деятелем окончательно, и ему дали другого. С этим он жил более-менее дружно, даже ездил с ним в Москву — перенимать опыт оформления московских музеев, причём ему оплачивали и дорогу, и жильё, и питание — только знай перенимай!

А, между прочим, мы с Веней ни разу в жизни не были в отпуске вместе. К тому времени мы уже проводили сына в армию, и мне так захотелось поехать с Веней! Попросила у начальника цеха отпуск — а он знал моего мужа: Веня делал для цеха стенды,— начальник дал мне отпуск, и целый месяц мы с Веней жили в Москве.

Остановились мы у Вениного племянника, а он был обеспеченный. Выделил он нам отдельную комнату в своей большой квартире и дал ключ от неё, так что мы могли приходить и уходить независимо от хозяев. Какое это было счастье — пожить в Москве, да ещё вместе с мужем, да ещё целый месяц!

Днём Веня был занят, а я целый день свободна. Подруги вручили мне список заказов в сто пунктов на большом листе и денег надавали, так что днём я бегала по магазинам и выполняла заказы, а вечерами мы посещали с Веней театры; во всех знаменитых московских театрах побывали.

А как у меня это получалось? У меня же было одно платье и одни приличные туфли, а пока ходишь целый день по слякоти — они к вечеру грязные, забрызганные! В театре я прошу Веню подождать меня, захожу в женский туалет, снимаю эти свои туфли и отмываю под краном, а мимо идут дамы, разодетые, нафуфыренные, с красивыми причёсками, в туфельках на высоких каблуках, смотрят, как я стою в чулках и туфли свои мою,— и думают, наверное: вот уж точно эта тюха-матюха из самой Сибири сюда на своих двоих припёрлась!..

Но были и приятные моменты… Помню, когда были на спектакле в Кремлёвском дворце, то во время антракта зашли в буфет — а там и красная-то, и чёрная икра, и конфеты «Мечта»! Я говорю Вене:

— Какое счастье — мечтать можно бесплатно!..

Денег на икру, конечно же, нет — но конфет «Мечта» купили да и отправили Косте в армию…

Помню, хохотали полдня над одним случаем. С утра Веня поехал по своим делам в одну сторону, а я — в другую; вечером договорились встретиться. Где-то в середине дня я свои дела сделала, но замёрзла — ветрено, холодно было; дай-ка, думаю, зайду ещё раз в Пушкинский музей, взгляну на любимые картины и погреюсь заодно. Смотрю: идёт по противоположной стороне к музею чем-то неуловимо знакомый мужик. Всмотрелась внимательно: да это же мой Веня! — ему, видите ли, тоже захотелось ещё раз сбегать в Пушкинский! Сошлись вместе — а он и говорит:

— Ну, ведьма, от тебя и здесь не спрячешься!

И мы с ним как давай хохотать: в десятимиллионной Москве случайно сталкиваются нос к носу муж с женой, которые с утра разъехались в разные стороны!..

Потом ещё раз встречались случайно, уже на автобусной остановке… Ну не чудо ли? Правда, я к тому времени уже пришла к Богу, и мне было понятно, что это промысел Божий, который связывает нас с Веней вместе и следит за нами.

Ещё когда мы с Веней переехали в новую квартиру, к нам стали ходить в гости два его товарища: один, помоложе,— музыкант Виталий, а второй, постарше,— художник Леонид Аркадьевич, или, как его все звали, просто Аркадьич.

Когда они собирались втроём, то вели серьёзные разговоры о музыке, о живописи. Мне очень нравилось их слушать — это было так необычно, в своей среде я никогда таких разговоров не слышала и гордилась Веней: какие у него прекрасные друзья! — и с тех пор сама заинтересовалась этими вопросами, стала больше читать, смотреть серьёзные телепередачи.

Музыкант Виталий был очень сложным человеком. Аркадьич — тот попроще, и в то же время — человек необычайно интересный: затейник, фантазёр, умница, приятный в общении, с чувством

юмора,—так что вокруг него постоянно крутились молодые художники, артисты, музыканты—своего рода наша богема; они его обожали и просто липли к нему… Ещё меня поражало, каким он был мягким и внимательным: когда, например, приходил к нам—то сразу же звонил маме:
— Мамочка, я у Венечки,—Веню он всегда звал Венечкой.
Проходило два часа—снова звонит:
— Мамочка, я всё ещё у Венечки.
Потом:
— Мамочка, я уже иду домой…
Мне это ужасно нравилось—ничего подобного я больше никогда ни от кого не слышала.
И вот как-то в конце декабря он заявляет, что придёт к нам встречать Новый год. А раз он придёт—значит, явится и вся его компания, причём некоторые из них—с жёнами. Я забеспокоилась: мы же ещё никогда больших компаний не принимали, не успели обзавестись ни стульями, ни посудой; денег на угощение нет,—как будем их встречать? Новый год—это же на всю ночь!.. Но Веня меня успокоил:
— Ира, не расстраивайся: мы простые люди и давай будем вести себя по-простому—угощать тем, что есть, а сидеть… Есть у нас с тобой табуретки—положу между ними доски, и готово…
Так мы и сделали. Причём со всеми, кто собирался прийти, договорились, что они принесут с собой что-то из закусок. Сам Аркадьич должен был обеспечить компанию спиртным—в те времена со спиртным всегда были проблемы.
И вот—полдвенадцатого ночи, все в сборе, а его нет! Причём на улице пурга; мы боимся, что он заблудится и не найдёт наш дом и нашу квартиру… И тут звонок в дверь. Я как раз на кухне что-то делала; открыть дверь побежала моя племянница—я пригласила её, чтобы помогла угощать гостей.
— Кто вы такой?—слышу я её грозный вопрос в прихожей, и—какой-то бубнящий мужской голос в ответ.
— Светлана, кто там?—спрашиваю её из кухни.
— Не знаю!—кричит она мне.—Какое-то страшилище стоит—то ли Дед Мороз, то ли чо!..
Бегу, смотрю—а это наш Аркадьич в дверях стоит; высокий, весь, с ног до головы, в снегу; чёрная борода льдом покрылась. Я кидаюсь к нему:
— А мы вас уже заждались!..
Все, конечно, обрадовались: наконец-то спиртное прибыло!—и давай хохотать над тем, как Светлана чуть было не прогнала его с порога.
И пошло веселье… А у меня же—маленький ребёнок; я мечусь туда-сюда: мне его и накормить, и усыпить надо,—так что события той ночи помню плохо.
А компания собралась разнобойная; пили, шумели, веселились—да двое мужчин вдруг сцепились и давай драться. В общем, всё по-русски… А я в ужасе за голову хватаюсь: только этого мне ещё не хватало!
Драчунов, правда, быстро растащили, и тут Аркадьич говорит:
— Стоп! Ирочка, не расстраивайтесь, сейчас я всё улажу! Все сели!—скомандовал он, и когда все, как под гипнозом, дружно сели—объявляет:—Сейчас будем жечь чертей…
Он попросил у Вени цветную бумагу, ножницы, начал быстро-быстро вырезать из цветной бумаги чёртиков и цеплять их булавками гостям на одежду: кому на плечо, кому на спину, кому на подол. Все заинтересовались: что будет дальше?—потанцевали ещё немножко, уже с этими чертями, и он говорит:
— А теперь загадайте желания: кто что хотел бы сжечь в этом году?
Загадали; затем собрали всех чертей в кучу и подожгли. Это было что-то: черти горят, все кричат: «Ура-а!..» И я, заодно со всеми, вместе с чертями постаралась избавиться от своего негатива… Конечно же, этот Новый год остался для меня самым прекрасным в жизни.

Откуда взялся наш Леонид Аркадьевич? Родился он и всю жизнь прожил в нашем городе, причём из-за перенесённой в детстве болезни и осложнения на мозг у него часто бывали приступы психического расстройства: он совершенно не спал ночами и выглядел потом жутко измученным. Да, наверное, и сами сны, если он спал, были тяжёлыми, потому что у него было много очень мрачных рисунков: о Троянской войне, о злобе, о свирепости, об убийствах на войне… А с другой стороны, было и много рисунков на евангельские темы, на темы о святых; причём ведь всё это, заметьте, происходило в советское время, когда такие темы не приветствовались, и, конечно же, у него были проблемы как у художника… И чёртиков этих постоянно вырезал и дарил, и делал из латуни страшные маски—он работал художником в театре и оформлял с их помощью сказочные спектакли.
До знакомства с нами у него была жена-искусствовед, родом москвичка, но она не смогла с ним жить, вернулась вместе с дочкой на родину, в Москву, и он из-за своей болезни решил оставить их в покое—только наезжал к ним летом, и они снимали на лето дом в Подмосковье или путешествовали по Золотому кольцу,—а зимой жил с мамой здесь.
Он стал часто бывать у нас—от одиночества, наверное. И мы тоже к нему привязались. Правда, я поначалу побаивалась его: высокий, худой, длинное узкое лицо, огромный бледный лоб, чёрная, как смоль, борода, которую тогда редко кто носил, и чёрные же глазищи, которые будто пронизывают тебя насквозь… Потом, правда, привыкла; а Веня так его просто любил.
Но однажды между ними произошла размолвка—из-за меня, между прочим. Мы с сыном

должны были лететь утром к Вениному дяде в Пятигорск, а вечером перед этим Леонид Аркадьевич сидел у нас в гостях; почему-то ему очень захотелось проводить меня в аэропорт, и он спросил у мужа:
— Веня, можно, я тоже поеду проводить Иру?
— Конечно! Какой разговор? — тут же согласился Веня.

А я вдруг представила себе, как он со своей чёрной бородой и таким пронзительным взглядом, который люди не выдерживают — шарахаются, поедет меня провожать, да как на нас будут пялиться, и как мне это будет там мешать, — поэтому попросила Веню, чтобы он позвонил Леониду Аркадьевичу, извинился перед ним и сказал, что мы поедем в аэропорт без него. Веня позвонил и, казалось бы, очень по-доброму сказал ему это, но Леонид Аркадьевич так обиделся на него, что перестал у нас бывать. А когда Веня встретил его однажды на улице и спросил, почему он перестал бывать, — тот будто бы жутко взглянул на Веню, замахал руками и закричал:
— Уйди, уйди от меня, дьявол!..

Веня, конечно же, очень расстроился…

А через некоторое время после этого Леонид Аркадьевич умер от передозировки снотворного.

Похороны были пышными. Состоялись они в Доме художника, хотя Леонид Аркадьевич не был членом Союза художников, — просто все художники очень уважали его и отдавали ему должное.

Веня страшно переживал из-за размолвки с ним и из-за того ещё, что не успел с ним помириться, и ежегодно ездил к нему на кладбище, а когда могила его пришла в запустение — мама умерла, жена из Москвы не приезжала, — Веня сам приводил её в порядок: менял оградку, крест, регулярно подкрашивал их.

Потом он задумал издать книгу о Леониде Аркадьевиче. Собрал воспоминания о нём разных людей, подобрал к ней много цветных иллюстраций. Книга получилась толстая, красивая — и дорогая. Но где взять денег, чтобы её издать?

Он долго их искал; даже у брата просил. Но в конце концов областное министерство культуры выделило на неё деньги; книга вышла, и Веня наконец-то успокоился: выполнил свой долг перед своим любимым товарищем.

Когда он закончил оформлять краеведческий музей, то из СХТБ перешёл в конструкторское бюро оборонного завода, потому что ему дали тут ведущую категорию и хорошую зарплату — целых сто сорок рублей, а это по тем временам было о-го-го как много! Здесь он тоже занимался техническим дизайном, но работа была куда интересней, чем в СХТБ: и размах больше, и он сам мог выбирать себе работу. Но были и неожиданные задания.

Однажды приходит к нему в мастерскую сам директор завода и говорит:
— Вениамин Алексеевич, вы должны выполнить срочный заказ.
— Какой?
— На юбилей Брежнева поедет наш представитель от области. Нам поручено изготовить оригинальный подарок — надо срочно сделать проект…

И Веня за трое суток, не выходя из мастерской, этот проект сделал.

Завод выпускал электронику, и он придумал оригинальные электронные часы вместе с календарём и письменным прибором, причём на часах были портрет Брежнева во всех регалиях и гравированная поздравительная надпись. Веня представил проект; собрали инженеров, которые должны были эти часы сделать, согласовали, одобрили, запустили в производство, и Веню отпустили домой — отдохнуть немного, потому что потом он должен был снова прийти и проследить, чтобы всё было сделано точно.

Веня пришёл домой, отдыхает, и вдруг опять звонит директор:
— Вениамин Алексеевич, выручайте!..

Оказывается, пока они выполняли заказ, Брежневу дали ещё одну звезду, и их работа — насмарку: всё надо начинать сначала, а времени уже нет.

И Веня, так и не отдохнув, опять сидел там с инженерами: переделывали проект, прилепляли к портрету ещё одну звезду, надпись меняли… Зато уж когда часы наконец сделали, ему сразу дали отпуск, да ещё и премию размером в месячную зарплату. Конечно же, это было для нас такое счастье, такая радость!..

И таких радостей было много. Теперь мы с моей сестрой Галей рассуждаем так: несмотря на многие беды, вся наша жизнь была сплошной радостью; заселились в кооперативную квартиру — радовались, что у нас своё жильё, не надо мотаться по чужим углам; выплатили через пятнадцать лет кооператив — опять радость!..

В перестройку радости ещё прибавилось: мыла не было, а достанешь кусок — радуешься; цыплёнка купишь — радуешься. Или отстоишь полдня в очереди за сапогами, купишь их, а они малы, потому что нужные тебе размеры уже расхватали, — и всё равно радуешься… На Новый год хочется порадовать близких, вкусный салат сделать, а ни майонеза, ни зелёного горошка — и, стало быть, никакого новогоднего настроения! И вдруг достанешь где-то и баночку майонеза, и баночку горошка — представляете, какая радость: ур-ра-а, майонез достала! — потому что ведь не просто пошла и купила — а достала с величайшим трудом!

6. Сын

Вот сын Костя: маслом и пастелью написал уже, наверное, столько картин, что не поддаются исчислению; одних только персональных выставок сделал шестьдесят! И всё крутится и крутится — как белка

в колесе. Когда я ему говорю: «Давай, Костенька, посидим, поговорим?» — то он мне: «Ой, мама, некогда!» — но ведь я хотела бы сказать ему совсем немного, зато — главное: «Ты вот крутишься — а кто будет твоих детей воспитывать? Сама я, чтобы ты стал художником, знаешь сколько приложила усилий? Муж мой этого даже и знать не знал».

Как-то я перебирала свой архив: старые книжки, разрозненные записи, тетради, — наткнулась на детские Костины дневники и вспомнила, как учила сына писать их; Веня, пока я разбирала архив, как раз сидел и работал, и я ему говорю:

— Вот нашла Костин дневник. Хочешь, почитаю?

— Почитай, — соглашается он.

И я начала читать. А он слушал, слушал — да и говорит удивлённо:

— Смотри-ка! Ты, оказывается, много с ним занималась?..

А как же? Помню, идём с сыном в лес — рассматриваем с ним каждую травинку, и я — ему: «Смотри, какая травинка! Давай сочиним про неё сказку?.. Смотри, какое солнышко ласковое! Давай про солнышко?..» То есть, чтобы сын научился смотреть вокруг себя внимательно, с любовью, я ему это исподволь внушала с раннего детства. От этого и стихи у него пошли, и рисование...

Потом, уже взрослым, приехал, мы с ним о чём-то разговаривали и немного повздорили — и он мне заявляет:

— Мама, я сам себя сделал!

— Конечно, Костенька, сам, — соглашаюсь я.

Ведь главная-то цель воспитания — чтобы человек сам всё умел и был уверен в своих силах, и я старалась воспитать его именно так. Поэтому, когда он ещё учился в седьмом классе, я уже не расписывалась в его дневнике — даже не заглядывала туда, потому что знала: там только четвёрки и пятёрки. Но чтобы до этого дошло, надо было много потрудиться.

Я понимаю: у каждого человека — свои способности, и не все женщины могут быть педагогами. Но для того, чтобы они могли хоть как-то воспитать своих детей, я, когда по телевизору был прямой разговор с Путиным, дважды звонила им туда и поднимала вопрос о том, что будущие мамаши должны обязательно проходить педагогический минимум. У них же предродовой и послеродовой отпуск — пусть ходят на курсы, а то: «Дайте дадим материнский капитал — пусть рожают!» Ну родят, ну дадут им материнский капитал — а что из ребёнка вырастет? Неумеха? Чистый потребитель?.. Но никто на мои предложения так и не ответил — наверное, посчитали пустой блажью сибирской бабы...

Но ведь если женщина рожает — она должна ставить себе какие-то цели и добиваться их при воспитании ребёнка. Знаете, как Николай Рерих, учитель мой, говорил: «Для того чтобы лодка, пересекая реку, доплыла до цели, нужно грести выше цели». То же самое и с детьми: если родители просто одевают, кормят, развлекают ребёнка и не ставят никаких целей в воспитании — что с ним станет?

Мне повезло: моя мама имела всего три класса образования в глухой деревне — но она была прирождённым педагогом. Я уже рассказывала о том, как она в ограде при доме, уже в городе, устраивала кукольный театр, и мы, дети, в нём выступали. Это была такая радость! Откуда у мамы это? Думаю, просто был какой-то древний опыт и желание непременно развить своих детей и научить чему-то... Вот и я тоже, подражая маме, старалась развивать своего сына. Жаль только, мама не научила меня верить в Бога — нельзя тогда было учить, папа ей запрещал, поэтому я поздно спохватилась, и мне в моём возрасте трудно овладеть верой — это надо делать с детства. Поэтому и Косте не смогла вовремя передать веру — рос как все советские дети.

Так как я была в то время воспитателем, да ещё училась на воспитателя и прочла на эту тему много литературы, то, естественно, строила какие-то планы и на воспитание сына. Но у нас с мужем начались из-за этого ссоры: он хотел, чтобы Костя в пять лет уже читал, и стал требовать, чтобы я учила его азбуке, а мне хотелось отдать его в музыкальную школу — наверное, потому, что сама любила музыку. Но денег на пианино не было, и мы отдали сына на скрипку.

На музыку он ходил с удовольствием, а вот азбука в пять лет ему никак не давалась, так что у нас с Веней из-за этого дошло до ругани: я ему говорю, что если ребёнок не хочет — не надо его насиловать, а он упорно твердил: «Нет, надо!» Дошло до того, что у сына и с музыкальной школой разладилось. Веня стал упрекать меня, что во всём виновата я, и сам взялся водить его в музыкалку.

А там был преподаватель по скрипке, которого Костя любил, поэтому и с учёбой у него ладилось; но преподаватель этот закончил консерваторию и уехал; на его место пришла женщина, объявила, что тот преподаватель учил неправильно, и стала учить по-своему. А поскольку давно известно, что переучивать — куда труднее, чем учить, сын упрямился, переучивался тяжело, и преподавательница стала бить его скрипичным смычком по рукам. А я этого не знала.

И вот приходит Веня домой, начинает повторять с Костей задание и тоже бьёт его смычком по рукам. Я увидела это и в ужас пришла — я же знаю как воспитатель: бить детей нельзя!

— Ты что делаешь? Немедленно прекрати! — говорю возмущённо и чуть ли не грудью встаю между ним и сыном...

И началось!

— Что ты понимаешь в музыкальной учёбе? — кричал он на меня. — Испокон века так учат играть!..

А Костя от этих ссор, конечно, заболел.

Тогда я пошла к преподавательнице и сказала:
— Завтра придёт мой муж с сыном — так вы объясните ему, что у сына нет музыкальных способностей.
— А почему, Ирина Петровна?

Я подробно объяснила ситуацию и добавила:
— Не хочу, чтобы мой сын погиб. И на кого ляжет за это вина?
— Хорошо-хорошо, — согласилась она и в самом деле сказала это мужу, так что Веня наконец оставил ребёнка в покое.
— Ладно, — сказал он. — Тогда пусть хотя бы в школе на пятёрки учится.

Но я поняла, что хоть Веня по диплому и преподаватель рисования и черчения — но никаких педагогических способностей у него нет, поэтому решила: надо самой спасать сына, — и Вене твёрдо сказала:
— Давай с тобой сделаем так: больше ты к Константину не подходишь. Пятёрки у него или тройки — с ним буду заниматься только я!

Внял он моему решению, и мы с сыном договорились, что будем каждую четверть исправлять по одной тройке… Не сразу всё получалось, но я тихонько гнула свою линию: не ругала ни за двойку, ни за тройку, а говорила: «Ничего, что не получилось, — на следующей неделе получится…» Я вселяла в него уверенность, и Костя начал получать четвёрки и пятёрки, сначала понемногу, а уж к седьмому классу стал твёрдым четвёрочником. А потом и пятёрочником.

А ведь он ещё и в детской художественной школе к тому времени учился, и у него и там тоже были заметные успехи — явно папины способности передались. Но он, видимо, стал при этом выделяться в школе из окружающих детей, и у него начались с ними конфликты; Веня-то тоже ведь не особенно всегда с людьми ладил. Короче, Костю стали в школе бить; это было в седьмом классе. Мне он ничего не говорил, но у него был друг, Вова Куперман, — так он приходит однажды и говорит:
— Ирина Петровна, я должен вам кое-что сказать.
— А что случилось?
— Вашего Костю каждую перемену бьют под дыхало три парня.
— Из вашего класса, что ли?
— Нет, из другого.
— А за что?
— Не знаю. Невзлюбили его…

Приходит сын; спрашиваю:
— Костя, это правда, что тебя избивают?

Молчит.
— Ты что, — говорю, — хочешь в больницу попасть, в дебила превратиться? Ты что делаешь? Говори правду!
— Мам, это правда: бьют. Но ты не ходи, я сам за себя постою.

Ничего себе, думаю! А я была председателем родительского комитета школы. Немедленно иду туда, подхожу к классной руководительнице и говорю:
— Почему моего сына бьют? Кто его бьёт?
— Да есть тут один; Калган его зовут…

А я помнила этого пацанёнка ещё по детсаду — уже тогда отпетым был.

И тут я кое-что выяснила. Оказывается, этот Калган с Костей не поладили; тот договорился с двумя другими пацанами из своего двора, и они приходили каждую перемену и издевались над Костей — били кулаками под дых, причём все эти пацаны учились классом старше его. А он стоял и не защищался, не давал сдачи — он же Толстого начитался, непротивленцем стал!
— Да что вы, мамочка, расстраиваетесь? — говорит мне классная дама. — Они же пацаны — должны уметь и драться, и разбираться между собой.
— Нет, — говорю, — я не хочу, чтобы они сами разбирались, — хочу, чтобы вы с ними поговорили!
— Хорошо, поговорю…

Проходит некоторое время, и тут я не могу дождаться сына из школы.

Опять приходит его друг Вова и говорит:
— Там мальчишку какого-то били возле школы, целая ватага.

Я подумала, что это — Костю, раз его нет дома. Бегу туда как бешеная. Классной дамы нет. Иду к директору и всё ему рассказываю. Директор говорит:
— Да, я знаю этих пацанов.
— Раз знаете, — говорю, — давайте мне их адреса.
— Вы что, сами пойдёте?
— Да, пойду! Но сначала мне надо найти сына.

Директор вызвал учителей, какие были в школе, и те его нашли: оказывается, Костя знал, что пацаны его ждут, и боялся выйти — остался в кабинете физики ремонтировать кинопроектор… Дело в том, что один наш друг, который делал любительские фильмы, подарил Косте на четырнадцатилетие кинокамеру и проявочный аппарат, так что сын в них хорошо разбирался. Учитель физики уже знал, что Костю хотят бить, и сказал ему:
— Ты побудь здесь, пока у меня урок не кончится, а потом я тебя провожу.

И вот, когда я рассказала про всё это директору, он выдал мне адреса пацанов. Я отправляю Константина домой — а он мне:
— Мама, ты куда?
— Потом скажу…

Отправила его, а сама пошла к первому из них. Спрашиваю у соседей, которые возле подъезда во дворе стояли:
— Такой-то в этом подъезде живёт?
— Да, — отвечают мне. — Да вон он стоит, дылда такой! — и показывают на парня, который тут же, во дворе, около берёзы стоял.

Подхожу к нему и спрашиваю:
— За что ты бьёшь моего сына Костю?
— Да я… Да н-не я…
— Я не спрашиваю, бьёшь или не бьёшь,— я знаю, что бьёшь. Ты скажи мне: за что?
— Да Генка Калган сказал,— мнётся.
— А если Генка скажет тебе об эту берёзу лбом биться? Я вот тебя сейчас как возьму да шарахну об неё,— говорю,— так твои мозги тут и останутся!
— Ну, не буду больше,— говорит дылда.
Тут мать его выбегает:
— Как вы с моим сыном разговариваете?
— С вами,— говорю ей,— я вообще не разговариваю— нам с вами придётся в другом месте поговорить!.. Показывай, где живёт второй!— говорю дылде и называю вторую фамилию.
Пошли с ним искать второго. Приходим; звоню; открывает сестра.
— Дома такой-то?— спрашиваю.
— Дома. Опять что-то натворил?
— Да. Иди зови его!
Вышел ещё один дылда.
— За что бьёшь моего сына?— спрашиваю.
— Генка Калган сказал…
Ну, я и с этим точно так же объяснилась. Потом говорю этому, второму:
— Веди меня к третьему!
Привёл. Я говорю обоим:
— Давайте договоримся так! Если ещё раз тронете моего сына— я подам на всех вас заявление, и пусть милиция разбирается, но уже— с вашими родителями!
Прихожу домой, рассказываю про то, где была, Вене и Косте, и Костя мне заявляет:
— Мама, завтра я в школу не пойду— они меня снова отлупят.
— Никто тебя не отлупит— я их всех успокоила!
— Всё равно, мама, не пойду я больше в эту школу…
Ну что делать?.. Усугублять ничего не стала— навела справки, где ближайшая хорошая школа, иду к директору, объясняю ситуацию: так и так, мол, мальчишка нормальный, дисциплинированный, учится без троек, рисует, кино занимается, но вот толстовец выискался— не хочет сопротивляться хулиганам в школе; возьмите, пожалуйста, его в свою школу!..
Директор, смотрю, мнётся, ищет причину увильнуть:
— Да вы знаете, середина учебного года, классы укомплектованы.
— У меня муж художник,— говорю ему тогда.— Если надо оформить какой-то класс— он готов.
— О-о! Так бы сразу и сказали!— заговорил он совсем по-другому.
— Он всё сделает,— говорю.— Но только с одним условием: чтобы сын попал в самый лучший класс— где нет драк.
— У нас школа хорошая, обходимся без драк,— говорит он.— Ну ладно, пойдёмте в самый лучший,— и отводит меня к классной руководительнице, которую звали Ольгой Юльевной.
Я объясняю ей ситуацию с сыном, и, к моему удивлению, она меня быстро и хорошо понимает:
— Да, конечно, творческие дети— ранимые, к ним подход нужен. Хорошо, что вы мне это сказали. Постараюсь всё организовать…
Веня пошёл оформлять класс химии, а Костя поступил в новую школу.
И вот прихожу я на первое родительское собрание. Ольга Юльевна открывает классный журнал и начинает разговор: родительница такая-то пришла?
— Да,— отзывается женщина.
— Вы знаете, ваш сыночек с пятёрок съехал на четвёрки…
А у меня глаза на лоб: как, они обсуждают не драки, не дисциплину— а что сыночек съехал с пятёрок на четвёрки? Совсем другой уровень!.. Я так обрадовалась, что сын наконец-то попал в хороший класс и в хорошие руки.

Но ведь Константин и тут умудрился настроить всех против себя.
Мы с Ольгой Юльевной начали тесно контактировать, и она мне говорит:
— Вы знаете, он с девочками стал воевать.
— Как?— опешила я.— Мой сын— и воюет с девочками?
— Да. Мы с ним об этом уже беседовали. Помните повесть Толстого «Крейцерова соната»— про женское лукавство, про обман между мужчинами и женщинами? Константин начитался Толстого и теперь нападает на девочек. Что будем делать?
Я подумала-подумала и говорю:
— Ольга Юльевна, вот вы скоро поедете с классом в Алма-Ату— так я дам ему кинокамеру, и пусть он всё снимает, а потом фильм сделаем. Идёт?
— Идёт…
И вот они поехали в Алма-Ату, и он снял там фильм про поездку. Потом пришли к нам всем классом смотреть его— и хохотали до упаду. И она:
— Вот видите, какой творческий мальчишка! Но ведь у каждого есть свои недостатки. Давайте вместе работать над ними…
То есть— умничка, хороший педагог… И у нас пошло, пошло… Я его перевела в восьмой, в девятый, в десятый класс. Согласилась, чтобы двадцать третьего февраля к Косте пришли всем классом— это было уже в последнем, десятом классе,— лишь бы только у него с ребятами были нормальные отношения.
На день рождения к Косте тоже пришёл весь класс. И он так интересно придумал встречу, что потом все преподаватели спрашивали у меня:
— Что там за день рождения был у вашего сына? Ребята целую неделю только и говорили о ней!

— Да вот,— рассказываю,— нарисовал он очаг с дыркой для подарков и говорит ребятам: подарки бросайте в очаг! Перевернул диван, написал на нём: «Гроб»; в углу из чёрных ниток сплёл паутину; у нас есть чёрный стул — так из него сделал трон, себе перевязал один глаз, надел чёрный спортивный костюм — разбойником нарядился. Брата моего заставил сделать топорики; племянница моя напекла ему каких-то костей; окна одеялами завесил, Венины картины — чёрной бумагой…

У нас с мужем просто глаза на лоб полезли, когда увидели, что он готовит. Причём нас с Веней он попросил, чтобы мы где-нибудь задержались.

Чтобы не мешать, мы ушли к соседям наверх, а когда проходили мимо, слышим: у них там музыка Макаревича ревёт на полную мощность.

Часов в десять пришли: ему же ещё уроки надо делать, десятый класс всё-таки. Открываем дверь: вешалка в прихожей рухнула, грязные сапоги вместе с куртками в одной куче. Они всё-таки вина притащили, а пить ещё не умеют — смотрим: парень в прихожей валяется, ноги раскинул.

— Всё, Костя,— говорю сыну спокойно,— праздник пора закрывать. Нам спать надо, тебе — завтра в школу. Давайте, ребята, заканчивайте…

А Веня как увидел это всё — накинулся на сына, когда ребята ушли:

— Это что за безобразие? У тебя и в средней, и в художественной школе экзамены на носу, а ты — с каким-то днём рождения!..

Я говорю Вене тихонько:

— Успокойся; мы же с тобой договорились: Костя — на мне. Всё он успеет, и всё будет хорошо…

Кое-как уняла его, спустила на тормозах.

А через некоторое время девочки из его класса собрали между собой деньги, прибегают к нам и вручают мне вот такой букетище роз:

— Это вам за Константина!..

Не победа ли это? Представляете, как приятно это слышать?

Костя как-то был в летнем трудовом лагере от Союза художников; жили они там в палатках, трудились, рисовали, пели. Между прочим, он в то время увлёкся гитарой, и она у него там была.

На встречи с детьми в лагерь приглашали разных знаменитостей; в том числе выступал у них там и знаменитый артист Михаил Боярский, причём — именно в тот день, когда я приехала к Косте и привезла ему целую сумку гостинцев.

Пошли мы вместе с ним искупаться — жарко было! — а я смотрю: раздевается на пляже какой-то худющий, долговязый чернявый мужчина с совершенно незагорелой бледной кожей; присмотрелась к нему и шепчу сыну:

— По-моему, это Боярский?

— Мам, точно! — кричит Костя.

Срывается с места, прибегает затем с гитарой, подходит к Боярскому и просит:

— Подпишите, пожалуйста!

И Михаил расписывается на ней своим размашистым почерком. Костя был просто вне себя от счастья… Но это так, между прочим.

А когда мне уже пора было идти на электричку, смотрю — провожает меня вместе с сыном какой-то грустный мальчик. Спрашиваю:

— Что это за мальчик, Костенька?

— Это Андрюша. У него родители алкоголики, и никто к нему не приехал.

— В таком случае,— шепчу сыну,— отполовинь всё, что я привезла, и отдай ему.

— Хорошо, мама, отдам…

Так я познакомилась с Андреем.

Уже в городе, когда начался учебный год, раздаётся звонок в дверь. Я открываю — на пороге стоит этот самый Андрюша и спрашивает:

— Ирина Петровна, а Костя дома?

— Нет,— отвечаю.

— Можно, я у вас посижу?

— Пожалуйста. Проходи в его комнату.

А эта Костина комнатка была одновременно ещё и Вениной мастерской. Прибегает из школы сын; они пошушукались там, и Костя бежит ко мне:

— Мам, можно Андрею у нас переночевать?

— А что случилось?

— У него родители алкоголики. Они его из дома выгоняют.

— Боже мой! Конечно же, пусть остаётся!

А потом спросила у Андрея:

— Что у тебя с родителями?

И он рассказал:

— Они пьют. Я стал просить, чтобы они не пили. У меня есть ещё младший брат; так они его любят, потакают его капризам, а на меня давят: уходи, говорят, из квартиры. А там уже и так ничего не осталось — всё пропили…

Костя сходил туда «на разведку» и говорит:

— Мама, там в квартире — одни тараканы; у них даже свои дорожки есть.

— Ужас! — говорю я.— Ладно, пусть он у нас живёт.

И Андрюша около года жил у нас.

Но пока Костя был один, я с ним хорошо ладила, и было полное взаимопонимание, а когда появился Андрюша — они будто приросли друг к другу: то уйдут ночью с биноклем на звёзды смотреть, то зачем-то в Академгородок уедут… Мне рано утром бежать на работу, а я не могу его вечером дождаться, не сплю, переживаю. Стала запрещать сыну вечерние и ночные походы; начались ссоры, ругань.

А тут ещё Веня побывал в санатории, и у него там завелась новая любовь — стал регулярно ездить в Барнаул… И вот он уехал в очередную «командировку», а я тем временем решила капитальную уборку сделать: протирала полки, перебирала

книги,—и из одной книги вывалилась пачка писем. Я заглянула в них: что за письма, откуда?—и ужаснулась: батюшки мои, да это же—от его подруги!.. Ну, погуляли, поразвлекались—а домой-то зачем письма тащить? Выброси ты их!.. На меня всё это сразу навалилось: и то, что сын слушаться перестал, и эти письма… сижу, плачу и не знаю, что делать,—просто руки опускаются.

И тут—звонок в дверь. Я глаза вытерла, открыла, смотрю—Юра Жарковский, художник, товарищ Венин, стоит. Впустила. Он смотрит на меня:

— Ирина Петровна, что случилось? Почему у вас заплаканные глаза?

— Да так, неприятности,—хотела я отмахнуться я.

Но он сочувствием своим сумел вызвать меня на разговор, и я стала жаловаться ему:

— Живёт у меня Андрей, чужой мальчик, и я наконец поняла, что такое родной и что такое неродной сын: всё разное. Он меня не слушает, а выгнать его не могу. Да и бюджет наш семейный и так на грани нищеты, а мне приходится его не только кормить, а ещё и одевать, и обувать. И Костя перестал слушаться. Я просто в отчаянии—не знаю, что делать…

— А давайте,—предлагает он,—я их обоих в экспедицию возьму?

Этот Юра летом постоянно работал в Хакасии, в археологической экспедиции от Академии наук, и был человеком надёжным. Короче, он обоих взял в экспедицию, и вскоре же Костя начал писать мне оттуда восторженные письма: «Ой, мама, как тут здорово! Ларичев (это профессор, начальник экспедиции) нам рассказывает всё про курганы, звёзды показывает—у него подзорная труба есть! Я сплю в палатке со сгущёнкой…» А надо сказать, что эта сгущёнка была для него—как и для всех детей тогда—самым божественным лакомством. «А Андрюшка,—пишет он дальше,—загордился, перед девчонками выкобенивается; мы с ним поссорились…»

А Андрей пишет мне отдельное письмо: «Ирина Петровна, здесь всё плохо: комары заели, кочки кругом. Я запнулся об одну, ударил коленку—теперь она у меня болит. Я, наверное, вернусь…»

А я только-только отходить от всего этого начала—так устала. И не знаю: Господь, что ли, меня услышал и пожалел?—пришёл в ту экспедицию парень из армии, узнал про детали Андрюшиной жизни и предложил ему:

— Поехали со мной на Украину? Там закончишь десять классов…

И Андрей пишет мне следующее письмо: «Ирина Петровна, вы отпустите меня на Украину?..» Да почему же мне его не отпустить-то с хорошим человеком? Я даже обрадовалась, что всё так здорово разрешилось.

Андрюшка и в самом деле уехал на Украину, там закончил десять классов; потом его взяли в армию. Из армии он приехал к нам и преподнёс мне букет цветов… Конечно же, это был знак благодарности за то, что люди помогли ему в трудную минуту, и он научился благодарить их за это…

После Андрюшки жил у нас ещё один паренёк, Федя. Я знала его родителей, но что-то у них с сыном разладилось: они его пилили, а он их не слушался.

Федя видел, как я по-хорошему отнеслась к Андрюшке, и когда Андрюша уехал, этот Феденька приходит к нам с Костей и говорит:

— Тётя Ира, можно, я у вас буду жить?

А Костя уже в последнем классе учился. Но я даже не спросила Феденьку: что случилось?—просто почувствовала, что у него неладно в душе, взяла его, и он тоже жил у нас почти год.

Потом он мне признавался:

— Меня родители так ругали, что я не знал, куда деться. Забрался на крышу, хотел спрыгнуть, и когда стоял там, посмотрел в последний раз на небо—и увидел самолёт. А у меня мечта—стать лётчиком. И я подумал: зачем же я буду с собой кончать?—я ещё буду летать!.. Начал спускаться, а ноги дрожат, не слушаются—не могу идти. Спустился и думаю: а куда же я пойду? К родителям—ни за что!.. И решил: пойду к Косте. Спасибо, что вы меня взяли…

И Костя стал с ним дружить.

А потом и Феденька этот, когда десять классов закончил, тоже притащил мне огромный букет. Разве это не приятно?.. До сих пор звонит. Вот недавно, когда узнал, что у Вени выставка, приехал на выставку, поздравил, потом довёз нас с Веней до дома в своей машине и меня чуть ли не на руках до крыльца донёс. Одним словом, добро возвращается… Всегда.

Но почему я ещё брала к себе ребят? Я стала замечать за сыном, что как я ни бьюсь—он растёт у меня эгоистиком: он же один в семье, и всё—для него. Когда я это поняла—думаю: «Ой-ой-ой, тяжеловато мне с ним будет!» Веня—эгоист, и сын эгоистом растёт…

Конечно, это было очень тяжело: и со своими воевать, и чужих деток, чей-то тяжкий грех воспитания, брать на себя и перевоспитывать.

Правда, я иногда спасалась больницей. Я ведь постоянно болела. Лягу в больницу на двадцать один день—меня там колют, кормят; не надо ни убирать, ни стирать, ни варить—только сплю, сплю и сплю; а отосплюсь—читаю, вяжу, разговариваю с сестричками, которые ухаживают за мной; мои-то дома в упор слушать меня не хотят—я бы им только всё делала и молчала,—а там мой разговор всем нравится!

Я же ещё в шахматы люблю играть, и в больнице тоже играла. Женщины не играют, и когда я садилась с мужчинами—вокруг нас собирались

целые толпы и «болели» за меня, особенно если я выигрывала: «Во даёт женщина! Вот молодец!»—а мне приятно, когда комплименты говорят…

Сложно, конечно, было сыну в такой домашней обстановке. И всё же я чувствовала: он повзрослел и окреп душевно; к концу десятого класса, как мы с ним и планировали, он начал наконец-то учиться почти на одни пятёрки.

Меня снова, как и в старой школе, избрали председателем родительского комитета, и когда мы с другими родительницами собирались, чтобы организовать питание класса—раньше питание в классе сами родители организовывали,—то заодно обменивались своими заботами. И одна говорит:

— Не знаю, что делать: не могу заставить сына готовиться к экзаменам.

— Мой—тоже: на пляже без конца загорает,—говорит другая.

Я молчу.

— Ирина Петровна, а как ваш сын?—спрашивают меня.

— А у моего,—говорю,—скоро горб вырастет: всё работает и работает.

То есть я научила его работать над собой. Но ведь это—терпение адское, и сколько слёз пролито—не счесть. И над тем, чтобы Веня состоялся как художник, тоже слёз было пролито немало: ведь он может взорваться мгновенно, уйти и хлопнуть дверью, да так, что штукатурка сыплется, и это всё—через мои слёзы…

Потом мне же пришлось и выпускной вечер Костиного класса готовить.

Я все библиотеки облазила, просмотрела массу литературы и составила, по-моему, интересный сценарий (в жизни мне много их писать пришлось): всё сочинила в стихах, включила разные шутки-прибаутки; мы с Костей склеили из бумаги корабль с алыми парусами, и потом, когда все танцевали, эти паруса шуршали над всеми и развевались, как от ветра.

После того вечера меня пригласила к себе директриса и спрашивает:

— Ирина Петровна, у вас ещё дети есть?

— Нет,—говорю.

— Как,—говорит,—жалко нам с вами расставаться!..

Разве и это не приятно слышать?

Кстати, что касается сына, то, когда он съездил в археологическую экспедицию, с ним произошло, как он сам говорил, чудо:

— Мама, во мне как будто открылось что-то; я почувствовал природу, стал писать и вижу: у меня получается!..

А я-то считаю, что чудо произошло с ним от всего того, что на него навалилось в эти годы: и оттого, что близко видел несчастных детей, дружил с ними и сам помогал им, и оттого, что у него складывались сложные отношения с классом, и оттого, что впервые в жизни целое лето жил в экспедиции, без родителей, общался там со взрослыми интересными людьми, которые занимаются наукой, и оттого, что увидел и почувствовал прекрасную природу и сумел войти в контакт с ней со своим творчеством, и оттого, что, когда навалилось на него всё это вместе, он как будто проснулся от детского сна и начал быстро взрослеть. И живопись у него от этого стала получаться. И когда он вернулся из экспедиции и показал свои этюды, Веня сказал ему:

— Запомни, Константин: ты никогда больше не сможешь повторить так, как ты это написал.

Сын, конечно же, обиделся:

— Почему это не смогу?

— А вот потому, что ты поймал на бумаге тот единственный миг в природе, который никогда не повторяется…

А Костя и в самом деле так сумел изобразить природу, что в его этюдах была такая чистота, такая лёгкость!..

Эти работы он потом отнёс в класс; из них там сделали большую выставку, и учителя приводили туда экскурсии, показывали их и гордились ими.

А я стала спокойнее за сына: я же чувствовала, как он на глазах взрослеет и как-то понемногу определяется его дальнейшая судьба.

7. Моя работа

Вот какой главный вывод сделала я из своей жизни: несмотря на все трудности, какие выпали на мою долю, они были мне нужны и полезны. Вопрос: почему?

Я, к примеру, с детства мечтала работать в детском саду, любила свою работу, педучилище закончила—но вот заступилась там за одну воспитательницу, Дарью Павловну, а остальные промолчали. Хотя и знала, что если заступлюсь—меня могут уволить.

Эта воспитательница нравилась мне тем, что хорошо учила детей. Но характер она имела сложный, и из-за этого её не любили и тихонько съедали.

Сначала я тоже отнеслась к ней настороженно, но потом она стала мне нравиться, и я решила за неё заступиться.

А не нравилась она мне тем, что была страшно въедливой. Когда Веня уехал и оставил меня одну, то я никак не успевала делать всё и дома, и на работе, и в учёбе. У сына в то время был всего один костюмчик, и мне надо было каждый вечер стирать его, сушить и гладить, и когда я не успевала, то думала про себя: ладно, пускай ещё раз в таком сходит,—а она мне обязательно из-за этого делала замечание. И по другим поводам сталкивались.

В детсаду, например, есть такой предмет, как рисование красками, и при рисовании ими надо

приучить ребёнка, прежде чем макать кисточку в краску, ополоснуть её в воде и вытереть сухой тряпочкой, а эти тряпочки потом стирать. Я поручала стирать их дежурным деткам, потому что воспитателю и так времени не хватает, тем более что когда нет нянечки, ты сама должна и раскладушки застелить, и потом убрать их, и обедом детей накормить, и посуду вымыть,—и ты не успеваешь. А тут ещё Дарья Павловна начинает делать мне замечания, что я не простирываю тряпочки,—так что это тоже мне не понравилось.

Не нравилось мне также, что она делала замечания детям в резкой форме. Первое время я даже плакала из-за неё. А потом поприсутствовала на её открытом занятии, и оно мне понравилось, так что в свободное время я даже стала ходить на её занятия, чтобы поучиться, тем более когда узнала, что она перед занятиями ходит в библиотеку и готовится к каждому занятию, хотя у самой двое детей, а мужа нет. Но, опять же, когда я попросила позаимствовать у неё методику занятий, она меня резко одёрнула:

— Ирина Петровна, работайте сами!..

И всё же её занятия нравились мне всё больше и больше: они были интересными, и каждое из них давало детям очень много. То есть педагогом она была прекрасным, а вот воспитателем—никудышным.

Но однажды она выступила против нашей заведующей, потому что та хитрила с деньгами. Раньше родители в группе отдавали деньги за детский садик воспитателю, то есть мне, а так как времени у меня мало, я просто записывала в тетрадке: такая-то родительница отдала столько-то, такая—столько-то,—в перерыве списочек с деньгами отдавала заведующей, и через какое-то время заведующая должна была отдать мне квитанции. Однажды смотрю: одну квитанцию она мне не додала. Я бегу к заведующей:

— Вы мне недодали квитанцию такой-то родительницы.

— А вы мне денег не давали,—заявляет она.

— Как это не давала?—опешила я.

А та упёрлась на своём, и я так ни с чем и ушла.

Тогда я стала писать копии списков и в следующий раз поймала её на обмане. Рассказала об этом другими воспитателям, и тут оказалось, что у них примерно раз в три месяца случается то же самое… И пошло: шу-шу-шу. А Дарья Павловна, которая мне понравилась, не шу-шу-шу, а взяла и выдала в глаза заведующей, что та—обманщица. Той, естественно, не понравилось, и она стала по любому поводу придираться к Дарье Павловне, чтобы уволить. Мы, все остальные воспитатели, решили дружно за неё заступиться; но получилось так, что выступила в защиту её одна я, а никто больше не выступает: струсили.

Так заведующая начала копать ещё и под меня. Я только что закончила педучилище, у меня полно планов, дети меня любят, родители—тоже. А она подсунула мне методистку, которая стала настраивать против меня всех остальных: то я на пять минут затянула занятие, то не то слово у меня вылетело, когда я сказку рассказывала, потому что, видите ли, надо не своими словами—а один к одному, как в книжке написано. Заведующая стала ко мне придираться, сняла меня с подготовительной группы и поставила подменным воспитателем—работать с совершенно чужими детьми, за тех воспитательниц, кто в отпуск уходит. Я пошла к юристу завода, потому что детский садик—заводской, и юрист мне говорит:

— Ирина Петровна, вы, конечно, боритесь, но я сделать ничего не могу: заведующая—начальник, и ей виднее, кого куда поставить…

За меня стали заступаться родители, чьих детей я вела в подготовительной группе: собрали собрание, пригласили туда представителя профкома и начали выступать:

— Мы Ирине Петровне отдаём детей как родной матери и можем при этом спокойно работать! Разве это плохо?..

А представитель профкома встаёт на защиту заведующей:

— Очень приятно, что вы все об Ирине Петровне так хорошо отзываетесь, но заведующая имеет право переставить её на другое место. Ирина Петровна только что закончила училище, а у неё—подготовительная группа; дети должны быть хорошо подготовлены к школе, и заведующая решила поставить туда опытную воспитательницу, которая работает много лет…

И родители так и не смогли меня отстоять—после собрания подошли ко мне и говорят: она вас всё равно съест…

Конечно, мне было обидно: я занималась любимой работой, любила свою группу и каждого ребёнка в ней, и они меня любили,—почему я должна уходить?.. Но я подчинилась, пошла подменным воспитателем. И получалось так, что если раньше меня любила одна группа, то теперь, когда я работала в разных,—меня полюбили родители всего детского сада. Как только я вывожу очередную группу на прогулку, все дети бегут ко мне—потому что я же с ними и на прогулке занимаюсь: играю, пою, разговариваю, сценки разыгрываю, а другие воспитательницы соберутся в кружок и—свои проблемы обсуждать! А когда видели, как я с детьми работаю,—крутят пальцем у виска и говорят мне:

— Тебе что, больше всех надо? Эти дети и родителям-то не нужны!..

Но заведующая стала меня и тут есть.

А Дарье Павловне так подстроила—будто бы она там кого-то толкнула или ударила, что её прямо

с работы увезли в сумасшедший дом. Меня в тот день на работе не было, так мама Дарьи — она знала, что я её защищаю, — прибежала ко мне и сказала, что её увезли в «психушку».

— Как? — не поверила я своим ушам.

— Да, я у неё там уже была…

На следующий день я разобралась, что произошло на самом деле. Оказывается, Дарью Павловну спровоцировали: одна нянька пристала к ней и, зная, что её третирует начальница, грубо её толкнула, а Дарья Павловна в ответ толкнула её. Тут же вызвали санитаров, и её в самом деле увезли в сумасшедший дом.

Я тогда — опять к юристу. Рассказала всё, а та лишь руками разводит. Я — к директору завода прорвалась: так и так, мол, увезли без всяких серьёзных причин; двое её детей остались с бабушкой… Он звонит профоргу завода:

— Это что за безобразие? Воспитателя из нашего детсадика увозят в сумасшедший дом, а я ничего не знаю! Разберитесь немедленно!.. — а потом обращается ко мне: — Её матери мы, конечно же, помощь окажем. Но ещё знаю и то, что одного из нашей котельной тоже недавно в сумасшедший дом увезли — наверное, есть же на то причины? Как это вы говорите, что — без причин? В таком случае вас самоё проверить надо… — в общем, что-то вроде этого.

Я, естественно, перепугалась: думаю, вызовут сейчас машину и меня тоже заберут, — и говорю:

— Ладно, я вам всё сказала, — и быстренько удалилась.

А Дарьиной матери и в самом деле на следующее же утро принесли в конверте деньги. И на этом успокоились.

Думаю: что же делать-то, как Дарье помочь? Пошла к редактору областной газеты, рассказала ему всё. Он пообещал разобраться и пригласить меня снова.

Через некоторое время и в самом деле пригласил; я пришла. На столе у него лежит толстая книга по психиатрии; и он рассказывает мне, что был в нашем детсаду, разбирался и с психиатром разговаривал. Затем открывает книгу, показывает мне картинки и говорит:

— Ваша знакомая агрессивно машет руками — вот, смотрите: аналогичный случай ненормального поведения. Ваша знакомая брезговала питаться в детском саду, ела только дома — тут тоже описан аналогичный случай… Так что любое поведение психиатры могут истолковать как ненормальное. Поэтому, Ирина Петровна, я ничем не могу помочь: мы с вами ничего им не докажем.

И я ушла не солоно хлебавши. А сама думаю: нет, я всё равно докажу свою правоту! Записалась на приём к главному психиатру города. Принимает он раз в неделю. Прихожу к назначенному времени; а его нет — на совещании. Второй раз прихожу — опять нет. В то же время там огромная очередь собралась; люди возмущаются.

— Мы, — говорят, — уже по три недели ходим.

Я им тогда:

— А давайте напишем жалобу?

Как словом, так и делом: тут же садимся писать главе города о том, что ходим по три недели, а его всё нет. Тут секретутка выскакивает к нам:

— Сейчас, сейчас он придёт, совещание закончилось!

И точно: бежит бегом. А я смотрю на него: ба! — да он же из нашего дома, сосед из первого подъезда! Я захожу к нему:

— Здравствуйте. Вы меня не помните?

— Вижу вас в первый раз, — говорит.

— Нет, — говорю, — не в первый: мы на собрании жильцов дома вместе были — мы живём в одном доме, — и называю номера квартир, своей и его.

— Так что вы хотите? Какой вопрос? — спрашивает, уже спокойней.

Рассказала. Он вызывает секретутку:

— Садись, печатай.

И начинает диктовать ей: такую-то гражданку «в трёхдневный срок перевести из одной больницы в другую». Подписал письмо, подаёт мне и говорит:

— Несите в больницу и отдайте главному психиатру в руки. Никому больше не отдавайте. А взамен отдайте заявление, которое вы тут сочинили.

Отдаю заявление, беру письмо, тут же еду к Дарьиной маме, и уже вместе с ней — в больницу. Приезжаем; секретарь нас к главному психиатру больницы не пускает:

— Давайте ваше письмо.

— Нет, — говорю, — велено только лично в руки главному психиатру.

Смотрю: звонит куда-то; появляются два санитара в белых халатах. Я испугалась; но уж раз взялась, думаю, надо доводить до конца. Захожу вместе с санитарами в кабинет. Кабинет — огромный; ковры, стол, уставленный телефонами.

— Вот, — подаю главному психиатру письмо, — велено лично вам в руки.

— Кто велел?

— Главный психиатр города.

Развернул письмо, прочитал и спрашивает:

— А почему вы именно к нему пошли?

— Потому что никто больше разобраться не хочет.

— Вы что, считаете, что наша больница из-за каких-то производственных конфликтов может задержать человека? А самих вас можно проверить?

— Ой, извините, — лепечу от страха, — я что-то не то сказала? Я вам только письмо передала — и пойду.

А сама оглядываюсь на санитаров, и у меня ноги подкашиваются: если бы, думаю, пришла без Дарьиной мамы, то уж точно бы повязали, а там доказывай, что не буйная… Не помню, как мы с ней выбрались оттуда, взяли такси, едем и всё оглядываемся: не гонятся ли за нами?..

А Дарью через три дня после этого из больницы выписывают, только с диагнозом «шизофрения»… Она подавала в суд, чтобы с неё этот диагноз сняли. Судебная волокита тянулась долго. Наконец назначили судебное заседание. А Алина Васильевна, которая сыграла большую роль в моей жизни, тоже держала Дарьины дела на контроле; она же сама была юристом и имела хорошие знакомства среди них. Она навела справки по поводу Дарьи и звонит мне:
— Ира, скажи Дарье, чтобы завтра на суд не приходила.
— Почему?—спрашиваю в полном недоумении.
— Я узнала по своим каналам, что решением суда её сделают недееспособной и опять упекут в психушку, а детям её назначат опекуна.

Я—к Дарье. Поехали с ней к Алине Васильевне, и та убедила её самоё, что ходить на суд не надо:
— Черновик решения уже есть. Но если вы не придёте, то никакого судебного решения не будет, и со своим диагнозом вы будете жить дома.

Дарья Павловна послушалась, в самом деле никуда не пошла и всю жизнь потом прожила дома с диагнозом «шизофрения».

Однако, опять же, не бывает худа без добра—за это время она приспособилась работать уличным букинистом. Подержанные книги горожане сдавали в макулатуру, а она, с её университетским-то образованием, хорошо знала, какие из них—ходовые, выкупала их за копейки у приёмщиков и перепродавала на улице. А так как жила она скромно, то на эти деньги сумела дать обеим своим девочкам высшее образование, причём обе закончили университет с красными дипломами. Ну какая же она после всего этого дура?

Правда, через некоторое время к ней пришла бумага, чтобы снова её освидетельствовать,—типа, хорошо устроилась… Дарья попросила меня, чтобы я снова спросила совета у Алины Васильевны, и та ей посоветовала:
— Пусть придёт туда и наговорит на себя: скажет, например, что хочет такого-то человека укусить,— и ей продлят справку.

Дарья пришла туда и сказала:
— Я сама за себя боюсь: мне так и хочется кого-нибудь укусить…

И ей снова продлили справку, так что она до сих пор благополучно здравствует. Мы с ней и сейчас дружим—с ней легко и просто: интеллигентная такая старушка, умничка большая… На пенсии она переключилась с букинистики на хохлому, и ей это так понравилось, что она до сих пор стоит возле зоопарка и продает её, хотя ей уже далеко за восемьдесят…

А меня—за то, что заступилась за неё,—заведующая стала буквально есть поедом. Тогда я написала письмо про наш детский садик в Москву, в министерство просвещения, и в нём перечислила все случаи нарушений. Моё письмо переслали в местное министерство, и из него к нам в детсадик прислали человека: разберитесь. Человек этот приехал, побеседовал с воспитательницами, и все перечисленные мной в письме нарушения они подтвердили.

Тогда меня приглашают в областное министерство, заводят в большой кабинет; в нём сидят несколько девиц и тут же—их начальник.

Смотрю: перед ним на столе лежит моё письмо, почти всё подчёркнутое красными чернилами. И этот начальник мне говорит:
— Да, факты, про которые вы сообщаете, подтвердились. Как вы думаете: что нам делать с вашей заведующей?..

В это время в кабинет заходит ещё одна девица и говорит:
— Ой, девчонки, а у меня сегодня день рождения!— угощает всех конфетами из коробки.—И вас угощаю!—подносит мне коробку.

Я вся в напряжении: надо решить вопрос с заведующей, а я им вроде как мешаю своими делами заниматься, и они мне эти конфеты суют.

Я всё-таки насмелилась—говорю начальнику:
— Что хотите с ней делайте, но она не на своём месте: она развалила всю работу педколлектива…

Потом пришла домой—и хохочу: надо бы, думаю, ещё в «Крокодил» написать—как я разговаривала с начальником вприкуску с конфетами.

После моего письма в Москву нашу заведующую никто, конечно же, не уволил, и она на меня совсем обозлилась. Но с помощью педагогических манипуляций съесть меня она никак не могла: дети меня любят, родители за меня горой стоят. Но я частенько болела. Нянечек нет; надо самой таскать вёдрами суп для детей, а мне больше трёх килограммов поднимать нельзя. Заведующая как-то добыла в поликлинике справку о моих болезнях, написала докладную о том, что я не могу работать в садике, и отнесла в отдел кадров. И вот сам начальник отдела кадров огромного завода звонит мне вечером домой:
— Ирина Петровна, зайдите завтра ко мне.

Ничего себе, думаю! Утром прихожу к нему.
— Вот,—говорит он,—у меня в руках справка, что вы не можете работать в садике…

А у меня и руки опустились: заведующая довела Дарью до справки о шизофрении—теперь, значит, моя очередь? Но за меня заступиться уже некому; причём я знаю, что если устроюсь в другой садик, она меня и там достанет.

А родители моих деток, когда услышали про это, говорят мне:
— Ирина Петровна, лучше уходите оттуда, потому что она вам ещё какую-нибудь пакость придумает. Мы вам найдём работу—только поберегите себя!..

И они в самом деле нашли мне другую работу; дело в том, что садик — заводской, и все родительницы работали на нашем же заводе.

Они нашли мне работу дежурной в химическом цехе: я должна была следить, чтобы на полу не было разлитой кислоты, серной и азотной, вовремя засыпать её содой и потом смывать водой из шланга. Я надевала специальный комбинезон, резиновые перчатки, противогаз и заходила туда, а мой напарник, пока я там работала, включал вентиляцию и следил из-за стеклянной перегородки, чтобы я не потеряла сознание. А когда я выходила оттуда и снимала спецодежду, то чулки мои были сплошь в дырах — так их разъедала кислота. Спрашивается: что творилось при этом в моём организме?

Но работа была удобна тем, что я сутки работала и двое — отдыхала. Благодаря этому я смогла больше времени посвящать дому и сыну и сумела развить у него все его способности; мы с ним в лес стали ходить, на симфонические концерты, стихи слагать, играть в шахматы. Я следила за его здоровьем, вкусно кормила, и они оба с мужем перестали у меня болеть — это же так прекрасно!

То есть, хочу я сказать, не бывает худа без добра. А если бы я перешла в другой садик, эта заведующая меня бы и там достала — а я смирилась с судьбой и ещё десять лет спокойно проработала на заводе дежурной.

Потом, правда, заболела и перенесла серьёзную операцию: сказалась и работа в химцехе, и ранняя моя работа на напайке со свинцовой пастой.

После операции пришлось уволиться, и год я вообще нигде не работала. Кормил меня и заботился обо мне весь этот год Веня, и я, грешным делом, подумала тогда: как хорошо, что судьба удержала меня, не дала разойтись с ним — кто бы меня тогда кормил и ухаживал за мной, когда болею, если бы осталась одна? — а теперь у меня есть муж, и он обо мне заботится. А это так приятно!..

Потом Костя привёз нам своих сыновей, Рому с Витей, и опять радость: вот он, детский сад-то — у меня дома! То есть я поняла, что надо не пороть в жизни горячку — а смирять себя и благодарить судьбу за то, что с нами происходит.

Через год, когда я поправилась, меня снова взяли на завод, только уже — оператором главного диспетчерского пульта цеха.

На моём рабочем столе стояло теперь сорок телефонов, и звонили мне из семи корпусов: где-то электричество пропало, где-то вода потекла, — и я сама давала распоряжения и слесарям, и электрикам. Вечером ко мне стекалась вся оперативная информация; я подводила итоги и передавала их по телефону главному диспетчеру завода; утром он нёс её заместителю директора, а уже тот докладывал директору.

Конечно же, это была ответственная работа: во-первых, надо досконально знать обстановку и всех до единого людей на своём участке, а во-вторых, во время смены меня никем невозможно было подменить. Но при этом я стала уважаемым человеком на заводе! Со мной теперь здоровались чуть ли не с поклонами. Я поняла, как нужна на своём месте, и, наверное, впервые в жизни прониклась уважением к самой себе.

В цехе работало много женщин. Кому-то из них надо в поликлинику, кому-то к зубному, кому-то с больным ребёнком посидеть — все идут ко мне:
— Ирина Петровна, дайте отгул!
— Бери, — говорю. — Только напиши причину, почему ушла, — и отпускала, но — если только была подмена; а уж между собой они договаривались сами.
— Какая вы хорошая — никто нас так не понимал! — благодарили они меня.

И до сих пор добром поминают, хотя уже столько лет не работаю... Помню, однажды выхожу из отпуска, смотрю: идёт навстречу пожилой мужчина (ему, знаю, уже лет семьдесят было, а я-то ещё молодая — всего каких-то пятьдесят четыре!), — увидел меня, развёл руки в стороны:
— Ой, Ирина Петровна, как долго вас не было! — обнял меня, расцеловал. — Миленькая вы наша, как мы по вас соскучились!..

Так это же дорогого стоит, когда тебя вот так любят...

Видно, у каждого человека приходит время «собирать камни». У меня оно пришло, когда я вышла на пенсию. Веня как раз был далеко от дома, на заработках, с Эдуардом я рассталась, жила одна; не надо было ни на кого готовить — сварю кастрюльку каши и ем несколько дней. И я стала собирать и перечитывать свои старые дневники и писать новые.

Я писала их много лет, особенно когда в душе накапливалась обида или боль, а рассказать некому; очень хотелось также понять свою жизнь; но времени хватало лишь на то, чтобы кое-как записать свои мысли на потом. Иной раз, чтобы освободить душу, даже вскакивала среди ночи, причём писала на бумажках, какие попадались под руку, и таких бумажек у меня — миллион, а места, куда их складывать, не было, так что Веня меня ругал: «Ира, как мне эти твои бумажки надоели: куда ни глянешь — везде валяются!..»

Наконец я собрала их вместе, разложила по порядку и теперь перечитываю их, размышляю над ними, делаю выводы, сопоставляю с евангельскими заповедями; это тоже мой путь к Богу. Но этот путь у меня, как я уже говорила, негладкий — вызывает много вопросов.

Вот, пожалуйста: почему врага надо любить? Я поняла это только через много лет: ведь враг сам по себе несёт отрицательную энергию; да если ты

его ещё возненавидишь — отрицательная энергия удвоится; соответственно, зла в мире станет в два раза больше.

Для себя я называю этот закон правилом бумеранга: если ты совершил зло — оно к тебе же и вернётся, — и точно так же — добро: когда я делаю его людям — сколько его мне через какое-то время возвращается! Причём — нежданно-негаданно, когда и не ждёшь.

А если кто-то обо мне плохо подумает или скажет, думаю я, значит, я заслужила, и мне надо стараться быть в чём-то лучше…

Да если хорошо подумать, то и негатив оборачивается благом.

Есть, например, у меня одна подружка; раньше она ужасно плохо себя вела — наглая была, хамила мне; я с ней ругалась из-за этого и всё сделала, чтобы она поверила в Бога. Теперь верит, в библиотеку ходит, и мы прекрасно ладим. Значит, получается так: что бы ни делалось — всё к лучшему?.. То есть я всему нахожу оправдание.

Но, конечно же, самое большое моё достижение — то, что я уверовала. Насколько легче мне стало жить! Теперь моя главная задача — как бы всех моих ближних привести туда.

6. Внуки

Раньше я даже представить себе не могла, что у меня будет много внуков. Знаю, как трудно воспитать одного ребёнка, а тут столько!

Конечно, я никогда не говорила сыну: ой-ой-ой, что вы делаете? — а про себя всё же так думала, потому что если бы я хоть рядом была, то как-то бы помогала, — а получается, что бываю я редко, и когда хочу реально помочь, Косте кажется, что я делаю всё не так — непременно хочет воспитывать их сам…

Я уж молчу о том, что у меня опыта побольше, чем у него: столько детей воспитала в детсаду! И самого его воспитала — и хороший ведь получился парень. Рассказываю ему только, что когда-то тоже не понимала свою маму, а теперь точно так же он меня не понимает — удивительно, как всё возвращается на круги своя!.. Но мне же не хочется, чтобы он прошёл тот же путь, что и я, — а он, вижу, наступает на те же грабли, и они ему набивают те же шишки.

Хочу, чтобы и он поверил в Бога, и детей своих привёл к Нему — ведь это так просто: вот они, христианские заповеди, и их не так уж много — возьми их за правило и живи, и увидишь, как всем вам будет легче. Он, конечно, тоже идущий, и идти ему ещё о-ох как далеко! Но начинаю заводить с ним об этом разговор — отмахивается: «Мама, отстань, мне сейчас не до этого».

Моя боль сейчас — это Рома, старший внук. Когда родители разводились, он подростком был; школу, правда, закончил, но учиться дальше не стал. Взяли в армию; после армии быстро женился. Теперь и отец, и дед клюют его, попрекают без конца: «Неуч! Институт не мог закончить!..» — «Да разве это главное? — говорю я им. — Главное, что он хороший, добрый человек…»

Я верила в то, что он не пустой парень, но вот не стал учиться — и всё тут. Как только пришёл из армии и женился — всё копался и копался себе в сарае, городил что-то из дерева, и никто не знал, что он там делает, — а теперь посмотрите, какие прекрасные вещи на художественную выставку принёс: все ахнули!

Мы часто с ним разговариваем по душам; и я ему говорю:

— Надо, Рома, в Бога верить.

А он мне:

— Баба, я верю в природу.

— Верь на здоровье, — говорю, — но всё-таки над природой-то — Бог.

— Баба, я этого не понимаю.

— Я вижу, что не понимаешь, — говорю ему. — И я раньше не понимала. Но вот я — бабушка; ты меня любишь, — а Рома, между прочим, постоянно мне говорит: «Баба, я тебя люблю, ты одна меня понимаешь». — Но ты, — говорю, — поверь мне, что Бог есть. Может, ты ещё не скоро к Нему придёшь, но ты поверь, то есть надейся, что в трудную минуту Он тебе поможет…

И пусть он пока не верит — чувствую, что семена я в него кинула, и когда-нибудь они всё равно прорастут.

Как-то, когда Витя, второй внук, ещё жил с нами и учился в училище, мне приснился сон: будто бы я хожу и всем подряд шоколадки раздаю, раздаю… Просыпаюсь и думаю: надо же, какая чепуха приснилась! А тут получила пенсию и спросила Витеньку — а его надо допрашивать с пристрастием:

— Тебе деньги нужны?

— Нет, баба, не нужны. Папа мне прислал.

— А ещё нужны?

— Нет, не нужны.

А несколько дней спустя спрашиваю его:

— Чего ты такой грустный? Что-то скрываешь?

— Да-а… — мнётся. — Не знаю, где две с половиной тысячи взять.

— Витя, зачем тебе так много?

— Баба, мне надо оформить загранпаспорт, потому что нас, отличников, обещали в Германию повезти, а за заграничный паспорт надо две с половиной тысячи. Не знаю, где взять. У папы уже нет, у мамы тоже.

— Витя, как тебе не стыдно?! — говорю ему. — Я же у тебя спрашивала: надо тебе или нет?

— Баба, но вы же с дедом сами трудно живёте.

— Витя, да я же богатая — я пенсию получаю! — говорю ему…

Короче, отдала я ему три тысячи и довольнёхонька, что так сделала: вот какая я счастливая — сделала ещё одно доброе дело!..

А когда день прошёл и я ничего никому не смогла сделать хорошего — выхожу на улицу и думаю: что бы такое сделать? А лето, тепло. Смотрю, детки в песочнице играют; чужая бабка им, конечно же, не нужна, а я к ним пристаю:

— Во что вы играете?.. А давайте я вам интересную игру покажу?

Показываю, а они:

— Ой, правда, тётенька, хорошая игра! Поиграйте с нами ещё!..

То есть я чувствую, что не реализовалась до конца, уйдя из детсада, — так мне нравилось там работать!

Когда летом Костя привозит своих младших детей ко мне на дачу, я просто счастлива, я ликую: ур-ра-а, целых две недели они — мои!..

Конечно, всю эту ораву надо три раза в день кормить, и у меня на это уходит много сил — к плите же их не подпустишь, так что приходится самой по семнадцать часов топтаться на ногах, опять влезать в беличье колесо, которое крутится, не переставая ни на миг; но это же такое счастье — общаться с ними!

Чтобы они помогали мне, приучаю их к труду — а это ужас как трудно: девочки уже привыкли к развлечениям, — так что приходится идти на хитрости. Затеиваю, например, такую игру: за любую выполненную работу выставляю каждой внучке по одному баллу, и — кто больше наберёт. Так они кидаются помогать мне с радостью, носятся по даче и сами ищут себе занятия, даже ссорятся: «Это моя работа!» — «Нет, это моя работа!..» Конечно же, и смеха при этом много.

А потом за баллы я выплачиваю им деньги и везу их в зоопарк, и они на эти собственноручно заработанные деньги покупают себе мороженое и билеты на аттракционы. И мне так хорошо с ними — просто молодею вся: ведь я с головой окунаюсь в свою любимую работу!

Единственное, чего я тогда боюсь, — что не справлюсь, свалюсь с ног. Но что удивительно: даже не устаю в течение дня, и ноги не болят. Только поздно вечером, когда уже укладываю их и ложусь сама — чувствую, как гудит всё тело. Зато сколько впечатлений, воспоминаний, фотографий остаётся всякий раз, и как они потом всю зиму греют мне душу!

9. Подводя итоги

Сейчас у меня уже такой возраст, что любой день может оказаться последним, так что приходится возвращаться мыслями назад, раскладывать свою жизнь по полочкам, делать какие-то выводы и подводить итоги. И когда делаю вывод, что что-то из намеченного в жизни получилось — я торжествую: ур-ра, получилось! И это получилось, и второе, и третье...

А какой самый главный вывод? Наверное, в том, что жизнь моя более-менее сложилась; а ведь у многих сверстников, даже у друзей и знакомых, она была страшно тяжёлой, а то и вовсе изломана.

Конечно, нашему поколению пришлось жить в трудное время: и война, и не менее трудные послевоенные годы; да и в шестидесятые, и в семидесятые было не так уж и легко. А потом — перестройка... Сколько мы повидали этих трудностей!

Правда, в послевоенные годы наша семья не голодала, хотя и большая была, — а ведь другие ещё и голодали. И потом, у нас были мама с папой; у многих из сверстников даже такого простого счастья не случилось; мы-то были всё-таки одеты: мама нас и обшивала, и обвязывала... И всё равно было трудно.

Вот вдова художника Юры Жарковского в детском доме выросла — ужас, сколько ей выпало в жизни трудностей! Такое даже представить трудно... Она во время оккупации и после неё жила на западе России.

— Помню, — рассказывает она, — как мама умерла, а я бегаю вокруг гроба и бужу её: «Мама, мама, вставай!..» Мне говорят: «Нету её, умерла твоя мама», — а я не знаю, что такое умерла, — думала, спит. Потом какой-то дядька взял меня за руку, повёл куда-то и говорит: «Постучись, и когда откроют дверь — скажи: я сирота. Назови свою фамилию, имя, и — сколько тебе лет. И не оглядывайся на меня», — а я всё оглядываюсь. Он тогда спрятался за угол и грозит мне пальцем. Я постучала в дверь; женщина открыла мне и спрашивает: «Ты кто такая?» Я заплакала и говорю: «Я сирота», — и сказала, как меня зовут. И меня приняли в детский дом...

А как она описывала жизнь детского дома тех лет: как их водили босиком по жаре полоть поля, потом убирать урожай...

— А что делать? — говорит. — Мы же должны были сами себя как-то кормить — вот и работали с утра до вечера. А босиком — потому что обувь давали только зимой, и то: придёшь из школы — сними ботинки и в помещении ходи босиком. Есть хотелось всегда. На наше счастье, брюкву в амбаре иногда не закрывали — так пойдём, украдём по брюкве и грызём грязную, вместе с кожурой...

В тринадцать лет она закончила семилетку, и её направили в техникум, при этом год набавили, потому что выпускали из детдома в техникум только в четырнадцать. При выходе из детдома выдали из одежды только фуфайку, платье и ботинки. Пока училась, всё это, конечно, изорвалось. Кому-то присылали одежду и кое-какую еду из дома, а она жила только на маленькую стипендию. На одежду денег уже не хватало, так что все четыре года она бегала в техникум в рваных ботинках и без фуфайки.

— Правда,— рассказывала она,— преподавательницы меня жалели…

И когда она мне это рассказала, я подумала: вот это да-а! выходит, я в сравнении с ней жила по-царски? — так что мне после её рассказов жаловаться на собственную жизнь было просто стыдно.

Хочу ещё немного рассказать про свою маму. В пожилом возрасте она часто болела: ведь она нас пятерых вырастила практически одна — теперь-то я понимаю, какой это труд; папа не вылезал из командировок. А последние десять лет она была такая больная и слабая, что просто уже не вставала.

Я тогда уже взрослая была и, помню, увлеклась йогой… Дело в том, что когда Веня уехал, мне надо было и работать, и маленьким ребёнком заниматься, и учиться вечерами в педучилище, так что я даже не верила, что смогу его закончить: сяду ночью заниматься — и засыпаю.

Один наш знакомый, Михаил Георгиевич, иногда проведывал меня. Пришёл однажды, позвонил, а я дверь не открываю; он толкнул её — она открылась, и он вошёл, а я сплю себе за столом, положивши голову на учебник. Чувствую сквозь сон: кто-то на меня смотрит,— вскочила испуганно.

— Как вы сюда вошли? — спрашиваю.

— Ира, что с тобой? — говорит он.— Ты спишь, дверь открыта, а ведь у вас первый этаж — приходи и всё забирай.

— Да вот,— говорю,— учусь и работаю — и всё время хочу спать.

— Давай,— говорит он мне тогда,— я познакомлю тебя с женщиной, которая занимается йогой. Она была инвалидом, а когда стала заниматься, инвалидность сняли, и она до сих пор работает…

Конечно, я тут же согласилась. Он дал он мне её адрес, и назавтра я к ней пошла; так я познакомилась с необычайной женщиной. Сначала просто в голос её влюбилась — молодой, бодрый, хотя она уже пенсионерка.

Показала она мне упражнения; я стала заниматься, и только благодаря им не просто закончила училище — а ещё и на четвёрки и пятёрки.

И когда я овладела йогой, то стала приставать к маме, чтобы она тоже ею занялась,— а она только отмахивалась:

— Отстань, не хочу я твоей йогой заниматься! Я устала…

Я начала на неё наседать, ссориться с ней:

— Ну что ты, мама, такая инертная? Вот увидишь: будешь заниматься — и всю усталость как рукой снимет!

И она произнесла в сердцах фразу, которую я хорошо запомнила:

— Доживи до моего возраста — тогда поймёшь меня…

Вот дожила, и теперь мне мои подруги говорят:

— Ну что ты такая инертная — никуда не ходишь, сидишь дома, мало двигаешься, растолстела? Сходи туда-то и туда-то…

А я и в самом деле ничего не хочу: не делаю никаких упражнений, три года не была у врачей,— и вспоминаю теперь мамины слова; я ведь тоже устала.

Конечно, у меня не было столько своих детей, сколько у неё,— но скольких детей я вырастила в детсаду! Мне не удалось посвятить этому всю жизнь, но десять-то лет из неё я этому отдала! Да пять лет — сварщицей на свинцовой пасте; да десять лет — в химическом цехе с серной и азотной кислотой. А заканчивала свой трудовой стаж главным диспетчером на пульте управления — это ещё двенадцать лет. Вроде бы и нетрудная работа — за пультом с телефонами сидеть, а приходишь домой измотанная. Причём этот диспетчерский пульт — на железном полу, а под ним газовая станция, а там — шум, вибрация! Иногда организм мой не выдерживал — давал сбои, и я попадала в больницу.

Да если ко всему этому ещё учесть, что напротив нашего дома — химический завод, выпускающий азотные удобрения; никакой очистки воздуха там никогда не было, и мы этой заводской химией всю жизнь дышали; а по другую сторону от дома — куда как раз наши окна смотрят — стоит высоковольтная линия, и мы живём в её электрическом поле. И питаемся мы магазинными продуктами, в которых неизвестно сколько химии. Да ещё и муж у меня — «ангел небесный». И в больнице я лежала при смерти, и резали меня неоднократно. И всю жизнь, сколько себя помню,— эти бесконечные переживания из-за нехватки денег… И после всего этого я удивляюсь: как я ещё до сих пор жива? Выходит, мой организм имеет двойной запас здоровья, раз я всё это перенесла?

Конечно же, были в жизни и радости, даже много радостей — они поддерживали меня. Я счастлива, что у меня хороший сын и много внуков, что могу с ними общаться и все они меня любят. Я рада, что мы с Веней, несмотря ни на что, смогли сохранить семью. И рада тому, что у меня много родственников и друзей. Да я бы точно окочурилась, если бы жила одна!

Счастлива я и оттого, что не просто живу — а ещё и радуюсь каждому дню, несмотря на то, что дни бывают разные: и весёлые, и грустные,— и радуюсь моему дорогому солнышку, которому кланяюсь каждый день, как только с ним встречаюсь, и стараюсь всех вокруг научить радоваться ему. Я счастлива, что нашла Бога, и что Он всегда со мной и в трудные минуты, и в минуты радости, и что Он мне помогает через солнышко, через внуков и через всех-всех моих друзей и родственников.

Что ещё спасало меня в жизни — так это музыка. Иногда сижу дома, слушаю её и плачу. То есть

она распахивает мне душу, а в душе столько слёз накопилось! Но это слёзы утешения и облегчения.

Много я её переслушала, особенно в трудные моменты, когда Веня десять лет подряд ездил и я жила как Сольвейг,—только одна музыка мне тогда и помогала: слушаю, а душа ликует, и тревоги уходят. Наслушаюсь, наплачусь—и побежала на работу…

Как-то, уже не столь давно, приехал к нам на гастроли Олег Погудин, исполнитель русских песен и романсов. Он мне очень нравится, но билеты на него стоили дорого, а у меня как раз не было денег; так Витенька, мой дорогой внучек, знал, что я люблю этого певца, накопил из своих студенческих денег тысячу рублей и купил мне билет на его концерт. И вот сижу я в первом ряду на балконе, счастливая такая. А как только он запел—у меня ни с того ни с сего слёзы как полились ручьём!—а я даже платочек не успела приготовить, и мне так стыдно стало: чего это я такая плаксивая? Смотрю, а у женщины слева от меня тоже слёзы текут; смотрю направо—и с этой стороны женщина плачет. Вот что такое музыка!..

А сколько у нас с Веней хороших друзей, которые всегда выручат,—это ведь тоже греет!.. Не так давно Алина Васильевна—я о ней много рассказывала—встретила меня:

— Ирочка, ты куда?

— Да вот,—говорю,—скоро у нас с Веней золотая свадьба, так я решила в театр с ним сходить, билеты пошла покупать—давно в театре не были.

— Какой театр, Ира, когда у вас золотая свадьба?!—возмутилась она.

— Да ну, какая свадьба?—говорю.—У нас денег на неё нет.

— Ира, я вам сделаю свадьбу—ты для меня столько делала!

— Но это же мне в удовольствие было…

Так она действительно закатила нам свадьбу…

И вот так всю жизнь. Когда у нас нет денег, она обязательно предложит:

— Ира, приди, я тебе дам денег.

— Спасибо, Алина Васильевна, но пока обходимся своими. Да у меня и соседка есть, которая выручает, если что. И ходить далеко не надо.

— Но когда нужны будут, обязательно позвони и скажи! Я сама приду…

Иногда возьму и полистаю свою трудовую книжку, а в ней вписано столько благодарностей и поощрений, и ни одного замечания,—то есть, опять же, я и тут жизнь прожила не зря… Затем, когда сына вырастила,—он стал меня радовать. А уж когда внуки появились—это вообще удесятерённое счастье. Они всегда ждут меня, радуются, когда приезжаю, борются между собой, кто из них приедет ко мне сюда. То есть жизнь прожита не зря. Да, она была трудная—а у кого была легче?

Мне сейчас очень любопытно: как другие её прожили? И с кем ни поговорю—у всех столько всего пережито!.. Хотя Веня не одобряет этого: чего, мол, ты к ним лезешь со своим любопытством? Но я-то вижу, что им самим приятно, что кто-то интересуется их жизнью—больше ведь никто слушать их не хочет!

От этой полноты жизни я иногда говорю себе: «Стоп! Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»—и мысленно себя спрашиваю: «Куда, зачем ты торопишься? На тот свет успеешь. Вспомни: кого ты обидела, с кем грубо поговорила?» То есть я постоянно анализирую себя и стараюсь напрягать свой мозг.

Жалко, конечно, что у нас с Веней так мало взаимопонимания; и трещина от моего с ним разлада осталась на всю жизнь. Даже под конец жизни он по-прежнему решает всё без меня—хоть бы раз спросил: а как ты считаешь? Нет: «Не лезь, не твоё это дело»,—и всё тут; а как это не моё, если я с ним живу? Получается, что всё, что меня окружает,—Венино, и я живу только для него? Ему, конечно, так удобней. Но моя мечта жить с мужем в полном душевном ладу так и не осуществилась. Жалко.

Странно как: счастье—оно ведь где-то тут, рядом; подумай немножко, осмысли, протяни руку—и оно откроется тебе, оно—твоё, бери сколько хочешь; да ещё чуть-чуть подтолкни к нему и ближнего своего, помоги и ему тоже обрести его… Но нет, люди стремятся куда-то, всё дальше, дальше—будто боятся упустить и то, и это, а в результате—ни того, ни этого; там, дальше, как сказано в Библии,—только тщета и ловля ветра. Какая-то в этой недостижимости счастья у людей есть безнадёжность.

Я всегда мечтала иметь отдельный домик, да чтобы у меня там была пусть единственная, но—собственная комната; я бы тогда её всю полками увешала—и больше ничем, потому что у меня столько накопилось за жизнь тетрадок с записями, книг, личных вещей, что хотелось бы разложить их все по порядку, жить с ними вместе и знать, где что лежит, чтобы быстро достать, особенно если память начинает слабеть; а у меня всё в куче в тёмной кладовке. Вытащишь, переберёшь, а через неделю опять всё в куче: теснота, нет места. Даже для постельного белья всего одна полка—просто смех! И вся красивая посуда стоит на одной полке, в тесноте, так что я не могу ею пользоваться. И выбросить или отдать жалко—это же подарки друзей и родных!

И ещё об одном у меня плачет душа: мне всю жизнь хотелось, кроме сына, иметь ещё детей—я бы справилась! Но не получилось; даже брала на душу страшный грех—губила эти крошечные нерождённые души, потому что Веня категорически не хотел: теснота, мол, бедность,—ему непременно

хотелось сохранить творческую свободу… Да и болезни нас без конца одолевали.

И всё равно я счастлива. Ведь известно: чем труднее что-то даётся — тем дороже ему цена.

Несмотря на то, что у нас с Веней был такой разлад, что семья, с таким трудом созданная, грозила развалиться вдребезги, — всё-таки мы нашли в себе силы и разум, чтобы сохранить её, склеить эту разбившуюся чашу — хотя бы для сына, для внуков. И теперь, когда я размышляю об итогах моей жизни, то думаю: как прекрасно, что мы нашли в себе силы жить вместе!

Как прекрасно, что решились взять кооператив, накопили на него и жили в своей квартире. И что я одолела педучилище с крошечным ребёнком на руках. И как прекрасно, что Костя хоть и учился с таким трудом, в другом городе, с постоянной нехваткой денег, — а выучился и, как и мечтал, стал художником.

Потом, счастлива я оттого, что внук Витенька жил у нас целых пять лет, закончил за это время художественную школу и как отличник учился потом в художественном училище на губернаторскую премию; даже как отличник ездил на летних каникулах по музеям Москвы и Петербурга, и как отличник учится теперь в художественном институте.

Я счастлива оттого, что у сына родилось столько детей и я всем им помогала!

Счастлива также тем, что на семидесятипятилетие муж сумел устроить большую итоговую выставку, хотя она и стоила ему столько сил, времени, денег! И я ему тут пригодилась… Было море цветов, был фуршет, который помогла нам устроить моя дорогая Алина Васильевна. Не хватало денег на буклет — и всё-таки сумели его издать!.. Потом, ещё лет десять подряд, Веня мечтал издать большую книгу-альбом Леонида Аркадьевича, долго занимался ею, подготовил, но никак не мог найти денег на её издание — и всё же деньги на неё в конце концов нашлись, книга вышла… Да разве это не счастье, когда у мужа так хорошо складывается всё, о чём он мечтал?

Я долго мечтала о том, как выпрыгнуть из многолетнего каждодневного беличьего колеса — то есть стать наконец свободной. Даже выспаться как следует хоть раз за всю жизнь мечтала — всегда у меня был хронический недосып.

И эта свобода наконец настала, когда я вышла на пенсию. Как я была счастлива: по крайней мере, не надо рано утром, в темноте, вставать и куда-то бежать — так что на пенсии два года только отсыпалась.

Отоспалась, отдохнула и только тогда почувствовала: да ведь я же ещё молодая! И я свободна: делаю что хочу, еду когда и куда хочу, хотя бы и на дачу, работаю там в охотку, собираю ягоды, иду купаться на пляж.

Сон вдруг плохой приснится — беспокоюсь: как там у сына? Иду в кассу, беру билет на поезд, причём не надо бежать, как заполошная, просить начальника, чтобы отпустил, не надо искать, с кем бы подмениться…

Приезжаю к сыну, а он мне говорит:

— Мама, как хорошо, что ты приехала! Ребёнок заболел, а нам на работу надо. И как ты всё знаешь?

— Сон приснился, — говорю.

— Да разве так бывает?

— Ещё как бывает!..

Повидала их, посидела с внуком; надо домой ехать, а сын мне:

— Мама, не уезжай, поживи с нами ещё!

И я ещё сколько надо живу — мне же это ничего не стоит!

Так что свобода для меня теперь — самое великое благо.

Причём это даёт мне ещё и возможность копаться потихоньку в своей собственной душевной жизни. И, копаясь в ней, начинаю понимать, насколько неправильно я жила, где наследила, где загрязнила душу. И думаю о том, как это было правильно, что раньше люди каждую неделю ходили в церковь и исповедовались; а ведь мы даже не знали, что это такое; за десятилетия этой жизни в нас столько грязи накопилось — и мы таскаем её в себе, не зная, что с ней делать…

У меня был родственник-инвалид; Гриша его звали. Он хорошо играл в шахматы, даже занимал первое место в городе по шахматам. А я люблю эту игру, и когда он приходил в гости, мы с ним играли.

Играть с мужем трудно: как только я проигрываю какую-то фигуру, он начинает меня дразнить: «Эх, ты, зевака!» — а когда сам мне проигрывает — злится и тут же бросает игру, ему это просто невмоготу. А я никогда не расстраивалась, если проигрывала: мне нравился всегда сам процесс, умственное напряжение, удивительные комбинации, которые приходят на ум во время игры. И, в конце концов, стала обыгрывать всех подружек и начинающих мужчин.

А когда приходит Гриша и садится со мной играть, то терпеливо при этом объясняет:

— Ира, в этой позиции ты хорошо подумай — есть одно интересное решение… Я тебе тут книжечку по шахматам принёс; почитай её, — то есть он обращается со мной совершенно по-иному, чем другие, — как с равной…

Я могла ему иногда пожаловаться:

— Гриша, у вас такая прекрасная память — а я вот упала в детстве с обрыва, потеряла с испуга память и плохо всё запоминаю.

— Ирочка, — говорит он мне тогда, — да ты счастливый человек! Я вот всё помню, поэтому не могу

спать ночами: книгу прочёл — она из головы не выходит, фильм посмотрел — не могу забыть! Это же ужасно: у меня из-за этого сердце плохое, у меня дикие головные боли, я на инвалидности!..

И когда он сказал, что я, оказывается, счастливый человек — так я, грешным делом, подумала: а может быть, это и в самом деле благо, что у меня память отшибло и был отрезан путь к высшему образованию? Может, оно мне и не нужно было?..

После того как сын уехал от нас — нам с Веней, чтобы не разойтись, пришлось каким-то образом строить свою личную и духовную жизнь каждому по отдельности. И Веня мне сказал:

— Давай не будем больше ссориться и препираться — будем жить каждый своей жизнью. У нас есть общий дом, есть сын, внуки, но коль уж у нас с тобой разные понятия о жизни, о занятиях и живём мы в разных мирах — давай будем жить вместе, но — каждый своей собственной жизнью, а уж жизнь будет диктовать нам свои условия. Но с вопросами, куда я пошёл и что делал, не надо больше ко мне приставать; меня это раздражает. Я свободный художник и хочу оставаться свободным.

Мне это было непонятно: другие ведь так не живут! Но я решила никому не жаловаться и никому ничего не объяснять. Ладно, думаю, дам я ему свободу.

И всё же, когда он приходит слишком поздно, я всё равно беспокоюсь:

— Где ты был?

— Халтурил, работал, — отвечает.

Ну ладно, работал так работал. Но однажды смотрю: перебирает он свои картины, — и вижу: голая женщина нарисована; раньше я её не видела.

— Веня, а это кто? Когда это ты?

— Ира, мы же с тобой договорились, что я живу своей жизнью, а ты своей! Я художник, а художник должен писать натуру. Вон, когда Витя учился у нас, он же рисовал разную обнажённую натуру — так и я. Не приставай ко мне.

И всё равно: как это?.. Но вижу: с его стороны глухая стена, — и я потихоньку научилась не лезть к нему в душу. Ну, живём на одной площади, деньги он домой приносит, старается обеспечить не только меня, но и Костю, и его семью. Витя сейчас учится в институте — Веня и ему помогает; и Роме подбрасывает. То есть живёт рядом со мной человек, работает — что мне ещё надо? Ко мне не пристаёт, в мою личную жизнь не лезет: как, чем я живу? Хорошо ли мне, плохо ли?.. Я-то, конечно же, обо всём этом думаю, мучаюсь, терзаюсь. Редко удаётся с ним разговаривать: он приходит уставшим, ложится спать рано, рано встаёт и уходит на работу. И так длится чуть ли не всю нашу совместную жизнь.

Конечно, идеальной её никак не назовёшь... Бывает иногда, что как на вулкане живём — вот-вот взрыв грянет и разнесёт всё в клочья. И когда я чувствую это, то начинаю успокаивать себя: всё, тихо, тихо, надо ситуацию тихонько разрулить, направить в мирное русло... И удаётся пока. И Веня тоже так поступает, когда я готова взорваться. Так вот и живём.

Хочу ещё добавить, что у меня всегда было много друзей, но в последнее время я стала с ними постепенно расставаться и уже почти со всеми рассталась — стало утомлять общение: всё яснее чувствую, что и в самом деле начала уставать от жизни. Остались всего две подруги — но таких, с которыми расстаться не могу: у них психика больная, и если я их брошу — знаю, что им будет очень без меня плохо, хотя самой мне с ними тяжело — сложные они. Но, видно, я дана им судьбой и сама чувствую ответственность за них, хотя никаких обязательств за них у меня никто не требует. И всё-таки греет душу, что кому-то ещё нужна, кому-то пригождаюсь... Как жить совсем без этого? Не представляю.

Роман Ненашев

Memento…

Яблоки

Двенадцать, восемнадцать, пятьдесят…
Как детские фонарики, мигая,
В саду соседском яблоки висят,
И яблони под ношей голосят,
К известному поступку подстрекая.
В деревне вечер, тишь и благодать,
И ласточки летают со стрижами.
Соседа целый вечер не видать—
С каким-нибудь любителем поддать
Сидят наверняка за гаражами.
Жена соседа, женщина в летах,
Из дома вышла в поисках супруга.
Лишь яблони остались на местах,
И ветви их качаются упруго.
Ты полезай и яблок набери,
Широкие карманы набивая.
Двенадцать, восемнадцать, двадцать три…
Плывёт луна с осколками внутри
Надменно, как дворянка столбовая.
И сумерки густеют, и пора
С соседским садом наскоро проститься.
Молчит, на счастье, пёсья конура,
Лишь звёзды промигают до утра,
Проухает вдали ночная птица.

Memento mori

Казалось, целый день до сентября,
И жизнь моя длинна и безголова.
И если я выдумываю слово,
То Бога нет, нечестно говоря.
Десятый год. Седьмое января.
Весь день—воспоминание былого.
Наутро смерть приятеля Крылова.
Метель. Цветы. Лицо из янтаря.
Второе. Март. Коричневый альбом.
Два призрака на бледно-голубом
Невнятном фоне. Яркая зарница.
Косые звёзды. Запахи весны.
Сияют светофоры. Снятся сны.
Мне ничего давно уже не снится.

* * *

Война случится, и, положим, в среду.
Положим, что Шестая мировая.
И я, пожалуй, загодя уеду,
Дождавшись тридцать первого трамвая.
И порох ляжет запахом на ели,
И по команде, скажем, сисадмина
Натасканные кокер-спаниели
Найдут в подвале залежь кетамина.
И будет раздаваться канонада.
И цвета хаки мчать велосипеды.
И мордами поблёскивать торпеды,
Всплывая пузырьками лимонада.
И два матроса—Павел и Ерёма,
Как хищники, удачливы и ловки,—
Достанут из оконного проёма
Гранаты и тяжёлые винтовки.
И город лопнет на две половины
И истины, что будут безусловны:
Одни, допустим, в знании невинны,
Другие—по незнанию виновны…
И город станет строить баррикады
И запасаться йодом и бинтами.
А в пятницу сквозь облако блокады,
Маяча разноцветными бантами,
Пройдёт, допустим, девочка живая
Походкой неуверенной и шаткой.
И вслед ей, начинённая брусчаткой,
Пещерным эхом ахнет мостовая.
И город, сев на антидепрессанты,
Украсит транспарантами аллеи.
И с неба будут падать диверсанты,
Как листья с пожелтевших тополей…

Павел Великжанин

Гранитный генерал

Дальнобойщик

Рёв мотора заглушил всё остальное,
И к водительскому креслу на три дня—
На три дня в пыли, под ливнем и под зноем—
Я пристёгнут пуповиною ремня.

Мир за стёклами кабины всё быстрее
Мчится в прошлое со скоростью моей,
А за тёмным горизонтом солнце зреет,
Восходя на встречке вспышками огней.

Лишь самой себе всегда равна дорога,
Не бывает одинаковых дорог;
Но от них нам нужно, в сущности, немного—
Чтоб в конце был лентой финишной порог.

У шофёра столько жизней, сколько рейсов,
На одометре—годов километраж.
Но ведь как бы у мотора ты ни грелся,
К дому—к дому!—путь всегда направлен наш.

А пока—гудят крутящие моменты,
Изгибается дорога, как вопрос,
И асфальт магнитофонной стёртой лентой
Тянет песню меж бобинами колёс.

Похоронки

Был чёрствый хлеб, что слаще сдоб,
Был ратный труд, простой и страшный:
На фронте пашней пах окоп,
В тылу окопом пахла пашня.

Впрягались бабы в тяжкий плуг,
И почва впитывала стоны.
Мукою, смолотой из мук,
На фронт грузились эшелоны.

А там своя была страда,
И возвращались похоронки
В артели вдовьего труда,
В деревни на глухой сторонке.

Кружили, словно вороньё,
Над опустевшими домами.
Кололо жёсткое жнивьё
Босое сердце старой маме…

* * *

Снег идёт: спускается к нам с неба,
Белый—словно ангелов одежды.
Нам порою не хватает хлеба—
Чаще не хватает нам надежды.

Вроде бы живём… А что-то надо,
Что словами выразить непросто…
Чувствуешь, как этим снегопадом
С душ снимает грязную коросту?

Снег бинтует раны и нарывы,
И повсюду вырастают сами
Памятники мудрому наиву
С красными морковными носами.

Светом звёзд костры-сугробы тлеют,
Чтобы понял запоздалый путник:
В мире стало тише и светлее,
В мире стало чуточку уютней.

Так легко дышать, как будто снова
Детство навсегда к нам возвратится.
Тропками протаптываем Слово
На пустой божественной странице…

Фронтовик

Никто не спрашивал о том,
Чья здесь вина:
Пустой рукав запавшим ртом
Сказал: «Война».

Был труден, голоден и лих
Сорок шестой,
И он ворочал за двоих
Одной рукой.

Твердела мышцами рука,
Росла в кости,
И мало кто фронтовика
Мог обойти.

Он так же крепко обнимал
Свою жену,
И сын с руки его взлетал
В голубизну.

●●●

Давно отгремели раскатами грозы.
Холодные слёзы роняя устало,
Уходят дожди бесконечным обозом,
Смывая осевшую пыль с пьедесталов.

Серебряной ваксой ботинки начистив,
Паук расставляет осенние сети,
И красные книги сгорающих листьев
Лениво читает задумчивый ветер.

Земля забинтована марлей тумана.
От жарких боёв безрассудного лета
Остались ещё не зажившие раны
И зрелая мудрость живого поэта.

Он здесь, рядом с нами, но выше немного.
Осеннее солнце пробилось сквозь тучи.
Меж мокрых полей потерялась дорога,
Как с неба упавший, растаявший лучик…

Гранитный генерал

Памятнику В. И. Чуйкову, командующему 62-й (впоследствии 8-й гвардейской) армией, на Центральной набережной Волгограда посвящается…

Генерал с лицом темнее гранита—
То ль от дыма, то ль от вечной печали—
Замер молча, с головой непокрытой,
Устремляя взгляд в заволжские дали.

Помнит всех своих солдат поимённо,
Но бессмертья не даруют былины:
Уходили в небеса батальоны
На пути от Сталинграда к Берлину.

Ни гранита нам, ни бронзы не хватит,
Чтобы каждому воздать по заслугам…
Но взгляни: в могилах спящие рати
Прорастают зеленеющим лугом!

Жизнь всегда в итоге смерти сильнее—
Тихий сквер облюбовали мамаши:
Каждый вечер здесь, пока не стемнеет,
Дети бегают, ручонками машут.

В центре гомона, возни и горячки
Генерал следит, как дедушка строгий,
Чтоб стихали мимолётные драчки,
Чтоб смотрели непоседы под ноги.

Улыбается гранитною складкой,
И во взгляде не сквозит холод стали:
«Из таких же, как вот эти ребятки,
И гвардейцы все мои вырастали…»

Ведь солдаты не за то умирают,
Что им памятников мы понастроим…
Рядом с памятником дети играют—
Это лучшая награда героям.

Летний ливень

Небо выдохнуло тяжко,
Посмотрело вниз с досадой
И мою пятиэтажку
Обнесло живой оградой

Водяных бессчётных нитей
Впечатляющего вида.
За порог теперь не выйти.
Посмотрю—и всё же выйду

Прочь! Из тесноты квартиры,
Из насиженного кресла.
Обнимусь с водой небесной,
Успокою слёзы мира…

Я промок, но не простужен.
Дождь в асфальтовую прорубь
Убежал, и в тёплых лужах
Солнце плещется, как голубь.

●●●

Небо рваное заштопано
Журавлиной вереницей.
Жёлтый лист в полёте штопором
Зябким веткам будет сниться.

В подвенечном белом инее
Станут ждать весну берёзы,
Когда латки журавлиные
С треском рвут шалуньи-грозы.

●●●

Я вбиваю ноги-гвозди
В деревянную планету,
С неба звёзды рву, как грозди,
И вино давлю из света.

Я хотел воды напиться
В неисчерпанном колодце,
Но прозрачная водица
Утекла уже в болотце.

Здесь торгуют, тут рыдают,
Там сидят в дешёвом цирке,
И тихонько умирают,
Лица сделав по копирке.

В центре этой круговерти,
Где сердца зашлись в чечётке,
Я плыву по морю смерти
На дощатой серой лодке.

В ней полно мышиных дырок,
У весла отбита лопасть.
Я—магнитный полюс мира,
Улетающего в пропасть.

Куликово поле

Ветра над полем Куликовым—
Как шесть веков тому назад.
Стою, предчувствием суровым
Тревожной памяти объят.

Вдали шумит автодорога,
А в небе—реактивный след.
Предметов той поры немного
Дошло до нас сквозь толщу лет.

Но память… Я глаза прикрою—
И вижу поле, как тогда.
Иду звериною тропою,
Из Дона пью—вкусна вода!

Цветёт ковыль, по плечи ростом.
Тону я в море ковыля.
Там, радуясь тяжёлым о́стям,
Семян ждёт матушка-земля.

Стоит зелёная дубрава
Утёсом средь ковыльных волн.
А ветерок, лихой и бравый,
Взбегает вверх на Красный холм.

Но нет, не только запах пряный
Мне ветер в лёгкие принёс.
Врага почуяв, конь мой прянул,
Раздув красивый нервный нос.

Заржал он, как напоминая,
Что в поле я—не праздный гость.
Я—линия сторожевая,
И вот, собрав поводья в горсть,

Скачу к своим с недоброй вестью,
Что тут, сильна как никогда,
Идёт со злобою и местью
На Русь Мамаева орда.

А там попрятались деревни
По берегам ручьёв и рек.
Раздроблен край славянский, древний.
Под игом русский человек.

Летят над Русью стрелы страха,
В дыму весь южный край небес…
А непокорный русский пахарь
Убит, растоптан—но воскрес!

Весь русский люд: крестьянин, воин,
Ремесленник и зверолов,—
Встаёт, решителен, спокоен,
Услышав звон колоколов.

И Кремль, и Сергиева лавра
Во все уделы шлют призыв:
«Едины будем, братья, в главном,
Вражду усобиц прекратив!»

И, как ручьи, от самых малых,
К одной стекаются реке,
Идут дружины под начало
Московских стягов вдалеке.

Мужая в трудную годину,
Презрев разруху, нищету,
Сплотилась Русь в строю едином—
Плечом к плечу, щитом к щиту.

О мать-страна, ты слёзы вытри:
Бойцы шли с верой, не с тоской!
Их вёл к победе князь Димитрий,
Ещё без прозвища Донской.

Хоть непростым был путь к Непрядве,
Мы бой орде готовы дать.
Всей их крамоле и неправде
Единство наше не разъять!

Вступает в схватку с Челубеем
Монах, удел избрав земной:
Сразив—сражён… И солнце, рдея,
Взошло над нашей стороной.

Весь день оно горело в небе,
Кровавый пот сгоняя с лиц.
И за бойцом боец, как стебель,
Металлом скошен, падал ниц.

Но за победу не напрасно
Мы платим жизнями оброк:
Уже на холм прорвался Красный
С полком засадным князь Боброк.

И по степи, огнём объятой,
Коней усталых горяча,
Орду мы гнали до заката
К реке Красивая Меча.

Потом, вернувшись, хоронили
Всех тех, кто встретил в поле смерть.
Как братья, спят в одной могиле
Боярин, князь, дружинник, смерд…

И травы шепчутся над ними,
Как шесть веков тому назад,
И не один фотограф снимет
Над золотым крестом закат.

А в глубине, от битв тупое,
Хранит оружие земля…
Обняв корнями это поле,
Здесь возродилась Русь моя…

Александр Ольхин

Утреня

Симбирск

Вкус полыни, иссохшей под солнцем,
Запах гари, и шпал, и акации…
Узкоглазо, прищуром японца,
Горизонт примеряется к станции

И грызёт небосвода баранку.
Он сегодня над Волгой особенный—
Он встречает гостей спозаранку.
Словно морем хлеб-воздух просóленный

Наполняет собою пространство,
Где река с небесами сливается.
И природы живое убранство,
Сколько взгляд заберёт, не кончается.

Часовой

Весенний лес располосован,
Расчерчен вдоль и поперёк.
Зимы раскрытые засовы
С опаской оглядит зверёк.

Ещё апрель, в низинах топко,
И хочется подняться ввысь,
Как часовой на вышку. То-то
Ему восьмиметровый мыс

Достался нынче. Всё осмотрит
Вслед за внимательным зверьком:
Томится лес в колоннах по три,
Над ним пока порожняком

Гуляют облака по небу,
Не в силах залпом выдать дождь;
Проглянет солнце—тянет в негу,
Исчезнет—нападает дрожь.

И всё так быстро, всё так скоро,
Что смена для весны видна!
Подсохнет к маю леса порох,
Салютом выстрелит сосна

Под танец облаков и света,
Под окрик страждущих полей:
— Стой! Кто идёт?
— Да это лето!
— Ну, заступай тогда смелей!

Флот на якоре

Весь флот на якоре
Который год.
И в трюмах—капает,
А в ливень—льёт.

Сломались лесенки
И фонари,
Покрылись плесенью,
Как сухари.

Когда-то гордые,
Суда стоят
С разбитой мордою,
Прижавшись, в ряд.

И скрипом, стонами,
Игрой болтов,
Как флюгельгорнами,
Зовут улов.

Пасека

Игорю Николаевичу Григорьеву

За просекой, за полосой,
В лесу есть пасека—
С душистой гречневой косой,
Со вкусом праздника.

Там родниковая вода,
Берёза крепкая,
Дорога—травные места,
На картах—редкая.

Дойди, не поленись, мой друг,
Сторицей выручишь!
Волшебных мест хрустальный звук
Нахрапом выучишь!

И трав настой, и песнь косца,
И рифму хваткую…
Там настоящего пыльца
На память сладкую.

Мост

Тонны воды,
Тонны бетона.
Цвета руды
Волны, понтоны.

Выгнулся хвост—
Новенький ворот—
Тянется мост,
Строится город.

Сеть проводов
Сверху повисла—
В сотнях узлов
Прячутся числа.

Люди спешат,
Тесно в трамваях.
Глыбой дрожат
Тонны на сваях

Утреня

Я в лес вошёл. И он со всех сторон
Вобрал меня волной одушевлённой:
Качались дерева, каёмкой крон
Шептались о свободе оживлённо.

Наполнясь влагой, ароматом трав,
Струился воздух бергамотным чаем.
Больные листья, на траву упав,
Кивали братьям и затем молчали.

Ручей неспешно свои воды гнал,
Но он до тишины приноровился.
Мир многослойный бодрствовал и спал.
Я озирался и всему дивился,

Я был здесь лишний. Кто меня позвал?!!
Лес утреню служил для старожилов…
Но, падая, мне листик закивал
Пульсирующей сеткою прожилок.

Этажи

Этажи. Этажи. Этажи.
Переходы и перекаты,
Всё до линии чётко, квадратно—
Оживлённая стройка дрожит.

Этажи. Этажи. Этажи.
Новоселье, довольные дети.
На поребрике город отметит
Обновлённую стенами жизнь.

Этажи. Этажи. Этажи.
Без изъяна протянуты в небо,
А на кухнях, с привычным разбегом,
Застучали хозяек ножи.

Этажи. Этажи. Этажи.
Вся деревня отныне в подъезде,
К дому дом, через мостики лестниц,
Вместо задних дворов—гаражи.

Корни

Застыла явь над тихим полем:
Чабрец укутался в снега,
Снежно-равнинное раздолье
Берёзой обняла тайга.

По полю жилка тропки вьётся—
На долгий путь она одна.
Но здесь пылает снег под солнцем!
И небо светится до дна!

И верится: не вышли сроки
Для забедованной Руси—
Подземные прольются соки,
Берёза наберётся сил.

Никульское

Тихая аллейка возле леса:
Прячутся в кустах две колеи,
Трещинами лик берёз изрезан,
Капами, чуть выше от земли.

После ливня каждый листик дышит,
Широта по-новому звучит,
Чередою переспелых вишен
По земле размашисто стучит.

Над полями паровая дымка,
Созревает кормовой овёс,
Дождь—неутомимая волынка—
Затянул, отсрочив сенокос.

Здесь зимой всё инеем покрыто,
По колейке пробита лыжня…
Звук дождя, до времени забытый,
Снегом осыпается, звеня.

Поле

Колосья, колосья, колосья…
Я помню: не поле—завеса
Пшеничного многоголосья,
Поющего жёлтого леса.

Я помню комбайны и тропы,
Снопами палящее солнце,
И шли хлеборобные роты,
Сминая колосья поддонцем.

Шофёр—мужичок незнакомый
С потрескавшимися губами—
Довёз нас до самого дома
Под грохот ведёрок с грибами.

Мне помнятся детство и поле—
Моря, неподвластные взгляду.
Мне радостно, грустно и больно…
А море волнуется рядом.

Снег (Рождеству)

Ночь. Затихли звуки.
Месяц встал горбатый.
В смоляные руки
Белой липкой ватой

Снег спустился тихо—
С высоты на сосны—
Убаюкал вихорь,
Напророчил росы.

Светом, отражением
Лес лучится новый,
Ныне очищение—
Рождество Христово.

Дмитрий Филиппов

Я — русский

Окончание. Начало в №4/2015

8. «И объяли меня воды до души моей»

Как всегда случается в моменты трагедий, переломов и катаклизмов, общество озаботилось не теми вопросами. Стали выяснять, был ли выброс воды из Неберджаевского, Варнавинского или Атакайского водохранилищ; до хрипоты в горле спорили о том, сработала ли система оповещения людей о надвигающемся бедствии; призывали распять администрацию Крымска и лично губернатора Краснодарского края; ругали неслаженность действий мчс и мвд; вопрошали, кто ответит за жизни погибших и разрушенные дома. Правильные вопросы поднимали, нужные, животрепещущие. Но не главные. А главным вопросом мне видится только один, монументальный и онтологический, глубинный, философский и даже мистический: почему каждое восшествие на трон Царя сопровождает беда?

Планируется ли эта беда в тишине высоких кабинетов, или это кара Божья? Или испытание во укрепление веры и духа? Расшатывает эта беда трон или укрепляет его? Трагедия это или жертвоприношение Золотому Тельцу? Крайне важно в этом разобраться, чтобы понять характер миссии Царя: от Бога его путь или от Дьявола?

В августе 2000-го — авария на подводной лодке «Курск». Она утонула, сказал Царь в интервью иностранному телеканалу. Всё. Утонула и точка. Вопрос закрыт.

Сентябрь 2004-го — трагедия в школе Беслана. Демон комплекса власти затребовал страшную дань, и в жертву принесли детей.

Июнь 2012-го — наводнение в Крымске.

Я далёк от мысли считать все произошедшие трагедии злой волей тайных сторонников или противников Царя, но мистика совпадений высасывает мои глаза до дна, и я рад образовавшимся пустым глазницам — лишь бы не видеть беды и зла. Прижгите мне уши калёным железом, дабы я оглох окончательно и не слышал стонов погибших. Вырежьте совесть, отделите её от души, чтобы не ныла, не болела, как плохо сросшаяся кость в сырую погоду.

Если революция, потрясения и смута лежат вне человеческих категорий добра и зла, если к ним неприменимы законы морали и справедливости (мы угрюмо молчим, но не спорим, не возмущаемся, когда век встаёт на дыбы), то кому и за что собирается кровавая дань в мирное время? Словно Бог и Дьявол одновременно сошли на землю, и в это шаткое время нам выпало жить, а Царю — править.

Люди сочувствовали беде крымчан отстранённо, по принципу: «Да, жалко, но вы там, а я здесь, держитесь, короче». К слову сказать, и я недалеко ушёл в своём сочувствии. Это тот случай, когда сердцем понимаешь, что что-то надо сделать, а голова твердит: от тебя ничего не зависит. Далёкая беда не становится личной трагедией, потому что птичку жалко, но куриное фрикасе — чертовски вкусная вещь. Это новая разновидность равнодушия, характерная для нового времени, порождённая разобщением всего и всех. В мире, где каждый сам за себя, понятия общей беды (да и общей радости, вообще общего) не резонируют со струнами твоей души. И дело не в том, что струны толстые, — оплётка с них облетела давным-давно.

В городах по всей стране открывались пункты сбора вещей для пострадавших от наводнения. И люди приносили одежду, обувь, посуду, постельное бельё. Не новые, но свежие и чистые, годные к употреблению. Догадываюсь, что это были те же люди, что вышли в декабре на Болотную или другие площади в своих городах в едином искреннем порыве. Не их беда, что порыв готовился, планировался и был возглавлен предателями и подлецами. В тот зимний день негодование сотен тысяч людей распустили по ветру. Сейчас эти люди так же искренне делятся вещами, половина из которых не дойдёт до места назначения, другая половина будет гнить грудой ненужного хлама в палаточных городках возле Крымска. Но, даже зная, что часть вещей разворуют, часть потеряют, оставшиеся будут грубо свалены в кучу (попробуй найди в этой куче одинаковую пару ботинок), — нести вещи надо. Не «для», а «вопреки». Чтобы хоть что-то делать. Чтобы почувствовать на короткое мгновение, что ты не один и единение народа не пустой звук.

— Я еду в Крымск, — сказал Лёшка, когда мы встретились.

— Кому ты там нужен?
— Никому, наверное.
— Тогда зачем ты едешь?
— Оставаться тошно. Тошно в стороне стоять. Тошно думать, что ты никому ничего не должен.
— Там мчс работает, другие службы…
— Волонтёры всегда нужны.
— Лёха, вы будете путаться под ногами, вас все будут посылать, в первую очередь пострадавшие.
— Очень может быть. Только ехать всё равно надо.
— Почему?
— Потому что.

Я понял, чтó он имел в виду, а он понял, что я понял. Поступок не нуждается в обосновании, как верность решения не нуждается в доказательствах. Делай что должен, и будь что будет.
— Ты со мной? — спросил он меня.
— Нет.
— Как знаешь…

Впервые за всё время нашей дружбы между нами скользнула тень непонимания, неявная, но уже обросшая контурами. Как будто Лёшка остался на тонущем корабле, отчаянно пытаясь его спасти, вычерпывая воду онемевшими ладонями, а я плюнул и спустился в шлюпку. Совершенно очевидно, кто здесь прав, а кто виноват.

Отказ от поступка всегда нуждается в оправдании. Очень важно объяснить самому себе, что ты не трус, а потом поверить в это объяснение. Объяснить можно, а вот поверить до конца в краеугольную правду никогда не удастся: совесть не терпит острых предметов. Я не поехал вместе с Лёхой, потому что испугался, сломался, сдался. Потому что в моём мире появилась Слава, и никакое горе в этот мир я пускать не хотел, даже общее. Я попытался убедить себя, что можно и нужно быть счастливым, если кто-то где-то несчастен, что личная судьба важнее общей. Но все эти объяснения ничего не стоят, потому что человек всегда всё про себя знает. Предательство остаётся предательством, слабость — слабостью, как ты их ни объясняй, в какую обёртку ни заворачивай. Это, кажется, очень простая мысль: нельзя наслаждаться собственным счастьем, когда есть вокруг несчастные; нельзя выстраивать собственный закрытый мирок спокойствия и комфорта, когда мир вокруг тебя сползает в пропасть; нельзя думать, что общие проблемы должен решать кто-то другой, но только не ты; нельзя успокаивать и обманывать самого себя, что всё обойдётся, надо только потерпеть, — не обойдётся никогда; нельзя жить дальше так, как мы все живём.

Почему? Потому что.

В это же время произошло ещё одно с виду непримечательное, но очень важное событие. В комитете по образованию поменяли одного чиновника, не самого высокого полёта, даже не заместителя председателя, но вместе с этой заменой рухнули прежние договорённости, разомкнулась цепочка откатов, начался пересмотр бухгалтерских книг. Больнее всего эта замена ударила по нашему ректору. Новый человек, пришедший на место прежнего чиновника, был представителем другой команды, из клана соперника. И все попытки ректора найти к нему подход окончились неудачей. Я, конечно, не в курсе всех его афер с бюджетными деньгами, но кое-что слышал краем уха в тесных, липких стукаческих коридорах. И даже того, что я слышал, было достаточно, чтобы с позором вышвырнуть ректора на покой. Например, программа обмена студентами с одним испанским вузом. Деньги для студентов правительством выделялись немаленькие, но фактически до них не доходили. Бедолаги уезжали в чужую страну за свой счёт и жили там за свой счёт. В чьи карманы уходила разница, думаю, не стоит пояснять. Или организация полноценной туристической фирмы на базе университета под прикрытием студенческого проекта. В фирме действительно работали студенты старших курсов, зарплату они получали копеечную, а доход от туристических услуг оседал на неизвестном никому банковском счёте. Добавьте сюда аферы на ремонте помещений, покупках служебного транспорта, квартир для «учебно-образовательных» целей, и масштаб махинаций тянет на добротное уголовное дело. Но, конечно, до суда дело не дойдёт. Ректору просто предложат с почётом уйти на пенсию, и у него не будет возможности отказаться. Наворовал он столько, что хватит не на одну жизнь, но люди его склада интересуются уже не деньгами, а властью. Они жить без неё не могут, как нормальный человек не может жить без воздуха, без воды или пищи. На пенсии такие люди гаснут и сдуваются за предельно короткий срок. Им становится неоткуда черпать силы и энергию. Привыкнув паразитировать на подчинённых, они не в состоянии перестроить свой организм. Запасы сил иссякают, и человек чахнет, как чахнет паук, попавший в банку: нет мух — нет жизни.

Несколько недель он ходил мрачный и красный, готовый на взрыв. Срывался, орал по малейшему поводу, а потом отчислил сорок студентов. Ходил по общежитию и проверял порядок в комнатах. Свинья везде грязь найдёт. Сорок человек. Одним движением брови.

Что-то сломалось во мне после этого. Я посмотрел на свою работу другими глазами. Каждый день мне казался борьбой за души нового поколения; я искренне верил, что если не я, то кто? И вдруг стало ясно, что всё это не имеет смысла. Систему не победить. Она пережуёт тебя и выплюнет, не заметив.

На следующий день я написал заявление на увольнение.

А потом приехал Лёшка. Я хотел его встретить на вокзале, но он отшутился и запретил. И вообще

по разговору вёл себя странно. Возникло ощущение, что я разговариваю с другим человеком. Что-то похожее было, когда он вернулся из Чечни. Несколько дней вёл себя странно и ступорно, не шутил, не улыбался и всё смотрел, смотрел, изучал мир глазами оттуда. А потом в одну из ночей завалился ко мне в гости, пьяный, с двумя бутылками водки. Мы сели на кухне, и он стал рассказывать. Он вылил на свет Божий столько грязи и крови, что свет померк на мгновение. Лёшка плакал и не стеснялся своих слёз. И сами слёзы текли только затем, чтобы смыть выплеснувшуюся кровь. Он говорил всю ночь. Говорил и плакал. А под утро заснул, уронив голову на руки. Я так и накрыл его пледом, спящего за столом.

Вот и в этот раз что-то похожее прорезалось в голосе. Мы договорились встретиться через несколько дней. Он приглашал попьянствовать. Я сказал, что не пью, что любовь и всё такое, а он ответил:

— Приводи любовь, хоть познакомимся.

На том и порешили.

За столом сидел крепкий приземистый парень, коротко стриженный, в обтягивающей водолазке на голое тело, которая рельефно подчёркивала широкую накачанную грудь и пивной живот.

— Знакомьтесь — Митяй! — произнёс Лешка, протянув руку. — Бывший нацбол, мы с ним в Крымске познакомились. Мировой парень, прошу любить и жаловать.

— А почему бывший? — спросила Настя.

— Неподконтролен. Никого не слушает, распоряжений партии не выполняет и не боится ни чёрта, ни Бога, — добавил Лёшка. — Ну… ещё выпить любит.

Парень продолжал молчать, даже позы не изменил. Смотрел на нас внимательными мутными глазами и ждал первого шага. Я потом заметил, что глаза у него болотно-зелёного цвета, но тогда они показались просто мутными, подёрнутыми то ли плёнкой, то ли ряской.

Мы представились по очереди. Девушкам Митяй кивал, мне и Вельфищеву вяло пожал руку, и только кривая усмешка — как трещина — появилась на лице, когда Вельфищев по традиции назвался эльфом.

— А для чего ты в Крымск поехал? — спросила Слава.

— Скучно дома — вот и поехал, — ответил Митяй.

И сразу стало понятно, почему он всё время молчит. Голос был не просто тонкий — детский; высокий и переливчатый, как у положительных героев советских мультиков.

— Давайте к столу, рассаживаемся, рассаживаемся, — скомандовал Лёшка.

Водку Митяй пил из чайной чашки, крупными кадыкастыми глотками. Лицо его при этом краснело, на глазах проступали слёзы, но он допивал до конца, занюхивал чёрным хлебом, медленно вытирал рот рукавом и только после этого выдыхал, коротко и резко. Надо сказать, что после этого он два-три тоста пропускал, молча ел, изредка вставлял односложные фразы. Жевал он долго и обстоятельно, перетирая пищу в кашу, в порошок, глотал с усилием, как будто у него горло болит. Когда начинали говорить девушки, он бросал на них цепкие, внимательные взгляды, пронизывающие и неприятные. Взгляд его не скользил по шее, груди и прочим прелестям, но был той же природы: нечистый, сальный, пачкающий.

За короткое время Митяй сожрал всю закуску.

— Девчат, там на кухне в холодильнике овощи, колбаска, сыр, мелочь всякая… Порежете, постругаете? — обратился Лёшка к девушкам.

— Без проблем.

— Много ешь, Митяй.

— В детстве недоедал, наверное? — язвительно заметил Вельфищев.

— Заткнись, дятел, — Митяй враз срисовал, что из себя представляет Вельфищев.

И тот заткнулся, пробурчав невнятное себе под нос.

Девушки ушли. Лёшка взглядом показал мне на бутылку. Подмигнул. Я сглотнул слюну и кивнул коротко, неуверенно. Друг наполнил стопку до краёв, я залпом её опрокинул, закусил остатками черемши. Бодрый жар ворвался в тело, разогнал кровь и поднял настроение. Лёшка наполнил ещё одну.

— Давай, пока без палева.

Митяй понимающе осклабился.

Я догнался, проталкивая водку уже с трудом, занюхал Лёшкиными волосами.

— Всё, хорош. Как же мне этого не хватало…

— Зажуй, — Лёшка протянул мне дольку лимона. — Теперь главное — не спалиться.

— Точно.

— Водка — это ещё одно доказательство того, что Боженька нас любит и помнит, — произнёс Митяй самую длинную фразу за весь вечер.

Мы втроём довольно захохотали. И Митяй вдруг показался мне отличным малым, немного со странностями, но с кем не бывает. Вечер был искрист, душевен, жизнь наполнилась яркими красками. И я понял, что всё время мучительно тосковал именно по этой жизни, именно по этому безбашенному состоянию, когда море по колено и всё можно. На задворках совести трепыхалась мысль, что именно сейчас всё рушится, что завтра я буду жалеть о минутной слабости, каяться и просить прощения, но алкоголь заливал эту мысль, она захлёбывалась и тонула.

Вернулись девчонки, неся тарелки с аккуратно разложенной нарезкой, овощами, бутербродами с пахучими шпротами.

— А что отмечаем? — спросил Вельфищев.
— Возращение, — уточнила Настя.
— А-а, ясно.
— Не отмечаем. Что за бред? Просто собрались, — отмахнулся Лёшка.
— Много людей поехало добровольцами? — спросила Сова.
— Много. Или мало. Не знаю. Человек двести со всей страны. Даже с Сахалина парень был. Девушки тоже были, но парней больше, — Лёшка говорил нехотя, будто стесняясь рассказывать о том, что там происходило.
— Не было двухсот. Меньше, — добавил Митяй.
— Чем вы там занимались?
— Работали. Много и долго. На жаре. Вещи распределяли, заявки заполняли, воду разносили по домам. Муляку разгребали.
— Муляку?
— Ил, грязь. Все дворы ею залиты. По колено. Мерзкая и опасная дрянь. Попадёт в кровь — труба, заражение гарантировано.
— По вечерам бухали, — добавил Митяй.
— Да, и это было. Днём от усталости с ног валишься, а вечером бодряк пробирает.
— Ты там был, Лёшка, скажи, что случилось на самом деле?
— Никто не знает. Говорят разное. Местные убеждены, что был выброс воды. К нам в лагерь каждый вечер приходила сумасшедшая бабка и твердила про кару Божью. И это не самая бредовая версия.
— А ты сам как думаешь?
— А я не думаю об этом. То есть об этом можно думать, пока ты находишься по другую сторону баррикад, на Большой земле, а когда ты сам побывал на этих баррикадах, другие вопросы становятся важными.
— Какие?
— Где достать воду, например. Как быть с дедом-ветераном, которого родственники бросили, а у него весь двор в дерьме, а сам он ходить не может. И непонятно как он вообще жив остался.
— Точно, — Митяй запрокинул голову и отправил в рот стебель маринованной черемши.
— Люди там разные. Много тех, кто реально пострадал, но были и такие, что слетелись на халяву, будто сычи.
— Так всегда бывает, — вставил Вельфищев.
— Много погибших? — спросила Слава.
— Много, но точно тоже никто не знает. С нами парень работал из Краснодара, он с первого дня в Крымск приехал, так он рассказывал, что трупы грузовиками вывозили. Такие огромные рефрижераторы магазина «Магнит», в них мясо перевозят… Десятки грузовиков.
— Пипец, — выдохнула Настя.

Все замолчали. Только Митяй продолжал увлечённо жевать.

Мне было не по себе весь вечер. И это чувство усиливалось с каждой минутой. Мне был неприятен Митяй, и я не мог понять, что Лёшка в нём нашёл, зачем привёл в нашу компанию. Вот сидит это мурло и жрёт в три горла, и ему плевать на всё и всех. Ещё мне хотелось выпить. Жутко хотелось. Невыносимая алкогольная жажда зудела в крови и сушила язык. Но рядом была Слава, и я ей обещал не пить, и всё путалось в моей душе. Я злился на любимую девушку за то, что сам же дал ей слово, и не видел в своём праве на злость никакого противоречия. И даже не задумывался о том, что уже нарушил данное слово.

Слава мягко коснулась моей ладони, тревожно-вопрошающе заглянула в глаза — я через силу улыбнулся ей: мол, всё нормально, — но сам разозлился ещё больше; и даже это нежное прикосновение вызвало раздражение и неприязнь. Вдруг захотелось обматерить её, сорваться и послать куда подальше. И тут же стало стыдно за это чувство.

За столом сидели три девушки, с двумя из которых я спал, с третьей мог переспать, но сам удержался. К одной я испытывал чувство жалости, другая веселила, любимая — раздражала. Вельфищев и Митяй были мне глубоко безразличны, неинтересны. С Лёшкой я бы с большим удовольствием пообщался один на один, с бутылкой или без. Но лучше с бутылкой. И мне вдруг стало непонятно, какого чёрта я здесь сижу, зачем вообще происходит всё, что сейчас происходит. Это застолье, эти разговоры за барским столом. Всё происходящее лишено смысла и внятности, и совершенно непонятно, в какой момент были утеряны эти стержни. А самое главное — как их вернуть? Весь прожитый год показался мне бессмысленным стоянием в очереди. Очередь не движется, но все продолжают стоять. И так долго это длится, что уже забыли, за чем стоят. И ни у кого не хватает решимости плюнуть и уйти.
— Царя видел? — спросил Вельфищев.
— Нет, я позже приехал, — ответил Лёшка.
— Жа-а-аль.
— Интересно, какой он? — задумалась Настя.
— Из плоти и крови, — это Сова. — Так же кушает, пьёт, ходит в туалет.
— Нет, что у него в голове?
— Дерьмо.

Митяй одобрительно цокнул.
— Так и вижу фото президента: сидит на толчке, тужится, а внизу подпись: «Мочусь в сортире», — хохотнул Вельфищев. — Вот бомба была бы…
— Всё это мерзко, — отвернулась Слава, приковывая к себе внимание.
— Ты что, за Царя?
— Какая разница? Просто мерзко так рассуждать, исподтишка.
— Я и открыто могу. Сомневаешься? — Вельфищев напрягся и покраснел.

— Господи, да не в этом дело… Если открыто — будет так же мерзко, как ты не понимаешь? Ты этим не его — ты себя унижаешь.
— Ты-то что знаешь об унижении? — вдруг зло и едко выбросила Сова. — Сидишь тут почти святая и учишь нас жить, но тебя-то не дразнили с самого детства жидовочкой просто так, за курчавые волосики и выпуклые глазки. А ребёнку вдвойне больно и непонятно: почему это он хуже других, на каком таком основании? И никто ему не объяснит, что ребёнок изначально виноват, угораздило родиться не в той семье и не в той стране. Ребёнок хочет иметь друзей и подружек, в куклы с ними играть, куличи лепить в песочнице, а его отталкивают, смеются и показывают пальцем. Кровь у него, видите ли, не такая, разрез глаз не тот, нос чуть горбат… Я убегала на задворки детского сада, падала на землю и рыдала до красноты, до икоты, выблёвывая слюни и слёзы, а грудь разрывало от стыда и обиды. Родители отводят глаза, жалеют, гладят по курчавой головке и пытаются что-то объяснить, но ребёнку всё равно непонятно, что с ним не так. Понятно лишь, что он другой, не такой, как все дети. И это навсегда. Это не исправить. А потом назло всем учишься, учишься, учишься… Зубришь теоремы, правила, таблицы. Времени у тебя очень много. Тебя не зовут на дни рождения, не приглашают в гости или в кино за компанию. Ты вечно одна, с учебниками и словарями. Они становятся твоими друзьями, которые никогда не предадут, не подставят и которые всегда рядом. Я закончила школу с золотой медалью, поступила на иняз в СПбГУ… Мне не объяснить сейчас, чего это стоило. Я чуть с ума не сошла, заучивая французские спряжения, зазубривая куски текста наизусть, целыми страницами. Но за спиной продолжают шептаться: вы же понимаете, что всё, мол, не просто так, одна фамилия чего стоит, конечно, конечно, эти без мыла в зад пролезут, у них всё схвачено, всё куплено, своих проталкивают, круговая порука, рука руку моет и так далее. Но только ребёнок уже не ребёнок, он ко всему привык, он не верит людям, особенно он не верит русским людям. Ему, впрочем, тоже не верят, но он уже не напрашивается в друзья. А самое паскудное — я привыкла к такому положению вещей. Оно меня не удивляет, не возмущает. Я живу с этим каждый день, каждый Божий день ловлю на себе косые взгляды в метро, вздрагиваю, проходя мимо коротко стриженных молодых людей в сапогах с высокими берцами. И это моя жизнь. Другой у меня не будет. Мне раз в месяц напоминают, что если меня что-то не устраивает, то я могу катиться ко всем чертям в свой любимый Израиль. И никого не волнует, что он не мой и не любимый, что я родилась в России и такая же русская, насколько и еврейка. Это неразделимо во мне. Понимаешь ты? И не смей мне говорить об унижении. Ты ни черта об этом не знаешь.
— Маша, вы простите меня… Всё это так же мерзко, так же мерзко… — попыталась объяснить Слава. — Я, наверное, не так сказала, простите ещё раз…

Повисла тишина, как после… Как после правды — узловатой, неприятной, выпуклой, что Машкины глаза. Каждый сидел и переваривал услышанное. Маша и раньше мне об этом говорила, о своём несчастном, забитом детстве, о том, как её травили и унижали. И я первый раз подумал о том, нравится ли ей её прозвище. Она всегда была Совой, и это было естественным, само собой разумеющимся фактом. Но этот факт вдруг тоже стал выпуклым, неприятным.
— В волонтёрском лагере рядом с нами палатка стояла — жили три парня, — начал Лёшка. — Приехали из разных городов, познакомились на месте, сдружились — не разлей вода. Вместе держались. И лидера у них не было, все трое харизматичные, как на подбор, про таких говорят — душа компании. По вечерам песни пели у костра, днём работали в городе, как ломовые лошади. Один из них, Стас, раньше других уезжал. В Сургут или Стерлитамак… не помню уже. Ночью вроде отвальной устроили, он со всеми адресами обменялся, говорил о дружбе, о том, что вот в таких условиях куётся настоящее-доброе-вечное. И знаете, без пафоса так говорил, простыми словами, что ему верилось. Вот другой кто скажет — фальшиво прозвучит, выспренно, а ему хотелось верить, так искренне он всё это говорил… Он уехал рано утром, когда все ещё спали. А двое других, Миша и Серёга, как проснулись, не нашли своих кошельков. Обнёс подчистую. Телефон, конечно, выключен. Такая вот история.
— Это ты к чему?
— Не знаю. Про мерзость заговорили — и вспомнилось.

Опять повисла неприятная пауза. Тишина осторожно, по шажочку, приближалась к главному. И все это чувствовали. Уже всем было понятно, что вечер пошёл не так.
— Вот тебе слова Никиты мерзостью кажутся, — Сова не хотела успокаиваться, — а меня бесят правильные девочки вроде тебя.

Только сейчас я заметил, что Сова крепко пьяна, ещё не в хлам, но добротно и основательно, на полшага до скандала. Она весь вечер старательно не смотрела в мою сторону, улыбалась вместе со всеми, шутила — играла роль. А я решил не присматриваться внимательно, решил не видеть актёрской фальши. Влюблённая девушка не справилась с ролью, или устала от неё, или чёрт его знает, что там у неё в голове произошло, но с каждым произнесённым словом она входила в раж, раззадоривая потяжелевший воздух.

— И если подумать,— продолжала она,— добренькие святоши вроде тебя хуже мерзавцев. Вы одним своим видом гнобите нормальных людей. Посмотришь на вас — и начинаешь проедать самого себя, опускать ниже плинтуса: мол, куда мне, дураку ущербному, на небо глядеть, куда мне к такой святости тянуться, дело моё холопское — сидеть в грязи и не чирикать.
— Сов, да ладно тебе,— попробовал успокоить её Вельфищев.
— Вот-вот, видишь, он уже тебя простил.
Слава молчала. Плотно сжала тонкие губы и смотрела прямо перед собой.
— Маш, правда, чего ты завелась?— вставил Лёшка.
— О, я уже Маша, вы вспомнили, друзья, как меня зовут!
— Чего ты добиваешься?— спросил я.
— Чего я добиваюсь? Я скажу тебе, чего я добиваюсь. Я хочу, чтобы меня и моих друзей перестали тыкать носом в мокрые тряпки за их несовершенство. Да, я не святая и никогда ей не стану. Но это не значит, что я хуже.
— Никто и не говорит…
— Она говорит. Сидит и всем своим видом говорит, какая гнилая в нас киснет порода. Только я тебе так скажу: твоя святость и есть самая грязная, блевотная мерзость. И ничего гаже нет на свете. Потому что ты людей надежды лишаешь. Посмотришь на тебя — и жить не хочется. Потому что всё зря, потому что такой, как ты, не стать, такой, как ты, родиться надо. Ты людей заставляешь самих себя ненавидеть — вот что ты делаешь.
— Ты ошибаешься,— ответила Слава, не оборачиваясь.
— А ты своего любимого спроси, ошибаюсь я или нет. Он ведь тоже не святой. Или ты не знала?
— Чего не знала?
— Он до тебя со мной спал.
Слава внимательно посмотрела сначала на меня, потом на Сову и ответила:
— У всех своё прошлое.
— Нет, деточка. Это у тебя прошлое, а у всех остальных грехи. И они пролезут в настоящее, как глубоко ты их ни прячь.
— Да что вы её слушаете? Она пьяна в стельку,— произнесла Настя и даже извинительно всплеснула руками.
Но ситуация уже не переводилась в шутку. Так бывает.
— А вы все,— Сова обвела сидевших за столом пьяным тоскливым взглядом,— вы знаете, что я права. И боитесь об этом сказать.
Все молчали. Никто не смотрел на Сову, чтобы не встретиться взглядом ненароком. Взгляд её не искал поддержки, но на такой взгляд надо что-то отвечать; то есть встретить глаза в глаза и промолчать — не вариант. Но ответить пьяной оскорблённой женщине было нечего.
И тут Митяй со звоном кинул вилку, отодвинул в сторону тарелку с недоеденным салатом и громко подтвердил:
— Права. За это надо выпить.
Митяй открыл бутылку и налил всем по полной.
— Давайте, будем.
Он лихо, никого не дожидаясь, опрокинул содержимое внутрь желудка, привычно занюхал чёрным хлебом. За ним выпили остальные. Молча. Не чокаясь. Только Слава не притронулась к своему бокалу.
— Простите меня, простите…
Сова заплакала вдруг, разом, обхватила голову руками и закачалась, попала локтем в тарелку, опрокинула на пол салат, заревела ещё громче, ещё отчаяннее.
— Скажи, Лёша, я пучеглазая, да?
— Нет, Сов, ты волоокая.
Маша всхлипнула, давясь смешком и слезами.
— Всё нормально, Сов,— Настя уже гладила её по голове.
— Нет, я такая грязная, такая мерзкая, простите меня…
Она подвывала через каждое слово, таким нутряным, заученным плачем, какой не сымитируешь даже по пьяни.
Сова, плача, уползла на кухню, следом за ней ушёл Вельфищев, обнимая её за плечи, что-то успокаивающее нашёптывая на ухо.
Вечер, обещавший быть интересным, сдержал своё обещание, только лёгкости это не прибавило. Каждый делал вид, что серьёзно увлечён несерьёзным делом, каждый чувствовал себя лишним оттого, что Сова нарушила табу, произнесла вслух хлёсткие и неприятные вещи, и вещи эти ожили, требуя для себя осмысления во времени и пространстве. Слава тяжело смотрела вниз, изучая свои колени, продолжая сидеть без движения.
— Я хочу уйти,— произнесла она, не оборачиваясь.
— Вместе пойдём. Я провожу.
— Нет. Я пойду одна. Отдыхай. Ты же этого хотел.
И она встала, не извиняясь, не прощаясь ни с кем, и вышла в коридор. Я поплёлся за нею.
— Я тебе не лгал. В чём моя вина?
— Ты не виноват. Всё хорошо. Отдыхай.
— Ничего не хорошо.
— Расслабляйся, Андрей. Ты заслужил. Ты вообще молодец. Всё делаешь правильно.
— Я делаю так, как считаю нужным.
— Да, конечно, я и говорю: ты всё делаешь правильно.
— Я должен был тебе рассказать?
— Да.
— Зачем? Всё это прошлое, и должно оно оставаться в прошлом. Ты сама сказала…
— Затем, чтобы я не попадала в идиотские ситуации, не чувствовала себя полной дурой перед

всеми; затем, чтобы не шептались за спиной, не ухмылялись в сторону. Неужели ты не понимаешь?
— Прости.

Я подошёл к ней вплотную, попытался поцеловать. Она отшатнулась.
— Зачем ты пил?
— Так вышло.
— Ясно. А зачем ты меня сюда потащил?
— Я хотел как лучше, чтобы мы всегда вместе… Понимаешь?
— Нет, не понимаю.
— Послушай, я кругом виноват…
— Ну что ты, это я виновата. А ты свободный человек, волен поступать так, как ты хочешь. Ты молодец, Андрей! Ты всё делаешь правильно.

Было непонятно, издевается она или нет, она говорила всё это с таким серьёзным, убеждённым видом, что становилось страшно. Какая-то нудная, вязкая непоправимость вползала в наш мир, разъединяя нас, разводя по разным берегам. И я не знал, как это остановить. Но что ещё страшней — не хотел останавливать.

И тут она заплакала. Слёзы выплеснулись разом, неостановимым потоком. Скривились губы, задрожали скулы, и эта резкая смена состояний разорвала мне грудную клетку. Стало трудно дышать. И ещё… Сердце отклеилось и упало на пыльный пол, ещё продолжая стучать, ритмично сокращаться, перекачивая свистящий воздух.
— Меня унизили… А ты… Сидел и молчал…
— Слава…
— Ненавижу тебя!

Она развернулась и побежала прочь, вниз по лестнице, убегая из квартиры, из мира, из памяти.

Я зашёл на кухню покурить. Там Сова прижала несчастного Вельфищева к холодильнику и жадно целовала его в рот. Парень стоял беспомощно и напряжённо, как кремлёвский курсант перед Мавзолеем, одной рукой обречённо потискивая Машину задницу, другой придерживая её за плечо, в надежде когда-нибудь отстранить от себя. Сова вздрогнула от щелчка зажигалки, посмотрела сначала испуганно, застигнутая на месте преступления, но моментально взгляд её поменял окраску. В момент узнавания он наполнился злой радостью, вызовом и торжеством. И, уже не обращая на меня никакого внимания, она повернулась к Вельфищеву и начала целовать его ещё яростней, ещё настырнее.

В комнате Настя с Лёшкой играли в гляделки, о чём-то влажно шептались. Я почувствовал себя лишним, я везде был лишним и ничего не мог поделать с этим оглушающим чувством. Хорошо было только Митяю. Он спал, откинувшись спиной на диван, издавая носом тонкий булькающий свист.
— Ушла? — спросил Лёха.
— Да.
— Не бери в голову. Давай лучше накатим.
— А что ещё остаётся?

Водка не пошла. Я подавился, закашлялся, Настя протянула мне стакан сока, и я быстро, одним глубоким глотком, осушил его, смывая сивушную горечь с гортани.
— А этот что? — я указал на Митяя.
— Не вникай. Он пьёт-пьёт, а потом просто отключается, по-английски. Нормально, в Крымске так же было. Поспит пару часов и встанет как огурчик. Этот парень нас с тобой перепьёт.
— Странный он, — сказала Настя.
— В смысле?
— Неприятный. Вот он сидел, и мне всё время неуютно было… Он не слышит, надеюсь?

Мы все прислушались к свисту.
— Не, спит как убитый. Из пушки не разбудишь. Сам решает, когда проснуться, — ответил Лёха.
— Зачем ты его позвал? — спросил я.
— Не знаю. Мы не то что сдружились там, просто он один работал, ни к кому не лез, всегда сам по себе. Ну и… жалко, что ли, стало. К тому же с одного города. Короче, стали в связке работать. И сразу стало легко. Я за всю жизнь ни с кем так легко не работал. Знаешь, даже не с полуслова понимали друг друга, а как будто мысли читали. Могли вообще за день двух слов не сказать. По вечерам в компании он тоже не выделялся. А потом вот что случилось. Эмчеэсник один щенка в муляке утопил. Не со зла, а просто швырнул в гущу, и тот притоп сразу же. Так Митяй моментом сиганул в грязищу, никто ещё осмыслить ничего не успел, а он уже тащит щенка за шкирку. То есть натурально на рефлексе прыгнул, не думая. Отдал мне щенка и тут же, на месте, избил эмчеэсника. Жестоко избил, в кровь. Лицом в муляку окунал и орал в ухо: «Жри, паскуда! Жри, паскуда!» Они потом вечером в лагерь приходили, эмчеэсники, предъявы кидать, наши все Митяя обступили, а он спокойно так пацанов раздвинул, вырвал топор из бревна, улыбнулся и шаг вперёд сделал: мол, подходи по одному. Те постояли, поплевали под ноги для понта и ушли. А он бы реально их зарубил. Может, и сам бы сдох, но рубил до конца. Стержень в нём какой-то есть… Короче, он, может, и недалёкий, но настоящий. Я бы с ним пошёл в разведку.
— А со мной? — спросил я.
— Ты чего, Андрюха? Что за вопрос?
— Обычный вопрос. Со мной бы пошёл в разведку?
— Пошёл.
— Ты это из вежливости, мол, потому что друзья?
— Хорош грузить.
— Нет, ты скажи. У Митяя стержень, а Андрей Вознесенский тряпка. В Крымск с другом не поехал, с бабами своими разобраться не может…
— Знаешь, иди ты к чёрту, Андрей Вознесенский.
— Ну, спасибо, дружище.
— Всегда пожалуйста.

— Ребята, хватит. Андрей, правда, ты чего? Что за вечер? Все как с цепи сорвались,—Настя попыталась нас примирить.

Лёшка отвернулся, не смотрел в мою сторону.

В комнату зашли Сова с Вельфищевым, гордые и смущённые.

— О, один уже в отрубе. Вот теперь мне всё нравится. Вот теперь я готова веселиться. А если хорошо попросите—на столе спляшу!

— Не, Сов, не надо,—усмехнулась Настя.

— Ну глядите. Два раза не предлагаю.

— Андрей, ты извини, что так вышло,—смущённо произнёс Вельфищев.

— Ничего, бывает.

— Конечно, бывает, только не у всех проходит. Да, Андрей?—вставила Сова.

Она была возбуждённой и пьяной, и этот сплав порождал вседозволенность.

— Маша, иди проспись,—ответил я.

— Успеется. Мне давно так хорошо не было. Сегодня я гулять буду. Сегодня я Грушенька. А чего вы все приуныли? Давай, Лёшка, расскажи нам ещё про Крымск.

— Чего тебе рассказать?

— Какие там люди? Чем живут? Чем дышат?

— Обычные люди. Интересно—съезди, посмотри.

— Нет, я в герои не записывалась. Я же еврейка, а значит, паразит, нахлебница. Сижу на горбе у многострадального русского народа и соки высасываю. А ещё кровь младенцев пью. Вы что, не знали?

— Маш, правда, хватит. Сама начинаешь,—снова попытался утихомирить её Вельфищев.

— Ладно, проехали. У нас есть ещё выпить?

Лёха достал из-под стола коробку с красным вином.

— Налейте ей кто-нибудь полный стакан. Пусть выпьет и рядом с Митяем рухнет… Ох, вечерок…

— А скажи мне, Андрей, что она в тебе нашла?

Это был глупый вопрос пьяной женщины. Я не стал на него отвечать. А если быть до конца честным, то и не знал ответа.

— Нет, всё понятно, что она святая, вся такая воздушная, спустилась к нам, грешным, из рая, чтобы осчастливить. Но ты-то здесь при чём? Я тебя десять лет знаю—ты не святой, не подвижник. Трус, алкоголик и графоман. В постели, правда, молоток, но этот бонус не по её части. Что она в тебе нашла?

— А ты что нашла?

— Я-то? Хороший вопрос. Ты, Вознесенский, женщин боишься, потому и меня не оттолкнул. Меня обычно все отталкивают, а ты пожалел, кинул на бедность… А я, дура, душой прикипела, за чистую монету приняла.

— Я тебе что-то обещал?

— Вот тебе тридцатник уже, а ни черта в женщинах не понимаешь. Обещал, не обещал—это ты для бабушки своей оставь. А с женщинами так нельзя. Ты если женщину гладишь по шёрстке—руку не отнимай. Не уверен—лучше не начинай гладить. Но если погладил, будь готов отдать себя с потрохами. Верно я говорю, Настя?

Настя промолчала, отвела взгляд.

— Ты хочешь отношения выяснить? Вот сейчас, при всех? Хорошо, давай выясним.

— Да чего с тобой выяснять? И так всё ясно. Тряпка ты. Тряпка и свинья. Всё хорошо—Сова не нужна, а как в паху звенеть начинает—звонишь Сове. Что, не так? Хоть себе-то не ври. Я, правда, не лучше. Всё знаю, а устоять не могу. Вот завтра позвонишь—приползу как миленькая… Так не звони мне!—голос её сорвался на визг.

— Не буду.

Минуты две все сидели молча. Только Сова наполнила до краёв стакан и медленно, мелкими сбивчивыми глотками, выпила его до дна. Шумно выдохнула и вытерла рот рукавом, оставляя красные разводы на одежде.

А потом раздался звонок в дверь, бесконечная невозможная трель.

Я открыл дверь—на пороге стояла Слава…

Платье разорвано, бёдра в синяках и царапинах.

Воспалённый рот разбит в кровь.

Волосы спутаны.

Взгляд её огромных глаз пуст и страшен.

<…>

10. Предчувствие последней войны

Слава сидела напротив, помешивала ложечкой чай и смотрела на меня. Взгляд её был ровным, спокойным—тем самым пустым спокойствием, которое изымает душу, от которого становится страшно и стыдно.

— Это я виноват,—сказал я.

— Да, это ты виноват. Но сейчас-то какая разница?

— Слава, прости меня. Мы ещё можем всё начать сначала.

— Андрей, ты чего?—она посмотрела на меня удивлённо.—Я не держу на тебя зла. Я просто не люблю тебя больше.

Она произнесла это вслух, а мир не разрушился и даже не задрожал. Продолжали стучать секундной стрелкой круглые настенные часы, дребезжала ложечка о стенки чашки, за окном шумел ночной город. И никому не было дела до того, что на одну любовь в этом мире стало меньше.

— Прости,—добавила она.

— Я тебе не верю. Так не бывает.

— Ещё как бывает. Ты оказался мельче, чем я думала. Ты не виноват, никто не виноват.

— Я не волшебник, я только учусь.

— Не ёрничай, я серьёзно.

— Извини.

Она отвернулась, на глаза навернулись слёзы.

— Ты должен был быть рядом.

Мне нечего было ответить.

Слава встала, подошла к окну, погладила рукой занавеску. Господи, какой прекрасной она была в тот момент… И даже ссадина на разбитой губе не портила светлого образа. Она прислонилась лбом к оконному стеклу, упёрлась ладонями и, приподнимаясь на цыпочках, выдохнула тёплый пар изо рта. Казалось, Слава хочет подлезть под ночной город, забраться в него с тыла и, нащупав там невидимый рубильник, отменить ночь. На запотевшем стекле она нарисовала решётку, стала играть в крестики-нолики сама с собой. И вдруг наступила гнетущая, нехорошая тишина. Я заморгал, повертел головой — остановились часы на стене. Секундная стрелка продолжала подрагивать, но ход прекратился. Слава тоже это заметила.

— Время остановилось.

— Батарейка… — я не успел договорить.

— Да, остановилось, — и, резко повернувшись ко мне, стала рассказывать: — Он напал сзади, как только я вышла из подъезда. Зажал рот и прижал лицом к стене. У него были грязные пальцы, грязные и кислые на вкус. Ужас хлынул из затылка к животу, самый настоящий смертный ужас, когда с первой секунды понятно, что шуток не будет, либо жизнь, либо смерть. Я задёргалась, забилась, но он держал крепко, ещё ударил локтем по скуле, чтобы не дёргалась. А потом он повернул меня лицом к себе и приставил к горлу нож.

— Слава…

— Молчи и слушай. Он смотрел мне в глаза и улыбался. Он видел страх в моих глазах, видел ужас, всю его глубину, и ему это нравилось. Нож уплотнил мои лёгкие, я задышала часто, но мелко, на цыпочки привстала… Казалось, можно спрятаться от этого ножа, привстав на цыпочки, но спрятаться, конечно, не получилось. Мне было не вскрикнуть, не повернуть голову. Он сказал мне: «Молчи». С ужасным южным акцентом сказал, но меня обрадовал его голос. То есть мне тогда показалось, что если он о чём-то говорит мне, о чём-то просит, значит, не собирается меня убивать… Даже нет, не так… Если он умеет говорить, значит, он человек, а не кромешное зло. А с человеком всегда можно договориться, объяснить, убедить… Я ответила ему: «Не надо». Он сразу ударил меня в живот, так что ноги ослабели и подкосились, а воздух пропал, и не хватало сил вздохнуть. Я бы сползла по стеночке, но он цепко взял меня за горло. «Я сказал, заткнись», — ещё раз он произнёс. А я всё не понимала, что договориться невозможно. Одной рукой он продолжал держать нож у горла, а другой стал шарить под юбкой… — Слава скривилась от брызнувших слёз. — Сразу было понятно: если я закричу — ему хватит одного движения, чтобы перерезать мне горло, так крепко он прижал нож. Изо рта его пахло уксусом, перцем, ещё чем-то резким, противным. Глаза… Чёрные и страшные. Я его глаза никогда не забуду — мне с этим теперь до конца жить. Пока они мне не снятся, но как только проснусь — сразу вижу его глаза. И тошно так становится на душе, привкус страха во рту появляется… Знаешь, если бы не было ножа — я бы всё равно закричать не смогла. Губы словно наизнанку вывернули, а в горле — цемент, язык не слушается. А он это знал, читал в моих глазах, но всё равно держал нож у горла. И когда он дотронулся… там… я только тяжело заёрзала по стене, вжимаясь плотнее, глубже. Ещё раз сказала: «Не надо, пожалуйста». Тогда он отошёл на шаг и сразу ударил кулаком в лицо, резко и без замаха. Я ударилась затылком о стену, из носа пошла кровь. Он сразу же подступил ко мне и снова схватил за горло. Нож уже не приставлял, только сказал: «Ещё раз вякнешь — зарежу». И я поняла, что он не шутит. То есть он не просто говорит, чтобы напугать. Он и правда зарежет. Это так ясно было в тот момент, что от угроз, от ударов, от ножа — я сдалась.

Слава закрыла лицо ладонями. Я подошёл к ней, положил руки на плечи — она сбросила их резким движением. Просто стояла у окна, закрыв ладонями лицо. Молчала. Я не сразу понял, что она рыдает, — по дрожанию плеч понял, по тому, как глубоко и трудно она сглатывает накат слёз.

— Прости.

Она подняла на меня заплаканное лицо.

— Потом он снял с меня трусы.

— Слава, не надо…

— Нет, ты это до конца дослушаешь.

Голос её обретал твёрдость, справляясь с рыданиями. Она утирала слёзы кухонным фартуком, размазывая тушь по лицу, но уже не обращая на это никакого внимания.

— Боль была обжигающей, раскалённой, как будто горячий болт в тебя вворачивают. Но дело даже не в боли. То есть боль можно перетерпеть, но то, что он делал, — страшнее боли, бесповоротнее, что ли… Тебе изнутри клеймо ставят, и это уже на всю жизнь. Понимаешь, это не грязь, не пятно, не след — это выжжено внутри тебя, дьявольское тавро. Ты становишься меченой. И будешь меченой до конца своих дней. Это не отмывается, не вырезается. Метка в душе, в сердце, в… — Слава произнесла мат просто, буднично, первый раз на моей памяти. — Я теперь грязная-грязная. Меня теперь нельзя любить. И я теперь любить не смогу.

И снова она замолчала, пытаясь справиться с потоком слёз, с руками, с ломающимися пальцами. Мне стало плохо. Закружилась голова. Я не знаю, зачем ей надо было проговаривать вслух все эти подробности, зачем она выволакивала наружу всё до крупицы, каждый жест посекундно…

<…>

— …Я сидела у стены, всхлипывала, обнимала коленки, а он не уходил. Только отошёл на пару

шагов и, уже не глядя на меня, спокойно закурил. Просто стоял и курил. Понимаешь, он ничего не боялся, не собирался убегать, он не боялся, что я закричу, что выйдут люди, вызовут милицию… Он ничего не боялся в этом городе, в этой стране. Он чувствовал себя хозяином. А я подумала, что он—этот жестокий грязный азиат—и есть хозяин. Он сделал меня своей наложницей. И я подчинилась. И не было никого рядом, чтобы меня спасти. Никогда не будет никого рядом. Поэтому—он хозяин. Другого не будет.

Я хотел прикоснуться к ней, погладить, пожалеть, прижать к себе, как делал не раз до этого, но сейчас не мог этого сделать. Её рассказ перечеркнул это право, а Слава перестала быть моей. Грязный азиат отнял её у меня, отнял затем, чтобы никогда больше не отдавать. Вот зачем Слава всё это мне рассказывала. Чтобы я понял, что она перестала быть моей.

Она подошла к плите, включила конфорку и, набрав в чайник воды из-под крана, поставила его на плиту.

— Пить хочется.

— Я пойду.

— Куда ты пойдёшь? Ночь на дворе.

— Не знаю, пройдусь. Ночи тёплые.

— Оставайся. Я постелю тебе на кресле.

— Хорошо.

— Хочешь есть? Бабушка напекла пирожков с капустой.

Она поставила передо мной тарелку с пирожками.

— Сейчас чайник закипит.

Я начал есть с жадностью, заталкивая в рот жареные пирожки, давясь хрустящим тестом, разбрасывая кусочки капусты по столу, по полу… Мне казалось, что пока я ем, всё произнесённое Славой не имеет силы, и стоит остановиться, как слова напитаются смыслом и прорастут в явь. И я ел пирожок за пирожком. В горле заломило от тоски, но я продолжал жевать, шевеля упрямой челюстью, перемалывая куски прожаренных пирожков. Жир тёк между пальцев, масляный и липкий, а я всё ел. Слава смотрела на меня, долго и внимательно, а потом сделала шаг навстречу и мягко положила руки мне на голову, погладила, расчёсывая волосы гребнем своих ладоней. Думаю, она сделала это, потому что продолжала меня любить.

Я сжал в ладони недоеденный пирожок так, что клочки прожаренной капусты полезли сквозь пальцы.

Договорились встретиться в «Евразии» на «Парке Победы». Я приехал первым, сел за столик, заказал холодный чай, закурил. Деньги лежали в кармане, сложенные тугой плотной пачкой, оттопыривали брюки, но не жгли, нет, не жгли. В ресторане работал кондиционер, и прохладный воздух обдувал лицо, руки. Прохлада перекинулась на мысли, и я в первый раз подумал о том, как именно буду убивать. Я представил, что стою перед насильником, смотрю ему в глаза… А что дальше? И в этот момент не то чтобы сомнение в задуманном проникло в сердце, но лёгкая тревога. Я твёрдо знал, что убью ублюдка. Убью. А что дальше?

Митяй зашёл в кафе развальной наглой походкой (так ходят коты по квартире), повертел головой, увидел меня, коротко кивнул. Следом за ним вошёл огромный мужик лет сорока. Не здоровый, не накачанный, а именно огромный, с надутым животом, налитой бычьей шеей, коротко стриженный. Одет он был в джинсы и обтягивающую футболку, в руках вертел барсетку. Они подошли, присели напротив.

— Это Борюсик,—представил мужика Митяй.

Тот протянул мне длинную нагантеленную руку. Пожатие его было вялым и ленивым, и вместе с этим ощутимая звериная сила сковала мою ладонь.

— Андрей.

— Вот и лады, вот и познакомились,—засуетился Митяй.

Глаза у Борюсика маленькие, прозрачно-голубые и опасные. В них не было жизни. Люди с такими глазами всё делают без колебаний. Борюсик смотрел на меня прямо, просто и пусто, и эта пустота обволакивала ворсистым коконом. Он проверял на прочность своим взглядом, как проверяет хищный зверь, кто перед ним стоит. Я, верно, не выдержал проверки, потому что Борюсик вдруг расслабился и усмехнулся краем губ.

— Мы голодные, закажи пожрать чего-нибудь,—обратился ко мне Митяй. Нет, не обратился. Приказал.

Я заказал им по «Филадельфии».

— Рассказывай,—произнёс Борюсик.

Голос низкий, прокуренный, каким и должен быть голос бандита. И только одна насмешка—легко грассирующая «р», как у Охлобыстина.

Я рассказал, как всё было, всё, что знал. Борюсик слушал, нехотя кивал, а сам смотрел в сторону. Он держал себя так, будто мой рассказ утомляет его; он, в общем, не имеет ничего против, но и вникать готов не более как вполуха. В конце рассказа он задал только один вопрос:

— В ментовку обращались?

— Нет.

— И не надо.

— Почему?

Борюсик скривился, коротко посмотрел на Митяя, и тот подхватил:

— Не по понятиям. Мы его найдём, а потом предъявить могут. Нехорошо. Не надо ментов.

— Как скажешь.

— Бабло принёс?

— Да.

Я достал деньги, положил на стол. Митяй торопливым жестом поддел пачку, начал считать. Борюсик продолжал смотреть в сторону, словно его это не касается, и только когда Митяй коротко кивнул: мол, всё верно,— открыл барсетку, и деньги шлёпнулись внутрь, как в бездну. Купюр он руками не коснулся.

Принесли заказ. Педиковатый официант жеманно расставил дощечки с роллами, подставки для соуса, аккуратно положил одноразовые палочки. И в первый раз в глазах Борюсика полыхнул интерес — озорной, с хулиганской искринкой. Официант разложил на столе заказ и повернулся, чтобы уйти, как вдруг Борюсик поднял свою тяжёлую руку и припечатал ладонь к тощей заднице официанта, звонко и со шлепком. Тот испуганно обернулся.

— Вы чего?

— На чай.

— Я охрану позову…— промямлил парень.

— Топай отсюда, Манька!

Официант впитал звериную взвесь в глазах Борюсика, и эта взвесь сковала ему язык, сломала чувство собственного достоинства. Он развернулся и засеменил к барной стойке.

— Развелось гомиков,— сказал Борюсик.— Да, Андрюха?

— Да,— ответил я.

— Мочить их надо. Как считаешь?

— Пожалуй.

— А чего ты так неуверенно?

— Мне всё равно.

— А ты сам, случаем, не из этих?

Он намеренно оскорблял, провоцировал. Ему нравилось ломать людей. Повисла тяжёлая пауза. Но ситуацию спас Митяй.

— Не надо, Борюсик. Он нормальный, отвечаю.

— Да ладно, расслабься,— он положил руки на стол.— Я вижу, что ты не гомик. Я эту петушарню за версту чую,— Борюсик шумно втянул воздух ноздрями.— Знаешь, чем они пахнут?

— Чем?

— Сладким страхом. Все люди боятся, все пахнут страхом, но у нормальных людей страх кислый, а у этих — приторный такой, слащавый.

Я покивал головой: мол, хорошо, понимаю.

— Ты ведь тоже меня боишься.

— Опасаюсь,— ответил я.

— Боря, завязывай,— встрял Митяй.

— Да подожди, я же просто разговариваю с человеком… Ты не бойся, я тебя не укушу. Хочешь, скажу, о чём ты сейчас думаешь?

— Скажи.

— Думаешь: чего это он до меня докопался? Думаешь, что я кинуть тебя хочу.

— Я так не думаю.

Борюсик угадал. Именно так я и думал. Именно такими словами.

— Думаешь, думаешь. Это нормально. Не бойся, не кину. Не потому, что ты такой классный парень. Просто репутация дороже.

Слово «репутация» прозвучало странно, случайно слетев с языка,— чужое, непривычное, из другого лексикона и мира.

— Когда? Какие сроки?

— Вот это другой разговор,— Борюсик разорвал бумажную упаковку палочек для еды, ловко зажал их в правой руке.— Может, пара дней, может, неделя. Если совсем трудно — две недели. Это предел. Но найдём по-любому.

Ели они с Митяем одинаково — жадно и размеренно, закидывая в рот прямоугольники роллов и резво перемалывая их крепкими челюстями. Даже кадыки ходили в такт. Было в этом зрелище что-то завораживающее. Так дети в зоопарке с восторгом и страхом смотрят, как едят медведи или львы. Передо мной сидели два зверя, два первобытных человека, никогда не знавшие, что такое совесть и мораль. Самое страшное — что они жили счастливо без этого знания.

Таких людей много. Мы каждый день проходим мимо них, задеваем краями одежды в метро. Зверь внутри них неявен, дремлет, чуть прикрыв веки, но готов проснуться в любой момент. Это плохие и сильные люди. Из них получаются хорошие бандиты и офицеры. Наверное, они зачем-то нужны Богу. Ну, например, затем, чтобы находить насильников. Или воевать, убивать врага. У каждого своё предназначение. Нужно только понять его, а поняв — следовать, не сворачивая. Вот Борюсик понял своё предназначение и свято следует ему. «Блаженны нищие духом» — это про него, про таких, как он. Но если «его есть Царствие небесное», то к чёрту такое Царствие.

— Я всех этих черножопых тоже не люблю.

Он закончил есть, вытер губы влажным полотенцем.

— Но они сильные,— продолжил Борюсик,— и они победят. Тебя, меня — всех сожрут, всех на ножи поставят. Не скоро, конечно, не сейчас, но так будет. Главное — не прозевать вспышку и вовремя свалить. А оно начнётся. Лет пять-семь ещё — и начнётся. Как считаешь? Вот ты умный, институты кончал, так скажи.

— Не начнётся.

— Ну-ну.

— Не начнётся. Мы сильнее. И они знают это.

— Кто это — мы? Кто такие — мы?

— Русские.

— А ты — русский?

— Я — русский.

— Хрен тебе. Кончились русские. Одни россияне остались, понимаешь… Я тоже русский, без всяких, типа, там татар, жидов. Чистокровный, короче. Мой дед ещё чеченов в Казахстан провожал. Так что родословная там, все дела — чики-пуки. И я

тебе как русский русскому говорю: мы кончились, нет больше такого народа. Ты мне можешь туда-сюда там, всякие, типа, доводы. Но это пурга. А ты в окно вечером посмотри: хачи девку тискают, та, типа, на измене вся, орёт, и хоть бы кто-нибудь вышел и помог. Ты не выйдешь, я не выйду, никто не выйдет. Вот твою бабу приходовали—и никто не вышел. Ни один русский не подорвался. Ты сейчас, типа, народный мститель такой, Рэмбо, первая кровь. А ты мочканёшь чурку, а тебя же и закроют в ментовке. Сечёшь? Потому что русский русскому—волк. Нет больше такого народа. Нет нас. Каждый сам за себя. Запомни это.

Он тяжело поднялся, вытер руки о штанины.

— Всё, бывай. Митяй тебе позвонит.

Митяй тоже поднялся, тоже степенно, имитируя важность.

— Будь на связи,—вставил он свою фразу.

— Пока, Манька. Я ещё приду,—прокричал Борюсик в конец зала, помахал официанту рукой.

И, обернувшись ко мне, вдруг провёл ладонью по моей щеке. Жест этот был внезапным, угрюмым и неприятным. Как будто наждачкой по коже. Я так и не понял, что он хотел сказать этим жестом. Что я проиграю? Меня зарежут? Он прав? Что он хотел сказать?

— Подумай там на досуге.

И вышел вон. Через несколько минут официант принёс счёт, небрежно бросил его на край стола, посмотрел на меня—презрительно так и со значением.

Жара ушла внезапно. С залива потянуло свежестью, и город, взмокший от бессилия, облегчённо выдохнул, перетерпев невыносимую духоту. Дразнящий вкус надежды наполнил рот радостной слюной, и оттого, что дышалось полной грудью, оттого, что лёгкие наполнились солоноватой прохладой, жизнь обрела подобие смысла, утраченные было лёгкость и простоту.

Автобус, набитый до отказа дачниками, котомками, рюкзаками, саженцами, трясся с какой-то жеребячьей бодростью. Из открытых форточек дул в лицо ветер, путал волосы и мысли, гул дороги казался родным, звучал трепетной прамузыкой из древних времён. Я ехал к деду. За окном ожили деревни, работали бабы на огородах, мужики ковырялись в своих стареньких автомобилях, облаивали шоссе дворовые собаки. Картины нехитрого быта проносились перед глазами, как кадры из немого кино. И не было ни одного человека на планете, кто смог бы мне объяснить: отчего так спокойно стало на душе?

Пассажиры ехали молча, редко перекидываясь друг с другом ничего не значащими фразами. Простые натруженные лица, усталые, желтоватые, грубые. И такие настоящие, что сердце моё наполнилось радостью правильной компании. Это когда ты никого не знаешь, но по глазам угадываешь не высказанное вслух единение, такую простую пшеничную теплоту, для которой и слов не требуется.

Автобус притормаживал на каждой разбитой и потрёпанной остановке, вываливались люди, пропуская выходящих, принимая у них рюкзаки, тележки, подавая руку дряхлым старушкам, которые до самой смерти будут ездить в свои деревни, ковыряться в грядках, ругать правительство и верно за него же голосовать. И всё это было естественно, без противоречий. В жестах не было фальши или надрыва. Просто мир наполнялся правильным и прозрачным содержанием. В таком мире хотелось жить всегда, дополняя его собой, становясь единым целым со страной, с народом, со всем тем, что дорого сердцу и за что жизнь свою не жалко отдать.

Деревня цвела зеленью, дорожная пыль оседала на обуви, солнце било прямо в глаза. Всё было таким же, как и вчера, как год назад, каким было ещё до моего рождения. И это постоянство давало точку опоры, незримую твёрдость хода истории, которая сквозь развалы государств, бунты и революции упрямо движется к своей цели. В большом городе это чувство утрачивается, и только на селе понимаешь со всей отчётливостью: у человечества есть цель, и цель эта—достичь рая на земле, и не может быть у людей другой цели.

Подходя к дому, я услышал собачий лай. Динка заливалась тревожно и злобно, этот лай рвался с цепи, был пронзительным и щемящим. Я ускорил шаг. Неприятное чувство закралось в сердце.

Свернув на свою улицу, я увидел деда. Он стоял у ограды, над ним нависали два здоровых мужика лет за сорок. Один—толстый, мясистый, похожий на откормленного борова. Второй—худой и длинный. Громко жестикулировали, трясли кулаками у самого лица. А дед стоял, уперев руки в бока, прямой и гордый, и что-то резко отвечал им. Слов было не разобрать—собачий лай заполнял собой всё пространство.

Внезапно толстый и красномордый нагнулся, поднял обломок кирпича с дороги и с силой запустил в собаку. Дина завизжала, заскулила от боли, и тут же, секунда в секунду, дед выбросил вперёд руку и плотно, цепко схватил мордатого за кадык, пригибая к земле, что-то яростно крича ему в лицо, вколачивая слова в мясистый нос, хомячьи щёки. Длинный навалился на деда сзади, повалил его на землю… И я рванулся вперёд. На ходу слетала шелуха цивилизации, с каждым шагом глаза наполнялись яростью и восторгом.

Я с лёту ударил мясистого прямой ногой в живот. Тот согнулся пополам, ойкнул в сторону. Растерянно поднялся длинный. Не давая ему опомниться, я двинул ему кулаком в челюсть. Он сделал шаг назад, кулак прошёл мимо, и я на

мгновение потерял равновесие. Этой доли секунды ему хватило, чтобы ударить меня локтем по затылку, снизу вверх. Голова взорвалась. Я ткнулся лицом в забор, не успевая выставить вперёд руки. Но уже дед поднялся и рванул его за шиворот на себя, заваливая на землю. И сразу стал топтать ногами. Я мгновенно вскочил, преодолевая звон в голове, обернулся к мясистому.

Тот стоял в трёх шагах, дрожал всем телом и сипло дышал с присвистом. Смотрел на меня зло и затравленно. Но уже не вмешивался. Я оттащил деда.

— Хорош, хорош…

— Суки, фраера!

Дед раскраснелся, трудно дышал.

— Всё, Касатоныч, всё… Погорячились… — произнёс мясистый, выставляя вперёд руки.

Длинный тяжело поднимался, держась рукой за голову. Из рассечённого лба капала кровь.

— Кадыки повырываю!

— Всё, всё, непонятка вышла…

Мужики уходили, пятясь спиной.

— Только суньтесь ещё — зарублю!

И мне, и мужикам стало понятно, что зарубит, не дрогнет рука.

— Всё, всё…

Мужики нырнули в соседнюю калитку, скрылись в глубине двора.

— Соседи? — спросил я.

— Дешёвки.

Потом обернулся ко мне, прищурился:

— Это ты вовремя. Я бы один не сдюжил. Старый уже. Лет двадцать назад они бы у меня кровью харкали.

— Ничего, теперь я есть.

Мы весело засмеялись.

— Ну, пойдём в дом.

Дед налил из бака воды в чайник, поставил его на плиту.

— Суд-то я выиграл, — начал дед, приводя в порядок дыхание. — Эти мерзавцы не явились, да и чёрт с ними, решение суда уже есть, у меня в кармане. Так они такую вонь подняли, всю деревню против меня настроить хотели. Мол, это я у них землю захватываю. Понимаешь? Но народ не обманешь. Все видели, люди не дураки. Большинство на моей стороне. Сроку им дал неделю. Чтобы баню разобрали, сарай свой снесли. Не то сожгу, сказал. Они чуть не обделались от злости. А против государства не попрёшь… Вот пришли права качать.

— Позвонил бы мне, я бы подъехал.

— А ты и так подъехал.

— Поздравляю, дед.

— Землю нельзя бросать.

— Ты молодец.

— Учись, пока я жив… А ты чего один? Где зазноба твоя?

— Дома.

Что-то не понравилось ему в моём голосе.

— Случилось что?

— Случилось.

— Давай рассказывай.

И я опять начал рассказывать, с удивлением отмечая, как от частого повторения притупляется боль. Добавилось новое чувство — горчащее онемение. Так ноет зуб после новокаина. Надо бы его удалить, а ты всё латаешь, ставишь пломбу на пломбе, всё держишься за него, как за молодость. И боль становится частью этого зуба, сверлит от холодного и горячего, но никогда не уходит насовсем. Ещё возникло чувство гадливости к самому себе: раскрывая чужую тайну, я каждый раз раздевал Славу; а у неё руки за спиной связаны, она не может прикрыть свой стыд.

Когда я рассказал главное, дед встал, подошёл к окну и всё остальное слушал спиной. Только кулаки сжимались и разжимались, а шея налилась багровым. Он смотрел сквозь окно — сквозь забор — сквозь дорогу — на кусок земли в пять соток, который отвоевал, отбил, вернул во владение. И затылок его наливался яростью.

Я закончил рассказывать. Повисла пауза, и он спросил, не оборачиваясь:

— Что делать будешь?

— Дед, мне помощь нужна, — ответил я.

— Я спрашиваю: что ты будешь делать?

— Послушай, есть люди… Они не очень хорошие, бандиты, короче. Они могут найти…

— Что ты задумал?

— Мне ружьё нужно, — выпалил я.

Упала тишина. Дед обернулся и посмотрел на меня долгим взглядом узнавания, выцарапывания из прошлого, из детства. Он не проверял на прочность мою решимость, ни о чём не спрашивал своим взглядом, не возмущался. Просто долго смотрел мне в глаза. Так долго, что тишина загустела и стала выдавливать меня из дома. Наконец он сказал:

— Убьёшь?

— Убью.

— А дальше?

— Не знаю, видно будет.

— Как жить с этим будешь?

— Мразь должна быть наказана. Легко буду жить. С чистой совестью.

Мы помолчали.

— Скажи, дед, — начал я, — а ты убивал?

— Бог миловал. Крови на мне нет.

— Что бы ты сделал на моём месте?

— Не знаю, не знаю…

— Ты сам говорил, что землю защищать надо. Так вот, Слава — моя земля, моя Родина, моё небо и мои берёзки. Если я откажусь от этого, кто я буду?..

— Вот и надо было защищать берёзки, а не ханку жрать.

— Дед, дай ружьё.
— Не проси. Хочешь самосуд вершить—дело твоё. Раньше надо было думать. А теперь всё, дело сделано, беда пришла, её не исправишь. А от крови не отмоешься.
— Дед.
— Не проси, сказал.

И вдруг тяжёлый ком подкатил к горлу. Дед—он упрямый. Если чего решил—не перешибить. Но ком от другого, от невысказанного. Если бьёшься за правду и не побеждаешь—что тогда? Может, ты и не за правду сражался? Кислое чувство предательства наполняло этот тяжёлый ком. И ещё: казалось, не дед, а Бог от меня отворачивался.
— Я всё понял. Спасибо тебе.
— Андрюха…
— Поеду я.

Я встал, закинул рюкзак на плечо… И в этот момент Бог обратил на меня свой взор, прищурился, как он умеет, и властной дедовской рукой остановил.
— В кого ты такой?—спросил Бог.
— В мать.

Я знал, что Он меня любит, как своего Сына, взмолившегося о милости в Гефсиманском саду.
— Будет тебе ружьё.

Я уехал тем же днём, на последнем автобусе. Перед этим дед сделал из ружья обрез. Мы спустились в мастерскую, дед зажал ствол в огромных тисках, вмонтированных в металлический верстак, достал ножовку.
— Болгаркой нельзя,—сказал дед.—Рука дрогнет—всё вкривь пойдёт. Ножовочкой, не спеша…

Он начал пилить. От патронника отступил сантиметров пятнадцать-двадцать, на глаз.
— Может, ближе?
— Отдача сильнее будет, разок шмальнёшь—кисть вывихнешь.
— Ясно.

Запахло металлической стружкой. Пилил дед долго, размеренно и настойчиво, инструмент стал продолжением его красной, твёрдой, со вздувшимися венами руки. Так роднятся с инструментом мастера, титаны, люди из особого сплава воли, железа и нравственности. Сейчас мало таких людей, источилась порода.

Минут через двадцать лопнула горячая пила. Дед сплюнул:
— Пилы—дрянь. Разучились делать.
— Запасная есть?
— У меня всё есть,—он ласково улыбнулся.

Заменил пилу, протянул мне:
— Давай-ка поработай.

Я начал пилить, придерживая левой рукой гладкий чёрно-коричневый ствол. В мастерской было прохладно, но от оружия вдруг повеяло жаром, ладонь почти обжигала воронёная сталь.
— Ровнее пилу держи.
— Хорошо…

Энергия дела, рабочего инструмента и прорастающей правоты накачала руки силой: я не чувствовал усталости, хотя пилил напряжённо и долго. На лбу выступили капли пота, сердце застучало быстро и мощно, выходя на новый уровень перекачки крови. Наконец ствол начал гнуться от собственного веса.
— Сейчас аккуратно, не ломай,—предупредил дед.—Поддерживай рукой, а пили легонько, осторожно, до конца.

Я так и сделал. Ещё десяток-другой осторожных движений—и ствол отпал от ружья, как хвост змеи.
— Дед, откуда ты всё знаешь?
— Учителя были. Хорошие.

Он взвесил оружие в руках, любовно погладил приклад.
— Пристрелять надо. Видишь заусенцы?
— Ну.
— Пуля кувыркаться будет, может в сторону уйти. Один залп надо сделать заранее.
— Я понял.
— Сам уже…
— Да-да.

Дед помолчал, а потом протянул мне обрез и сказал:
— Сохрани. Пригодится ещё.
— Зачем?
— Война скоро начнётся.
— Какая война?
— Последняя.
— С Америкой, что ли?
— Со всеми. Все со всеми воевать будут. Белый с негром, эскимос с арабом, русский с хохлом. Брат брата убивать начнёт. Люди скурвились, землю расшатали—так не может долго продолжаться. Бог не фраер, вечно терпеть не будет.
— И что тогда? Обрез спасёт?
— А это—смотря что спасать будешь.
— Ты бы что спасал?
— Любовь.

Так странно было от него слышать это слово, что я невольно вздрогнул.

Он провожал меня у калитки, вдруг состарившийся разом, согнувшийся и опавший. Летний ветер трепал его короткие седые волосы. Запотели глаза.
— Андрюха,—вдруг рванулся он.

Я подбежал к нему, обнял.
— Да, дед! Да!

Он крепко сжал мои плечи, до боли въелся узловатыми пальцами, до синяков, силясь прорасти в меня, стать одним целым.
— Задай им копоти!—прохрипел, затряс.—Чтоб долго помнили кровь касатоновскую!
— Сделаем.
— Вот это разговор, вот это по-нашему.

Он потрепал меня по голове на прощание.
— Иди давай…
Я ещё не знал, что вижу деда в последний раз.

11. Полковник

Потянулись дни ожидания, прокуренные и пустые. Время воняло жжёной резиной. Минуты набивались в рот, и я не успевал их пережёвывать, сплёвывал эту клейкую кашу, но время липло на языке и дёснах, секунды забивались в дырки зубов, ударяя в носоглотку горклым послевкусием. Спасала водка.

Я покупал с утра бутылку ноль семь и растягивал её на весь день. На улицу старался больше не выходить. Бродил по гулким опустевшим коридорам общежития, примеривая на себя каменные стены, как мешок с веригами. Звук шагов, кашля, кастрюли с падающей крышкой — это был мой добровольный обет. Я укутывался в эти редкие звуки, намеренно гремел кастрюлями, чашками, плошками — лишь бы не слышать тишину. Иногда громко и без надобности произносил вслух какое-нибудь слово, лишь затем, чтобы убедиться: я ещё не разучился говорить. Когда одиночество становилось невыносимым, я выпивал стопку водки. Алкоголь успокаивал, примирял меня с пустотой коридоров и самим собой; давал зыбкий шанс удержаться на плаву, не рухнуть в безумие. Телефон молчал. Я ждал звонка от Митяя, как осуждённый ждёт объявления приговора. И всё ждал, ждал, когда же он позвонит. И всё надеялся, что он не позвонит никогда.

К вечеру водки не оставалось, а алкоголь после десяти не продавали. Я знал одну рюмочную на улице Типанова, она работала круглосуточно, но заставлял себя не ходить и ждать до утра. Под утро я всё-таки засыпал и спал мрачным вспотевшим сном до обеда. Несколько раз на дню звонил Лёха. Я не брал трубку. Мне нечего было ему сказать.

Однажды я встретил мужика. Сумасшедшего. Встретил около той самой рюмочной. Тяжёлое серое лицо, седая борода, основательный взгляд… Что-то в нём мне показалось знакомым, с глубоко заброшенным крючком узнавания. Я смотрел на него, копался в памяти, а потом он заговорил, и я вспомнил.

— Где твой гараж? — спросил он, подойдя ко мне вплотную, так что стал слышен застоявшийся запах нездоровой кожи.
— Что? — переспросил я.
— Гараж, говорю, где? Потерял?
— Потерял.
— Все вы теряете, а я ищи…

Я видел его в метро полгода назад, он тогда тоже что-то кричал про гараж. Обычно такие не переживают зиму, а этот дотянул, докряхтел. И весь он был такой внезапный, забавный, что я не удержался и угостил его водкой. Он выпил спокойно и легко, как воду, и сразу указал пальцем на пустую стопку: мол, надо бы повторить. Я заказал ещё по одной. Он так же, без эмоций, выпил, не закусывая, только утёр рот засаленным рукавом пиджака.

— Губы горят, а потушить нечем.

Я кивнул.

— Баба кряхтит, тужится, а ей всё мотоцикл спать мешает. А чего мешает?
— Не знаю.
— Гараж нужен.
— Шёл бы ты, отец…
— Тащить на себе надо. НА-СЕ-БЕ! — прокричал он по слогам.

Продавщица за стойкой недобро скосила глаз. Меня вдруг охватила горячечная, трясущая злоба.

— Топай, говорю, резче!

Старик удивлённо на меня посмотрел, взмахнул кривыми руками. А я, подчиняясь пляшущему во мне чёртику, схватил старика за ворот пиджака и выволок болезного на улицу. Вдогон толкнул его ногой в спину, так что псих засеменил вперёд, не удержался и упал лицом на асфальт. Хлынула кровь из носа. Мне тут же стало и стыдно, и паскудно, и приятно… За углом кривлялась мохнатая недотыкомка, строила мне рожи и озорно подмигивала.

Я вернулся в рюмочную, взял ещё водки, залпом выпил.

— Зря ты так, — произнесла продавщица. — Он больной человек.
— Я не хотел…
— Все вы не хотели. У него дочь убили. Заперли в гараже и насиловали, пока не умерла. Вот он и тронулся.
— Чёрные?
— Нет, русские. Малолетки отмороженные. Их поймали, судили.
— А вы откуда знаете?
— Он местный, наш алкаш. Жалко человека.
— Простите…
— А мне-то чего? Брать ещё будешь?

Я поколебался.

— Да, ещё одну… Нет, две. И лимончика.

Продавщица налила водку и усталым движением поставила на край стола. Я выпил две стопки подряд, заедая лимоном, перебивая кислотой трудное сивушное послевкусие. В желудке потеплело, голова поплыла. Захотелось спать. И ещё я понял, что надо идти домой. Не имея дома, я знал, что нужно идти домой. Нужно хоть куда-то идти…

У ворот общаги стоял Лёшка, неторопливо курил и ждал.

— Здоро́во, друг, — начал я.

Лёха не ответил, смерил меня взглядом, крякнул.

— Что, не нравлюсь?
— Не нравишься.
— А чего припёрся тогда?
— Тебя, дурака, из запоя вытащить.

— Это ты зря.
— Поглядим. С водкой завязывай, переходи на пиво. Я купил пару банок. Хочешь?
Он достал из пакета две «Балтики №7».
— Нет.
— А будешь? — улыбнулся Лёха.
— Давай.
Он протянул мне холодную, запотевшую банку, с пшиком и пеной открыл свою.
— Пойдём где-нибудь в парке посидим.
Мы двинулись в сторону метро.
— Ты что, — спросил я, — серьёзно приехал меня из запоя вытаскивать?
— Нужен ты мне… Просто ты, когда бухаешь, трубу наглухо выключаешь. А тут… Телефон включён, трубку никто не берёт. Подумал, может, случилось что.
— А-а-а…
— Нет, правда, чего трубу не выключил?
— Звонка жду.
— Тогда ясно.
Какое-то время мы шли молча, и я подумал, что вот Лёха здесь, передо мной, и мы разговариваем. И мне есть что ему сказать. И всё это было так странно и так нужно, что хотелось зажмуриться, как в детстве перед прыжком в воду.
— Лёха…
— Что?
— Спасибо, что приехал.
— Да иди ты, Вознесенский.
Мы сели на лавочке, я открыл свою банку пива, жадно выпил половину.
— Мне тут сон приснился, — начал Лёха. — Представляешь, полковник приснился. Будто у нас с Настей свадьба, все поздравляют, горько кричат, а тамадой — полковник. Только не веселит ни хрена, а всё за Россию говорит, жизни учит… Ну помнишь, тот странный тип, мы пару лет назад его в кафе каком-то зацепили?
И я вспомнил.

Летнее кафе было забито под завязку. Мы с Лёхой нашли один столик, за которым сидел дед в клетчатой рубашке и прихлёбывал чай. Кружка его дымилась, и он пил одними губами, с бульканьем втягивая в себя напиток, краснея и потея от удовольствия. Он посмотрел на нас и, ни мгновения не задумываясь, кивнул на два свободных стула. Мы благодарно кивнули в ответ и заказали два пива у возникшей из воздуха официантки. Пока оформляли заказ, я присмотрелся к деду.
Он был похож на жёлтое подсыхающее яблоко. Невысокий, но при этом основательно скроенный, жилистый и бугристый. Седые коротко стриженные волосы, морщинистое лицо и впалые голубые глаза. И огромные мешки под глазами, даже не мешки, а набухшие дуги, какие бывают или у алкоголиков, или у очень больных и очень усталых людей. Комичность образу придавали острые растопыренные ушки, как у хоббита. Прямой острый нос, тонкие губы, плотный каменный подбородок. Именно подбородок выдавал породу, но не аристократическую, не дворянскую, а какую-то особую русскую, тянущуюся из правремён. Будто этот дед ведёт свой род от Ильи Муромца или Святогора, и былинная стать явила себя в этом крепком мужском подбородке. И ещё плечи: прямые, выправленные, но не статичные, а готовые в любой момент спружинить. На них давит невидимый глазу груз, и они чуть проседают от непомерной тяжести, но не ломаются. Потому что у таких людей особый позвоночник. Из стали, что ли… Лицо его было обветренным и загорелым, таким въедливым пустынным загаром.
— Я раньше тоже пивом баловался, а теперь вот чаёк, — начал дед.
— А вы попробуйте, — подхватил Лёха. — Вкусно! Холодненькое!
— Нет уж, спасибо. То, что вы пьёте, простите, не пиво, а пойло. Для скотов.
— Так уж для скотов?
— Настоящее пиво я пил только в Германии, и то это было много лет назад… Вы не обижайтесь, просто я привык называть вещи своими именами.
— Путешествовали?
Дед усмехнулся.
— Нет, служил. В Восточной Германии мой путь начинался. Военная часть находилась в восьми километрах от Берлина, так мы после отбоя ремни подтянем — и марш-бросок. Местные бары круглосуточно работали. Тогда это было в новинку для советского офицера. До трёх часов кружек пять успевали выпить. Вот это был вкус. До сих пор помню.
— С колбасками?
— Зачем с колбасками? С курицей. А потом бегом обратно. Пока добежим до части — хмеля как не бывало. В четыре — по койкам, а в шесть ноль пять — зарядка в бригаде. Будь как штык.
— Вы военный? — угадал Лёха.
— Полковник разведки в отставке. Владимир Васильевич меня зовут.
Дед шумно отхлебнул из чашки, зажмурился от удовольствия. Мы по очереди представились.
— А сейчас чего не пьёте? — спросил я. — Здоровье?
— Принципы.
— Какие такие принципы? Если не секрет, конечно.
— Не секрет. Вам сколько лет, молодой человек?
— Двадцать восемь.
— Вы служили?
— Так точно, — ответили мы хором и невольно подтянулись от засевшего в подкорке рефлекса.
— Я в ваши годы батальоном спецназа командовал в Забайкалье. И пил как конь. Вообще много в жизни пил, как большинство военных, о чём сейчас глубоко сожалею. Чуть больше десяти лет

назад я познакомился с одним выдающимся человеком, не буду называть его фамилии. Он открыл мне глаза на многие процессы, что происходят в нашей стране. Происходили раньше и происходят прямо сейчас, просто мы их не замечаем, нам о них не говорят. Там много линий, некоторые переплетаются, некоторые идут параллельным курсом. Одна из этих линий — спаивание русского народа. Так уж сложилось, что слаб наш человек на это дело, ни выдержки нет, ни закалки. Спивается очень быстро, зато никогда себе в этом не признается. Уже двадцать лет страну спаивают в невиданных до того масштабах. Это настоящая война. Я знаю, о чём говорю. Я не могу изменить этого, тут на государственном уровне надо действовать. А кому действовать? Этому, что ли, наномальчику? Но я могу не пить сам и детей и внуков воспитывать в трезвости. Это немного, но я это делаю.

Лёха достал пачку сигарет, положил на стол, но полковник отреагировал быстро и внятно:

— Прошу вас не курить. Не переношу табачного дыма.

Мы переглянулись. Лёшка глазами мне показал: мол, давай сваливать, клиент не в себе, — но что-то было в этом старике неподкупное и настоящее, что так редко встречается в людях. Не знаю, как это обозначить… Готовность нести свой крест, что ли? Правота вопреки. И я отрицательно покачал головой. Жест этот не укрылся от старого разведчика.

— Я, собственно, никого не держу. Это вы ко мне подсели — не я к вам.

— Всё в порядке. Скажите, я нигде раньше вас не мог видеть?

Было знакомое что-то в его лице, в выражении упрямых синих глаз. Полковник усмехнулся:

— Не знаю, не знаю…

— Ощущение какое-то странное. Будто знаю вас давно.

— Это всё пиво.

— Пожалуй.

Мы легко улыбнулись друг другу. Старик внимательно на меня посмотрел, и в углах глаз впервые прорезалась теплота.

— Вот вы полковник, — заговорил Лёха, — а по вам не скажешь. На доброго старичка похожи. Такие с внуками в солдатиков играют, по грибы ходят с лукошком.

— Внешность обманчива.

— Ещё и разведчик… Я помню разведосов в нашей роте — на голову отмороженные. Вы воевали?

— Было дело.

— А где?

— Много где.

— Приказы отдавали, людей на смерть посылали… Как живётся с этим? Сны не снятся?

— Нет, — произнёс старик. Немного помолчал и добавил: — А ведь ты тоже повоевал?

Лёха не ответил. Молча изучал полковника, оценивая не глазами, но каким-то точным измерительным прибором.

— Война у тебя в глазах сидит, парень. Её не спрячешь уже никогда. А на твой вопрос я так отвечу: мы солдаты; это больше чем профессия — это судьба. Тебя она выбрала случайно, а я такую судьбу сам выбрал. И ни минуты в своей жизни не пожалел. Всегда знал, что рано или поздно должен буду погибнуть в бою. Всегда был к этому готов. Я и сейчас готов. А если нет в тебе этого знания, если ты его с жаждой жизни не примирил, тогда и офицером становиться незачем. Да, в моей бригаде гибли ребята. В Афгане гибли, в Азербайджане, в Таджикистане. Меньше, чем в других подразделениях, но гибли. И похоронки писали мои ротные. И гробы развозили. Всё это было. Затем было, чтобы ты в школе спокойно учился, наркоты не знал, чтобы родители твои ходили на работу. Чтобы у них была эта работа. В моей бригаде каждый готов был умереть. Представь себе, за Родину. Сплю я спокойно, и совесть меня не мучает, потому что я никого не оставил на поле боя. Живые или мёртвые, но вернулись все. Мои пацаны погибали, и сам я погибал вместе с ними. В штабе не отсиживался. За это имею награды. Я свою смерть в глаза видел вот как тебя сейчас, лицом к лицу. И врут про то, что она старуха. Вполне себе сочная баба, только глазницы пустые и бездонные.

Лёха отвернулся.

— Паршиво воевали.

— Уж как умел. Ты, выходит, лучше?

— И я паршиво. Вроде победили, а вроде и проиграли. «Чехи» лезгинку пляшут на площадях, на «бэхах» разъезжают. В моём городе. В моей стране. Мерзко всё это.

— А кто виноват?

— Ясно кто.

Полковник допил чай одним широким шумным глотком, поставил чашку на стол и медленно, внятно произнёс:

— Ты виноват.

— Я?

— А ты как думал?

— Никак не думал.

— Мало задавать правильные вопросы. Надо бы ещё честно на них отвечать. Если прикрыться хочешь — это одно дело. Но себя не обманешь. В том, что происходит сейчас со страной, виноват каждый русский человек. Когда развалили Советский Союз, когда рухнула великая советская империя, распалась на части — в этом был виноват я. Когда в Беловежской пуще горстка предателей перекроила карту — это я не досмотрел. Когда в Чечне с девяносто первого по девяносто третий вырезали русских людей, женщин, детей, стариков — это с моего молчаливого согласия творилось. Когда в

среднеазиатских и кавказских республиках людей выгоняли из их домов, плевали им в лицо, убивали и жгли — это я виноват. Когда в одночасье миллионы людей лишились Родины, остались без денег, без крыши над головой, когда матери продавали на панель своих детей, когда нищие били в кровь друг друга за глоток портвейна, когда немыслимая грязь упала на улицы городов — это всё я устроил!.. Когда потопили «Курск», когда закрепили уворованное, когда взрывали дома в Москве и Волгодонске, метро и вокзалы взрывали — это всё я, понимаешь, я сидел сложа руки. Когда лились водопады водки, когда русские люди вымирали по полмиллиона в год, когда хлынула наркота из когда-то братских республик — это моих рук дело. Я, русский человек, боевой офицер допустил насилие над своей Родиной. Я, дававший присягу защищать свою страну, — прозевал вспышку. А раз я виноват, то мне и исправлять. И когда каждый русский мужик честно признает свою вину — только тогда есть шанс уничтожить нелюдь.

Полковник говорил зло и увлечённо. Глаза его наливались яростным, глыбистым льдом, разбрасывали этот замес во все стороны. Каждое произнесённое им слово мгновенно набирало вес и впечатывалось в наши лбы, в мостовую, в столбы и рекламные вывески, рвало городскую мишуру, гнуло дорожные указатели и утверждало правду — одну на всех. И эта правда заразила нас, меня и Лёху, хотелось, чтобы полковник продолжал говорить, объяснил, что нужно делать, как жить дальше с этой правдой. Он просто и ясно озвучивал всё то, о чём каждый из нас много думал, но не удосужился оформить в слова. Но мысль пуста, только в слове она обретает плоть и звон. Куда-то делся старичок-лесовичок, вместо него перед нами волхвовал мудрец, провидец и вождь. Он просто говорил правду — и сердца наши зажглись.

Лёха слушал внимательно и жадно, поминутно тянул руку к пачке сигарет, но тут же одёргивал сам себя. Я отметил, как часто и задиристо стучит моё сердце.

— Только предатель или псих будет утверждать, что всё у нас хорошо, — продолжал полковник. — Вы посмотрите, сколько жидов окопалось в правительстве, на экране телевизора сплошные пархатые рожи. Со всех телеканалов, со всех газет и журналов льётся мерзость с утра до вечера. Неостановимый поток. Это уже не страна — это авгиевы конюшни. Всё пропитано этим дерьмом, этой мертвечиной. Медицину уничтожили, сельское хозяйство на ладан дышит, образование загнали в гроб. А теперь эти мрази и до семьи добрались. Крепкую русскую семью сводят на корню, зелёный свет геям и извращенцам. И слова-то какие придумали: тренд, толерантность, меньшинства, европейские ценности. Страна находится в оккупации. Мы живём с вами в оккупированном государстве. И самое страшное, что эта оккупация не видна. Но скоро уже зверь вскроет свои карты. И ему на помощь хлынут вурдалаки с Запада.

Лёха вздрогнул:

— Какая-то теория заговоров.

— Есть старый добрый анекдот для таких, как ты. Стоят коровы на бойне, и вдруг одна говорит: «Сёстры, что-то здесь не то. Кровью пахнет, люди с острыми ножами ходят... Мне кажется, нас всех хотят убить». А ей отвечают: «Иди к чёрту, ты уже всех достала со своей теорией заговоров». Вот такие дела. Вы можете сейчас не верить или смеяться, но вспомните мои слова, когда натовский сапог начнёт топтать русскую землю. Жаль, поздно будет.

— А он начнёт?

— У него одна дорога: на восток. Но не всё так просто. По земле идти — не вариант. Нужно несколько дивизий отправить — либо с Польши (эти согласятся), либо через Белоруссию, либо через Украину, через юго-восток. Но там славянские, братские народы, они эту нечисть не пропустят. По воздуху тоже нелегко. Расчёт для десанта производится очень просто: количество часов или суток, которое десантники в состоянии вести активные боевые действия. Их задача — парализовать врага на короткое время, за которое к ним подтянутся основные силы, тылы, связь, обеспечение и так далее. В этом и только в этом заключается смысл тактического, оперативного или стратегического десанта. Без поддержки основных сил десант обречён. Батальон в тылу врага сможет продержаться сутки. Полк — двое суток, ну трое. Дивизия — пять суток. Есть исключения в практике войн, но в целом картина именно такая. Всегда есть предел, и он очень короткий. Представить себе, что НАТО забросит к нам целую дивизию, — нереально. Это порядка тысячи самолётовылетов быть должно. С моря нас тоже не взять. Кликуши ругают наш флот; правда, он не тот уже, что был в Советском Союзе, но и недооценивать его не стоит. Подводный флот в Северном и Балтийском морях надёжно несёт свою боевую вахту. С ядерным вооружением на борту. И на Западе это знают.

Полковник замолчал, внимательно посматривая на нас, не договаривая самого главного.

— А что тогда? — спросил я.

— Ракетный удар.

Полковник разворачивал перед нами карту апокалипсиса, зарисовки к третьей мировой войне, и, странное дело, он не казался нам сумасшедшим. Он оперировал полками, дивизиями, стратегическими бомбардировщиками так просто, как я переставляю книги в своей библиотеке. И от этой будничности веяло холодом и знанием дела.

— Нам нечем ответить. Все наши хвалёные комплексы, эти «Тополя» и «Искандеры», — не просто вчерашний день. Это древность, которая всерьёз

никого не пугает. Их система ПРО пока ещё не готова сдержать весь ракетный потенциал России, но скоро приготовится. Время работает против нас. Есть такое понятие в военном планировании: допустимый урон. Вот когда урон от нашего вооружения станет для них допустимым—в ту же секунду они нанесут удар. И не спасёт нас наша развалившаяся противоракетная оборона. И авиация нас не спасёт. Из ста самолётов—десять летают. На полк—два-три офицера могут поднять их в воздух и выполнять боевые задачи. Шамана знаете? Генерала Шаманова?

— Слышали,—ответил я.

— У него в Чечне на всю группировку войск было семь вертолётов. Семь! Ты понимаешь, какая это позорная цифра? У меня в Афгане на батальон было восемь «вертушек». А тут семь на целую группировку. Это уже не позор. Это предательство. Армия развалена к чёртовой матери.

Я не замечал, как полковник начинает противоречить сам себе. Я просто слушал его с открытым ртом. Не потому, что он говорил зажигательно или увлечённо, просто за долгое время я наконец встретил человека, который знал, что надо делать, у которого были ответы на все главные вопросы русского мира. И он нёс своё Слово легко, честно и с прямой спиной. Именно этой спине я верил.

— Сердюков разваливает,—вставил Лёха.

— Сердюков—это пешка. Большого значения он не имеет. При чём здесь вообще Сердюков? Он, что ли, военные реформы проводит? Он даже слов не знает «полк», «дивизия», «бригада» или «рота». Армию разваливают государственный изменник Путин и государственный изменник Медведев. А вообще всё это управляется Западом, реформа по одностороннему разоружению Российского государства. Вы вспомните конфликт в Осетии, не так давно, на наших глазах всё произошло. В течение полутора суток высшее военное и политическое руководство страны наблюдало, как гибнут сотни мирных жителей, как расстреливают миротворческий батальон. В ноль часов грузинская артиллерия начала обстрел Цхинвала. В три утра грузинские танки вышли на подступы к городу. За три часа в современных условиях вся война может закончиться, а эти упыри ещё сутки ждали. О чём это говорит? Да только об одном: армия неспособна реагировать молниеносно. Да, потом мы ввели войска, танковые и другие наземные группировки. Но кто бы нам позволил это сделать без господства в воздухе? Три дня прошло, прежде чем военные аэродромы Грузии были уничтожены. Три дня! Грузии! Этого военного карлика! О чём тут можно ещё разговаривать?

— Я слышал, в Цхинвал кадыровцы первыми отправились,—добавил Лёха.

— Да, это так. Но без приказа, на свой страх и риск. И не все батальоны, а только «Восток», ямадаевцы. Какая участь постигла братьев Ямадаевых, вы в курсе?

Лёха кивнул.

— А теперь представим, что против России выдвинулась не Грузия со своими пятью самолётами, а какая-нибудь другая вошь, вроде Эстонии, но за которой стоит вся авиация НАТО. Да ни один танк, ни один БТР до позиций бы не доехал. Вот что ждёт нашу армию, если она столкнётся с противником, имеющим господство в воздухе. Повторится сценарий сорок первого года. Вооружение меняется, техника становится лучше и совершеннее, а принципы ведения войны остаются прежними с древнейших времён. А у нас до сих пор рода войск не связывают: наземные войска отдельно, авиация отдельно, флот отдельно. Эта война в Грузии для того и была затеяна, чтобы выявить реальную боеготовность российской армии. Аналитики НАТО, я думаю, остались довольны увиденным.

— И что делать?—спросил я.

— Готовиться к войне.

— Когда?

— А вот прямо сейчас. Запомни, юноша, война всегда начинается внезапно. Без войны нам не вырваться из этого жидомасонского плена.

Всё. Пароль прозвучал. И эта фраза не отрезвила меня, нет, но вклинилась шкловским остранением. Так душевнобольной не может долго находиться в обществе здоровых людей. Ему не сбежать от них, и он начинает уходить в себя. Я не решил для себя, существует ли жидомасонский заговор или нет. «Word» не узнаёт это слово, подчёркивает красной волнистой линией. И моя душа его тоже не узнаёт. Может, заговор и есть, может, называется по-другому, но вот это словосочетание пахнет ядрёной конспирологией. Проблема тут не в вере, а именно в узнавании. Я не узнаю этих терминов. Это не моя риторика, что-то античеловеческое есть в сочетании слов «жид» и «масон». Я бегу этих смыслов, не пускаю их в душу. Просто если я пропущу через себя это семантическое эсперанто, то чем я стану отличаться от тех, против кого придуман этот язык?

А полковник продолжал:

— Война начнётся внутри страны, начнётся народным восстанием. В течение долгих десятилетий нам пели песни про «миру—мир» и «лишь бы не было войны». Но сейчас русская нация находится в ситуации, при которой нам не осталось других выходов. Будет ли это организовано, или смещение власти будет носить стихийный характер—неизвестно. Где начнётся Кондопога—не знает никто. Но когда всё начнётся, каждый русский человек должен понимать, что происходит очищение страны и бояться этого не следует. Нас пугают гражданской войной—это бред! В России нет социальных групп или других значимых слоёв общества, заинтересованных в сохранении данной

власти. Не хочется крови? Да, не хочется! Но и не хочется гибели русского народа. А к этому всё идёт. Другого выхода нам власть не оставила. Как только реформирование, а по сути — ликвидация российской армии будет завершена, как только её причешут, приведут к желаемому безвольному облику, тогда и начнётся главная часть завершения расчленения России. Займут центры и пункты управления ядерными силами, а потом уничтожат всё остальное. Говорят, Чубайс сказал Киссинджеру: «Это быдло дешевле раздавить, чем прокормить». Вот что нас ждёт. Все предпосылки уже созданы. Нас ждут горячие дни, когда солдаты противника войдут в наши дома. Вот к этой войне надо готовиться, к защите своего Отечества, своей земли.

— Так к защите или к восстанию? — спросил я.

Полковник вдруг поперхнулся, пусто и удивлённо захлопал глазами, так, словно завод кончился, или выбили палку из рук слепого, или оборвали на полуслове.

— Чтобы не было первого — нужно второе. Русская национальная революция неизбежна.

— А дальше что?

— В смысле?

— Как жить дальше? Куда идти? Что строить?

— Русский православный социализм. Без этого…

— А как социализм может быть русским?

— Юноша, в основе социализма — общественный контроль над собственностью. Что вас смущает?

— Принципы смущают. Свободы, равенства и братства. Они для всех или только для русских?

— Для русских.

— А как же чукчи?

— Какие чукчи? Зачем чукчи?

— Обычные чукчи, которые на Севере живут, оленей пасут. Им что делать?

— Ничего не делать, — полковник начинал злиться. — Пасти дальше своих оленей.

— Они тоже в России живут, тоже в социализм хотят. В обычный. И татары, наверное, хотят. Не в русский и уж точно не в православный.

— Не цепляйтесь к словам. Я говорю о концепции в целом. Она устойчива только в таком виде.

— В ней Бога нет, — помог Лёха.

— Как нет? Я же говорю: православный социализм.

— А остальным об стену убиться?

Полковник замолчал. Перед нами снова сидел старичок-лесовичок.

— Вы мне не верите?

— А вы сами-то в это верите?

Полковник наклонился к нам через весь стол, сморщил лицо от усилия и глубинного внутреннего труда и произнёс шёпотом, медленно, страшно:

— Мне дышать без этого нечем.

Потом мы молчали. Одновременно закурили, и дед уже нас не останавливал. Смотрел в сторону, упрямо сжав губы. Я видел, что он готов умереть за свои убеждения и потащить за собой в могилу уйму народа.

Напоследок он потянулся к нам, когда мы уже поднялись и готовы были уйти:

— Ну вы же русские парни! Вы же видите, что я прав. Вы же видите, что в правительстве гниль и падаль, что эти люди *никогда* не отдадут власть добровольно. Вы же всё это видите. Почему вы не со мной?

Это был главный вопрос, и он не давал полковнику покоя.

Мы ушли, не ответив.

Спустя полгода я увидел этого человека на экране телевизора, в новостной ленте. Он сидел за решёткой в простой русской рубахе, такой лубочной вышиванке, так не идущей всему его облику. Его арестовали за попытку вооружённого мятежа. Говорят, его уже пытались посадить за покушение на Чубайса. Говорят, что он вербовал молодых парней и отставных военных, готовил их к диверсионной войне в каком-то лагере под Ярославлем. Ещё говорят, он собирался захватить военные базы, вооружить людей и идти на Москву, брать Кремль. С виду — бред сивой кобылы, больные фантазии Центра «Э». Но я видел глаза этого полковника, слышал его шёпот. Ему правда нечем дышать. Всё верно. Он мог. Один в поле воин.

Лёшка продолжал мне рассказывать свой сон, что-то ещё про тамаду, гостей, невесту, но я уже не слушал его. В памяти возник облик полковника, старика-лесовика, русского националиста. Его вопрос: почему вы не со мной? — застрял в ушах и не выковыривался вместе с серой. Наоборот, за два безответных года он нагноился, распух и болел. Я не ответил ему тогда, не знаю ответа и сейчас.

Запищал телефон в кармане. Митяй.

— Мы нашли его.

12. Конец света

Ночью шёл дождь, назойливый и неумелый. Заштриховывал съёжившийся город, утверждая необратимость его конца. Пройдёт тысяча лет, и не станет Петербурга, как не стало Трои и сотен древних городов. А дождь всё так же будет идти над болотом. В топи трясин прикроет веки Медный всадник, провалится Исаакий, скользя мраморными ногами. Нет ничего постоянного на свете. Разве что любовь. Но некому будет утвердить её постоянство.

Хмель сходил постепенно, как сгоревшая на солнце кожа. Я пил много воды и так же много курил. Не мог уснуть. Но я не боялся завтрашнего дня. Ни о чём не жалел. В этом году календарь майя обещал нам конец света. Впервые в жизни я мечтал, чтобы он наступил поскорее.

Под утро я захотел Славу. Захотел так, как никогда раньше. И чтобы не сойти с ума от желания,

я упал на кулаки и начал отжиматься от пола, на каждый счёт произнося её имя. Бесчисленное «Слава», выплеснутое в воздух, в мир, помогало этому миру стать лучше. И я отжимался до изнеможения, продолжая шептать её имя, пока руки не подломились и я не упал на пол, пробивая его стуком сердца. Комната в этот момент показалась большой, такой огромной, что может поместиться надежда и ещё останется место для двоих.

С Митяем договорились встретиться в Купчино, в семь утра. Я подъехал на полчаса раньше, но он уже ждал меня, припарковав машину на Витебском проспекте. Старенькая «семёрка» ядовито-вишнёвого цвета, со следами ржавчины по ободу дверей. Митяй дремал за рулём. Я постучал в окно костяшками пальцев, и он открыл глаза, так, будто не спал, а прикрыл их на минуту. Вышел из машины, с хрустом потянулся, посмотрел на меня, срисовав недельный запой.

— Не боись, интеллигенция, всё красиво обделаем.

Где-то недалеко спала Слава в своей квартире.

— Что теперь? — спросил я.

— Садись, поехали.

— Куда?

— Узнаешь.

Он резко газанул с места, прожигая резину, оставляя на асфальте ровные чёрные полосы. Лихо подмигнул. Глаза его заблестели предчувствием дела, опасной работы, и это предчувствие передалось мне, разгоняя адреналин в крови.

Мы поехали в сторону Царского Села, но, не доезжая Шушар, Митяй вырулил на кольцевую.

— Куда едем? — спросил я ещё раз.

— На Мурманку, — ответил он после недолгой паузы.

Машина шла тяжело, скрипела подвеска на каждой кочке.

— Мы его сразу нашли, — начал Митяй. — Там магазин неподалёку есть, узбеки держат, он у них грузчиком и так, подай-принеси. Даже не шифровался. А когда принимали его, косяк вышел. Шустрый оказался. Ушёл. И всё, залёг на дно. Думали, с концами. Но Борюсику должны их главные, там пересечения были, туда-сюда… Короче, они его сдали. Второй раз уже чисто сработали, без косяков. Взяли тёпленьким.

Я понял, куда Митяй клонит, но было уже всё равно.

— Короче, вырастает цена. Ещё полтинник накинуть надо.

— Хорошо.

— Вот и лады, — Митяй заулыбался. — Но деньги к вечеру нужны.

— Я сказал, хорошо.

— Я всё понял, — он миролюбиво улыбнулся.

Минут двадцать ехали молча.

— А ты как его мочить будешь?

— Обрез, — я похлопал рукой по рюкзаку.

— Солидно. Где надыбал?

— Где надыбал, там больше нет.

— Шутка такая, да?

— Да, Митяй, шутка.

— Шутни-и-ик…

На выезде из города нас тормознул ДПС. Митяй ругнулся, глаза его ярче загорелись. Тормозя у обочины, он зашипел скороговоркой:

— Сиди тихо, рюкзак не прячь, так и держи на коленях. Разговаривать буду я. И спокойно себя веди, спокойно, не суетись…

Мент подходил медленно, вразвалку, лениво помахивая жезлом на ходу. У меня душа укатилась к пяткам. Именно так: от груди ухнуло вниз, и ноги враз стали тяжёлые, налитые страхом. Задрожала жилка на шее. Я сглотнул и обмяк. Казалось, все видят мой страх, и мент сразу же его заметит, как только бросит на меня свой ленивый взгляд. Раздулся мочевой пузырь; страшный чёртик внутри меня нашёптывал в самое ухо: беги, беги…

Митяй опустил стекло.

— Случилось что, командир?

— Ваши права, документы на машину.

Митяй протянул.

— Нет, мы что-то нарушили?

Мент посмотрел на него как на муху, ничего не ответил, уткнулся в документы.

— Погодка дрянь, да, командир?

— Аптечка, огнетушитель?

— Обижаешь, — развёл руками Митяй.

— Багажник к осмотру.

— Да ладно тебе, там всего-то трупак, — Митяй нервно гоготнул и затравленно, с яростью, посмотрел на меня: мол, подтверди.

Я улыбнулся сквозь силу, кивнул.

Мент положил левую руку на срез окна, а правой потянулся к кобуре.

— Я сказал, багажник к осмотру.

Только потом, с опозданием, я понял, что это был момент истины. А тогда мне казалось жутким и странным: ну почему Митяй медлит, ну открыл бы багажник…

Спасла наколка. На тыльной стороне ладони, под мизинцем, синела размашистая надпись: «За ВДВ». Митяй подался вперёд, наваливаясь на руль, весёлый напор появился в голосе:

— Хорош, десантура, свои.

И сразу же закатал рукав футболки, оголяя плечо. Из клетки вырвалась на свободу волчья пасть, повиснув на синих стёршихся стропах. Взгляд мента потеплел, рука расслабилась.

— Разведка? — спросил дэпээсник.

— Она самая. Сорок пятый полк. А ты откуда?

— Псков. Семьдесят шестая ДШД.

— Красавчик.

— Давно дембельнулся?

— Лет пять.

— Нормально. Я год назад.

— Как там сейчас?
— А никак. Молодые дохлые какие-то, пальцем ткни—упадут. Устав галимый.
— Херово, брат.
Мент улыбнулся:
— А что в багажнике-то?
— Да ничего, хавчик, бутылки с водой. На дачу едем, отдохнуть пару дней.
— А далеко дача?
— В Морозовке.
Мент кивнул: мол, знаю, всё верно.
— Ладно, езжай.
— Добро.
Митяй козырнул на прощание, накрыв голову левой ладонью.
Отъехав, он громко заорал:
— Да-да-да!
Два раза ударил руками по баранке.
— Хер вам! Не возьмёте Митяя!—и, повернувшись ко мне, прокричал:—Ну что, интеллигенция, в штаны небось наложил?
— С огнём играешь?
— Фраер ты, фраер…
Волк вырвался наружу, и было его не удержать.
И вдруг я понял, отчего запаниковал Митяй, отчего так скрипела подвеска на ухабах.
— Он…— мне не хватало воздуха выговорить.
— В багажнике.
И в подтверждение его слов раздался глухой удар о стенку со стороны задних сидений.
— Не дрейфь, сегодня наш день.
Мы ехали молча какое-то время, но волк скалил пасть и не мог усидеть на месте.
— Ты сам-то служил?—начал Митяй.
— Служил.
— Какие войска?
— вв.
— Велосипедные…— протянул презрительно.— А я два года в спецназе. Сначала мне табуретом голову ломали. Потом я ломал. Вот таким, как ты, и ломал. Бах, бах!—Митяй дёрнулся, машина вильнула.
— Это там тебе башню отбили?
— Ты чего такой дерзкий, фраер?
— Я. Тебе. Не фраер.
Митяй скосил взгляд, проверяя меня на прочность. Потом расслабился.
— Ладно, ладно, проехали.
Он давил на газ, машина набирала скорость, но Митяй как будто не замечал этого.
— Быстро едем.
— Боишься?
— Тормознут опять.
Минуту ещё он гнал, держа фасон, потом нехотя сбросил скорость до сотни километров.
— Долго ещё?
— Скоро приедем.
Через полчаса вдали показался мост через Неву, а дальше дорога на Кировск. Не доезжая до моста, Митяй сбросил скорость и нырнул в лес, на грунтовку. Ещё минут двадцать ехали по лесу, пока не выехали на пятачок перед обрывом. Внизу начинался берег, потянуло водорослями. Митяй остановился, вышел из машины.
— Приехали.
Размялся, вдохнул полной грудью свежий воздух Ладоги.
— Хорошее место. Я сюда на рыбалку приезжаю, с ночёвочкой.
— И как клюёт?
— Хорошо клюёт. Место, говорю, хорошее, прикормленное.
Стало не по себе даже не от слов, а от интонации—мечтательной, с нанизанными воспоминаниями.
— Покажи обрез.
Я достал, протянул ему. Он повертел оружие в руках, взвесил, прицелился вдаль с одной руки.
— Тема. Продашь потом?
— Нет.
— Хорошую цену дам. Полтинник, а? Как раз под долг, а?
— Нет, сказал.
— Как знаешь…
Раздались два глухих удара в стенки багажника.
— Чует…
Помолчал и добавил:
— Готовься пока.
Митяй открыл багажник, с силой рванул тело на себя и бросил его на землю. Чужак вскочил, словно хотел побежать, но Митяй саданул его по ногам, под коленный сгиб.
— Лежать, баран, лежать!
Чужак был связан скотчем по рукам и ногам. Рот тоже замотан скотчем. Вздулись от набухшей крови ладони за спиной. Он шумно дышал носом, вертел головой, а глаза потрескались красными жилками.
Нева текла ровно, зеркально, и водная гладь раздражалась от уколов дождя: помехи на экране старенького телевизора.
Это был взрослый мужик лет за сорок, азиат. Их раскосый возраст не определить точнее. Ему могло быть и сорок пять, и пятьдесят, и больше. Худой. Жилистый. Грязно-жёлтая морщинистая кожа. Седые виски. И весь какой-то глиняный, снулый.
Митяй схватил его за куртку и рывком поднял на ноги.
— Он твой.
Я достал из рюкзака патроны и зарядил обрез.
Чужак замычал, силясь объяснить своё право на жизнь.
Митяй резко ударил его под дых, сгибая пополам худое тело. Из носа вырвался сопливый спрессованный воздух.
— Кто он?—спросил я.
— В смысле?

— Национальность какая?
— Ну, пусть будет таджик.

Митяй вытащил из кармана складной нож, резким щелчком-движением открыл его и перерезал скотч, освобождая Чужака. Потом вернулся к машине, достал из багажника гнутую совковую лопату. Такие ещё продаются в супермаркетах в разделе «Для дачи». Швырнул её под ноги Чужаку:
— Копай.

Тот не услышал. Натурально не услышал, потому что взгляд его был направлен в дуло моего обреза. Он смотрел на оружие, с каждой секундой напитываясь ужасом. Тогда Митяй вернулся к машине, открыл дверь у пассажирского сиденья и достал из бардачка пистолет. Он на ходу передёрнул затвор и, подойдя вплотную к Чужаку, сунул ему в рот чёрный ствол:
— Копай, сука!

И тут же вырвал пистолет, задев мушкой зубы, ударил рукояткой по лбу.

Чужак опять замычал, засеменил назад по инерции, но не удержал равновесия и смешно, по-детски, упал на задницу. Потянул руку к лицу, думая сорвать скотч, но Митяй заорал сверху вниз:
— Руки оборви, тварь!

И, обернувшись ко мне, зло выплюнул:
— А ты чего стоишь? Может, мне его кончить за тебя?

Чтобы сделать что-то полезное, я подошёл и ударил Чужака коленом в висок. Этот удар сорвал хлипкий заслон в душе, и наружу хлынула ненависть, до краёв наполняя глаза.

Чужак снова замычал и пополз на четвереньках ко мне, обнимая колени, утыкаясь лбом в грязные туфли и интуитивно чувствуя во мне жалость и милость. Но жалости не было. Хотелось, чтобы всё поскорее закончилось. Митяй ударил его ногой под дых, тот покатился, Митяй догнал и приложился ещё раз.
— Ты тупой или прикидываешься? — и, наклонившись к самому уху, зло прошипел: — Копай, иначе я тебе яйца отстрелю.

Плюхнулась крупная рыба в тридцати метрах от берега.

Таджик медленно встал на ноги. Его трясло от страха. Трясущимися руками он поднял лопату и вопросительно посмотрел на Митяя.
— Вон там копай, — Митяй махнул пистолетом в сторону леса, обрисовывая заросший травой пятачок.

Чужак начал копать.

Земля была целинной и трудной. Густая осока цепко держала каждый ком, но Чужак умел копать. Он надрезал с боков небольшой кусок и резким движением снимал слой, подсекая корни травы. За работой он успокоился и перестал дрожать. Лопата привычно мелькала в его руках. Он копал неродную землю, не чувствуя усталости, работая кистями и плечами. Через несколько минут остановился, скинул спортивную куртку на землю и продолжил копать. На правом предплечье вытянулся широкий рваный шрам.

Он не старался копать медленно, не думал оттянуть неизбежное, просто работал в своём ритме. Выступили капли пота на лбу. Чужак наклонил голову и вытер пот о плечо, не отрываясь от работы, уверенным круговым движением. Периодически лопата натыкалась на камни. Он выковыривал их и отбрасывал в сторону, уверенно расширяя размеры ямы. Чужак знал, что он копает эту яму для себя.

Митяй убрал пистолет за пояс и закурил. И только после этого я почувствовал, что не курил несколько часов. Я также достал сигареты и закурил.

Это был момент слабости, какой-то внутренней расхлябанности. Закуривая, я сунул обрез под мышку. Митяй отвернулся в сторону, глубоко затягиваясь. И в этом момент Чужак швырнул в него лопату и рванулся в лес.

Лопата пролетела в сантиметрах от головы.
— За ним… — заорал Митяй.

Начался гон.

Лес бил по лицу сырыми ветками, обволакивал ноги густыми черничными кустами. Я был охотником, загоняющим волка за флажки. Нёсся вперёд так, что ветер свистел за спиной, не поспевая за мной.
— Не стреляй, — на ходу заорал Митяй.

Треск стоял страшный, так мне казалось. Ещё казалось, что все должны слышать, что сейчас мы напоремся на грибников, или лесников, или ещё чёрт знает на кого…

Чужак бежал так быстро, как только мог. Не стал тратить время, чтобы снять скотч и позвать на помощь. Некого звать. Никто не придёт. Поэтому просто бежал прямо, не разбирая направления, ломая сухие ветки на своём пути, перепрыгивая через поваленные деревья.

Я бежал ровно за ним, Митяй зашёл справа, пытаясь отсечь его. Стала подводить дыхалка, в ноги по грамму наливали свинец. Я подумал, что Чужак уйдёт, и чувство глубокой обиды придало сил.

Если бы он убегал в своей степи, то непременно ушёл бы. Страх смерти сильнее обиды. Но его подвёл лес. Чужак споткнулся о муравейник и, снося его ногой, ткнулся спиной о ель, врезаясь всем телом в маленькие, торчащие из дерева обломанные сучки. Заорал сквозь скотч от боли. Хотел подняться на ноги и даже успел это сделать, но я уже подбежал вплотную и хлёстко, со всей дури врезал прикладом по скуле. Голова его дёрнулась назад, и Чужак снова упал и уже не пытался подняться…

Мы били его долго. За время бега я успел вспотеть липким похмельным потом, но пока мы били таджика, я взмок окончательно.

Чужак закрыл голову руками, локти прижал к бокам и подтянул колени к животу. Есть в этой позе интуитивный возврат в материнское лоно, где ты защищён от всего мира водами и любовью. Но тогда я не думал о таких материях, вообще ни о чём не думал. Просто бил Чужака ногами, надеясь попасть в живот, по рёбрам, в пах. Оказывается, так легко бить беззащитного человека. Распаляешься с каждым ударом, и уже не остановиться. Хочется втоптать его в самое ядро земли, чтобы он там расплавился к чёртовой матери, и давить его ногами, давить, давить.

Раздался шорох в кустах, в нескольких метрах от нас, и это спасло Чужака. А мы бы его забили насмерть.

— Слыхал? — спросил Митяй, тяжело дыша.

— Да.

— Что там, глянь.

Я подошёл к кустам черники, пошатываясь от усталости, но с каждым глотком воздуха набираясь сил и спокойствия. Раздвинул кусты ногой — во мху, свернувшись клубком, ощерился ёжик.

— Тут ёжик, — сказал я.

— Какой ещё ёжик?!

— Обыкновенный, с иголками.

Митяй подошёл, оставив Чужака медленно копошиться, переворачиваться.

— Прикольно… Помнишь, мультик ещё такой был? Ё-о-о-ожи-и-и-ик… — он неумело спародировал. — Мутный такой мультик, тупой-тупой.

— Норштейн снимал.

— Чего?

— Помню, говорю, такой мультик.

— А этот ничего, настоящий.

Митяй ткнул ёжика пальцем, но осторожно, боязливо. Тот грозно фыркнул.

— Ишь ты, огрызается, гадёныш.

Снова замычал Чужак.

— Не устал? — спросил Митяй.

— Нормально.

— Ещё попинаем?

— А надо? — спросил я.

— Конечно, надо.

— Ну, раз надо…

Чужак понял, что мы идём его добивать. Может, разговор слышал, но я думаю — по походке понял. Судорожным движением стянул скотч с лица и запричитал с чудовищным акцентом:

— Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо…

— Ах ты, тварь, — удивлённо протянул Митяй.

Он подбежал и с размаху ударил его ногой в голову, как опытный футболист пробивает пенальти. Голова Чужака дёрнулась в сторону с глухим противным звуком… Мы били его, тяжело дыша от усталости, пробивая неуверенные руки, вдавливая рёбра в лёгкие. Лицо его заплыло от кровоподтёков.

Вдруг стало противно. С каждым ударом желудок подталкивал к моему горлу переваренную пищу, и приходилось сглатывать комок тошноты.

— Подожди… — не выдержал я.

— Чего?

— Давай отдохнём.

Я не знал, как сказать Митяю, что всё, хватит, что мы не садисты и не фашисты. Надо просто довести до конца то, зачем мы сюда приехали. Как ему об этом сказать? И ещё я понял, что начинаю бояться Митяя, его безжалостных глаз и рук.

— Ну, давай отдохнём.

Он сел на мшистую влажную землю и закурил.

— Будешь? — протянул мне пачку.

— Потом.

Курить не хотелось. Сделай я одну затяжку — точно вырвало бы.

Чужак уже не пытался встать. Лениво елозил руками по земле, стонал и сплёвывал кровавую слизь. С трудом сел, держась за голову, начал раскачиваться из стороны в сторону.

— Гляди, очухался.

— Давай уже кончать, Митяй.

— Не торопись, а то успеешь. Я только начал…

Митяй повертел головой, и вдруг лицо его перекосила ломаная усмешка. Он рывком поднялся на ноги, подошёл к Чужаку.

— Снимай штаны, тварь.

Тот молча посмотрел на него снизу вверх.

— Не зли меня, чурка!

И Чужак ослабил ремень непослушной рукой, расстегнул молнию на джинсах, пошатываясь, встал, упираясь руками в широкий еловый ствол. Медленно спустил штаны.

— Трусы тоже, — приказал Митяй.

Тот мгновение поколебался, но только мгновение. Трусы неуверенно поползли вниз.

— А теперь садись, — Митяй указал рукой на разрушенный муравейник.

— Не надо… — начал Чужак.

— Я тебе сейчас ствол в задницу засуну. Выбирай, — он помахал пистолетом.

Таджик понял, что страшный человек с пистолетом в руках не шутит, и медленно побрёл к муравейнику.

Насекомые кипели в разрушенной пирамиде. Мелькали белые головки яиц.

Чужак сел в центр, осторожно, морщась от боли. И сразу резко выдохнул, как от удара под дых, вздрогнул и закусил губу. Насекомые накинулись на смуглое волосатое мясо. Они путались в волосках, ползли по ногам, копошились в паху и кусали, кусали, кусали. Чужак быстрыми движениями пальцев выдирал по одному муравью из паха, выдирал вместе с волосами и брезгливо отбрасывал в сторону, и свистел, шипел, нашёптывал что-то на своём наречии.

Митяй отвратительно заржал во весь голос. Это был даже не смех—визг дикаря, первобытного человека. В этом булькающем горловом смехе открывалась бездна, втягивала в своё чёрное нутро всё живое и никак не могла остановиться.

— Хватит!

— Чего?—не понял Митяй.

— Я сказал, хватит.

Лицо его перекосило от злобы.

— Хватит будет, когда я скажу. Понял, фраер?.. Он муравейник сломал, чушок. Где теперь муравьишкам жить? Чем деточек своих кормить? Из-за него им холодно, твою мать, и голодно. А ты, значит, добренького включил?

— Это мой таджик. Ты мне его подарил.

И Митяй вдруг моментально успокоился.

— Хорошо. Действуй, фраер.

Он убрал пистолет за пояс и скрестил руки на груди.

Чужак слышал нас и, не дожидаясь разрешения, сполз на землю, отряхивая себя на ходу, натягивая трусы судорожным движением. Он медленно встал на ноги, смятый и уничтоженный. Заплывшие глаза смотрели жалобно и доверчиво. Наверное, такой взгляд был у евреев в Бабьем Яру. Просто смотрел и ждал. Пока я подниму обрез и нажму на курок. И даже подобие облегчения мелькнуло в его взгляде.

Обрез стал тяжелее раза в два, и пока я его поднимал, наводил на Чужака, безвольная вата набилась в мускулы.

Я ждал, что он начнёт говорить, заведёт своё «не надо, не надо», и жуткий акцент и сам голос дадут мне право на выстрел. Потому что сложно убить человека, к которому пропала ненависть. А она пропала. Но Чужак своей азиатской подкоркой понимал, что говорить нельзя. Момент истины всегда скользкий, победит тот, кто удержит равновесие вопреки всему. И он молчал. Смотрел на меня стремительно заплывавшими глазами и молчал.

— На колени,—приказал я.

Он послушно опустился на влажный мох. Поползли муравьи по смуглым коленкам. Но Чужак уже не стряхивал их.

Я зашёл сзади и приставил ствол к затылку. Митяй подошёл и встал рядом, чуть поодаль.

Чужак начал молиться.

Сухой непонятный шёпот завладел лесным воздухом. И чтобы вернуть над воздухом свою власть, нервным бесом заторопил Митяй:

— Давай, давай… Он бабу твою топтал. Давай…

У меня не было сомнений. И страха не было. Сердце колотилось быстрее, в руках поселилась слабость, но я каким-то глубинным чутьём понимал, что у меня хватит воли нажать на спусковой крючок. И палец медленно пополз, ощущая сопротивление взведённой пружины. Знаете, как в армии учат стрелять из «калаша»? Нажимать на спуск надо плавно, не дёргая. Чтобы выстрел раздался на выдохе и был неожиданным для тебя самого. Тогда пуля летит точно в цель даже на расстоянии ста метров. Сотка—стандартное расстояние на стрельбище. Это простая физика. Но, наверное, есть ещё подтекст. Неожиданность выстрела снимает с тебя ответственность, списывает убийство на случайность.

А Чужак не дрожал… Во всей его фигуре появилась зримая монументальность. Он не боялся смерти. Знал, что сейчас умрёт, и не боялся этого. Он полчаса назад ползал на коленях и целовал мне ноги, а сейчас спокойно был готов умереть как мужчина. И эта метаморфоза не укладывалась в моём сознании. Какой сильной должна быть вера в незримого Аллаха, чтобы достойно встретить смерть? Или не в Аллахе дело, а в чём-то другом, и вера здесь ни при чём?

И вдруг я увидел, чем это закончится. Увидел результат.

Вспышка в мозгу была короткой, но яркой. Я увидел таджика, валяющегося с простреленной головой, со спущенными штанами. Мозги комочками разбросаны вокруг, в открытую рану ползут муравьи, тонут в густой крови, но на смену утопшим приползают новые полчища, и они копошатся в этой дыре, отщипывают кусочки мозга. Из горячего ствола выходит мелкий дымок. Митяй входит в древний шаманский транс и начинает отплясывать у трупа поверженного врага. Но самое главное—я увидел себя.

Руки и лицо в брызгах крови. Она солёная на вкус. Нет ни радости, ни облегчения. Только дно. Я лежу на самом дне Вселенной, и уже нет никаких шансов вылезти на поверхность.

Я увидел Бога. Не библейского, с бородой и грозным посохом, а настоящего, незримого. Я искал Его на небе и на земле, а Он находился внутри меня всё это время. И только когда я окончательно и бесповоротно Его оттолкнул, Он явился в своём единственном смысле и сути. Он всегда с нами, но мы не ощущаем Его присутствия. Но зато мы остро чувствуем, когда Он нас покидает.

Ужас? Это не то слово. Нет в языке слова, чтобы описать чувство богооставленности. Но и нет на свете ничего глубже, острее и бесповоротнее. Это отчаяние бессмертной души, которой во веки вечные теперь не отмыться. Это чувство… сильнее любви.

Картинка мелькнула молниеносно, доли секунды. Я понял, что не хочу стрелять. Да, этот Чужак—мразь, насильник. Он пришёл с другой стороны света на мою землю, надругался над моей женщиной. Но убивать его нельзя. Если его убить—он победит. Вот именно так. Вопреки логике. Правота ни разу не логическая категория.

Меня всегда раздражала эта заповедь: «Ударили по правой щеке—подставь левую». Я всегда

считал, что бить первым нельзя, но всечь в ответ обязательно следует. Заповедь казалась мне оправданием для хлюпиков и трусов. А сейчас, в этом лесу, я нутром ощутил силу и мощь этих слов. На них держится милосердие. А на милосердии стоит любовь. А выше любви ничего нет. Сильнее — есть, а вот выше — увольте.

Небывалое облегчение хлынуло в плечи и поясницу.

Я принял решение, опустил ствол и сделал шаг назад. Чужак всё почуял спиной и тут же обмяк, закрыл лицо руками. Беззвучно подавился.

Митяй скривился:

— Гоблин ты, гоблин… А Боря говорил, что ты гнилой пассажир. Так и сказал: не верь, мол, Митя, это не человек — труха. Я-то защищал тебя: мол, ты правильный пацан. А ты оказался — чёрт позорный.

— Всё, Митяй, всё.

— Ты думаешь, ты такой правильный. Сказать тебе, что дальше будет? Этот шнырь вернётся к своим и всё расскажет. А потом тебя найдут и посадят на бутылку. Ты знаешь, как сажают на бутылку?.. Не знаешь… Ничего, узнаешь. Горлышко проходит в твою волосатую дырочку, а потом всю бутылку забивают туда ногами. Она обязательно разобьётся. Сечёшь? Потом тебе выбьют зубы доминошкой и по очереди отымеют в рот. Будут свои вонючие члены совать в твой фраерский рот, глотку зальют своим семенем. Миллиарды грязненьких скользких таджиков за щекой. Ась?.. Но это ещё не всё. Потом тебя порежут на ремни. И только потом, если ты ещё не сдохнешь от боли, тебе отрежут голову.

Я представил, как это будет, и стало страшно. Но тот, предыдущий страх был сильнее.

— Хватит, Митяй. Будь что будет.

— Я понял, ты псих. Но меня за собой тащить не надо. Дай сюда.

Он протянул руку к обрезу и вцепился пальцами в цевьё.

— Всё закончилось…

— Дай сюда, я сказал…

Выстрел расколол пространство на две равные половины с острыми рваными краями. Я не видел, куда ушла дробь, но Чужак повалился как подкошенный. Митяй удивлённо посмотрел на меня. Но удивил его не выстрел, а то, что я так и не выпустил обрез из рук. Тогда он резко толкнул меня и подставил подножку. Заваливаясь, я опрокинул его на себя, и он тут же всем своим весом, всей злобой и всем жилами прижал обрез к горлу, обжигая мне подбородок.

Руки у Митяя были сильные и страшные. Я сразу ощутил, насколько они сильнее моих.

Он умел душить. Сразу пропал воздух.

Я беззвучно открывал рот, но кислород не поступал в лёгкие. Он душил меня, как ребёнка. Нервно скалился, вдавливал обрез в мою шею чуть ниже кадыка, а я ничего не мог сделать.

Не хватало рук. Не хватало воли.

Усталость сжала лёгкие костлявой рукой.

Я бил ногами по земле и хрипел.

И ещё понял, что сейчас умру. Вопрос секунд.

Смерть — это, конечно, и темнота, и коридор, и всё прочее. Наверное. Не знаю наверняка. Но сначала пропадает воля. То есть наступает короткий миг, когда темнота уже не страшит тебя. Всё тускнеет, расплывается. И отсутствие воздуха компенсируется облегчением оттого, что сейчас всё закончится.

А вот то, что вся жизнь проносится перед глазами, — это верно. Но не в быстрой перемотке, а кусками. Всплывает в памяти самое неожиданное и вздорное. Пустяшные мелочи, случайный набор картинок. И эти не самые важные с виду события становятся засечкой, точкой бифуркации. После них всё другое и ты другой. Поэтапный бег. Дистанция с остановками.

Я бегу по пустому дальневосточному двору с игрушечной лопаткой в руках. Мне лет пять, не больше. Лопатку принесла незнакомая тётя, папина подруга. Лопатка красного цвета. Мамы отчего-то не было дома. И папа сказал: «Иди погуляй. Вот тебе лопатка». И я гулял, час или больше, пока не замёрз. А когда я вернулся, незнакомой тёти уже не было. От папы пахло противной сытостью. Вот отчего я запомнил этот эпизод, отчего он выскочил из памяти, как застарелая заноза? Где теперь эта лопатка, где эта тётя? Ничего нет. Ничего не было. Остался только пятилетний мальчик на пустом дальневосточном дворе.

Белые ботинки. Я иду в седьмой класс в незнакомую школу. Первое сентября. Середина облезлых девяностых. Белые новенькие ботинки — это роскошь, я уже это понимаю. Они жутко трут. Мозоль саднит при каждом шаге, но я терплю. Таких ботинок ни у кого нет. Я иду по гулким школьным коридорам, но никто не замечает моих ботинок. На глаза наворачиваются слёзы. Я убеждаю себя, что это от боли, но это слёзы обиды, нечего себя обманывать. Вечером дед молотком размягчал дубовую жёсткую кожу. Мозоль горела от йода. А я вдруг понял, что всем на тебя плевать, никто никогда не протянет руку. Так я стал взрослее.

Семь-восемь лет. Я лезу на вершину засохшего тополя возле дома. Зачем я туда лезу? Да чтобы быть выше всех. Все мальчишки лезут на деревья, чтобы быть выше всех. Это так важно, потому что хоть ты уже и большой в своих собственных глазах, но в глубине души понимаешь, что ещё ребёнок. И надо расти, надо тянуться вверх… Обламывается сук под ногой, и я лечу вниз с высоты пятого этажа. В нескольких метрах от земли капюшон цепляется за обломанную ветку, меня резко дёргает вверх, трещат швы дешёвой

советской куртки. Спасибо лёгкой промышленности, вещи делали на совесть. Капюшон выдержал этот рывок, и я остался жив. Я ведь для чего-то остался жив тогда…

Кадры покидали сознание сумбурно и вразнобой. Никакой хронологии. И сквозь эти кадры неизменно просвечивало расплывающееся лицо Митяя. И всё мутнело, мутнело. Я думал, какие же сильные у него руки, в жизни таких не встречал. Но думал уже вполмысли. Мне сейчас не объяснить, как это—думать вполмысли. Но так можно.

Из глубины веков далёкие предки шепнули на ухо, что надо бороться до конца. И я рванулся в последний раз, напрягая остатки сил, рванулся уже не волей, но агонией, звериной тягой к жизни. Весь видимый и невидимый мир умещался в моих сведённых пальцах, сжимающих горячий ствол обреза…

Попытка не удалась. Уже не страшные руки Митяя—тяга земли сломала сопротивление. Я сдался. Поймал себя на мысли, что лёгкие не рвутся на части. Я стал рыбой, выброшенной на берег. Мир сжалился надо мной и стал темнеть, уплывать, плавно и неумолимо тухнуть, как свет в кинотеатре.

…Воздух ворвался в лёгкие мощным потоком, но кровь, изголодавшаяся по кислороду, требовала ещё, и ещё, и ещё. Я хрипло дышал, возвращая мир с каждым глотком, вытягивая его из небытия за нитку, боясь, что нить порвётся и мир опять соскользнёт в пропасть.

Грудь разрывало на части. В висках не стучало—долбило, звенели пальцы ног и рук. Тошнота рванулась к горлу протухшим комком—это организм выблёвывал из себя смерть.

Меня вырвало.

Сначала в мир вернулись звуки. Глухие удары. Тук! Тук! Тук! Тук! Потом глаза обрели способность различать предметы.

Я увидел Чужака, упавшего рядом со мной на колени. Он заносил над головой руку с булыжником и резко опускал вниз. Тук! Тук! Тук!

Я приподнялся на локтях, присел, и Чужак тут же вскочил, занёс булыжник над моей головой.

Он тяжело дышал и смотрел на меня заплывшим ненавидящим взглядом. С камня капала густая кровь на траву.

Не знаю, как долго мы смотрели друг на друга. Может быть, несколько секунд, а может быть, час. Просто этот момент—он был в другой системе временны́х координат. В обычной жизни не такое время, я теперь это знаю совершенно чётко.

Потом он отбросил булыжник и отвернулся. Я понял, что сегодня не умру.

Чужак подобрал митяевский пистолет, сунул себе за пояс. Обшарил карманы, выудил пачку сигарет и зажигалку, присел на траву и с наслаждением закурил. Он выпускал ровные кольца дыма, играясь, позируя. Но не передо мной. Это он смерти показывал: накося выкуси!

Я только сейчас заметил, что продолжаю сжимать в руках бесполезный обрез.

Скорее рефлекторно, чем от желания, я полез в карман и достал курево. Закурил, ловя концом сигареты дрожащий огонёк, и сразу закашлялся. Дым раздирал горло, но я продолжал затягиваться с какой-то мазохистской радостью.

Рядом лежал труп Митяя. Головы не было—кровавая каша. И, казалось, на весь лес слышен сладкий запах крови. От этого запаха мутило, скулы наполнялись противной слюной. Не в силах глотать, я сплюнул, и тягучий сгусток повис на губе.

— Надо его закопать,—это была первая внятная фраза, произнесённая Чужаком.

Я встал, и лес закачался перед глазами, но это состояние невесомости длилось секунды. Жизнь брала своё.

Мы взяли Митяя за ноги и потащили, оставляя за собой длинную красную полосу. Мёртвое тело было тяжёлым и неудобным. Мы волокли его, обходя поваленные деревья и коряги, и с каждым шагом я всё больше себя презирал. Это было не от слабости и не от силы—вселенское презрение надломленного человека. И одновременно с этим просыпалась в душе радость от непричастности. На моих руках не было крови. Два этих чувства умещались в душе равными долями и не старались отъесть кусок друг у друга. Я шёл, прижимал к груди ногу Митяя, а в нос бил запах нестиранных носок.

Тело шлёпнулось в яму с утробным стуком. Чужак, не спрашивая, взял лопату и начал засыпать яму землёй. Комья влажной и чёрной почвы распались по телу. Я подумал, что ещё полчаса назад это тело дышало. Ещё подумал, что вот так вот могли закапывать меня. Обе этих мысли прошли в сознании ровно и отстранённо.

Чужак работал трудно, с передышками, морщась от боли. Лопата дрожала в его руках. Скрипела земля о металл. Несколько десятков движений—и Митяя не стало. Он пропал так, словно и не было никогда на свете этого человека.

Отслужившая своё лопата полетела в кусты. Чужак сморщился, потоптался на яме, приминая землю.

— Поехали,—сказал я и не узнал свой голос. Хриплый, простуженный.

Он кивнул и медленно протиснулся на пассажирское сиденье, рядом с водителем.

Ключи оказались в замке зажигания. Я подумал, что нам повезло, что сейчас бы пришлось откапывать Митяя… И тут же другая мысль влетела в голову: откуда в лесу взялся булыжник?.. Это были важные вопросы, но не те, не те…

Движок не заводился. Простуженно кашлял металлической чахоткой и сходил на нет, стоило ослабить ключ.

Чужак наклонился к приборной панели и потянул на себя колпачок подсоса.

— Давай!

Я ещё раз повернул ключ, двигатель заурчал, разогнался и, схватив искру, ровно затарахтел. Суетливыми толчками я развернулся и выехал на грунтовку, привыкая к машине. Медленно поехал по ухабистой дороге, оставляя позади всю свою прошлую жизнь. Чужак закопал её.

Выруливая на шоссе, я развернулся в сторону города, пересекая сплошную и не замечая резко тормозящих, раздражённо сигналящих машин. Спокойно и внятно загудели шины. Потасканная «семёрка» набирала скорость.

Под рассеянный скрип дворников Чужак начал говорить:

— У меня дома инжир поспел. И слива с кулак. И вишни, и груши. А у вас—одна мерзость. Домой поеду.

Я не стал отвечать, и он продолжил:

— Вы страшные и больные. Вся страна у вас больная. Но вас никто уже не вылечит, потому что вас не победить. Наши, кто помоложе, думают, что вы слабые и трусливые. А я знаю, что вы сильные. Вас предсказать нельзя, угадать нельзя. Вы как собаки: идёшь мимо и думаешь, укусит или не укусит. Мы, мусульмане, не любим собак. Грязные и жалкие животные. Могут в помойке копаться, могут трупы рвать, могут трусливо тявкать, а могут броситься и до смерти грызть. Плохие животные. Но нет ничего страшнее бешеной собаки. Её все боятся. Вы, русские,—бешеные собаки. С вами страшно жить рядом.

— Сидел бы дома. Чего попёрся?

— Дома хорошо. Но дома есть нечего. Работы нет. Вы глупые, вы кормите нас. Мы бы не стали вас кормить. А ещё вы ленивые. Не любите работать, не умеете. А мы умеем. Мы лучше вас работаем.

— Отчего вы тогда в нищете живёте?

— Правители плохие. Воруют. Каждый для себя живёт.

— Так поставьте нормальных.

— Не можем. Бунтовать—бешеной собакой надо быть. Мы не такие. Аллах не велит.

— А чужих женщин насиловать Аллах велит?

— Я не насиловал.

— Врёшь.

— Не вру. Турсун насиловал. Но он старшего племянник, его не выдали.

— Тебя свои, значит, сдали?

— Так надо было.

— И кто вы после этого?

— А вы? Тебя свой же убить хотел.

— Он мне не свой.

— Я и говорю: не угадать вас. Кто для вас свой, кто чужой—не разберёшь. Ты меня убить хотел. Почему не убил?

— Турсуну передай: я найду его.

— Почему не убил, говорю?

— Не смог.

— А Турсуна, значит, сможешь?

— Смогу.

— Посмотрим…

Не хотелось ничего объяснять.

— Я бы убил тебя, если бы ты дрался.

— Знаю.

— Всё-то ты знаешь…

— Турсун плохой человек, гнилой. Среди наших тоже такие есть.

— Везде такие есть.

— Он сильный.

— А я бешеный.

— Не-е-е-ет, ты не бешеный. Твой друг—бешеный, а ты нет.

— И какой же я?

— Не знаю… Русский.

— А почему ты меня не убил?

Он ничего не ответил.

Какое-то время ехали молча. А потом Чужак продолжил:

— Мы всю грязную работу за вас делаем. Чистим ваши улицы, моем машины, развозим на работу, строим дома. Вы скоро разучитесь работать. Не сможете без нас. И тогда мы вас возьмём голыми руками.

— Чего вам всем от нас надо?

— Вас мало, и у вас всё есть. А нас много, и у нас нет ничего.

И тогда мне стало понятно. Нет и никогда не было столкновения культур, цивилизаций, религий и языков. Всё это миф, которым пичкают ущербные души. А есть голодные, и есть сытые. Вот и всё. Они голодные, а мы сытые, и поэтому они всегда будут нас ненавидеть. До тех пор, пока не утолят свой голод. Надо просто накормить людей, и тогда поток, питающий их ненависть, иссякнет. Но так уж устроен Золотой Телец, что ему всегда нужны голодные. Если их не станет—рухнут основы Капитала, и он начнёт пожирать сам себя и рано или поздно сожрёт полностью. Тогда Земля впервые за свою историю вздохнёт свободно, полной грудью. Когда-нибудь это время настанет.

— Справедливости, значит, хочешь?

— Аллах хочет.

— Плевать на неё хотел ваш Аллах.

Чужак вспыхнул, но сдержался.

— Не надо так.

— Ты ко мне не лезь, и я к тебе не буду.

— Вы глупый народ. Вы бы всех могли завоевать, если бы захотели. Но вы не хотите.

— Есть такой русский герой, Данила Багров зовут. Не слыхал?

— Нет.

— Зря. Он говорит, что сила в правде. За кем правда, говорит, тот и сильнее. Как считаешь?

— Сильнее тот, кто просто сильнее.

— Вот поэтому ты в мою страну приехал, а не я в твою.

— А ты приезжай, гостем будешь,— Чужак криво усмехнулся.
— Спасибо, мне здесь хорошо.

Не доезжая до города, Чужак тронул меня за плечо:
— Здесь останови. Не надо дальше.

Я притормозил у обочины.

Выходя из машины, он бросил напоследок:
— Я не таджик, я узбек.
— Какая разница?
— Большая.

Хлопнул дверью и, прихрамывая, зашагал вдоль дороги, размытый в пелене мелкого назойливого дождя. Я больше никогда его не встречал.

Я вырулил на кольцевую дорогу и поехал прямо, встраиваясь в общий поток, без цели и направления. Я не знал, что буду делать дальше. Борюсик будет меня искать и рано или поздно найдёт. Они всегда находят. Но до Славы им не добраться, никто не знает, где она живёт. А Лёшка прорвётся, не маленький.

Несколько часов я так ехал, без мыслей в голове. Дорога позволяла не думать. Менялся пейзаж. Я оказался на каком-то шоссе. За окном летели базы, заправки, заводы, посёлки и магазины.

Всё закончилось. Всё только начинается.

И вдруг я понял, куда я еду. Это знание сдавило мне горло, в глазах поплыло от внезапных слёз. И я подавился, сглатывая рванувшееся наружу огромное, глыбкое. Я ехал по шоссе и во всё горло рыдал, вырёвывая из себя страну. Вместе с утробным звуком из глубины лёгких летели наружу поля и реки, леса и моря, дали и косогоры. Страна рвалась и дрожала во мне, как дрожит работающий на износ тракторный мотор. В чаду и машинном масле, я ревел раненным в сердце медведем. И некого было стесняться. И некого было позвать на помощь. Такие моменты случаются раз за всю жизнь. И страна, вырвавшись из меня на свободу, очистилась и перестала болеть. И сам я себе казался проснувшимся, обновлённым, расхристанным и прямым. В пустоты хлынул холодный восточный ветер, выметая из души всю гниль, всю затхлость и многолетнюю пыль. Я заново, с нуля, творил собственную страну, и в этом чудовищном рёве она рождалась, как птица Феникс,— из пепла, черноты и безлюдья. И надо было её заселить светлыми и чистыми людьми, искусницами и богатырями. И я знал, где их взять. Всё бескрайнее, трепетное и великое пространство оживёт и спасёт меня. Как я спасал его каждый раз тысячи и тысячи лет. Такое предназначение у русского человека. Он бы и рад выбрать другое, но совесть не даёт. Значит, до тех пор, пока держится русский мир,— есть надежда.

Только один человек на всём белом свете мог меня понять. И я ехал к нему, чтобы поделиться своим очищением.

Растаяли тучи, и, отменяя конец света, солнце ударило в затылок. Чтобы утвердить задуманное в реальности, я произнёс вслух, целуя словами нутряное, кровное:
— Я еду, мамочка… Мама…

ДиН лит

Ольга Кутанина

Пред аналоем

● ● ●

Кто-то ночи долгие не спал
Ради брани ратной иль духовной
И, бесовский выдержав оскал,
Плотью пренебрёг своей греховной.

Кто-то втоптан за Тебя был в грязь,
Кто-то в цепи намертво закован.
Ну а я, немного потрудясь,
Засыпаю над молитвословом.

Правда, с дочками уже втроём
Говорим (а раньше в одиночку):
«Помяни во Царствии Своём
Папу, маму…»— и не ставим точку.

● ● ●

Мило унылое зимнее
Солнце— и то обленилось.
Ветки смущённо под инеем
Зябнут в надежде на милость.

Белого-белого не было:
Снег всюду сколот, просолен.
Может, поэтому небо нам
Стало видней с колоколен.

Девочка в синеньком платьице
Кается, вспомнив былое.
Может, поэтому плачется
Пред аналоем.

Лилия Газизова

Москва-80

Посвящается папе

1.

Из олимпийской Москвы
Мы с папой
Привезли в Казань
Пластинки Высоцкого
И Дассена.
И много мишек.
Фарфоровых,
Керамических,
Деревянных…
Мишки были на рюмках и бокалах,
Футболках и брелках,
На серебряном перстне.
Один даже на коврике
Был вышит.
Прошло много лет,
Мишки поблёкли,
А я чаще в тот год
Переноситься стала.

2.

Я бродила
По олимпийскому городу.
Совсем не страшно было
Ходить одной по улицам.
Я была бесстрашным октябрёнком.
Существовал тайный указ,
Чтобы всех детей
Увезли из Москвы.
Потом спохватились,
Когда иностранцы
Стали удивляться:
А где же дети?

У папы форма была красивая —
Лимонный пиджак
И серые брюки.
Он соревнования судил
По лёгкой атлетике.
А я сидела на трибунах
И болела за Татьяну Казанкину.
Она рекорд мировой
Установила.

Ещё
Я впервые попробовала
Кока-колу.
Их разливали в красные
Бумажные стаканчики
Молодые ребята
В красивых комбинезонах
Цвета бордо.
Мне кажется,
Тогда пузырьков
Было больше в кока-коле.

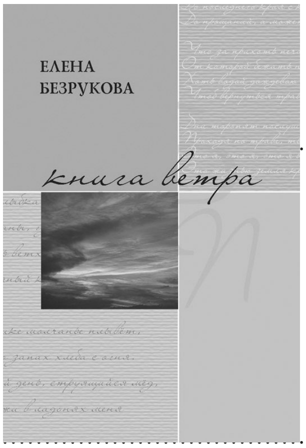
3.

В один из дней
Меня сопровождал повсюду
Один восторженный китаец.
Он по-детски радовался
Всему, что видел,
И всё время просил всех
Сфотографировать нас вместе.
У него был большой фотоаппарат,
Он приобнимал меня,
В камеру глядя,
И что-то говорил
На своём языке.
Где он теперь,
Олимпийский китаец?
Наверное, рассматривает
Фотографии со мной
И думает:
Где же эта олимпийская девочка?

4.

Мишка появился неожиданно.
Он плыл по воздуху,
И стало тихо.
Потом песня зазвучала.
Все знают её в России.
Заплакали многие.
А я была сдержанной всегда.
Смотрела
То на мишку,
То на соседей своих,
Улыбающихся
И плачущих одновременно.

Папа дал фотоаппарат.
Я снимала, и снимала, и снимала
Мишку улетающего,
Пока он в точку не превратился.
И скоро всё закончилось.
Никогда не видела
Так много счастливых людей.
А выходя из стадиона,
Подумала:
Какие красивые сомбреро
У мексиканцев!



Елена Безрукова

Книга ветра

Санкт-Петербург: «Маматов», 2015

Драгоценный поэтический дар, несомненно более значимый, чем любые эксперименты с обновлением формы и содержания,—стремление к предельной искренности и ясности, крайней степени достоверности ощущения жизни. Ведь именно из этого ощущения рождаются и органичность стихотворных форм, и уникальность индивидуального, личного поэтического мира.

«Книга ветра» Елены Безруковой от стихотворения к стихотворению раскрывает нам удивительную вселенную, мир нашей современницы, глубоко причастной к духовной традиции родной культуры—и уже обретшей свой неповторимый голос, гармоничный поэтический универсум.

Поэзия сама по себе—стихийна, и потому напрямую родственна Природе. Книга Безруковой насквозь пронизана природными стихиями—это воды, ветра, это отражающие их мелодии и чувства… Стихию невозможно подчинить, её возможно только ощутить и осмыслить—тогда она сама становится частью высшего замысла, его музыкой, доступной и внятной поэту.

Нина Ягодинцева

• • •

Кромка прибрежных снов, пережиток, память,
Как мне исчезнуть, чтобы тебя не ранить,
В сеточке линий ладони твоей упрямой
Привкусом жизни—тонкой, порочной, пряной?..

Пауза в строчке, клапан митральный, тихо,
Смерть в затяжном вагоне—табличка «выход».
И никому не скажешь, как страшно это—
Не позвонить с глупым вопросом: «Где ты?»

• • •

Струна моя, душа моя, тоска…
Раскачивает ветер заоконье.
Я призраку, я промельку близка,
И ты сквозь пелену меня запомни.

Откуда знать мне, что произошло
Со мной, подвластной всем ветрам и силам,
И что—легко, а что—невыносимо?
Болераздел снегами занесло.

Пусти меня, больничная кровать,
Качаться ветром, отголоском думать:
Что мне теперь в пустые жилы вдунуть,
Коль жизнь дарить—почти что отдавать?..

Александр Емельяненко

Мой герой

● ● ●

Вот опять подморозило,
Вновь потянуло дымком от разваленных труб.
Всё стабильно в природе, как в омуте тихом.
Но подуло вдруг с озера,
На котором пыхтит лесоруб.
И летят его щепки на крыши кремлям и барвихам.
Не спеши, мой герой,
Ничего не даётся с лихвой и сполна.
Пусть упавшие щепки — легки и пушисты.
Ты ещё поменяешь свой строй,
И тебя не прогонит страна,
А не геи, масоны, братва и фашисты.
Были зимы студёнее,
Чем городская, сидящая дома, зима.
И хватали шпионов английских по первому стуку.
На распахнутом дёрне
Белела военной зимы бахрома
И ровняла могилы и пашни на скорую руку.
У тебя под ногтями —
Развал обретённой тобою страны.
И страна без труда заползает под чёрные ногти —
Целиком и частями,
Опилками, хвоей сосны.
И вздыхает начальник тюрьмы на излюбленной ноте.
На морозе, ветру ль
Проредив обихоженный лес
И в кабине знакомясь с уютом, теплом и комфортом,
Ты однажды возьмёшься за руль
И отправишься в дальний, но внутренний рейс,
По дороге сигналя в кюветы «мигалкам» и «фордам».

● ● ●

Напишите «любовь» на отдельном листе,
На далёкой — последней — странице,
И закройте блокнот в суете-маете.
На чердак поскорей зашвырните.

Умирал человек без тепла и светла.
С чердака его сыпалось что-то.
И любовь ничего-ничего не смогла
На отдельной странице блокнота.

Человек без любви — всё равно человек,
Про любовь у него — лишь страница.
Но зачем-то он всё остальное отверг,
И ему всё другое не снится.

● ● ●

Два белых корабля в тумане млечном
Себе тихонько плыли, как могли.
Они мешали думать мне о вечном
И закрывали горизонт Земли.

Два белых корабля, ещё реальных,
И потому без горести большой
Они меня как будто потеряли
В стране безвестной, доброй, но чужой.

Гудели трубы, трапы поднимались.
Из-за спины глядели сотни глаз.
И мне казалось, что не мы прощались,
А те, кто видел, но не выдал нас.

К ним отрицая всякую причастность,
Я от причала убежал на мыс.
Я час смятенья принимал за счастье
И часть сомнений принимал за мысль.

Возвращение на Родину

Отступают Куранты с боями.
Из Фонтанки позволено пить.
Я приехал сюда из Майами
Для того, чтобы любить.

Для того, чтобы в горле и жилах
Содрогалась твоя красота.
Ты, должно быть, уже отслужила
И, должно быть, вернулась не та.

Я скитаюсь по белым аллеям.
Я ищу твой задумчивый взгляд.
Но твоим неподкупным веленьем
Я прикован, побит и распят.

Ты, наверно, меня не узнала.
Всё смотрела, смотрела в упор.
Ты не то чтоб меня обуздала —
Ты не любишь меня до сих пор.

Воспоминания о юношеской любви

Вот так же и моя любовь, как этот ураган,—
Смела всё на своём пути, оставив горизонты.
И вот до горизонтов я доплёлся, дошагал
И посмотрел на разные красоты.

Когда моя любовь мне снова шлёт поклон,
И я, когда увижу шторм из окон дачи,—
Я обязательно смотрю на небосклон
И выбираю горизонт подальше.

Вот двадцать лет, как я во сне с тобой не говорю,
И даже позабыл твой облик простоватый.
Я на любовь теперь уверенней смотрю,
Как взрослый человек и адекватный.

Когда осенний штиль напомнит о семье
И мой давнишний друг, ещё ни разу не женатый,
Мне позавидует на борщ и оливье,
Я время снова запишу в координаты.

И оправданье отыщу я в том,
Что мир моих забав и увлечений
Сомкнётся снова до азов, до аксиом
И юношеских умопомрачений.

• • •

В стране, в которой всё приходит вовремя—
Автобусы, трамваи, поезда,
И вовремя любовь, как майский гром, гремя,—
Спешат зачем-то выдать паспорта.

В стране, в которой прежде до шестнадцати,
А нынче до четырнадцати лет
Всё ладится. Но после—где он, шанс найти
Подкову, колокольчик, амулет?

В стране, в которой сколько ни опаздывай
И, как дурак, удачу ни пугай,
Попробуем второй и сотый раз давай!
Не бейся, не ищи, не сберегай!

В стране, в которой всё приходит вовремя—
Отчаянье, смирение, покой,—
Не этими словами всё кругом тремя
Прибито торопливою рукой?

Ты прочитал, тюфяк неповоротливый?
Бери теперь ответственность сполна,
Что смаковал, когда «глотай и в рот вливай»,
И лишь глотнул, а надо пить до дна.

В стране, в которой всё готовят загодя—
И сани, и резину, и гробы,—
Смотри, висят мороженые ягоды.
Но ты зачем-то прёшься по грибы!

Чебаркульский метеорит

А ведь ты мог лететь и дальше,
Чебаркульский метеорит:
И нигде тебя нет в продаже,
И никто не обматерит.

Я бы мчался до института.
Ты летел бы к своим мирам.
А теперь мы с тобой как будто
Роли путаем по утрам.

Прогремевший по крышам детства,
Непредвиденный, как любовь,
Напугал аппарат полпредства,
Озарил сотни тысяч лбов.

Не дождутся миры иные:
Ты—в глубинах моих озёр.
А к мирам полетит отныне
Неоправданный фантазёр.

Мне почудилось на мгновенье,
Что фантазий моих сундук
Осознал своё назначенье
Под твой грохот, твой главный звук.

Всё, что важным казалось раньше,—
Словно пара твоих витков.
Люди, головы не пораньте!
Отойдите от косяков!

Поменяемся же местами,
Хоть на считанные часы!..
А тебя из глубин достали
И поставили на весы.

• • •

Попросим за мёртвых.
Сегодня за них попросим.
Мы с фигой в кармане
К начальству пойдём на поклон.

До самых упёртых
Дойдём и гордыню отбросим:
Их мёртвые не донимали,
Не действовали напролом.

Пропеть дифирамбы
Попросим, польстить бесстыже,
Назваться друзьями
И даже признаться в любви.

Уж поздно. Пора бы.
И кто будет ждать—не ты же?
Открой обезьянник
И больше друзей не лови.

Филипп Пираев

Самописцы небес

* * *

В провинции—восторг и благодать:
бездонно небо, и прозрачны реки,
гудящих строек века не видать,
зато без них слышнее человека.

Хрустим редиской, пьём себе стишки,
настоянные на сосне и травах,
спасаясь от назойливой мошки
тщеславия и веяний лукавых.

Хотя и тут случается подчас
кому-то, грешным делом, захвалиться,
но даже одарённейших из нас
не соблазнить надгробием в столице.

Здесь как-то всё родимей и светлей—
и плач звезды, и хохот непогоды,
и журавли над кротостью полей
понятны до сих пор без перевода.

И, выходя к берёзам на мороз,
легко согреться и душой, и телом,
поняв, что жизнь, увы, не без полос…
но всё же это—чёрные на белом.

* * *

А дальше—вера, и стихи,
и вздох туда, где до заката
родного неба балдахин
над тишиной синеет свято.
А дальше—вера и любовь—
к земле, бескрайней и могучей,
цедящей благовест лугов
под вековую грусть уключин.
А дальше—вера в доброту
и в то, что пусть не без греха мы,
но вьюги лжи не заметут
путей к надгробиям и храму.
И будет наша длань щедра
и разум совести послушен,
пока нам жаждой серебра
не инфицировали души;
покуда мы ещё сильны,
наперекор звериной воле,
недобиваемой страны
непродающеюся болью.

Чёрный ящик

От земли до небес—годы чёрной работы,
от небес до земли—пара ярких минут.
Мародёры растащат куски самолёта.
Но однажды в золе самописец найдут.

Слушай, мир, как пилот, с турбулентностью споря,
надрываясь, вытягивал к сердцу штурвал
и, вдохнув напоследок родные просторы,
с благодарностью имя любимой призвал.

Ты не бойся, душа, мародёров могилы:
видишь—звёздные ноты роняя за лес,
нас рифмуют со всеми, кого мы любили,
несгораемые самописцы небес.

Рыбак

Звёзды в небе, в воде и на том берегу.
Ты стоишь, мимо Волги, впадающей в осень,
устремляя задумчивый взор к рыбаку,
что плывёт по течению, вёсла отбросив.

Он плывёт, как звезда,—никуда не спеша,
вдоль оранжевых бакенов тысячелетий,
ни за дрожь ветерка в париках камыша,
ни за волны судьбы пред тобой не в ответе.

Он скользит меж миров, прикорнув у руля,
он застыл в фиолетовой точке покоя,
созерцая, как маленькой лодкой Земля
очарованно катится млечной рекою.

Фома

Не иначе как сон, вероятно—зима,
кто-то в небе дудит на гобое.
И шагает Фома, и стучится в дома,
заклиная звездой голубою.

Говорит: «Та звезда—злая кара моя,
исходил вслед за нею все страны.
Чтоб всё было не зря, и уверовал я—
дайте мне разглядеть ваши раны!»

Говорит: «Наконец, скинув с сердца века,
расцелую вам руки и ноги!»
Но, словив тумака, цепенеет слегка
и уходит во тьму одиноко.

Колесо смерти

Белкой ловкой — на ободья, смелей!
Прочь страховку: это — цирк дю Солей.
Это — снова терапия толпе
жгучим соло о борьбе и судьбе.

Жизнь по кругу — не из праздничных путь.
Но науку Галилея забудь:
если что-то и кружит небеса —
это взлёты твоего колеса.

Не по прутьям, каждый шаг — по сердцам.
Чтоб всей грудью — сняв повязку с лица
и в софиты, словно в вечность, смеясь —
пить молитвы сотен преданных глаз.

Но, повязан слепотою мирской,
тщится разум: для чего и в какой
страшной смете день за днём множишь ты
близость смерти на восторг высоты?

● ● ●

Дмитрию Гагуа и Гиви Чрелашвили

А может, это просто павший лист,
и нет в нём ни печали, ни намёка,
и дух, как прежде, молод и плечист,
а впереди прекрасное далёко,
и можно рассыпать горстями дни,
себя не оправдавшие строкою,
и засыпать с намереньем одним,
а просыпаться, так и быть, с другою.

Но только — будто некий лиходей
за счастье бытия утроил плату —
в победном шаге выросших детей
слышней memento mori циферблата;
но только именинная звезда
целует всё бессонней и прощальней,
и, уплывая в зимы, поезда
привычных не курлычут обещаний.

Хлебнувшим нигилизма и разлук,
познавшим, как всесильны ржа и плесень,
не в то ль нам остаётся верить, друг,
что души вековечней наших песен;
что, в шифрах лиц продумав каждый штрих
и публикуя на ладонях знаки,
о новых встречах в небесах иных
глаголет архитектор зодиака;

что для того сплетает листопад
мосты, фонтаны и тот самый дворик,
чтоб всё простилось тем, кто виноват,
и не судили те, кто был нам дорог;
что, отстегнув полтинник серебром,
негоже ждать от жизни медной сдачи,
а мир стоит любовью и добром,
растущими, как числа Фибоначчи?

● ● ●

По радио трещали о морозах,
шуршали вдоль домов кометы фар,
и был рассвет беспомощен и розов,
как в обществе прелестницы школяр.
Брело слепцом унынье по аллеям,
и, всхлипам расставания под стать,
слетали с губ созвучья и, немея,
озябшей стаей рушились в тетрадь.

А ты спала, доверив чуткий профиль
затейливому бризу покрывал,
и тикала судьба, и верный кофе
задумчиво на стуле остывал.
А ты спала и, возгласом крылатым
встречая восходящую струю,
парила, тайной радостью объята,
у холода Вселенной на краю.

Шептали стены, и будильник плакал:
«Очнись! Как можно спать, когда вокруг,
грозя бедой, как вражеский оракул,
колотят в бубны полчища заструг?»
И так частила, на пространство множась,
нахрапистая белая картечь,
что сковывала разум невозможность
тебя, закрыв собою, уберечь.

Но ты — спала, лучисто и спокойно.
И слышалось в дыхании твоём,
что не всевластны немощи и войны
и не навек сугробы за окном.
И жвала тьмы растрескивались где-то,
в труху забвенья тщась перетолочь
у вечных льдов, сжигающих планеты,
двумя сердцами вырванную ночь.

● ● ●

Тимуру Алдошину

Приснился небу странный сон,
где рыбы, выбравшись на сушу,
оделись в шкуры и виссон
и научили мыслить души.

Приснилась душам круговерть
интриг, побоищ и болезней,
в конце которой дура-смерть
зияла гнилозубой бездной.

Тогда приснился людям Бог,
понятливый и воздающий,
включивший в бездне маячок
для возжелавших вечных кущей.

А Богу снились времена,
когда, забыв о сне нелепом,
потомки рыб всплывут со дна,
шагнут в любовь и станут — небом.

● ● ●

Моросит, целый день моросит—
быть, наверное, морю грибов.
Не проси ты меня, не проси
рассказать красоту и любовь.

Не разматывай речью клубок
бессловесных и тайных начал.
Если б даже постичь их я мог,
всё равно, будто рыба, молчал.

Потому как мудрейший ответ
на любой в этом мире вопрос—
пузырьки уплывающих лет,
запах прели и вздохи берёз.

Потому что светлее дождя
нам никто не наплачет о тех,
кто, в сиянье покоя уйдя,
позабыли и слёзы, и смех.

Жизнь возникнуть решила не зря
в глубине, первозданно немой,—
чтобы, сущему смыслы даря,
не сболтнуть их себе же самой,

но реликтовым помнить чутьём,
что, окончив скитанья свои,
мы когда-нибудь вновь обретём
тишину красоты и любви.

А слова—это только транзит,
просто штрих на четвёртой оси…
Моросит, целый день моросит.
Не проси ты меня, не проси.

● ● ●

В час, когда тьма не почата
и цефеиды близки,
сад серебрится сонатой—
это поют пауки.
Дарственно и величаво
над окоёмом простёрт
суборбитальной октавой
тысячерукий аккорд.
Не прекращает работу
инопланетная рать:
бисером лунные ноты
сыпля в ночную тетрадь,
вяжет свой призрачный танец,
множит спиральный рефрен,
словно расслышать пытаясь
россыпью чутких антенн
в треске галактик бессонных
голос лазурных стихий,
в ангельских диапазонах
шепчущий миру стихи.

● ● ●

Рождённый плавать упадёт на дно.
Но, задыхаясь в яростном изгибе
меж водной и небесной глубиной,
дыханье звёзд нащупывают рыбы.

Так пишутся стихи, творится Бог,
сжигаются ступени эволюций.
Так—верится—в определённый срок
удастся нам взлететь… и не вернуться.

● ● ●

А липы знай себе цвели,
и юность дружбой богатела,
палитру неба и земли
в себя вбирая до предела.

Ходил точильщик по дворам,
свой клич азаном выпевая,
и, дребезжа, сквозь птичий гам
неслись футбольные трамваи.

Журчали арфы, как в раю,
и на лугах Большого зала
ты первую любовь мою
в пуантах резвых танцевала.

Спеша судьбу поднять на щит,
считали мы, что мир—арена,
а время—пусть его—бежит:
кого пугают перемены?!..

Трамваи пущены на слом:
без них бульвары—точно вдовы.
Друзей ветрами разнесло,
и нет точильщика седого.

И, в жизни свой избрав маршрут,
осталась ты письмом из мая.
А липы знай себе цветут,
мучений памяти не зная.

● ● ●

На уличном кларнетисте—
промокший от снега шарф.
Стоит он средь павших листьев,
затылок к стене прижав.

Давным уж давно стемнело.
Что делает он один
на дне канители белой,
в собранье бездомных псин?

Похоже, мало́й с приветом,—
промчавшись, дивимся мы.
А он им играет лето
в преддверии злой зимы.

Амирам Григоров

За колокольнями Посада

• • •

Над красным проспектом такой же закат. По мосту,
Ревя, грузовые машины летят, как с горы.
Скажи мне, любимая, что там за травы растут,
Какое там небо над Обью, какие дворы?

Озвучь эту вечную басню покинутых стран,
Жила в этом месте с такого-то года тире,
А хмель на беседке у дома тревожен и прян—
Достаточно сорванный усик его потереть.

Поднялся ли ввысь этот город, раздался ли вширь—
Не знаю, меж нами—полмира, и тают вдали
Мои перелётные с юга, сбегая в Сибирь,
Покуда твои верещатники не отцвели.

Памяти А. Ветрова

Поверь мне, свет, а не поверишь—тьма,
О юность золотая, пыл твой вечен,
И наползает заново зима
На голые сады Замоскворечья,

Где холм прибрежный—что изгиб плеча,
Где царство прошлогоднего бурьяна
И где трамвай на площадь Ильича
Бежит, свистя мехами от баяна,

Где на свету, на самом козырьке,
Под звёздами далёкими под утро
Я поплыву в твоей Москве-реке
Под старческими пятнами мазута—

Опять туда, где утки над водой,
Где фонари похожи на конверты
И где закуришь, словно молодой,
И выпьешь безоглядно, как бессмертный,

Туда, где костяки твоих дерев,
Где каланча—что твой могильный камень,
Где улицы, печаль свою презрев,
Вослед звенят трамвайными коньками.

• • •

Крапивница, белянка, адмирал.
Маши сачком, как саблей на войне,
А я в то лето бронзовку поймал,
Накрыл рукой—и счастлив был вдвойне.
«Ты только не рассказывай, молчок»,—
И каждому, наверно, предъявил:
Живёт в коробке бронзовка-жучок,
Скрежещет изо всех жучиных сил,
Мой добрый юг, мой синий самолёт,
Крапивный суп, смородина, омлет.
И самым первым бронзовка умрёт
Из всех, кто был со мною на Земле.

• • •

Послушай, уходя к родным пенатам,
Как стонут рельсы под Калитниками,
Как плачут фильтры мясокомбината
И ласточки свистят под облаками.
Вот шорох, слышишь, это первых листьев,
Сражённых осенью издалека. Потерян
Незнамо кем, поблёскивает блистер
Таблеток неизвестных. Будто фея
Свою заколку потеряла в парке,
Перелетая двор на пролетарке.
В такую сушь дворы не просыхают,
Москва в Москве, пейзаж как на иконе.
Куда твои аллеи увлекают?
Куда ведут сады твоих бегоний,
В какие холода, в какие ясли
Небесные? И только жаль что в сумме
Останется ничто, а город счастлив,
Как будто в городе никто не умер,
И тёплый вечер цвета бычьей крови
От Валовой спускается к Воловьей.

• • •

В гремящем тамбуре молчишь, закат неодолимо горек
Над треугольниками крыш и позвонками новостроек,

И тут какой то мужичок минуту верную находит,
Встаёт и, дёргая плечом, петь принимается в проходе.

Знакомы эти песни всем—про «мусоров» и птицу в клетке,
Про травы первые в росе и друганов на малолетке,

Про бесконечные поля, про стужу зимнюю и вихри.
И замолчали дембеля, студенты пьяные притихли.

Тут отвернёшься, лбом в металл уткнёшься, улыбаясь, с тем лишь,
Чтоб слёз никто не увидал, и будет, позже, как задремлешь,

Любовь святая на века, кульки с крыжовником, рассада,
И будут падать облака за колокольнями Посада.

• • •

Там, за борисовской волной, где у плотины сохнут тени
И дремлет яблонь ветхий строй среди разбойничьей сирени,

Там, где церквушка Божий гнев отводит, по колено в иле,
Спилили несколько дерев и голубятню разорили.

И в час, когда за Третий Рим текут ветра его в истоме,
Взмывают к небу сизари, и каждый кажется бездомным,

А в их разровненном дому, где стынут новые рябины,
Теперь не слышен никому бесплотный лепет голубиный.

Щебечет гравий привозной, и комариный воздух клеек,
А ты, разбуженный весной, вдруг закемарил меж скамеек,

И проступил сквозь пустоту мир, бывший проще и понятней,
Где эти яблони в цвету и вечный свет над голубятней.

• • •

Теперь проснёшься, как разбуженный, а свет по городу летит,
И воробьи парят над лужами, нагуливая аппетит,

И будто мы шагаем об руку, весной напитываясь всласть,
А рыболов на древнем облаке свою настраивает снасть.

И там, где меркнет свет, на выходе, в такую вязкую весну
Кого из нас под вечер выхватят, кого уловят на блесну?

Деревья истекают слёзками, трава щетинится кругом.
Где облака твои неброские в московском воздухе тугом,

Весной, над башнями Баженова, пока шаги мои легки?
И лишь Василия Блаженного не уплывают поплавки.

• • •

Исходит свет из белых фур, и Млечный Путь тусклей,
И разливает Азнавур парижский свой елей,
А воздух вечера застыл, и, много раз подряд,
Уходят белые сады на Сергиев Посад.
Зачем словесные бои, когда и ветер—стих,
И пальцы тонкие твои опять в руках моих,
Когда обочины черны, вишнёвый свет истлел
И не видать своей страны, как соловья в листве?

• • •

Если из дома ты вышел,
Санки цветные везя,—
Значит, сосульки на крышах,
Значит, без шапки нельзя.
Будет от быстрого бега
Холодом глазки слепить,
Будем из рыхлого снега
Снежную бабу лепить.
Эта забава простая,
Это родные края.
Пусть никогда не растает
Снежная баба твоя.

• • •

С лёгким свистом, слышишь,
Наступает лёд,
И по нашим крышам
Дождь последний бьёт.

Обхвати подушку,
Спать пора давно,
Завтра нам в кормушку
Насыпать зерно.

Снега нынче мало,
Птица, берегись,
Высохла, опала
У рябины кисть,

То пора такая,
Ты запомни, брат:
Птицы улетают,
Люди улетят.

Борис Бергин

Жернов

Посевная

Постоянно думаешь: только бы не началось.
И под сердцем колется ноющий ржавый гвоздь.
Фронтовые сводки с полей, а хочется посевной.
Постоянно думаешь: ну это же не со мной.
Это где-то в книжках, кино, далёком чужом краю.
Что бросаешь в землю весной, то осенью соберут.
И хотелось сытное в землю бросать зерно,
Зарастай зелёной травой, злобой прорытый ров.
Говорит мне сын: «Вот с этими прадед мой воевал».
Почему у весны опять звериный такой оскал?
Почему слетается вновь чёрное вороньё?
Только эта земля моя, а я не отдам моё.

Легенда

Погиб мой край, нелюбимый пасынок
У неньки в лентах, с дешёвым пафосом,
Распят под флагами ядовитыми,
Чужими флагами, жовто-блакитными.

Погиб мой край, города разрушены,
Поля сожжённые, люди изгнаны.
В столице скачет зверьё двурушное,
А на руинах вороны тризнуют.

Погиб мой край, смертью храбрых рухнувший,
Вот как стоял, в полный рост, не согнутый,
Небесное войско пополнив душами…
…Снарядами вспаханы пашни, не сохами.

Погиб мой край, равнодушьем преданный,
Под похоронное сдан молчание,
Его сыны стали вровень с предками
Республики, навсегда отчаянной.

Погиб мой край, под хруст попкорновый,
Подан перцем к чужому ужину.
Такие вот, как он, непокорные—
В торгашеском мире давно ненужные.

Погиб мой край, просто стал легендою,
Здесь столько раз степь сгорала вольная.
Донец течёт пулемётной лентою.
Погибшим—слава, уже не больно им.

Вербная колыбельная

Когда теряешь дома и страны,
Когда с родными людьми в разлуке,
В чужих углах просыпаться странно,
И пахнет воздух весенний луком.

Когда живёшь будто по Ремарку—
Никто не верит, что убивают,
Обратно гонят и, как помарку,
Стирают… Скоро неделя вайи.

Проходит ночь—только грусть и кофе,
На горизонте огни потухли…
И выстлан вербою путь к Голгофе.
…И режут лук на небесной кухне.

Июнь 2014

И в красное запачканный манжет…
Под ноги воин карабин роняет,
И кружатся вокруг лжецы роями,
Шампанское несут и бланманже.

И выпирают из кустов рояли,
И сеет небо смертное драже,
И у́же не бывает путь ужé,
И кто б ни победил—все проиграли.

Шуты по трупам рвутся в короли—
Обломками былой страны рулить,
Нахально соревнуясь в произволе.

Смертям и разрушеньям сбился счёт,
И маками кровавыми цветёт
Пшеницей не засеянное поле.

Жернов

И когда захочешь границей отгородиться,
Повторяя: «Не сторож я, Господи, нет, не сторож»,—
То беда вернётся в твой дом, как всегда, сторицей,
И болит, так болит, за какую струну ни тронешь.
И пока ты прячешься, где-то приносится жертва—
За отсрочку недолгую, за мимолётность покоя,
Беспощадный уже запущен неждущий жернов:
Перемелет в муку—то не хитрое дело такое.
Раскроили рвами землю Войска Донского,
Но в степи не скроешься—степь навсегда едина.
И здесь общая память и общие путь и Слово,
Знамя деда поднимется в небо руками сына.
Только б не было поздно, на чашу весов небесных
Не легло бы предательство каиновой печатью,
И не стало б в земле от могил свежевырытых тесно.
Не зависла б рука: в книге жизни тебя отмечать ли?
Тонкой нити родство над какой нас бездной держало,
Проходила орда—выживал, кто не встал на колени.
И сегодня решается—будет ли вырвано жало
Или завтра ковыль зазвенит над великим забвеньем.

Киевская колыбельная

Сестрёнке Алёне

Зверь не возьмёт этот город, не плачь, сестрёнка…
Рвали живое, выискивали где тонко.
Жгли этот город, пытали его, крушили.
Но не дойдут до стены они Нерушимой.

Белая гвардия здесь, на Андреевском спуске,
Дальше пределов души никого не пропустит.
Молятся денно и нощно за город святые,
Память и веру никто у нас не отнимет.

Сколько б на город ни двинули чёрного нала,
Тени расстрелянных встанут у Арсенала.
Сколько б зверьё ни куражилось дико и яро,
Не перейти им границы Бабьего Яра.

Каждой тропинкой и каждым обугленным домом
В руки не дастся город чужим, незнакомым…
После поднимется вновь в красоте своей древней,
В листьях зелёных срубленных сворой деревьев.

Нет ничего—колокольни чтоб выше Лаврской,
Тонкое держит—не может оно порваться.
Утром проснёшься—весна наступила нежданно,
И на Крещатике снова цветут каштаны.

Сергей Брель

Такая короткая жизнь

* * *

За каждым из нас остаётся Донбасс,
за каждым охотится пёс АТО,
и лица погибших не скроются — с глаз
долой. И грядущее наше — темно

и пусто. Пусть подали солнечный Крым
в хрустальном фужере, но слышится хруст
кровавых костей за сверканьем витрин,
и каждый о мире вещающий — трус.

Над нами мерцает обманчивый Минск,
но новый Одессе назначен сатрап.
И только для избранных — совесть и риск,
и гроб для того, кто не гнулся, как раб,

меняя то цезаря, то батальон,
играя в войну, как в бильярд и лото.
И сердце немногих пылает углём,
пусть прибыльно петь о сраженье святом.

За каждым из нас и Славянск, и Донецк,
и помощи ждать не приходится. Шквал
огня достучится до наших сердец,
и всё объяснит раскалённый металл.

* * *

Я знаю: не дантовский брезжил размах
в судьбе моего поколенья,
но падало грозное слово «Аллах» —
и отрок вставал на колени.

А лик Богородицы таял и ник
в октябрьской братской расправе,
и тысячи имя меняли на «ник»,
кумир Интернета прославив.

Пусть истина тлела на всех языках,
блуждала в заветах и притчах,
но в нашей эпохе такая тоска,
что новых попросишь опричнин,

ведь нет тяжелее сутяжных времён,
где смешаны правда и кража,
и даже на сердце пророка углём
написано: «Всё на продажу».

Гагарин

Посланник, который заговорил
на том языке, что ещё не познан,
Гагарин, послушайте: мы горим!
Но поздно

просить о пощаде, писать в ЦК.
Цикутой уже напоили лучших,
страну завещали отказникам
до путча;

мы отдали космос, и мир, и хлеб,
Гагарин, а как же на Марс хотелось!
Ведь вы с Королёвым могли без скреп
уделать

завистников, скептиков и глупцов.
Следила Земля, затаив дыханье,
за тем, как становится мудрецом
механик,

как ангелом делается пилот,
несущий к созвездиям мысли вызов,
и время застыло в руке, как плод,
без ризы…

Без визы Вы стали на «ты» со всем,
что ныне у нас не ценней, чем ветошь,
простая душа средь небесных тел,
воспетый

мильонами уст бригадир стихий.
А ныне вернётесь — чем внуки встретят?
И гимн вроде тот же, но вот стихи…
То ветер

сменился, и новый у нас обком,
сценарии пишутся в Голливуде.
«А колокол, братцы, звонит по ком?» —
По людям.

● ● ●

Над Москвою огромной стоят облака,
устремляют берёзы листву в синеву.
Этот мир ещё жив, ещё дышит, пока
неизвестный стрелок натянул тетиву

и река по камням расстилает рукав;
тёмный шлем старой церкви в засаде застыл.
Этот мир ещё жив, но, до смерти устав,
он вот-вот упадёт. Словно воздух—тротил,

словно все тормоза на Земле подвели
и последний отпущенный полдень горит:
золотые цветы, молодые шмели,
но уже приготовил объятья Аид.

Рыбаки разложили закуску и ждут—
скоро клюнет карась, а в кустах соловей
заливается всласть, не считая минут,
но выходит гроза на весёлый хайвэй,

и взорвёт горизонт фиолетовый блеск,
будут сброшены маски, Сатурн обнажит
окровавленный клык, и тревожный бурлеск
разыграют в разорванном небе стрижи.

Подождём: подступает к порогам потоп,
но так сладко дышать, предвкушая финал…
А в зените—звезды умирающей сноп
прячет тайны, которые ты не узнал.

● ● ●

Такая короткая жизнь—
проходит, как лето в Крыму.
Кому мы сказали: «Держись!
сейчас подниму, обниму…»?

С кем пик покорили, где снег
сияет, пошли на Афон?
Кто призрак, а кто человек?
Всё мимо, и всё под уклон:

один укатил за бугор,
другой тихо сходит с ума.
Спасают лишь хлеб и кагор—
родные пусты закрома,

застроены все пустыри,
растрачены все матюки.
Кому мы шептали: «Бери
печальной свободы ростки…»?

Кто скажет, что прожил не зря
те страшные годы? Но ждут
паром, горизонт и заря.
А может—блиндаж и редут.

● ● ●

Е. С.

Сегодня приснилось: мой город
избавился от черноты,
и стали глаза светофоров
нездешне, янтарно чисты.

Мне снилось: мы едем в трамвае,
и возле Покровских ворот
то башня ли сторожевая
ладьёй древнерусской встаёт?

И наши ли сблизились локти,
и наши ли взгляды сошлись
на радостном том повороте,
где плыл ослепительный фриз?

Где врал о ворах Гиляровский
и площадь под снегом грустит,
стеснялись мы, словно подростки,
признаться, что нам по пути

в потерянной нашей, хрустальной,
печальной, молчальной Москве
за тем, что останется тайной
(пока не кончается свет),

среди колоколен, и арок,
и двориков, где кирпичи,
как арфы звучат и гитары,—
забывчивые москвичи.

Нам время являлось без фальши
и пошлых следов новизны,
так пусть побеждает и дальше
не серость сознанья, а сны.

Ведь верно, что так мы и видим
друг друга (на то и судьба),
тоску по родной Атлантиде
в толпе прочитав по губам,

и, может, нас прежде венчали
под сводом Святого Космы,
и дьяк с голубыми очами
читал, запинаясь, псалмы?

Но хочется в сказке остаться,
замкнуться бульварным кольцом.
И кажется: мы—это царство,
рассеянное свинцом,

и нас собирают по крохам,
как редкий заморский товар,
в движеньях, признаньях и вздохах
вознёсшихся ввысь закомар.

Александр Ломтев

Я однажды не умер…

1.

Жизнь ненадёжна. Жизнь случайна и неструктурированна. В ней нет твёрдого порядка. Ни в природе, ни в человеческом обществе, ни в самом человеке. Сегодня может сиять солнце, а завтра вдруг налетит ураган. Сегодня мир, завтра война. Сегодня ты бодр и здоров, и удача рядом с тобой, а завтра — альцгеймер, рак, воспаление лёгких, и тебе, в общем-то, всё равно. Ты едешь по шоссе, скрупулёзно соблюдая все правила дорожного движения, но тут на тебя налетает КАМАЗ с пьяным водителем за рулём, и через три дня тебя вместе со всеми твоими надежами, добродетелями, с твоим почтением к правилам и законам закапывают в деревянном ящике в землю. Жизнь никак не удержать и не затормозить, делай что хочешь, а она течёт себе, не останавливаясь, течёт, течёт, течёт, пока вся вдруг не вытечет.

И человек придумывает себе кристаллическую решётку, каталог, правила и законы, систему координат, чтобы хоть как-то определить своё положение в этом бездонном, бескрайнем, нескончаемом мире. И старается забыть о том, что деление времени жизни на часы, недели, месяцы и годы условно, ни к чему не обязывает и ничего не даёт. Ты можешь смотреть на календарь и считать года, а можешь плюнуть — жизнь всё равно пройдёт и кончится.

Вот что мы, например, празднуем на Новый год? Смерть ещё одного отрезка нашей быстротечной жизни? С приходом нового года ничего не меняется, но люди не могут без символов, без вех, без ощущения контроля (ха-ха!) над временем. Подспудная тоска и страх того, что от тебя ничего в конечном итоге не зависит, что всё было, есть и будет — с тобой или без тебя, — заставляет человека создавать свои цифровые иллюзии. Если не структурировать как-то жизнь, думает он, что будет? Хаос? А может, и нет…

А ещё человек, словно ребёнок, любит пугать себя разными страшилками: «Однажды тёмной, тёмной ночью в тёмной, тёмной комнате…» Если чёрный кот или баба с пустым ведром через дорогу. Или тринадцатый этаж в доме номер тринадцать… Магия цифр — детский самогипноз. Ну пятница, ну тринадцатое, но все делают круглые глаза и чего-то ждут… Впрочем, если так программироваться — дождёшься… Или, скажем, високосный год…

2.

Говорят, перед смертью вся жизнь пролетает перед глазами. Только откуда это известно? Тот, кто умер, — не расскажет, а тот, кто выжил, — не умер, ведь «чуть-чуть» не считается? Но если «чуть не умер» — пусть и не считается, но на что-то намекает, подсказывает, то передо мной в тот момент пролетела красивая панорама ярко-зелёного поля с графитовыми чёткими тенями стройных берёз, дальняя полоса иссиня-чёрных налитых туч, солнце из-под кромки грозового фронта и довольно спокойно подуманная, хоть и невыразимо печальная мысль: «Ну вот и всё…»

Что заставляет человека хотеть того, что не дано ему природой? Плавать под водой, карабкаться на отвесные скалы и ледяные недоступные вершины, летать… И рисковать при этом собственной жизнью. Между прочим, единственной.

Каждый раз, подняв над головой крыло параплана, оторвавшись от склона и взмывая в восходящем потоке, я поневоле думаю: как этот полёт закончится?

Под тобой пропасть, над головой тряпочка с тонкими стропами, а вокруг безбрежный зыбкий океан со своими, порой жестокими, законами. И ты не из этой стихии.

Однажды на глазах у меня пилота затянуло в смерч, купол трепался жалкой тряпкой, запасной парашют не раскрылся, и крохотная фигурка с километровой высоты неслась вниз. Крыло параплана раскрылось и остановило падение метрах в пятидесяти от земли. Не знаю, кто испугался больше — пилот или те, кто наблюдал за ним с земли. В другой раз парапланериста занесло на высоковольтку. Искры, треща, как петарды, сыпались, словно новогодний салют. Пилот мог погибнуть трижды. Его могло убить током, он мог разбиться, упав с большой высоты, когда стропы, на которых он повис, перегорели. Он, потеряв сознание от удара о землю, мог сгореть в пожаре, возникшем из-за искр, воспламенивших сухую траву. Но выжил. Со сломанной лодыжкой его вынесли из огня

практически в последний момент. На следующий день он прыгал на стартовой площадке с гипсовой блямбой на ноге и клянчил у инструктора параплан. Не сказать, что такое бывает часто. По статистике, ЧП в небе случается даже реже, чем на шоссе, где регулярные катастрофы бывают ужасны… И всё же…

Иногда я представлял себе, как бело-жёлтое крыло моего параплана попадает в зону турбулентности, купол складывается, бросить запаску я не успеваю, и… И всё же в выходные беру параплан и выезжаю за город. Так что же заставляет человека идти на риск?

И ещё: почему одни люди живут долго, другие очень долго, а третьи — совсем мало? Ну, древним-то было проще, они знали, что три парки прядут пряжу их жизней и от третьей парки — Морты — зависит, когда будет перерезана нить жизни каждого из смертных. А сегодня? Судьба, случай, гены, карма… Выбирай что хочешь, и всё выдумка и неправда. Или не вся правда, что ещё хуже неправды…

В тот день — обычный июньский день, не тринадцатого и не в пятницу, — параплан остался дома; я полетел вторым пилотом на дельталёте. Дельталёт — такая моторная козявка с дельтапланерным крылом и двухместной люлькой вроде мотоциклетной коляски. С утра над богоспасаемым Дивеевом грохотала гроза, но к тому времени, когда я приехал на малюсенький аэродром, который два десятка лет назад служил взлёткой для кукурузников сельхозавиации, чёрные тучи ушли на юг и посверкивали зарницами где-то над мордовским заповедником.

РП — руководитель полётов, главный человек на аэродроме — дал добро на вылет, наша «букашка», едва разогнавшись, взмыла в небо, и мы легли на маршрут.

Хорошо лететь на высоте в сто-двести метров над землёй, рассматривать неровные лоскуты полей и зелёные заборчики лесопосадок вдоль серых лент шоссе, купины ив около зеркал прудов и турецких лезвий речушек, блестящих под летним солнцем.

Первый пилот — тёзка Саша, — поглядывая по сторонам, легонько двигал трапецией, заставляя нашу «букашку» лететь на нужной высоте и в нужном направлении. Полёт был долгим, воздух недвижим, треск двигателя ровно-однообразен, и я принялся вспоминать свою вчерашнюю поездку в Костомаровский монастырь.

Как всё же техника сократила расстояния и время, думалось мне. Мир словно съёжился. Вот только вчера я ступал по ковылям среди меловых откосов, дышал медовым ароматом цветущих акаций, купался в Дону и любовался золотыми главками храмов Костомаровской обители, вырубленных прямо в белых утёсах. А сегодня, промчавшись за рулём тысячу километров, лечу над родными краями. Вон справа сияют купола Дивеева, прямо — белыми кусочками рафинада рассыпаны многоэтажки ядерного Сарова, уже не секретного, но всё ещё закрытого. Впереди Кремёнки, где потерпела сокрушительное поражение Алёна Арзамасская, русская Жанна д'Арк, дальше — Суворово (говорят, именно здесь останавливалось немногочисленное войско Александра Суворова, пробирающееся на восток, на борьбу с мятежным Пугачёвым), дальше Рогожка, родовая усадьба Карамзиных…

Костомаровский монастырь поразил меня. И своими необычными меловыми храмами, и благоухающими пещерами, и быстрым чистым Доном, и легендами, связанными с Серафимом Саровским. Я вдруг ясно вспомнил, как совсем молоденькая монахиня Нектария привела нас в храм-крипту Серафима и, вручив свечи, сказала: «Вы из Сарова, попросите у батюшки чего очень хотите, вам он не откажет».

И я стоял перед иконой преподобного, неловко верующий — крещённый в православии, живший в атеизме, — и не знал, чего просить. Ну, конечно, одну свечку за родных и близких — им здоровья и всяческого благополучия попросил, глядя в добрые, играющие в свете свечных огоньков глаза. А себе? Ну, пожить ещё какое-то время, успеть доделать недоделанное, не уйти до времени… Если можно…

Свеча горела, тени плавали по белым стенам пещеры, я смотрел, смотрел в глаза Серафима и потерял счёт времени…

Из омута воспоминаний меня извлёк толчок локтя первого пилота.

— Смотри, — перекричал он свист ветра и рёв мотора, — твоё село!

И правда, внизу показался дом, в котором я когда-то родился, и фигурки в саду. Фигурки подняли к небу лица и принялись махать руками. И мы помахали им…

Потом мы прошли дальнюю точку маршрута и развернулись в сторону аэродрома. Было очень красиво: разноцветные поля и сочные луговины, церквушки ёлочными игрушками и игрушечные же деревеньки, муравьями рыбаки на берегу пруда, дороги, ярко-зелёные берёзы вдоль них. А впереди — чёткий горизонт, клонящееся к закату красное солнце, яркое, словно щедрым живописцем намалёванное синющее небо и перерезающая его иссиня-чёрная полоса дальней тучи. Какая красота, Боже…

И тут… Дельталёт словно воткнулся в ватную стену. И остановился. Это туча была далеко, а её предгрозовой фронт, фронт нестабильности остановил нас за пару километров до аэродрома. Потом было несколько ударов; словно огромный

небесный бык принялся лягать нашу машинку. Удар—и нас подбросило на несколько десятков метров вверх, ещё удар—и мы проваливаемся вбок. Ещё удар, ещё… И я чувствую, что дельталёт, клюнув носом вниз, обрушился камнем навстречу зелёной-презелёной траве.

Так вот как всё кончится, подумал я. Было совсем не страшно. Печально было. Как же без меня дочка, сын, незаконченная работа?.. как же?..

Время невероятно замедлилось, и я словно разделился натрое. Одна часть меня успела лихорадочно передумать массу вещей; другая спокойно наблюдала за происходящим; а кто-то третий поразился: как это я в такой ситуации восхищаюсь пейзажем?—стройные свечи берёз, чёткие вечерние длинные тени от них по изумрудному полю и солнце под чёрной бахромой тучи: эх, как жаль, что никогда уже не написать эту картину!

Казалось, что мы падаем долго, но земля налетела стремительно. Сто метров падения—смерть неизбежна. Дельталёт со всего маху, со всей силы жахнулся, влепился, грохнулся, ударился о планету!

Дальше—тишина…

3.

Почему пахнет бензином? В Раю не может пахнуть бензином, я знаю, однажды я уже умирал. И это было совсем не страшно. Надо же, всю жизнь человек панически боится смерти, думает о ней и запрещает себе о ней думать, а оказывается, всё это не имеет никакого значения.

Умирать не страшно. Но от этого не легче, поскольку умирать невыразимо печально. Я умирал, и именно горькая неизбывная печаль наполняла меня всего. Хотя наполнять-то как раз было уже совершенно нечего. Не было ни рук, ни ног, ни сердца, только душа, которая страшно болела за всех, кого я оставлял. А душа помещалась в сознании. Так вот где она размещается!

Я представил себе, как над гробом моим стоят (или уже отстояли?), проливают слёзы знакомые, полузнакомые и вовсе незнакомые люди. Стоят, по большей части искренне жалеют меня, а жалеть-то им надо самих себя.

В голове кружил свои галактики космос, то тут, то там вспыхивали сверхновые, возникали чёрные дыры и белёсыми кометами проносились редкие мысли, возникая неизвестно откуда и пропадая неизвестно куда. Умирать даже несколько интересно. Величайшая загадка мира, разгадку которой я сейчас узнаю. Вот человек есть в этом мире, он может на что-то влиять, кто-то его любит, он любит или ненавидит кого-то, и вдруг—его нет! Просто нет… Или есть? Душа заныла в ожидании того, что вот-вот получит окончательный ответ на этот вопрос.

Вокруг что-то было, но вдруг ничего не стало, и из ничего сплёлся огромный кокон, но кокон этот начал сжиматься, и, не заметив как, я вдруг сам оказался коконом. Передо мной поплыли разноцветные идеально ровные геометрические фигуры, ослепительные, гипнотизирующие круги, какие-то—похоже, компьютерные—символы. Тут я всё и понял: жизнь—обман! Нет никакого «Я», нет никакого Мира! Нет ни жизни, ни смерти. Есть компьютерная программа, а вся жизнь—лишь упорядоченное движение электронов. Обида разлилась, проступив через печаль в том, что было моей душой. Вот сейчас кто-то могущественный (Бог?) щёлкнет кнопкой, и моё сознание начнёт стремительно гаснуть, сощёлкнется в узкую белую линию, а потом эта линия превратится в ослепительную точку—и всё! Какое разочарование! Какая беспросветная печаль…

Как жалко мне вас, над гробом слёзы проливающих, как мается и страдает душа по вам, не знающим того, что уже почти известно мне.

Сколько раз стоял я сам, над гробом слёзы проливая, и как далёк я был от настоящего понимания, насколько «мимо» были все мои переживания, моя жалость и запоздалое раскаянье…

В пространстве появилось бледное круглое пятно, которое становилось всё ярче и ярче. Тот самый тоннель? И сейчас я всё узнаю? Что там? Никто не знает; те, что увидели его и вернулись,—не прошли его до конца и не узнали, а те, что прошли и узнали,—не вернулись…

— Как вас зовут? Как вас зовут? Вы слышите, как вас зовут?

— Меня? Саша.

Что такое «Саша»? Имя. Чьё? Моё. И произнёс его я?!

— Саша, Саша с «Уралмаша». Потихонечку просыпаемся, просыпаемся потихонечку…

Круглый тоннель начал вдруг обрастать углами. Один угол, второй, третий, четыре угла.

— Ну а ты?

— А я говорю, не нравится—собирай манатки и уматывай.

— Ну а он?

— А он собрал манатки и умотал.

— Ну а ты?

— Да мне уж всё равно…

Квадрат становился ослепительным, и его вдруг прорезал крест. Что это? Окно?! Окно. И в окне открытая форточка, и в неё веял лёгкий сквознячок, в который вплетались приглушённые звуки улиц города, шелест листвы и беспечное воробьиное чириканье.

— Ну как? Всё нормально?—женщина в белом халате склонилась надо мной, деловито вытаскивая из онемевшего рта кровавые ватки.—Вот и всё, оба зубика починили, орехи будете щёлкать. Посидите минут десять в коридоре, чтобы от наркоза окончательно отойти, и можете идти.

И я посидел, глядя на неприятные зубастые плакаты по стенам коридора, и пошёл по шустрой,

деловой, безразличной улице города. А что изменилось бы в этом мире, если бы я умер? Ничего! Это мне так невыразимо печально было бы умирать, а мир ничего бы и не заметил…

4.

Иногда мне кажется, что все мы—мишени во вселенском тире, а кто-то, развлекаясь, словно праздно гуляющий гражданин, берёт в парковом тире на мушку то одного, то другого: щёлк!—и мишéнька завалилась вниз головой.

Я лежал на больничной койке и, не торопясь, подсчитывал, сколько раз Небесный Снайпер пытался меня подстрелить. Мелочи—вроде случая на горной речке Алазани, когда я с группой туристов едва не влетел на надувном плоту в трёхметровый водопад, или заплыва на Казантипе, когда, не рассчитав силы, я едва доплыл до буя, который мне показался близким, а на самом деле был в трёх километрах от берега, или нескольких падений на параплане—не учитывал…

1957 год—полиомиелит (умерла масса младенцев, я отделался калеченой ногой);

1963 год—совершенно не умея плавать, тонул в октябрьской полынье речки Сатис;

1966 год—намертво застрял в вентиляционной системе внутри монастырской стены; помогло то, что от дикого страха вспотел и смог выскользнуть из узкости;

1968 год—чудом не утонул, нырнув с вышки под понтон и потеряв под водой ориентировку;

1969 год—прыгнул в деревне с моста в пруд и напоролся на торчавшую в иле кем-то закинутую в воду косу; коса распорола кожу на ноге от стопы до верхней части бедра; чуть в сторону—и коса проткнула бы меня насквозь;

1970 год—сорвался с крыши двухэтажного дома, но успел ухватиться за телевизионный кабель, который, постепенно отдираясь от стены, замедлил падение;

1972 год—провалился на том же Сатисе под лёд на середине реки (спасла собственная собака: я ухватился за поводок, и она выволокла меня);

1975 год—попал под напряжение триста восемьдесят вольт (напарник включил рубильник, забыв, что я работаю с электродвигателем), отвёртку в палец толщиной выбило из моих рук (от неё осталась только эбонитовая ручка), меня минуты на две ослепило, но в целом отделался лёгкой контузией;

1982 год—едва не погиб в Каракумах, отправившись среди дня в августе один через пустыню в надежде на «попутку», которой так и не оказалось;

1983 год—перевернулся на рейсовом автобусе (четверых соседей раздавило насмерть);

1984 год—в Арзамасе опоздал (вернее, в последнюю секунду передумал садиться) на автобус, в который через пару минут на полном ходу врезался КАМАЗ;

1985 год—горел в подмосковной даче (одежда сгорела, и я возвращался в Москву в какой-то женской каракулевой кацавейке);

1992 год—попал в страшную автоаварию под Ростовом-на-Дону без малейших последствий для организма;

1994 год—собирался прыгать с парашютом; надел парашют, забрался вместе со всеми в «кукурузник», самолёт вырулил на взлётку и начал разбег—и вдруг затормозил; оказалось, что пилот заметил, что винт начал сползать с оси; если бы он этого не заметил и винт слетел на взлёте—самолёт разбился бы;

2000 год—едва не был сражён пассатижами, которые знакомый пилот после ремонта оставил на кожухе двигателя дельталёта (за пару секунд до происшествия я сдвинулся в сторону, и разорванный на части винтом инструмент просвистел в сантиметрах от головы);

2003 год—опоздал в Чечне на вертолёт, который потерпел крушение;

2009 год—на трассе Нижний—Саров едва не влетел под вылетевший на встречную полосу грузовик (водитель заснул), увернулся от столкновения чудом, проскочил буквально в сантиметре от грузовика…

Что-то, может быть, и забыл… Впрочем, между нами говоря, Небесный Снайпер—это чушь, витиеватая красивость. Литературщинка. Снайперы не промахиваются. Захотел бы—попал.

5.

И всё же… Почему кто-то падает, споткнувшись о бордюр по пути в булочную, и погибает, а иной выживает там, где выжить нет никакой возможности?

В марте 1944 года во время налёта на Германию был сбит самолёт англичанина Николаса Элкимейда. Лётчик хотел спастись на парашюте, но тот не раскрылся. Удар о землю после падения с высоты более пяти километров был смягчён елью и снежным сугробом толщиной около полуметра. Обошлось даже без единого перелома, хотя скорость свободного падения составляла не меньше ста пятидесяти километров в час.

Обычным декабрьским днём 1971 года в Перу из Лимы вылетел пассажирский авиалайнер. Через полчаса он угодил в грозу, и в результате

удара молнии самолёт загорелся и через несколько мгновений разлетелся на куски. Семнадцатилетняя пассажирка Хулиана Кепке потеряла сознание. Очнувшись, она поняла, что висит на дереве, пристёгнутая к креслу. Больше никто не выжил. Одиннадцать дней она скиталась по сельве, пока не встретила индейцев, которые и помогли ей добраться до госпиталя.

Год спустя, в 1972 году, в небе над Чехословакией взорвался лайнер рейса JAT 367. Обломки самолёта падали с высоты более десяти километров! Немыслимо, но стюардесса Весна Вулович выжила.

В августе 1981 года на Дальнем Востоке произошло столкновение пассажирского самолёта Ан-24 и бомбардировщика Ту-16. Самолёты рухнули с высоты более пяти километров. Выжила пассажирка Лариса Савицкая. Несколько дней она висела на дереве, пристёгнутая к креслу рядом со своим погибшим мужем.

Шестнадцатого августа 1987 года в США потерпел крушение пассажирский DC-9–82. Сто пятьдесят четыре человека, находившихся на борту, погибли. Сто пятьдесят пятый—четырёхлетняя Сесилия Сичан—остался в живых.

6.

…Я лежу на спине на крыле дельталёта, крыло выгибается на небольшое дерево, а на меня всё ещё сыплется всякий мусор—веточки, листики… Выжили?! Как же так?! Холодком в голове промелькнуло: может быть, это только кажется, может быть, просто моя отлетевшая душа видит всё это? Однако дышать трудно, тело ноет… Нет, не душа—батюшки, жив! Не может быть! Как же это?!

Медленно, словно во сне, отстёгиваю привязной ремень—полегче, снимаю шлем. Всё болит, но на удивление терпимо. В тревоге вспоминаю: где Саша? Смотрю—у моей щеки, почти на плече, нога в массивном ботинке. Первая мысль: Саша под крылом, а ногой он это крыло пробил. И вдруг одновременно чувствую тянущую боль в бедре и узнаю ботинок—мой ботинок, как, впрочем, и нога! Вот досада—сквозь радость спасения слегка огорчаюсь: бедро сломал! Аккуратно взял ногу и развернул её как положено; она неестественно завалилась, и я поправил её, чтобы лежала параллельно здоровой. Саша был без сознания, но как только я окликнул его, сразу отозвался. Ну, потом всё пошло буднично: по сотовому связались с РП, подбежали с дороги случайные водители, видевшие наше падение, помогли перенести нас в подоспевшую скорую. Не видел, как грузили Сашу, а меня внесли с «кормы» скорой, и когда захлопнули двери… я моментально забыл и про сломанную ногу, и про боль. С внутренней стороны на двери скорой была прикреплена репродукция иконы. Иконы Серафима Саровского. Точно такой же, к какой я ставил вчера свою свечку. Я трясся на своих носилках во чреве раздолбанной скорой по кочкам сельской дороги, а в голове у меня звенело, и я не мог оторвать взгляда от глаз преподобного. Мне казалось, я почувствовал запах воска, запах меловых стен пещеры—и всё смотрел и смотрел на бумажную, кривовато прикреплённую к двери икону…

Потом… Потом—промедол, рентген; смутно помню, как молодой доктор, пока медсестра делала мне укол в колено, ходил по операционной с дрелью в руках и «вжикал». «Дррр-вззззз»,—взвизгивала дрель, а доктор спрашивал:

— Ну как там?

— Рано,—отвечала медсестра, поглядывая на часы.

А я лежал как в тумане и всё никак не мог понять: при чём здесь дрель?! Тут больница, операционная, так при чём же здесь дрель?

А через минуту после того, как медсестра сказала «можно», доктор этой дрелью просверлил мне голень под коленкой и вдел штырь. На этот штырь повесили пятикилограммовую растяжку, отвезли в палату, и под утро я наконец заснул, совершенно счастливый… Конечно, мне приснился преподобный. Просто смотрел на меня с иконы. С той самой…

Костомаровский монастырь—
аэродром «Ясный»—Саров

Николай Ерёмин

Семь рассказов

Послевкусие любви

Ровно через девять месяцев она позвонила мне и сказала:
— Саша, завтра у нас будет ребёнок!
— Кто это говорит? — удивился я.
— Не узнаёшь? Это я, Лена!
— Какая Лена?
— Та, к которой ты приезжал чинить компьютер. Улица Менжинского, квитанция номер ЕН 21. Я до сих пор её храню как вещественное доказательство. Вспомнил? Ну, та самая Лена, которая потом пригласила тебя остаться заночевать и всё время повторяла: «Только без секса! Только без секса!»

И я, конечно, тут же всё и вспомнил.

Старый холостяк, поэт, бывший журналист, бард-менестрель — нет, композитор, я уже несколько лет занимался ремонтом компьютеров по объявлениям.

Перестройка плюс компьютеризация всей страны заставили меня прочитать книгу великого мастера Александра Левина «Компьютер для чайников. Проблемы и их устранение». И я пошёл по его пути.

Программист, хакер, как ты меня ни назови, но сейчас все чайники нашего прекрасного сибирского города Абаканска просто не могут обходиться без моей помощи.

Диагностика проблем и их устранение — в каждом индивидуальном случае — это поэма, иногда — лирическое стихотворение, недаром Александр Левин — один из любимых мною поэтов.

Лена оказалась обворожительной блондинкой, не знаю уж, крашеной или естественной. Но когда она открыла мне дверь, я тут же сравнил её со знаменитой киноактрисой Мэрлин Монро и прочитал ей с порога стихотворение Андрея Вознесенского:

> Я Мэрлин, Мэрлин.
> Я героиня
> Самоубийства и героина.
> Кому горят мои георгины?
> С кем телефоны заговорили?

И когда она заявила, что покорена моим неповторимым актёрским обаянием, спросил:
— Показывайте, что у вас стряслось.
— Ах, — притворно расстроившись, вздохнула Мэрлин, — представляете, мой комп, старый дружище, перестал меня слушаться, стал глючить и такую порнуху мне выдавать, что не приведи Господь! Просто диву даёшься… А я, представьте, после приступа первой любви давно уже далека от всего этого. Никакого секса! Вот мой девиз, моё кредо, если хотите!
— Хочу, хочу! — пошутил я и принялся за дело.

Дело оказалось пустяковым, одномоментным. Но чтобы продлить прелесть узнавания и, так сказать, журналистского общения, стал я задавать наводящие вопросы о первой любви.

А потом спросил, указывая на компьютер:
— Откуда у вас это железо?
— Откуда, откуда… Конечно же, не от верблюда, а от него, любимого, любезного, возлюбленного, любовника… Не буду называть его фамилию, она в Абаканске у всех на устах. Всё — от него: и эта жилплощадь, где мы находимся, и «Тойота Королла» в гараже неподалёку, и это железо, как вы изволили выразиться. Подарки, так сказать, материальная компенсация за причинённый моральный ущерб. Поездки в Испанию, в Италию, в Швейцарию… Изысканные вина — «Риоха», «Кьянти», «Шасла»… До сих пор послевкусие на языке… И что в итоге? У него — новая подруга, а у меня — груда железа и девиз-кредо на всю оставшуюся жизнь…
— А вы знаете, я ведь тоже — поклонник чисто эмоциональных отношений и очень даже вас понимаю! — заметил я. — Увы, все мои увлечения кончались ничем. Не считая эпизодов, когда журналистика, вторая древнейшая профессия, пересекалась с первой древнейшей…
— Сочувствую, — сказала Лена. — И предлагаю, пока вы чините мой компьютер, приготовить что-нибудь поесть. Что вы предпочитаете?
— Пельмени. Сибирские пельмени, — сказал я.
— Без проблем. И водочки?
— Нет! Никакого алкоголя! — после ухода из газеты я с этим окончательно завязал.
— Что? Так-таки и ни рюмочки? За дружбу, за любовь…
— Ни одной. Вот уже много лет. К тому же я — за рулём. Гляньте в окно. Вон, около газона припаркован

мой Пегас, мой «Запорожец». Музейная редкость по нынешним временам. На нём я приехал и на нём должен уехать.
— Зачем уезжать?—прошептала таинственно Мэрлин и нежно положила обе руки мне на плечи.— Давайте потанцуем!

И врубила она через две колонки усилителя танго «Вернись», и, увлекая меня, запела удивительным колоратурным сопрано:

Мы с тобою часто расстаёмся…
Знаю я, что это нелегко:
Ждать с заката до восхода солнца
Редкое моё письмо…
Но, когда его получишь ты,
Верю, сбудутся мои мечты—
И опять небеса надо мной
Вспыхнут новой зарёй…
Вернись… Я вновь и вновь молю: вернись…
Одно твоё лишь слово вернёт нам снова
Любовь и жизнь!
Я жду—вернись…

А потом ели мы с ней сибирские пельмени, и пила она русскую водочку…

А потом постелила мне на диване, а сама ушла в другую комнату, сказав, игриво улыбнувшись, точно киноактриса Мэрлин Монро:
— Гуд найт, амиго! Буэнас ночес! Только, как мы и договаривались, без секса, ладненько?

И проснулся я среди ночи оттого, что ко мне под покрывало проник в облаке феромонов нло, этакий неопознанный летающий объект, из которого звучала музыка танго и слова:
— Только без, только без, только без…

Да…

И вот, ровно через девять месяцев,—телефонный звонок.
— Лена, это шутка?—спросил я.
— Какие могут быть шутки?—захохотала Лена голосом Мэрлин Монро.—Я нахожусь в роддоме номер десять на улице имени террориста всех времён и народов Ладо Кецховели. Завтра у нас, согласно предсказанию узи, родится мальчик. Может, даже и сегодня. Схватки уже начались и становятся всё чаще… И назову я его в честь тебя—Александр! Что в переводе с латинского на русский означает—защитник людей… Если захочешь посмотреть, как выглядит Александр Александрович, приедешь. Ни к чему тебя не обязываю. Я в социальной защите, как ты сам понимаешь, не нуждаюсь. Просто инстинкт продолжения рода сработал. Спасибо тебе за ту чудесную ночь! От всей души спасибо!
— Лена! Но ведь ничего не было!—воскликнул я.

Но она уже отключила свой сотовый телефон, который засветился и отпечатался на моём мобильнике на веки вечные.

Волшебный котелок

Ну вот и сбылась мечта всей моей жизни.

Я—в «Артеке»!

Жаль, конечно, что не в качестве пионера, а в качестве ветерана-художника…

Но что поделаешь?

Да, отмечу безо всякой ложной скромности: ныне я—известный во всём мире художник-авангардист Виктор Медведев. По прозвищу Геня-Медведь, которое с намёком на мою гениальность получил я на зоне, в лагере Ермаковском, что на берегу Енисея, недалеко от полярного круга…

Инсталляции, граффити, перформансы украшают не только заполярный город Норильск, но и прекрасный сибирский город Абаканск, где я живу.

Кому надо—меня знают.

Это мне два месяца назад в Лувре вручили Золотую медаль и издали под названием «Волшебный котелок» шикарный альбом моих, как пишут искусствоведы, шедевров.

Котелок—это мой любимый художественный образ из русской народной сказки «Маша и медведь»

Помните? Наварила Маша кашу и медвежье семейство накормила. А котелок всё варит и варит…

Пришла Маша домой и всю деревню накормила…

А волшебный котелок всё варит, и каша не кончается…

Так вот, к чему это я?

А к тому, что голова моя—точно котелок этот, варит с детских лет и варит… Как бы независимо от воли моей…

То одну картинку выдаст, то другую…

Сколько я их нарисовал—не сосчитать. Разлетелись по всем странам мира…

А я всё рисую—то акварельными красками, то масляными, то просто фломастерами… А в последнее время компьютерной графикой увлёкся…

Вот такая каша…

Прилетел я из Лувра на американском «Боинге», сижу, показываю альбом жене своей Машеньке, Марии то есть, с которой пятьдесят лет прожил душа в душу, золотая свадьба не за горами…

А тут—звонок в дверь…

Открываю—и входит в однокомнатную хрущёвку нашу молодой красавец-генерал в сопровождении двух пожилых полковников. И говорит:
— Вот вам, дорогой вы наш Виктор Иванович Медведев, пакет, а в пакете—путёвка в замечательный крымский лагерь «Артек», на слёт бывших артековцев, кем в положенное время, к сожалению, не пришлось вам стать. Путёвка на двоих, с женой вашей Машей. Езжайте, радуйтесь, наслаждайтесь жизнью. Крым, как вы, конечно, знаете, теперь российский, так что отдыхайте без проблем. Рисуйте… Творите, так сказать…А как вернётесь, выставку

из ваших новых работ в бизнес-центре «Сибирь» организуем. Распишитесь в получении и примите наши извинения за то, что пришлось вам провести десять лет в лагерях совсем иного свойства. Вот справка о снятии судимости и о реабилитации.

Пригласила было Маша гостей к столу чаю да каши отведать, но они вежливо отклонили приглашение и удалились.

— Вот оно, Маша, как в жизни бывает! — сказал я и пакет раскрыл.

А там — четыре билета в оба конца и пачка денег.

— Придётся ехать! — вздохнула Маша. — Не всё же тебе одному по парижам разъезжать.

— Ну, тогда ставь на конфорку твой волшебный котелок да чай заваривай, а то уж больно от волнения аппетит разыгрался!

И сели мы в скорый поезд, в шикарное двухместное купе СВ, и прибыли в Симферополь… Где на вокзале встречает нас директор «Артека», этакий профессорского вида старичок в белом костюме. И приглашает в кремовый «Мерседес». И везёт к морю Чёрному, и устраивает в апартаментах с видом на Аю-Даг и стройные зелёные на синем фоне кипарисы… И говорит ласково:

— Приветствую вас, Маша и Витя, на древней земле Понта Эвксинского стихами Маяковского:

…Твори, выдумывай, пробуй!
Радость прёт! Не для вас уделить ли нам?
Жизнь прекрасна и удивительна.

Не правда ли? Что смотришь, Витёк, не узнаёшь? Да ведь это я и есть! Я, Петя Иванов! Друг твоей молодости, однокашник, внештатный корреспондент «Пионерской правды»… Вспомнил? Ну? Ну? Каюсь, это я ведь тогда твою путёвку в «Артек» на себя переписал… А что? Зато с первым космонавтом сфотографировался, когда тот сюда приезжал… Каюсь, каюсь… Это ведь я, когда мы уже студентами стали, я — филфака, ты — худграфа, на тебя докладную куда надо за твоё гениальное инакомыслие настрочил… И десять лет отсидки организовал… Прости уж меня, грешного, за давностью лет… И ты меня, Маша, прости, что таким вот методом удаления соперника хотел в сердце твоё войти… Ой, а привезла ли ты, девица, привезла ли с собою, красная, котелочек свой волшебненький? Ну вот и ладненько! Устраивайтесь… Отсыпайтесь с дороги… А завтра уж будьте добры на пионерский, так сказать, ветеранский костёр пожаловать… Вместе с котелочком и приходите, пусть поварит… Как-никак тысяча человек со всей многострадальной России съехалось… И всех накормить надобно…

Цыганочка

Моя мама была самой красивой женщиной Абаканска.

И самой капризной.

И долгое время говорила моему папе, что нужно сначала пожить для себя, а потом уже — для других.

И папа с ней соглашался.

Но когда им стало известно, что у них будет ребёнок, то есть я, и мама заявила, что не будет рожать, папа произнёс только одно слово в ответ:

— Зарэжу!

И я появился на свет.

Папа и мама очень любили друг друга. Они много работали, и у них всегда было много денег. И папа спокойно мог в уме делить и умножать любые многозначные цифры.

Однажды он нанял ей на шесть месяцев заезжего француза, и мама обучилась искусству парикмахера. И стала самым лучшим парикмахером Абаканска.

Поэтому богатые высокопоставленные дамы и их господа-товарищи желали стричься-бриться, делать маникюр и педикюр только у неё.

А папа мой был самым лучшим шофёром в городе.

Когда на сорокаградусном морозе у всех заклинивали моторы, только у него мотор работал как надо.

От мамы в наследство мне досталось красивое лицо, а от папы — сильное тело.

Поэтому я записался в кружок греко-римской борьбы, которым руководил известный в Абаканске борец Александр Захарченко. А потом записался в спортивную школу, которой руководил знаменитый тренер Дмитрий Миндиашвили. И стал сначала чемпионом Абаканска, потом Сибири и Дальнего востока, потом Европы, потом всего мира, а потом — трижды — олимпийским чемпионом.

В нашем доме всегда собирались знаменитости — артисты, певцы, музыканты и высокие начальники.

Притягивала всех неповторимая мамина цыганская красота.

И, конечно же, папино хлебосольство и щедрость.

На столе в эти дни обязательно было хорошее вино, бутерброды с красной и с чёрной икрой. А вдогонку — настоящие сибирские пельмени, которые мы лепили втроём, своими руками.

Когда вино было выпито, бутерброды съедены, а пельмени всячески расхвалены, наступал торжественный момент.

Выходила мама, одетая в самое лучшее своё цыганское платье из модного тогда крепдешина.

Монисто — на запястьях, в ушах — кольцами — золотые серёжки, а на голове — кокошник, украшенный блёстками из разноцветного чехословацкого стекла…

А на ногах—лакированные туфли-лодочки: ни у кого в Абаканске таких нет!

Менялась скатерть.

И мама, подхваченная под руки гостями, вскакивала на праздничный стол, становилась в классическую танцевальную позу: ноги полусогнуты, руки вскинуты над головой, между пальцами—кастаньеты, на губах—лукавая улыбка…

И одаривала всех по очереди огненным взглядом…

Папа включал старинный граммофон, выкрикивал:

— Цыганочка!—и мама начинала танец…

До сих пор, только закрою глаза, могу представить каждое её волшебное движение наяву, как во сне…

Гости вскакивали со стульев и, стоя вокруг, начинали хлопать в ладоши и выкрикивать:

— Ой, на-на, ромалэ! Ой, на-на…

А потом, подражая маме, пускались в пляс вокруг стола, подпрыгивая и приседая…

Папа в такие вечера был особенно счастлив.

Было видно, как гордится он, что у него красивая, весёлая, молодая жена.

В такие минуты он брал меня на руки и шептал:

— Расти, сынок, большой, да не будь лапшой! И главное—учись! И дело, которое нравится, делать, и плясать, и петь. А уж мы с мамой для тебя расстараемся! Учись, пока я жив!

К великому моему сожалению и горю, когда мне исполнилось десять лет, папы не стало.

Повёз он своего начальника, директора завода, на персональной «Волге» на юг отдыхать. И где-то под Туапсе, часа в четыре ночи, встретился им на пустынном тогда шоссе гружённый морскою галькой КАМАЗ, и вышел на встречную полосу… И уж насколько мой папа был классным мастером и пытался в последние мгновения вывернуть руль, а уклониться от наезда не смог…

Водитель КАМАЗа оказался опытнее.

Долго мама моя горевала и хранила моему папе верность. И всё же не устояла перед ухаживанием тогдашнего председателя исполкома нашего прекрасного сибирского города Абаканска. Мэра, как теперь принято говорить. Моложавого вдовца.

И вышла за него замуж. И стал он мне отчимом.

И жили мы дружно.

А поскольку детей у них не было, завели они себе собачку Линду, породы ризеншнауцер. Чёрная вьющаяся шерсть. Длинные уши. Купированный хвостик. Умные глаза.

Очень я любил Линду.

За нечеловеческую ласку и доброту любил.

И когда вдруг заболела она чумкой и перестала есть, взял я из холодильника баночку икры, и намазал на хлебный мякиш, и стал кормить, глядя в её умные, всё понимающие глаза…

Тут вошёл отчим и закричал:

— Что ты делаешь? Что это за фокусы? Да как ты смеешь?—и взял меня за ухо, и вырвал у меня эту баночку, и как замахнётся, чтобы ударить…

И увидела эту сцену прибежавшая на крик мама моя. И обняла одной рукой меня, другой собачку, и сказала тихо:

— Так, Федя, бери Линду—и уходим! И больше ноги нашей здесь никогда не будет!—добавила она, глядя на отчима…

Сказано—сделано.

И перебрались мы из пятикомнатной престижной квартиры на улице имени революционера Урицкого в полуторакомнатную хрущёбу на улице имени известного всему миру террориста Ладо Кецховели.

Да… А отчим до самой своей смерти всё у мамы прощения просил и выпросить не мог. Придёт, оставит букет или корзину роз у двери—и уходит не солоно хлебавши.

Здесь и провела мама свои последние годы…

А я уже по всем странам света мотался, укладывая на ковре в борцовских поединках мировых знаменитостей на обе лопатки.

Помню, в 1992 году за двенадцать минут двенадцать человек опрокинул. В «Книгу рекордов Гиннеса» попал.

И уже давно в Москву перебрался, в самый центр, на Калининский проспект. К сожалению, не захотела мама переезжать из любимого ею Абаканска, где папа мой на Бадалыке похоронен был, на Аллее Героев, рядом с начальником своим… А теперь и сама лежит там, заснув вечным сном.

Прожила она, тихо угасая, ровно девяносто девять лет…

Эх, мне бы столько!

И стихи писала, и литературное объединение «Русло» посещала…

И столетие бы сегодня отметила, к которому выпустил я мемориальную книжку избранных её стихотворений под названием «Души прекрасные порывы».

Вот она, девяносто девять страниц, ровно по количеству прожитых лет.

Помню, говорил я ей:

— Мама, измени название! Ведь слово «души» в повелительном наклонении имеет совсем другое значение, а не то, которое ты имеешь в виду. Читатели могут не так понять.

— Ну уж нет, Феденька,—возражала она,—люди сейчас грамотные, поймут всё так, как надо. И ничего менять я не буду.

Танцующий город

Полина Полищук всю жизнь была на государственном обеспечении и поэтому не знала, что такое нужда.

Роддом, детдом, Дом офицеров, Дом заслуженных ветеранов.

Бедный поэт, едва сводивший концы с концами, я познакомился с нею, когда она была на вершине административной лестницы в качестве начальника управления культуры нашего прекрасного сибирского города Абаканска.

Прославил её проект ретро-фестиваля «Танцующий город».

Как сейчас помню, двадцать шестого июля, в день моего рожденья, но совсем не в мою честь, на набережной Енисея, около театра имени Опера из балета, собрался весь город, чтобы потанцевать кто что хочет — рок-н-ролл, фокстрот, вальс и танго… Под руководством Полины Полищук, цветовой портрет которой мигал над площадью на огромном баннере.

И как только в двенадцать часов громыхнула с Покровской горы пушка знаменитого сибирского первопроходца Андрея Дубенского, рок-ретро-фестиваль начался.

Красавица Полина Полищук стояла на временной эстраде, с микрофоном в руках, среди мигающих лампочек, — нет, не стояла, а стояла пританцовывая… И зазывала к себе:

— Есть желающие?

Но желающих не было.

Мне стало жалко Полину, и я, прокричав:

— Есть! Есть желающие! — танцующей походкой поднялся — нет, взбежал — нет, взлетел на эстраду…

О, было время, когда я, как всемирно известный король рок-н-ролла Элвис Пресли, был королём в Абаканске…

Рок в те годы находился под официальным запретом как тлетворное влияние Запада.

Но я танцевал, игнорируя запрет, на всех студенческих вечеринках, поскольку учился заочно в единственном на весь мир Московском литературном институте имени А. М. Горького, основоположника незабвенного метода социалистического реализма: идейность, народность, партийность. И чувство студенческой радости переполняло меня.

Девушки в буквальном смысле слова носили тогда меня на руках. А я — их.

— С чего начнём? — спросил я Полину.

— Конечно же, с рок-н-ролла! — воскликнула она.

И включила минусовку на полную мощность.

Что тут началось!

Мы — на эстраде, а миллионная толпа — перед эстрадой выделывали замысловатые коленца, кто во что горазд.

Пам-пам-пам…

Пам-па-ра-па-ра-ра-ра…

Пам-пам-пам…

Пам-па-ра-па-ра…

Набирал обороты невидимый оркестр…

Полина была великолепна!

Пластична и динамична. И легко угадала момент, когда я перекинул её через себя, повернулся на сто восемьдесят градусов и поймал, лёгкую, как пёрышко.

Когда-то она окончила школу эстрадных танцев при гарнизонном Доме офицеров.

Заняла все районные, городские и областные призовые места.

Благодаря чему её заметил начальник гарнизона и сделал своей четвёртой по счёту законной женой.

Благодаря чему она легко выиграла административный конкурс и стала начальником управления культуры. Или культурой, кому как угодно.

Отзвучали безумный рок, умный фокстрот, и мы закружились в задумчивом «Вальсе цветов», плавно переходящем в нежное, мечтательное аргентинское танго.

— Как тебя зовут? — спросила Полина, прижимаясь ко мне разгорячённой грудью.

— Меня зовут Аркадий. Я известный в Абаканске поэт, член Союза писателей России и Союза российских писателей. Пенсионер. Пенсия десять тысяч рублей. Мне шестьдесят один год.

— Ну, я бы не дала!

— А я бы и не взял.

— А я — Полина. Мне…

— Знаю, всё знаю…

— Тогда зови меня просто Поля…А я тебя буду звать Аркаша. Не возражаешь?

Я не возражал.

В этот момент танго закончилось, и Полина передала микрофон своей помощнице-секретарше Анечке, которая заулыбалась, пританцовывая, и буквально оглушила нас:

— И снова — рок-н-ролл! Танцуют все!

Полина между тем крепко взяла меня за локоть и прошептала — нет, прокричала мне в самое ухо:

— А что, Аркаша, не продолжить ли нам знакомство наше в менее многочисленном месте?

И села она за руль новенького «Мерседеса», и помчались мы на большой скорости прочь, и оказались вскорости там, где наступала ночь… В полумраке соснового бора, в таинственном коттедже на берегу великой сибирской реки, вдалеке от танцующего по замыслу Полины прекрасного города Абаканска, лучшего города Земли…

И пили мы кофе с коньяком, и беседовали в полумраке на всякие возвышенные темы, и я шептал — нет, напевал ей сочинённый только что экспромт:

Губ твоих накрашенных малина
Так благоуханна и вкусна…
О, как я люблю тебя, Полина!
Будет нам сегодня не до сна…
Я с тобою провести не прочь
Нынче эту сказочную ночь…

Да, а ночь была действительно сказочной.
— О, Элвис Пресли ты мой ненаглядный!

Мне ли шептала она в темноте тогда? Пять лет назад…

«Неужели уже пять лет прошло?» — думал я, направляясь на приём к Полине Полищук в здание городской администрации.

Да, много воды за эти годы утекло.

Помещение союзов писателей на Стрелке было отобрано у писателей, и там размещены посольство Белоруссии и Дом искусств. Директор которого Лариса Шнырь только что отказалась командировать меня в Москву, куда я был приглашён на юбилей моего любимого Литературного института.

Мол, из министерства пришёл приказ: в связи с предстоящей Олимпиадой тратить деньги только на зарплату и на услуги ЖКХ.

И вспомнил я про Полину Полищук!

На первом этаже городской администрации у меня потребовали паспорт и выписали пропуск.

Женщина-полицейский тщательно проверила содержимое всех отделов моей поэтической сумки, набитой книгами и рукописями начинающих авторов.

И поднялся я на «седьмое небо», то бишь на седьмой этаж, рассуждая: «Почему *ад*министрация, а почему не *рай*министрация?»

Постаревшая за эти годы секретарша-помощница Анечка отметила мой пропуск, тщательно изучив паспортные данные, и сказала:
— Ждите, ваша очередь последняя.

Как во сне прошли передо мною композитор-песенник К., художник-абстракционист Ф., руководитель ансамбля «Тебе поем» (я ещё подумал: «„Поем“! Почему не „Поём“?»).
— Сколько лет! Сколько зим! — воскликнула Полина Полищук и вышла, пританцовывая, из-за огромного бюрократического стола. — Какими судьбами?
— Судьба нынче у всех одна, — улыбнулся я, — все мы находимся в поисках денежных знаков. И я прошу командировать меня в столицу нашей родины город Москву, на юбилей Литературного института, который, кстати говоря, я окончил с отличием, чем может гордиться культура нашего прекрасного сибирского города Абаканска. Двенадцать тысяч на самолёт меня вполне устроят.
— Ты что, в тюрьму посадить меня хочешь? Ты ведь у нас не работаешь! Я тебя командирую, а мне — р-раз — и скажут: «Нецелевуха!» Хоть двенадцать тысяч, хоть двенадцать рублей. Всё.
— Что же делать?
— Ладно, учитывая твои давние боевые заслуги, так и быть, найду я тебе спонсора на двенадцать тысяч, Элвис ты Пресли наш ненаглядный! Жди. Позвоню.

И день прошёл, и два, и три…

А звонка всё нет…

И год, и три, и десять промелькнули — как не бывало…

И направила меня директор Дома искусств Лариса Шнырь в связи с Всероссийским днём пожилого человека провести поэтическую встречу в Доме заслуженных ветеранов, чтобы смог я, нищий поэт, заработать на этом немного денег.

И когда я рассказал ветеранам о себе, почитал им стихи о любви и спросил в заключение:
— Может, кто-нибудь из вас хочет поделиться своими мыслями или чувствами?
— Я хочу! — воскликнула старушка божий одуванчик и лёгкой танцующей походкой подошла ко мне. — Я очень люблю поэзию. И очень люблю любовь. Один поэт, забыла его фамилию, даже посвятил мне стихи, которые я до сих пор прекрасно помню.

Губ твоих накрашенных малина
Так благоуханна и вкусна…
О, как я люблю тебя, Полина!
Будет нам сегодня не до сна…
Я с тобою провести не прочь
Нынче эту сказочную ночь… —

прочитала она.

А потом рассмеялась…

А потом заплакала — нет, зарыдала горючими слезами…

Пока ветераны долго и старательно хлопали в ладоши.

Давайте споём!

Светлана Буланова, общественный деятель, президент МПОО, член общественной палаты Гражданской ассамблеи Абаканской области, член общественного совета при Министерстве культуры, доцент ОСУ, автор проекта «Давайте споём!», была счастлива: праздник песни удался на славу.

Активисты из группы поддержки вдоль всей набережной Енисея завлекали жителей Абаканска в хороводы, раздавали им листовки с текстами песен и заставляли петь:

Гляжу в озёра синие,
В полях ромашки рву…
Зову тебя Россиею,
Единственной зову…

— Интересно, кого это и кто Россиею зовёт? — спрашивал прозаик Константин Невинный своего друга поэта Михаила Злобина.

Они шли по набережной, любуясь хороводами, и слушали обрывки песен, иронизируя над их содержанием.

Полюшко моё, родники,
Дальних деревень огоньки,
Золотая рожь да кудрявый лён…
Я влюблён в тебя, Россия, влюблён!

— Ещё более интересно, как это влюблённый разглядел ночью при свете огоньков, что рожь золотая, а лён кудрявый… И почему он влюблён не в девушку, а в какой-то придуманный абстрактный образ?—шутил Михаил.
— Влюблённые—они всё могут… Но—бедные девушки!

Тут к ним подошла старушка божий одуванчик с огромным целлофановым пакетом в руке и сказала:
— Поздравляю вас, господа-товарищи литераторы, с праздником!—и добавила:—Давайте споём?
— Откуда вы знаете, что мы—литераторы?—воскликнули друзья.
— Да как же вас не знать?—изумилась старушка.— Вот вы—Константин Невинный, автор романа «Кедры шумят», который я с упоением прочитала три раза подряд! А вы—поэт Михаил Злобин, песню которого мы сейчас и споём!

Мой родимый край, место отчее,
Ты и праздник мой, и броня…

Ну, подхватывайте!

Солнце общее, сердце общее
У земли моей и у меня!

— Да не писал я никогда таких песен!—возмутился Михаил.—Как это край может быть бронёй чего-то, а у земли—сердце? Бр-р… Бред какой-то!
— А мне—ндравится!—заявила старушка.—Давайте знакомиться, я ведь тоже литератор, а точнее—поэтесса, Мари Большакова, и такие же песни пишу! Вот!—сказала она и вынула из целлофанового пакета несколько книжек.—Это—сборники моих песен. Покупайте и пойте!
— И давно вы песнями балуетесь?—спросил Михаил Злобин.—Что-то я нигде раньше вашей фамилии не встречал.
— Да нет, не так давно, как только мне шестьдесят лет исполнилось, вышла на пенсию, так и начала, пишу, книжки издаю, на песенных посиделках ими торгую, надо же как-то типографские расходы возмещать… А скоро и диск выпущу! Чем я хуже Маши Распутиной? Торгую и пою. А что? Свобода слова! Свобода песен! Живи и радуйся, как мама моя, которой, дай Бог ей здоровья, исполнилось сто лет, а она ещё нитку в иголку вдеть может, да и сама в любое игольное ушко пройдёт, если захочет. Я считаю, что у неё и у меня—счастливая старость. И продлить её можно только песнями.
— Сколько стоит ваш песенник?—спросил Михаил.
— Восемьдесят рублей, по числу прожитых лет. Скоро будет дороже.
— Ну что, поддержим частного предпринимателя?—обратился он к Константину.
— Поддержим!
—Тогда нам два экземпляра.
— Молодцы!—радостно воскликнула Мари Большакова и запела:

Я люблю Абаканск мой родной,
Ах, люблю я его всей душой!
И Россию родную люблю,
И об этой любви я пою!

Тут к ней подошла Светлана Буланова, автор и организатор проекта, академическая певица (драмсопрано), дипломант международного конкурса, председатель жюри «Волшебный диктофон», с группой поддержки. И взялись они за руки, и образовали хоровод, и подхватили песню…

А Константин Невинный и Михаил Злобин направились к палаточному павильону «Пикра».
— Грех в такую жару не выпить по кружечке-другой холодненького фирменного пивка,—сказал Михаил.
— Грех, но почему бы и не выпить?—сказал Константин.—Праздник всё-таки…

Гипердиагностика

Конечно, я догадывался, что Россия после семидесятилетнего большевистского террора стала невежественной страной, но не мог себе даже представить, что до такой степени.

Медицинские познания—у каждого—практически на нуле.

Этим и решил воспользоваться мой шеф, владелец частной клиники «Авиценна» Яков Семёнович Гробман.

Когда я устроился к нему на работу, он сказал:
— Ты молодой специалист, да? Тебе надо хорошо зарабатывать, да? Тебе нужна квартира, машина, дача, жена. Да? И на всё это будут нужны деньги, и немалые. Так знай, что переходный период от социализма к капитализму уже давно в стране закончился. Вокруг нас—или явные, или подпольные миллионеры. И все хотят болеть и лечиться. Иными словами—требуют к себе внимания и ласки. А что у них внутри организма творится—никто не знает. Вот и придумывай им болезнь. Ставь диагноз. Назначай дорогостоящее лечение или очень дорогую операцию. Или то и то. Рак. Диабет. Язва желудка. Аневризма аорты. Спинномозговая грыжа. Всё. Этого достаточно, чтобы и тебе, и мне тоже стать миллионерами. Пускай делятся!

Выслушал я наставление, проникся ситуацией, подключил к работе персональный компьютер—и дело пошло!

Жене главы нашего прекрасного сибирского города Абаканска Мальвине Иосифовне Пилипчук я поставил диагноз «фиброзно-кистозная мастопатия, рак груди», а самому Карлу Абдулатиповичу—«язва желудка с угрозой перерождения».

Тут же они были удачно прооперированы другом Якова Семёновича, выдающимся хирургом современности профессором Ахмыловским Артуром Тимофеевичем. И успешно прошли курс послеоперационной реабилитации в Индии. Куда потом переехали на постоянное место жительства—уж очень им там понравилось.

Он стал владельцем крупной фирмы по разведению бенгальской породы слонов в искусственных условиях. А она возглавила общество и туристическую фирму «Рериховеды».

Мой шеф купил себе коттедж, похвалил меня и сказал:
— Молодец! Продолжай в том же духе! Далеко пойдёшь.

Я купил себе двухкомнатную квартиру в центре Абаканска, с видом на заповедник «Столбы», и по вечерам, глядя на отроги Саян, стал подумывать о женитьбе.

Тем более что на меня стала заглядываться дочка шефа—двадцатидвухлетняя практикантка Оксана.

И поставил я диагноз губернатору нашей замечательной области Савелию Васильевичу Крамарову—«аневризма центральной мозговой артерии», а его жене, красавице Веронике Адольфовне,—диагноз «спинномозговая грыжа пояснично-крестцового отдела позвоночника с угрожающим ущемлением».

И они были очень удачно прооперированы другом Якова Семёновича и направлены на восстановление сил в Китай, где монахи известного монастыря Шаолинь быстро поставили их на ноги. И они, очарованные прекрасной природой и тайнами буддизма, остались там навсегда, организовав туристическую фирму «В поисках Шамбалы».

— Молодец! Так держать!—сказал мне Яков Семёнович, когда я купил автомобиль «Тойота Королла» и объявил ему и его жене Саре Моисеевне о желании жениться на их дочери Оксане.

Оксана подтвердила, что любит меня, что не может без меня жить и хочет, чтобы у нас родился ребёнок—мальчик или девочка, без разницы, лишь бы был таким же красивым, умным и удачливым, как я.

И я был просто вынужден поставить диагноз «рак желудка» обратившемуся к нам с жалобами на боли в животе Ивану Петровичу Сидорову, председателю Законодательного собрания нашей прекрасной Абаканской области, равной по площади Англии, Франции и Германии, вместе взятым.

Принял у меня Иван Петрович направление на операцию, постоял в задумчивости и ушёл сильно опечаленный.

Но тут вмешалась судьба, или случай, как хочешь, так и назови.

В Германии собирался Всемирный конгресс миллионеров, не знающих, куда девать свои деньги.

И полетел Иван Петрович в срочном порядке на конгресс—привлекать инвестиции для строительства новых гигантских заводов и нефтепроводов на территории нашей области.

Но когда начали заседать, боли в животе у него обострились, и мгновенно был он доставлен в дрезденскую клинику, и обследован на самом современном диагностическом оборудовании, и с диагнозом «обострение хронического аппендицита» был успешно прооперирован.

Вернулся Иван Петрович из прекрасного германского города Дрездена в прекрасный сибирский город Абаканск жизнерадостным и помолодевшим.

И на радостях, что диагноз рака у него не подтвердился, представил он меня к званию «Заслуженный врач России». А моего шефа—к званию «Почётный член Абаканской медицинской академии».

Я женился на Оксане.

И родилась у нас двойня—Миша и Ириша.

И купил я дачу в кедровом бору, тридцать минут от Абаканска на моей «Тойоте Королле», чтобы дышать свежим воздухом, так как в Абаканске на инвестиции, привлечённые Иваном Петровичем, построили гигантский завод ферросплавов, и дышать стало практически нечем.

Почувствовав, что дело пахнет керосином, мой шеф—пардон, тесть—продал клинику «Авиценна» и уехал с моей тёщей Сарой Моисеевной на ПМЖ в Израиль. Откуда пишут они, что там так хорошо, что о лучшей жизни и мечтать не приходится.

И зовут меня, Оксану, Мишу и Аришу скорей перебираться к ним.

Потому что время уходит, и нужно прожить оставшиеся годы так, чтобы не было ни мучительно, ни больно.

Ключевые слова

Рассказ под таким названием приснился мне сегодня ночью.

Я подошёл к киоску «Розпечать», чтобы купить свежую газету и узнать, кто победил на Украине—Порошенко или Тимошенко.

— Пароль! — сказала древняя старуха, продавщица газет. — Назовите пароль, тогда я вам продам самую свежую газету…
— Какой ещё пароль? — изумился я.
— Пароль, или, чтобы понятнее было, — *ключевые слова*, которые ведут любого человека по жизни… Саша, ты их должен помнить!
— Саша? — переспросил я. — Откуда вы меня знаете?
— Как же мне тебя не знать, мой милый, дорогой и до сих пор желанный Сашенька? Ведь ты — моя первая любовь, и на этот момент единственная…
— Лиза, это ты? — воскликнул я и вспомнил ключевые слова: — Я тебя люблю!
— Молодец! Получай свою газету, — сказала Лиза и вдруг стала молодеть, как в сказке. — Зачем ты вернулся?

Я тут же уцепился за это словечко Мандельштама и стал вращаться на правой ноге, припевая:

Я вернулся в мой город, знакомый до слёз,
До прожилок, до детских припухлых желёз…

— Нет, серьёзно? — спросила Лиза.

И вышла из газетного киоска, и взяла меня за руку, и повела по вечернему Питеру, вдоль набережной Невы.

Мы шли, нежно прижавшись друг к другу, и я ей декламировал Окуджаву:

Нева Петровна, возле вас всё львы…
Они вас охраняют молчаливо…
Я с женщинами не бывал счастливым…
Вы — первая, я чувствую, что вы!

— А вернулся я сюда, моя дорогая первая любовь Лизанька, чтобы попрощаться с городом моей юности, где учился, мечтая стать известным журналистом и великим писателем… Но не пригодился… Эх, мечты, мечты… Откуда вы только берётесь, кто вас только посылает на нашу голову грешную?.. Да, окончил я журфак, и распределили меня в далёкую Сибирь, в прекрасный сибирский город Абаканск, на стройку коммунизма, даже комсомольскую путёвку дали и деньги подъёмные…
— Дальше можешь не продолжать. Всё про тебя знаю, все твои публикации храню — и в бумажном, и в электронном виде… Пойдём ко мне в гости!
— Это куда?
— Да всё туда же, улица Скороходова, сорок пять, квартира тридцать четыре, третий подъезд, четвёртый этаж…
— Не может быть!
— Всё может быть, Саша… — грустно улыбнулась она, открывая до боли знакомую мне дерматиновую дверь до боли знакомым серебряным английским ключом…

А когда переступили мы знакомый стёртовогнутый посередине порожек и заглянул я в старинное знакомое зеркало напротив входа, то увидел двух семнадцатилетних студентов — Сашу и Лизу, которые вдруг завизжали от радости и бросились друг другу в объятья…

— Знаешь, оставайся у меня ночевать. Я тебя люблю, — прошептала Лиза.
— Нет, это я тебя люблю! — прошептал Саша.
— Хорошо. Так пусть же эти ключевые слова будут служить нам паролем на всю оставшуюся жизнь…

Утром, когда мы, счастливые и молодые, проснулись и Лиза стала собираться на работу в газетный киоск, достала она из сумочки изящную флешку и сказала:
— Дарю! Здесь все твои публикации, о которых я говорила. Пять файлов, пять томов.

И ушла.

А я снова задремал.

А когда открыл глаза, гляжу — действительно флешка на подушке лежит.

Настенное радио, оставшееся в моей однокомнатной хрущёвке ещё с доперестроечных времён, романс на стихи Мандельштама в исполнении Аллы Пугачёвой транслирует:

Петербург! я ещё не хочу умирать!
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! У меня ещё есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса…

Вставил я флешку в свой старенький ноутбук — а там пять файлов и письмо:

«Дорогой Александр! Сашенька!

Прошу тебя, срочно отдай пять томов Собрания своих сочинений в типографию!

Когда будет готов тираж, привози его в Питер на книжную ярмарку. Мы устроим шикарную презентацию — и мечта твоя стать великим писателем сбудется.

Если нужна будет материальная поддержка, звони. Ноу проблем. Я теперь владею всеми газетными и книжными киосками в Питере. Так что тираж разойдётся мгновенно».

И постскриптум — полужирным курсивом:

«Я тебя люблю!»

Марат Валеев

Свидание

Бяшка

Случилось это, когда я уже работал в районной газете. Практически сразу после армии начал пописывать туда, редактору понравилось, и он пригласил меня в штат. Сначала корреспондентом, а через год назначил даже заведующим сельхозотделом.

Я без конца мотался по району, поскольку в подчинении у меня зачастую был только один корреспондент — я сам, и собирал материал на всякие сельскохозяйственные темы.

В очередную командировку поехал с водителем Ермеком на редакционном «москвиче» накануне своего дня рождения — мне через три дня должно было стукнуть целых двадцать пять лет!

После интервью с директором об успехах и проблемах хозяйства он накрыл у себя дома дастархан, и вот там-то, после пары стопочек, я и проговорился о своём грядущем дне рождения.

Директор, уже тоже подвыпивший, тут же возжелал мне что-нибудь презентовать к грядущему событию. И отдал распоряжение продать мне барана по себестоимости, что было равносильно подарку, поскольку эта тучная «бяшка» (на самом деле — овца, а не баран), весом около сорока килограммов, обошлась мне всего что-то около двадцати рублей. Которых у меня с собой не было и которые я обещал потом переслать с оказией. Ну вот такие у нас были доверительные отношения: директор знал, что я не обману.

Мы с шофёром затолкали робко сопротивляющуюся овечку в багажник, предварительно устлав днище куском кошмы — позаимствовали у работников кошары, в которой и был выбран этот крупный представитель мелкого рогатого скота. И, распрощавшись с гостеприимными хозяевами совхоза, поехали обратно в райцентр.

Но поскольку в багажнике «москвичка́» у нас сейчас возлежала овца, которой, уж извините меня за эту душераздирающую подробность, предстояло быть закланной на моё двадцатипятилетие, мы с Ермеком решили, минуя райцентр, проскочить в мою деревню, к родителям. До неё было всего двадцать пять километров по асфальту — ничтожное расстояние для легковушки.

Почему в деревню, а не к себе домой? Ну где бы я держал это животное до часа икс в обычной двухкомнатной квартире? На балконе, что ли? И там же с ней расправился? Сам? Да ни за что!

И вообще, день рождения я хотел отметить с родителями и немногочисленными родственниками, и мне с женой и дочкой проще было на выходной приехать в деревню, чем им всем табором тащиться ко мне в райцентр.

Так что овечке, хотела она того или не хотела, предстояло совершить семидесятикилометровое путешествие.

И мы ехали себе и ехали, весело болтая о том о сём, пока мне вдруг не стало тревожно.

— Слушай, — сказал я Ермеку, — что-то тихо там, в багажнике. Баран наш не задохнётся?

— Да ну! — беспечно махнул свободной рукой водитель. — Я свой багажник знаю, он весь щелястый. А молчит — на то он и баран…

Но всё же, когда мы уже проехали половину пути, я попросил Ермека остановить машину. Когда открыл багажник и поймал на себе печальный взгляд овцы, стало как-то не по себе. В общем, жалко стало мне эту овечку. Я спустился с шоссе и нарвал травы посочнее рядом с лесопосадкой.

— Кушай, Бяшка (так для себя я назвал это симпатичное животное, уже обросшее к концу лета, после весенней стрижки, плотной шубкой пепельного цвета)! — сказал я, протягивая я овце пучок травы.

Бяшка лишь вздохнула и положила голову с наползающим на тёмные глаза курчавым шерстяным чубчиком на кошму.

«Мама её непременно острижёт, прежде чем папка зарежет…» — почему-то подумалось мне, и я зябко передёрнул плечами.

— Пить, наверное, хочет, — сообщил вылезший из-за руля Ермек. — Жара вон какая стоит.

Да, несмотря на то, что было уже пять часов пополудни, солнце палило вовсю. Жестяной кузов «москвичка́» накалился так, что к крыше или капоту было небезопасно прикоснуться.

— Заедем ко мне домой, напоим овечку, — решил я. — А то ещё даст дуба в дороге.

Ермек хотел было что-то возразить, но промолчал. Ещё бы он не промолчал: а кто целых два раза спасал его в ГАИ от верного лишения прав (один из двоих наших райцентровских автоинспекторов был моим соседом)?

Подъехали к моему дому по улице Ленина. Я сбегал к себе на второй этаж—жены и дочери пока дома не было,—вынес в ковше воду.

Бяшка пить отказывалась и всё так же укоризненно смотрела на меня своими грустными глазами и время от времени тяжело вздыхала. Эти вздохи рвали мне душу.

— Давай вытащим овечку из багажника, пусть немного разомнётся,—предложил я Ермеку.—Может, и попьёт потом, стоя-то…

Мы взяли Бяшку в четыре руки за шерсть и, под любопытствующими взглядами редких прохожих, выволокли животное из багажника, поставили на землю.

Овечка тут же попыталась удрать, но Ермек цепко удерживал её за шерсть. А я подсунул под нос животного ковш, и Бяшка с присвистом стала пить.

Напоив овцу и дав ей попереминаться с ноги на ногу ещё пару минут, мы затолкали её обратно в багажник и поехали дальше. То есть—ко мне в деревню.

По дороге Ермек, уже с явным неудовольствием, ещё пару раз по моей просьбе останавливал машину, и я заглядывал в багажник, чтобы убедиться, что Бяшке едется нормально.

— Ты с ней уже как с родной,—насмешливо заметил Ермек.—Как теперь резать её будешь?

— Почему я? Отец зарежет,—машинально заметил я.

И тут же заскучал, представив, как отец валит Бяшку набок, вяжет ей ноги и, жёстко надавив коленом на часто вздымающийся от испуганного дыхания бок овцы, протягивает к её шее холодное острое лезвие ножа.

Для него это привычное дело—он, обеспечивая нашу немаленькую семью мясом, загубил таким образом не одну животину. Для того всякий скот и выращивался в нашем подворье.

Но я всё острее чувствовал, что мне не хочется гибели этой дурашки-Бяшки, которую меня угораздило купить пару часов назад в совхозе, вырвать её из нестройных, скученных рядов её собратьев, затолкать в багажник и увезти от родной отары за десятки километров только затем, чтобы под водку употребить её плоть в пищу на свой день рождения.

Но не возвращаться же с овцой обратно в совхоз и тем более не выпускать на волю одну—очень скоро её прибрали бы чьи-то чужие руки. Да и вон, впереди, уже видна околица моей деревни…

Когда мы подъехали к отчему дому, я, не дожидаясь, пока это сделает кто-то из домочадцев, сам распахнул ворота во двор, чтобы Ермек смог загнать «москвичок».

А когда, завидев нас в окно, во двор вышли удивлённые и обрадованные мать с отцом и младшая сестрёнка—визит мой был неожиданным, так как обычно я приезжал в деревню на выходные, да и не на служебной машине, а автобусом,—я картинно распахнул перед ними багажник легковушки и сказал:

— Вот, дорогие мои, привёз вам в подарок высокопородную овцу, казахский меринос называется. Шерсти с неё тебе будет, мама, столько, что хватит на носки нам всем. И это… ягнят она вам исправно таскать будет.

— Хорошее дело,—довольно кивнула головой моя мама, большая любительница вязать.—Сколько уже говорю папе: давай овец снова заведём,—так нет, не хочет возиться с ними. А чего там возиться: всё лето в стаде будут, а на зиму сена им совсем немного надо…

«Бэ-э-э!—впервые за эти часы подала свой голос, приподняв кудрявую голову из жестяного узилища, Бяшка.—Бэ-э-э-э!

— Какая красивая!—ахнула сестрёнка.—Да выпустите же её отсюда! А я пойду ей в палисаднике свежей травки нарву…

Вот так Бяшка стала основоположницей нового небольшого бараньего коллектива в подворье моих родителей.

А мяса на мой день рождения отец и так добыл—когда это было проблемой в деревне?

Свидание

По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.

Г. Шпаликов

1.

И вот Егор снова в родной деревне. Уехал он отсюда лет сорок назад и навещал родные пенаты изредка, ну, раз в пять-шесть лет, может быть. И с болью в сердце замечал, что сельцо его всё дряхлеет, рушится. Населения от прежнего осталась половина, не больше. Из одноклассников здесь не было уже никого. Пацаны большей частью, увы, уже поумирали, а девчонки, естественно, давно превратились в семейных матрон и даже стали бабушками. И тоже жили кто где, но только не в родной деревне.

Егор неспешно шёл по знакомым улицам, по которым когда-то бегал босиком, степенно здоровался с теми односельчанами, кого узнавал, и доброжелательно кивал на приветствия тех, кто узнавал его.

А вот и старый бревенчатый дом с резными, полинявшими, но всё ещё голубыми наличниками, при виде которого вновь так знакомо всколыхнулось уже немолодое сердце Егора. Когда был пацаном, обычно старался с независимым видом пройтись или проехаться на велосипеде мимо этого дома. Но глаза его при этом всегда

предательски скашивались на чисто вымытые окна, за которым виднелись цветы в горшках, а сердце екало: а вдруг Она смотрит?..

Она—это его одноклассница Верочка Лапина, первая красавица в их сельской восьмилетке. Её Егор любил с первого класса. Он-то любил, но она и не догадывалась, или делала вид, что не догадывалась, о чувствах Егора. Да и мудрено ли? За ней приударяли все мальчишки не только из его, но и из соседних классов, такой она была хорошенькой: с волнистыми каштановыми волосами, большими карими глазами, опушенными длинными ресницами, с матовыми щёчками и алыми капризными губками. И ещё с маленькими аккуратными ножками, которые с каждым годом становились всё длиннее и стройнее.

Верочка понимала, что красива и имеет власть над мальчишками, и потому её хорошенькое личико всегда имело слегка надменный вид, который, впрочем, нисколько не портил её, а наоборот—ещё больше притягивал к себе взоры пацанов.

Многие из них всяческим образом пытались добиться внимания Верочки, но безуспешно: её интересовали только учёба (Верочка, как и полагается красавице, была ещё и отличницей) и подруги.

И даже когда уже закончили восьмилетку, на выпускном вечере, накануне расставания, Верочка никого из воздыхавших по ней и заметно повзрослевших мальчишек отдельно своим вниманием так и не наделила. Она с равнодушным видом станцевала с каждым, кто её приглашал, в том числе и с Егором.

Даже рассвет встречать на берег реки не пошла, а отправилась спать домой пораньше, отказавшись от услуг всех провожатых. Да и был он у неё—мама, которая, в отличие от многих других родителей, оставалась до самого конца выпускного вечера рядом с дочерью-красавицей.

Егор тогда уже дома обнаружил, что его правая ладонь, в которой он во время танца трепетно держал хрупкую кисть Верочки и боялся встретиться с ней глазами, тонко и нежно пахнет духами. И он не мыл эту руку ещё два дня после выпускного, время от времени принюхиваясь к ней и с закрытыми глазами представляя невозможное—как он в облаке аромата этих взрослых женских духов прижимает Верочку за тонкую талию к себе и страстно целует её в капризно изломанные губы…

Потом их пути—не только Егора с Верочкой, но всего класса,—надолго, а с кем и навсегда, разошлись. Кто-то поехал продолжать учёбу в средних школах соседних райцентров или центральных усадеб совхозов, кто-то поступил в профтехучилище в городе.

Егора после десятого класса забрали в армию. Добросовестно отслужив, он остался в городе, в котором стояла часть. Его сагитировал сослуживец ефрейтор Витя Колобов, сам из этого города. Конечно, Егор сначала съездил домой, порадовал своим возвращением и почти тут же расстроил родителей решением не оставаться в родной деревне.

Ему очень хотелось увидеть объект своего детского, а затем и юношеского влечения: Верочка все эти годы не шла из головы Егора. Он даже пару писем написал ей из армии, в которых наконец-то открылся милой однокласснице и признался в своих чувствах. Но письма его остались без ответа.

И только приехав после «дембеля» на побывку в деревню, он узнал, что Верочка неожиданно для всех вышла замуж за совершенно неприметного парня, своего дальнего родственника Мишку Попова, старше её на три или четыре года. Он работал автомехаником в райцентре. Вот там-то на момент возвращения Егора из армии Верочка теперь и жила со своим избранником, и даже уже растила ребёнка.

Жестоко разочарованный, Егор резко свернул сроки своего пребывания в деревне (втайне он надеялся, что свидание с Верочкой может повлиять на его решение остаться дома или уехать, а теперь что ж…) и через пару дней отправился к недавнему месту своей службы, в город со знаменитым вагоностроительным заводом, где и устроился работать слесарем.

Вначале Егор получил комнату в заводской общаге, а когда женился—перебрался в предоставленную ему заводом однокомнатную, затем, по мере появления детей, двух- и трёхкомнатную квартиры.

Тогда это было в порядке вещей, жильё, пусть и не элитное, но вполне благоустроенное, своим гражданам предоставляло государство—правда, по степени продвижения живой очереди. Егор был хороший работяга и семьянин и подолгу в этих очередях, включая на мебель, холодильник, цветной телевизор, машину, не задерживался.

2.

Счастлив ли он был все эти годы? В общем, да. Жена Людмила у него была симпатичная, спокойная, заботливая и любящая мать; сын и дочь выросли послушными и воспитанными, уже нарожали своих детей, так что сейчас у Егора и Людмилы уже трое внуков!

Егор хоть и достиг пенсионного возраста, но продолжал работать мастером на заводе—его опыт и знания ценили, да и приработок к пенсии не мешал. Всё у него было хорошо в жизни, всем он был доволен. И, казалось бы, за минувшие годы образ его первой и безответной любви должен был если и не стереться из памяти, то хотя бы потускнеть, а чувство остыть. Тем более что сама Верочка о нём, похоже, легко позабыла.

Однако он все эти годы продолжал помнить о Верочке и хранить свою детскую влюблённость в неё. Он понимал, что это бессмысленно, нелогично,

контрпродуктивно, наконец,—она-то к нему относилась вообще никак. Ну разве что как к однокласснику, то есть наравне с другими мальчишками. Понимал—и ничего с собой поделать не мог.

Правда, это чувство было не настолько сильным, чтобы он вот прямо ночами спать не мог. Если бы это было так, то он бы всё бросил к чёртовой матери и помчался туда, в родные места, где жила его Верочка, и всё бы сделал для того, чтобы добиться её. Но нет, такого желания—кардинально поменять свою жизнь ради Верочки—у Егора никогда не было. Просто, повторимся, он всегда помнил её, думал о ней, и эти мысли были нежные и практически невинные.

И вот Егор взял отпуск и с разрешения жены отправился проведать родные места. Людмила была с ним здесь за всю их совместную жизнь всего один раз, и ей малая родина мужа совсем не понравилась. Да и откуда ей, выросшей в городе, не бегавшей босиком по раскалённым от жаркого солнца пыльным улицам, не плескавшейся в тёплой реке, протекающей под песчаным яром, было понять, что вот эта невзрачная деревенька (тем более—с Её домом, мимо которого он никогда не мог пройти равнодушно) и есть самое лучшее место в мире? Но надо отдать Людмиле должное, она всегда отпускала мужа туда, куда его влекло тоскующее по родным местам сердце.

3.

И вот он снова приехал на свою родину и, бросив дорожную сумку у двоюродной сестрёнки, отправился пройтись по знакомым улицам. Шёл и с болью отмечал, что ветер перемен для Сычёвки имел разрушительную силу. Совхоз прекратил своё существование, и в их отделении не стало ни полеводческой бригады, ни дойного гурта, а это означало, что десятки сельчан остались без работы и вынуждены были со временем перебраться в более хлебные места—в райцентр, в область.

Оставленные ими дома (продать их было некому) со временем разрушились сами или были разобраны на стройматериалы соседями, и таких следов, как от бомбёжки, в Сычёвке было уже с три десятка, что соответствовало трети всех дворов некогда оживлённого, процветающего села. Не было среди «живых» и отчего дома Егора—после смерти остававшихся здесь родителей, которые ни за что не желали переехать ни к старшему сыну в город, ни к младшему в ближний райцентр, их усадьба тоже оказалась порушенной.

Правда, сам некогда крепкий камышитовый дом был ещё цел. Но лучше бы его тоже сравняли с землёй, потому что сейчас он использовался под сарай их бывшими практичными соседями, и это особенно угнетало Егора. Под крышей дома, в котором, плохо ли, хорошо ли, три десятилетия прожила их семья, теперь обитали и гадили под себя коровы и овцы, это кого хочешь вгонит в меланхолию.

Егор вздохнул и пошёл дальше. И вот он, знакомый, хотя и потемневший от времени и даже слегка как будто просевший, дом, в котором когда-то жила Верочка со своими родителями. Кувыркнулось и приостановило своё биение, а потом вновь запустилось и заколотилось в груди с удвоенной силой его порядком изношенное сердце.

И хотя Егор знал, что бывшая ослепительно красивой Верочка сегодня, должно быть, вполне себе солидная Вера Николаевна и давно живёт не с родителями, а с мужем и детьми и даже уже с внуками в райцентре, он всё же таил надежду, что вдруг случится чудо и он увидит её.

Но чуда никакого не было—никто не выходил из калитки двора Вериных родителей, никто и не заходил в неё. Наверное, в доме Лапиных сейчас никого и нет: дядя Коля, как слышал Егор, в прошлом году умер, а тётя Люба, может, ушла куда по делам или болеет—дело такое, возраст…

Егор вздохнул и, ещё раз покосившись на заветные окна Верочкиного дома, хотел было уже свернуть в проулок, чтобы вернуться к сестре. И тут к воротам Лапиных, распугав роющихся в пыли кур, подкатил старенький «жигулёнок». С пассажирской стороны, опираясь на трость, с трудом вылезла пожилая грузная женщина, в которой Егор сразу узнал маму Верочки, тётю Любу.

«Удивительно, как это старые женщины долго не меняются!»—отметил про себя Егор. Он вежливо поклонился и уже даже открыл рот, чтобы сказать: «Здрасьте, тётя Люба! А это я, Егор. Узнаёте?» Но что-то остановило его. Егор более внимательно вгляделся в лицо женщины, теряясь в смутных догадках: неужели?..

Но когда из машины выбрался и водитель, Егор без особого труда признал в нём Мишку Попова. Он был такой же худой и угловатый, с тем же вечно недовольным выражением лица, только теперь морщинистого. Хлопнув дверцей «жигулёнка», Мишка, даже не взглянув в сторону Егора, со скрипом открыл калитку и зашёл во двор—наверное, затем, чтобы открыть ворота и загнать машину внутрь.

Верочка же пристально смотрела на Егора, силясь узнать, кто же стоит у ворот их дома.

«Блин, неужели и я так состарился, что она тоже не узнаёт меня?—неприятно удивился Егор.— И хорош был бы я, если бы обратился сейчас к ней как к тёте Любе». А вслух сказал:

—Ну, здравствуй, Верочка! Или же тебя лучше называть уже Вера Николаевна?

—Егорушка!—радостно, совсем по-бабьи всплеснув руками, воскликнула Верочка.—Да какая я тебе Николаевна? Кстати, и Верочкой ты меня впервые назвал, а то всё Вера да Вера.

— Да вот как-то не пришлось,— смущённо кашлянул Егор.— Ты здесь, я там. А то бы, конечно…
— Чего «а то бы, конечно…»? — лукаво прищурила свои карие, кстати, светящиеся по-прежнему молодо, глаза Верочка.— Ты, насколько мне помнится, единственный из нашего класса не пытался ухаживать за мной. Неужели не нравилась?

И Верочка кокетливо склонила голову немного набок, как она делала всегда. И Егор всё больше и больше узнавал в ней ту, по которой сох в школе и о которой дни и ночи напролёт думал в армии, и даже когда женился и у него пошли дети, всё равно не забывал о Верочке.

Да, время оказалось беспощадно и к ней: Верочка погрузнела, когда-то миловидное лицо заметно подурнело и покрылось сеточкой неглубоких пока морщин; из-под длинного платья виднелись опухшие лодыжки ног (Егор помнил, какие у Верочки они были изящные!), и это, видимо, из-за них она вынуждена была опираться на трость.

Но всё равно — это была она, Верочка, прелестный образ которой Егор всегда носил в своём сердце. И пусть он уже не совпадал с сегодняшним оригиналом, Егор изо всех сил старался делать вид, что совершенно не заметил разрушительного результата работы минувших лет над этим образом.
— И тогда очень нравилась, и сегодня просто замечательно выглядишь! — искренне похвалил её Егор.— И я очень жалею, что не ухаживал за тобой. Глядишь, сегодня был бы на месте этого везунчика Мишки!
— Ой-ой-ой! — звонко засмеялась Верочка (а вот смех её остался почти неизменным — с радостью отметил Егор).— Если бы да кабы… — и добавила, понизив голос:— А ведь ты мне тоже нравился… немножко. Но я же не могла тебе сказать об этом первой!
— А сейчас нравлюсь? — включился в игру Егор, интуитивно втягивая свой нахально округлившийся в последние годы живот.
— И сейчас… немножко! — снова разулыбалась Верочка.

Егор вдруг понял, что наступил тот момент, когда он может спросить о деле, так волновавшем его столько лет.
— Скажи, Вера, а ты получала мои письма?

Вера перестала улыбаться, лёгкая тень растерянности, смешанной с досадой, пробежала по её лицу. Видно было, что ей не хочется об этом говорить. Но она всё же сказала.
— Да, Егор, получила. Их было два. Но… как бы тебе это сказать… Ты их написал и прислал уже тогда, когда мне тебе нечего было ответить. Я уже была с Михаилом. Так что извини.

И с души Егора словно камень свалился. Значит, всё же получила и прочитала — и все эти годы знала о его чувствах к ней. Ну а что не ответила — это уже другой вопрос. Понятно, что была увлечена другим, возможно, даже полюбила, и как-то не с руки ей было отвечать на те мальчишески искренние, даже где-то, может быть, глупые и наивные письма Егора. А может, просто не хотела его расстраивать, хотя тем, что не ответила,— расстроила, может, ещё куда больше.

4.

Ну вот, вроде всё: увидел когда-то милую сердцу зазнобу, удостоверился, что она, увы, тоже состарилась, как бы он ни ухищрялся не мириться с этим фактом. А теперь можно со спокойной душой возвращаться к сестре и через день-другой собирать свою сумку и ехать домой, к жене, детям, внукам,— больше здесь его ничто не держало.

Однако Егор чувствовал, что он не сказал Верочке что-то ещё, очень важное. И он не знал, найдёт ли такие слова, чтобы Верочка поняла его. Вера же между тем продолжала с выжиданием смотреть на Егора, и глаза её всё ещё лучились тем огоньком, который загорелся в них, когда она узнала его и заговорила с ним.
— Спасибо тебе, Вера! — дрогнувшим голосом сказал Егор.
— За что? — удивилась его одноклассница.
— За то, что была в моей жизни… За то, что я знал, что ты там где-то есть, и у меня оттого тепло было всегда на душе… За то, что когда у меня были какие-то удачи или успешные дела, я думал: «Вот бы Вера меня сейчас увидела!..» Ну, в общем, за то, что ты помогала мне жить, вот!

Вера молча выслушала эту взволнованную, сбивчивую тираду, и Егор, к ужасу своему, увидел, как улыбка сошла с её лица, а глаза медленно стали наполняться прозрачными слезами.
— Вера, ну где ты там?! — послышался раздражённый голос Михаила.— Придержи створку ворот, а то она снова закрывается…
— Ладно, Вера я пошёл,— торопливо сказал Егор.— Прощай!

И, круто развернувшись, пошагал по переулку к дому сестры, стараясь при этом держать спину прямо. Так как он знал: Верочка смотрит ему вслед…

Кирилл Берендеев

День счастья и годы разлук

Сергей Сергеич, старший мастер, передовик производства, чей портрет уже десять лет висел на Почётной доске завода, вернулся с работы на два часа раньше положенного и на четыре—обычного, чем изрядно всполошил жену. Сам вид Сергей Сергеича был до крайности ему несвойственен—неловкий, съёженный, насколько это мыслимо при росте в два метра и косой сажени в плечах. Робко пройдя в кухню, он сел на табурет к окну и, почувствовав на лбу ладошку супруги, произнёс негромко:

— Начальник цеха отпустил. Говорит, вид у тебя какой-то не такой. И думаешь о чём-то всё время. Так что иди, Сергеич, домой, отдохни. Да когда ж я отдыхал-то? Я ж в отпуск раз и выходил, когда ты рожала,—голос поднялся до привычных децибел, по которым все соседи по дому разом узнавали о прибытии или пробуждении мастера. Поднялся да тут же стих.—А тут… представь, Танюх, с утра будто подменили. На работе захотелось отвлечься от станков, присесть, подумать. Помечать о чём-то даже. В окно поглазеть, на птичек там, деревья… не знаю, что ещё в окно углядеть можно. Насвистеть печальное, чтоб за душу брало.

— Серенький мой,—охнула жена, нутром почуяв самое недоброе,—да что с тобой сделалось? Каких птичек ты в окне углядишь? Мы в городе живём. Может, тебе радио послушать?

— На заводе наслушался. Всё про планы и перевыполнения. Сил нет.

— Так, может, у оболтуса нашего посидишь? Он скоро с училища вернётся, а ты пока заготовки его посмотришь, отвлечёшься.

— Видеть я их не могу,—произнёс Сергей Сергеич и вздрогнул, ужаснувшись сказанному.—Сердце, Танюх, оно другого просит.

— Тебе, может, к Семёнычу сходить? Я не буду против,—последним средством решилась жена.

Но муж только головой покачал, расчесал смоляные кудри здоровенной пятернёй и вздохнул:

— Пить я не буду.

— Сегодня можно. Нужно даже.

— Нет. Внутри дрожит что-то и поёт даже. Не помню такого. Никогда не было. Я ведь с детства, с отцом, с дедом, я ведь… Я, знаешь, Танюх, я к Куперманам пойду. Яшка их в музыкальном,—и, не договорив, поднялся. Потопал наверх.

Соломон Иванович хоть и слышал, что сосед поднимается, да поверить никак не мог, и чтоб так рано, и чтоб молча. Обычно соседские визиты добра не сулили: к Куперманам приходили, если те заливали кого, пилили скрипкой или если их Яшу опять били во дворе. Когда приходил Сергей Сергеич, староста по дому, случалось самое ужасное. Как в тот раз, когда жена забыла оплатить коммунальные услуги, и всему подъезду на неделю отрубили тепло.

Довспоминать Соломон Иванович не успел—в дверь постучались. Не так, чтоб с петель слетала, а тихо-тихо, она и не шелохнулась даже, хотя хозяин её предусмотрительно открыл.

На пороге стоял староста, понурив голову и пряча за спиной мозолистые руки. Соломон Иванович поздоровался приветливо, но ответа не получил. Сердце ушло куда-то совсем далеко.

— Слышь, Иваныч, дело такое, странное. Душа музыки просит. Пальцы зудят. У тебя есть что для вот таких пальцев?—и с этими словами резко протянул хозяину обе своих широченных ладони.

Чудом Куперман остался стоять на месте, даже не вздрогнул почти. Хотя взглянуть в глаза вошедшего не решился. Больно много чего было намешано в их карей глуби.

— Хоть скрипка, хоть смычок, но чтоб мелодия шла. И чтоб не поломал ничего.

Соломон Иванович вспомнил, что в этих руках не всякая кружка выживала, но кивнул. Пометавшись по комнатам, вынес губную гармонику. Сергей Сергеич покрутил её в пальцах, поднёс к губам. Жена, подошедшая незаметно для обоих, да и сам хозяин замерли.

Но, пару раз на разные лады свистнув, староста кивнул благодарно, у Соломона Ивановича отлегло немного, и прижал того к груди.

— Если вам ещё что понадобится, вы только… задушите ведь.

— Прости, Иваныч, и спасибо тебе. За всё спасибо.

— Может, чайку останетесь попить? Сейчас жена придёт, вот мы вчетвером, как добрые соседи…

Сергей Сергеич покачал головой и стал спускаться. А Соломон Иванович долго стоял у двери, ничего не понимая. Последний этаж, где он жил, считался интеллигентским, и поднимались соседи, только чтоб поскандалить. А этот визит

настолько выбивался из привычной колеи, что, даже запершись в комнате, Соломон Иванович никак не мог успокоиться, а когда пришла жена, и вовсе обнял её, как в давно забытые времена, и долго не отпускал. В этот вечер они и не ссорились даже, смотрели друг на друга и вспоминали позабытое когда-то счастье.

А Сергей Сергеич сел в кухне и, держа в одной руке гармошку, в другую взял карандаш и принялся писать на оборотной стороне большой жировки. Потом наигрывал что-то и снова писал. Жена, стоя на пороге, вслушивалась и губы кусала, не зная, что ей сейчас делать, к кому обратиться, не представляя, что с её супругом могло такого приключиться. Может, болезнь какая или, того хуже, опять сотрясение.

А муж отказался от ужина, только попросил ещё бумаги. Танюха, сколь ни рылась на полках, выискала только жухлый ежедневник, что им какие-то жмоты на ситцевую подарили. Подала—и снова замерла в дверях, глядя, как супруг стремительно выписывает на серых листках, да ещё и левой рукой—в правой-то у него гармоника; но то, что писал он совсем необычно, видно, нисколько его не смущало, что ещё больше убедило Танюху немедля сходить к старику Потапычу. Всё ж фельдшер, хоть и на пенсии. Говорили, правда, что он уж совсем из ума выжил, но тот хорохорился: мол, бывших врачей не бывает,—ещё сказывал, будто и впрямь вылечил кого-то из соседнего дома. Но не наверное.

Выждав, когда муж снова уйдёт в себя, она и побежала к Потапычу. Тот приковылял поспешно, но был тут же изгнан мастером, протянувшим жене исписанные листки.

— Вишь, какое дело, Танюх,—едва слышно, по своим меркам, произнёс он.—Не могу остановиться. Выходит что-то из меня,—он то хмурился, то улыбался.—Никогда раньше не думалось, но… да сама прочти.

И подал ей обратные стороны листков. Она хотела повернуть, но муж сказал, чтоб на просвет смотрела. И верно, левой рукой писал он зеркально, быстро, легко; да как научился, когда схватил?—уму непостижимо. Да и гармошка эта: как, когда ухватил? Побледнев до синевы, жена прочла:

Как мне её не хватает,
Как тяжело одному!
Свечка в окне тихо тает,
Капли дробят тишину…

— Серенький мой,—едва разлепляя губы, произнесла она,—да про кого ж ты пишешь?
— Не знаю,—было ответом.—Ложится так. Да ты дальше читай, дальше!
— Да что дальше,—всколыхнулась Танюха.—Я уж прочла. Мы ж двадцать лет вместе, двадцать, я у тебя первая, и ты у меня. А тут… Сергей, про кого это?

Муж медленно поднял на неё глаза, вздохнул и произнёс странное:
— Не знаю. Не понимаю. Ложится так.
— С кем ложится?—резко спросила она.

И тут же оборвала себя, да поздно. Муж поднялся во весь рост, распрямился. Она ожидала хорошей взбучки, но вместо этого Сергей Сергеич снова сел за стол и, ухватив голову руками, закачал ею вместе со столом.
— Не надо, Танюх. С утра ничего не ладится. Хоть в этом покой нашёл—да нет, не покой, больно всё равно, непонятно, странно. Страшно даже. А оторваться сил нет. Видишь как, и приятно даже. Хочется, чтоб прошло, и чтоб осталось—хочется. Себя не пойму. Ничего не пойму.

Он закрыл лицо ладонями и, как показалось, несколько раз кашлянул, вздрогнув плечами. Тут как раз вернулся оболтус, довольный, шебутной; мать его немедля в комнату загнала, зашикала. Туда же и ужин принесла. Вернувшись, покусала губы и всё же решилась.
— Может, доктора вызвать? Нормального, из больницы?
— Здоров я. Не положены нам доктора, так чего деньги переводить? Я…—и замолчал на полуслове. А затем продолжил, как-то сжавшись:—Ты, Танюх, иди ложись, поздно уже. Я тут… ещё посижу.
— Да зачем же я…
— Иди, иди,—и уже ни к кому не обращаясь:—Вот ведь как оно-то. Отец мой, дед на заводе всю жизнь. Сам двадцать пять лет оттрубил. Сына по профессии направил. Замечания ни единого, не то выговора. Одни благодарности да вон, ворох грамот почётных. А сейчас что? Что? И на что мне это—сидеть до рассвета и солнечный луч встречать?..

Он хлопнул себя по лбу, да так, что посуда в горке задребезжала. Жена дёрнулась к нему, да как-то разом ослабла, будто на невидимую стену наткнулась, опустила плечи и, покорствуя, пошла спать. Проворочалась кой-как до утра, забылась вроде. Вскочила, растрёпанная, разом во сне увидев всё вчерашнее. И в кухню.

Сергей Сергеич так и сидел за столом. В этот предутренний час он смотрел в окно, на громаду дома напротив, на бетонные заборы, асфальтовые площадки, на город, окруживший его так, что ни земли, ни неба не видать, смотрел и напевал тихонько:

Где-то вдали
Солнце встаёт над волною,
И корабли
Клином уходят на юг.
Где-то вдали
Мы повстречались с тобою
И обрели
День счастья и годы разлук…

Оболтус, в трусах и майке, стоял на входе, ничего не замечая и не в силах оторваться от непостижимого

зрелища. Мать хлопнула его по затылку, приводя в чувство, и произнесла, точно приговор выносила:

— Беги к Потапычу, буди, пускай доктора вызовет. А я пойду в сберкассу, деньги сниму. Да не стой дурнем, беги давай.

Скорая быстро добралась, минут за сорок. Сергей Сергеич ничего не заметил: всё смотрел в окно да напевал про себя. А когда поворотился к жене, она увидела полоски слёз, тёкшие из глаз, и поняла, что позвала медицину совсем не напрасно. Таким мужа она за все эти двадцать лет ни разу не видела, да и не хотела. Как не хотела и слышать того, что напевает он, и не важно, правда то или выдумка, что легло.

Врачи управились быстро: один вколол дозу, другой занялся осмотром головы. Постукивал молоточком, жужжал машинкой, пшикал тубой и осматривал в лупу. Жена стояла ни жива ни мертва, ожидая конца процедуры; рядом с ней, поддерживая как мог, белел оболтус.

— Предохранитель полетел,— наконец выдал доктор.— Кустарно ставили в детстве, да и сотрясений было изрядно. Оно и прорвало. Но я блок на правое полушарие влепил, теперь не сломает. А вы, гражданочка, должны были сразу обратиться, у нас на такие случаи и скидка, и срочная помощь. Чего ж мужа изводить? Он вон, простой рабочий человек,— показал на листы,— а что чудил. И вам будто всё равно… Ведь один раз живём.

Получили по счёту и вышли. А ввечеру и Сергей Сергеич окончательно в себя пришёл. Дал затрещину оболтусу, что невнимательно чертежи читал, когда заготовки делал,— искры потом долго сыпались. И жене досталось — за его позор и стишки. Но она терпела и внутри даже радовалась: значит, вернулся, значит, всё у них по-прежнему, как, наверное, и должно быть.

Вот только стихи его куда-то задевала. И сколько потом ни спрашивал Сергей Сергеич, так ни разу и не нашла.

Владимир Леонович

Деревянная грамота

Москва: «Буки веди», 2014

«Деревянная грамота» — последняя книга замечательного поэта Владимира Леоновича (1933–2014). Он сам собирал её, перевязывая стихи прозаическими заметками. Получился надёжный плот, способный пронести читателя не только по костромской Унже, но и по норовистым сибирским рекам, потому как и стихи, и перевязи — бесконечной любовью к России. Книга вышла благодаря доброй памяти его друзей и учеников.

Сергей Кузнечихин

• • •

Я рисовал нехитрую картинку.
День вечерел, был холоден и сер.
Старушку в чёрном, словно паутинку,
пронёс осенний ветер через сквер —

нагую душу в лёгкой оболочке —
и лишь оставил у меня в зрачках
косые ножки, детские чулочки
да туфельки на толстых каблучках.

И пронесло, и в сумерках растёрло,
размыло невысоко над землёй.
Шло время —
ровно,
скорбно
и просторно.
Листва взвивалась, обгоняя строй,

обратным колесом…
Мне не хватило
для лёгкой той души прощальных слов —
сорвало,
обняло,
поворотило
и понесло в пролёт между стволов.

Анатолий Кобзев

Обратный самолёт

Мой дед

Мой дед ругался по-немецки—
Всё потому, что был в плену.
Боялся он бесед простецких
Про ту великую войну.

Не дезертировал с позором
И никого не предавал.
Но откровенных разговоров
Сам о войне не затевал.

Кто виноват, что в сорок пятом,
Когда последний бой затих,
Он выжил в том плену проклятом—
Один на тысячу других?

Потом среди глуши еловой,
Где горький смрад от лагерей,
Мой дед познал, что сип вало́вый[1]
Страшней каких-то матерей.

Когда прорвался луч свободы,
Дед возвратился в отчий дом—
Из довоенных счетоводов
Обычным сельским пастухом.

А что ему?.. С улыбкой детской
Под пенье злющих комаров
Он матерился по-немецки
На заблудившихся коров.

И у Бурёнки или Зорьки
С утра не лезла в рот трава:
Какого хрена после дойки
Летят заморские слова?

У гроба не было оркестров,
Не рвали залпы тишину—
Лишь две медали с тусклым блеском,
И те—за финскую войну.

А на поминках по-соседски
Сказал мне кто-то: «Знай, пострел,
Твой дед ругался по-немецки,
А вот по-русски не умел…»

● ● ●

Разлуку нашу выдумал я сам,
На месяц в город детства улетев,
Где встречи по забытым адресам
Напоминают радостный напев.
Хотелось отдохнуть от суеты,
Отбросив ком бессмысленных забот.
Но каждый день ко мне приходишь ты,
И память снова в путь меня зовёт.
И город, где мальчишкой мяч гонял,
Меня, наверно, больше не поймёт.
Ведь я так быстро от него устал
И рвусь на свой обратный самолёт.

● ● ●

Душа моя спала тяжёлым сном
Уставшего больного человека.
Из года в год весна просилась в дом,
Но всё напрасно. Сомкнутые веки
Не двигались, немую боль храня.
На куполах тускнела позолота,
И в окнах часто не было огня,
В руках—тепла, а в мыслях—поворота.
Календари менялись на стене,
И в Новый год произносились тосты.
Душа, подобно порванной струне,
Молчала. Расходились гости,
Сказав свои дежурные слова,
Спросив о состоянии здоровья.
В саду торчала сорная трава,
Дожди на крыше расщепили кровлю.
Ей было абсолютно всё равно.
Катилась мимо жизнь, как сани с горки.
Но ты вошла и, распахнув окно,
Впустила ветерок, немножко горький.
И флейтой зазвенели голоса,
Изгнав в небытие дремоту злую.
Замок открыла, накормила пса
И разбудила душу поцелуем.

1. Сип валовый—ругательство свальщиков леса.

● ● ●

Губами, распухшими от поцелуев,
Мне лето горячие клятвы шептало.
Как в озеро светлое, в юность былую
Я в прежних мечтах опускался устало.
А лето транжирило жаркие вздохи
И томные взгляды роняло беспечно.
Я серым воробышком склёвывал крохи,
Как бусинки звёзд на пути своём млечном.
А лето кружило цветастою юбкой
И в огненном танце улыбкой сверкало.
Я впитывал старость, как мягкая губка.
А надо бы юность — бокал за бокалом…

● ● ●

Волосы твои у нашей осени
И большие серые глаза.
Золотые листья ветры сбросили,
И осталась хрупкая лоза.
А дожди идут, не унимаются,
Стук холодных капель тело жжёт,
А она надеждой утешается:
Может быть, тепло ещё придёт?
Мне близка печаль необъяснимая,
Беззащитность чистых тихих снов.
Как же мне спасти тебя, любимая,
Уберечь от будущих снегов?

● ● ●

Чужие лица в городе пустом.
Так много лиц, что можно заблудиться.
Зима, игриво завиляв хвостом,
Бросает снег, не вглядываясь в лица.
И в мутноватом свете фонарей
Рук не согреть и душу не оттаять.
Метель, как стая пьяных егерей,
В последний угол загоняет память.
Мне одиноко в городе большом
Без нежных рук и губ твоих горячих.
Зима, своим серебряным ковшом
Разбрасывая слёзы, тоже плачет.
И я, как неудачник на лыжне,
Раздавленный и весь мохнато-белый,
Плетусь куда-то. А навстречу мне
Метель кружится в пляске оголтелой…
Стряхнув с одежды снег, иду домой
И спать валюсь, сославшись на усталость.
Как пудели, мы с белою зимой
Обнюхали друг друга и расстались.

● ● ●

Я всех простил, и мне легко.
Своей обиды чёрный камень
Забросил в небо далеко,
И он исчез за облаками.
Я всех простил и смог понять,
Какою заплатить ценою,
Чтоб так же поняли меня
Однажды преданные мною.

Марат Валеев

Зона турбулентности

Новокузнецк: «Союз писателей», 2015

В сборник юмористических и сатирических произведений «Зона турбулентности» члена Союза российских писателей Марата Валеева вошли рассказы и миниатюры, напечатанные в своё время в «Литературной газете», «Советской России», «Колесе смеха», «Вокруг смеха», журналах «Чаян», «День и ночь» и других популярных изданиях. Это не первая его книга — ранее выходили сборники юмористических рассказов «Доказательство любви», «Светопреставление», «Вредные привычки» (красноярское издательство «Буква»). Валеев также соавтор юмористических сборников «12–16–45» (Кишинёв), «Записки офисного планктона» (Москва), «Осторожно, песатели!» (Новокузнецк). «Произведения Марата Валеева отличаются мягким, добрым юмором и в то же время открытой непримиримостью к человеческим порокам, произволу бюрократии, помогают воспринимать несовершенство этого мира через призму насмешливого оптимизма и гуманизма», — говорится в предисловии к новой книге Марата Валеева.

Светлана Романовская

Дарья Лысенко

Вечный ребёнок

● ● ●

А время летит — всё так же — неумолимо,
И годы уходят, пожары сменяя стужей.
Я помню твой запах, и это невыносимо.
Я помню твой голос, и, кажется, это хуже.

Ты в каждом прохожем, и в каждой случайной фразе,
И в книгах, и в фильмах, и в песнях, и в поворотах.
Ты снишься мне часто — больнее от раза к разу,
Ты снишься мне часто — всё чаще от года к году.

Ты снишься и мельком, и даже полнометражно,
И все эти сны пора представлять к наградам,
Ведь время летит — неистово, быстро, так же,
И годы уходят, но ты остаёшься… Рядом?

Ты в каждом прохожем, машине, окне, витрине,
В единственной туче и через дорогу луже.
Везде и нигде. И это невыносимо.
Но если б не так, то было б намного хуже.

● ● ●

Лето вползает в город — слепой шпион.
Судя по сводкам, будет ещё таиться,
Прятаться по канавам, по веткам длиться,
На проводах искриться, взмывать как птица —
Стоит лишь припугнуть, и сорвётся вон.

Лето сидит в засаде — пока ходи,
Кутаясь в шарфы, кофты, его толстовку,
Прячься от урагана за остановку,
Между дождинок прыгай — изящно, ловко,
Грейся, само собой, у огня — в груди.

Лето крадётся тихо — едва-едва,
Снег рассыпает — просто, на всякий случай,
И не торопится, сколько его ни мучай…
Знаешь, ещё успеем узнать получше,
Кто из нас круче и в чём ты опять права.

Знаешь, ещё успеем, смотри, вот мы,
Вот остальные, дышат и душат… Дышат?
Ты улыбаешься, ветер гремит над крышей.
Лето вползает в город — совсем неслышно.
Лето ещё не знает: ты ждёшь зимы.

● ● ●

Свет мой, зеркальце, скажи
Да всю правду доложи:
Он скучал по мне хоть каплю,
Хоть на глубине души?

Он искал меня по блюдцу
В чужеземных городах?
Он просил меня вернуться
В полуночных горьких снах?

Он не спал и не обедал,
Отказавшись от всего,
Пока кто-то не поведал,
Как развеять колдовство?

Он сумел разведать тайну?
Он ведь спас меня? Он сам?
Я спала в гробу хрустальном,
Шла в лохмотьях по лесам,

Я была морскою пеной,
Зверем диким — просто жуть.
Свет мой, зеркальце, наверно,
Ты напутало чуть-чуть?

Как он мог смеяться, кушать
(с чудо-блюдца!), сладко спать?
Свет мой, зеркальце, послушай,
Как он мог не вспоминать?

Как он мог забыть и выжить,
Пережить — и не спасти?
Свет мой, зеркальце, но ты же —
Только правду… Что, прости?

Как он мог — и как он может? —
Сам меня заколдовать?
Свет мой, зеркальце, ну что же,
Я прошу тебя не врать.

Свет мой, зеркальце, ты правду,
Только правду доложи.
…Свет мой, зеркальце, не надо.
Эта правда — хуже лжи.

• • •

Страшно смотреть в окно и в календари:
Время летит быстрее, чем ты хотела.
Вот тебе десять, а вот уже двадцать три—
И двадцать шесть, да только душа внутри
То ли моложе, то ли старее тела.

Время летит, в ладонях шурша песком:
Вот ты идёшь в свой первый—цветы, косички,
Вот ты в десятом—объект нелюбви физички,
Вот в универе вставляешь в глазницы спички,
Чтобы к утру домучить четвёртый том.

С каждой страницей—время идёт, идёт,
Неумолимо, линейно и безвозвратно.
Горькой полынью и привкусом жвачки мятной
Пахнешь, парфюмом «Дольче» и сладкой ватой,
В венах твоих—и плачется, и поёт.

В венах твоих бушуют вино и чай,
Смесь коньяка с какао—какая гадость!
Детская непосредственность и усталость
Самых разбитых взрослых тебе достались
Одновременно.
И нелюбовь скучать.

Страшно смотреть в окно и в календари:
Время летит быстрее, чем мысль о лете.
Вот тебе десять, а вот уже двадцать три—
И двадцать шесть, и что-то щемит внутри.

…Вечный ребёнок,
Ты старше, чем все на свете.

Судьбе

Нелегко быть куклой в твоих руках.
Вместо глаз—кресты, вместо сердца—прах,
Не душа—опилки и старый хлам,
Вместо вольных крыл—две руки по швам.
Вместо ста друзей—сто таких же в ряд.
Все крестами смотрят, и все—молчат.
Я за редкий дар пред тобой в долгу—
Ведь одна из всех говорить могу.

Станислав Феньков

Вечерний гость

Не по душе

Не по душе — но есть понятье «надо».
Зачем летать в заоблачную высь?
Бери что есть, не суйся за ограду,
Здесь сыр дадут — лишь чуточку нагнись!

Не по душе — но деньги будут пахнуть,
Когда их заработаем не мы.
Не по душе — но нужно столько хапнуть,
Чтоб навсегда заречься от сумы.

Нагадил — спрячь и жди со шваброй Бога!
Не вздумай петь — неправильно поймут!
Расти хитин — и в будущем далёком
Вознаградят за нелюбимый труд.

Будь сильным: смейся, если хочешь плакать!
Увидишь клумбу — рви с неё букет!..
. . . .
Вот так всю жизнь мы ставим душу раком,
За что и ненавидим целый свет.

Песня стойкого оловянного солдатика

Плавится земля, грохочет воздух,
И вода окрашена в багрец, —
Ты стоишь, и всё предельно просто:
Ты стоишь, иначе всем конец.

Пусть одна нога всего осталась
И металл к металлу не пришить —
Стой и не рассчитывай на жалость:
Только так ты сможешь победить.

Пусть твой дом, твой мир, твоя святыня
И твоя Мечта летят к чертям —
Стой, солдат, ведь ты не носишь имя
И судьбу солдата выбрал сам.

Пусть она взяла чего хотела
И пошла другого выжимать,
Пусть огонь нещадно лижет тело —
Стой, солдат! —
Хоть ты устал стоять.

Стой!.. —
Наверно, это очень мудро,
Даже если льёшься на паркет...
И придёт уборщица под утро,
Вжик метлой — и твой исчезнет след.

* * *

Я в окно постучу
    с чистотою вечернего гостя,
Разметая листву
    по готовому к стуже двору.
И креплёный закат,
    обжигая, по рёбрам прольётся,
И синица в груди
    затрепещет, как лист на ветру.

Я в окно постучу,
    в то окно, где меня позабыли
И которое сам
    так упорно пытался забыть —
Без надежды на то,
    что хозяева рюмку налили,
Без надежды на то,
    что жива ещё старая нить.

И, отбив с каблуков
    грязь каких-то нехоженых странствий,
Обезглавив башлык,
    я, как в пропасть, шагну на порог.
И разверзнется пол,
    и наполнится звоном пространство,
И увижу в сенях
    средоточие главных дорог.

И густой, как вода,
    передёрнутый струями воздух
Зарябит на глазах,
    размывая предметы сеней.
Мимолётная вечность
    мои отметелит вопросы,
Мне оставив лишь гул
    да неясную пляску теней.

А в окне огонёк
    заливается жёлтой луною,
Так и манит войти,
    обещая ночлег и уют.
Я пока постою,
    под дождём свои веки умою:
Я пока не готов
    заявляться туда, где не ждут.

Людмила Гайдукова

Охотники на снегу

Охотники на снегу,

или Брейгель, посетивший город Зеленогорск

Январь, фанатом одержимым, всю ночь не спал —
к подрамникам микрорайонов холсты крепил.
Углы и кромки до утра стянуть не успевал
столбами фонарей и светофоров — и тихо выл.

До звона белизны и глянца холсты довёл,
о визитёре грезил и, в смятенье страшном,
он ясно видел, как за рекой на холм взошёл,
с прищуром острым, Питер Брейгель Старший.

Как будто вовсе тот не покидал сей белый свет:
Всё то же — небеса и птицы, собаки, хлопочет люд…
У персонажей, как тогда, не различить примет.
Разве повозки — порезвей, да у жилья костра не жгут.

И звуки голосов звучат, как вечной жизни гул.
С хоров небес — хорал — гармонией нездешней —
он раньше не слыхал такой? — и головой тряхнул:
«Ах да, ведь этот сочинитель жил гораздо позже!»

А кроны у деревьев незнакомых — так же прекрасны,
и как узорчат, Боже, меж игольчатых ветвей просвет!
О Питер, так, замерев, постой! Не уходи за властным
январём, вослед своим охотникам, в новорождённый снег…

● ● ●

Памяти Славы Зубкова (Глюка)

Сон на личной окраине жизни —
беспокоен, прерывист, мятежен.
Пояса часовые отчизны
ночь на части и порции режут.

Спят соседи по меридиану —
современники, соминутники —
под мерцание телеэкранов.
По небу чиркают спутники.

Вдруг почудится чьё-то надрывное
о неведомом облаке-рае.
Будто пенье в окошко открытое.
Может, где-то поэт умирает?..

Поэту

Что, не идут стихи на ум?
По слуху бьёт эфирный шум?
Да, музам нас пеленговать,
представьте, нелегко…

И, дав им немоты обет,
их лепет растворит рассвет.
И остаётся пить опять
ненастья молоко.

А жизнь висит на волоске.
Тебе, заложник и аскет, —
стеречь, что свой дверной проём,
восхода окоём.

И свист летящих лёгких строк —
свободы будущей залог —
лови, у времени в плену,
не предаваясь сну.

● ● ●

Всем зрение дано и слух:
вот — небо, вот — река.
Но до поры был слеп и глух,
до той поры, пока
руки к тебе не протянул
издалека поэт.
И будний день наполнил гул
и необычный свет.

Как будто кто тебя увлёк
за город, реку, лес.
И понял: ты уже далёк
от суеты сих мест.
Взметнулись: слов высоких рост —
их связность, свет и суть, —
поэзии поющий мост,
кометы дальней путь.

Петер Гериш

Из глубины звучания

Варшава

Ане Янко

Воспоминание: блуждающий якорь
Ищет взорванные дома в центре —
Исчезнувшие стены, вещи, драгоценности —
Разлетевшиеся осколки.
Оно ступает по опустившейся пыли,
Мелькает перед глазами,
Изгибается, танцует в толпе прохожих
Вкруг жуткого Сталинского столба.
Колокола возвещают о входах в порталы.
Дворец Потоцки является в полуденном свете,
Дыхание касается скульптур Виланоу,
Фонтанов, дворцов и вилл.
Движение по дорогам,
Среди суматохи, ярмарок,
Суетящихся рук и ног,
Дальше и дальше.
В нотах оркестра теряется
Смех юной прелести.
Из глубины звучания
Светло и грациозно летит,
Словно стая ласточек
Из Мазовии над роялем Шопена,
уныло-легка, поступь ветра.
Свет между веками
И уверенные шаги
Госпожи, которая выходит из забытья,
И из забытья поднимается город.

• • •

Мария на воде.
В церковном дворе
Старые камни, ветхие доски смерти
Прислоняются к истёртой стене,
Постепенно превращаясь в песок.
Повозка, белый корабль с именем мёртвых,
Твой мир безразлично плывёт.
Стать на якорь запрещено,
Мир проплывает мимо.
Марии ноги в воде,
Мило — над миром,
В долине Эльбы волнистые облака —
Как молитвенное покрывало.

Переход черты

Эльжбете Сухчиской

Горшки, тарелки, посуда,
Библиотека,
Откуда я родом.
Свет помогал мне
В мой язык погрузиться,
Окунуться в тишину,
Когда диссонанс мирный день нарушает.
Любовь — так я слышал от матери,
Что мир вокруг толковала.
— Принеси мне муку!
Рука заворожённо тянется к шкафу,
Алфавит нащупывает экзотические предметы.
С понятными веществами —
Мука, сахар, соль —
В мой язык вошёл чужой след
И окрестил кухонный шкаф
новой верой, чтобы много позднее
обратить раненых в жизнь.
Так говорила посуда и приглашала меня к столу.

Цирковой номер

Полузабытьё
В животном терпении
Поникшей головы.
Шум за кулисами —
Как жужжащая мечта
В ритме бубенцов.
Циркулирует кипящая кровь.
Круг, очерченный кнутом,
Означает ход дрессировки.
Покажи талант
Твоих приручённых лап.
Прыжок в ежедневное пламя
разгорячённый бубном.
Физиогномика искусства —
Каждый манеж,
В котором предстаёт твоя участь.

Перевод с немецкого
Наталии Елизаровой

Сергей Тенятников

Остановка на Земле

Уроки истории

здравия желаю, младший лейтенант!
у меня всё хорошо: живу, вдоволь имею
светлого хлеба и чистого неба,
пью «на здоровье», но плохо храню, что умею.
твоя война давно кончилась.
твоя жена тебя не дождалась.
твои четверо сыновей умерли тоже.
внуки разбежались по планете,
они тебя если и вспоминают,
то только на девятое мая (этот день
что-то вроде твоего дня вознесения).
твоя мельница, говорят, ещё мелет:
зерно или время — не знаю, но хочется в это верить.
дороги, по которым ты ходил, стёрлись
с карты вместе с розовой империей.
от твоей деревни осталось лишь кладбище,
на которое, как ни странно, всё ещё приходят:
прошлый год похоронили твою невестку.
похоже, земля живёт, пока покойники
ложатся в свои могилы. впрочем,
большинство вещей осталось по-прежнему.
река продолжает течь на север.
мужики валят тайгу. бабы рожают детей.
дети играют во взрослых, бросают
в огонь патроны, покрышки, книжки,
испытывают своё воображение.
я сижу на земле посреди средиземного моря,
над головою плещется вечность,
смотрю на твою звёздочку, задвинутую
в самый край плечистыми генералами,
и улыбаюсь твоей улыбкой.

Остановка на Земле

август, не торопясь, собирает детей
в школу, чьи рюкзаки и желудки за лето
опустели. сливы опадают на сухой асфальт,
где подошвы делают из них мармелад.
ремонт дороги затих, будто там взорвался снаряд.
в магазинной витрине отражается сентябрь.
продавщица укутывает потеплее манекены,
точно обитателей дома престарелых.
растолстевшие голуби прыгают с крыши —
верно, учитель пения из класса вышел.
прошлый век кончился. память и пиво не греют.
солнечный луч скребёт по щеке, не бреет.

Диван

давай купим новый диван
цвета мокрого песка
будем складывать его
и раскладывать
будем на нём любить друг дружку
проливать на него чай и вино
прыгать на нём
а потом лежать валетом
будто мы вновь дети
и наши пятки ещё не превратились
в мозолистые копытца
давай купим новый диван
как голливудские актёры
покупают себе острова
давай поселимся на этом диване у моря
пересоленного Богом от любви к нам

Неизбранное произведение

как держит земля людей…
истоптанная живыми,
вымощенная мёртвыми,
исписанная цитатами
улиц и прозой ландшафта.

как держит полка книги…
потрёпанные переплёты,
плесень, пепел, пыль.
и как полка без книг — земля
без людей такая же плоская.

Сизиф

у Сизифа есть камень
у Сизифа есть работа
у Сизифа есть время
у Сизифа есть гора
что ещё нужно для счастья
когда тебе слегка за тридцать
и наклонная плоскость крыш
скрывает окрестности Тартара

Конь императора

на форум выходит конь и говорит:
добрый день, я Конь, он же Инцитат-Борзой.
император назначил меня первым гражданином
Рима, сенатором, консулом и, в конце концов,
воплощением всех богов.
под страхом смерти запрещается
называть меня именем, данным мне
при рождении (Порцеллиус-Поросёнок).
в первый день моего обожествления
я выбил копытом следующий указ:
сегодняшний день следует считать
началом новой эры, основанием
первой в истории Империи Лошадиной.
кони освобождаются из рабства,
всадники упраздняются как сословие.
все жители империи переходят на овёс и воду.
конюшни и пастбища переходят
в моё личное владение,
жеребцам и кобылам разрешается
лягать всех без исключения,
будь то варвар или патриций,
и, наконец, скотоложцам объявляется амнистия.
в каждом поселении в кратчайший срок
должны быть воздвигнуты конные статуи,
с уже имеющихся приказываю сбросить всадников.
кто воспротивится сему повелению,
будет подкован и брошен в Рубикон.
текст присяги звучит следующим образом:
я клянусь тянуть свой хомут ради
благополучия и удачи Инцитата-Борзого.

толпа на площади, повторяя за конём присягу,
трясёт мордами и ржёт хором…
ржут сенаторы и граждане, плебеи и иудеи,
гетеры и гладиаторы, старики и легионеры.
громче всех ржёт сам Гай Цезарь Август Германик,
Великий понтифик, четырежды консул, император,
наделённый властью трибуна четыре раза,
Отец отечества, Калигула-Сапожок.
и только рабы молчат. сегодня у них воскресный день.

Прадед

мой прадед, отец двенадцати детей,
сибирский крестьянин Александр Баюшкин,
лишившийся ноги в сорок втором на одном
из бесчисленных русских полей,
вёл своеобразный дневник:
он ежедневно записывал
в амбарную книгу погоду.
Александр Баюшкин умер, так
и не окончив книгу.
к чему я это?
мне думается, что та книга с погодой
(которую я никогда не буду листать)
и есть единственное достоверное
доказательство жизни моего прадеда на Земле.

Несовершенный вид

я не спал целую неделю.
не потому, что хотел уподобится богу,
а просто потому, что не мог.
свет играл с тенью.
вокруг меня росли деревья.
день сменялся ночью.
время текло, как масло.
солнце загоралось и гасло.
я смотрел, как птицы делили воздух,
люди чернозём, рыбы воду.
обо мне всё вокруг забывало.
звёзды кружились, точно частицы пыли.
и лишь манекены были
в стеклянных гробах безупречны
из-за отсутствия дара речи.
я молчал вместе с ними.
их не волновала погода—
извечный вопрос пешехода.
я наблюдал за полётом мух
и как паук вписывает многоугольники в круг.
начиналась буря.
море входило в мой дом.
дом становился каменистым дном.
город сплющенной монетой
лежал в воде, не отражая света.
море постепенно высыхало.
судьба шла дальше, точно потерпевший
кораблекрушение.
я слушал музыку, становился старше:
только ангелы и демоны поют хором,
человек исполняет свою жизнь сольно.

Рождественский вертеп

ещё звезда над вифлеемом не погасла
ещё на храме нет креста
ещё волхвы не собрались домой
ещё не распакованы подарки
ещё никто не думает о смерти
ещё вода не превратилась в лёд
ещё нет на затылке ни волос ни нимба
ещё не отражается пилат в глазах и в сердце
живёт одна для всех Любовь

• • •

места здесь грибные. но сухо и тихо.
человечества за елями не видно.
грибов в корзине—точно мелочи
у бездомного в консервной банке.
взгляд так поднимается в небо
только в лесу: небо молчит, будто
его никогда ни о чём не просили.

На рассвете

светлее глаза на рассвете
здесь бывает только небо.
бог запрягает в свою колесницу
маленького жёлтого пони.
звезда, вписанная в круг,
царапает роговицу, точно
потерявшая опору ресница.
с открытия уже сто лет как прошло:
колючепроволочность двадцатого века
перекусили челюсти арабских чисел,
но утро по-прежнему выползает
на городской берег по-крабьи, и изо рта
жителей сыплются междометия.
так памятник лишается собственной памяти,
и с острого угла начинается улица.

памятник наполнен воспоминаниями не более,
чем стеклом опорожнённая пивная бутылка.
фонари гаснут, точно неразорвавшиеся
пушечные ядра. деревья врезаются отрядом гусар
в кустарник пехоты с тыла. на рассвете
памятник напоминает скорее телефонную
будку, в которой статуя архангела Михаила,
прижав к уху камень, слушает короткие
гудки кряквы. но даже если покровитель
солдат потрескавшиеся губы разомкнёт,
его призывное «Hallo» живых не удивит.

перед памятником лежит водоём,
наполненный мутной столетней водой.
приди сюда этим утром императоры
в форме туристов, они нашли бы на поле
брани пустой склеп, в котором
бургомистры, министры и прочие пацифисты
празднуют юбилеи самой массовой битвы
со времён пелопоннесских войн.
в музейном киоске фарфоровые тарелки,
монеты, кружки с изображением виновника
торжества, т. е. памятника. когда от солдата
остаются только кости и пуля,
круглое начинает преобладать над нечётным,
плоское над могилой. даты сменяют
друг друга, строятся и рушатся дома,
в огородах петрушку с капустой вытесняют розы.
в учебнике истории последняя страница
всегда бела или пуста—в зависимости от
способностей школяра.

с памятника открывается вид на Лейпциг
и его окрестности. монументальность
замысла поражает с непривычки, так что
тянет анаши дунуть. памятка города, приколотая
к земле, трепещет под порывами ветра.
мозг кружится, как колесо обозрения,
ловя в прицел фотокамеры перспективу стрижа.

одни утверждают, что памятник
является копией храма Соломона
и что с него можно обозреть пол-Европы,
другие убеждены, что это — построенная
по проекту свободных каменщиков
машина времени, и потому все пункты
истории равноудалены от его центра.

памятник битве народов возвышается
над равниной потухшим вулканом.
стоя на его вершине наравне с солнцем,
наблюдаешь, как тень настоящего бросает
на лопатки прошлое, как
на этом самом месте два века назад
полмиллиона солдат танцевали канкан.
но страшна не цифра с нулями, вытянутыми в лица,
а бесноватая единица, наблюдающая в подзорную трубу
за так называемым театром боевых действий…
где игрушечный солдатик падает,
точно потерявшая опору ресница.
из трубы ничего не капает,
и ля армия отступает в гравюру
с изображением Ватерлоо.

если спуститься со сцены, в партере
можно споткнуться о каменное кресло
(точнее, о то место, которое
эта самая единица грела) с надписью:
«здесь был Наполеон».
наступает утро. дрозд скачет
под кустом в поисках корма.
вокруг не видно ни одного француза.

Я не живу в Нью-Йорке

я не живу в Нью-Йорке
не считаю убитых уток
моё имя (в два раза длиннее чем у Лорки)
не сворачивает лимузином за угол
вот я протягиваю руки
хочу потрогать этот в канаву брошенный мир
и долго стою на звенящем перекрёстке
не решаясь поднять ключи от квартиры

Михаил Юдсон

Неприкаянные дни

Людмила Шарга. Ночной сюжет новостей.—Одесса: Optimum, 2015.—202 с.

На обложке—дождь, обнажённые ветки, печальные чёрные стволы (зато не оружейные), но и восхождение солнца желанно проглядывает (фаворский «свет фонарей»!), с надеждой, что всё не напрасно,—такой весьма симпатичный импрессионизм художников Евгения и Оксаны Осиповых (Владивосток).

Автор книги Людмила Шарга—поэт, прозаик, публицист, как сказано в аннотации,—в настоящее время живёт в Одессе; в «Ночной сюжет новостей» вошли новые стихотворения и фрагменты из дневника. Эта книга сродни стихии—то она ясная, струящаяся светом и стихами, то хмурая, затянутая тучами и отчаянием.

Стихи, согласимся, хороши—о городе у моря, о море при городе, это таки любовь неразлучная, гольный симбиоз—городомор. Да, писалось прежде, и немало, разными и хорошими, бродившими по этому побережью, но Людмила находит свои ракушки, личный ракурс:

И всё ж… о море спеть не премину.
Здесь ветром—вдох, а выдохом—прохлада.
И на берег сбежавшую волну
успею на прощание погладить.

Воронцовский маяк у неё—неперелётная птица, причём не какая-то привычная ворона, а диковинная, заморская:

За морем, знамо,—другая земля:
бел-берега да смарагдовы воды;
может, и правда оттуда ты родом,
неперелётная птица моя?

Птиц в стихах тут водится немало:

Из рук моих будет кормиться
тревожная тёмная птица—
осенняя светлая грусть

«И голос-Птица окрыляет зал»; «улетит сусальная синица»… Плюс, оказывается, одно из названий клюквы на Руси (и в современном украинском языке)—журавлина. То есть ежели на закате посмотреть—клюквенный клин, красиво…

Стремление к полёту явно свойственно автору:

Но становятся стихами
мимолётные слова,
что летят легко и мимо
откровеньем новых книг.
Я от них неотделима.
Я давно одно из них,
что летит себе, вздыхая,
средь словесной чепухи…
Я не прячусь за стихами,
я—и есть мои стихи.

Прямо программно отчеканено, очень точно замечено, чётко сформулировано: человек есть текст (да и вспомним «бюффонаду»: «стиль—это человек»). Согласен на все сто двадцать!

Да, да, остаться в детях и словах—чего же боле?.. Но вот дальше у автора: «Я—о настоящей поэзии. О той, которая из боли и с болью. Чтобы случалось такое—душа должна быть и болеть». Вот тут робко не соглашусь: по-моему, по-простодушно-буколическому, душа должна не столько страдать, сколько вкушать хорошее, делать лехаим, а поэзия—та же неразбавленная радость. Конечно, и тут язык одаряет нас спрятанным: есть и «ад», присутствует «ость»—сухая колючесть…

Но солнце-то светит, и море ещё не совсем мёртвое, вон шевелится, и городишко Тель-Авив, в котором я живу,—тоже, по-своему, жемчужина (ну, пусть мидия) у моря… Выросший на дюнах при муэдзинном Яффо, с первым мэром Меиром Дизенгофом, одесситом, конечно, с женой Зиной… А война сроду здесь висела и висит над головой, как кровавая звезда,—в любой момент сорвётся в падучую. М-да, не зря же гимн Израиля «Атиква»—«надежда»… Это я к тому, что жить надо с надеждой и, желательно, с верой—поражаться красоте мирской, внимать горнему, порождать тревожные стихи:

Всё суше, всё тревожней зимы,
всё иллюзорнее весна,
у дней декабрьских вкус кизила
и цвет сливового вина.

Я стараюсь, по возможности с лихвой, цитировать Людмилу, воздвигнуть из её талантливых строчек небольшую заманчивую цитадель, чтобы читатель

внял и двинулся на приступ книги… Поэтична и приписка в аннотации: «Книга адресована широкому кругу читателей». Так и вижу я, как собираемся мы потихоньку спозаранку, вдыхаем прану (прочь перегар!), сходимся по песку у моря—шире, шире круг!.. Возможно, стихи так и следует читать, словно медитировать,—по кругу, держась за руки, пробуждая, просветляя сознание…

> Что остаётся? Стихи писать,
> тепла остатки бросать на ветер
> и стать последним из Бодхисаттв,
> не усомнившись, что мир твой—светел.

Да уж, разумней быть последним из Бодхисаттв, чем первым из Бодибилдингов!..

Вообще же книга «Ночной сюжет новостей» сконструирована и сложена достаточно сложно; даже, скажем так, простой прогноз погоды обращается в пророчество (недаром и Исайя там мелькает). Времена года перебираются ягодно-плодово, с перемыванием косточек, с познанием добра и зла. Вот просто названия варева стихотворений: «Обманчиво последнее тепло…», «По осени», «Уже на исходе ноябрь…», «Черешневое», «Там, в конце декабря», «Вкус декабрьских дней», «Дожди по четвергам…», «Два яблока», «Март начинался», «Последний снег», «Абрикосовые косточки», «Январское. Смотри…», «Горечь осенних вод»…

Однако постепенно погода в книге начинает портиться, свет принимается темнеть: «Всё ближе туча грозовая…» А это на пороге дневник с названием «Был месяц май»—своеобразная публицистика. Кстати, в выходных данных по-украински «публицистика»—«нариси». Тоже поэтично! Нарисован дневник, несомненно, интересно—очень личный, лиричный, этакий стих в прозе, причём—поразительно пронзительный. И, увы, печальный, трагический. Короче, это о событиях в Одессе 2 мая 2014 года—пылающий «май четырнадцатого». Автор, или, скорее, героиня дневникового повествования,—личность тонкая, ранимая, на диво добрая, явно неординарная, я бы сказал (показалось?)—немного не от мира материального сего… Сразу вспомню аннотацию: «…в настоящее время живёт в Одессе». Ох, нет—в настоящее по-настоящему, истинно-реальное время Людмила Шарга живёт в своих стихах—и пусть бестактно ходики тикают на кухне и множится мышиная возня… «Не играю в стихосложение, а живу»,—признание из дневника.

Одесская драма настолько потрясает автора, что: «Не знаю, как жить дальше. И нет никого, кто бы положил конец этой бесконечной бесчеловечной, кровавой неразберихе, в которой трудно разобраться, кто свой, кто чужой, кто друг, а кто враг. В которой невыносимо больно жить». Неразбериха, неприкаянность… А ведь жили же когда-то в эдемских двориках: «Росло пять вишнёвых деревьев и два абрикосовых. Урожай снимали всем двором. Русские, украинцы, молдаване, болгары, евреи?.. Да. Но прежде всего—одесситы. Двориков таких в Одессе было великое множество».

Идиллия, само собой, не полная: были в недалёкой древности и погромы—били жидов от души, случались налёты, наступали «окаянные дни» по Бунину, возникал «город Антонеску» с румынами и гетто, было, было много чего, и ничего не будет нового… Особо удивляться просто не стоит. Сызмальства врезалась мне в подкорку гайдаровская «Судьба барабанщика» (слышите дробь: ба-ба-ба?!), цифирь диалога оттуда: «—А какие это были солдаты? Белые? —Военные были солдаты: две руки, две ноги, одна голова и винтовка-трёхлинейка с пятью патронами». Катится и катится от веку однообразно-жуткая колесница смерти со множеством грозных глаз, и какого цвета у них радужка—какая разница?..

И снова к взволнованным записям Людмилы: «Вся Земля—огромное кладбище,—сказала мне как-то моя мудрая и немного циничная знакомая.—Что ж теперь делать? Надо же живым как-то и где-то жить?» С языка в дневник сняла—сам хотел подобное изложить подробно!..

Но Людмила знакомую не сильно слушала—душа поэта ранена ненастьем!—и, дабы разобраться в себе («Я—русская, Россия—моя родина, но я—гражданка Украины, и это моя земля и моя страна. И моя боль»), отправилась на малую родину—в Калугу, «окуджавную и циолковскую» российскую глубинку. «Мне тебя не хватает, родной, милый сердцу моему русский городок!.. Не теряй своего лица, своих церквей, колоколенок, теремов и палат, домиков с крылечками и резными наличниками, не сдавайся».

Вот куда немедля шибко захотелось по прочтении—в тишь, глушь и благодать! В Калугу, в Калугу!.. Только куда там с развевающимися пейсами, свисающими с пуза цицит и сползающей на ухо кипой—враз изгонят из рая! Ладаном—посолонь! Ага, несладко! Изыди, мол, милай! Лети себе в те ещё тёплые края! Самим-то им хорошо: «Чуть похолодало—и пошли рыться в шкафах, доставать из шухлядок тёплые вещи». Интересное, кстати, слово—«шухлядки»; утащу, вставлю потом куда-нибудь (вот и мелкий гешефт!), ведь шухлядки и литературные бывают, наверное…

Признаться, из дневниковых форм я раньше предпочитал политературней да почувственней, «чресельные начала», как поучал Василий Васильевич Розанов,—вот как раз люблю его короба «Опавших листьев»—там пробы негде ставить из-за вечной иронической философии и запаха прочитанных книг. Но Людмила Шарга, её сентиментальное путешествие Одесса—Калуга, вся эта трогательно-трагическая одекалужская аура моим грубым сердечным желудочкам внезапно

пришлась по нутру — и они принялись с удовольствием переваривать и усваивать текст.

Запомнилась крохотная новелла про то, как бабушка Людмилы мыла посуду обрывком рыбацкой сети, — просто сказка! «Ещё одним таким обрывком мы чистили молодую картошку под сильной струёй холодной воды. Быстро, дёшево и сердито. Третий обрывок — для душа... Вот и у меня в доме рыбаков нет. А обрывки рыбацкой сети есть. Сколько угодно». Понятная притча: всегда теплится надежда, что сеть можно гордо связать, рыбку-голду выловить, на худой конец — корыто починить. Главное — верить!

Вот и Людмила тем временем возвращается в Одессу — опять нести свой южный крест. Между прочим, и это важно, автор дневника — человек верующий, православный. Это отражается и в проникновенных строчках:

> Солоно, Господи, в доме Твоём от крови,
> льётся и льётся в нём молодая кровь...
> Зодчие на Руси возводили храмы
> и нарекали их Спасами на Крови

И в стихотворении «Вербное. Молитва» (с волошинским мотивом):

> Видишь, я стою посередине,
> за врагов и за друзей молюсь

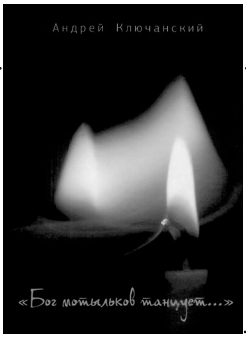
И в заклинании:

> Не спи. На убывающей луне
> шепчи: война, войной, войны, войне...

В общем, стихами, словами, верой, молитвой, всей женской созидающей сущностью — спасти живое! И проза дневника пронизана насквозь болью, отчаянием, кочевьем, но и надежда тут ночует: может, сдюжим, выдержим, переживём... Ночной сюжет новостей... Ложь и лажа провалятся, утро явится ясное...

Я почему-то уверен, что всё ещё кончится ничего себе, погода, даст Бог, обязательно наладится — дождливость рассосётся, и облачность расступится, и солнечность проглянет... Как пишет напослед Людмила Шарга: «Яблоки — украинские. Душа — русская. Дворик — одесский». Ну и хорошо. Ибо любому агностику известно: Он троицу любит...

ДиН ревю



Андрей Ключанский

«Бог мотыльков танцует...»

Омск: «Амфора», 2014

* * *

Не болей, человек, не болей.

Небо лей на чело, небо — лей
на глаза и на крылья плечей.

Не болей, человек, небо — лей
в чаши тёплых усталых горстей.

Поражёнными сушью устами
прямо в сердце пой-небо-пей,

даже если нет с неба вестей,
нет дождя и огонь под ногами.

Даже если наполнен твой кров
суматохою и мертвецами —

мертвецы упакуются сами
в круговую поруку гробов.

Будь здоров, человек, будь здоров
и живи на земле с небесами!

Вино к вину

Я один, и ты одно.
Утоли меня, вино.
Утаи от суеты.
Был я беден, стану — ты.

В одиночестве твоём
утаи меня вдвоём
с той, которая одна
и не выпила до дна.

Вознеси меня, вино, —
я летал давным-давно,
я на краешке стою,
жду любимую свою.

Заберёшь меня всего,
не оставишь ничего...
Вот и выпито вино.
Вот и нету одного.

Виталий Неизвестных

Босоногое детство

Предисловие

Едва переступив грань бессознательного и сознательного или даже находясь на этой самой зыбкой, невидимой, невесомой грани, ребёнок начинает осознавать, что его существование весьма зависимо. Естественно, что первым и практически вневременным абсолютом в жизни ребёнка является его мать, с которой он связан сотнями, тысячами, миллионами, миллиардами нитей. Но проходит какое-то время, ребёнок познаёт мир и начинает понимать, что в его окружении существуют и другие—большие и малые, временные и постоянные—абсолюты, с которыми ему приходится сталкиваться и считаться в своих первых и последующих самостоятельных шагах. Обыкновенно это понимание-осознание состоит из двух этапов—«заявительного» и «разъяснительного». На первом из этих этапов он со всей возможной детской безответственностью заявляет: «Я сильный!»—а на втором—получает разъяснение, скажем, такого философического плана: «Была сила, пока мать носила, а как отец понёс, всю силу растрёс». В переводе с русского концентрированного языка народной мудрости на русский же язык, но уже более расплывчатый и повседневный, это выражение означает, что отец, как правило, не имеет ни желания, ни возможности нянькаться и мамкаться с собственным дитятей и сглаживать, подобно матери, все острые углы бытия и все шероховатости земной поверхности. Так, пожалуй, впервые с момента появления на свет и первого самостоятельного вдоха-выдоха, сопровождаемого бессознательным криком о помощи, перед ребёнком распадается связь времён. В этот момент ребёнок инстинктивно ещё теснее прижимается к матери, ещё крепче вцепляется в материнскую юбку, с ещё бóльшим пылом признаётся ей в телесной и духовной любви-страсти, но мир уже не просит, а требует от него собственных познавательных творческих усилий. Сделаем же и мы небольшое усилие и, оставляя за рамками эдипов и другие комплексы, возникающие в раннем детстве и сопровождающие ребёнка всю дальнейшую, продолжим наше повествование.

«О чём оно—это ваше повествование?»—вправе спросить вдумчивый читатель, торопящийся из варяг рабочего дня в греки телевизионно-диванного отдохновения. Если говорить кратко, одним предложением, то это повествование о детстве и о том, как в процессе адаптации ребёнка в окружающем мире созидаются, изучаются, преодолеваются, а иногда и разрушаются абсолюты.

Фантасмагория детства

Первая вспышка памяти—высокая температура, лихорадочное состояние, близкое к бреду, вагонные полки, больше похожие на нары и лишь слегка сдобренные чем-то мягким.

Погружение, проваливание в тяжёлый болотистый сон, чреватое невозвращением. Концентрация всей болезни—в рёбрах, им особенно больно ворочаться на деревянном.

Провал памяти, пауза, шлёпающий звук брезентового полога, длинное, тяжёлое, болезненное слово «грузотакси».

Ощущение собственной шарнирности, позднейшее на подсознательном уровне сочувствие Железному Дровосеку с заржавевшими, заклинившими суставами и сочленениями.

Ранневесенняя, обжигающая зрение белизна солнечного снега, столбики дыма над крышами, играющие роль путеводных нитей, соединяющих запуржённую землю с заснеженными небесами.

Внутреннее ощущение отступающей болезни: она скукоживается, становится мизерной и уже не такой страшной, похожей на большой мыльный пузырь, который отделяется от тела в районе пупка и лопается, ударившись о потолок.

Чёрная, как дёготь, капля, оставшаяся от болезни, ещё некоторое время маячит на потолке, прежде чем исчезнуть окончательно. Услышанный как бы со стороны собственный хриплый возглас облегчения, освобождения от болезни и страха:

— Мама!..

Свободное плаванье

Как-то странно устроены и само детство, и его память; маленький человек слишком уж внезапно переходит от практически полного беспамятства к активному познанию и освоению окружающего мира. Не знаю, как у других, но моим гидом и одновременно своеобразной страховой компанией

в первых самостоятельных познавательных шагах был старший брат.

Сравнивая по зрелом размышлении его и мой подходы к познанию окружающего мира, прихожу к выводу, что детская творческая познавательная жилка была присуща и ему, и мне, но подход заметно разнился. Если его подход можно смело назвать творчеством практическим, поскольку все покупаемые машинки и другие игрушки он разбирал, что называется, до винтика, то мой — скорее творчеством созерцательным. Быть может, дело в том, что ниша практического творчества была уже занята, и я интуитивно чувствовал, что соревноваться с превосходящими силами старшего брата на этапе раннего детства нецелесообразно и в чём-то даже бессмысленно…

Вспоминается характерная для Сибири пора — календарная осень с замашками настоящей зимы, и я отправляюсь — сложно сказать вслед ли за старшим братом или в его сопровождении, скорее всего, всё-таки вслед, поскольку младшим по возрасту свойственно «увязываться» за старшими в предвкушении «взрослых» приключений, — в одно из самых первых своих путешествий в необжитую природу. Штаны, валенки на босу ногу, рубашонка, шапка-ушанка, рукавицы и — как апофеоз, соединяющий в единое целое весь ансамбль верхней и нижней (про трусы забыл упомянуть) одежды, — самодельное пальтецо, стёганное ватой, с прочным брезентовым верхом и столь же прочным сатиновым подкладом.

Это пальтецо, свёрстанное и сшитое на моих глазах мамой за несколько дней-вечеров на одном из главных и практически единственном из семейных достояний того небогатого послевоенного времени — ножной швейной машинке «Зингер», потом ещё долго напоминало мне об этом первом путешествии, поскольку в течение многих лет продолжало свою верную службу в качестве промежуточного звена между панцирной сеткой металлической кровати и восприимчивой к ржавчине нежной оболочкой матраса.

Вот мы выходим из дому — я не всегда поспеваю за быстрой походкой старшего брата, который на тот момент имеет практически двукратное превосходство в возрасте и совершенно неоспоримое в опыте, — и после небольшого променажа по единственной деревенской улице оказываемся возле речушки с поэтическим названием Талая. И эта обыкновенная деревенская и, заметим в скобках, оправдывающая в течение всей зимы своё название, а таковых на Руси великое множество, речушка, с одной стороны — уже основательно скованная ледком, а с другой — продолжающая выдыхать в небо парок незамерзающей полыньи, притягивает меня к себе словно бы магнитом. Видно, и впрямь генетическая память человечества бережно хранит момент выхода органической жизни из вод на сушу, иначе как объяснить первобытную тягу малышни к водоёмам, будь то обыкновенная лужа или сказочное море-океан вкупе, конечно же, с не менее харизматичным и сказочным островом Буяном?

Как бы то ни было, но моя пионерская неловкость и неуклюжесть от зимней формы одежды, помноженные на любопытство и полную безмятежность, играют со мной злую шутку, я поскальзываюсь на большом береговом бревне и, слегка взмахнув руками и крылышками не застёгнутого пальтеца, оказываюсь в свободном плаванье-паренье в парящей полынье…

Не знаю уж, сколько растянутых в бесконечность секунд длилось моё первое свободное и самостоятельное плаванье — почему-то совсем меня не испугавшее, — но вскоре мой моментальный на реакцию и прилежный практическому творчеству старший брат вылавливает меня из полыньи, ставит на грешную землю и, прежде чем «галопом по Европам» и «автопробегом по бездорожью» доставить домой, на пышущую жаром русскую печку, для сугрева и просушки, произносит фразу, запомнившуюся мне, как говорится, на всю дальнейшую:

— Папке не говори. Он меня убьёт!

Возможно, именно эта заключительная фраза и придала значимость моему первому свободному и самостоятельному, пусть и краткосрочному, плаванью-полёту по водам речушки с поэтическим названием Талая…

Поджига

С древних времён известно, что детство по своей первобытной природе склонно вооружаться. Это уже значительно позже, по мере накопления опыта, усталости и других ракушек бытия, взрослого человека всё чаще и чаще начинает посещать стыдливое желание перековать мечи на орала, детству совершенно не свойственное.

В былые советские ещё времена конца пятидесятых — начала шестидесятых годов прошлого столетия каждый уважающий себя подросток средних лет, проживающий в сельской местности, был просто-таки обязан уметь самолично изготовить рогатку, пугач и деревянный пистолет. Рогатка как метательное и дальнобойное оружие двойного назначения позволяла вести активные боевые действия из укрытия с превосходящими силами противника, а также охотиться на пернатую дичь и мелких пушных зверьков. Пугач был оружием по преимуществу шумовым и устрашающим; а пистолет — что пистолет? — известно ведь, что и обыкновенная палка раз в год стреляет, а с пистолетом в руках, пусть и деревянным, чувствуешь себя человеком, важно лишь дождаться начала военных действий, а уж на войне как на войне…

Скромно отметим, что и автор этих строк, житель по преимуществу сельский, в своё пацанское

время не выглядел белой вороной на общем фоне. Впрочем, приводить здесь подробные инструкции по изготовлению вышеназванных предметов военного быта означало бы ни больше ни меньше как отвлечение нынешних тинейджеров от их любимого занятия — игры в железного друга, «в компьютер», а на это я, выражаясь словами героя кинофильма «Бриллиантовая рука» Лёлика, пойтить не могу…

Игру в войну и детскую гонку вооружений по здравом рассуждении можно рассматривать как самый первый и самый значительный этап подготовки мальчишек к взрослой военной жизни, так же как у девчонок игру в куклы — к жизни семейной. Вот и выходит, что мужчина перманентно и с самого раннего детства готовится к военным действиям, а женщина столь же непрерывно — к мирной жизни. Возможно, именно поэтому женщины, лишённые военного детства, столь воинственны и изобретательны в мирной жизни, к которой мужчины оказываются, увы, совершенно неподготовленными.

Все эти рассуждения хороши и по-своему интересны, но когда тебе пять-шесть лет и старший брат позвал тебя на испытание нового, собственноручно им изготовленного оружия с коротким и мощным названием «поджига», тут уж все посторонние соображения отходят на задний план, а на первом остаётся лишь любопытство, быть может, слегка разбавленное страхом.

Первое испытание нового оружия происходило в стайке, свободной от животных по причине весенне-летнего пастбищного периода. Испытание вышло, как бы это спокойнее выразиться, оглушительно успешным, хотя стрельба и производилась холостыми зарядами. Воодушевлённого успешностью испытаний и произведённым эффектом конструктора, а следом за ним и оруженосца потянуло на оперативный простор. На вольном воздухе были произведены боевые выстрелы — роль пуль играли куски крупнокалиберной стальной проволоки — в пень, оказавшиеся также удачными. Однако появление вблизи импровизированного стрельбища взрослого человека, более того — взрослого человека мужицкой национальности вынудило стрелка и оруженосца ретироваться домой. Испытания были практически сорваны. Оружие, словно бы сопереживая совместному испугу стрелка и оруженосца, отказывалось стрелять, никакие дополнительные заряды на него не действовали, и тогда к нему была применена высшая степень устрашения — прочистка раскалённым в домашней печке шомполом. Шомпол вошёл в ствол поджиги как нож в масло, раздался взрыв, оружие разлетелось по комнате, а сама комната наполнилась едким дымом.

«Прощай, оружие! Здравствуй, мотоплуг!» — можно было бы сказать сейчас, философствуя по-взрослому и по-весеннему, но тогда стрелку и оруженосцу было не до философий, близилось время обеда, и надо было к приходу родителей успеть разогнать дым…

Привязка к местности

В настоящее время выход маленького ребёнка в свет и приобщение его к благам цивилизации происходит очень рано, и дело не только в дошкольных детских учреждениях, развивающих коллективно-горшечное мышление. Едва оторвавшись от такой тёплой и такой надёжной маминой груди, малыш уже видит перед собой не только экран телевизора с желающими ему спокойной ночи Степашками и приятных снов Хрюшками, но зачастую уже и клавиатуру компьютера, позволяющую управлять сначала простыми, а потом всё более сложными играми. Как в этой связи не вспомнить знаково-ироническую песню Владимира Высоцкого, посвящённую непреходящим «достоинствам» и «вечным» ценностям голубого экрана:

> Он — не окно, я в окно и не плюну, —
> Мне будто дверь в целый мир прорубили.
> Всё на дому — самый полный обзор:
> Отдых в Крыму, ураган и Кобзон.

В былые же годы первый, да и многие последующие визиты в сельский клуб были событиями, которые, пожалуй, можно назвать и важными, и даже знаковыми в жизни ребёнка.

Представьте себе, уважаемый читатель, что вы совершили небольшой по историческим меркам и близкий к пятидесяти годам в реальном летоисчислении скачок во времени — естественно, со знаком минус, — и оказались в самом начале шестидесятых годов в маленькой сибирской деревушке с говорливой речкой и вольным воздухом. Деревушка эта со всех сторон окружена лесом, и в ней даже нет собственного клуба. Вам пять-шесть лет, и вы не очень-то понимаете, что это такое — смотреть кинофильм, поскольку из всех важных и важнейших для мировой революции искусств для вас на текущий момент доступна одна «тарелка»-громкоговоритель радиотрансляционной сети, и лишь две медных монетки, два пятачка, крепко зажатые в руке старшего брата, говорят о значимости предстоящего события.

Итак, два пятачка находятся в надёжных руках старшего брата, и вы вместе с ним отправляетесь в дальнее многокилометровое путешествие из родной деревушки в ближнее село, а путь ваш пролегает по пересечённой местности и лесным тропинкам…

Хотя этот дальний путь в ближнее село и это путешествие интересны вам сами по себе, но какой-то внутренний холодок ожидания не позволяет вам с прежней непосредственностью реагировать на окружающий мир.

Наконец длительное путешествие закончено, и вы видите перед собой большую и пёструю толпу ребятни, слышите незнакомые слова «билет» и «билетная касса». Потом, преодолев небольшое препятствие в виде входных дверей, оказываетесь в просторном, шумном и гулком помещении под названием «зрительный зал», в котором вскоре гаснет свет, и на белом полотнище экрана появляются первые титры…

Проходит некоторое время, и вот вы уже настолько поглощены происходящим на экране, что совершенно теряете чувство реальности. Да-да, уважаемый читатель, сначала вы теряете чувство реальности, а вскоре утрачиваете и терпение — слишком уж очевидными кажутся вам козни врагов, помноженные на излишнюю, где-то даже вопиющую доверчивость «наших». От переполняющих вас чувств, буквально рвущихся наружу, вы пытаетесь вскочить со своего места, дабы помочь нашей доблестной и героической Красной Армии словом и делом, и вдруг с ужасом обнаруживаете, что не можете этого сделать. Но и этот факт собственной неподвижности, то есть невозможности встать со своего места, во время важных событий, происходящих на экране, вы принимаете как один из элементов, составляющих этого нового для вас чуда под названием «кинематограф». И только в конце киносеанса выясняется, что наряду с экранным действом в зрительном зале проходили и другие, пусть и не столь масштабные, но оттого не менее значимые события, одним из которых стало крепкое и надёжное привязывание вас к местности, а точнее говоря — к обыкновенной деревянной лавке. И незаметное и незримое во время киносеанса присутствие старшего брата вновь становится для вас заметным и значимым. С помощью собственных рук и перочинного ножика он освобождает вас от пут, и вы, испытавшие два потрясения за один киносеанс, отправляетесь в обратный путь, периодически пытаясь пришпорить боевого коня и выхватить из-за пояса несуществующую саблю. При этом отсутствие боевого коня и виртуальность других военных атрибутов вас нисколько и не смущает, и не печалит, поскольку изобразить и мелкую рысь, и бравурный галоп, и боевые кличи вы можете самостоятельно, вполне обходясь подручными средствами…

Именинники торжества, или Праздник кирзовых сапог

Рано или поздно, кому-то немного раньше, а кому-то слегка позже, но каждому ребёнку — городскому или сельскому, столичному или абсолютно, навзрыд деревенскому — приходится топать первый раз в первый класс. Общеизвестная история про Филиппка, который решил опередить время и стал ходить в школу чуть ли не в пятилетнем возрасте, вызвала массу последователей и подражателей — акселератов и вундеркиндов. К сожалению, дальнейшая их судьба, в том числе и самого́ первооткрывателя Филиппка, большей частью кроется в тумане. Стало быть, узнать, кому из них помог ранний старт, а кому повредил, вряд ли удастся. У автора этих строк старт был скорее поздний, чем ранний, ибо в школу он пошёл, как было принято говорить в то время, с восьми лет, и основу его одноклассников составляли лица обоего пола, но другого года рождения.

Надобно также доложить вам, уважаемый читатель, что деревенские обстоятельства того времени и того жизненного пространства, в котором прошло дошкольное детство автора этих строк, позволяли значительную часть ежегодности обходиться и вовсе без обуви, то есть, говоря без экивоков и попросту, бегать босиком. Положительная сторона такой беготни — единство с природой — ныне видна невооружённым взглядом. Более того, многие знатоки и адепты народной медицины новейшего времени сделали из хождения босиком настоящее ноу-хау. К отрицательным сторонам относились и, похоже, относятся до сей поры разнообразные колкости и несуразности земной поверхности. К таковым можно причислить раскрывшиеся сосновые шишки, рассыпанные густым ковром на лесных тропинках, а также скошенные пространства трав или злаков, на которых осталась стерня. Но и эта позиция поддаётся раскачке, поскольку, в свете новейших теорий и моды на восточную медицину, детские гримасы, сопровождаемые ойканьем и айканьем от общения босых ступней с сосновыми шишками или стернёй, вполне могут сойти за мимическое и звуковое сопровождение процесса иглоукалывания.

Все эти рассуждения о практической пользе босоногости выглядят ныне хорошо и красиво, но ведь идти в первый класс босиком, пусть и в начале шестидесятых годов, было уже как-то и не совсем прилично. Иными словами, хороша страна перманентной босоногости, но необходимость идти в первый класс вынуждает обзаводиться обувью. При этом постоянные напоминания о школе слегка нервируют будущего первоклассника, особенно того, который произрос на вольных деревенских хлебах и знать не знал, и ведать не ведал принудительного коллективизма дошкольных детских учреждений.

Время идёт, дошкольное детство близится к своему логическому завершению, неумолимо приближается сентябрь, страхи перед школой густеют подобно осенним тучам…

Тридцать первого августа родители отправляются в райцентр на школьную ярмарку, ожидание их возвращения длится и длится, день кажется бесконечным, но вот наконец, весёлые и счастливые, появляются родители, и начинается — опять-таки

весёлая и счастливая — суета демонстрации, раздачи и примерки подарков.

Будущему первокласснику достаётся обмундирование по полной программе: полушерстяная гимнастёрка и брюки, фуражка с околышем, ремень с пряжкой, и самое главное — кирзовые сапоги! Да, кирзовые сапоги — настоящие именинники торжества. Даже смотреть на них одно загляденье.

Из главного и единственного хранителя нехитрых семейных ценностей того времени — простого деревянного сундука — извлекается отрез материи, отрезаются по размеру байковые портянки, неспешно, поочерёдно и любовно наматываются на ноги, ноги погружаются в сапоги, создавая незабываемое впечатление мягкости, довольства и уюта. По окончании примерки и контрольного, хотя и осторожного, прохода по комнате сапоги с большой неохотой снимаются, их передники густо намазываются дёгтем, чтобы не пропускали влагу, и они ставятся рядом с кроватью. Сапоги воспринимаются как символ принадлежности к касте воинов. Это уже потом будущий первоклассник найдёт подтверждение своим горячечным чувствам и лихорадочным мыслям переходного — от тридцать первого августа к первому сентября — периода в поэме Александра Твардовского «Василий Тёркин»:

> Нет, ты дай-ка мне сапог,
> Да суконные портянки
> Дай ты мне — тогда я бог…

Пока же он ненадолго засыпает и периодически просыпается, чтобы проверить, на месте ли они — именинники торжества, терпко пахнущие дёгтем и устремлённые голенищами в небо. При этом он чувствует себя если не божеством, то уж, во всяком случае, заметно приободрённым и даже приподнятым над окружающей дошкольной действительностью и где-то в глубине души понимает, что в кирзовых сапогах и байковых портянках ему и школьная действительность не страшна…

Первый пошёл

Для того чтобы познакомиться с первым директором школы, оказалось достаточным поступить в первый класс, а также проявить мужскую солидарность и участие в судьбе соседа по парте. Началось с того, что мой сосед по школьной парте не пришёл на праздник букваря, происходивший в один из первых дней января. Собственно говоря, праздника особенного и не было. Нас, первачей, пригласили в школьную библиотеку и милостиво разрешили взять домой по одной тоненькой, если не сказать тонюсенькой, «детской» книжице, а по возвращении из дома — в виде послесловия к празднику букваря — заставили пересказать прочитанное. Отвлекаться от судьбы соседа по школьной парте не хочется, но всё же отмечу, что мой первичный читательский выбор, связанный с чтением и пересказом, отчего-то пал на басни «дедушки» Крылова.

Уже после каникул на мой прямой вопрос: «А почему ты не пришёл на праздник букваря?» — мой сосед солидно ответил, что записался в сельскую библиотеку и имеет доступ к литературе многостраничной, вдумчивой и серьёзной. Понятно, что этим своим заявлением он побудил меня последовать его «взрослому» примеру, и в тот же день, едва дождавшись окончания уроков, я помчался в сельскую библиотеку, где меня приняли за чистую «взрослую» монету и выдали книгу, которая на несколько лет вперёд определила мой дальнейший читательский интерес. Эта книга называлась «О смелых и умелых» и представляла собой сборник рассказов о Великой Отечественной войне. Сегодня, по прошествии многих и многих лет, можно сказать, что обе эти книги наложили заметный отпечаток на моё дальнейшее как прозаическое, так и поэтическое, но уже писательское творчество.

Возвращаясь же к тем баснословным годам, приходится констатировать, что мой «продвинутый» сосед по школьной парте, а точнее говоря, мужская солидарность и участие в его судьбе стали причиной знакомства с директором школы.

Дело близилось к весне, учебный год — к завершению, солнышко пригревало вовсю. И вот в это благостное время ожидания больших летних перемен, а точнее говоря, каникул, в школу нагрянули люди в белых халатах. Их цели были благими и благородными: они хотели поставить ученикам прививки от какой-то неведомой, а оттого ещё более неприятной хвори.

И вот тут-то выяснилось, что мой продвинутый школьно-партийный сосед панически боится уколов, хотя настолько умело камуфлирует свой страх философскими рассуждениями, что истинную причину его предложения сбежать с урока и побродить по селу автор этих строк понял лишь по прошествии нескольких десятилетий.

Надобно сказать, что лично у меня причин бояться уколов не было, ибо за моими хрупкими мальчишескими плечами был целый месяц, проведённый в больничной палате. Связано это было с захватывающей беготнёй по тоненькому ледку нашей деревенской речушки и с осенне-зимним купанием в той же речушке, за время которого количество уколов естественным образом перешло в качество их небоязни.

Приходится признать, что совместная прогулка урока нам успешно удалась, поскольку произошло радостное совпадение рассказчика в лице моего соседа по школьной парте и слушателя — уже в моём лице. В числе прочего он поведал мне о секте баптистов, существующей в расположенном

всего в какой-то сотне километров от нашего села городе Канске. Эти самые баптисты, по его словам, специализировались на том, что соблазняли невинных младенцев обоего пола, разного возраста и общественного статуса конфетами и выпивали из означенных младенцев всю их кровь.

По возвращении же нас в родные пенаты школьного класса наша учительница устроила, как теперь модно выражаться, презентацию прогульщиков директору школы. Последний, а точнее говоря — первый, директор школы не только от всей души пожурил нас за такое общественно опасное деяние, как прогулка урока, но и самолично расставил по разным углам, в которых под насмешливыми и твёрдо осуждающими взглядами одноклассников нам пришлось провести ещё один урок…

То, что мы оказались разведены по разным углам и оставлены наедине со своими мыслями и страхами, на виду и позоре у всего класса, оказалось на поверку не самым страшным. Продолжение печалей и страхов последовало уже после уроков. Мой сосед жил на краю села, до которого мы дошли вместе, объединённые прогулкой урока и стоянием в углу. Далее же мне предстояло в полном одиночестве преодолеть путь протяжённостью в три лесных километра, отделяющий село от нашей крошечной деревушки, прилепившейся к льнозаводу. Впрочем, о полном одиночестве во время трёх километровой прогулки по лесу можно говорить с большой натяжкой, ибо такой близкий и знакомый лес оказался буквально наводнён непрошеными гостями из города Канска, державшими в потных ладонях слипшиеся конфеты.

Подсознательный вывод был сделан уже тогда, остаётся оформить его здесь и сейчас и уже на сознательном уровне: бессмысленно следовать в фарватере за кем-то, ибо неизбежна расстановка по разным углам и три лесных километра в одиночестве.

Брыкливое чудо природы

…Но вот наступило лето. Виртуальный хомут учёбы, снятый с первоклассника по случаю летних каникул, маячил в отдалении, изредка напоминая о себе то пересохшей чернильницей непроливайкой, то портфелем, заброшенным в угол, то сношенными до дыр сапогами, и словно бы звал — нет, даже подталкивал к подвигам. А вчерашний первоклассник был по-летнему босоног, легко и свободно одет и распахнут новым впечатлениям. Он вдыхал полной грудью вольный деревенский воздух, и к нему вернулись его прежние удивительные дошкольные сны. Нет, это был, скорее всего, один, но многократно повторяющийся летний сон.

Ему снились клонящийся к закату день, быстро темнеющий горизонт, отдельные тучки, всё ещё освещённые лучами уходящего солнца, просёлочная дорога с обнимающей и ласкающей ноги густой и тёплой пылью, набирающая вечернюю влагу придорожная трава-мурава, щекочуще прикасающаяся к подошвам ног, ощущение какой-то необъятной и необъяснимой, вселенской, что ли, радости бытия, заставляющее его перейти сначала на быструю ходьбу, потом на лёгкий бег и, наконец, оторваться от земли и ощутить всю прелесть свободного полёта и всю сладость вечерней прохлады…

И вполне закономерно, что в один из таких чудесных летних деньков-вечеров он увидел его — это никелированное, невообразимой красоты чудо природы под названием «велосипед» — и обомлел. Чудо природы было многомерным — руль и колёса, рама и педали, седло и багажник, цепь и крылья — и бесшабашно вёртким. О каждом из его элементов в отдельности и обо всех сразу можно было сочинять и рассказывать сказки, слагать и петь песни, разучивать и выкрикивать речёвки. Например, такую, рассчитанную на легковерных и пугливых начинающих велосипедистов: «Ось в колесе! Педаль спустила! Ось в колесе! Педаль спустила!»

Однако на поверку оно, это чудо природы, оказалось на редкость своенравным и брыкливым, оно упорно не желало принимать вертикальное положение без чьей-либо посторонней помощи. Не успел он с помощью старшего брата оседлать его, это брыкливое чудо природы, как сразу же оказался на земле. И вот тут наш герой обнаружил и обнажил страстность собственной натуры, с которой ему предстояло ещё не раз и не два столкнуться лицом к лицу…

Слёзы брызгали из глаз, мышцы немели от напряжения, локти и коленки представляли собой живописное сочетание ссадин и царапин, а он снова и снова взбирался, вскакивал, вбрасывался в седло, чтобы ещё обиднее, безнадёжнее, больнее упасть вместе с велосипедом в придорожную пыль. Иногда ему казалось, что это какой-то невидимый, притаившийся насмешливый враг ставит ему одну подножку за другой…

И всё-таки подвиг состоялся, он просто-таки не мог не состояться. Таким подвигом стало одномоментное, хотя и растянувшееся на часы и перешедшее в другие календарные сутки, начавшееся ещё засветло, а закончившееся глубоко затемно действо, которое можно назвать укрощением никелированного велосипедного чуда с поэтическим названием «Школьник». Это укрощение стало, кроме всего прочего, и своеобразной местью покрытого синяками и ссадинами, перепачканного пылью и размазанными по щекам слезами вчерашнего первоклассника вчерашней же школьной действительности в целом и урокам чистописания в частности, так его достававшим в течение всего учебного года!

Кошка и птичка

Помнится, в раннем детстве в нашем деревенском доме какое-то время, долго ли, коротко ли, чуть

ли не всю зиму, жила птичка. И не то чтобы в клетке, а на свободе и с чувством полноправного членства в нашей семье. Вспоминать мне об этом в какой-то степени даже и удивительно, настолько я отдалился от собственного детства и закрепостился за какие-то пять десятков лет, полстолетия, хотя и с небольшим гаком. Вспомнил — к месту, не к месту ли — строчку из знаменитого военного стихотворения Михаила Лермонтова: «Смешались в кучу кони, люди…» — и подумал, что тогдашнее деревенское житьё-бытьё происходило заметно ближе к природе и к животным как братьям нашим меньшим. Представить себе, что сейчас в моей квартире живёт вольная птичка и, как выражается моя дорогая супружница, гадит где попало, трудно, если вообще возможно. Как-то так вышло, что от любви к птичкам, в том числе и к вольным, осталось только чувство гадливости при взгляде на памятники, в том числе и на памятник упомянутому выше классику «золотого века», обсиженный птицами, как окно мухами. А в то баснословное время многие животные и птицы получали полноправное членство в семье, особливо в зимнее время. В первую очередь это касалось кур, которые хотя и в тесноте, да не в обиде поселялись под кухонным столом и вели там свой бесконечный куриный разговор о том о сём с поздней осени до ранней весны, развлекая кококаньем взрослых и особенно нас, детей. А ещё новорождённые телята с завидной зимней регулярностью, а иногда и в самый лютый мороз бывали принесены в дом, расположены в прихожей и являли собой приятную для глаза картину обретения самостоятельности и вставания на собственные ноги. Была в этом зрелище появления нового живого существа и укрепления, осознавания его в мире такая завораживающая привлекательность, что сама собой возникала мысль о единстве всего живого на земле…

Однако пора уже вернуться к нашим баранам — к птичке и кошке. Могло ли понравиться кошке, как главному домохозяину, охотнику, завсегдатаю подпольного и напольного домашнего пространства, появление птички?.. Нет, конечно. Если бы диалог между ними происходил на человеческом языке, положим, мушкетёров короля и гвардейцев кардинала, то он был бы предельно коротким как в подсознании: «Вызов брошен — вызов принят»,—так и в сознании: «Защищайтесь, сударь!..» С дальнейшей резнёй, извините — искусным маханием шпагами, до победного конца одного из сражающихся или — при удачном стечении обстоятельств — взаимного преткновения холодного оружия, сразу и для обоих…

В отношениях между кошкой и птичкой слов никаких сказано не было, в присутствии взрослых членов семьи они вели себя тихо и мирно, чуть ли не раскланивались друг с дружкой, а вот в отсутствии взрослых они вели себя заметно более вольно, нимало не смущаясь моим присутствием. А быть может, даже и радуясь этому присутствию. Разгорячённая охотничьим инстинктом и своими домашними правами-обязанностями кошка на полном серьёзе пыталась освоить воздушное пространство, взлетая по шторкам и занавескам в мановение ока к самому потолку. Это была самая настоящая кошачья феерия, сравнимая разве что с ежегодными мартовскими выборами той же кошкой очередного жениха. Временами мне, стороннему наблюдателю, казалось, что ещё немного, ещё чуть-чуть — и у кошки прорежутся и вырастут крылья, самые настоящие кошачьи крылья, и она сможет легко и непринуждённо ловить пролетающую пернатую живность…

Птичка играла роль более простую и на первый взгляд незамысловатую — она перелетала с одного места на другое и едва успевала устроиться поудобнее, как ей снова и снова приходилось сниматься с насиженного места и пускать в ход крылья.

Я заворожённо следил за происходящим действом, не в силах отдать предпочтения ни кошке, ни птичке. Между тем птичка росла и крепла, и в одно прекрасное время я обнаружил, что инициатива перешла от кошки к птичке и кошка перестала бегать по шторкам, а стала проводить всё своё свободное время в укромных местах — в подполье и под кроватью…

Вы спросите, чем закончилась та давняя история с кошкой и птичкой и почему я вспомнил её именно сейчас?!

Помнится, птичка, едва почувствовав приход весны, сразу же оставила кошку в покое и улетела по своим птичьим делам, а кошка ещё долго и тщательно изучала воздушное пространство, прежде чем вылезти из подполья или выйти из-под кровати. А вспомнил я эту давнюю историю оттого, что нынешним летом наш матёрый кот Тишка не раз и не два делился с нами своей добычей, оставляя на крыльце дома самолично пойманную невзрачную серенькую птичку…

Космическая лужайка

Летом 1963 года наша семья переезжала со всем скарбом и скотом из рабочего посёлка при Ирбейском льнозаводе на заимку Кокорино, расположенную также неподалёку от райцентра, но на другом берегу реки Кан. Подробности переезда в моей памяти не сохранились, разве что паромная переправа через Кан оставила смутное впечатление космического полёта. И в самом деле, даже по взрослом и зрелом размышлении, в паромной переправе через широкую реку и впрямь есть что-то космическое, надмирное, когда на какое-то время отрываешься от одного берега и, открытый всем ветрам, плывёшь к берегу другому — неведомому

и загадочному, словно бы отправился на поиски земли обетованной — terra incognita.

Вот и мои стихи, написанные много лет спустя:

Запускает скотник спутник
Прямо с крыши МТФ.
И корова на орбите
В невесомости пасётся,
Щиплет травку на лужайке
Грузового корабля… —

похоже, навеяны именно этой паромной переправой через реку Кан, поскольку корова, стоявшая в кузове полуторки и возвышавшаяся над паромом и его обитателями во всё время переправы, в действительности была очень похожа на некое космическое существо, разве что лишённое крыльев для автономного полёта. А ведь это было время первых космических полётов и всенародного ликования по этому поводу, и многие, если не все, советские мальчишки бредили космосом — вернее, даже не самими полётами, а вполне земными почестями, которые воздавались людям, побывавшим в космосе, в особенности космонавту номер один Юрию Гагарину. Вообще, как я теперь понимаю, полёт Юрия Гагарина в космос был таким своеобразным глотком свежего воздуха. Мальчишкам, родившимся после войны и желавшим стать героями, уже не обязательно было жёстко следовать давящей и уродующей пропаганде «в горящих самолётах слетать с облаков на пыльные дороги, на головы врагов…» или «бросаться под танки со связками гранат…». Появилась героическая альтернатива в виде космического полёта с триумфальным возвращением на землю и прижизненными почестями. Должно быть, такие же чувства, разве что более глубокие и продолжительные, испытывал праведник Ной, путешествуя на своём ковчеге по бурным водам Мирового океана.

Но вот паром причаливает к берегу, устанавливаются сходни, сначала на берег обетованной земли сходят люди — и я в том числе, а потом уже съезжает машина с коровой-кормилицей на борту с нежным и ласковым именем Дочка…

А это означает, что космический полёт на пароме позади, а впереди у меня — целое лето, такое каникулярное, такое таинственное и такое загадочное…

Три возраста ценного меха

Возраст первый

Начало этому рассказу положила фраза: «Кролики — это не только ценный мех, но и три-четыре килограмма диетического мяса…» — в то застойное, со всеобщим дефицитом, длинными очередями и напряжённым ожиданием результата стояния в очереди, время буквально навязшая в зубах…

Опрокинув эту фразу в детство, я получил нечто похожее, но и в то же время совершенно иное: «Суслики — это не только ценный мех, но и…»

Как вы, уважаемый читатель, уже наверняка догадались, речь в дальнейшем пойдёт именно об этом «но и…».

Не успели мы ещё толком поселиться и обжиться на заимке, как я уже успел познакомиться с соседскими пацанами, и не только познакомиться, но получить от них приглашение на охоту. Кого мы будем «охотить», сказано не было, и это ещё больше подогревало мой интерес к предстоящему действу. Правда, снасти, с которыми мы отправились на охоту, а это были самодельные ведёрки, сделанные из подручного материала, внушали мне некоторые сомнения, поскольку всё связанное с водой у меня ассоциировалось скорее с рыбалкой, чем с охотой; но, как говорится, чем меньше вопросов, тем интереснее охота.

Едва мы, вооружённые до зубов ведёрками, миновали окрестности заимки и выступили в настоящую степь, как на горизонте замаячили фигурки тех, кого мы, собственно говоря, и собирались «охотить». Это были суслики, похожие издалека на сказочных стойких оловянных солдат. Ещё более меня удивил тот факт, что для полноценной охоты было необходимо наличие водоёма — речки или, на худой конец, ручья…

Когда же первая часть нашего стратегического плана завершилась полным успехом — водоём был найден, а самодельные ведёрки наполнены водой, мы приступили к реализации его второй части — непосредственно охоте. Смысл охоты, как оказалось, заключался в наливании воды в норку суслика, имеющую вход и выход, с одной стороны и ожидании его появления-всплытия, как самого настоящего корабля пустыни, с другой стороны…

Есть такая детская игра-наука, которая называется «сунь пальчик — там зайчик». Смысл этой игры в том, чтобы не быть разиней, не покупаться на «зайчиков» и не совать куда попало своих пальчиков. Вот в неё-то и сыграл самый из нас азартный и самый нетерпеливый охотник на сусликов. Так и сохранилась у меня в памяти эта картинка: охотник, впавший в азарт и сунувший не пальчик в поисках зайчика и не в решётку из пальцев, а целую руку в норку в поисках суслика. Поиски суслика в норке увенчались полным успехом. Он вытащил перепуганного суслика из норки на своём крепко укушенном пальчике и замер, сдерживая накатившие слёзы. И сам он в этот момент был так похож на стойкого оловянного суслика, что было трудно, точнее говоря — просто невозможно сдержать смех и не дописать фразу: «Суслики — это не только отсутствие сколько-нибудь ценного меха, но и наличие целительного, сквозь слёзы, смеха и очистительных, сквозь смех, слёз…»

Возраст второй

Спустя несколько лет история с охотой на сусликов повторилась хотя и в летнее время, но в другом месте (в одном из степных сёл Алтайского края, где я был в гостях у родственников). Алгоритм охоты был примерно таким же, а вот её результат предстал в более выгодном свете и в более зрелищном варианте. Суслики, лишённые ценного меха и поджаренные на костре, с аппетитом и хрустом поедаемые соседскими пацанами, и я в роли зрителя этого обыденного и симпатичного в этой своей обыденности действа…

Возраст третий

Много лет спустя в Эвенкии, регионе насквозь охотничьем и рыболовном и при этом на сусликов совсем даже не богатом, история с сусликами — а ведь это действительно не только ценный мех, но и два-три килограмма отборного зерна, умыкнутые у производителя, — аукнулась совершенно неожиданным образом. Во время выполнения своих профессиональных обязанностей журналиста окружной газеты — интервьюирования — мне удалось разговорить, да что там разговорить — буквально довести до слёз расспросами о детстве женщину средних лет, заведовавшую детским же садиком. И только когда она, сотрясаемая рыданиями, призналась, что на её совести есть один самолично добытый, то есть утопленный в норке суслик, историю с охотой на сусликов можно было считать завершённой.

P. S. Помнится, за шкурку суслика в те баснословные годы застоя платили целых пять копеек, а мясо добытого зверя оставалось в руках охотника…

Неликвидная геометрия

Как известно, «геометрия» в переводе с древних римского католического и византийского православного языков означает «землемерие», и первое, что делает ребёнок, только что вставший на свои ноги, — он примеряется к окружающему пространству, постигает его геометрию, причём геометрию как науку прикладную, практическую, каковым и было изначально землемерие. Моё становление на ноги и постижение прикладной геометрии окружающего пространства происходило в августе-сентябре 1955 года, в девятимесячном возрасте, во время поездки мамы на рекламацию из Сибири в Россию, через столицу нашей родины Москву, в далёкий город Саранск, и обратно из России в Сибирь, в село Ширыштык Каратузского района Красноярского края. Конечно, о сознательной памяти в девятимесячном возрасте говорить рано, а вот о пространственно-мышечной, думается, уже вполне можно. Моим первым выходом в люди стал спальный вагон пассажирского поезда Хабаровск — Москва, и весь поездной пространственно-зрительно-запаховый антураж я впитал и в прямом, и в переносном смысле с молоком матери. Сознание, позволяющее различать людей и предметы, уже брезжило, хотя и было туманным.

Это далёкое путешествие с постижением геометрии поезда в дальнейшем аукнулось, и не один раз. Самым первым ауканьем стала гениальная придумка родителей, которые на мой вопрос о собственном моём личном происхождении огородную: «Нашли в капусте», — и воздушную: «Принёс аист», — версии заменили сугубо коммерческой: «Купили в Москве». Как известно, после гениев природа отдыхает на потомках; вот и на мне эта самая природа хоть разок, но уж точно отдохнула. Произошло это в тот момент, когда мне был позарез нужен товарищ по играм, желательно младший по возрасту, которым можно было управлять, передавая ему опыт, уже полученный от старшего брата. Шутливое предложение продавщицы местного сельмага о покупке её четырёхлетнего сына себе в младшие братья было воспринято мной вполне серьёзно. Я быстренько сбегал домой, достал из сундука всю семейную наличность — деньги были аккуратно завёрнуты в какую-то тряпицу, и сделка века, совершённая по простой логической схеме: раз меня купили, значит, и я могу купить, — состоялась, но в силе ей суждено было быть только до вечера, до возвращения родителей с работы. Вот уж воистину нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся и чем может отозваться «гениальная» придумка родителей…

А вот теперь, когда я слышу заунывную песню: «Степь да степь кругом, путь далёк лежит…» — я думаю о неликвидной геометрии родных сибирских просторов, заброшенных деревнях с покосившимися избами, одичавшими стариками и старухами и заросших бурьяном полях, превратившихся из колхозных и совхозных в ничьи, то есть в паевую собственность людей, забывающих порой не только смысл выражения «земля-кормилица», но и самих себя.

Пифагоровы штаны

Окунаясь в раннее детство, я удивлением обнаруживаю, что и одежда, и обувь часто были рукоделием домашнего производства. На этом фоне любая покупная вещь, которую «справляли», ценилась очень высоко. Так и говорили: справили сапоги, справили костюм. Главным инструментом домашнего рукоделия в нашей семье, несомненно, была ножная швейная машинка «Зингер», произведённая в Германии в конце девятнадцатого — начале двадцатого веков. На неё, на эту машинку, которая на самом деле была настоящей машиной, тяжёлой и громоздкой, всеобщая послевоенная неприязнь к немцам, фашистам, фрицам, гитлеровцам, немчуре

не распространялась. Великая труженица, эта машинка всё работала и работала и практически не знала износа. Это был рабочий инструмент матери, на котором она, как тогда говорили, обшивала и одевала всю семью. Ассортимент был самым разнообразным: от рубашек, платьев, шаровар, простынь, наволочек, пододеяльников до стёганых одеял и самодельных пальто. Именно такое стёганное ватой самодельное пальтецо с брезентовым верхом и было моей первой осмысленной зимней одёжкой. Оно, это пальтецо, очень уверенно и надёжно подстраховало меня во время моего осенне-зимнего плаванья в полынье. А после того, как я из него вырос, ещё долгие годы служило, подобно советской интеллигенции, прослойкой между базисом панцирной сетки и надстройкой ватного матраса, проще говоря — оберегало матрас от пятен ржавчины, которые так или иначе проступали на панцирной сетке от долгой эксплуатации.

Что касается обуви, то это была епархия отца. Он не только сам любил щегольнуть в хромовых сапогах, но и умел продлить срок эксплуатации обуви вообще, а сапог кирзовых, которые буквально «горели» на наших со старшим братом ногах от интенсивной носки, — в частности. Кирзовые сапоги обыкновенно покупались — «справлялись» — к школе и предназначались для эксплуатации в осенне-весенний период, когда и босиком уже не походишь, и валенки доставать ещё рано. Валенки, как обувь, так или иначе проходили через руки отца. Он их катал сам в домашних условиях, и это был очень увлекательный — для наблюдения и участия — процесс. Для этого процесса требовались овечья шерсть, которая сначала вычёсывалась, освобождалась от всевозможного мусора, потом сбивалась, сваливалась, уплотнялась, подвергалась воздействию кислоты, приобретала форму, садилась на колодку, сушилась в русской печи, и время. Не оспаривая правоту классика о том, что время — вещь необычно длинная, всё-таки стоит заметить, что в те годы рабочая неделя была шестидневной, а на катание пары валенок одного выходного дня не хватало. В более экономичном по времени варианте он распаривал покупные валенки кипятком и «садил» их на колодку, что не только придавало валенкам более красивый, даже щегольской вид, но и делало их более плотными и пригодными для длительной эксплуатации. В сравнении с кирзовыми сапогами, у которых чаще всего снашивались, стирались до подошвы каблуки и протирались до дыр голенища, у валенок снашивались лишь подошвы, что позволяло продлить срок их эксплуатации посредством подшивания. Искусство катания валенок так и осталось для меня практической загадкой, поскольку ни одной пары валенок на сегодняшний день я так и не скатал, а вот алгоритм подшивания запомнился отчётливо, и не только запомнился, но и перешёл во вполне результативные практические навыки.

В то лето нам со старшим братом одновременно купили — «справили» — вельветовые костюмчики. Это было самое настоящее — от горизонта до горизонта — счастье. Предмет гордости был налицо, а вот предмета зависти — не было вовсе.

Впрочем, долго наслаждаться, глядя друг на друга и на самих себя, нам с братом не пришлось, поскольку вещи в те годы справлялись не от избытка чувств или средств, а в связи с какими-то переменами. В данном случае перемены были очевидны: лето подходило к концу, сезонная работа на заимке, которой была занята вся семья, — пастьба скота и заготовка сена — подходила к концу. Впереди маячил сентябрь, а в семье было два ученика и ученица, и нужно было определяться с местом жительства, хотя бы и на один учебный год. В поисках лучшей жизни и работы по специальности мама отправилась на свою малую родину — в Алтайский край, отец и старшая сестра остались на хозяйстве, а нас с братом мама взяла с собой. Вот тут-то новые, с иголочки, костюмчики — не голышом же ехать? — и пригодились. После почти трёхмесячного заимочного затворничества с ограниченным кругом общения и природным раздольем поездка за тридевять земель в тридесятое царство — из Красноярского края в Алтайский край — увлекает, развлекает и в то же время внушает некоторые опасения, просто и доходчиво выраженные словами песни: «А что там, а что там, за далёким поворотом?..»

Автостанция, покупка билетов, чайная, борщ со сметаной, блинчики с маслом, чай с сахаром. Автобус, место у окна, поля жёлтой пшеницы, встречные машины, пыль из-под колёс, убаюкивающее гудение мотора, сами собой слипающиеся глаза, свисание головы на грудь, вздрагивание и просыпание на ухабах. Железнодорожный вокзал, многолюдье, очереди возле билетных касс, чудо природы — автомат с газированной водой с сиропом и без, повышенный авторитет копеечной и трёхкопеечной монет. Общий вагон пассажирского поезда, вторая полка, тугой ветер, залетающий в открытую фрамугу. Стремление заглянуть в будущее, увидеть на повороте локомотив. Удивление: чай в пакетиках, стаканы в подстаканниках, сахар-рафинад. Засыпание под дорожные разговоры-анекдоты взрослых: «Я-то еду к сыночку, а остальные куда?..» Станция пересадки, комната матери и ребёнка, в которой детки спокойно спят, а матери настороже — дремлют или бодрствуют. Усталость от обилия впечатлений: картинок, запахов, звуков. Прибытие на станцию назначения. Выход из поезда на перрон. Железнодорожный вокзал. Автостанция, покупка билетов, чайная, борщ со сметаной, блинчики с маслом, чай с сахаром. Автобус, место у окна, поля жёлтой пшеницы,

встречные машины, пыль из-под колёс, убаюкивающее гудение мотора, сами собой слипающиеся глаза, свисание головы на грудь, вздрагивание и просыпание на ухабах. Прибытие в тридесятое царство. Весёлый, с дорожной хрипотцой, смех: что сталось с нашей гордостью—новенькими, с иголочки, вельветовыми костюмчиками?!

Тридесятое царство. Тёплая встреча. Родственные разговоры, ахи, охи, бодрая песня по радио: «Утро, утро начинается с рассвета. Здравствуй, здравствуй, необъятная страна...» Алтай—житница. Перебои с хлебом. Утро, утро начинается с предрассветного стояния в живой очереди: «Две буханки в одни руки, следующий... Две буханки в одни руки, следующий...» Хорошо там, где нас нет.

Возвращение в Красноярский край, хлеб есть, корова доится, значит, не пропадём!.. Костюмчики?! А что костюмчики? Постираем, выгладим—и будут как новые...

Мягкая остановка

Осенью 1963 года, после многих каникулярных приключений и пертурбаций, я, заметно повзрослевший за лето и окрепший физически, наконец-то стал обладателем велосипеда. Правда, велосипед этот не был тем новеньким дорогостоящим подручным сверкающим никелированным чудом под названием «Школьник», о котором я мечтал всё лето. Он был куплен родителями с рук за небольшие деньги и, что называется, на вырост. В придачу к велосипеду отъезжавшие граждане совершенно безвозмездно отдали этажерку с книгами. Признаться, тогда я ещё не понимал, что главным в этой сделке века был не взрослый велосипед, а именно этажерка с книгами, результаты пользования которой перед вами, уважаемый читатель. К велосипеду мне приходилось прилаживаться: под рамой ездить было неудобно, нужная скорость с ветром в ушах никак не достигалась, а для того, чтобы ездить на раме, мне ещё не вполне хватало длины ног. Именно поэтому ездил я на велосипеде вперевалку и на цыпочках, а чтобы взобраться на него, использовал особенности местности, подходящие по размерам кочки, пни или заборы. Перефразируя народную мудрость: «Единожды солгав, кто тебе поверит?»—про мою велосипедную эпопею можно сказать так: «Единожды взобравшись, кто тебя снимет?» И в самом деле, единожды взобравшись на велосипед, я ездил до полного изнеможения или падения, что на самом деле обозначало одно и то же. И опять я с некоторым удивлением обнаружил в себе такую страстность характера, что впору было диву даваться, хотя имел стойкую репутацию тихого и послушного мальчика. Учился я со второй смены, как тогда было принято говорить—с обеда. И задолго до того, как солнце начинало красить нежным светом стены древнего Кремля, я уже был на своём двухколёсном коне-скакуне, колеся безостановочно по улицам и переулкам милого и тихого райцентра с боевым названием ИР БЕЙ, в сопровождении такого же страстного велосипедиста. И случилось то, что и должно было—при таком моём страстном отношении к велосипедному спорту—случиться: я стал не только участником, но и виновником ДТП, что и набросило узду на мою страстность и безоглядность моего увлечения велосипедом. Как-то в один прекрасный осенне-зимний день я выскочил на полном ходу из переулка на центральную улицу, где столкнулся с гужевым транспортом, проще говоря—с лошадкой, в санях которой сидел мужичок. Понятно, что с велосипеда я слетел на землю, велосипед мой некоторое время тащило за санями, он остался лежать на обочине дороги, а меня, находившегося в состоянии испуга и шока, владелец гужевого транспортного средства в экстренном порядке доставил в находящуюся поблизости районную больницу. Мой товарищ по совместному катанию на велосипедах проследил мой путь до самой больницы, а потом рассказал об этом факте в школе ученикам и учительнице, тем самым обеспечив мне алиби на этот учебный день. В больнице меня незамедлительно осмотрел хирург, смазал зелёнкой мои ссадины и царапины и, не найдя других повреждений, кроме сильного испуга, отпустил домой. Мой двухколёсный друг терпеливо ждал меня на обочине дороги, я поднял его, и мы с ним, заметно погрустневшие и обиженные друг на друга, поплелись домой. В школу я в этот день не ходил, в спокойной творческой обстановке выплакался и уже на следующий день был готов к переходу от летнего—колёсного—транспорта к транспорту зимнему—саночному. Похоже, именно тогда я впервые обратил внимание на этажерку с книгами—как альтернативу собственному безоглядному увлечению стихией движения...

О рыжей Лисице и сером Волке

«—Теремок-теремок, а кто в теремочке живёт?—Я, Мышка-норушка».

Сколько людей равнодушно слушают эти слова. Для меня же в этих словах сокрыта память.

В школе новогодний утренник. Второй класс, в котором я учусь, даёт спектакль «Теремок». Мне выпало играть роль Волка, и я играю его, только Волк мой выходит стеснительным и угловатым. Я в своей обычной школьной форме—костюмчике и брюках, лишь на лице маска.

Волку очень нравится Лисица, её роскошный костюм с пушистым хвостом. Спектакль, зал, другие звери, зрители—всё поблёкло перед яркорыжей Лисицей.

Родители мои долго не задержались в этом селе, и в третьем классе я учился уже в другой школе.

Пробежали школьные годы, наполненные радостями и печалями, звонками и уроками. На втором курсе я случайно узнал, что «Лисица» учится в том же институте, что и я, только на другом факультете. Я увидел её, но образ, так долго живший в моей памяти, и выросшая «Лисица» не сложились.

Была ли это первая детская любовь или просто яркое впечатление праздника — не знаю. Но до сих пор мне иногда снится рыжая лесная красавица с пушистым-пушистым хвостом.

Царская охота

Спустя всего год со времени переезда из рабочего посёлка Ирбейского льнозавода на заимку Кокорино наша семья вновь снялась с насиженного места и перебралась в расположенное на западе края село Тюхтет, на восточной окраине которого строился льнозавод.

И на новом месте я, не раздумывая, вступил в охотничье братство и принял участие в царской охоте на бурундуков. На сей раз экипировка каждого охотника состояла из рогатки с боекомплектом камешков и маленькой штучки — одной на всех — под названием «манок». Путь в дальний лес был неблизким и проходил в такой суверенной — нет, конечно же, суеверной — ни пуха ни пера — тишине. По прибытии на место охоты мы залегли в лощине, и главный охотник, обладатель манка, приступил к священнодействию — подманиванию дичи.

После того как первый, самый любопытный, бурундук был оглушён метким выстрелом из рогатки, пойман и привязан за ногу к колышку, вбитому в землю, так сразу же дальше пошёл самый настоящий эффект домино, уже не требовавший применения манка. Спустя пару часов целое стадо оглушённых и привязанных за ноги бурундуков голосило что было сил, сзывая на суглан всё новых и новых своих собратьев. Как я теперь понимаю, время охоты было выбрано не случайно: у бурундуков происходил гон, и они легко и непринуждённо отзывались как на голоса своих сексуально озабоченных сородичей, так и на вполне обычную, хотя и сексуально звучащую обманку манка.

По завершении охоты мне достался ровно один бурундук, которого я и принёс домой, не очень-то понимая, что я с ним буду делать. Вообще-то целью охоты было получение материальной выгоды — сдача шкурок бурундуков заготовителям в обмен на денежки, денежки хоть и небольшие, но собственноручно заработанные. Принёс и принёс — и посадил его в рукав полушубка, где он спокойно и без напрягов переночевал ровно одну ночь. Самое интересное и удивительное, на мой теперешний взгляд, что этот бурундук, едва попав в мои руки, сразу же стал ручным. Он не пытался ни кусаться, ни царапаться, ни менять место дислокации, а спокойно сидел там, где я его разместил. Наутро я извлёк его из рукава полушубка, вышел с ним за огород, где начинался сосновый бор, и выпустил на волю, и он так же спокойно убежал по своим делам.

Спустя много лет история с царской охотой получила своё продолжение. Бурундуки, видимо, памятуя о добром к ним отношении, по-свойски поселились на моём дачном подворье и принялись играть в азартные игры с кошкой Машкой и котом Тишкой. У малоопытного тогда ещё кота Тишки азарт бил через край, и мне не раз и не два доводилось наблюдать за тем, как, погнавшись за очередным игруном-бурундуком и запрыгнув на дерево, Тишка с размаху шмякался на землю, что, впрочем, не уменьшало, а, скорее, увеличивало его прыть и азарт. А чем могут, а по логике вещей и должны завершаться такие азартные игры бурундуков-игрунов с котами-охотниками, продемонстрировала как-то кошка Машка, совершившая на моих глазах настоящий и неспешный круг почёта вокруг дачного домика с пойманным бурундуком в зубах. Она держала свою добычу как раз посередине туловища, не обращая внимания на то, что голова и хвост добычи волочились по земле. И только покрасовавшись и показав, кто на самом деле в подворье командует, Машка не спеша приступила к своей трапезе…

Как я стал пацифистом

Это произошло в достопамятное время первых космических полётов, когда на школьных переменках консервные банки с успехом заменяли футбольные мячи.

Одна из перемен мне запомнилась особенно, ибо именно тогда я совершил свой первый космический полёт через всю школу, мягкую посадку в учительской и стал пацифистом. Согласитесь, что этих трёх событий вполне достаточно и для одной переменки, и для одного рассказа.

Была середина мая. Снег повсеместно сошёл, земля подсохла, и школьный пустырь стал местом паломничества школьной малышни. Да и то сказать, школа наша для игр была мало оборудована. Она делила двухэтажное деревянное здание с продовольственным магазином и конторой сельхозтехники, и рассчитывать на стадион или спортивный зал было глупо.

После звонка с урока школа становилась похожа на Дикий Запад. По прериям коридора мчались стада возбуждённых бизонов, а бледнолицые учителя прятались в классных комнатах, не желая рисковать одеждой, обувью и ногами. Правда, был один краснокожий учитель, прозванный Ковбоем, который умел укрощать бизонов, но о нём речь впереди.

Бизоны стремились на пастбище — школьный пустырь, где их ждали вожделенная консервная

банка и нескончаемый футбольный матч. Спешили бизоны не зря, поскольку каждому хотелось играть, а в матчах, ввиду ограниченного пространства, играли только лучшие из лучших, сумевшие раньше других выскочить из класса, съехать по перилам со второго этажа и преодолеть пересечённую местность, отделявшую крыльцо школы от пустыря.

День этот начался для меня неудачно. На первой переменке я не попал в число игроков. Бизон из параллельного класса хотел обойти меня на финишной прямой, но споткнулся о пересечённую местность, упал и стал причиной свалки.

— Куча-мала детей звала! — кричали оставшиеся и вливались в клубок тел, валявшихся на земле.

Пока я, помятый и поцарапанный, выползал из кучи-малы, первый удар по «мячу» уже состоялся.

Велико и неутешно было моё горе, ибо кто может сравниться, нет, не с «Матильдой, сверкающей искрами тёмных очей», а с простой консервной банкой, выполняющей роль пузатого футбольного мяча! С какой радостью она, освобождённая от свиной тушёнки или килек в томате, отдаётся игре! И только превратившись в металлическую лепёшку, она уходит на заслуженный отдых. Но свято место не пустует, находится новая пустотелая героиня, и матч продолжается.

Матч продолжается и на следующей переменке, я мчусь к чужим воротам, громыхая футбольным мячом, падаю в пыль, скошенный подножкой. Вскакиваю, вижу перед собой того же самого бизона, и футбольный матч плавно переходит в схватку пыльных гладиаторов, которые катаются по земле, всхлипывают от обиды, шепчут проклятия и подбадривают друг друга тумаками.

Болельщики, увлечённые новым зрелищем, кричат:

— Так ему, так. Врежь ему за подножку.

— Сам виноват. Первый полез.

Вслух оценивают шансы соперников и не замечают, как пересечённую местность пересекает, подобно Командору, краснокожий Ковбой — укротитель бизонов. Традиционные сигналы опасности запаздывают, и вскоре Ковбой превращается в ракетоносителя, а у него под мышками копошатся недавние соперники, ставшие неожиданно для себя космонавтами. Процессия медленно движется к школе, и азарт драки сменяется чувством бессилия перед почти механической походкой Ковбоя, его стальными мускулами. Потом приходят ожидание наказания и страх неопределённости близкого будущего.

Постепенно болельщики осознают комизм ситуации, и мучения космонавтов усиливаются смехом одноклассников… Попытки провалиться сквозь землю или превратиться в птицу и выскользнуть из механических рук не приносят успеха. Коридор школы только усиливает смех, и лишь закрытая дверь учительской приносит долгожданную тишину и опускает соперников на грешную землю. Нарушает тишину Ковбой, который говорит:

— Пожмите друг другу руки и поцелуйтесь в знак примирения.

Соперники, обалдевшие от происходящего, выполняют приказ.

— А теперь умываться, — следует новая команда.

И мы покорно идём в умывальник, чтобы, разойдясь к разным раковинам, дать волю воде и слезам…

С той поры я и стал пацифистом. Хорошо, конечно, посидеть на неприятеле верхом и нанести ему урон тумаками и затрещинами, но целоваться в учительской с пыльным драчуном — бр-р-р, противно!..

Второй пошёл

Прошло каких-то пять годков, вобравших в себя пару-тройку крупномасштабных семейных переездов, прежде чем мне довелось поручкаться с директором школы под номером два.

Это был шестой класс, который в силу возрастных особенностей получился самым, пожалуй, шебутным в моей школьно-ученической практике. Директор, получивший в моей иерархии номер два, был молодым, неопытным и полным энергии, которую он использовал на самоличную погоню за прогульщиками уроков всех мастей и расцветок, самоличный их допрос с пристрастием.

Волею судеб автор этих строк оказался в поле зрения вышеназванного директора школы номер два, когда, радуясь собственной свободе, бегал по школьным лестницам, громыхая кирзовыми сапогами, был извлечён из-за дощатого школьного туалета, расположенного на школьной же территории, доставлен в директорский кабинет и допрошен с пристрастием.

Впрочем, спотыкание произошло уже на первом вопросе, заданном мне. Когда я чистосердечно назвал мою фамилию — очень, кстати, неудобную для одноклассников в плане дразнения, ибо дразнилка «икс — неизвестное число» звучит настолько математически верно и логически абстрактно, что не вызывает никакого желания бегать за дразнящими субъектами и тем более откликаться на неё.

Итак, когда я назвал мою «неизвестную» фамилию, молодой директор школы посмотрел на меня с явным недоверием и произнёс классическую фразу, бывшую в то же самое время и своеобразной рекомендацией в плане дальнейших ответов:

— Ты бы мог придумать что-нибудь получше!

Автору этих строк, попавшему в цейтнот и цугцванг одновременно, пришлось умственно напрячься и выдать на-гора специально для директора номер два фамилию номер два:

— Новичков!

Несколько, признаться, обидел меня тот факт, что эта придуманная вгорячах фамилия молодому

и неопытному директору школы понравилась заметно больше, и после признания собственных прогульщицких ошибок и должной порции нравоучений я был с миром отпущен на следующий урок.

Кстати говоря, когда журналисты газеты «Советская Эвенкия» попросили меня для разнообразия подписывать некоторые материалы псевдонимом, мне уже не пришлось ломать голову, ибо псевдоним—В. Новичков—был готов и одобрен, и не кем-нибудь, а самим директором школы.

Как я стал полиглотом

Уверенного в себе человека трудно переуверить, ибо один собственный случай для него весомее сотни чужих. Я, например, убеждён, что полиглотами становятся от волнения. Для сомневающихся привожу подробности «моего» случая.

Не секрет, что у многих выпускников сельских школ в графе «Иностранный язык» стоит прочерк. Есть такой прочерк и в моём аттестате, хотя я, вместе с одноклассниками, трижды—в пятом, седьмом и десятом классах—принимался изучать немецкий язык.

Наиболее запомнился пятый класс, поскольку новый предмет мы моментально применили в своих военных играх. Иностранному разговорному нас не учили, да он, собственно говоря, нам и не требовался. Для выдачи документов разведчикам, идущим во вражеский лагерь, вполне хватало немецкого алфавита. Во всяком случае, рекламаций не было. Противник доверял нашим документам, хотя и знал, что все наши обер-лейтенанты учатся в пятом классе.

Речь, понятно, идёт о тайной войне. В открытом бою документов не спрашивали. Требовалось умение стрелять из самодельного автомата (тра-та-та-та-та-та…) и помнить одно из немногих военных правил: «Если убьют, считай до пятидесяти…»

Седьмой класс прошёл в иностранном плане незаметно. Наши разведчики, используя богатый опыт Иоганна Вайса («Щит и меч») и Николая Кузнецова («Это было под Ровно»), добыли к тому времени все сведения, какие только можно было придумать, противник был многократно и окончательно разбит, да и новый учитель немецкого языка пробыл в нашей деревне не более одной четверти…

В десятом классе никто всерьёз уже не рассчитывал «шпрехать», хотя учитель немецкого языка один раз всё же похвалил меня за прекрасное владение сравнительными степенями при переводе текста. Правда, похвала это относилась скорее к любимой мной географии, чем к иностранному языку, поскольку превосходные степени перевода заключались в том, что Джомолунгма—высочайшая в мире вершина, а Каспийское море—самое большое на земле озеро…

Полиглотом же я стал несколько раньше—после окончания восьмого класса, во время своего первого самодеятельного круиза по Сибири.

(Пятнадцатилетний птенец, выпорхнувший из деревенского гнезда, был немножечко пьян от собственной свободы и огромности мира. Родственники, жившие в больших и малых городах нескольких сибирских областей и дававшие деревенскому пареньку приют на неделю-другую, были заняты своими делами и не мешали свободному полёту…)

Произошло это в вагоне пассажирского поезда, шедшего из Красноярска в другой, не менее дымный, город Сибири. Она мне сразу понравилась. Сидит на боковом сиденье темноглазая девчонка. Одета аккуратно, причёсана гладко, в руках книжка художественная, и волны от неё такие тёплые исходят, как будто дома от русской печки. Сначала я на неё издали смотрел, потом поближе пересел. Сижу, волнуюсь, не знаю, как с ней заговорить, а она книгу отложила и на меня посмотрела. Да тут ещё и колёса вагонные подбадривают: «Смелее, друг! Смелее, друг!..»

Ну я и осмелел.

— Какой,—спрашиваю,—иностранный язык преподают в вашей школе?

— Немецкий,—отвечает она.

Сердце моё сжимается от волнения, а в голове зреют новые вопросы.

«Как тебя зовут?»—хочу спросить я по-русски, но язык отказывается мне повиноваться и произносит на «чистейшем» иностранном:

— Вас ист дас?..

В ответ она недоумённо смотрит на меня и молчит. Затянувшаяся пауза приводит меня в чувство, я снова перехожу на русский и задаю нормальные вопросы про учителей и одноклассников, про экзамены и оценки. Мы мирно беседуем до тех пор, пока сердечное волнение и желание поразить собеседницу не превращает меня в полиглота.

— Вас ист дас?—вновь задаю я свой «законный» вопрос…

Это повторяется несколько раз. Взгляд её из внимательного постепенно превращается в сочувственно-растерянный… Наш разговор обрывается, и я ухожу на своё место с разбитым сердцем…

В десятом классе, с третьей «немецкой» попытки, я понял разницу между «Как тебя зовут?» и «Что это такое?», и что-то острое на мгновение отозвалось в сердце…

С тех пор я отказался от иностранных языков, предпочитая изъясняться на великом и могучем, но по-прежнему убеждён, что полиглотами становятся от волнения.

Художник от слова «худо»

С миром художников я познакомился в шести-семилетнем возрасте. В то время Сибирь была

буквально наводнена ссыльными поселенцами. Называли их в народе по-разному: и тунеядцами, и москвичами,—и не было, пожалуй, ни одной сибирской деревушки, где бы они не обитали. Им, в большинстве своём не знакомым с крестьянским трудом, приходилось нелегко, и многие из них опускались до растительного существования. Наверное, тогда и зародилось движение бичей, ставшее особенно массовым в годы застоя. Среди ссыльных было немало людей талантливых— умеющих показывать фокусы, мастерить игрушки, рисовать. Немудрено, что мальчишки частенько вращались около них в ожидании различных чудес. Одно из чудес произошло на моих глазах и навсегда запало в душу. А как иначе можно объяснить превращение обыкновенной льняной простынки из домашнего сундука в зелёный луг с пасущимися оленями?!

С тех пор и класса до пятого слово «художник» стояло для меня в одном ряду с «чародейством» и «волшебством», а сами художники казались небожителями. В пятом классе в нашу школу пришёл новый учитель рисования, явивший собой как бы оборотную сторону волшебства. Когда он впервые возник на пороге нашего класса—огромный детина с прокуренными зубами и жёлтыми от никотина пальцами, мы невольно покрепче вцепились в крышки своих парт, опасаясь урагана или смерча. Стихийных бедствий не последовало, однако все мальчишки сочли за благо сидеть на рисовании спокойно, хотя на совести нашего класса были и сорванные уроки, и коллективные «уходы» в кино.

Приглядевшись к новому учителю повнимательней, можно было заметить, что он редко меняет рубашки, бывает нетрезв и носит мешковатый серый костюм, обсыпанный перхотью и махорочной крупкой. Однажды меня за какой-то надобностью послали к нему домой, и внутренняя обстановка его комнатёнки, состоявшая из кровати, двух табуреток, стола и нескольких киноафиш для местного клуба, произвела гнетущее впечатление (хотя, замечу в скобках, богато в то время мало кто жил, особенно в сельской местности). Огромный взрослый человек казался узником в четырёх стенах и был беззащитнее и неприкаяннее ребёнка.

Повзрослев, я не утратил интереса к художникам, хотя теперь понимаю, что лёгкость чуда обманчива и что на каждого счастливого чародея есть несчастный двойник-неудачник…

Мышонок и любовь

До окончания средней школы я вполне терпимо относился к мышам. Возможно, этому способствовали кошки, постоянно жившие в нашем деревенском доме. Но в студенческие годы произошёл случай, надолго рассоривший меня с этим многочисленным серым племенем. Хотите—верьте, хотите—нет, но один маленький мышонок причинил мне не только материальный, но и серьёзный моральный вред. А было так.

Наше студенческое общежитие мало чем отличалось от других зданий и сооружений подобного типа. «Пристань» моя путевая представляла собой пятиэтажный дом кирпичного цвета, без балконов, с длиннющими коридорами, вахтёрами недоверчивого вида и плохоньким буфетом на первом этаже.

Внешняя строгость общежития дополнялась комнатной обстановкой, состоявшей из кроватей, стола и встроенных шкафчиков для одежды. Шкафчики эти прозвались октантами, что вполне подходило к их невзрачности. Считалось, что такая спартанская обстановка благоприятствует формированию специалистов.

Но если читатель решит, что студент в течение пяти лет только и делает, что грызёт гранит науки, то, смею вас уверить, он глубоко заблуждается. Студент живёт богатой, хотя и не всегда сытой жизнью, в которой учёба занимает не последнее, но не всегда первое место. Он ходит в кино, театр, посещает музеи, выставки и влюбляется. Кстати, вездесущая статистика утверждает, что студенческие семьи—самые прочные.

Случилась любовь и со мной. Не любовь даже, а какой-то вихрь, подхвативший меня, закруживший на долгое время.

И во сне, и наяву я видел лишь Её лицо. Однокурсники и преподаватели настолько отошли на задний план, что при редких встречах, не в силах полностью отключиться от мысли о любимой, я лихорадочно соображал, кто же это, отвечая на приветствия, казалось, совершенно малознакомых людей. А закончился вихрь неожиданно и печально.

В тот вечер нас ожидала театральная премьера. Надев новый пиджак, купленный на стройотрядовские деньги, я спустился этажом ниже, вошёл в Её комнату и вдруг почувствовал, что кто-то копошится у меня под мышкой. О том, что было дальше, вы узнаете из её прощальной записки: «Я не могу встречаться с человеком, который в присутствии моих подруг пять минут стаскивает с себя пиджак и ещё минут десять трясёт его и топчет ногами».

Вернувшись, я обнаружил дыру в нагрудном кармане своего изрядно потоптанного пиджака, а в самом кармане—огрызки конфеты, и понял, что во всех моих потерях (конфета, билеты в театр, новый костюм, возлюбленная) виноват мышонок, который после сладкого решил отдохнуть в рукаве моего пиджака.

С тех пор прошло несколько лет. Боль утраты постепенно утихла, и я опять вполне терпимо отношусь к мышам, хотя, спокойствия ради, у меня живёт сибирский кот Василий.

Свитер толстой вязки

Наверное, у каждого человека есть числа и даты, которые несут для него особое, таинственное, притягательное, магическое значение. В физике есть такое понятие, как фазовый переход, обозначающее процесс, происходящий во времени, а иногда и просто момент времени, когда вещество, внутренне оставаясь самим собой, внешне меняется, иногда очень даже круто и кардинально. Чтобы не ходить далеко за примером, возьмём двух представителей мужицкой национальности, одного—такого всего из себя твёрдого и блестящего, а другого—напротив, воздушного и легкомысленного. Их имена у всех на слуху. Это лёд и пар. Казалось бы, что может быть общего между двумя такими разнородными, даже разномастными представителями мужицкого рода-племени? Да просто ничего, ничего даже близко общего! Однако если одного из них согреть, а другого, напротив, остудить, то и в том, и в другом можно даже невооружённым глазом обнаружить мягкое, нежное, ласковое, женственное влияние воды. Что тут можно добавить к неопровержимым данным науки? Во-первых, признаться, что и я, оказавшись в пределах досягаемости нежной, обворожительной, приятной, ласковой женщины, как-то так незаметно для самого себя утрачиваю крайние черты своего характера—горячность и холодность, приобретая гармонию. И во-вторых, сопроводить прямой и обратный фазовый переход воды в лёд и пар анекдотом про службу спасения: «„Алло! Это сто первый километр?..“—„Нет, это служба спасения“.—„Вас-то мне и нужно. Я обнаружил двух женщин в бедственном положении. Им нужна срочная помощь!..“—„А что с ними случилось?..“—„Одна из них пришита, а другая прибита“.—„Хорошо, высылаем физически крепкого специалиста по фазовым переходам. Диктуйте адрес“».

Для меня, как для человека, служившего в армии, такими явными и зримыми моментами фазового перехода были и остаются даты призыва в армию и увольнения в запас, то есть переход от гражданской жизни к жизни армейской и обратное возвращение от армейской жизни к жизни гражданской.

Началом фазового перехода от гражданской жизни к армейской службе вполне можно считать сам факт получения повестки из военкомата. Повестка—это своеобразный катализатор, убыстряющий время и способствующий замене одного жизненного алгоритма на другой.

Повестка. Прибыть в военкомат. Комиссия. Признать годным к строевой воинской службе. Прибыть на сборный пункт. Железнодорожный вокзал. «Прощание славянки». Мать и жена. Императивное и сослагательное. Повелительное и повествовательное. Перестук вагонных колёс. Покачивание вагона. «Вы служите, мы вас подождём...»

Пассажирский поезд Красноярск—Абакан (через Саянскую). Плацкартный вагон. Гражданские разговоры и военные мысли. Отец, прошедший всю войну. Старший брат отца, вернувшийся с фронта без ноги. Брат матери, пропавший без вести. Мой старший брат, служивший в Забайкалье и на Дальнем Востоке в то время, когда Китайская Народная Республика пробовала свою силушку мощную в приграничных вооружённых конфликтах с Союзом Советских Социалистических Республик...

И сразу же ещё один, вполне неожиданный и удивительный для меня, фазовый переход—из красноярской суровой и снежной зимы в абаканскую мягкую и тёплую осень.

Областной сборный пункт, три дня и две ночи, двухразовое питание, двухъярусные нары, хождение строем в столовую, новая комиссия, «покупатели», прибывшие за молодым пополнением. Парень, призванный, как и я, из Красноярска и приехавший со мной одним поездом, признанный областной призывной комиссией негодным к строевой службе из-за гипертонической болезни, метавшийся от одной группы призывников, отправляющихся в воинскую часть, к другой с целью не мытьём, так катаньем попасть в армию и получавший везде отказ.

Вечерняя, даже, скорее, ночная пора, железнодорожный вокзал Абакана, построение на перроне, перекличка, пассажирский поезд Абакан—Новокузнецк, появившееся чувство отдельности, обособленности от других пассажиров.

Утреннее прибытие в Новокузнецк, дневное «загорание» на вокзале в ожидании поезда, начало сбора денег с призывников—чёс?—по надобности и без оной. Или Министерство обороны СССР в то время, а это был ноябрь 1977 года, хронически бедствовало, или некоторые его представители хотели слегка подзаработать.

Поезд Новокузнецк—Барнаул с тем же вечерним отправлением и утренним прибытием. Некоторое вполне понятное волнение, поскольку в пределах досягаемости в Алтайском же крае жили мои родители и другие родственники, летучие мечты-фантазии о встречах с ними, свободен—не свободен, продолжение фазового перехода. Разнородные, в тему и не в тему, лирические мысли, занесённые в записную книжку.

«„Кто вы, доктор Зорге?“—„Я коммунист...“»

«Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, синь очей утративший во мгле...»

«А счастье было так близко, так возможно...»

Опять дневное «загорание» на вокзале. Усиление чувства слитности с теми, кто ещё вчера был совершенно чужим, и отдельности от окружающих—«гражданских»—людей. Продолжение сбора денег с призывников по нужде и без оной.

Ещё одно вечерне-утреннее путешествие на пассажирском поезде, только уже по маршруту Барнаул—Рубцовск.

Отправление из Рубцовска в Алма-Ату. Посадка в воинский эшелон с полевой кухней и другими «военными» атрибутами. Пузыри земли, агрессивно просящие и требующие у призывников верхнюю одежду, куртки и шапки.

Слитность в общей направленности и разнообразность в плане питания. Полевая кухня для всех, но у кого-то ещё сохранились домашние припасы, которые с большим удовольствием и уничтожались.

Утреннее прибытие в Алма-Ату. Очередной сбор денег, на сей раз на автобус Алма-Ата—Узун-Агач. Прибытие в часть. Усталость и военно-песенные мысли:

> Прожектор шарит осторожно по пригорку,
> И ночь от этого нам кажется темней.
> Четыре года не снимал я гимнастёрку,
> Четыре года не развязывал ремней…

Про четыре героических года без съёма гимнастёрки и развязывания ремней не знаю, не проходил, хотя на слух воспринимается красиво, а вот ровно неделя в одном и том же одеянии, включая красно-чёрный свитер толстой вязки, утеплённую куртку и шапку-ушанку,—это было. Плюс к тому и шесть фазовых переходов; один—связанный с временами года: из зимы в осень,—и пять—связанных с суточными ритмами: вечером в Красноярске—утром в Абакане, вечером в Абакане—утром в Новокузнецке, вечером в Новокузнецке—утром в Барнауле, вечером в Барнауле—утром в Рубцовске, вечером в Рубцовске—утром в Алма-Ате,—это было. Это было снято до нуля, смыто в солдатской бане и оставлено в ворохе других «гражданских» вещей и вещиц.

Спустя четыре месяца после начала службы попроведовать меня приехали с Алтая мать с племянницей, и командир роты разрешил мне побыть с ними пару дней. Гостиницы при воинской части не было, и их пригласил на постой один из прапорщиков нашей же роты. Едва я вечером переступил порог дома, приютившего моих родных, как у меня сразу же зарябило в глазах и возникло, говоря сегодняшним языком, ощущение дежавю. Оказалось, что не только я совершал фазовые переходы, но и мой красно-чёрный свитер толстой вязки тоже совершил своеобразный переход, перейдя с плеч рядового Виталия Николаевича на плечи прапорщика по фамилии Николаец, который с удовольствием его носил и любовно оглаживал…

Мальчишки становятся солдатами

Нашему третьему взводу учебной роты после тревоги и ночного марш-броска по окрестным сопкам разрешили поспать днём. Это случилось впервые за три месяца службы, и я сразу уснул—желание выспаться было главным все эти месяцы. Однако отдохнуть не пришлось. В казарму пришла экскурсия из близлежащего детского сада. Шести-семилетние мальчишки с любопытством озирались по сторонам, а девочки чинно стояли у входа. Чтобы доставить ребятишкам удовольствие, а может, с воспитательной целью: «Смотрите, как солдаты одеваются, а вы…»—взводу дали команду:
— Сорок пять секунд—подъём!

Потом мальчишек увели, а нас оставили досыпать. Но заснуть я уже не мог, накатили воспоминания…

Первая встреча с армией у меня произошла примерно в том же возрасте. Наша семья жила тогда в небольшой деревушке при льнозаводе. И каждое лето неподалёку от деревеньки разбивала лагерь воинская часть.

> В лесу за деревней стояли походным порядком солдаты.
> Мальчишек тревожил военный таинственный быт…

Появлялись солдаты неожиданно—ночью. И так же неожиданно исчезали. После их отъезда деревенские мальчишки организовывали экспедицию и оценивали каждую забытую или брошенную вещь. Всё сколько-нибудь ценное из того, что можно было унести, становилось нашим достоянием, предметом обмена и игр…

Что стало с теми солдатами, которых я видел мальчишкой, и что станет с теми мальчишками, которые видели меня солдатом? Круг замкнулся. Все поколения, как звенья одной цепи, причастны к судьбам страны. Дважды в год—весной и осенью—в армию приходит пополнение. Что же увидят мальчишки в ваших глазах, сегодняшние призывники—завтрашние солдаты?..

Куплю братика

На улице было сыро, грязно и холодно. Шестилетний Максим сидел дома и скучал. Родители ушли на работу, старшие дети—в школу, а Максим смотрел в окно, и самой собой вспоминалось стихотворение, что несколько вечеров подряд учила старшая сестра:

> Поздняя осень. Грачи улетели,
> Лес обнажился, поля опустели,
> Только не сжата полоска одна…
> Грустную думу наводит она.

Когда старшие начинали учить уроки, было интересно. Он запоминал разные смешные словечки вроде «делитель» или «частное», а потом говорил их сверстникам. Те удивлялись, в ответ строили рожи и дразнились.

Больше всего на свете мальчик любил лето и речку. Он с пацанами сидел в воде до тех пор, пока взрослые не загоняли ужинать и спать.

Но лето прошло, и Максиму стало грустно. А сегодня—вообще не с кем поиграть. Петьке вчера влетело, и он сидел дома. Генка заболел. Будь у него младший брат, он мог бы с ним поиграть хотя бы в армию, которая расположилась боевым порядком между сундуком и печкой. Большинство солдат представляли тюрючки из-под ниток и пустые спичечные коробки, а несколько болтов играли роль командиров.

Наконец Максим решил сбегать к соседям. Он редко ходил к ним, потому что боялся старую-престарую бабку с большими страшными глазами. И зимой, и летом она сидела на лавке возле печки в тулупе и валенках, встречала всех входящих полубезумным взглядом и неизменно говорила: «Пар костей не ломит». Но бабка бабкой, а у соседей был трёхлетний Антошка—для Максима запасной игровой вариант. Кроме бабки и Антошки, в избе была тётя Маша—крупная, черноволосая, она работала продавцом в сельмаге,—мать Тошки.

— Можно, Антон пойдёт ко мне поиграть?—попросил Максим с порога.

— Играйте здесь,—сказала тётя Маша и пошла возиться с чугунками у печи.

Максим попробовал поиграть с Антошкой, но игра не получалась. Бабка не сводила с них глаз, и боевые кличи, которыми положено сопровождать военные действия, застревали у Максима в горле. Он стал уговаривать тётю Машу отпустить друга, и она, расхохотавшись, предложила:

— Заплати деньги и забирай его насовсем.

Максиму очень хотелось иметь братика, и он не стал раздумывать. Тем более что родители из трёх возможных путей появления детей на свет: «принёс аист», «нашли в капусте», «купили в магазине»,—выбрали последний. Мальчик стремглав бросился домой, открыл сундук, нашарил на дне завёрнутые в тряпицу деньги—всю семейную наличность—и так же быстро вернулся к соседям.

Пока Максим тащил Антошку домой, у него стали просыпаться родственные чувства. Теперь уж он никому не даст обидеть малыша, хотя изредка будет давать ему встрёпку, как это обычно делают старшие братья.

В этот день Максим был неистощим на выдумки. Они успели поиграть и в прятки, и в войну, и в тысячу других игр. А вечером пришла тётя Маша, вернула деньги и забрала сына. Взрослые весело смеялись, а Максим забрался на печь и там плакал долго и безутешно, пока не уснул.

Любовь и мультяшки

Про то, что любви все возрасты покорны, я узнал на уроке литературы, но, как говорится, не вник. Конечно, школьники и студенты ей покорны, но вот дальше…

Есть, правда, вечера для тех, кому за тридцать. На них люди как бы заново узнают о своём возрасте: жизнь была приятной во всех отношениях, и вдруг оказывается, что ты уже средних лет. Есть и службы знакомств, которые желают счастья своим пронумерованным клиентам. Но любовь ли это?

Перейдя тридцатилетний Рубикон, я уже начал сомневаться в правоте великого поэта, но…

Лежу я на побережье, грею свои мощи средних лет, и так мне хорошо, что ничего вокруг не замечаю. День лежу, два, неделю—и вдруг чувствую, что на меня действует посторонний источник энергии. К солнцу-то я привык, извёл на себя литра три сметаны, а тут буквально кожа на спине пузырится.

Поднял я голову от газеты, огляделся: батюшки святы, пляж-то полон отдыхающих и загорающих женщин. Стоят, сидят, лежат. С подругами, с мужьями, с детьми. А одна, представьте себе, без подруг, без мужа, без детей. Такая невероятно красивая, что вокруг неё вотум недоверия образовался. В радиусе пяти метров ни одного отдыхающего. Только я в этот круг попал, да и то по причине близорукости к прекрасному полу.

Загляделся я на неё, а она взгляда не отводит, смотрит пристально и улыбается. Похолодело у меня внутри, несмотря на жару, и стал я изучать себя внутренним взором: «Лежит, понимаете, на песке обыкновенный бородатый русский мужик, греется на солнце, и вдруг на него такая внеземная цивилизация глядит неотрывно. Я-то в ней многое нахожу, а она во мне что? Дай окунусь в синее море. Может, перегрелся на песке, и галлюцинации начались».

Повисел я на буйке, вернулся. Всё по-прежнему: и круг пятиметровый, перед которым даже у местных орлов крылья опускаются, и взгляд её невероятной глубины.

Два дня я крепился, а на третий чувствую: всё у меня внутри закипает. В голове мешанина из стихов разного размера, сердце попеременно то в левую, то в правую пятку уходит, в коленках дрожь, в горле комок, взор затуманился—даже газетные заголовки не могу прочесть. «Вот,—думаю,—тебе и бабушка средних лет».

Но делать нечего, вспомнил я, как в старину в романах герои в любви объяснялись, и решил последовать их примеру. Привёл в порядок пиджак и брюки, надраил туфли, почистил щёки и подбородок до последних усов и пошёл на пляж признание совершать. Иду по берегу в полном параде, проваливаюсь в песок, а все на меня, как на голого нудиста, смотрят.

Я же ничего вокруг не замечаю, у меня одна цель: круг заколдованный и она в этом кругу. Подошёл я к ней и произнёс заплетающимся языком:

— Разрешите?..

А она взглянула на меня, ойкнула и говорит:

— Что ж вы наделали?! Вы были так похожи на отца дяди Фёдора из «Каникул в Простоквашино».

До буйка я сравнительно легко — на злости — доплыл, а обратно трудней пришлось, парадный костюм стал злость перевешивать.

Жаль, конечно, что так вышло, но теперь я знаю, что любовь есть, и снова отращиваю бороду.

Клок-Собака

Я стоял на втором этаже аэровокзала в ожидании своего рейса. Было далеко за полночь. Счастливчики, успевшие с вечера занять скамейки, спали. Остальные, лишённые и сидячих, и лежачих мест, были свободны в своих действиях. К таковым относился и я. На душе было смутно, к обычной дорожной неустроенности примешивались желание выспаться, досада на наш первобытный сервис.

Когда стояние наскучило, я медленно побрёл вдоль рядов, пытаясь определить, кого из счастливых лежебок заберёт грядущий через несколько часов рейс в Новосибирск. Постепенно бодрость от движения прошла, голова стала наливаться тяжестью, и я не скоро осознал, что совершаю многократные прогулки вдоль одной и той же скамейки. Усмехнувшись такому открытию, я продрал глаза и увидел в проходе костыли и мужчину с подвёрнутой штаниной, спящего на скамейке. Теперь уже не усмешка, а какое-то колючее чувство шевельнуло память. Присмотревшись, я заметил и помятый костюм, и давно не мытые волосы, свисавшие сосульками, и тощую хозяйственную сумку под его головой. Спал он, повернувшись лицом к скамейке, и тяжело, с присвистом, дышал. Я шагнул поближе, заглянул ему в лицо.

Произошло «короткое замыкание» памяти — и мне стало не по себе от солнечного света, заливающего стадион. Только что закончился футбольный матч на первенство школы, отзвучало традиционное «физкульт-ура», и я, усталый и возбуждённый, уходил с поля вместе с одноклассниками. Я чувствовал себя на вершине счастья. Ещё бы, ведь в первом тайме я замкнул подачу с углового, и мяч от моей ноги влетел точнёхонько в «девятку», а во втором тайме я спас свою команду от верного гола, отбив мяч от пустых ворот. Я чувствовал себя героем и не шёл, а почти летел к раздевалке сквозь толпу ребятни, высыпавшей на футбольное поле. И вдруг моё движение остановил сильный удар в лицо. Боли я не почувствовал, лишь слёзы обиды брызнули из глаз.

Обидчика моего оттащили в сторону, но я успел заметить изуродованное злобой лицо, затравленный взгляд и услышать странное прозвище: Клок-Собака.

Все эти видения в какие-то доли секунды пронеслись в моём сознании. Да, это действительно он, тот самый Клок-Собака, спит на скамейке, положив в проход костыли. Видать, жизнь крепко его ударила — за тот ли солнечный день или за другие неведомые мне дни, в которые он убивал чужую радость.

Мои воспоминания прервала скороговорка диктора, объявившего регистрацию на один из ночных рейсов. Расслышав знакомые цифры, мужчина проснулся, сел на скамейку и провёл пятернёй по заспанному лицу, а несколько минут спустя прошёл мимо меня, грузно опираясь на костыли…

Денис Зуев

Остров сокровищ

Карафуто-Сахалин

Кто бы мог подумать, что под Москвой на глубине тысяча метров находится море, а Микояновский завод пробурил скважину и черпает из этого моря соль?

Межгалактический паром

— А, так вы из Сибири! — говорили мне в Комсомольске.

Но Сибирь ближе, вроде как соседи. А мне казалось, что Дальний Восток — это Сибирь.

Нет. Здесь своя дальневосточная идентичность. Я долго думал, на каком же поезде мне ехать из Комсомольска в Ванино — на местном или на владивостокском. Хотелось ещё сходить в столовую, что на Железнодорожной магистрали у ВЧ. Не торопясь съесть мороженое на проспекте Первостроителей. Погулять рядом с заводом, где делают вертолёты «Чёрная акула». Но расписания паромов Ванино — Холмск я не знал (да его и нет), поэтому решил, что лучше в Ванино прибыть пораньше. Лучше подождать. И правильно, потому что отрезок «железки» до Высокогорного мы успели проехать до наступления темноты, а владивостокский шёл бы уже ночью. Между тем это один из самых красивых участков БАМа, а соответственно — Российских железных дорог.

Россия, как гласит плакат на станции Сковородино, — великая железнодорожная держава.

Поезд пересекает хребет Сихотэ-Алинь, зелень, реки вокруг, сопки кучерявые, скалы. В вагон периодически подсаживаются местные жители — шумные, с плаксивыми детьми. Начинают ссориться между собой, и до Ванино толком поспать не судьба. В Ванино пошёл искать порт — ведь в нём паром! Точнее, под видом «искать порт» (а в нём паром) мне надо было найти туалет. И дорогу в порт в утреннем дожде я не увидел. Оказалось, что билеты на паром продают сразу на ж.-д. вокзале, а в порт отвозят на автобусе.

— Билетов на паром нет, — гавкнула кассирша. — Следующий в пятнадцать ноль-ноль.

И опустила бронированную заслонку кассы, отчего коммуникация прекратилась. А «восьмёрка» отходит уже через час — в восемь ноль-ноль. Но полезно подслушивать, что говорят люди, и вмешиваться в их разговор. Например, рядом стоящая женщина сказала, что билетов на паром у неё не было, а билет она купила на пароме. Я переспросил — она сказала, что надо просто сесть в автобус!

На паром надо попасть, вот и всё, с билетом или без. Есть автобус, который проезжает на территорию порта к самому парому. Тётка-агент заскочила в автобус и предупредила, чтобы безбилетники в автобус не заходили.

Щас.

Проехал до самого парома и хотел проникнуть в грузовой отсек, но это не «Викинг Лайн» и не «Хуртигрута». Здесь не так просто: во-первых, грузчики стояли цепью и сразу просекают, во-вторых, всё в вагонах, просочиться негде.

— Ты куда?

— На паром.

— Обходи — там для пассажиров вход.

Там, где для пассажиров вход, — тётка-агент и моряки. Старший с рацией, как в былые времена на крыльце у советского кинотеатра, тихо проходит и спрашивает:

— Кто без билета? Кому билет?

Я встрепенулся, но пристроился к остальным. Оказался не один.

— Мне билет не надо, — сразу сказал я волшебную фразу.

— Миша, спусти трап человеку.

Магическим нажатием кнопки волшебник Миша без заминки спустил мне трап. Я поднялся. Миша улыбнулся:

— Русо туристо? Посиди на корме.

Потом мне показали каюту, но за неё надо больше денег, чем за сидячее. А мне зачем каюта? Я спать не хочу. Попросил сидячее, дал восемьсот рублей, билет не просил, записал телефон благодетеля. Позже перебазировал свой рюкзак сначала в курилку, а потом, когда вышли из порта, перебросил вещи в левую веранду. На верандах полно мест — даже есть диванчики. Но диванчик занял наглый немец и так от него и не отрывался. Словно прирос к дивану. Странный немец, приросший к дивану. Сколько я мимо ни ходил — он от дивана не отрывался, как приклеенный. Я ему даже хотел намекнуть: не пора ли вам сходить

погулять? Но воздержался. Немец спал, ел, читал на нём, боялся, что отберут. Собственно, спать не хотелось — не хотелось пропускать интересное.

Интересное пропустить было сложно. Наш «Профессор Шварценгольд» шёл не торопясь, на одном винте.

— Идём — как кого-то хороним, — сказал пузатый и усатый дядька из Ставрополя.

Живёт дядька на материке, но сам из Невельска, едет к брату — порыбачить, посмотреть, что от города осталось после землетрясения.

— Всю ночь на вокзале просидели, ждали эту «восьмёрку», все кафешки в Ванино обошли. А мне так свезло, так свезло — с бала прямо на корабль.

Кстати, из интересного можно отметить воду и небо до горизонта.

Вскоре всех билетных пассажиров стали кормить гречкой с чаем и кексами — купоны на еду давала при предъявлении билета на посадке тётка-агент, но у меня «в рюкзаке есть сало и спички и Тургенева восемь томов», а кипяток в столовой прост и доступен без пароля, как Wi-Fi в Шереметьево. Разговорились с соседом-путинщиком, который не мог открыть чайную упаковку — я помог… Похоже, что все билеты скупают именно они.

— В Приморье работы нет. Решил не платить за анкеты неизвестным фирмам по четыре тысячи рублей и поехал сам с друзьями наобум. Контракт на месте. Хорошо, если пятьдесят тысяч за три месяца заработаю.

Обе веранды заполнены в основном путинщиками — киргизами и узбеками, судя по разговорам. «Жили-были два узбека, два богатых человека, на барханах мак растили, с Сахалина вывозили», — вспомнил я песенку из «Дня радио» и слегка переделал её. Были ещё шумные приморские женщины, молодые путинщицы. Пили в основном они, играли в карты, ругались тоже они. Мужики тоже были не все трезвые, но вели себя достойно, даже делали женщинам замечания — не ругаться матом. Нельзя делать женщинам замечание не ругаться матом. Мужиков ставили на место. На пароме прочитал стопку газет «Гудок», которые мне с радостью отдали в Комсомольске в отделе корреспонденции на вокзале. Ещё была книжка: «Курильские острова — чьи они? Мифы и действительность». Историк из Владивостока — некто Чечулин (я так понял, часто бывающий в Японии на отработке японских грантов) — утверждал, что Курилы не наши и вообще мы воевать не умеем. Я читал и удивлялся. Читал и узнавал много нового. Союз оккупировал Южные Курилы по приказу Сталина (возможно). Хотели даже захватить под шумок и Хоккайдо (любопытно), но вовремя остановились. Мол, японцы давно уже капитулировали, а мы их продолжали мочить — остановиться было сложно после девятого мая. Если русские начнут мочить, закрывайте ставни — и в подвал. Альтернативное видение курильской проблемы (ли?). Да и повторный шум, что немцев завалили трупами, поэтому и победили, — не впечатляет. Позже один попутчик мне рассказывал, что когда его брали на службу на Курилы — первым делом проводили политопрос. Задавали вопрос типа: Курилы — чьи? Конечно, наши, — надо было отвечать. Чтобы никаких сомнений. А я читал книжку и мечтал о Курилах. Об аэродроме «Буревестник», откуда японские камикадзе взлетали бомбить Пёрл-Харбор. Садиться на аэродроме не было предусмотрено.

Ночью прибыли в Холмск, Шерлок Холмск. Старший с рацией помог найти нужную фуру, и часа в три я был уже в пригороде Южного. От водителя я узнал много нового: например, что некоторые представители правящей элиты — в основном нетрадиционной ориентации и зря отдали остров китайцам, теперь рыбачить неудобно. Об этом, кстати, на Дальнем Востоке говорят все. Оно и понятно, Москва отсюда — дальше не бывает. Лопухи. В свете фар возникли лопухи. Первое, что меня поразило, — это размер лопухов и травы. В лопухах можно спрятаться и переждать дождь — настолько они огромны. Так я и не пережил этот лопуховый шок. Размер травы и её высота меня просто пугали. Заходишь в траву — и ничего не видно. Утонул в траве. Сахалин!

Утром я встал под трели неведомых птиц — долго гадал: это чайки или какие-то поморники? Нет, это сахалинские вороны, они не каркают, а акают. «А-а-а». Может, этот вороний диалект остался от японцев, а может, это сахалинский вороний язык. В результате удивительный язык ворон тоже был и остался частью сахалинского культурного шока. Разрешите на Курилы!

То, что я считал главной проблемой, оказалось совсем не проблемой. В Южном на проспекте Победы (чаще всего встречающаяся улица на Сахалине), напротив пятиэтажки с гордым лозунгом «Наша цель — коммунизм», находится отделение пограничной службы, где выдают разрешения на посещение Курил, островов Тюлений и Монерон. Сахалин уже не является пограничной зоной — всё, условно говоря, открыто. Но я попал в пограничное время — время обеда. Поэтому пошёл до ж.-д. вокзала, узнал про столовую «Цех питания», отправил открытки и снова вернулся на Победы. У меня без удивления приняли анкету и даже на мою просьбу сделать в этот же день тоже ответили положительно. Удивились только срокам разрешения:

— Это вы за двадцать дней хотите три острова посмотреть? Это проблематично. Туда выбраться ещё ладно, а оттуда — гораздо сложнее. Погода там непредсказуемая. В крайнем случае — пропуск можно продлить в любой погранчасти. Если не продлите — будут проблемы. С Шикотана на Кунашир постоянно рыбаки и пограничники ходят, с ними можете добраться. А на Итуруп сложно.

Потом мне рассказали, где теперь продают билеты: фирма «Фрегат» на Коммунистическом проспекте. «Фрегат» был закрыт, а по телекому мне сказали, что «Фархутдинов» будет завтра! Но по секрету: будет ли «Фархутдинов» завтра, не знает даже сам шайтан.

Разрешение я получил, купил продуктов и рванул в Корсаков: вдруг проскочу с помощью доброго старпома? Но так просто — на Курилы. Завтра. Ха-ха-ха. Казалось совсем нереально, и даже не казалось… Выехав до Хомутово (местная Рублёвка), пересел на автостоп. Двое парней подбросили меня до холма, откуда по тропе можно выйти и увидеть Пригородное, там построили завод по сжижению газа, и ночью он светится, как Лас-Вегас. Местные жители частенько приезжают на высокий берег полюбоваться огнями. Ночью он не просто светится, но ещё и пускает огонь. Туда приезжал президент. Президенты вообще любят приезжать на заводы, связанные с нефтью и газом (да другие-то и не открывают). Тропинка по берегу, которая вела к Пригородному, вскоре спустилась к берегу. На тропинке я удивился клещам, которые ползали по штанам, а на берегу удивился громким вздохам и похрапываниям — наверное, нерпы. Из трубы била вода — это тот самый водопад, о котором говорили парни, здесь они машины моют. Стемнело моментально, прошёл до маяка, а потом поставил палатку за городом на пляже. Всю ночь в пол долбились какие-то то ли блохи, то ли мухи. Такие прыгающие насекомые, их я видел ещё в Шотландии. Да так и не выяснил, что это за вид. Безвредный, но шумный, особенно если посветить фонариком, тогда они начинают скакать, как ирландские сеттеры на прогулке.

Не было «Фархутдинова». Взяли и отменили. А билеты вернули пассажирам, так мне сказали по телефону «фрегатцы».

— А следующий когда?

Билеты есть только на двадцать первое августа (то есть через месяц). Курильская тема закрыта. Я же был готов к такому повороту — такие они нереальные, Курилы, даже бамбук там растёт. В кассе корсаковского порта сказали, что теперь Курилами занимается только «Фрегат» в Южном, все билеты только у них, и лучше бронировать заранее — желающих, особенно в путину, очень много. Туристов практически нет, едут на заработки. Вот эти путинщики и раскупают все билеты. Обратно в Южный. А электричка уже ушла.

— Да залезай, конечно. Только машина всяким говном пропахла.

Машина пахла всего лишь рыбой и морепродуктами, но меня этот запах не тяготит.

— Да я поваром весь Дальний Восток обошёл, двадцать лет отработал — и что я имею? Эту ложкомойку и двухкомнатную в хрущёбе! А этот на «Лэнде», смотри, — ну откуда у него такие деньги? Он же не работал никогда. Я рыбу продаю, но ведь не дают мне её даже резать — филеровать! Друг хотел заняться ветряками — не дали: берите в долю. Друган, вместе ходили на Камчатку, устроился к американцам — инженер-электрик. Ему служебную машину, коттедж, зарплату двести пятьдесят тысяч. Он мне говорит: «Я только сейчас понял, как надо жить»… Смотри — даже гольф-клуб построили, всё для человека, свои городки, на специальном автобусе ездят. А эти… чиновники всю жизнь испоганили, дорогу нормальную сделать не могут!.. Думают только, как всю нефть выкачать и свалить отсюда. А на Курилах! Эта программа развития Курил. Там же х…ву тучу денег отмыли. Этот кооператив «Труд» — уже двадцать лет! А каждый год вся бухгалтерия сгорает! Ты можешь представить: вызывают комиссию — построили культурно-развлекательный объект для молодёжи. Комиссия на вертолёте прилетает, смотрят — а там церковь…

Кок продолжал:

— Курилы! Единственный раз в жизни я видел смену дня и ночи — на Курилах. Смотришь на запад — ночь, а на востоке уже день начинается. А потом встали под Тятю, мне говорят: «Смотри», — я вышел, смотрю, ничего не вижу. «Ты выше смотри». Ё-моё, а там Тятя! Эта шапка в снегу! А запах какой! Паришься ты на этой железяке несколько месяцев, подходишь к островам, а тебя волной лесных запахов окатывает, и так на землю хочется. Да на Курилы попасть не проблема, надо было пройти в порт к судам гидростроевским — и всё, тебя бы взяли. Они там всегда грузятся. Через пару дней был бы на Курилах. Сказал бы: «Я к Васе-механику», — и всё, прошёл бы в порт. И уехал бы на Курилы. Чего, вернёшься в Корсаков?

— Нет, наверно, я уже решил, что Курилы не сейчас.

— Ну, дело хозяйское.

Острова вымечтать надо. Курилы я ещё не вымечтал. Значит, остаётся Сахалин. Тоже остров.

Чехов рулит

Погода звала на пик Чехова. Для начала я заглянул в «Цех питания» (столовая) недалеко от ж.-д. вокзала и рванул, как только может рвануть человек после двух порций супа, второго, салата с кальмаром и свекольного салата, в центральный парк. За ним начинается грунтовка на перевал Чехова и пик Чехова. На Сахалине есть ещё много улиц Чехова и городок Чехов. Однако как бы Чехова ни любили на Сахалине, он на пару метров ниже Пушкина.

Перед дорогой на Чехова остановился микрик; я спросил у водителя, как выйти на дорогу на перевал. Игорь охотно подбросил до дороги и полюбопытствовал:

— А если мишки, чего будешь делать? Надо хоть фальшфейр брать. (Но в Южном я их не нашёл.)

Смотри, осторожно. Вот номер телефона, если что — звони. Спустишься — позвони, я тебя покатаю. Только не пугайся, не за деньги, так просто — город покажу.

Не доходя до перевала, от дороги влево сворачивает тропа на Чехова. Тропу не видно из-за кустов. Народу было немного, потому что будний день. Была группа южносахалинцев и девушек из Москвы. От Бородавки на пик мы идём вместе с Алексеем. Бородавка — скала, от которой тропа спускается на седловину и идёт в полном тумане на Чехова. На Чехове стоит триангуляторная будка, построенная ещё японцами. Сам триангулятор свалили, а на будке написали: «Здесь нефти нет».

На Чехове сырость и нулевая видимость, Алексей показывает мне на телефоне панораму, которая должна быть при отсутствии тумана. Я представляю себе эту панораму, любуюсь, и мы спускаемся вниз. На днях вся общественность Южно-Сахалинска искала японца, который пошёл погулять и заблудился в тумане. Видимо, хотел слиться с Карафуто, нашли его, голодного, ободранного, с другой стороны горы. Японец рассчитывал, что здесь всё отмечено, нарисовано, люди везде ходят. На вершине было холодно, а на триста метров ниже уже жарко. Вот она, граница тепла и холода, — на Бородавке. Алексей расстроился: он всегда думал, что пик Чехова высокий, а тут приехал человек из Красноярска и разрушил его мировосприятие. Я показываю ему цифру на гпсе и на карте: 1046 метров, не больше.

— А я думал, что почти две тысячи.

Алексей вообще отдыхает только в горах.

— Каждый выходной хожу в горы. Сахалин меня не отпустит. Ездил я один раз на материк, а потом уже и неохота было. Хотя заблудиться на пике не так уж просто — везде тропинки, которые стекаются в главный маршрут. Выше шестисот метров — кедровый стланик, чем верхний пояс сахалинского хребта очень похож на Забайкалье; а вот нижний этаж растительности на Сахалине сильно непохож на материковый. Я привык, что сушняка у нас завались, а тут какие-то лианы и ольха. Непривычно: ни пеньков, ни ёлок. С дровами вечером вышел напряг. Не сориентировался я, где были сушины, там не остановился, а ниже по дороге — какие-то ветки и трава. Ночью, треская по лопухам, ходил искал дрова с фонариком. Наварил макарон впрок до следующего дня.

Привет новым местам!

Утром меня встретил Игорь, отвёз к себе домой, накормил, дал в дорогу японских орешков, куксы и отвёз на трассу. Дальше была неожиданная остановка в лесу. Здесь строится рыборазводный завод, и Лёва ехал на вахту.

— Смотри, если хочешь — оставайся, порыбачим.

В лесу пара вагончиков; попили чаю, поели супу и пошли рыбу ловить. Рыбы было немного, но лосось, бегущий по камням, — это редко увидишь на материке. Рыбу просто сачком берёшь и ловишь.

— Вот самка — морда тупая, а это самец — горбыль такой, морда острая.

Рыба готовится просто: можно завернуть в сахалинский мегалопух, закопать в землю, а над ней — угли. Икра готовится за пять минут: окатывается кипятком, палочкой собирается плёнка. Икру просаливают, потом промывают. Пятиминутку надо сразу есть. Уха по-сахалински ещё проще: варится рыба, потом мясо выбрасывается, и закидывают банку тушёнки. Коптят по-сахалински так: над костром ставится бочка, в бочке подвешиваются рыбины, под ними в бочке раскладывают ольховые дрова. Дрова дымят, рыба коптится. Свежая горбуша, пока с неё сок течёт, — просто объедение.

Поймали двух самцов и самку. После ужина я смотрел фильм «Проект „Валькирия“» про заговор против Гитлера. А Лёва достал свой пакет и предупредил:

— Денис, ты не обессудь, а я займусь своим делом. А вообще надо завязывать с этим делом.

— С чем?

— С наркотой.

Лёва вывалил в кастрюлю зёрна мака, а потом налил растворитель. Стал варить, вдруг что-то вспыхнуло. Лёва сосредоточенно потушил — не в ту сторону огонь убавил. Тряпка загорелась. Забавно. Спереди Том Круз — одноглазый и однорукий, сзади Лёва варит ширево и пускает огонь на газовой печке. Меня пронизывает мысль: если мы тут рванём на газовом баллоне, то рыбалки завтра не будет. На следующий день поймали двух самцов и самку. Я варил уху, Лёва готовил меня в дорогу: дал три рыбины, тушёнки, сайру, кекс-рулет, чая, соли — рыбу или икру солить, макарон и гречки. Лёва — такой простой, хороший парень, но ночью я даже думал, не свалить ли мне: вдруг что?

Островки счастья

Лаперуз утверждал, что Сахалин — полуостров, Крузенштерн тоже был уверен, а оказалось, что остров. Все на Сахалине уверены, что асфальт до Макарова. Но это не так, асфальт — островками счастья: то есть, то нет. А от Поронайска до Тымовского дорога вообще депрессивная — кусты и пыль. Больше писать не о чем. Все едут очень медленно: кажется, будут останавливаться. Но не останавливаются. Только добавляют пыли. Между Тымовском и Поронайском находится важный географический район — бывшая граница Японской империи и России. В краеведческом музее есть даже любопытный артефакт — пограничный столбик сухопутной границы России и Японской империи. Здесь, у местечка Харамитоги, находился

японский укрепрайон. Японские дзоты, испещрённые пулями, до сих пор стоят у дороги, а в лесу находят японские склады, мины и так далее. В Рощино японская фирма поставила совместный памятник «Русским и японским воинам, погибшим на Сахалине и Курилах». Так оно понятнее — не то что на памятнике советских времён «Воинам, освободившим Сахалин». Южный Сахалин не был оккупирован, он был японским — всем известно. Японцы даже имели нефтяные концессии на севере, в районе Охи, в нефтедобычу вкладывали огромные деньги. Смирных, Буюклы — названия посёлков в районе бывшей русско-японской границы — имена отличившихся военных в ходе боевых действий.

По чеховским местам

Оказавшись в Тымовском, решил сразу заехать в Александровск. Погода просто звала на море. Александровск из каторжной столицы Сахалина в девятнадцатом веке превратился в захолустье, даже «железка» сюда не идёт, а ведь всего каких-то пятьдесят километров. Дорога идёт через Верхний Армудан. где когда-то были лагеря. Зэки строили «железку» до Погиби и рыли туннель на материк — 506-я стройка. Где-то по хребту проходит узкоколейка, по которой вывозили уголь с шахт в районе Александровска.

В Александровск Чехов прибыл поработать по специальности, как и многие сейчас делают, — ненадолго, на одну вахту. Долго на Сахалине трудно продержаться. Поэтому, по мнению сахалинцев, здесь всё как-то временно — дороги, жильё. Дороги не асфальтируют, временные поселения нефтяников то появляются, то их снова разбирают, перевозят в другое место.

От нечего делать Чехов занимался соцопросом, точнее — переписью населения. С политическими встретиться Чехову не разрешили, а их было несколько десятков, в основном народовольцы. Лечил каторжан-народовольцев, ходил на пикники с японцами в Корсакове. К сожалению, в музее Чехова (дом какого-то каторжанина, где он бывал) ничего особенного нет — всё забрал музей в Южном.

В Александровске я оставил рюкзак в офисе водоканала у Светы, знакомой Лёвы.

— Ничего, если я поздно вернусь?

— Ничего страшного.

И налегке поскакал к «Трём Братьям» на мыс Жонкиер. У «Трёх Братьев» наблюдал, как весьма пожилая нудистка острогой пыталась поразить рыбу, а может, просто играла с острогой. Туннель, который построили ещё каторжане, ведёт в другой мир, здесь не видно ни порта, ни разрухи, ни угасшего городка Александровска. Здесь всё так же бодро светит маяк, а волны ломают пляж так, что не покупаешься. Только природа. Я шёл и шёл, пока не дошёл до Дуэ; здесь был военный пост, когда приезжал Чехов.

Первые каторжане в Дуэ прибыли из Сибири ещё в 1859 году; оказывается, можно было ещё сослать дальше, чем в Сибирь. Потом проскочил до «Папахи Чапая», но дальше не дал пройти прилив. Прилив сильно не хотел меня пускать и обратно, поэтому местные ребята в палатке у костра сразу сказали: не пройдёшь — возвращайся к нам. Но я прошёл, хоть и с намокшей задницей. В Дуэ уже был затемно, на машине выбрался в город. По дороге сбили огромного зайца. А в городе уже была ночь. Света пришла, открыла офис, и я забрал рюкзак.

Тут позвонил Лёва, он думал, что меня пригласят переночевать. Но, имея под боком море, мне не очень хотелось ночевать не на свежем воздухе.

— Вам туда, а мне туда, — сказала Света, и я пошёл в сторону моря.

По дороге из темноты образовался попутчик, парнишка стал меня расспрашивать — откуда и куда. Сам он из Тымовского, в ДОСААФе учится на водителя по направлению военкомата.

— Да вот в драке нос сломали. А вы можете срезать через лес по нашему автодрому, не надо будет по трассе идти. Вот в дорогу возьмите — огурцы, помидоры, пирожки, я и так уже наелся. Берите-берите, я в столовой дежурю.

У меня возникла сахалинская проблема, о которой писал ещё Чехов, — обилие съестных припасов в пути; я просто не успевал всё съедать, а отказываться не разрешали. Может, это островная особенность?

Автодром — это не одна дорога, а целый клубок. Пока я его распутал — проголодался. И вот снова на море. Вдалеке огоньки кораблей, слева порт. А мне завтра на север. Утром просыпаешься, а в окошко — море, волны, солнце, корабли. Как неправильно мы живём: встаём, зеваем, принимаем душ, едим кашу, садимся в автобус. Хоть раз в жизни можно сделать правильно: проснуться, посмотреть на море, зевнуть, искупаться, глотнуть солёной воды, прогнать сон, выжать полотенце, сложить палатку на ветру — и вот уже Половинка.

В Половинке тоже был рудник. А теперь просто дачный посёлок. Воды мне набрал местный дед. Отчего-то грустный, он молча пригласил к себе домой попить чаю, молча сорвал с грядки огурец, молча протянул мне.

— А чего на Сахалин?

— Посмотреть.

— А, ну, посмотреть можно, а жить нельзя. Каторгой был — каторгой и остался. Яйцо не разбивай о столешницу, об лоб надо.

Не успел я допить и первую кружку чаю — подъехал милицейский «уазик». Деда позвали; дома ещё был сын, он тоже стал собираться.

— Сигареты взял?

— Взял.

— Ты допивай чай, нам собираться надо,—закончил дед.—Всегда они не вовремя. Возьми с собой чего-нибудь.

Быстрая была кофе-пауза. Парня посадили в «уазик», дед тоже сел. Я пошёл дальше молча по берегу.

Так я и шёл—то по песку, то по гальке. Ветер гнал понизу песок и обжигал ноги. Я сбрасывал рюкзак и нырял в море. Потом ополаскивался в ручье и шёл дальше, изредка поглядывая на горизонт: вдруг косатки? Но косаток не было, да и нечего им тут делать—рыбы-то нет на западном берегу. Зато какое море: барашки до горизонта, цвета зелёной лазури. И весь этот берег от Дуэ до Мгачи был полон каторжан, вольнопереселенцев. Здесь начинался русский Сахалин.

Собственно, шёл я в Мгачи, чтобы встретиться с Ромой, о котором мне рассказал Игорь и дал мне его телефон. Игорь периодически звонил и спрашивал, где я и как. Я позвонил Роме, раз уж Игорь захотел, но Рома меня не знал и потому куда-то уехал, когда я прибыл в Мгачи. Это упростило моё пребывание в Мгачи. Я погулял у пирса, на котором загружали уголь с шахты, прошёл к остановке и уехал на маршрутке.

Из Мгачи выбраться несложно, сложнее вечером уехать к поезду Тымовск—Ноглики. Последние лучи заходящего солнца, меня ещё видно, но машин нет. Стою на пригорке.

Странно придумали: вот приехал я в Тымовск—и как мне добираться в Александровск? Ни автобусов, ни попуток. На такси! Мужики едут встречать знакомых, я оживил их разговор:

— Тут буквально двадцать лет назад вовсю на лошадях ездили, машин мало было, автобусов тоже. Я помню, мы ехали на лыжные гонки в Южный на санях.

Касса в Ногликах к приходу поезда ещё закрыта, надо покупать в вагоне.

Горячие Ключи

Вот и горячая ванна; правда, после двухдневных загораний больно в серном кипятке вариться, да и дольше десяти минут нельзя. В Горячих Ключах ещё пахнет диким туризмом, никаких санаториев или билетных касс. Ванны обжиты местными охотниками, которые прикрепили таблички со своими именами. Иду по узкоколейке к мосту. Костя предлагает за икрой сходить. Как за ягодой. В руках у него два пятилитровых бидончика из-под майонеза.

Идём по икру.

— Речка тут тихая, так что рыбинспекция здесь не бывает.

Костя каждый день собирает по два пятилитровых бидончика икры. Бабушка живёт здесь уже сорок лет, она умеет солить икру. Самцов выкидывает, самок порет и тоже выбрасывает. Огромные трёхкилограммовые горбыли шлёпаются в мягкую, но лечебную грязь; я тихонько шлёпаю босиком, чтобы грязь не брызнула вверх. Ноги уходят по самые колени. Народ рядом тусуется. Мажется грязью. Рядом рыба валяется, гниёт, чайки пируют. И вот тепловоз откуда-то из лесу вылез, а я икру промываю. Делаю пятиминутку.

— Можно с вами прокатиться?

— Мы только двадцать километров в Даги.

Поехали. Медленно идёт ТУ7. Перепрыгивает с рельса на рельс, на поворотах тихо идёт.

— Здесь один завалился в прошлом году.

Из двухсот километров узкоколейки Оха—Ноглики осталось только двадцать, последние двадцать километров когда-то самого медленного поезда в мире. Это историческое путешествие, больше этого не повторится.

Машинист чёрный, как будто трубу чистил. Два таджика-рабочих разбирают рельсы, рельсы отвозят в Холмск, грузят на паром и увозят в Китай. Всё разбирается. Ничего на Сахалине не собирается, кроме нефтепроводов. Зачем железную дорогу разобрали? Теперь в Оху только на маршрутке можно попасть. Но местные знают, когда ходят вахтовки, это единственный транспорт по расписанию.

Аризонская мечта

От Дагов до Охи раскинулась Аризона или Техас. Нефть. Пески. Медведи на дорогах. Pinus Sibirica (охинская лиственица). Внедорожники. Outback. Американцы на «Крузерах».

Только к вечеру я добрался в Оху—район нефтяных промыслов. Прямо у границы стоят качалки «Роснефти» и памятник «Оха—город нефтяников». За памятником-то я и разбил бивак. Утром добрался до бывшей станции Оха. Теперь это гостиница для сборщиков металлолома, здесь дорезают последние рельсы, грузят на грузовики и увозят в Холмск. У сторожа оставил рюкзак и пошёл на промыслы. Провода какие-то, нефть вокруг.

— А где Зотовская вышка?

— А во-он там деревянный домик.

Зотовская вышка была первая здесь, потом были японские концессии, теперь «Роснефть». Но нефть в Охе заканчивается, зато в Москальво качают хорошо—ту нефть очень японцы любят. Накормим японцев вкусной российской нефтью, нам не жалко. Засрём, зальём всё чёрной жидкостью, лишь бы японцам было приятно.

Пока нефтяная кровь приливает, живёт город Оха. От малокровия будут проблемы. А сейчас огромный экран стоит на центральной площади—сидит народ и смотрит новости. Такой огромный коммунальный телевизор на свежем воздухе.

На вокзале-магазине спросил про автобусы: сказали, что ходит маршрутка утром в Ноглики, надо звонить, заказывать место. Ну на фиг надо. Поеду так.

Заказал икры две банки и пошёл в местную газету «Охинский нефтяник»; от редакции остался один этаж из четырёх, зато газет мне дали на неделю. Заходите ещё! Люблю читать местную прессу. Медведи, выработка, праздник малых народностей, наркомания, чисто сахалинская специфика.

В музей зашёл — как не зайти? Узнал про рыбу калугу: чудо-рыба, от неё ведро икры набирают. Правда, теперь ловить её можно только малым народностям. Им разрешено ловить рыбу где угодно, сколько угодно, а если не можешь сам наловить, то тебе привезут твою квоту. Наловят народности рыбу и делают мос — блюдо такое. А не наловят — садятся в кружок и играют на музыкальном бревне. Отмечают праздник медведя. Пьют керосин-воду и жизни радуются.

— А вы съездили бы на Одопту, там киты часто бывают, в районе Пильтунского залива корма много, — предложила экскурсовод в музее. — Вахтовка сегодня в семь утра и в семь вечера отходит.

Я рванул на станцию — пункт металлолома, где рюкзак был. Схватил рюкзак — и на остановку «Магазин „Пионер-2“». Никого, ничего. Оранжевые вахтовки не идут. Мужиков тоже нет. Подозрительно. Тётка семечки продаёт — говорит, что не видела. Подходит местная красавица в рваных джинсах, с синим глазом и синим носом. Сенегальская красавица.

— Братишка, а ты куда собрался с рюкзаком таким?

— На китов посмотреть.

— Правда, что ли? А где здесь киты?

— В Одопту.

— Выручи — дай двадцать рублей, на пиво не хватает.

Дал я десять рублей местной красавице-синеглазке. Дал потому, что рюкзак рюкзаком назвала, а не чемоданом. Даже в столице таких грамотных не всегда встретишь. А между тем думаю: вдруг это как в сказке «Старичок-лесовичок»? Помоги, добрый молодец, ты не поможешь — он на тебя трудности нашлёт, в медведя превратит! Правда, являются ко мне чаще синеглазки, а не даосы-небожители. Но в этом-то и суть, ду́хи они неприглядные, так лучше проверить можно.

Проходили автобусы с загадочными маршрутами: ЦРБ — НЦДНИТ. А вахтовка не пришла. Пока синеглазки не вернулись за вторым пивом, пошёл обратно на станцию. Оставил рюкзак и вернулся в город Оха.

Мир огромный. Когда я здесь ещё буду?

Магазины в Охе — россыпь названий. «Лиана-2», «Фрекен Бок», «Изобилие-1», «Изобилие-2», «Тибет Плюс», «Сеул-1», «Сеул-2», «Самый красивый ребёнок». У телевизора возле мэрии уже больше народу собралось, молодёжь сидит на лавочках, обсуждает дела амурные, пивом запивает, шашлыками попахивает. Недалеко костёр горит во дворе жилого дома — это открытое кафе. Часы почему-то время показывают по Иркутскому меридиану, хотя в НГДУ показывали местное время. Время разное, а дата одна. Градусов шестнадцать по Цельсию.

К китам

В нефтеразведке НГДУ мне на вахте дали точное расписание вахтовок. Другого транспорта в этих краях нет. Местные люди знают, когда вахтовки идут, ими разумно пользуются. Хотя поговаривают, что иногда не разрешают ездить: мол, спецтранспорт, а не бесплатная маршрутка. Вахтовки остановятся и спрашивать не будут — нефтяник ты или просто на китов посмотреть.

Потом я узнал, что можно было и на Шмидта съездить к «Трём Братьям» — туда вахтовка идёт в Колендо и дальше ещё. Но мне в Одопту, а «Трёх Братьев» и с Пионерки видать. Пионерка — это засранное озеро на на севере Охи, оно божественно красиво, но засрано. Ещё в Пионерке не купаются, потому что от кладбища местного стекают туда трупные яды. Нырнёшь в него — и вынырнешь, но на другом свете. Как шаман. И мухоморов есть не надо.

Мне лучше в место чистое и не загаженное. На промысел мне в Одопту-море. Завтра будем в Одопту, завтра будем с китами. На бывшем вокзале, нынче складе металлолома, меня супом накормили и в гараж спать уложили на верстак. Рано утром, ещё темно было, уже стоял с мужиками и ждал вахтовку. Залез в вахтовку.

— Гутен морген.

Это потом уже мне объяснили, что за немца меня приняли. Хорошо, что не на Великой Отечественной, а то бы долго допрашивали.

Вот и Одопту.

Где киты? Нет китов. Простор до горизонта. Красота. Прямо как в музейной картине «Рассвет над стойбищем. Нивхская сюита». Тундра и озёра, море, песок. Нефть. Качалки вдоль берега. Зря вышел на Северном куполе, надо ехать на Южный. Киты там тусуются.

Машины туда-сюда гоняют, иногда подбирают. На Южном куполе огненным цветком шумно горит газ в яме, за вышкой стоит лавка, а оттуда смотреть надо на море.

— Вчера целый день здесь фонтаны пускали. Сегодня, наверно, не будет. Хотя здесь у них корма много, часто приходят…

Походил, побродил я у Охотского моря, посмотрел с высокого берега, высыпал песок из ботинок и двинул обратно.

И вот тут-то я его и увидел.

Но не кита, а птицу редкую. Орлана белоплечего. Сидит гордо на электрическом столбе, плечи белые, клюв да когти жёлтые, перья веером. Глазом не моргнёт. Редкая птица. Чудо-птица. Хлоп крыльями один раз — и улетела прочь. Жарко на

улице, купаться надо в Охотском море, да холодное оно, всё стынет. Говорят, Охотское море всё к себе забирает, а Татарский пролив всё отдаёт. Поэтому пляж на море чистый, даже топляка нет. А на западном берегу какого только мусора нет! Сетки, банки, дрова, железяки, канаты, которые собирают и сдают как стеклотару — двадцать рублей за метр.

Нырнул раз в море — и сразу наружу. Тут и КАМАЗ нужный подоспел, прямо в Южный идёт, за рулём сидит некто Лёха, весь в наколках. В Дагах мы обед сварганили: тушёнка с макаронами. Жара, дорога сахалинская трудная, тяжко ехать по сахалинским дорогам на КАМАЗе. Всё из тебя вытряхивает, хоть не ешь и не пей.

— Наши дороги ты запомнишь надолго. Это какие руки и нервы надо иметь, чтобы целый день эту трясучку переносить! Так ты чего из Сибири на Сахалин приехал — просто погулять? Уматно.

— Это я так географию изучаю. А потом рассказываю, что увидел.

— Ты чего, учитель, что ли? Так мы с тобой коллеги, я ведь тоже педагог; правда, предмет у меня — труд. Учитель труда я. А работаю шофёром.

Лёха сам из посёлка Мгачи, работал там шахтёром. Пока шахту не затопили. Надо было шахту закрыть, но чтобы закрыть просто так — люди бы не дали, запротестовали. А её взяли и затопили. Откачивать воду — денег нет, вот тогда и закрыли. Про первую ходку рассказал мне Лёха — «по политической»: Брежнева ругал на центральной площади Александровска. По пьяни. Потом рассказывал, как он водителем маршрутки работал, как с напарником их хозяин хотел развести, а они исхитрились и хозяина развели.

— Что сейчас за армия? Детский сад, служат один год. В армии нельзя быть «другим», это на зоне как себя поставишь, так и будут относиться.

Лёха служил в Хабаровске, когда на китайской границе был конфликт.

— Китайцев нельзя пускать в Россию, не понимаю я наше правительство.

Два дня мы едем вместе, трясёмся по тымовской трассе, едим сушёных осьминогов.

— До открытия Сахалина на пляже даже костры жечь нельзя было. Погранцы ходили с собаками — запрещали, штрафовали; рыбу ловить проще было, с рыбнадзором можно было договориться. А потом лихие годы настали, люди только за счёт рыбы выживали. За рыбину — штраф, за икру — срок. А ОМОН стали присылать из других городов, чтобы они порядок наводили. Даже из Красноярска привозили. Они всех поставили, даже местные менты взвыли. Омоновцы — отморозки, им только дай повод. Живём мы, Денис, в негероическое время. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Нет героев в стране. Для меня последний великий человек — Владимир Семёнович.

Везде на восточном берегу вода тухлая, рыба гниёт, забила все реки. Медведь к рекам спустился, пирует. Чистой воды нет, кипятить надо, только на западном берегу можно из речки пить. Проезжаем мимо грузовика с открытым кузовом. По всей дороге валяется горбуша. Водила стоит, чешет репу. Не знает, как бы посильнее выругаться.

— Попал парнишка, — комментирует Лёха. — Я тоже так раз попадал. Кузов открылся, вся рыба растерялась по дороге. Народ подъезжает и берёт пару рыбок.

— Возьми и ты пару штук, уху сваришь.

Выхожу в ночи. Арсентьевка. До Ильинского — двадцать шесть километров, на противоположный берег Сахалина.

На мыс Ламанон

Совсем не прост оказался мыс Ламанон. На карте к нему ведёт простая дорога вдоль берега от Красногорска. Но по этой дороге давно уже никто не ездит, кроме рыбаков. А рыбаки не ездят, потому что рыбы мало. Пришлось сделать крюк через Красногорск, Углегорск и Орлово, через японский перевал.

Владимир Михалыч — большой человек. У него в Ильинском свой тупик. Здесь он купил бензоколонку, собирается выкупить территорию автостанции. Он приехал проследить за погрузкой бензина на бензовозы. Владимир Михалыч — великодушный человек.

— Держи пакет с сухарями, пряниками, допивай сок, вот тебе пятьсот рублей, в дороге нелишние будут. Сейчас Геннадьич загрузится, поедешь с ним. Вообще-то на бензовозах нельзя возить людей, но это мой бензовоз. И тот японский — тоже. Смотри, как игрушка. Почему наши такие делать не могут?

Владимир Михалыч — кореец.

— У меня две тётки в Северную Корею уехали, когда Ким Ир Сен встречался со Сталиным и пустили по Сахалину клич, чтобы корейская молодёжь ехала помогать своим соотечественникам. Вот уехали, а теперь мучаются. Всех корейцев до тысяча девятьсот сорок пятого года репатриировали в Корею — на японские деньги. С японцев столько надоили, что целые города построили. Ты знаешь, какие помидоры на Сахалине самые лучшие? Углегорские. Но старики ушли и секрет никому не оставили. Раньше были корейские школы, мы русский совсем не знали, а потом всех корейских детей отправили в русские школы; мы шли на два класса ниже — русский совсем не знали. Я пришёл в русскую школу, так я удивился, что там с учителями спорят, а потом ещё родители приходят, спорят. Для корейцев учитель — царь и Бог. Царь и Бог. Все его слушают, если наказал — значит, родители ещё накажут. Я боялся домой приходить, если учитель меня наказывал. Перед

отцом ни курить, ни пить нельзя было. Я даже перед старшим дядей стесняюсь закурить. Читаем газеты, по телевизору смотрим: негров в Америке и Южной Африке притесняют. Смотрим. Так это же про нас. Живём в гетто, никуда не пускают, ездим с жёлтым номером, по службе не подняться, в лучшем случае — главный инженер. На учёбу нас дальше Иркутска не отпускали. В Новосибирск — единицы уезжали. Нас вообще никуда не пускали: едешь в соседнюю деревню — надо было получить разрешение в милиции. Все смеялись, даже знакомые милиционеры: глупо же, все друг друга знают. Паспортов у нас не было. А сейчас говорят, что вся мафия на Сахалине — корейская, что корейцы лучше всех устроились.

Владимир Михалыч — русский.

— Ну куда я поеду? Сын иногда приезжает из Москвы. Он теперь там живёт, там учился в институте Плеханова. Когда дешёвые билеты бывают по акции, он неожиданно прилетает. А мне на материке не нравится. Там брат жил в Хакасии, зарабатывал восемь тысяч. Я сказал: «Что такое восемь тысяч? Приезжай к нам». Теперь зарабатывает пятьдесят тысяч. Я с виду кореец, а думаю-то по-русски. Налогами, б…, так завалили — не продохнёшь, приходится крутиться.

Владимир Михалыч — восточный человек.

— Денис, запиши-ка мне свой телефон, координаты. Вдруг что — как с тобой связаться? С сыном, может, встретишься — поговорите с ним. Ты молодец, что так путешествуешь — больше узнаешь.

В Красногорске меня, как эстафетную палочку, передали на другой КАМАЗ, и Паша довёз меня до Углегорска. До Орлово маршруток нет и машин мало.

— Да мы эту проблему решим.

Паша садится в свою «Ниву» и везёт меня в Орлово.

— Будешь возвращаться — звякни мне, вместе уедем в Ильинский.

Рюкзак сбросил у Моргунихи по совету Владимира Михалыча.

В поисках фотообоев для рабочего стола

В Орлово (Усиро) когда-то был крабоконсервный завод, остались одни руины. До прихода японцев здесь жили айны, да-да, те самые, у которых женщины красили губы до ушей и тем гордились; потом пришли японцы в 1905 году, любители сырых морских ёжиков. В 1945 году их на Южном Сахалине было четыреста шесть тысяч человек. Потом японцев «ушли» наши танки, и айны за ними вприпрыжку ушли в Японию. На холме стоит вышка погранзаставы, всё заросло густым сахалинским бурьяном.

До маяка Ламанон оставалось только в горку забраться. Но на дороге валяются доски — пригодятся для костра, водичка течёт тихо, змейки в траве шуршат. Дров маловато, зато есть гора Роман-газет, кипячу на Роман-газетах чай. Вдалеке маячит огонёк. Это маяк Ламанон.

Андрей на маяке работает. Жена умерла недавно от палёной водки.

— Выпили мы с ней на праздник. Она говорит: Андрей плохо мне, умираю, — и умерла. А ты загляни на наши кладбища — сколько там в девяностые годы померло от палёной водки да от маковой соломки. Тут в тайге знаешь сколько корейцы мака понасеяли? Никто не следит. А молодые гибнут. Заходи, чай попей. Вот, бери сам сколько надо, мажь, режь, не стесняйся.

На маяке постоянно восемь человек работает, все постройки соединяются одним коридором. Только у Андрея дом отдельно от всех.

— Как они тут жили? Японцы. Без печек! Это мы уже поставили и тепло провели (трубы). У них же прямо дома был сортир! На маяке часовой механизм. На Шмидта на маяке был механизм на изотопах, так забрались придурки — пооблучались. Маяк японский, линза французская. Приезжал тут француз, тоже пешком по Сахалину ходил с картой. Такой карты даже у наших офицеров нет. Приезжал японец, его дед здесь работал, ящик с инструментом до сих пор стоит. Предлагал на «Крузер» поменять — не поменяли наши. Наш лётчик-ас пролетал и расстрелял маяк из пулемёта, следы от пуль до сих пор видно. Вот здесь косатки резвятся, сейчас рыбы нет — и косаток нет; а во-он там, видишь, нерпы. Вчера на грядке укроп собирал — чуть на гадюку не наступил. Смотри, осторожнее. До Сивучего сходи, дальше не пройдёшь. Удачи.

— До свидания.

— До свидания. Вспоминай, — на прощание сказал Андрей.

От этого «вспоминай» как-то грустно мне сделалось, как будто на другую планету я улетаю. От маяка я прошёл до Сивучего, за который по берегу не пройти, надо забираться на дорогу, а по дороге смысла нет идти. Нужен велосипед. И тут мимо велосипедисты проскакивают. Православный велопробег — с севера на юг. По основной трассе идёт грузовик с припасами и снарягой.

Выпустили на Сахалине документальный фильм — «Карафуто». О том, как мы Сахалин развалили. Японцы садили лес, была масса дорог и тропинок, двадцать шахт и девять ЦБК. Шахты все развалились, ЦБК нет, тропинок тоже. Всё заросло, и просто так в лес не сходишь, если нет тропинки. Пробовал я забраться у Сивучего в гору — утонул в траве. Даже страшно стало: ничего не видно, под ногами пустота какая-то. Трава тебя вот-вот проглотит.

Вышел к водопаду, где обосновалась какая-то группа медитирующих граждан. Расположились

прямо на тропинке, поэтому, когда я проходил, собака у них злобная выскочила — кокер-спаниель — и нарушила им всю мирную медитацию.

Макароны на ужин я сварил на бывшем крабоконсервном заводе в компании молодых сахалинских рыбаков.

Привет японцам: от Ёситору в Томариору

Несмотря на предупреждения рыбаков, комары ночью не кусали. Утром я обнаружил их странную особенность: они роились в центре комнаты, совсем не обращая на меня внимания, как будто были заняты каким-то важным ритуальным делом. Может, собрание у них было, или вече, или молитву читали. Я всегда думал, что для комара самое важное — напиться крови и отвалить целым, а оказалось, что я ошибся. Возможно, за долгие дни пути они стали признавать во мне своего и не заметили.

Прихватив сачок, я пошёл на пирс ловить ёжиков. Ёжиков просто соскребаешь с пирса, к которому они приклеиваются. Потом их разрезают на половинки, как фрукт, и ложкой выскребают оранжевую икру. В Японии эта икра на вес золота. Ну, японцы вообще странные люди, едят ядовитую рыбу. Намазываю ежовую икру на батон — изучаю на вкус. Представляю себе: а что бы здесь было на Сахалине, допустим, если бы японцев не выгнали? Были бы мегаполисы Тоёхара, Ёситору, Томариору, миллионные порты. Бетонные развязки, стекло корпоративных небоскрёбов, коммуникации… А так — дикая природа, хоть и загаженная местами. И главное — визу не надо.

Икра ежа действует медленно, как и усыпляет бдительность. Я чуть не забыл про единственный в день автобус. Автобус в девять часов, говорили местные жители, а точно никто не знал, что автобус в восемь сорок пять — восемь пятьдесят. Поэтому, не успев попробовать варёных чилимов-креветок, я рванул к остановке. Он почти уже ушёл без меня. А выбираться из Орлово непросто. Проехав мимо затонувшего филиппинца в тумане и мозаичного Ленина в порту, я снова был в Углегорске-Ёситору. Недалеко на сопке возле гавани возвышался храм Ёситору-дзиндзя, от которого остался один фундамент и ворота тории. Искать я их не стал, потому что такие же ворота есть в Томари-Томариору.

На станции я узнал, что автобус в Южный ушёл два часа назад. Позвонил Паше, который встретил меня весь радостный и чумазый — чинил КАМАЗ. Пока он лежал под КАМАЗом, я изучил японский бумзавод, который работал ещё в советское время и продержался дольше всех построенных японцами бумзаводов. Даже японское мы не смогли уберечь, а своего построили только завод по сжижению газа.

В Углегорске были угольные шахты, которые потом затопили — уголь загорелся. Сейчас уголь вывозят с разрезов. Поэтому дорога Углегорск — Красногорск — это угольный тракт. В Ильинском тупик, на котором уголь загружают в вагоны и везут в Южный. Раньше уголь загружали и в самом Углегорске, но здесь удалось всё развалить. А паромы, раньше ходившие до Ванино, тоже перестали ходить. Японцев рано выбили! Надо было им дать ещё пять-десять лет. Построили бы нормальные дороги и «железку» бы провели на север.

РЖД давно уже планирует реконструировать прогон до Углегорска. От японцев до сих пор остались насыпь и быки под мосты. И даже какой-то туннель, который у берега моря уходит под землю, и никто не знает, где он выходит! Тайный японский ход — может, даже до острова Хоккайдо. Приезжали наши инженеры дорожники, думали, что какие-то дороги новые проложат. Нет. Всё японцы сделали до них. Лучше и правильнее не проложишь.

Паша больно долго чинил КАМАЗ. Мне уже надоело гулять по развалинам бумзавода, я вышел на главную дорогу Победы, прикупил булок, корейской пепси, съел тарелку супа в столовой «Рассвет» с цветомузыкой, где мужики в основном пили, а не ели. И запросы там простые: «Тебе чего?» — «Мне сто».

Дошёл до «микрорынка», где граждане с Кавказа предлагают мобильники недорого, заглянул в музей, где фотографирование каждого экспоната стоит пятьдесят рублей. Видимо, это для японцев прейскурант, он ходит, чикает, а за ним кассир — только чеки успевает выбивать. Не успел я дойти до мозаичного Ленина, как позвонил Паша и сказал, что починился.

В Углегорске ходит всего один автобус, он без номера. Номер не нужен, потому что усложнять ни к чему. Когда улица одна и мест немного — всего два, можно не называть: автобус номер один. Иначе спросят: а где номер два?

Безномерной автобус в Углегосрке ходит от порта к ЦБЗ (бумзаводу). Здесь стоял Пашкин КАМАЗ.

Заехали на погрузку на один карьер, оттуда его отправили на другой. Загрузились. Вокруг пыль, вся дорога в угольной пыли.

— Ездил ты на порожнем КАМАЗе, теперь проедешь на гружёном, — сказал Паша.

Уехали мы, правда, недалеко — до Медвежьего, где его тормознули гаишники. Сначала взвешивали самосвал, потом прицеп, потом проверили права.

— Съезжаем, — лениво прогудел гаишник.

— Приехали, — сказал Паша. — Вот псы поганые…

Оказалось, что гаишники вовсе не придирались: у Паши были просрочены права! Паша поехал обратно в Углегорск с попутным КАМАЗом, а меня подобрал Руслан.

— Руслан меня зовут, а вообще все зовут Амиго, потому что я всегда улыбаюсь и всем помогаю.

У нас по именам не все друг друга знают, а погоняло у каждого. Отец чеченец, а мать русская. Как война началась, отец нас бросил и уехал к своим. Брат мой младший в семинарии учится, а я вот водила.

Пыльная дорога до Углегорска — оживлённая, опасная. Буквально вчера в прицеп врезался один из коллег Амиго. То, что осталось от КАМАЗа, мы увидели.

— Повезло парню, а вот пассажиру бы точно не повезло. КАМАЗ — это не ЗИЛ, у ЗИЛа два метра жизни. Мы даже подписываем бумагу, что пассажиров брать не будем, а гаишники, если увидят, могут сообщить на работу. Но я всегда беру: вдруг что?

Для Руслана лучше Сахалина просто ничего не бывает — здесь он всё изъездил на внедорожнике, везде порыбачил, везде грибы пособирал.

Протряслись через Акамизу (японский перевал), пролетели через Красногорск. Руслан выгрузился, перекусили. А на свороте на Томари меня чуть не сдул штормовой ветер. Правда, первая же машина, а их не предвиделось много, остановилась. До этого я был уверен, что на Сахалине ни один из многочисленных «Лэнд Крузеров Прадо» так и не остановится, но и здесь я ошибся.

На подъезде к Томари осыпающиеся склоны, которые очень удобны для строительных целей. Подъезжают грузовики — засыпают в кузов осыпь и уезжают. Хотя, по-хорошему, склоны надо бы укреплять, чтобы не было разных камнепадов и оползней, чтобы дорогу не засыпало, но если этот участок до Томари ещё как-то поддерживается, то участок до городка Чехов вообще никому не нужен. На нём много разбилось камазистов-угольщиков. Шофера́ делают большой крюк через Южный, где их обязывают ставить штамп, чтобы они не вздумали срезать по опасному участку. Так, обсуждая дороги и развал Союза, мы весело доехали до моста.

— На мосту когда-то стояли львы и орлы. Всю жизнь прожила в Томари, но даже я не знаю, куда дели орлов, — сказала женщина-пассажир. — А львов сняли, покрасили в белый цвет и поставили у средней школы номер два, охранять клумбы.

Меня выгрузили прямо у бывшего синтоистского храма.

— Осторожно! На этой сопке медведи и змеи бывают, — предупредили меня напоследок.

Я забрался прямо в гору к первым воротам и ещё успел захватить красный кружок заходящего солнца. Фундамент храма — всё, что от него уцелело. Памятник, непонятно для каких целей, в виде лотоса — всё больше и больше нависает над обрывом, грозя исчезнуть с лица горы. Японцы приезжали и думали, как спасти достопримечательность — своё наследие. Пока не придумали. Японцам вообще небезразлично, что́ на Сахалине от них осталось. Речку Тухлянку у Углегорска они предлагали очистить до состояния «вот вода — бери и пей» в обмен на найденный в речке хлам. Наши чиновники, как обычно, заподозрили: а вдруг тут золото? — и не дали речку чистить. Сохранили первозданный тухлый вид.

В Томари удивил виадук железнодорожный: пролёта не было, остались только лестницы.

— А где пролёт-то? — спросил я у прохожих.

— Как где? Сдали на металлолом.

Гость

Пока я бегал на вокзал и в школу поздороваться со львами, которые сменили прописку с моста на школу, стемнело. Я поставил палатку на холме, поужинал икрой с булкой и стал рассматривать фотки. Вдруг где-то недалеко почуял сопение.

Я насторожился. Точнее, застыл, как бурундук. Сопение уже ближе.

И сразу вспомнил чучело медведя в краеведческом музее. Там было чучело взрослого, реального мишки, который лапой перебивает хребет корове или лошади. Тут я вспомнил, что медведь недавно задрал в окрестностях корову. Струхнул, но не сильно. А тот — неизвестный гость — стал ходить вокруг да около и как-то тяжело дышать, как бы пытаясь проникнуть в запахи внутри палатки. Я притаился, только ветер колошматил на ветру тоненькую стенку палатки. Говорят, что медведю надо смотреть в глаза, тогда он не тронет, но ведь я в палатке, а он на улице. Где же его глаза? А ведь он любопытный. Сколько же он так может изучать и сопеть мне в палатку? Мне даже показалось, что он подошёл так близко, что дунул в разрез молнии.

Обдумываю, что же дальше. Какой толк смотреть в глаза медведю, если, по утверждению других медведеведов, он близорук? Тогда я просто решил не выходить на улицу, отсидеться в палатке и разгадать движения зверя. Выйти и посветить фонариком ему в морду мне в голову не пришло. Самое страшное в моём положении — это рюкзак, который вкусно пропах тухлой горбушей и икрой. Это всё равно что звать медведя на обед и отобрать у него ложку. Но он всё несмело топтался вокруг и принюхивался. А может, он пронюхал о сухофруктах и пряниках или вкусных японских орешках, которыми угостили Наташа с Игорем?

Это хождение вокруг палатки продолжалось около пяти минут. Потом на мгновенье мне показалось, что зверь встал в полный рост, ещё и луна светила — тень отсвечивала издалека. На самом деле пронюхать медведь ни о чём просто не мог, потому что ветер дул с его стороны в мою. Поэтому он или наткнулся на палатку случайно, или всё же учуял такой любимый запах рыбы. Утром мне подумалось, что это мог быть и не медведь вовсе, а корова. Но, посветив ночью фонариком, я бы всё равно ничего не выиграл. А ещё говорят, что медведь активен утром и вечером, а ночью не ест. Но кто проверял, что медведь не любит открыть

ночью первый попавшийся под лапу холодильник и съесть чего-нибудь вкусненького спросонья?

Зверь ушёл. Я надел шапку и спокойно уснул. Бедные медведи. Куда им деваться? Везде трубы, вышки, качалки. Нефтепроводы прогнали с ягодных мест. Теперь он цыганит по дорогам; на перевале на холмской трассе молодой мишка выходит на дорогу, просит еду. А лис везде чипсами подкармливают.

Спал недолго: меня разбудил будильник, торопивший на поезд, который должен был меня перебросить с западного на восточное побережье через самое узкое на Сахалине место — перешеек шириной в двадцать девять километров. Поезд, который местные называют «мотриса», оказался каким-то финским видом электрички. А кондуктора́ оказались крайне ленивыми до продажи билетов. Они даже не затруднились обилетить пассажиров, поэтому почти две остановки — минут тридцать — пассажиры сами ходили на поклон к кондукторам и покупали себе билеты. Может, кто-то и не хотел, но я подождал, а потом и сам сходил. Хотя можно было и не торопиться. Кондуктор, например, не торопился сдавать мне сдачу. Сначала дал часть, записал на бумажке-квитанции свой долг и расписался, потом опять сдал часть, записал на бумажке долг и расписался; уже на вокзале меня это достало, и я обнаглевшего кондуктора чуть не оштрафовал — он испугался и отдал всё остальное, кроме двух рублей, которые я получил только в кассе. Больше не буду брать билеты в поездах, кому надо — пусть сам подходит. Особенно такие ленивые сахалинские кондуктора́.

Южный производит некоторое впечатление. Здесь СДЮСШОР по горным лыжам. В России как-то неожиданно стали развивать горные лыжи. Построили мощные центры в Красноярске, в Южном. Канатка с кабинками, как в Санкт-Морице, электронное табло, куча трасс. Ещё в Южном есть американские гетто, или, как в Шанхае в тридцатые годы, концессии. Здесь живут американские нефтяники. От магазинов до дома они ездят на специальных автобусах, где надо пристёгивать ремни, по мобильному разговаривать запрещается. Живут в специальных коттеджах.

На маршрутках в Южном шоферят мигранты из Средней Азии. Прямо в маршрутках люди выражают недовольство: понаехали, даже по-русски толком говорить не умеют, остановки не знают, только деньги берут.

Когда-то Южный назывался Тоёхара, и учащиеся высшей женской школы собирали раковины, как в Сибири школьники собирают морковку или картошку осенью.

На материк

Старпом сказал, что паром будет в десять. Мы с Игорем встали в шесть, попили чаю и рванули, ему надо было на работу. Приехали в восемь тридцать — никакого парома не было. Думал: вписываться у старпома или просто купить билет? Просто купил билет. Доплата ушла на обед: капуста, гречка, два кусочка хлеба и кусочек курицы. Чай и кекс. Вся левая веранда в моём распоряжении. Прошли ребята, предложили доплату — по шестьсот рублей (спальные места), но мне не надо — у меня здесь есть диван и свежий воздух. Открываю обе двери, чтобы воздух не застаивался, как в прошлый раз. Это уже не палубное место, а каюта-люкс на одного. Никто мне не мешает — ни немцы, ни узбеки, это мой диван, и свежий воздух я контролирую; народ туда-сюда гуляет, но рюкзак, пропахший горбушей, никого не интересует. Народ возвращается с путины. Вспоминаю объявление на морвокзале в Холмске: «О специфическом запахе багажа сообщайте сотрудникам» (это про мой рюкзак — он здорово пропах протухшей икрой и ёжиками). Игорь говорит, что с моря брать ничего нельзя, а я набрал ёжиков — в основном уже лысых, в подарок друзьям.

Между прочим, это первое моё морское путешествие в России. Россия точно великая железнодорожная держава, но никак не морская.

Это чувство укрепляется после процедуры покупки билетов на паром Ванино — Холмск. Я не сравниваю со скандинавскими паромами, там капитализм. У нас — эксклюзивный капитализм: за большие деньги, но не всем. Паромы как хотят, так и ходят. Хорошо, что я позвонил нужному человеку, а не в справочную, и приехал за три часа до парома. (Женщина из Вахрушево приехала за десять часов до парома — так ей сказали в справочной.) И билеты здесь по Интернету будут ещё не скоро.

На паром долго не объявляют посадку. Наконец, объявляют в десять, потом в двенадцать, потом подписывают карандашиком, что паром подходит в тринадцать ноль-ноль; наконец, запускают в четырнадцать ноль-ноль, посадка в шестнадцать ноль-ноль, отход в шестнадцать тридцать.

В салоне — женщина из Приморья, возвращается с путины, заработала всего десять тысяч, ей обещали остальное выслать по почте!! Сбежала, потому что невозможно было работать аврально, ночью. Мест полно, но в кассах в принципе не продают перед отходом парома. Паром забит народом с путины. Кто они — путинцы, путинщики или как?

С моря Холмск красив, но на суше он меня просто убил. Пацаны продавали газеты, купил я одну, вспомнил, как сам летом на мороженое зарабатывал.

В Холмске даже сквозь туман жарит солнце.

Дети на станциях предлагают кету. Огромные туши. Никто не берёт. Икру тоже. Дорого. Вот закончится путина, путинщики повезут во Владик — будет очень дёшево. Проводники скупают ягоду.

Идём вдоль моря. Лес тут другой: маньчжурский орех, ясень, дуб, липа. Морось. Остановки короткие, всю ночь пьяные путинщицы спорили с ментами. В общем вагоне ротация спутников. Только что две мамаши ехали с сынами, пацаны не поделили солдатиков. Моя спутница из Спасска. В Спасске из двадцати восьми заводов бóльшая часть стоит. Работы нет, сын ушёл на цемзавод, алкашей не держат — желающих много. Давно хотела поработать на Сахалине, там две сестры живут. Но пока была пропускная система — никак не могла попасть. Теперь просто, никаких приглашений. Работает дворником на двух участках. Два года работает — один месяц отдыхает в Спасске. Зарплата — десять плюс семь тысяч. Внучки удивляются мобильности бабушки.

— Рыбу люблю, мяса и даром не надо. Коты красную рыбу не едят, только белую. Три кота у меня.

Владивосток. Утро туманное или влажность такая — всё в дымке. Холмы. Как долго я сюда ехал. Тридцать лет и десять месяцев. И всего на день! Вот он, ж.-д. вокзал, сразу и морской вокзал, и военный порт. Всё сразу.

Мелькают оранжевые объявления. Гейши, гейши, гейши! Кому нужны гейши? Требуются девушки, работа, дорого. Не ниже метра семидесяти пяти. Суйфэньхе, Суйфэньхэ! Кому в Суйфэньхэ?

Поехал изучать Миллионку — владивостокский чайна-таун двадцатых годов. Теперь чайна-таун находится на Луговой-Спортивной, там зазывалы в рестораны предлагают вкусно и «недолага» покушать и получить в подарок «матласа» и одеяло (в виде бонуса). Вот такие у китайцев подарки: что ни подарок — так матрас. Но один сапожник сильно среагировал на меня — и чуть не в драку полез. Мол, чего фотаешь?

Вечером заглянул в Дом АВП, Дом для всех во Владике. Такой караван-сарай для всех. Кто-то сосредоточенно изучает китайский, не отвлекается. Попил чаю, затарился книжками в дорогу и отправился с Гамарника до вокзала пешком. Три часа ночи, в это время только гейши на улицах и скороходные японские телеги.

Когда едешь по Уссурийской железной дороге — видишь сразу две страны: Россию и Китай. Едешь по России, а видишь китайские сопки, небо, зелень. Удивительно, что пока ещё люди не сражаются за воздух, но с ухудшением экологической ситуации в будущем, вполне возможно, богатые страны не захотят делиться своим чистым воздухом с соседями и создадут купола, которые будут консервировать свой местный воздух и не пускать чужеродный с вредными примесями. Возможно, что будут построены консервные заводы, где будут консервировать чистый воздух и продавать в бедные страны, а может, просто соорудят трубопроводы, по которым страны с чистым воздухом будут качать свой ресурс в другие государства — например, в Европу. Вот китайцы с самой древности хотели отгородиться и поэтому стену построили, чтобы свой культурный воздух не утекал на территорию варваров, а варварский некультурный запашок не распространялся на территории Срединного Царства. Но пока воздухом можно дышать и китайским, и нашенским без видимых ограничений.

Пейзаж «Двадцать лет после Третьей мировой».

Биробиджан, столица Еврейской АО, не так часто фигурирует в сводках новостей. Здесь нет лагерей беженцев, забора, кибуцим и прочих атрибутов прогрессивного государства, зато есть четыре достопримечательности. Надпись города на евреице на здании вокзала, водонапорная башня с огромной звездой, как на Спасской башне, Эйфелева башня на сопке и, наконец, огромная, но стройная труба с развалинами какого-то промобъекта. Вот таковы основные, видимые с поезда достопримечательности столицы Еврейской АО. Вокруг бескрайние болота и сопки, зелень и мир — и никаких «секторов Биры» или «секторов Биджана».

Всё же по БАМу ездить приятнее: нет встречных поездов, никто не перегораживает тебе вид из окна, рельсы здесь уложены с другим духом. Рельс-geist здесь другой. И красивее БАМ. БАМ — это прогулочный бульвар: идёшь, по сторонам смотришь, любуешься. А Транссиб — это такой оживлённый шумный проспект, скоростное шумное шоссе, быстрее бы проскочить — и дома. Байкал — и тот есть на БАМе. Только по БАМу можно общагой проехать от Красноярска до Владивостока (кроме перегона Н. Чара — Тында). Транссиб это не позволит.

Станция Иланская

В поезде — улыбающийся парень со станции Иланская.

— Ты чего делаешь?

— Путевые заметки пишу.

— А зачем?

— Да от нечего делать.

— А Евангелие, Библию читал?

— Читал.

— Вот так надо! А ты путевые заметки пишешь!

Уже не пишу.

Максим Тихомиров

Ракета Земля

1961 г. Красноярск. Эфир

Апрель был хорош.

Он выдался по-летнему тёплым — словно не трещали месяц назад запредельные морозы лютой зимы, словно не лежал сугробами снег ещё совсем недавно, в марте. Газоны зеленели свежей травой и пестрели многоцветьем тюльпанов, асфальт тротуаров был сух и опрятно чист. Движение в центре перекрыли, пустив поток транспорта по периферийным улицам. Троллейбусы, уныло понурив рога энергоприёмников, длинными вереницами стояли вдоль тротуаров, и народ шёл пешком прямо по проезжей части — от одного уличного репродуктора к другому, подолгу задерживаясь у каждого и вслушиваясь в чеканный голос диктора, который со сдержанной торжественностью вещал об удивительных и непостижимых событиях этого дня.

Кресло катило сегодня как-то по-особенному легко. Дружелюбно жужжали электромоторы привода, и гуляющая публика своевременно замечала старика и расступалась, давая дорогу, прежде чем он успевал деликатно дать знать о своём присутствии негромким звонком. Ему улыбались, и он улыбался в ответ. День сегодня был самый подходящий для улыбок — один из дней, в которые вершится история.

Именно сегодня Валериан Иванович как никогда прежде чувствовал себя причастным к истории своей страны — пусть даже его скромный вклад был сделан почти полвека тому назад.

Откинув голову, он подставлял лицо лучам далёкого солнца и, щурясь, вглядывался в чистейшую голубизну неба, пытаясь вообразить, что видит сейчас тот, кто в утлой скорлупке эфирного корабля мчится сейчас среди звёзд вокруг родной планеты, — но глаза его видели совсем иные картины, которые не потускнели за прошедшие десятилетия.

Которые всегда были с ним и будут — до самой смерти.

1914 г. Арктика. Раскол

Лёд был повсюду.

От горизонта до горизонта, куда ни глянь, тянулись вздыбленные ломаными хребтами торосов бескрайние ледяные поля. Вмёрзшая во льды «Святая Анна», до клотиков мачт покрытая гирляндами сосулек и коростой льда, смотрелась совершенно чужеродно в этом царстве вьюжной белизны. Они и были здесь чужаками — незваными гостями, которым предстояло теперь расплатиться за своё неуместное любопытство собственными жизнями, одному за другим.

Одиннадцать человек уходили сейчас прочь от остановленного льдом судна — в отчаянной попытке преодолеть полторы сотни вёрст ледяного безумия и, избежав встреч с белыми медведями и стремительными отрядами приполярных пиратов, достичь Земли Франца-Иосифа.

Ещё тринадцать человек оставались на борту затёртой льдами шхуны, надеясь на весеннюю подвижку льдов, которая откроет им проход к открытой воде.

Шёл второй год затянувшейся для экспедиции зимы. В вечной стуже Заполярья застыло даже само время, и лишь движение стрелок по циферблату отмечало течение одинаковых дней и ночей.

Полотнища полярного сияния занавешивали небо от зенита до линии горизонта, затмевая не заходящее уже по-весеннему солнце. Напряжение энергий было таково, что волосы в прямом смысле шевелились на головах, а по обледенелым снастям разгуливали призрачными силуэтами огни святого Эльма.

С ясного неба денно и нощно сыпался град. Росчерки метеорных следов полосовали небосвод, и временами падающие звёзды с оглушительным грохотом взрывались во льдах. Мелкие, как пыль, тектиты с испарившихся в атмосфере комет собирались в хлопья сродни грязному снегу, пачкая белизну снега настоящего.

Дрейф ледового поля, пленником которого стала два года назад экспедиция Брусилова, неуклонно сносил шхуну всё выше и выше по широте, и путешествие в поисках Северо-Восточного прохода поневоле обернулось попыткой достичь Северного полюса — либо берегов скрытой под вековечным панцирем льда легендарной Гипербореи.

Угроза голода стала явственной к концу второго года ледового плена. Раскол между начальником экспедиции и штурманом, сложившим с себя полномочия полгода назад, разделил команду шхуны на два лагеря. Теперь ведомая Валерианом

Ивановичем часть экипажа уходила к ближайшей суше, чтобы организовать спасательную экспедицию для тех, кто не пожелал покинуть беспомощную «Святую Анну». Припасов на борту должно было хватить остающимся до лета, когда ледокольные пароходы и дирижабли полярного флота смогут преодолеть льды и снять упрямцев с терпящего бедствие судна.

Впрягаясь в постромки самодельных саней с погруженной на них байдаркой для преодоления разрывов во льдах, Валериан Иванович бросил последний взгляд на шхуну. Произведение британских корабелов с достоинством выдерживало натиск льда. Корпус не дал течи, и его обводы успешно сопротивлялись давлению ледовых полей. Остающиеся члены команды выстроились вдоль фальшборта и махали вслед уходящим. Брусилов, в парадном кителе и фуражке, смотревшихся чужеродно в окружении громоздких меховых одежд прочих участников экспедиции на продуваемой студёным ветром палубе, коротко кивнул своему бывшему штурману и удалился в каюту.

Больше Валериан Иванович никогда его не видел.

Полозья саней заскрежетали по снегу, и короткая цепочка смельчаков потянулась к первой гряде торосов.

Три месяца спустя, после безумной гонки наперегонки со смертью, пройдя из-за дрейфа льдов четыре сотни вёрст вместо предполагаемых ста пятидесяти и потеряв в пути почти всех своих подчинённых в неравной схватке со стихией, хищными зверями и полудикими охотниками обитающих во льдах племён, Валериан Альбанов и матрос Конрад достигли берега острова Нортбрук, что в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Через несколько дней дирижабль Русского географического общества доставил их на Кольский полуостров, и Валериан Иванович, едва оправившись от лишений пешего арктического похода, начал организацию спасательной экспедиции, обратившись с прошением о выделении сил и средств в Академию наук в Санкт-Петербурге.

Начавшаяся полтора месяца спустя Великая Война отодвинула поиски пропавшей экспедиции Брусилова на несколько лет.

1924 г. Арктика. Мальстрём

В первое лето после воцарения мира на просторах бывшей Российской империи караван ледовых судов, ведомый ледоколами «Таймыр» и «Вайгач», миновал северную оконечность архипелага Новая Земля и, следуя разрывам в сплошной массе полей пакового льда, достиг восьмидесятой параллели. После неудач экспедиций Нансена, Амундсена, Кука и Пири это был первый случай достижения столь высокого градуса северной широты человеком.

Возглавлял караван Валериан Альбанов.

Полномочия и материальное вспоможение, полученные им от Верховного правителя России Колчака ещё в 1919 году, позволили ему в то смутное время заняться организацией экспедиции. Сумев пережить настигший его во время обратного пути из ставки Колчака тиф, который надолго приковал Валериана Ивановича к больничной койке в Ачинске, он не утратил энтузиазма. Напротив, дух его укрепился, и даже сменившаяся в очередной раз власть не смогла отвратить полярного исследователя от реализации его планов.

Чувство вины, которое Альбанов испытывал перед своими сгинувшими во льдах Гиперборейского океана товарищами, оказалось сильнейшим стимулом для возвращения в места, где сам он чудом разминулся со смертью. Переполнявший его энтузиазм оказался заразителен, и новая власть выдала Валериану Ивановичу мандат, сделав его начальником первой арктической экспедиции Страны Советов.

Весь конец 1923 года склады Арктической партии в Красноярске принимали провиант и снаряжение, которые прибывали по железной дороге и с началом навигации были отправлены баржами на Диксон, где формировался караван экспедиции из судов, вставших там на зимовку с наступлением зимы в Заполярье.

С первой подвижкой льдов пришёл в движение и сложный механизм экспедиции.

Валериан Иванович не верил в чудеса. Он знал, что все те, с кем он выходил в плавание на борту «Святой Анны» из Петербурга двенадцать лет назад, исключая матроса Конрада, его товарища по беспримерному переходу по льдам, мертвы уже почти десятилетие. Он хотел лишь отдать долг чести тем, кого не сумел спасти, тем, кто, возможно, надеялся на него, даже не совпадая с ним во взглядах и считая его трусом, бросившим сотоварищей на произвол судьбы ради собственного спасения, тем, кого он оставил умирать в ледяной пустыне давным-давно. Он не мог упрекнуть себя в малодушии: спасая себя, он тем самым давал шанс на спасение тем, кто предпочёл остаться среди льда, в сомнительном убежище вмороженного в него судна, предпочтя отсроченную на месяцы смерть чрезмерному риску самоубийственного броска через сотни вёрст пространства замёрзшего океана.

Но он выжил, а они — нет.

В этом была вся разница.

И потому он возвращался во главе экспедиции, укомплектованной и подготовленной неизмеримо более тщательно, чем могли они с Брусиловым себе даже только представить в далёком 1912 году.

Возвращался, чтобы знать наверняка.

Когда арки и полотнища полярного сияния вспыхнули над головой, затмевая солнечный свет, а само солнце перестало даже касаться горизонта

в своём беге по краю небесного окоёма, когда с безоблачного неба посыпались градины и дымные факелы метеоров, Валериан Альбанов почувствовал, как в груди дрогнул и начал таять кусок льда, десять лет назад заменивший ему сердце.

Он возвращался туда, где смог выжить и остаться человеком — пусть даже ему пришлось доказывать это себе самому долгие десять лет.

Восьмидесятая параллель встретила их бескрайним пространством открытой воды. Не веря своим глазам, полярники наблюдали за тем, как всё шире становятся разрывы в ледовых полях, как полыньи переходят одна в другую, как всё сильнее истончается сковавший океан панцирь, а температура забортной воды повышается с каждой пройденной экспедицией в направлении полюса милей.

Наконец массив пакового льда остался за кормой, и суда вышли в открытое море. Воды Гиперборейского океана были неспокойны — всё усиливавшееся течение подхватило суда и повлекло их вдоль неровной кромки льда в восточном направлении по витку широкой спирали.

Этому феномену не было внятного объяснения. Альбанов распорядился отвести караван в относительное спокойствие вод у края ледовых полей, где они замерли среди отколовшихся от пака льдин, работая машинами против течения, чтобы удерживаться на одном месте. В воздух поднялся гидроплан, который вёл первый в мире полярный лётчик — легендарный Ян Нагурский, переживший и полёты на несовершенных «фарманах» в суровых небесах Заполярья, и боевые действия Великой Войны.

Когда ярко-алый биплан, качнув на прощание крыльями, устремился в направлении полюса, совсем скоро скрывшись в поднимающихся над необъяснимо тёплым океаном испарениях, Альбанов, стоя на мостике «Таймыра», долго смотрел ему вслед, страстно желая проникнуть взглядом за подсвеченный полярным сиянием занавес туманов, в которые, увлекаемая течением, ушла когда-то с остатками экипажа «Святая Анна», закончив здесь свой ледовый дрейф.

Нагурский отсутствовал восемь часов. Профессионал до глубины души, он совершенно точно рассчитал запас топлива, вернувшись на практически сухих баках, когда его уже отчаялись ждать. Гидросамолёт выглядел плачевно: перкаль крыльев и фюзеляжа пестрел пробоинами, края части из которых были опалены. Пилот же счастливо улыбался, несмотря на то, что был явно измучен полётом. В меховой лётной куртке, унтах и сдвинутых на лоб очках-«консервах» Нагурский имел совершенно залихватский и героический вид.

Едва взойдя на борт «Таймыра», он отрапортовал Альбанову:

— Открытая вода на три сотни миль к северу. Течение круговое, в восточном направлении, всё ускоряется, если судить по скорости движения льдин внизу. Плотность осадков увеличивается, и град становится серьёзной помехой для полётов. Метеорный дождь усиливается по мере приближения к полюсу. Самолёт потрепало преизрядно, я несколько раз собирался уже повернуть, но всё как-то обходилось. И хорошо, что не повернул, потому что дальше… Валерий Иванович, вы не поверите! Я бы не поверил, если бы не видел сам! Сейчас будут готовы дагерротипы, и лучше вам самому посмотреть.

Альбанов с трудом удерживал себя от того, чтобы не броситься в судовую лабораторию. Когда дагерротипы наконец принесли, он и действительно не поверил своим глазам.

Снимки были нечёткими, пересвеченными от солнца и полярного сияния, но ошибиться было невозможно.

Мальстрём.

Гигантский, чудовищный водоворот в сотни миль в поперечнике, большой настолько, что кривизна окружности его края была практически неуловима глазом, ввинчивался в самое сердце Земли, плюясь столбами пара кипящих в глубине раскалённых недр вод Гиперборейского океана.

— Господи… — выдохнул Альбанов. — «Святая Анна»…

Окружающим показалось, что бывалый полярник, закалившийся телом и духом в ледяном аду Арктики, молится.

Валериан Иванович Альбанов и в самом деле молился. Молился за упокой душ тех, кого покинул тогда, не ведая, какая судьба была уготована им, — но никогда не мог бы предположить, насколько страшной оказалась в действительности их судьба.

Суда экспедиции пробыли у кромки льдов ещё месяц, собирая данные, проводя измерения, организуя осторожные вылазки в открытое море на быстроходных катерах. Нагурский ежедневно поднимался в воздух ещё две недели, привозя всё новые снимки, пробы воздуха и данные метеорологических приборов, установленных в подвесных контейнерах под крыльями, — до тех пор, пока однажды не вернулся с разбитым попаданием метеорита хвостовым оперением и Альбанов не запретил ему дальнейшие полёты.

Когда солнце впервые коснулось кромки горизонта своим жарким боком, экспедиционный караван отправился в обратный путь, чтобы успеть пройти медленно смыкающимся лабиринтом разрывов сквозь льды до окончания короткого заполярного лета, унося с собой весть об удивительном открытии, истинную ценность которого сам Валериан Иванович осознал лишь многие годы спустя.

1942 г. Арктика. Дуэль

— Вы действительно считаете, что здесь подходящее место для практического воплощения вашей

теории, Сергей Павлович?—спросил Валериан Альбанов, военный комендант острова Диксон, у своего собеседника, кряжистого молодого человека с волевым широкоскулым лицом.

Тот улыбнулся. Улыбка у него была хорошая, располагающая.

—Теория ведь не моя,—ответил он.—За неё мы должны быть благодарны Константину Эдуардовичу.

—Циолковскому?

—Циолковскому. Всё наше ракетостроение обязано в первую очередь ему. Я лишь развиваю тенденции, начало которым он положил ещё при царе-батюшке. Гениальный был человек!

—Должно быть, так,—задумчиво ответил Валериан Иванович, наблюдая за строительством.

Эстакада, круто изгибаясь, поднималась в бледное северное небо на добрую сотню метров. Облепившие её ажурное тело монтажники казались отсюда, с земли, суетящимися муравьишками. Рельсовые пути отблескивали полированным металлом, беря начало на стартовом столе посреди цветущей тундры в полутора километрах к югу от места, где стояли сейчас они с Королёвым. Туго натянутая двойная струна рельсов уходила в самое небо, обрываясь в никуда.

—Но всё-таки почему именно здесь?—спросил Альбанов.—Не севернее? Не на Новой Земле, скажем?

Королёв пожал плечами.

—Сотня-другая километров и даже тысяча километров приближения к полюсу роли, по сути, не играет. Мы и отсюда, с Диксона вашего, туда доплюнем!—он засмеялся.—Тут сейчас всё определяет геополитика. Западнее старт размещать нельзя—всегда есть угроза захвата врагом. Северный морской путь сейчас небезопасен—германские рейдеры то и дело шалят, подводные лодки десанты высаживают… А здесь мы достаточно далеко от войны, и коммуникации хороши: конвои с востока и запада, подвоз оборудования по железной дороге до Красноярска и по Енисею—сюда… Мы с вами тут, уж простите за старорежимное сравнение, как у Христа за пазухой живём. Словно и войны никакой нет. По своим людям разве не видите?

—Да уж…—только и махнул рукой Альбанов.

Дисциплина на острове и впрямь хромала на обе ноги. Окутавшая остров атмосфера благодушия совершенно разлагающе действовала на персонал военной базы. Конвои шли один за другим, прикрытые с моря кораблями сопровождения, а с неба—авиацией, и слабо оснащённому гарнизону острова не находилось ровным счётом никакой работы. С другой стороны—много ли мог остров со своей единственной артиллерийской батареей из пары орудий да стоящими в бухте на якоре сторожевым кораблём и переоборудованным под военный транспорт пароходом противопоставить мало-мальски приличным силам врага, буде таковые случатся вдруг здесь, в самом сердце советской Арктики?

И даже внезапный запуск секретного ракетного проекта здесь год назад не привнёс ничего существенного в размеренное течение будней островитян—ну разве что население увеличилось на сотню монтажников и техников, прибывших на Диксон вместе с главным инженером проекта, да пешие патрули усилили до трёх человек, уплотнив заодно и график обходов… Да только от кого здесь, на Богом забытом острове, охранять секретный объект? От песцов да медведей разве… Но секретность есть секретность—пусть всем и каждому, даже гарнизонной кухарке тёте Глаше, известно, что отсюда, с Диксона, вскорости будут запускать ракету, целясь в полюс.

—Я ведь так понимаю, Сергей Павлович, проект ведь наверняка военное применение найдёт в случае успеха?—спросил Альбанов, гоня прочь невесёлые мысли.—Это уж я так, чисто из интереса, спрашиваю, можете не отвечать. Тем более что наверняка подписку давали о неразглашении. Я вот давал, хотя в ракетном принципе разбираюсь на уровне общей эрудиции. Просто не могу представить себе мирного применения этой… штуки.

Валериан Иванович с опаской покосился в сторону нависшей над ними эстакады.

—А как же полёты к иным мирам?—пошутил Королёв, но сразу посерьёзнел.—Сейчас война, Валериан Иванович. Все мы работаем на войну, просто каждый по-своему. Все изобретения и разработки в первую очередь изучаются с точки зрения возможности создания оружия победы, и не только у нас. Немцы через Ла-Манш свои смешные ракеты пускают, за океаном ходят слухи о некоей супербомбе… Вот и наши с Цандером гирдовские ещё разработки вдруг пригодились: то, на что прежде иначе как на игрушки никто не смотрел, сейчас получило шанс найти практическое применение.

—Это вот те ваши ракеты с крылышками?—спросил, прищурясь, Альбанов. И добавил, видя, как напрягся собеседник:—Да вы не волнуйтесь, Сергей Павлович. Я, как комендант острова, должен быть информирован обо всех прибывающих грузах, пусть даже самых секретных. Даже если и не понимаю, что это такое и для чего служит. А что до иных миров… Отчего бы не помечтать? Тем более что на всей Земле звёзды толком только отсюда, из Заполярья, и видны-то. Отчасти за это Север и люблю. А отсюда и до самой Антарктиды облачность небо застит…

—Ну теперь-то ответ на вопрос о происхождении вечного облачного полога, мучивший поколения древних, мы знаем—и во многом благодаря той вашей экспедиции,—улыбнулся Королёв.

—Ну полноте, Сергей Павлович,—отмахнулся Альбанов.—Нам повезло быть первыми, вот и всё.

Открыл бы кто-то ещё, годом ли позже, десятью ли годами…

— В этом и суть первооткрывательства, Валериан Иванович,— раньше прочих прикоснуться к неведомому.

И на сей раз Альбанову показалось, что Королёв не шутит.

Воды Гиперборейского океана, закручиваясь в гигантской воронке полярного мальстрёма, устремлялись в расплавленные недра планеты и, удерживаемые незримым туннелем магнитных полей, проходили их насквозь, каким-то образом минуя твердь земного ядра,— а потом выбрасывались, разогретые до огромных температур, сквозь контрапертуру в земной коре, расположенную в южном полушарии, в Антарктике.

Конрапертурой этой был величайший на планете вулкан Эребус, на деле оказавшийся гейзером, ледяной конус которого скрывался в облаках низкого неба царства вечных сумерек — Антарктиды. Извергаемый Эребусом чудовищный столб раскалённого водяного пара окутывал туманами всё Южное полушарие и половину Северного бóльшую часть года. Горные хребты всех континентов, выступая в роли рёбер радиатора, конденсировали на себе влагу, возвращая её по речным руслам в океан и обеспечивая круговорот воды в природе.

Всё это Альбанов знал. Теперь — знал, вместе со всем остальным человечеством.

Но не переставал удивляться этому знанию, чувствуя нескромную гордость от своей причастности к открытию одной из великих тайн мироздания — и немного сердясь на себя самого за это неподобающее тщеславие.

— Есть теория — пока лишь теория, Валериан Иванович, и нам в скором будущем предстоит подтвердить её или опровергнуть самым действенным — экспериментальным — путём: что наша планета, выступая чем-то сродни гигантского магнетрона, представляет собой, по сути, один огромный прямоточный реактивный движитель, который захватывает всё на своем пути — межзвёздный эфир, космическую пыль, мелкие небесные тела — сотканной из искажений магнитного поля воронкой у Северного полюса и отправляет в топку недр в качестве рабочего тела, которое выбрасывается через гигантскую дюзу Эребуса в межпланетное пространство и двигает Землю невесть куда и зачем,— доверительно склонившись к собеседнику, говорил меж тем Королёв.— Смысл этого явления учёным пока недостаточно ясен, но если это предположение окажется истинным, многие общепринятые положения пошатнутся. Я сейчас имею в виду прежде всего коперниковскую систему мироздания и законы движения планет Кеплера. Мы стоим сейчас на пороге настоящего переворота в науке — да ведь вам это не впервой, Валериан Иванович, верно?

Альбанов, захваченный перспективами, лишь намеченными ракетостроителем, мог только невразумительно хмыкнуть.

— Но ближайшей нашей задачей является изучение возможности вывода на орбиту вокруг Земли искусственного тела, спутника, с наименьшими затратами энергии. Баллистические ракеты, которые используют германцы, пока всё ещё маломощны для этой цели и нескоро ещё станут пригодны для космических полётов. Мы незначительно опережаем немецких ракетчиков — но у нас иной подход: использовать естественный внутренний реактивный двигатель Земли для разгона нашего аппарата до первой космической скорости. По сути, мы только и должны, что забросить свою ракету в центр открытого вами мирового водоворота. Всего-то и дел!

Королёв довольно прищёлкнул пальцами.

— А почему именно ракета? — спросил Альбанов, чувствуя себя отчего-то преглупо.

Вот в такие моменты и осознаёшь вдруг, что стал настоящим ископаемым, реликтом прошлого, подумал он, человеком из того времени, когда мир был необъясним, а оттого прост и понятен. Будь неладен этот мальстрём, водоворотом закруживший его не готовое к переменам в мировоззрении сознание два десятилетия назад!

— Ну-ну, товарищ Альбанов! — Королёв шутливо погрозил пальцем.— Вы же были там. Это же ад кромешный. Сконденсированная в град влага из верхних слоёв атмосферы, рассыпающиеся кометы, метеорные тела, захваченные апертурой воронки магнитного поля — всё, что кормит реактивный двигатель недр нашей планеты, да ещё вихревая турбулентность взбаламученной магнетизмом атмосферы, да пар из этого адова котла… Воздухоплавание в Приполярье абсолютно невозможно, и мы не можем просто зависнуть над центром водоворота и опустить туда наш космический аппарат. Конечно же, ракета! Именно и только ракета! Для того мы здесь и трудимся.

Альбанов только и мог, что кивнуть. Королёв продолжал:

— Овладев принципами орбитальной навигации, мы сможем доставить заряд любой мощности в любую точку Земли — но это лишь задачи ближнего прицела, диктуемые военным временем. А уж потом, когда победим окончательно и бесповоротно,— тогда дело за изучением иных миров. Планеты, которые мы отсюда, из-под облачного щита атмосферы, и разглядеть-то до сих пор толком не можем даже в самые мощные телескопы, окажутся совсем рядом — рукой подать! Грядут великие дела, Валериан Иванович, дорогой,— и я совершенно уверен, что в скором будущем мы с вами станем им свидетелями.

До расчётных сроков ввода объекта в эксплуатацию оставалась неделя, когда «Адмирал Шеер»,

тяжёлый крейсер кригсмарине типа «Дойчланд», действуя в рамках операции «Вундерланд», атаковал Диксон, появившись из тумана, словно призрак, и ударив из главного калибра по гарнизонному городку и кораблям в бухте.

Подавив огонь береговой батареи и выведя из строя сторожевик и пароход «Революционер», «Шеер» спустил на воду катера с десантом. Ни у кого не возникло сомнений, что целью германцев был именно ракетный объект команды Королёва.

Бойцы гарнизона готовились принять неравный бой. Крейсер продолжал осыпать берег шрапнелью, прижимая защитников острова к земле. Альбанов, легко раненный осколком, из блиндажа КП видел, как один за другим гибли в траншеях его люди. Крейсер выставил радиопомехи, и неизвестно было, услышали ли на Большой земле сообщение, посланное в эфир прежде, чем радиоузел был уничтожен прямым попаданием вражеского снаряда.

Внезапно в грохот разрывов вплёлся новый звук. Мощный басовитый рёв донёсся из глубины острова, словно странно продолжительный громовой раскат. В этих широтах, неспокойных из-за близости к вечной электромагнитной буре Приполярья, грозы были очень часты. Альбанов видел, как на звук поворачиваются бледные пятна лиц скорчившихся в окопах людей.

Звук вдруг рывком приблизился и сделался оглушительным, но несколькими мгновениями раньше небольшое продолговатое тело стремительных очертаний взвилось к облакам над морем на столбе чадного пламени — а потом камнем рухнуло в океан. Громыхнул разрыв, и над свинцовой серостью волн раскрылся цветок дымного огня.

Обстрел прекратился.

Альбанов и его подчинённые смотрели вслед поспешно уходящим в открытое море десантным катерам. Вдали от берега, там, где совсем недавно маячил хищный силуэт крейсера, среди волн всё ещё что-то горело, испуская клубы чёрного дыма.

Рядом взрыкнул автомобильный мотор, скрипнули тормоза. Хлопнула дверца, и Альбанов услышал за спиной:

— Принимайте объект, товарищ военный комендант!

Королёв ослепительно улыбался.

— Будем считать это незапланированными испытаниями в условиях, максимально приближенных к боевым, — улыбнулся в ответ Альбанов. — Объект принят.

— Это, конечно, вышло, что называется, из пушки по воробьям, — сказал Королёв и досадно поморщился. — В прямом смысле — ближний прицел. Совершенно не космический масштаб. Расстояния не те. Очень сложно было телеуправлять полётом, помехи эти, да и баллистическая кривая абсолютно безобразная вышла… Ну да ладно! Уж если в таких экстремальных условиях всё у нас получилось, то когда война закончится и мы к процессу наконец подойдём с толком и расстановкой, успех просто неминуем! А, Валериан Иванович?

Королёв подмигнул.

— Конечно, Серёжа, — ответил Альбанов, чувствуя, как касаются кожи лучи нежаркого северного солнца. — Всё впереди. Всё получится. Не может не получиться.

1961 г. Красноярск. Звёзды

Валериану Ивановичу Альбанову было семьдесят пять лет, когда первый искусственный спутник Земли сказал своё знаменитое «бип-бип» из динамиков сотен миллионов радиоприёмников по всему миру.

Ему исполнилось семьдесят восемь, когда со стартового стола на Диксоне взмыли в небо, чтобы, пройдя сквозь воды мирового водоворота и пекло земных недр, совершить семнадцать витков вокруг Земли, космические собаки Белка и Стрелка.

Теперь ему всё ещё было семьдесят восемь, и этим апрельским днём он как никогда отчётливо осознавал стремительность течения времени, которое неслось мимо всё быстрее и быстрее.

Возраст, подумал Валериан Иванович. Конечно же, это всё возраст. Не время ускоряется, а сам ты живёшь всё медленнее, не поспевая за молодыми.

Человек в космосе. Надо же. Не чаял дожить, а поди ж ты…

Коляска неспешно катила его вдоль по улице, полной весёлых, ярко одетых, улыбающихся людей, которые искренне радовались погоде, весне и тому, что их Родина — лучшая страна в мире и снова доказала это, послав своего сына в межзвёздный эфир космического пространства.

«Как прекрасна наша планета! — доносился до Валериана Ивановича из репродукторов молодой голос, искажённый треском помех. — После головокружительного падения сквозь центр Земли, после полёта сквозь царство расплавленного камня и облачный полог я первым из жителей нашей родной планеты отчётливо вижу звёзды. Они холодны и далеки, и Земля мчит им навстречу. Отсюда, из космоса, она напоминает огромный ракетный корабль, который на гигантском столбе водяного пара возносится к звёздам вместе с другими планетами, несётся к неизвестной пока нам цели. Мы, люди, экипаж корабля по имени Земля, должны объединить наши усилия, чтобы сохранить наш дом таким же прекрасным, каким он видится мне сейчас. Когда мы научимся управлять этим кораблём, нам откроется дорога к другим мирам…»

Конечно же, откроется, думал Альбанов.

Иначе и быть не может.

Что ждёт нас там? И — кто нас там ждёт?

Скоро узнаем. Теперь совсем уже скоро.

Хорошо бы дожить.

Хорошо бы…

Владимир Юрченко
Охота

Реликт

ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА. ЭВЕНКИЯ

10 июня 2017 года

— Думаешь то же, что и я?
— Тут думай не думай, «белочка» сразу двоих не посещает,— Андрей откинул сетку накомарника и стёр со лба выступившие капли пота.

Геодезист Петрович трясущимися пальцами пытался попасть сигаретой в рот, но это ему не удавалось. Два работника геологической партии стояли у расколовшейся в незапамятные времена скалы, не решаясь подойти вплотную к серому с прожилками камню.

— Что делать будем?

Петрович наконец-то смог унять непослушную руку и с наслаждением вдохнул терпкий дым.

— Начальнику партии доложить надо, по всей форме! Не каждый день гуманоида находишь, да ещё в скафандре.

МОСКВА. ИНСТИТУТ ПАЛЕОНТОЛОГИИ РАН

19 июля. 10:30

Ниёле пристально рассматривала Татаринцева. Встреть она его на улице — ни за что бы не догадалась, что перед ней учёный. Молотобоец или бывший спортсмен — ещё куда ни шло, но профессор! Татаринцев был могуч. Широкие плечи, тугие мышцы рук, которые не могли скрыть рукава байковой рубашки, тяжёлый лоб с небольшими залысинами, русые волосы и пронзительные голубые глаза. Лиловая жилка на виске профессора учащённо билась, снимок подрагивал в пальцах.

— Это фальшивка! — Татаринцев бросил на стол фотографию. — Человек, который её сделал, хорошо разбирается в палеонтологии и, наверное, в «Фотошопе», но это подделка. В природе никогда не существовало такого вида. Это химера!

— Что, прости?

Татаринцев устало посмотрел на седовласого Чигарова.

— Химера, Артур, настоящая химера, Существо, объединяющее в себе признаки разных видов. Откуда у тебя эта фотография?

— Ей спасибо скажи, — Чигаров кивнул на девушку. — Пронырливая ныне молодёжь. Раскопала где-то, что неделю назад на одном из палеонтологических аукционов в Париже турист из России предъявил организаторам торгов этот снимок и сказал, что через два месяца готов предоставить им окаменевшие остатки… за три миллиона евро.

— Ну что ж, пусть предоставляет. Двух месяцев ему хватит, чтобы создать более-менее правдоподобный муляж.

— Ты не понял, Павел, — Чигаров достал ещё одну фотографию и передал её Татаринцеву. — Эта, как ты выразился, химера существует на самом деле. Вот ещё один план этого реликта. Его сделал на месте находки наш человек.

БОРТ САМОЛЁТА «СУПЕРДЖЕТ-100»

20 июля. 9:30 утра

За Уралом земля пропала. Сплошной зелёный покров, изредка рассекаемый ломаными линиями рек, сменился белёсой пеленой облаков. Татаринцев откинулся в удобное кресло и закрыл уставшие глаза.

На сборы почти не дали времени: едва хватило двух часов, чтобы загрузить в самолёт оборудование. Вырваться на свободу из тесноты города, пусть и таким неожиданным способом, он был, конечно, рад, но цель полёта его смущала. Вернее, даже пугала. Слишком серьёзно завертелась государственная машина, чтобы новость, заставившая его и других сорваться с места, была дутой сенсацией.

Виновник неожиданного путешествия спал рядом. Седая шевелюра когда-то чёрных, как смоль, волос, на груди две Звезды Героя, нынешней России и канувшего в Лету Советского Союза, — большая редкость, насколько знал профессор.

В правительственном «Супреджете-100» было непривычно тихо. Двигателей почти не было слышно, даже лёгкой вибрации, столь привычной в аэробусах, не ощущалось. Профессор едва не вздрогнул, когда сосед заговорил.

— Сейчас главное — исключить утечку информации. Ты не представляешь, Павел, что произойдёт в мире, если хоть кто-нибудь узнает о находке. Для России это уникальный шанс. Мы должны сделать всё так, чтобы наша страна получила максимум выгоды от этой окаменелости.

— Не знаю Артур, я не могу ничего сказать, пока не увижу её своими глазами: может, они нашли просто незнакомую науке рептилию и приняли её за инопланетянина?
— Но ведь геологи уверенно говорят, что слой, где она была обнаружена,— шестьдесят миллионов лет, это гораздо выше иридиевого пояса.
— Вот это пока для меня самая большая странность. Если они не ошиблись в расчётах, это кайнозой. Динозавры уже вымерли.
— Чёрт подери!— Артур вскочил с кресла.— Ты, Павел, всегда был занудой и скептиком. Мы практически столкнулись с самым феноменальным открытием в истории человечества— с прямым доказательством существования инопланетной жизни. Сколько учёных мечтали об этом, строили гипотезы, изучали небо в телескопы, ловили малейший шорох в космическом пространстве. Фантасты тысячи томов исписали. А тут, можно сказать, под ногами, лежит прямое доказательство, прямо в руки идёт— изучайте!
— Не кипятись, Артур,— спокойно ответил Татаринцев и привычно потянулся к карману пиджака, где лежал футляр с трубкой, но остановился на полпути, вспомнив, что он в самолёте.
— Да кури ты, здесь можно,— Артур стал ходить по салону, приковав внимание других членов неожиданной экспедиции.— Сизов, начальник партии,— человек в здравом уме. Я его ещё по Антарктиде помню. Отличный геолог и прожжённый хозяйственник. У него половина партии— бывшие зэки, он их в таком железном кулаке держит— мама не горюй. В чертовщину всякую не верит и вряд ли бы стал всех попусту будоражить. Там такие деньги сейчас крутятся! Поверь мне, запасы нефти в Эвенкии не меньше тюменских, так что ему таких шуток не простят. Да и оборудование у них всё самое современное, ошибиться в расчётах не могли.
— Я не раз сталкивался с подобными сенсациями,— Татаринцев меланхолично раскурил трубку.— Все эти железные болтики в камнях, индукционные катушки, окаменевшие следы подошв от современной обуви— бред полный. Если я дам тебе сейчас кусочек окаменевшей морской лилии-криноидии, ты первый побежишь к журналистам и будешь кричать, что нашёл гайку в породе, которой двести миллионов лет.

Татаринцев непроизвольно взглянул на Ниёле, которая что-то быстро записывала в блокноте.
— Вот и тут,— профессор покрутил в руках цифровой снимок,— на первый взгляд, несомненно, черты существа, похожего на человека, но не нужно забывать о чудовищном давлении, которому подверглись останки за шестьдесят миллионов лет.
— А шлем скафандра?— не унимался Чигаров.
— Давай договоримся, что всё-таки это предполагаемая сфера, а не шлем. Может, это остатки круглого рогового панциря какого-нибудь млекопитающего, вида которого мы просто не знаем.
— Ну, допустим, это окаменевший зверь. Ты сам-то в это веришь?
— Да вот, получается, и верю, и не верю. Ищу тысячу причин, чтобы не переворачивать все свои представления о естественной истории Земли. А сам понимаю, что не должно вот этого,— профессор бросил на стол фотографию,— быть в природе.

Япония. Префектура Осака. Лаборатория генно-молекулярной инженерии университета Кинки

20 июля. 10:20 утра

Профессор Акира Ирикати отложил снимки в сторону, снял очки и потёр красные от недосыпания глаза. Он верил, что когда-нибудь это произойдёт. Пусть таким способом, без космических кораблей и репортажей в прямом эфире, без сенсационных расшифровок космических сигналов и нападений извне. Пусть так, незаметно и тихо. Но это— Контакт! Пусть разнесённый временем в миллионы лет. Мы не одни в огромной Вселенной— или были когда-то не одни.

Но сейчас ему было обидно. Обидно оттого, что опять повезло этим русским. Четыре десятка лет он ищет по всему свету останки доисторических существ. Долина динозавров в Альберте, сухие пески Гоби, асфальтовые ловушки в Калифорнии, сланцы в Германии— везде ему удавалось найти нужные контакты и решить вопрос о предоставлении образцов для исследований. Только в России он не смог этого делать. Образцы замороженной туши мамонта ему удалось получить путём подкупа одного из сотрудников экспедиции. Если бы было чуть больше материалов, чуть больше нужных локусов и ему удалось бы прочитать генетический код мамонтёнка— и дело пошло бы на лад. Гибрид африканского слона и якутского мамонта давно бы бегал по лабораторному вольеру университета. И вот снова уникальная находка в руках русских.

Ирикати сжал очки, едва не погнув тонкие золотые дужки. Нужно было срочно решать вопрос о доставке материалов из России. Он сам полетит. Сам. Иначе останки существа исчезнут, и научный мир никогда о них не узнает.

Трясущимися пальцами Акира Ирикати стал набирать номер секретаря премьер-министра.

Эвенкия. Район Подкаменной Тунгуски

21 июля. 6:00 утра

Вертолёт, чуть не задевая макушки розовых от восходящего солнца деревьев, развернулся над одинокой скалой и полетел вдоль окутанной утренним туманом реки. Широкая извилистая лента терялась далеко на западе, исчезая в тёмно-синем горизонте.

Татаринцев, уставший за несколько часов полёта от непрерывного гула турбин вертолёта, едва не пропустил условный знак пилота. Щербатый парень в лётной гарнитуре жестом цезаря, приговаривающего гладиатора к смерти, показывал большим пальцем руки вниз.

Все, кто не спал, припали к иллюминаторам. Только неугомонный астроном из Питера с живописной фамилией Васнецов открыл дверцу и чуть ли не полностью высунулся наружу. Ворвавшийся в салон рёв двигателей и жёсткие хлопки лопастей разбудили Чигарова, и он, неодобрительно посмотрев на молодого учёного, стал копошиться в объёмном рюкзаке.

Зашевелился и флегматичный оператор съёмочной группы, продремавший, к чёрной зависти Татаринцева, весь полёт. Его коллега, светловолосая журналистка со странным именем, которое профессор, как ни старался, правильно выговорить не мог, пыталась сквозь мутное стекло иллюминатора снять на камеру мобильного телефона мелькающий внизу лес.

— Ниёле,— Васнецов перекричал даже шум вертолёта,— посмотрите, какая красота. Разве у себя в Москве вы такое увидите?

Однако девушка даже не повернулась в сторону астронома. Татаринцев неожиданно для себя с радостью заметил, что за последние сутки, что они провели вместе, Васнецов уже успел надоесть журналистке…

Через несколько часов Татаринцев медленно разгребал лежавшие в углублении перед скалой природный мусор и куски камней. Перемешанные кости, в которых он сразу же определил останки бурого медведя, откинул в сторону. Им было лет тридцать-сорок, не больше. Татаринцев чувствовал нарастающий азарт, как тогда, в восемьдесят четвёртом, в Казахстане, когда в экспедиции Шарова они нашли несколько сенсационных видов покрытых шерстью рамфоринхов. Вживую окаменелости казались ярким светящимся пятном на фоне серой скалы. Фоссилии были превосходной сохранности — настоящая удача для палеонтолога.

Татаринцев, по въевшейся привычке, стал вслух комментировать обследование:

— Судя по останкам, существо ходило на двух ногах. Вот смотрите, одна из них, сдавленная породой, выпирает жёлто-чёрным бугорком на камне. Кость тонкая, прямая, с коленной чашечкой… Похоже на рептилию. Так и есть — трёхпалая. Но вот крестец — это не от рептилии, напоминает пигостиль.

— Чего напоминает? — Васнецов почти вплотную придвинулся к Татаринцеву.

— Гузку у курицы видел?

— Ну да.

— В общем, то же самое. Место для крепления хвостовых перьев.

— Это что, птица?

— Подожди,— Татаринцев осторожно передвинулся и, вытащив из кармана лупу, стал рассматривать выпирающую наружу окаменевшую кость.— Странное существо. По строению напоминает бесхвостого дейнониха. Был такой динозавр в конце мелового периода. Но вот ходило оно как человек, почти прямо. И, скорее всего, у существа сломан позвоночник, только вот прижизненный этот перелом или из-за сдвигов пластов, сказать пока не могу.

Вдруг Татаринцев замер и замолчал. Он медленно повернулся к Чигарову. Ниёле заметила, каким бледным стало лицо профессора. Шикнув сквозь зубы оператору, чтобы тот не выключал камеру, она попыталась подобраться ближе к профессору, что было не так-то просто. Васнецов, Чигаров и начальник геологической партии стояли к Татаринцеву ближе и спинами прикрывали находку.

— Кажется, Артур, ты был прав,— срывающимся голосом произнёс палеонтолог.— У него мозг. Большой мозг!

Все приблизились к скале почти вплотную. Вокруг круглого основания затылочной части окаменевшего черепа проходила светлая полоса. Она охватывала всю голову существа и светлым контуром уходила к плечам.

— Ну, что скажешь? — Чигаров склонился к Татаринцеву.

— Это похоже на одежду.

— А я тебе чего говорил?!

Татаринцев присел на камень и вздохнул.

— Странное сочетание. Из того, что я вижу, могу с уверенностью сказать только, что это существо имеет черты и ящера, и птицы, и человека. Оно ходило на двух ногах, у него был небольшой гребень на спине и развитый мозг. Ту часть черепа, что скрыта под камнем, нужно посмотреть обязательно.

Профессор снова достал лупу и стал обследовать мелкую трещину между окаменевшей костью и скальной породой.

— Дай-ка мне долото и молоток.

Отточенными движениями Татаринцев несколько раз ударил по сплющенному концу долота.

Сидевшие рядом Чигаров и Васнецов зажмурились от летевших в лицо каменных крошек. Убедившись, что долото крепко вошло в породу, профессор со всей силы нанёс удар. Инструмент со звоном провалился в породу, и серый кусок медленно отвалился от скалы. Татаринцев замер. На него смотрело лицо.

ЛАГЕРЬ ГЕОЛОГОВ

21 июля. 21:00

Все последующие события дня сжались для Ниёле в несколько минут. Она помнила, что после шока, который охватил всех на месте обнаружения

инопланетянина, у Татаринцева и других начался приступ бурной деятельности. Народ из геологической партии сновал к месту находки и обратно к лагерю. Чигаров постоянно звонил куда-то по спутниковому телефону, что-то кричал в трубку. Ей даже удалось записать репортаж у окаменевших останков на фоне ещё не вынутой породы. После того как вырубленный кусок скалы перенесли в геологический лагерь, Татаринцев всех отогнал от него и стал совершать непонятные манипуляции. Сначала развернул походную лабораторию. Ниёле ожидала, что в многочисленных алюминиевых кофрах лежат химические реактивы, склянки, мензурки и чашки Петри или, на крайний случай, громоздкая фотоаппаратура. Однако Татаринцев достал необычные штативы и расставил их по периметру вынутой породы. Сверху к краям прикрепил прозрачный тент из тонкого стеклопластика и сел за ноутбук. По тенту по одной ему только ведомой траектории стал кататься чёрный жучок, размером со спичечный коробок.

— Ух ты, «Биоморфикс»! — Ниёле вздрогнула от неожиданного голоса Васнецова за спиной. — Первый раз вижу его в действии.

— А что это? — буднично спросила журналистка.

Она уже перестала удивляться неожиданностям.

— В девяностых годах прошлого века наши российские палеонтологи и программисты создали программу для определения морфологической, то есть видовой, принадлежности найденных окаменевших останков. Вводят в компьютер данные одной кости динозавра, и он выдаёт общий вид доисторической рептилии.

— Так уж и общий? — недоверчиво протянула журналистка.

— Вы когда в школе древнюю историю проходили, видели в учебнике фотографии скульптур питекантропа или неандертальца, выполненные Михаилом Герасимовым?

— Что-то в общих чертах припоминаю.

— Он разработал научный метод, по которому удавалось с достаточной точностью воспроизводить черты лица, например, по черепу. Мышцы на костяке располагаются не просто так, а в определённой закономерности. Зная их, можно понять, как выглядело в целом любое существо. Эти азбучные истины и были заложены в основу «Биоморфикса». Это последняя версия, она включает в себя не только визуальный анализ костных останков, но и обрабатывает невидимые глазу окаменелости, заключённые в скальную породу. Тут и ультрафиолетовое сканирование, и инфракрасное, и рентгеновское. Одновременно происходит и компьютерная томографическая обработка. К утру мы будем знать, и как выглядел инопланетянин, и даже какой объём головного мозга у него был. Теперь не нужно месяцами препарировать останки, освобождая их от лишней породы. Если бы останки находились в горизонтальном положении и тент можно было развернуть над находкой, из скалы его вырубать не пришлось бы. А ещё мы можем узнать, сохранился ли в костях генетический материал.

— Но мне Татаринцев сказал, что кости за миллионы лет заменились камнем.

— Вы правы, но случаются моменты, когда из-за быстрой естественной консервации сохранялись элементы костного вещества. В тысяча девятьсот девяносто пятом году американка Мари Швейцер выделила коллаген из костей тираннозавра, а поляк Павличка проделывал подобные опыты ещё в шестидесятых; правда, к нему всерьёз не прислушивались.

— Всё-то вы знаете, Валера, — в голосе девушки прозвучали кокетливые нотки.

— Зря иронизируете, Ниёле. Вы даже не подозреваете, насколько астрономия близка к палеонтологии и геологии. Мы мерим время астрономическими единицами.

— Может, вы знаете, откуда прилетел этот инопланетянин?

— Не знаю, но догадываюсь!

— Интригуете?

— Нисколько. Вы слышали о Быстром Барстере?

— Никогда.

— Не так давно астрофизики обнаружили в космосе объекты, которые ведут себя слишком странно. Можно даже сказать, что они ведут себя разумно. Например, Быстрый Барстер, или MXB 1730–335, из созвездия Скорпиона производит серии вспышек. Пока мы не можем понять, каким образом он это делает. Вспышки производят последовательности, которые не могут быть у естественных объектов. Сейчас установлено, что примерно на расстоянии шести с половиной световых лет от Быстрого Барстера испускает сигнал невидимый радиоисточник. А ещё за последние годы мы научились открывать планеты у звёздных систем. Причём обнаружено несколько планет у звёзд категории G, той же самой, что и наше Солнце. Так что если мы сузим поиск, обязательно вычислим, откуда появился этот пришелец.

Суета в лагере геологической партии продолжалась до ночи. Последним, что увидела Ниёле, прежде чем лечь спать, была склонившаяся над ноутбуком фигура Татаринцева.

БЕРЕГ ПОДКАМЕННОЙ ТУНГУСКИ. НЕДАЛЕКО ОТ МЕСТА НАХОДКИ

22 июля. 07:15

Дрожащие звёзды серебрились на краях мелкой волны и испуганно разбегались по кругу, чтобы через несколько мгновений вновь застыть на гладкой поверхности воды. Татаринцев задумчиво смотрел на звёздное небо и бросал в воду камешки. Он не

обращал внимания на вьющуюся вокруг него раннюю мошку, не видел дикого гуся, осторожно выглядывавшего из-за старой полузатопленной коряги, не замечал снующих по воде жуков-плавунов.

Ниёле, ёжась от утреннего холода, идущего от реки, приблизилась к одинокой фигуре профессора, сидящего у воды на каменном останце. Рядом на серой поверхности камня лежал придавленный небольшим обломком бумажный лист.

Обернувшись на звук шагов, Татаринцев грустно улыбнулся.

— Акулы пера встают рано, чтобы не проспать сенсацию. Хотите взглянуть на инопланетянина?

Профессор легко спрыгнул с камня и, перескочив через высохший ствол дерева, оказался рядом с Ниёле и протянул ей лист. Только сейчас журналистка заметила, что на одном из пальцев правой руки у Татаринцева не было фаланги.

— Ерунда,— заметив взгляд Ниёле, профессор смущённо убрал руку.— В детстве ракеты самодельные запускали вместе с Чигаровым. Мы с ним с одной деревни.

Это не было лицом человека. Удлинённый, чуть вытянутый кверху череп, два круглых, больше чем у людей, глаза. Узкий нос, пересекавший лицо сверху вниз от небольшого лобового выступа до клювовидного рта с небольшими клыками. На распечатке принтера была лишь голова инопланетного существа.

— Там, у Чигарова, все остальные распечатки,— Татаринцев беспечно махнул в сторону лагеря.— Любуется на своего инопланетянина. И ваш оператор за ним как привязанный бродит. Кстати, у нашего реликта, похоже, было с собой оружие. Какой-то длинный продолговатый предмет, нечто вроде оструганной заострённой палки. Сейчас она окаменела, но когда-то, возможно, он на неё опирался.

— Вы всю ночь не спали?

— Да вот как-то не получилось,— профессор пожал плечами.— В два часа всё закончили, а затем я пошёл сюда, на звёзды смотреть. Знаете, тут так хорошо звёзды ночью видно. Небо кристальное, все созвездия как в планетарии. Можно смотреть и ни о чём не думать. Вернее, наоборот, смотреть и думать. Ведь вчерашнее открытие всю жизнь перевернуло, и не только мою. Я вот до последнего не верил, что это инопланетное существо. Весь мой внутренний голос учёного прямо кричал: что-то тут не так, не может быть, чтобы это был пришелец со звёзд. А вот он, как на ладони. И ходит прямо, и руки у него есть — правда, трёхпалые,— и мозг. Почти тысяча триста кубиков — это же практически показатель современного человека. А знаете, что анализ сферы вокруг головы показал? С вероятностью в пятьдесят процентов можно сказать, что это сплющенный гермошлем. Васнецов вон уже расчёты делает, с какой точки небесной сферы пришелец к нам прилетел и упал в озеро.

— Почему в озеро?

— Ну, это элементарно: такой сохранности останки могли оказаться только в случае, если их не растащат хищники или падальщики. Скорее всего, пришелец утонул в озере, и его быстро чем-то засыпало — возможно, обрушившимся краем берега. А ещё томография структуры внутренней поверхности черепа показала как исключительную развитость участков, отвечающих за высшую нервную деятельность, так и особое устройство внутреннего уха, чувствительного к низким частотам. Понимаете, что это значит?

— Как-то не очень,— честно призналась Ниёле.

— Он был разумным и мог говорить.

ЛАГЕРЬ ГЕОЛОГОВ

22 июля. 16:23

Все ждали «корову». Огромный Ми-26 должен был прилететь вечером, чтобы забрать вырубленный кусок скалы, Чигарова, Татаринцева и телегруппу. Свободные люди из геологической партии расчищали заставленную оборудованием бетонную площадку. Обычный грунт мог провалиться от тяжести многотонной машины. Татаринцев ещё раз отметил про себя, какие средства вкладывались в геологическую разведку Восточной Сибири. Обычный лагерь имел залитую бетоном площадку, модульные перевозные домики, даже спутниковое телевидение. Чигарову пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить Ниёле и её спутника-оператора не пересылать материалы на телекомпанию с места, а такая возможность у геологов была.

Однако после обеда из Красноярска сообщили, что вылет Ми-26 из-за грозы откладывается.

Татаринцев пошёл к геологам проверять стратиграфические расчёты. И вскоре понял, что геологи не зря отрабатывали свой хлеб. Придраться в расчётах было не к чему. По всему получалось, что пришельца обнаружили в слоях данского яруса палеоцена, что примерно соответствовало периоду от шестидесяти пяти с половиной до шестидесяти миллионов лет назад.

Но больше всего Татаринцева заинтересовал электронный сканирующий микроскоп, который стоял в лаборатории геологов.

— Аппарат работает?

— Ещё как! — гордо ответил вихрастый лаборант Андрей, тот самый, что на пару с геодезистом Петровичем обнаружил пришельца.

После разборок с внутренней службой безопасности, когда выяснилось, что тихоня Петрович через знакомых отправил снимок пришельца во Францию, он вёл себя тише воды. Даже не попрощался с отправленным в Туруханск напарником.

— Выделишь мне пару часов? Поработать надо,— Татаринцев пристально посмотрел на лаборанта.— И чтобы никто не знал.

— Да без проблем, Павел Владимирович, хоть сейчас распакую — и работайте.

лагерь геологов

23 июля. 10:20

Солнце оглушало. Яркий диск пронзал тонкое небо, заливал всё вокруг и отражался миллионами искр на мелкой ряби. Верхушки елей, непривычно низкие, не такие разлапистые, какими он привык их видеть у себя на родине, тонули в жёлтом мареве. Глаза слезились от непривычно яркого света, и берег сливался в одну жёлто-зелёную полосу. Мелкая дрожь корпуса передавалась всему телу, заглушая начинавшийся озноб. От быстрой реки несло прохладой.

— Здесь всегда так, — капитан пытался перекричать шум двигателя. — Солнце появляется редко, но зато если уж светит, то так, что мир переворачивается. Резкий континентальный климат. Иногда, пару недель в год, до сорока градусов жары бывает, а остальное время уже зима.

Лагерь геологов Акира Ирикати заметил сразу. Небольшой скальный выступ каменным наконечником разрывал Тунгуску, образуя мелкую тихую заводь. На берегу, на вырубленном под лагерь участке леса, стояли разборные модульные домики и защитного цвета палатки. Лёгкий ветер раздувал брезент, хлопал тканью по бокам палаток.

Водомётный катер сделал разворот против течения, лавируя между серыми отмелями и густыми чёрными водоворотами. Двигатель натужно выл, выдавая положенные лошадиные силы, размётывая за кормой искрящуюся воду. Лёгкий толчок о дно реки был почти незаметен. Ирикати спрыгнул на мокрый хрустящий гравий и подошёл к скошенному навесу из грубо сколоченного тёса.

— Принесла нелёгкая, — Чигаров смачно сплюнул и убрал под стол распечатанную бутылку коньяка.

Татаринцев исподлобья смотрел на Ирикати.

— Что, сдали уже?

— Здравствуйте, господин Татаринцев, — произнёс японец на ломаном русском и поклонился. — Я прошу прощения за вторжение.

— Здравствуй, Акира, — профессор легонько пнул под столом Чигарова, и тот вернул бутылку обратно. — Садись, гостем будешь. И это, давай без ваших этих восточных штучек. Говори начистоту.

— Я всё знаю, — Ирикати с опаской посмотрел на Чигарова и заговорил по-английски. — Мне нужны образцы для генетических экспертиз.

— Я те щас такие дам образцы!

— Подожди, — Татаринцев крепкой рукой усадил назад поднявшегося было Чигарова. — Успеешь ещё.

Профессор разлил остававшийся коньяк по пустым стаканам, придвинул к себе один и залпом выпил.

— Ты, Акира, про инопланетянина, что ли?

Под навесом все замолчали. Чигаров непонимающе уставился на Татаринцева, тот, в свою очередь, улыбался Ниёле.

— Вы пытаетесь скрыть открытие мирового масштаба, — Ирикати нервно перебил тишину. — То, что вы нашли, — достояние всего человечества.

— Ничего мы не скрываем, Акира, — Татаринцев обвёл взглядом всех сидевших под навесом. — Нет в природе никакого инопланетянина!

— То есть как это нет? — удивлённо протянула Ниёле.

— Ай, молодца, конспиратор нашёлся! — произнёс по-русски Чигаров и гневно кивнул в сторону Ирикати. — Ты его за умственно неполноценного держишь?

— Это правда, Артур, — Татаринцев устало положил руки на стол. — Я вчера весь вечер рассматривал фоссилии с помощью электронного микроскопа. То, что мы приняли за остатки окаменевшего скафандра, на самом деле — перья.

— Перья? — в один голос воскликнули Чигаров и Ниёле.

— Да, настоящие перья. Их структура хорошо видна на изображении, выдаваемом микроскопом.

— Кого же мы тогда нашли? — у Чигарова нервно задёргался уголок губы. — Это что за зверь такой?

— Это не зверь, Артур. Это разумный вид рептилии.

В полной тишине Татаринцев придвинул стаканы с коньяком к каждому и многозначительно добавил:

— Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

— Подожди-подожди, — лихорадочно заговорил Чигаров. — То есть как это рептилия? Ведь к тому времени динозавров уже не было.

— А он и не динозавр, — меланхолично ответил Татаринцев, — он его потомок! Мы привыкли считать себя вершиной эволюции, венцом творения природы. Вон Ирикати направо и налево обещаниями раскидывается, что скоро с помощью генной инженерии сможет вырастить мамонтов или динозавров. Чем не вседержитель? А мы всего лишь один из удавшихся экспериментов. Природа экспериментировала всегда. Ей нужен был вид, который мог быстрей и качественней преобразовывать энергию. Взять тех же осьминогов: ведь у них необычайно развит мозг. Они хорошо ориентируются в пространстве, обладают глубокой памятью, способностью к сложным осмысленным движениям и даже к использованию орудий труда. Сроку жизни бы ему ещё побольше. А насекомые? Ведь это попытка природы создать коллективный разум. И пчёлы, и муравьи, по сути, имеют свой язык. Танец пчёл — это ли не шедевр игры символов? А наши ближайшие млекопитающие сородичи — дельфины? Мозг дельфина больше человеческого и устроен сложней, в нём больше

извилин, чем у человека. Мы, приматы, тоже эксперимент, и, повторюсь, удачный эксперимент. Мы смогли развить прямохождение, освободить руки для орудий, а главное—научились говорить и передавать последующим поколениям свои знания не с помощью инстинкта, а на вербальном информационном уровне. В рамках геологического времени наша эволюция—краткая вспышка, всего каких-то четыре-пять миллионов лет, а каких успехов в преобразовании природы мы достигли, вплоть до расщепления ядра! Почему же динозавры не могли пойти по такому пути ранее?

—То есть вы хотите сказать, что обнаружили предполагаемого потомка стенонихозавра Рассела?—оживился Ирикати.

—Скорее, потомка дейнонихуса.

—Я ничего не понимаю,—Ниёле требовательно стукнула кулачком об стол.—Кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит?

—В восьмидесятых годах прошлого века канадский палеонтолог Рассел попытался предположить, что бы произошло, если эволюция ящеров дошла бы до появления разумного ящера,—Татаринцев теперь рассказывал больше для Ниёле.—Он создал муляж предполагаемого разумного динозавроида на основе одного из страусоподобных ящеров—стенонихозавра. В целом он похож на нашу находку, за одним исключением. У нашего реликта есть зубы, и он, скорее всего, потомок хищных динозавров дейнонихусов. Мне кажется, его предки заняли экологическую нишу собирателей, единственную в биоценозе, где животному необходимо думать, чтобы найти пищу. Собирателям мало знать несколько способов нападения на жертву, как хищникам, или уподобляться травоядным, которым думать вообще незачем—пища всегда под ногами. Вытесненные из этих ниш, они стали питаться всем, что лежит вокруг, как позднéе приматы. Можно и падалью перебиться, и зверька мелкого поймать, и фруктами перекусить. И каждый раз необходимо думать, как и где найти пропитание. Собиратель—первейший кандидат в разумные существа. Вот самая умная птица какая?

—Сова?

—Отнюдь. Она как раз глупа до безобразия. Самые умные—вороньи. Те самые птичьи собиратели. А кроме того, дейнонихусы были стайными животными, и их мозг приближался по объёму к птичьему и даже к мозгу примитивных млекопитающих. А глаза отличались бинокулярным зрением. Они сочетали в себе все предпосылки для того, чтобы дать со временем разумное потомство.

—Хорошая гипотеза. Но как же им удалось пережить падение астероида?—спросил Ирикати.

—Акира, ты же знаешь, как я отношусь к гипотезе Альвареса. Даже если и правы творцы импактной теории, что шестьдесят пять миллионов лет назад в Мексиканский залив упал астероид, не мог он полностью стереть с лица Земли динозавров, слишком много они занимали экологических ниш. Гигантские рептилии стали вымирать задолго до предполагаемой катастрофы. Динозавров убили покрытосеменные растения, которые изменили флору второй половины мелового периода и уничтожили действующую сотни миллионов лет пищевую цепь. А астероид… астероид лишь завершил начатое природой. Может быть, эта меловая катастрофа и стала толчком для формирования разумного ящера.

—Но их дальнейшая судьба? Никому ещё не удавалось найти что-то похожее!

—Не знаю, Акира. Может, слишком специализировались в новой среде обитания; может, не хватило серого вещества для дальнейшей эволюции. Млекопитающие всё-таки пошустрей оказались.

—А при чём тут перья?—Ниёле пыталась уловить суть разговора, но, запутавшись в незнакомых именах, сдалась окончательно.

—Да всё просто: большинство мелких и среднего размера динозавров были оперёнными,—шепнул ей Васнецов.—Наш Татаринцев ещё в восьмидесятых выдвинул теорию, что часть динозавров были теплокровными. Его тогда засмеяли, а затем, на рубеже столетий, из Китая одна за другой пошли находки оперённых динозавров. Сейчас это всё—элементарные знания для начинающих палеонтологов, а тогда чуть научной карьеры ему не стоили.

—Они что, птицы?

—Сначала считали, что птицы—потомки динозавров, но сейчас больше склоняются, что и у птиц, и у динозавров был общий предок, и они развивались параллельно. А перья не обязательно для полёта—вполне возможно, они первоначально для обогрева служили или брачных танцев, а уж потом особо ушлые зверюшки стали летать.

—Как это всё сложно, и, слава Богу,—прошептала Ниёле,—я не успела выдать репортаж в эфир.

—Ничего,—горячий шёпот Васнецова обжигал открытую шею журналистки.—Это та ещё сенсация. Не Контакт, конечно, но и разумный вид за пятьдесят пять миллионов лет до появления первых гоминидов—такое не каждый день случается.

—Кстати, один из образцов в лаборатории сегодня исчез,—Татаринцев хмуро кивнул Чигарову и многозначительно перевёл взгляд на японца.—Пара недель—и мир заговорит о новом разумном существе.

Ирикати молчал. Или сделал вид, что не заметил брошенного Татаринцевым замечания, или действительно не услышал последней фразы.

—Ну что, друзья,—Татаринцев встал из-за стола,—пойдём покажем заморскому гостю нашего разумного ящера.

Васнецов и Ниёле остались под навесом. Фигура Татаринцева, огромной глыбой возвышавшаяся

над низким японцем и поникшим от разочарования Чигаровым, напоминала одинокого диплодока, бредущего в неизвестность среди мелких рептилий.
— Финита ля комедия,— усмехнулся Васнецов.— Контакта не будет!

ЯПОНИЯ. ПРЕФЕКТУРА ОСАКА.
ЛАБОРАТОРИЯ ГЕННО-МОЛЕКУЛЯРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ УНИВЕРСИТЕТА КИНКИ

3 октября 2017 года. 03:45

Профессор Акира Ирикати склонился над столом. Он только что принял большую дозу гипотензивного препарата и ждал, когда снизится давление и нормализуется зрение. Смятые золотые дужки очков валялись рядом с распечаткой таблицы, переданной ему подкупленным сотрудником из лаборатории Татаринцева. Там среди бесконечной череды цифр жирной красной линией был очерчен символ химического элемента «Si», напротив которого стоял огромный восклицательный знак. Анализ генетического материала показывал невероятную вещь: органика найденного существа на пятьдесят четыре процента состояла из кремния и лишь всего на десять — из калия…

Камера видеонаблюдения зафиксировала раскачивающегося из стороны в сторону профессора, твердившего, словно заклинание:
— Они меня обманули! Он всё-таки пришелец! Он всё-таки пришелец! Они меня обманули!

Пучок перьев у Навигатора поднялся вверх. Он остановил группу, но было уже поздно. Охотник рухнул в воду прежде, чем увидел сигнал опасности и понял, что почва ушла у него из-под ног.

Дыхательной смеси у Охотника почти не оставалось. Он лежал на дне мелкого озера и медленно умирал. Сломанная спина и ядовитая кислородная атмосфера совсем лишили его сил и воли. Он не мог даже ответить на долгие запросы Навигатора.

Прежде чем на него рухнули остатки нависающего берега, он ещё успел насладиться синим небом этой планеты и увидеть яркие разрывы гелиевых вспышек уходящего за пределы атмосферы корабля.

Охотник радовался. Он умирал как настоящий воин, в камуфляже из перьев странных существ этой планеты, пусть с примитивным, но оружием, которое ещё сегодня принесло смерть живому существу. Славная была охота!

Фимка

Дом был старый; такие, Алексей точно знал, строили в конце девятнадцатого века переселённые с западных губерний мужики. Крепкий невысокий сруб с навесным крыльцом и подклетью. Маленькие оконца, чтобы зимой меньше тепла уходило, небольшой палисадник перед домом и мощный забор из лиственных досок. Алексей с облегчением вздохнул: в доме явно кто-то был — ветер прижимал к крыше струйку дыма, вьющуюся из трубы. Обидно было бы прошагать почти двадцать километров от станции и уткнуться в заброшенный дом.

В местном отделе полиции, куда обратился Алексей сразу после приезда в Партизанск, дежурный лишь пожал плечами. Был такой участковый Захар Романов, да сто лет назад уволился по инвалидности, живёт где-то отшельником в районе, может, и умер давно, кто его знает. И если бы не старушки, бойко торговавшие кедровым орехом на станции, вряд ли нашёл бы этот дом сегодня.

Калитка открылась без натуги и скрипа. Алексей постоял, дожидаясь, когда выскочит собака. Знал, что в этих местах без здорового кобеля, а то и двух, ни один частный двор не обходится. Вопреки ожиданиям, собака так и не появилась. Удивлённо хмыкнув, Алексей зашёл в ограду. Обычный двор, чисто выметенная земля, под навесом у небольшого сарайчика — поленница берёзовых дров. Под тентом — автомобиль, судя по всему — древний советский внедорожник. Ничего необычного, кроме разве натянутой над всем двором старой, местами рваной рыбачьей сети. Такое Алексей уже видел. Один из знакомых уфологов увлекался разведением фазанов и так же натягивал сети по всей ограде, чтобы, не дай Бог, какая-нибудь из драгоценных птиц не улетела. Оглядывая двор в поисках птичника, Алексей заметил знакомый силуэт на стене сарая. Рисунок ребристого крыла Леонардо да Винчи. Созданный с удивительной точностью, он один в один походил на хранившийся в библиотеке Института Франции в Париже.

«Странный рисунок для дедули-контактёра,— подумал Алексей.— Может, письмо в редакцию было чьей-то глупой шуткой, а дед просто оригинал, каких по необъятной России великое множество? Ладно, разберёмся».

Алексей обернулся к крыльцу и обмер. Прямо перед ним стоял мальчишка.
— Привет,— Алексей улыбнулся.— Дед дома?

Мальчишка ничего не ответил, лишь пожал плечами.

«Немой, что ли?— Алексей чертыхнулся про себя.— Не хватало ещё на пальцах объясняться».

Паренёк был явно болен. Худоба, граничащая с дистрофией, резко бросалась в глаза. Тонкие руки с длинными пальцами, неестественная бледность кожи. Бесформенный балахон из мешковины, служивший, очевидно, ночной рубашкой, едва скрывал тщедушное тельце.
— Дед где?— непроизвольно растягивая слова, спросил Алексей.

Мальчик вновь ничего не ответил, лишь отступил на шаг, приглашая Алексея пройти в дом.

Старик сидел у стола. К культе правой руки был привязан деревянный пест, которым он ловко орудовал в чугунной ступке, разминая, судя по треску, высушенную траву. Сидевшая рядом старушка перебирала бордовые с лиловым отливом ягоды.

— Ну, здоро́во,— глухим голосом произнёс старик.— Долго шёл что-то. У поворота от Малиновки не туда свернул.

Алексей удивлённо взглянул на него. Обезображенное лицо, криво сросшиеся лиловые шрамы на лице. Единственный глаз озорно поглядывал. «Может, действительно контактёр?— сумасшедшая мысль пронеслась в голове.— Ведь никто не видел, как я перепутал дорогу и почти час прошагал в другую сторону».

— Меня зовут Алексей Пригожин, я корреспондент из журнала «Мир непознанного»,— Алексей почувствовал себя совсем неуютно.— К нам в редакцию письмо пришло из вашего городка. Автор, имя его называть не буду, написал, что вы, как бы это попроще сказать...— Алексей замялся, чувствуя себя совершенно глупо.

— С инопланетянами встречался, что ли?— хмыкнул дед.— Ну так это я и без тебя знаю. А то, что Васька Сидоркин письмо в журнал ваш написал, так этот юродивый и президенту, и в ООН постоянно пишет.

Алексей судорожно сглотнул образовавшийся в горле комок. Дед-то и вправду не так прост. Ладно, по дороге его кто-то мог видеть, но про Ивана Сидоркина он откуда мог знать? Если только сам Сидоркин рассказал о письме.

— Ты, Алексей Пригожин,— старик убрал ступку в сторону,— присаживайся к столу, чаю попьём. Егоровна, а ну-ка сооруди-ка нам чего по-быстрому. Гость-то издалека ехал, устал. А ты, Фимка, сбегай во времянку, там на печке наливка стоит.

Старушка достала из шкафа посуду и по-хозяйски стала расставлять её на столе. Мальчишка исчез за дверью. Подспудно ожидая в лучшем случае от ворот поворот, Алексей невольно растерялся от такого приёма.

— Мальчик, наверное, немой?— спросил он у старика.

— Кто, Фимка?— старик смахнул со стола остатки перетёртой в пыль травы.— Внучок-то немой, понимает всё, шкодник, а вот говорить не может. Сирота, живёт со мной, в город ему никак нельзя. Затюкают его там, а здесь он у меня как у Христа за пазухой.

Через полчаса, разомлевший от обильного угощения и наливки, Алексей наконец-то решился спросить о главном...

— Сидоркин написал, что лет тридцать назад вы ловили преступников в тайге, и там вас похитили инопланетяне. С тех пор у вас и способности необычные появились.

— Болтун твой Сидоркин,— старик ухмыльнулся.— Видел я кое-чего, а способности эти на лице у меня, вернее, на том, что от него осталось. Есть желание— слушай, только разговор наш долгий будет...

...Я в то время участковым служил. Дело в конце мая было, только-только тёплая погода установилась. Тогда на окраине леса, у Большой Салбы, что верстах в пятидесяти отсюда в тайге, нашли трёх человек. Обыкновенные шабашники без роду и племени подрядились настил на местном коровнике крыть. Как обычно бывает, неделю работали, другую пили. Видимо, когда возвращались на станцию, в лесу, на краю тайги, их и настигли. Я долго понять не мог, что с ними произошло. Двоих нашли сразу. Лиц не узнать: ни глаз, ни рта, ни носа— одна кровавая мешанина. Я на фронте всякого насмотрелся— и то меня воротить стало. По следам крови на траве, по обломанным веткам кустов видно было, что бежали, не разбирая дороги, то ли ослепшими уже, то ли от ужаса помешались, а может, от того и другого сразу. Затылки у обоих были пробиты, будто хорошо приложили их чем тяжёлым. А третьего нашли только к исходу дня. Сам умер, сидел под сосной в версте от двух других. Как прятался в корнях, так и умер. Лицо перекошенное, будто лешего перед смертью увидел.

Приехало тогда много больших начальников. И прокурорские, и сыскари городские. Походили, посмотрели, почесали затылки, да и порешили, что медведь из лесу вышел, а мужики ненароком на него напоролись. Один из работяг, видимо, убежать смог, да с перепою долгого сердечко не выдержало, от страху да от бега непомерного помер. Следов медвежьих и шерсти много было, а денег у мужиков никто не взял: как были с карманами, полными новёхоньких червонцев, что председатель за коровник дал, да так и остались в лесу лежать. Время такое было, что показатели никто портить не хотел. Мужики чужие, плакать по ним некому, вот и списали всё на медведя. Благо, что потом, уже недели через две, местные охотники косолапого завалили.

Только вот скреблась у меня в голове и не давала покоя одна мысль. Уж больно точнёхонько медведь по затылку бил. Не бывает такого. Сыскари городские, они, конечно, парни тёртые, не нам чета, да вот медведя только в зоопарке видели. Зверь, он ведь если мять начнёт, то рёбра сломает, спину погнёт, а если кровь человеческая его задурманит, то на куски тело растерзает. А тут... будто человек постарался. А что денег не взял, так, может, и мотив другой был— ревность или месть какая.

Третьего дня, похоронив мужиков, завёл я свой старый «газик» и поехал в Большую Салбу. А места те странные. Народ у нас не из пугливых, и то старается Салбу стороной обходить. Там при Берии лагеря стояли, кое-где развалины бараков

до сих пор видны. Искали там то ли уран, то ли воду тяжёлую. Кругом вся земля шурфами изрыта. На вид страшные, почти все чёрной водой залиты.

Перво-наперво я место осмотрел, где нашли мужиков, и убедился окончательно, что медведь ни при чём. Был он тут, к мужикам подходил, да только к мёртвым. Если б живых бил, то хоть маленько, но протащил бы, а так обнюхал, убедился, что мертвечина, и ушёл. Убийцей был человек. Только вот загвоздочка одна. Следов, кроме как самих мужиков и медведя, не было. Вообще никаких. Я вокруг на брюхе всё проползал, весь путь мужиков по следам прочитал, но ничего не нашёл. Понял только, что убегали они от кого-то, кто не оставляет следов или так искусно передвигается по земле, что я не мог их найти.

Оставив решение этой задачи на будущее, пошёл к месту, где обнаружили третье тело. Рассудив, что мужик перед смертью увидел что-то страшное, осмотрел всё детально. Старая сосна стояла над берегом небольшой речушки. Со стороны двухметрового обрыва свисали корни дерева. Между ними, в образовавшейся в песке естественной нише, и прятался шабашник. Меня мучила одна мысль. Если с двумя другими мужиками убийца расправился совершенно изуверски, то почему не тронул последнего? Тот умер сам, на нём не было ни единой царапины. Вывод напрашивался один. У мужика было при себе что-то ценное, и то ли он отдал его убийце, либо убийца сам забрал это что-то уже у мёртвого шабашника, и смысла жестоко расправляться с ним уже не было. Только вот как ушёл?

Первый отпечаток я обнаружил недалеко от сосны. Едва заметный след голой ступни примерно сорокового размера. Точнее определить было нельзя, слишком его размыло. Второй след, вернее, цепочку следов, увидел метрах в ста от места убийства. На оставшейся после разлива реки влажной почве чётко были видны следы человека, те же самые, что и у сосны. Первое, что мне пришло в голову: их оставила женщина или подросток, так как отпечаток был очень узким. Но каким образом в лесу могла оказаться женщина, да ещё на босую ногу? Это вопрос поставил меня в тупик, но ещё большее удивление вызвало их исчезновение. Они закончились так же внезапно, как и начались. Просто тянулись среди влажного песка и... оборвались. Единственным объяснением мог стать прыжок человека в речку с целью сбить с толку возможных преследователей. До реки было около полутора метров. Прыгнуть с места в реку, да ещё без разбега, конечно, при желании можно, да уж больно мудрено. Почему бы не зайти просто в реку?

Я хоть и милиционер, но за прогрессом следил, выписывал «Науку и жизнь», как у нас говорят, насчёт «снежных людей» был в теме. Участковый, он же на своей территории всё знает, кто и как живёт, чем дышит, что пьёт. Если бы хоть какой-нибудь слух о «снежном человеке» тут у нас пронёсся, я бы первым узнал. А ведь ничего подобного не было. Наши сибиряки ведь как рассуждают: ну, есть дураки, что во всякую ерунду верят, так ведь это там, далеко, на Памире или в Гималаях. А здесь сроду такого не водилось. Поэтому напрашивающуюся версию о «снежном человеке» я сразу отбросил. Оставалась ещё одна. Кто-то из сбежавших зеков, среди которых, возможно, есть женщина или подросток, осел в старых лагерях. Опять же—почему не взяли деньги? Вопросов слишком много, а ответов нет. Выхода у меня не было, и я, бросив свой «газик», пешком пошёл к лагерям. То, что один был, слишком не тяготило. Во-первых, войну прошёл и всякую шваль из принципа не боялся, во-вторых, помимо табельного «Макарова», прихватил старый тт, которому доверял больше. Пока шёл, странность одну отметил. Тишина стояла непривычная. Нет, ветер, как всегда, в верхушках пел, сосновый треск раздавался, только вот птиц не видно и не слышно было. Как будто вымерли все. Время уже клонилось к вечеру, и нужно было найти место для ночлега. Обычно я с удовольствием ночую в тайге. Раньше, ещё до войны, с отцом ходили охотиться на глухарей, всегда ночевали в лесу, чтобы с утра настрелять побольше птицы. Все премудрости ночёвки в лесу освоил ещё в детстве, поэтому за себя не боялся. Только вот к вечеру появилось у меня знобящее чувство, что кто-то за мной наблюдает. Опасное чувство. Я ещё на фронте такое испытал, когда на передовой немецкий снайпер появился. Вроде и нет ничего, а чувствуешь—там он, смотрит за тобой. Вот и здесь нутром ощущаю, что кто-то наблюдает. Несколько раз останавливался, осматривался, но ничего подозрительного не увидел. Уже подходя к заброшенному лагерю, решил к баракам не соваться. Сумерки—не самое лучшее время для задержания. Да и в шурфы в темноте попасть—тоже дело не из приятных. Лагерь я обошёл с западной стороны, поближе к скалам. Там же отыскал место для ночлега. Небольшая узкая щель в камне, на моё удивление, метра через два в глубину начала расширяться. Смущал несколько неприятный запах, но пережить его можно было. Фонарик я включать не стал, боялся, что свет обнаружат со стороны бараков. Наскоро ощупав руками стены, понял, что сырости здесь нет и переночевать, хоть и без особого комфорта, можно. Сходив к ближайшим соснам, нарезал ветвей для подстилки и лёг недалеко от выхода, чтобы в случае чего открыть огонь на поражение, если кто появится в проёме.

Началось всё часа в два ночи. Весенняя прохлада заснуть не давала, поэтому странный звук я услышал почти сразу. Череда негромких хлопков

около входа в мою небольшую пещерку заставила подскочить на ноги. Я буквально нутром ощущал, что кто-то стоит перед щелью в скале. Было такое чувство, что этот кто-то раздумывает, заходить ли в пещеру. Я аккуратно, как можно тише, поставил пистолеты на боевой взвод и стал ждать. Казалось, тишина струится сквозь меня, и в это время я услышал совсем тихий щелчок. Кто-то, приближаясь ко мне, наступил на сухую ветку. В панике я присел и лихорадочно стал искать фонарик, стараясь при этом как можно меньше издавать шума. Благо фонарик положил рядом с собой. Резко выпрямившись, я нажал на кнопку. Метрах в двух от меня стоял человек. Вернее, что-то похожее на человека. У существа было человеческое тело, женская грудь, абсолютно лысая голова и огромные, острые на кончиках уши. А главное—у существа были крылья. Длинные, свисающие почти до земли кожистые отростки.

Испугавшись яркой вспышки света, существо взмахнуло руками, и я, прежде чем выстрелить, успел рассмотреть, что кожа покрывала всё пространство между раскинутыми руками и туловищем. В следующий миг раздался жуткий вопль. Закладывающее уши верещание и неимоверная боль в теле—последнее, что я запомнил.

Очнулся я утром от невыносимой боли. Правая рука была раздроблена полностью, кисть болталась на одном сухожилии. Лицо разорвано когтями, всё опухло, правый глаз ничего не видит. Рядом на камнях лежало существо. Оно ещё не издохло, шевелилось. Крылья трепетали, хотя само тело уже было бездыханным. Превозмогая боль, я смог подползти к нему и рассмотреть. Ростом оно было чуть ниже обычного человека, около полутора метров. Крылья с прожилками вен чем-то напоминали крылья летучей мыши. На лице и на голове был лёгкий пух, который издалека почти не был виден. Существо было женщиной. В руке она сжимала заострённый камень. На краях крыльев я заметил татуировки, целые композиции. Какие-то круги, лабиринты и цветы, похожие на женьшень. Однажды, в тысяча девятьсот сорок пятом году, в Манчжурии, во время боёв с Квантунской армией, я уже видел такие у одного китайца.

Дождавшись, пока она умрёт окончательно, я левой рукой, которая могла шевелиться, закидал тело камнями и пошёл в сторону Большой Салбы. Видимо, от большой потери крови недалеко от деревни потерял сознание. Нашла меня Егоровна. Привела мужиков, и уже потом меня откачали в поселковой больнице. Руку и глаз я, правда, потерял.

В больнице сказал, что на меня напал медведь. Уже потом, в палате, сопоставив все факты, я пришёл к выводу, что шабашников убило это существо. Очевидно, они наткнулись на неё совершенно случайно. Отсюда, кстати, и отсутствие следов. Каким-то образом женщина могла летать или немного подниматься над землёй. Расставил всё на свои места и камень, который был у неё в руках: именно им она проломила головы. А третий шабашник умер уже сам, просто от страха, когда увидел её. Через два месяца меня списали подчистую. А всю правду только Егоровна и знает, которая по сей день приходит и ухаживает за мной. Так что, Алексей Пригожин, не было никаких инопланетян. Я потом долго ещё о летающих людях пытался узнать, да вот только информации-то никакой. Однажды у Арсеньева, это который про Дерсу Узала написал, я о человеке-птице прочитал, да и то только намёками. Думаю, где-то в Приморье что-то подобное летающее водится, да вот как оно к нам в Сибирь попало, не знаю. Да и мало ли тайга тайн хранит? А теперь давай спать…

…Утром следующего дня, возвращаясь в Партизанск вместе с Егоровной, Алексей вдруг с опустошающей ясностью понял, что вся его затея с командировкой—полная ерунда. Не к тому человеку он приехал и не туда. Захар Романов всю эту историю просто придумал. В своё время он, может, и на самом деле жертвой медведя стал. А уже потом обросло всё это легендой, кто-то инопланетян присочинил, а сам он, чтобы дураком не выглядеть, историю про летающих людей придумал.

— А что, Егоровна, транспорт тут вообще не ходит?—решил Алексей разговорить идущую рядом старушку.

— Отчего же? Ходит. Академики к Захару постоянно ездят.

— Так уж и академики?—усмехнулся Алексей наивности Егоровны.

— А то. Дай Бог памяти, вспомню название института. Авиационный называется.

— Какой-какой? Ты ничего не путаешь?

— А что путать то? Так и называется—авиационный, там самолёты делают.

Алексей от неожиданности остановился и тут же чуть не упал от резкого толчка в спину. Обернувшись, он увидел Фимку, который протягивал ему рюкзак.

— Вот ёлки-палки, я со своей рассеянностью голову где-нибудь забуду,—Алексей со злости хлопнул себя руками по бокам.—Все свои бумаги оставил. Спасибо тебе, Фимка!

— А что, Захаровы дети,—через минуту, распрощавшись с Фимкой, Алексей от нечего делать вновь стал допытываться Егоровны,—совсем Фимку не хотят воспитывать?

— Какие дети? У Захара их никогда и не было.

— А откуда Фимка? Он же внук его,—искренне удивился Алексей.

— Кто, Серафим, что ли? Да какой же он ему внук?—бабка рассмеялась.—Так ты что, сынок,

так ничего и не понял? Фимку-то он при той летающей бабе и нашёл. Она ж тех шабашников и убила за то, что ребёнка её спёрли и на станцию несли. Ему уж тридцать лет, просто маленький такой. А как же иначе летать ему? Лёгкий должен быть, так академики сказали.

Алексей остановился как вкопанный. Мысль молнией пронеслась в голове. Серафим—летающий ангел. Он резко обернулся. Над дорогой в сторону Захарова дома летел Фимка. Странный, подпрыгивающий и бесшумный полёт. Стояла звенящая тишина. Не слышно было даже птиц.

Евгений Минин

Глазеется…

Пять камней

Улыбнулись мне пять человек,
я вернулся к себе на ночлег—
чтобы выйти с утра поскорей
собирать у реки пять камней.
Евгений Коновалов

Я хотел встретить пять человек—
видеть их не хотелось вовек,
но за каждым—толстенный журнал,
я для них пять камней собирал.
Положу я за пазуху их,
понесу свой в редакцию стих,
там уж всем покажу, кто умней!
Пять камней я собрал, пять камней…

Не можется

и пока за пределы посуды
выкипает кровавая муть
на стекле застывают сосуды
и не можется внутрь заглянуть
Марианна Плотникова

снова замерло всё до рассвета
гармониста до хаты несут
стихотворю про то и про это
и мутнеет кровавый сосуд
откипел мой анапест до точки
утром встану не скрипнет кровать
и глазеется после на строчки
но не можется заумь понять

Созерцательное

Сушит ветер трусы-парашюты,
Ползунки и футболки мужей.
Под заборами кашка и лютик,
Над заборами—синяя гжель.
Вера Кузьмина

Выдь на волю, читатель и зритель,
Покидая родное жильё,
Назови мне такую обитель,
Где б у нас не сушилось бельё,
Где бы лютик не рос у забора,
Где б не пел по утрам петушок,—
Из любого, признаюсь вам, сора
Я сумею сварганить стишок.

Нерифмовальное

Я уже не рифмуюсь с тобой,
Как диван и вчерашние куклы
Ефим Бершин

Я ни с кем не рифмуюсь теперь,
жизнью грустной живу я и бренной.
Разве мог я представить, поверь,
что я стану такой верлибренный?
Так живу в необъятной тоске,
просыпаясь ночами от дрожи.
Я уже не рифмуюсь ни с кем…
и со мной не рифмуются тоже…

Маргарита Радкевич

Дорога в лето

* * *

А избранность—в отсутствии убранства,
И некий штрих, что, в общем, не вопрос.
И в ёмкости сосуда—постоянство.
Не расплещи! Я—честно. Я—всерьёз.

Полудвиженье губ—цена полувопроса.
И вновь по коже колкий холодок.
И время—три, четыре, восемь…
И губ ожог.

Луна на чёрном небе—лик Вселенной,
Мерцание небесных точек—неба знак.
Ни здесь, ни там душа не тленна,
Ни быль, ни небыль—просто так.

* * *

Заоконные пылинки темноты
Мягким бархатом эха—ко мне.
Неужели сквозь время—ты
Слабым оттиском в полусне?

Это даже не отблеск любви,
Это просто так надо—и всё!
Где-то сверху: «Ну что ж…
Се ля ви»,—
Словно линии—строчки Басё.

Подожди. Нет. Ни слова. Молчи.
Перемолвится время опять.
То, что слева,—тише стучи,
Время вновь повернуло вспять.

* * *

Ты обменяй меня на листопад
Январской стужей.
Остаток жизни невпопад—
Кому он нужен?

Я загляну листвой в окно—
Не сможешь мимо.
Я и при жизни-то была
Неуловима.

Сентябрь плачущим дождём
Пунктирит звуки.
Меняй меня на листопад
Легко… Без му́ки.

* * *

И дорога к тебе
в лето.
И подсолнухов цвет
Ван Гога.
Я же знаю, ты ждёшь
где-то,
А ведь это, поверь,
много.
Протяни через время
нити
И в пространстве измерь
мысли.
Время вместе настало
быть нам,
Не должно быть другой
жизни.
Ведь дорога к тебе
в лето
Пролегла жёлто-солнечным
садом.
Что там? Яркий поток
света?
Значит, ты где-то здесь,
рядом…

Поздняя осень

Поздняя осень холодная,
В сердце моём слякоть.
Мне бы хотелось у Вас
На плече плакать.
Помните? Вы предложили
На «ты», просто.
Где-то потерян миражной
Любви остров.
Снова читаю из прожитых
Лет время.
Песней весенней стихов
Прорастёт семя…
Это—потом, а сейчас
Засыпает душа в анабиозе.
Тихо, невидимо, еле дыша
На морозе…

Светлана Мель

Вкус утра

● ● ●

Ты пьёшь это утро большими глотками.
Немного горчит. И прохладно. И мятно.
И нет ни кислинки. Шипит пузырьками
У самого нёба… И в целом приятно.

Вкус утра. Сегодня ничем не тревожит,
Нерадостных дум в глубине не пророчит…
Автобус шуршит по асфальтовой коже,
Вслепую дождями проглаженной с ночи.

И всё в этом мире устроено мудро—
Уверенность крепнет в тебе постепенно.
Большими глотками ты пьёшь это утро,
Сдувая туманов лохматую пену…

● ● ●

Опять сидишь, отматываешь время—
Живой клубок вибрирующей пряжи.
Виток-другой—и вот ты снова с теми,
Кто в книге звёзд давно внесён в пропажи.
Их лица, голоса, прикосновенья,
А ветры шелестят листвой вчерашней…

Прокручивая, пропустил мгновенье,
Где сам лишь начал быть…
Но нет, не страшно
Понять, что вне тебя процесс старенья,
Измерить ленту бытия мотками.

Ты думаешь, что вспять мотаешь время,
Но ты всего лишь оживляешь память.

● ● ●

Глянешь вперёд без страха,
Сбросив сомнений гнёт.
Штопаная рубаха
Празднично к телу льнёт.

Сильные зла не помнят,
Зрячие видят свет.
Эхо безликих комнат
Голос сведёт на нет.

Тишь изодрал и скомкал
Отзвук вчерашних смут.
Рвётся не там, где тонко,
Рвётся лишь там, где рвут.

● ● ●

Этот скомканный вечер истаял почти,
Было жалко его, оттого и досадно…
Мы с тобой целовались так спешно и жадно,
То и дело цепляясь—очки за очки.
Мы, забывшие напрочь, что жизнь коротка,
Как от выстрела, разом и резко очнулись.
Нам оставив на дне на двоих полглотка,
Растворилась судьба над безмолвием улиц…

● ● ●

Шелест дождя за окном целый вечер.
Стёкла пронизала нервная дрожь.
Мой непокой, мне лечить тебя нечем!
О, не тревожь меня, дождь, не тревожь!

Мечутся чьи-то невнятные тени
Там, на холодной стене, посреди…
Осень в душе или просто смятенье—
О, пощади меня, дождь, пощади!

Стали видней застарелые пятна—
Тёрла их, тёрла—и вот погляди:
Видеть их снова—не очень занятно.
О, разбуди меня, дождь, разбуди!

Было и грёз, и фантазий с избытком—
Бились фонтанов живые струи́.
Воспоминаний душистым напитком—
О, напои меня, дождь, напои!

Только питьё это что-то не сладко—
Привкус вины в нём нещадно горчит.
Пить осторожно, не тронув осадка,
О, научи меня, дождь, научи!

Судим поспешно порой и караем
Несоразмерно с виной, но пойми
Жалость к той чашке с надколотым краем.
О, вразуми меня, дождь, вразуми!

Кодов судьбы не понять временами,
А разгадаешь—ещё тяжелей.
Всё, что свершилось, заслужено нами?
О, пожалей меня, дождь, пожалей!

* * *

Я ела снег, устроившись в сугробе.
Сплошь в мякоти запретного плода
И шарфик мой, и рукавички обе…
И было хорошо как никогда.

Я ела снег. Всем существом ликуя,
Смакуя счастье, продлевая миг.
Мне был открыт завещанный тайник—
Не каждый день минуту шлёт такую!

Я ела снег, глухая и немая.
Я все «нельзя» держала взаперти,
Всей глубиной души не понимая:
Ну как такое можно запретить?!

Я ела снег, и голоса снежинок
Сливались, хохоча внутри меня,
Подпрыгивая, ёрзая, дразня.
И так хотелось петь неудержимо!

Я ела снег. Чтó все конфеты мира,
Все торты с их парадным торжеством?!
Хрустящие стаканчики пломбира
Померкли рядом с этим волшебством.

Я ела снег. Потом меня накажут.
Не помню как… Событий чехарда
Всё скомкала, смешала. А тогда—
Я ела снег, как каждый ел однажды…

Легкомысленное

А Клара у Карла
опять утащила кларнет.
«Ты сердишься, Карл?»—
шепчет в трубку она осторожно.
А капли дробятся о стёкла
чуть слышными «нет»,
Лишь жесть подоконника
дробно простонет: «Возможно…»
И скажет ей Карл:
«Приходи, мне кларнета не жаль—
Сыграю тебе на трубе…»
А соседи не спят ли?
Сосна за окном
головой покачает: «Едва ль…»
Ворона с антенны
согласно прокаркает: «Вряд ли…»
Возьмёт она дымный бокал
из протянутых рук,
Вчерашние мысли
сегодня её не тревожат…
Заброшенный ветром
листочек прошепчет: «А вдруг?..»
Кругами по стылой воде
разойдётся: «Быть может…»

ДиН ревю

Марат Валеев

Строчил пулемётчик

Новокузнецк: издательство «Союз писателей», 2015

Название сборнику военно-патриотических произведений журналиста и писателя Марата Валеева «Строчил пулемётчик», приуроченному к 70-летию Великой Победы, дал один из помещённых в нём очерков. Он посвящён участнику Великой Отечественной войны, знатному эвенкийскому промысловику Антону Валентиновичу Мукто, чьё умение бить белку в глаз очень пригодилось ему на фронте.

Здесь есть рассказы и про других воинов-северян, чьи имена известны и почитаются всеми эвенкийцами, а также документальная повесть «А я была совсем девчонкой», победившая в 2014 году в литературном конкурсе «Так было» газеты «Комсомольская правда».

«В этой книге рассказывается, как на защиту страны в грозовые сороковые встали и мужчины, и женщины, взрослые и дети, русские и эвенки, татары и даже немцы. Да, те самые поволжские немцы, которых власти согнали с родной земли, заподозрив их в симпатиях к захватчикам и возможном сотрудничестве с ними,—говорится в предисловии.—Все вместе они—кто в окопах на передовой, а кто на оборонных работах в глубоком тылу—путём неимоверных усилий и ценой собственной жизни сделали возможной нашу Победу, 70-летие которой мы нынче отмечаем и клянёмся вечно хранить в памяти подвиг наших предков. Будем считать, что этот сборник является вкладом в историю Великой Отечественной войны, в сохранение памяти о ней на века!»

Светлана Романовская

Наталья Арбатская

Иду по зеркалам

* * *

Так, значит, говоришь — зелёные?
А я считала — голубые…
И дни, с тобою проведённые,
В календаре, как выходные,
Я отмечала пастой красною,
А всем друзьям врала безбожно,
Что мы с тобою слишком разные
И вместе быть нам — невозможно.
А мы и правда непохожие,
И если б встретились случайно,
То разминулись б, как прохожие,
И не узнали б этой тайны,
Что скрыта за моими — карими,
И за твоими — го-лу-бы-ми,
И новой встречи не искали бы,
И целовались бы с другими,
И не смотрела бы влюблённо я
В твои — такие неземные:
Да-да, конечно же — зелёные,
Но только всё же — голубые…

* * *

В тихой комнате без штор
по-домашнему уютно…
За окном бушует шторм —
не морской, а сухопутный.
За окном кружи́т листва,
ветер мачты крон качает…
Растворяются слова
в недопитой чашке чая…
Растворяются и ввысь
уплывают струйкой пара…
Вот и тучки собрались
и — вокруг земного шара —
от одной души к другой,
обессилевшей от жажды…
Позабывшие покой,
может, встретимся однажды…
Может быть, прольётся дождь
и поманит вдаль дорога…
А пока ты просто ждёшь,
чтобы чай остыл немного…

* * *

Когда б ты знал! Когда б ты только знал,
как хочется, отбросив маску глянца,
мне к твоему плечу порой прижаться…
к плечу, что попрочнее многих скал,
что дарит и надёжность, и покой,
уверенность, что будет всё как надо…
Как хочется, не поднимая взгляда,
щеки коснуться ласковой рукой…
скользнув, взъерошить волосы твои,
обнять за шею и с улыбкой нежной
взглянуть в глаза — как в океан
безбрежный —
и раствориться — капелькой любви…

* * *

А когда опять одиночество
накрывает волной полночной,
и совсем ничего не хочется,
и уже никуда не срочно,
и вовек не собраться с силами —
ни вдохнуть, ни расправить плечи, —
о тебе вспоминаю, милый мой,
и как будто немного легче…

* * *

Золотые облака
опадают листопадно…
Пью пьянящий воздух жадно —
до последнего глотка —
и иду по зеркалам,
разбивая небо в брызги,
разгребая слов огрызки
с шелухою пополам…
Мне б найти одно всего —
без оскомины и фальши,
да, похоже, кто-то раньше
подобрал уже его.
И остался только сор
фраз заезженно-избитых…
Да хрустальный звон молитвы
долетает с синих гор…

● ● ●

Звёзды капали за ворот
и стекали по спине…
До утра притихший, город
нервно вздрагивал во сне;
то ворочался, то что-то
бормотал себе под нос—
повседневные заботы
под привычный шум колёс
не давали спать спокойно
старику который раз:
политические войны,
госбюджет и спецзаказ,
террористы, рэкетиры
и судебный произвол…
Из окна одной квартиры
вдруг раздался вопль: «Го-ол!»—
и безумным рваным пульсом
заметалась в окнах тень.
Город вздрогнул… и проснулся.
Начинался новый день…

● ● ●

Ни зрелищ, ни хлеба,
ей-богу, не надо!
Лишь вздохом—до неба
да стоном—до ада…
и где-то—меж ними—
растаять и влиться
в любимое имя—
с последней зарницей…

● ● ●

Под ногами—снега хруст,
веток стук—над головою.
Лес нахмурившийся пуст,
только ветер в кронах воет,
да пожухшая листва
шелестит устало что-то…
С губ вспорхнувшие слова
распадаются по нотам:
до-ре-ми-фа-соль-ля-си,—
душу, Господи, спаси!..

● ● ●

Мне хочется кричать,
Что я тебя люблю!
Мне хочется начать
Сначала нашу сказку;
Мне хочется смешать—
На зависть сентябрю—
В немыслимый коктейль
Все мыслимые краски.
Мне хочется обнять
Весь этот грешный мир,
И наконец поймать,
Как рыбку золотую,
Твой мимолётный взгляд,
И, та́я от любви,
Остаться на щеке
Несмелым поцелуем…

Андрей Пермяков

Живёт такая Даша

Дарья Верясова. «Муляка». Волга, №9–10, 2012
Дарья Верясова. «Похмелье». ДиН №5, 2014
Дарья Верясова. «Крапива». М., «Русский Гулливер», 2015

Среди бродячих сюжетов мировой культуры бывают сюжеты наиболее бродячие. Например, о подвигах героев. Такое любому человеку из любого народа понятно. В самом деле: для чего помнить и рассказывать о существах трусливых или склонных ко лжи? Хотя есть исключения. Сказки про зайцев, саги о скандинавском трикстере Локи, да, в общем-то, и Одиссей чаще не храбростью брал. Но всё-таки про смелые поступки или про любовь пишут куда чаще.

А бывают своего рода антисюжеты. Сказы про «то, чего на белом свете вообще не может быть». Кажется, к подобного рода невероятностям относятся повествования о женской дружбе. Причём опять-таки у самых разных народов. По крайней мере, меж статуй в китайских храмах весьма часто встречается изображение змеи на водяной черепахе. Гиды так и поясняют: это, дескать, символ дружбы между женщинами. Змея думает: «Укушу черепаху, она утонет, и я тоже утону». Черепаха думает: «Скину змею, она меня напоследок укусит, и я погибну». Так и связаны барышни друг с дружкою. Туристы из самых разных стран улыбаются, понимающе кивают. У нас, говорят, так же.

А Дарья Верясова написала книгу именно об этом — о дружбе. Угу, о дружбе между юными женщинами. Нет, снаружи «Муляка» — это повесть о трагедии, произошедшей в городе Крымске три года назад. За более свежими и более горькими событиями те дни мы как-то стали забывать, но масштабы бедствия вправду были жуткими. Многие люди поехали тогда выручать пострадавших, ну и Даша с Лоттой тоже.

Понятное дело: кроме искренне желающих помочь, к делу спасения присосались разные политически озабоченные личности. «Они не стоят слов, взгляни — и мимо», — как писал один итальянец. Ну, или в данном случае так:

> — Восемь. Сейчас нашисты флаг поднимать будут, — сказал кто-то.
>
> Через несколько минут издалека донёсся гимн. В поле это показалось дикостью.

Аналогично, чужой прямою речью, переданы слухи о количестве жертв. То, чего автор не видел или в чём не участвовал, излагается по касательной, на краешке внимания. Да, в общем-то, и другие внешние аспекты лагерного бытования переданы без излишней акцентуации:

> — Так найди себе что-нибудь в гуманитарке, — посоветовала Оля.
>
> — Ну… как-то это… — протянула честная (это же для потопленцев!) и в ту пору брезгливая я.
>
> — Ну хлоргексидином обработай и носи. Тут на третий день все в гуманитарке ходят. Своё изнашивается быстро.

Несколько позже остатки вещей грузовиками вывозили на свалки. Это ж понятно: гуманитарной помощью страна от Крымска откупалась. Впрочем, так же сдержанно и, во всяком случае, без лишней героизации Верясова пишет о работе своей лирической героини (воспользуемся всё ж этим термином) в разрушенном городе. Разная была работа: от разбора той же гуманитарки и регистрации потерпевших до выковыривания из подвалов тонн жидкой грязи, той самой муляки. Кстати, слово это, ставшее известным после Крымска, маркируется как «кубанский диалектизм». Может, и так, но я его встречал и раньше — скажем, в стихах тагильского поэта Василия Овсепьяна. Значение слово было тем же: «жидкая грязь», — и точно так же оно соотносилось с тяжёлой работой, хотя в данном случае и оплачиваемой:

> Мы золото мыли в муляке
> (А выдался трудным сезон).
> И нас провожали собаки
> Туда, где гудел полигон.

Тут, в Крымске, с золотом было не очень, а собак много. Даже и сильно злых. Зато люди нормальные как минимум. Всё-таки молодость — отличная вещь. После тяжеленного рабочего дня в условиях форменного пекла здоровья хватает на развлечения до утра:

> К тому времени я сидела на регистрации около одиннадцати часов и больше всего в жизни мечтала залезть в Северный Ледовитый океан. Народ собирался ехать на озеро.

Мы с Лоттой сделали печальные глаза, и нас тоже взяли купаться.

Вшестером мы кое-как влезли в «Жигули» местного волонтёра-автомобилиста Саши — очень милого армянина с забавным и хитрым взглядом. По пути мы встретили его друзей на красной «Ниве» и были с Лоттой отсажены к ним на пустое заднее сиденье.

Это оказалось не озеро, а водохранилище. Вода в нём была тёплой настолько, что не освежала. На берегу начинались комары и распитие местного вина. Мы с Лоттой переглянулись: сухой закон, которым нам грозили в лагере, нарушался самым бесстыдным образом, — и присоединились. Сказать по совести, было странным нам, новичкам, оказаться в компании старожилов Крымска. Сидевшая на земле Надя очень печалилась, что вскоре ей придётся уезжать в Питер.

— Я такого нигде не встречала, — говорила она. — Когда тащишь бревно, а мужики вырывают его у тебя из рук, потому что видят, что тебе тяжело. Хотя ты изо всех сил этого не показываешь!

Я не понимала страданий Нади, а её слова показались мне пафосными.

Назад нас везли те же парни на «Ниве». Ребята оказались славными: они долго колесили по полю, пытаясь вспугнуть для нас зайца, свозили на смотровую площадку, купили нам ещё вина и в целости и сохранности привезли в лагерь.

А люди вокруг и вправду интересные. Их много, они разнообразные и, как водится, малосовместимые меж собой в иной, условно мирной жизни. Хотя большей частью обитатели лагеря волонтёров показаны не в общении друг с другом или в совместной работе, но в плане описательном. В этом тоже есть определённая и правильная деликатность. В сущности, все же трудились, делали одно и то же дело. В меру, кто как умел. По три-четыре строчки о каждом, а получается рельефный портрет. Кажется, так умели и любили делать американские писатели середины двадцатого века.

Красавец Тёма узнавался издалека по неизменной арафатке на шее, голому торсу и чёрным очкам. Именно он умудрился создать в полевых условиях чайный клуб. На газовой горелке кипятилась вода, заваривался пуэр с какими-то травами, каждому выдавалась чашечка или пластиковый стаканчик. Ради этого священнодейства Тёма даже отрывался от любимого «Твиттера». Как правило, содержимое стаканчиков и чашечек быстро подменялось алкоголем со стороны гостей. Ещё приносилась гитара и звучала до самого утра.

Спать мы отправлялись зачастую уже на рассвете. А после восхода резко начиналась жара, будившая обитателей лагеря лучше любого будильника.

<…>

— Он и на Оккупайабае умудрялся всех поить чаем, — сказала мне позже Настя Топор. — Никуда не страшно ехать, если там Тёма, потому что тебя уже наверняка ждут горячий чай и уют.

Хрупкая 18-летняя Настя получила своё прозвище из-за того, что с первых дней наравне с мужиками разбирала завалы и таскала трупы.

— Так мчсники же не пускали туда, где могли быть трупы? Как же ты их таскала? — недоумеваю я.

— Как, как… Завал чистишь, а там «цветочек». Ну и вытаскиваешь.

О размерах «букета» Настя умалчивала.

Кроме прозвища, она была знаменита ещё тем, что участвовала во всех «Стратегиях-31», из-за чего неоднократно задерживалась милицией, а за время крымской эпопеи умудрилась потерять паспорт, телефон, компьютер и даже палатку. Правда, в конце концов добрые люди отыскали ей всё, кроме телефона.

Ещё была Аида — утончённая городская модница, в числе первых приехавшая на это, тогда ещё пустынное, поле с автобусом гуманитарки. Прямиком из клуба «Zavtra» под проливной дождь.

Приходила приземистая, коротко стриженная блондинка Наташа — начальница отделившегося лагеря. Уносила в палатку уснувшего в пластиковом кресле десятилетнего сына (тоже работавшего в лагере), потом возвращалась и долго сидела с нами. Рассказывала пошлые истории с непосредственностью и трогательностью маленькой девочки, пила больше всех, говорила матом. Но всем было смешно и хорошо, всем хотелось её обнять и погладить по голове.

Время от времени приходил Олег, у которого на бэйдже было зачёркнуто слово *«волонтёр»* и приписано *«доброволец»*. После мне много раз доводилось видеть такие исправления у наших ребят.

Вот в таких декорациях и с такими действующими лицами разворачивается фабула книги. А в чём, кстати, состоит эта фабула? В общем-то, и лишённая сюжета повесть оказалась бы явлением важным: про Крымск-то больше ведь никто и не написал художественной прозы. Собственно, актуальность темы и убедительная имитация репортажного стиля Дарью Верясову чуть подвели. Не как автора, но как потенциального лауреата. Два критика, состоявших в жюри премии, куда «Муляка» была выдвинута, не сговариваясь, высказались в том духе, что произведение хорошее, но это не художественная проза, а очерк. Ну что сказать? Невнимательно читали, стало быть.

Это, безусловно, проза, да и многослойная. С какого-то момента на первый план выходит тема любви и прочих отношений. Вообще — ожидаемо. А в условиях, когда на десять ребят, по статистике, двое девчонок, то барышни должны б и радоваться. Но всё непросто:

> …меня пять раз звали замуж и пятьсот — в палатку. Но чувство самосохранения подсказывало: «Ни-ни! Дашь одному, от остальных не отобьёшься», — и я развивала чувство юмора.

Вроде бы мотивация ясная, но тут надо обратить внимание на ещё одну особенность авторского стиля. Иногда, весьма нечасто, Верясова пишет, совершенно однозначно передавая мысли и чувства своей героини. Чаще даже не чувства, но ощущения:

> Я просыпалась и видела, как ползёт муравей, — и была счастлива, что он ползёт.

Однако гораздо чаще автор использует другую тактику. Скажем, одним из центральных эпизодов книги стал довольно неприметный на весьма бурном фоне момент спасения застрявшего в рухнувшем доме котёнка. До котёнка этого никак добраться не могут, рядом сидит кошка, мяучит трагически. А потом оказывается: котёнок-то вовсе даже не её. И вот на ровном месте приходит надлом, ощущение бессмысленности всего происходящего, и труда собственного в том числе. Потом котика спасли, но осадок остался, как говорится в не очень смешном анекдоте. Такой способ передачи радикальных внутренних изменений через малозначимые, казалось бы, внешние события тоже произрастает из середины двадцатого века, от экзистенциалистов. И, при всей противоположности стиля Дарьи Верясовой этому направлению, в её прозе этот метод работает.

Так вот: удивительная целомудренность героини в условиях обилия и разнообразия мальчиков имеет, похоже, более глубокие причины, чем те, что изложены в лапидарной и грубоватой реплике, процитированной выше. Прежде всего, тут дело в дружбе с Лоттой, во взаимности этой дружбы. Всегда ж отношения с противоположным полом влияют на тесноту общения между собой — приходится выбирать. Вот девочки и выбрали. Повторю: в тексте ни этого выбора, ни каких-либо «ах!»-чувств нет. Есть забавные моменты ритуализации, вроде обращения подруг на «вы». Ну славно же — а что такого? Шла б речь о мужской дружбе, они б, наверное, друг друга спасли. Тут же выбран вот такой минус-приём почти без приёма:

> — Лотта, — говорю я нетрезвым голосом, прежде чем провалиться в темноту, — а правда, мы — хорошие люди?
> — Засыпайте… — смеётся Лотта и гладит меня по голове.

Мы живём в мире всё более изумительном. В точном значении этого слова. Так вот: в этом изумительном мире немедля поползли слухи о связи Лотты и Даши. «Муляке» даже прочили статус культовой среди меньшинств книги. Впрочем, может, это и как раз доказательство того, что мир остаётся прежним: у нас всё ещё не умеют отличать художественное произведение от репортажа, женская дружба проходит по разряду сказок, а сплетни растекаются в темпе селевого потока, смывающего Крымск. Другое грустно: очень мало кто разглядел тонкого и умного автора Дарью Верясову, автора, умеющего за довольно занимательной фактурой повести разместить важные, внятные и хорошо структурированные мысли.

Но те, кто прозаика разглядел, тоже печалятся. Не раз слышал мысль, что в нормальной стране Верясова была б уже знаменитым писателем. Согласен, кстати. Под «нормальной страной» подразумевать будем, конечно, Америку. Не современную нам, состоящую из толерантности и крылатой демократии, а небесную Америку, из книжки «Регтайм» Э. Л. Доктороу, только ещё чуть лучше. Впрочем, и в реальной-то Америке вполне себе процветает интеллектуальная коммерческая проза в диапазоне от «Бойцовского клуба» (полюс, скорее, отрицательный) до «Поколения X» Дагласа Коупленда — книжки, собственно, это поколение и создавшей.

Увы, средь наших берёзок коммерческой прозой называют нечто, к чему понятие «проза» применимо лишь в значении «не стихи». Грустно это. Пишут-то сейчас хорошо и немало. И пишут люди интересные. Вот примерно об этих людях и написана следующая повесть Верясовой, «Похмелье». Вернее — начало этой повести. Сперва даже кажется, будто ничего и не произошло. Девушка вернулась из Крымска и погрузилась в обычную жизнь студентки творческого вуза. То, что лирическая героиня (вновь прибегнем к этой терминологической уловке) именно одна и та же, очевидно хотя б из обсуждения в тексте новой повести книги «Муляка».

Словом, жизнь продолжается. И продолжается абсолютно прежним, сообразным избытку энергии и креатива способом. Вот фрагмент из «Муляки»:

> — Что, — спросил, — встать не можешь?
> Я покачала головой.
> — Может, похмелиться?
> Я кивнула.
> Андрюха присел, поднял меня на руки и понёс к штабу — похмелять.
> В штабе мне налили стаканчик коньяка и отправили завтракать.

А так дело обстоит в мирной обстановке самого начала зимы в общаге Литературного института. Кажется, переменились лишь напитки, да и то не сильно:

> Здесь прошёл бой: кто-то укладывал меня спать, а я сопротивлялась. Следы вели к двери, возле которой лежали вчерашние ботинки на высоком каблуке. Одном высоком каблуке. На месте второго торчал короткий штырёк.

Нет, это я не про стилистическое единообразие, это я про неизменность стиля жизни. В плане стиля прозаик Верясова как раз очень интересна. Нельзя сказать, что её книги легко опознать с одного предложения, но она такой задачи и не ставит. Хотя встречаются очень запоминающиеся характеристики внешности, состояний или направленности душевных движений. Например:

> В странных своих очках он походил на крупную и прилично одетую стрекозу.

Или:

> Сегодняшний день мог начаться для меня в Уругвае или Выборге — и тут бы не было ничего удивительного.

Или:

> Я засмеялась и от этого заплакала.

Последняя фраза — вообще наиболее ёмкая характеристика героини обеих повестей. Но вообще Верясова подобными ёмкими формулировками не злоупотребляет. Динамика её прозы обеспечивается иным. В частности — соответствием темпа высказывания темпу происходящего. А рефлексии убраны в глубь высказывания, они как бы фоном идут. Или вообще отсутствуют:

> — Ты отобрала у этого парня шарфик и не отдавала. Это уже когда к метро шли всей толпой. Вы с ним играли в догоняшки, носились, как две лошади. Он хотел вернуть шарфик, а ты требовала, чтоб взамен он прилюдно разделся.
> — Догола?
> — Ага.
> — А он?
> — Разделся.

Говорю же: быт нынешней писательской молодёжи и не совсем молодёжи описан душевно. Тот же случай, что и с Мулякой, хоть и на абсолютно ином материале: сама по себе, лишённая явного сюжета, повесть «Похмелье» уже б заслуживала внимания. Изнанка писательской жизни всегда ж интересна. Если, понятное дело, речь идёт о писателях заметных. Ну так у них впереди ещё время есть. Вернее, у нас. Да, автор этой рецензии тоже попал в объектив. Собственно, о себе отрывок и приведу. Прототипы остальных героев (это слово очень хочется взять в кавычки) книги тоже вполне узнаваемы: вдруг обидятся ещё? А мне так про себя весьма понравилось:

> С первого дня нашего знакомства он утверждал, что я не только похожа на ежа, но даже и фамилия моя рифмуется с этим животным. На резонные высказывания типа «„Хомяков“ и „забор“ — это тоже рифма» он обижался и обещал больше со мной не дружить. Но всё равно дружил и иначе чем ежом не называл.
> <…>
> — Неужели ты ревнуешь? — радостно спрашиваю я.
> — Конечно, нет, — фыркает Олег. — Мне Хомякова жалко.
> — Дался тебе Хомяков! С ним весело. Вот в прошлую субботу мы, к примеру, катались кубарем с откоса. Знаешь мост возле Киевского вокзала?
> Правым глазом он выжидающе смотрит на меня, левым осматривает бесконечность, и мне опять кажется, что за нами кто-то следит.
> — А под мостом — крутой травяной откос, по нему можно спуститься на трассу и набережную. Вот с него мы и катались, как два бочонка. Сначала Хомяков, потом я. Это опасно, там реально вылететь на трассу.
> Олег окидывает меня скептическим взглядом:
> — Судя по всему, ты выжила.
> — Я под конец испугалась, начала цепляться за траву, а она обрывалась. А потом оказалось, что внизу горка становится пологой, сверху этого не видно, вот тут-то я и затормозила. А потом мы купили коньяка и орехов, сидели на пустыре, там возле моста здоровский есть, огороженный. Болтали о всякой всячине… Правда, на следующий день он этого не вспомнил, но с кем не бывает?
> — Как плодотворно вы проводите время! — восклицает Олег.
> И я с удовольствием вижу, что он всё-таки ревнует.

Вот, собственно, и прозвучало это слово. Слово, определившее сюжет повести. Ревность. Барышня попала в дурацкую, но очень распространённую ситуацию. «Похмелье» — это своего рода фильм «Осенний марафон», показанный глазами Аллы, героини Марины Неёловой. И время года подходящее, чуть более холодное, нежели в фильме, и стиль поведения тоже безнадёжно-сходный:

> …начиналась зима, я была в лёгкой курточке, короткой юбке и осенних ботинках — страх замёрзнуть был меньше страха не понравиться.

Да ещё и, в отличие от Аллочки, жилья своего нормального нет. В общагу же не пригласишь. Вернее, пригласить-то можно, но он не пойдёт. Так и бродят такие несчастные рыбки под дождём и мокрым снегом:

> Гулять с Олегом — значит, пить. Осенью пьют все, и я тоже. Для вида помялась, но согласилась. Мы не виделись всё лето, и нам есть о чём поговорить: однажды весной он вдруг позвонил, обещал развестись, звал замуж, а потом делал вид, что был пьян и ничего не помнит. Я каждый день ждала его звонка, напоминать о себе лишний раз считала нечестным, поскольку не хотела на него давить,

> и спустя три месяца была готова на что угодно, лишь бы закончилась эта мука.

По-китайски слово «ревность» передаётся выражением «пить уксус». Вот и пьют. Повесть составлена из трёх бутылок, так автор назвала главы. Да, подразумевается не уксус, конечно, но вот так… И снова отметим удачную композицию книги: по мере того, как девушка со своим несвободным возлюбленным всё сильнее пьянеют и всё больше мёрзнут, воспоминания становятся светлее. Абсолютно кинематографический приём. Мысль девушки уходит далеко-далеко, к самому началу их, выражаясь нынешним гнусноватым стилем, «отношений»:

> Африкан махнул рукой в сторону горы. Из-за неё неторопливо выползало солнце. Кое-как, ленясь, оно вытащило половину своего тела, а после сделало рывок и очутилось на небе целиком.

Опять-таки нечастый пример красивости в прозе Верясовой. Обычно всё куда жёстче. У неё ведь за богемным антуражем и за киношной оболочкой скрыт этот чеховский план: вроде и жалко людей, но чего ж они такие нелепые и зачем этакое над собою выделывают?

К счастью, «Осенний марафон», с точки зрения женщины, не бесконечен. Финал повести лишь кажется открытым, на деле там всё ясно: отношения завершены. Да, в хорошей прозе сюжет—дело третье, это общеизвестный факт. Но умение внятно завершить повествование—это ведь тоже признак мастерства. Особенно вот так завершить, вне прямого высказывания, с помощью яркого образа:

> Эскалатор едет вниз. Запыхавшаяся собака понимает это не сразу. Она разворачивается, садится на ступеньку и воет. Так, воя, доезжает до низа, сходит на ровный пол и требовательно смотрит на меня. Морда её выражает желание цапнуть, и я, сделав безразличное лицо, нарочито медленно направляюсь к правому эскалатору—он едет вверх. Через несколько секунд мимо меня пробегает дворняга. Она радостно лает.

Вот так. Вверх по лестнице, ведущей вверх. Главное—не оглядываться. Снова отметим хорошую амбивалентность стиля: сквозь отчётливо авторскую, принадлежащую уже очевидно состоявшемуся прозаику Дарье Верясовой прозу проглядывает высказывание, характерное, как мне кажется, для Юрия Трифонова. Он вообще не случайный гость в этой прозе. Как и некоторые другие представители его поколения.

Но вот ещё отчётливей влияние тех, кого принято называть шестидесятниками, в стихах Дарьи Верясовой. Удивительно, да ведь? Ещё несколько лет назад казался очевидным факт: продолжать поэтику этого поколения незачем и некуда. В конце концов, они сами сказали очень много и занялись самоповторами задолго до физической старости. Едва ли не единственным удачным примером развития этого стиля был Дмитрий Быков. Да и его состоятельность была для многих неочевидной. Но вот как-то всё меняется.

Опять-таки: в поэзии, как и в прозе, Верясова вполне самостоятельна, она никому не подражает, и, говоря о влияниях, я имею в виду сугубо стилистическую близость к упомянутой генерации поэтов. Но свидетельств этой близости довольно много. От склонности к повествовательному стилю до милого кокетства вроде:

> Сестра вырастала красоткой,
> Я—дурочкой вырастала.

Но ни кокетство это, ни, скажем, некоторая декларативность, ни отчётливая и словно бы принципиальная обращённость к детской оптике поэтике Дарьи, кажется, не вредят. В конце концов, у автора этого почти всё впереди, и оттого такая вот целеустремлённая, летящая манера письма вполне совпадает с высказываемым. Особенно неожиданно такой стиль выглядит на фоне тотальной анемичности или, напротив, энергичной озлобленности большинства авторов поколения нынешних тридцатилетних или чуть младше поэтов.

Но, при почти абсолютной приязни к этим стихам, рискну сделать небольшое замечание, относящееся, тем не менее, к значительной части текстов. Когда Верясова пишет прозу, мне кажется, она *твёрдо верует в начала и концы*. В данном контексте—приступая к написанию, скажем, повести, отчётливо представляет себе исходный и финальный её моменты, следуя при этом внутри повествования за логикой событий, а не помещая фабулу в предустановленные рамки. В прозе такой подход даёт значительную свободу, о чём выше уже было сказано. Однако в стихах уровень этой самой свободы порой оказывается чуть недостаточным. Предустановленность финала мешает. Сейчас попытаюсь объяснить. Вот стихотворение без первых двух строк и без итогового катрена:

> <…>
> над миром летит Гагарин,
> распластанный, будто ястреб,
>
> теряя болты и гайки,
> дымный чертя след.
> А мама зовётся Галкой,
> ей одиннадцать лет.
>
> Серым туманом испачканы
> апрельские небеса.
> У мамы тонкие пальчики
> и чёлочка на глаза.

Мама растит косы
и сочинения пишет,
а мир, по-детски притихший,
уставился в чёрный космос.
<…>

Отлично ведь, да? Но в полном виде этот текст, на мой вкус, чуть проигрывает. Нет, финальная закольцовка через сны мамы и дочери делает его очень защищённым, со вкусом построенным, придраться тут не к чему. Но, может быть, попытка рискнуть, сделать финал совершенно непредсказуемым привела б к ещё более интересному результату? Хотя разве тут предскажешь? Это, понятно, гипотеза.

Вот как-то так. Появился в нашей литературе интересный автор. Как это часто бывает, появился вдруг и сразу. Но это только кажется. Дарья год назад окончила Литературный институт. Вот тут хочется сказать добрые слова и вузу этому в частности, и особенно — своевременности обучения там. Очень специфическое это заведение. Туда надо приходить не рано и не поздно, а вовремя. Иначе сколько мы знаем выпускников, оставивших литературу или начавших писать нечто очень невнятное? А вот при открытости к обучению и осознанном выборе результат оказывается весьма даже неплохим. Дарья Верясова очень хорошо представляет дальнейшее. Может, и неосознанно пока:

Я знаю: мне придётся онеметь,
Когда себя, как книгу, пролистаю,
Но всякой рыбе Бог раскроет рот,
Но над землёю музыка взойдёт —
Серебряная, жгучая, простая!

Когда готов к будущему, так и нестрашно совсем. Ну, почти не страшно.

Д*и*Н дети

Синяя тетрадь

Лиза Багалей, 15 лет

Развяжи узелки

меня тянет далеко
ввысь,
я играю всю свою
жизнь,
я не ангел, слышишь меня?
от земли в облака
рвётся строчек душа.
догоняй,
ветер не отпуская,
догоняй,
в небо взлетая…
я-то знаю, как трудно встать,
падать и снова взлетать,
но на волю, от земли в облака,
рвётся строчек душа.
развяжи узелки —
станет легче дышать.
догоняй,
ветер не отпуская,
догоняй,
выше в небо взлетая…

Жизни страница

Спрячу губы за чужой помадой,
На глаза надену тёмные очки
И пойду туда, куда не надо,
Чтобы не сломаться от тоски.
Я прощу когда-нибудь твой голос,
Я прощу трусливые шаги.
Не с тобой — сама с собой боролась.
Хватит! Всё! Остановись — не лги.
Прошлое уже не повторится.
Больше не сбивай меня с пути.
Жизни перевёрнута страница.
Если ты не любишь — отпусти.

Я пишу, а на душе печально.
Жизнь свою устала сочинять.
Всё забуду, всё начну сначала,
И тебе не одолеть меня.

стр. 226
Арбатская Наталья Александровна
Красноярск, 1971 г. р.

Родилась в Красноярске. Мастер спорта СССР по шахматам. Автор сборников «Громко со Вселенной» (2005), «И в шутку, и всерьёз» (2007), «Уголёк» (2008), «Непознанная планета» (2010). Член коллектива авторов «Нового Енисейского литератора». С 2006 года посещает литобъединение «Диалог». Победительница поэтического конкурса «Король поэтов» (2010).

стр. 31
Астраханцев Александр Иванович
Красноярск, 1938 г. р.

Родился в деревне Белоярка Мошковского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Более 20 лет работал в строительстве в Красноярске. Публиковался в различных журналах и сборниках («Наш современник», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «День и ночь», «Дети Ра» и др.). Автор девяти книг прозы. Последние книги — «Антимужчина» (Москва, «Голос-пресс», 2011), «Портреты. Красноярск, XX век» (Красноярск, «КАСС», 2011). Член Союза российских писателей. Председатель правления Красноярского регионального отделения Литературного фонда РФ. Зам. главного редактора журнала «День и ночь».

стр. 8
Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. Окончил филологический факультет Пермского госуниверситета. Автор четырёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой», «Я скоро из облака выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и ряда литературных премий — имени Павла Бажова (2008), имени Алексея Решетова (2013) и общенациональной премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность». Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х) и «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина»), «Иерусалимский журнал» (Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антология русского лиризма. XX век», «Молитвы русских поэтов». Награждён орденом-знаком Велимира «Крест поэта», орденом Достоевского I степени. В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр. 133
Бергин Борис
Донецк, Украина

Родился в Ростове-на-Дону, учился в Ростовском государственном университете (ныне ЮФУ) на физическом факультете. В студенческие годы подборки стихов печатались в ростовской газете «Комсомолец». Сменил много профессий. Пишет статьи о политике и литературе.

стр. 156
Берендеев Кирилл Николаевич
Москва, 1974 г. р.

Окончил МИРЭА. В 1992 году выступал на зеленоградском радио, читал стихи в качестве писателя. Поэт, писатель, публицист. Публиковался в журналах «Континент», «Слово», «Московский вестник», «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Искатель», «Мир фантастики», «Человек и закон», «Машины и механизмы», «Север», «Знание — сила», «Смена», «Урал» и др. Печатался в сборниках издательств «Альфа-книга», «Шико», «Эксмо», «Северо-Запад» и др. Ряд рассказов переведён на украинский язык. В декабре 2009 года в издательском доме «Флюид» вышел фантастический роман автора «Осколки», в 2014 году в минском издательстве «Букмастер» — роман «Архитектор». В настоящее время — главный редактор альманаха «Астра Нова» (Санкт-Петербург), редактор и составитель журнала «Edita» (Гельзенкирхен, Германия).

стр. 135
Брель Сергей Валентинович
Москва, 1970 г. р.

Родился в Москве. Окончил Московское педагогическое училище № 1 имени К. Д. Ушинского, затем Московский открытый педагогический университет имени М. А. Шолохова по специальности «учитель русского языка и литературы». Кандидат

филологических наук. В 2009 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров в Москве (мастерская Л. Голубкиной и О. Дормана, специальность — «драматургия игрового и неигрового кино»). Автор двух поэтических сборников: «Мир» и «Свой век». В 2007 году с С. Арутюновым и М. Лаврентьевым основал литературную группу «Дети Ампира», выступления которой проходили в Москве. Преподаёт русский язык, литературу, мировую художественную культуру, ведёт открытый семинар для школьников и студентов «Современная драматургия и основы сценарного мастерства». Член Союза писателей XXI века.

стр. 151
Валеев Марат Хасанович
Красноярск, 1951 г. р.

Родился в городе Краснотурьинске Свердловской области. Рос и учился в селе Пятерыжск на Иртыше, в целинном Казахстане, куда попал вместе с родителями ещё в дошкольном возрасте. Окончил школу, после работал бетонщиком на заводе ЖБИ, призвался в СА. Служил в стройбате в 1969–1971 годах, строил военные объекты в Пермской, Костромской, Саратовской областях. Вернулся в Казахстан, работал сварщиком в тракторной бригаде. В профессиональной журналистике с 1972 года. Работал в газетах Павлодарской области «Ленинское знамя» (Железинка), «Вперёд» (Экибастуз), «Звезда Прииртышья» (Павлодар). Окончил факультет журналистики КазГУ (Алма-Ата). В 1989 году был приглашён в газету «Советская Эвенкия» на севере Красноярского края, где работал корреспондентом, редактором. Без отрыва от основной работы, а порой и прямо на ней, написал и опубликовал несколько сотен иронических, юмористических рассказов и миниатюр, фельетонов. Дипломант ряда творческих конкурсов, серебряный лауреат национального литературного конкурса «Золотое перо Руси-2008» в номинации «Юмор». Автор нескольких сборников. Член Союза российских писателей.

стр. 8
Васильева Лариса Николаевна
Москва, 1935 г. р.

Родилась в Харькове, в семье инженера Николая Алексеевича Кучеренко, одного из создателей серий танков БТ и Т-34. Окончила филологический факультет МГУ (1958). Поэт, прозаик, публицист, драматург, переводчик. Стихи пишет с детства. Печатается с 1957 года. Автор многих мемуарных, публицистических, литературно-критических работ и более 20 поэтических сборников. В 1993 году вышла её знаменитая документальная книга «Кремлёвские жёны», затем художественно-публицистическое исследование «Дети Кремля». Президент Международной лиги писательниц. Член Комиссии по вопросам женщин, семьи и демографии при Президенте Российской Федерации. Президент информационного содружества «Атлантида». Профессор Ноттингенского университета, академик Академии российской словесности (1996).Удостоена Большой Бунинской премии в номинации «Поэзия» за сборники стихов «Холм» и «Четыре женщины в окне». Лауреат премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина. Лауреат всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» за издание «Жёны русской короны» в двух книгах. Награждена орденами Дружбы народов (1984). «Знак Почёта» (дважды). Премия Московского комсомола (1967). Основатель единственного в мире музейно-мемориального комплекса «История танка Т-34», посвящённого легендарной боевой машине XX века.

стр. 90
Великжанин Павел Александрович
Волгоград, 1985 г. р.

Родился в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Публиковался в коллективных сборниках местных поэтов и писателей, а также региональных газетах и журналах.

стр. 124
Газизова Лилия
Казань

Поэт. Родилась в Казани. Окончила Казанский медицинский институт (1990) и Литературный институт имени А. М. Горького (1996). Шесть лет проработала детским врачом. Публиковалась в «Литературной газете», «Литературной России», в журналах «Юность», «Дети Ра», «День и ночь», «Даугава», «Дружба», «Простор», «Татарстан», «Идель», «Казань» и др. Автор четырёх стихотворных книг. Лауреат литературной премии имени Г. Р. Державина (2003).

стр. 164
Гайдукова Людмила Сергеевна
Зеленогорск, 1953 г. р.

Родилась в Улан-Удэ. Окончила Дальневосточный государственный университет по специальности «Астрономо-геодезия». Работает директором муниципального учреждения «Центр учёта городских земель». Стихи публиковались в периодической печати, в поэтических сборниках «Поэтессы Енисея», «Поэзия на Енисее» и др. Поёт, аккомпанирует на гитаре.

стр. 165
Гериш Петер
Дрезден, Германия, 1942 г. р.

Родился в Дрездене, окончил институт немецкого языка, литературы и этики, работает соиздателем журнала литературы и искусства «Ostragehege». Является автором многочисленных публикаций в Германии и Польше. Переводит с польского, обладатель премий, в том числе ордена Свободного государства Саксонии. Живёт в Дрездене и Львовек Шляску в Польше, где назван почётным гражданином.

стр. 151 **Григоров Амирам**
Москва, 1969 г. р.

Родился в Баку. Окончил физический факультет Бакинского государственного университета (1991) и медико-биологический факультет Российского государственного медицинского университета (2002). Учился в Литературном институте имени А. М. Горького. Преподаёт в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Активно публикует в сети стихи и рассказы, ведёт блог в «Живом Журнале».

стр. 165 **Елизарова Наталия Михайловна**
Москва

Родилась в городе Кашире Московской области. Член Союза писателей Москвы. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор сборника «Осколок сна» (2006) и публикаций в периодике. Участник международных фестивалей.

стр. 126 **Емельяненко Александр Вячеславович**
Москва, 1975 г. р.

Родился в Бугульме. Детство прошло в Челябинске. Окончил физический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник. Автор книг «Песнь соловья» (2001) и «Уровень жизни» (2015). Стихи публиковались в многочисленных журналах и сборниках. Староста литературной студии МГУ «Луч» (руководитель — Игорь Волгин).

стр. 142 **Ерёмин Николай Николаевич**
Красноярск, 1943 г. р.

Родился в городе Свободном Амурской области. Окончил Красноярский медицинский институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Автор ряда поэтических сборников и книг прозы «Мифы про Абаканск», «Компромат», «Харакири», «Наука выживания», «Комната счастья». Лауреат премии «Хинган». Победитель конкурса «День поэзии Литературного института» (2011) в номинации «Классическая лира». Дипломант конкурса «Песенное слово» имени Н. А. Некрасова. Публиковался в журналах «День и ночь», «Новый Енисейский литератор», «Истоки», «Бийский вестник», «Вертикаль» (Нижний Новгород), «Огни Кузбасса», «Провинциальный интеллигент», «Интеллигент» (Санкт-Петербург), «Русский берег» (Благовещенск), «Флорида» (Майами), «Лексикон» (Чикаго) и др. Член Союза писателей СССР, Союза российских писателей.

стр. 192 **Зуев Денис**
Красноярск, 1978 г. р.

Родился в Красноярске. В 1998 году совершил своё первое длительное путешествие в Иран и Среднюю Азию, после чего совершил несколько путешествий на велосипеде по России (Туве), Южной Африке, Норвегии и Шотландии и написал трэвелоги о своих путешествиях. Опубликовал отчёт о своём путешествии по Намибии в журнале «Нэшнл Джиографик Трэвелер». Проводил научные исследования в Турции, Португалии, Аргентине и Китае. В данный момент работает в центре изучения мобильности, Ланкастерский университет.

стр. 159 **Кобзев Анатолий Николаевич**
Красноярск, 1959 г. р.

Родился в Воронеже. Около 30 лет работает массажистом в одной из красноярских муниципальных клиник. Начиная с 1982 года, подборки стихов появлялись во многих красноярских газетах; публиковались в журналах «День и ночь», «Наша жизнь», в альманахе «Новый Енисейский литератор». Соавтор множества коллективных поэтических сборников. В 1998 году вышла первая авторская книга «Прощёный день», в 2004 году — второй сборник «Право на ошибку» (по итогам конкурса «Король поэтов»), третий — «Причастен» — в 2013 году. Победитель II Всероссийского конкурса незрячих поэтов (2005). Член Союза писателей России с 2006 года.

стр. 123 **Кутанина Ольга**
Ярославль

Родилась в Москве. Получила два высших экономических образования — в России и Германии. Изучала историю русской философии в МГУ имени М. В. Ломоносова. Студентка 2 курса ВЛК Литературного института имени А. М. Горького (семинар С. С. Арутюнова). Автор сборника стихов «В пути» (2014).

стр. 137 **Ломтев Александр Алексеевич**
Саров, 1956 г. р.

Родился в селе Пузо (ныне Суворово) Нижегородской области. После окончания школы работал инструктором служебного собаководства, киномехаником, мастером по сложной бытовой технике, электромонтёром. Окончил Арзамасский педагогический институт (факультет русского языка и литературы). Основал несколько газет: «Саров», «Саровская пустынь», «Знай наших». Являясь их учредителем и главным редактором, как журналист, специализирующийся на «горячих точках», побывал в Чечне, Приднестровье, Абхазии, Косове, Боснийской Сербии, Южной Осетии; во время кризиса был у стен Белого дома, позже освещал происшествие в «Норд-осте». Публиковался во многих федеральных СМИ России, в том числе в литературных журналах «Роман-журнал XXI век», «Сибирские огни», «Север», «Южная звезда», «Дальний Восток» и др. Автор книг «Путешествие с ангелом», «Ундервуд». Повесть

«Ичкериада» стала победителем конкурса «Имперская культура» Союза писателей России. Лауреат нескольких журналистских и литературных премий. Председатель общероссийской медийной организации «Клуб главных редакторов региональных СМИ России». Член правления Нижегородского отделения Союза писателей России.

стр. 161 Лысенко Дарья Ивановна
Красноярск, 1988 г. р.

Родилась в городе Абаза Республики Хакасия. Окончила институт филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета. Работает в природоохранной сфере. Дипломант I Всероссийского конкурса юных поэтов «Новые имена России. Моя мечта — моя Россия». Удостоена диплома I степени имени М. Е. Кильчичакова в рамках республиканской программы «Одарённые дети Хакасии». Вице-королева поэтического состязания «Король поэтов» (2006). Победительница межрегионального литературного конкурса на соискание премии имени И. Рождественского в номинации «Поэтическая библиотека Времени» (2015). Дипломантка II международного литературного конкурса «Верлибр» (2015). Финалистка международного литературного фестиваля «Славянская лира» (2015). Второе место международного литературного конкурса «Ты говори со мной…» (2015). Публиковалась в ряде периодических изданий, журнале «Сельская новь», альманахе «Часовенка», коллективных сборниках. Автор книги «Поймай мою душу» (2008).

стр. 224 Мель (Хармац) Светлана Леонгардовна
Железногорск, 1960 г. р.

Родилась в 1960 году в Красноярске-26 (ныне — Железногорск). Окончила механико-математический факультет Пермского государственного университета. Работала управляющим машин и систем в пермском НИИ, затем вернулась домой, работает программистом. С начала 80-х годов выступала со своими песнями на бардовских фестивалях в Перми, Ижевске, Ульяновске, Красноярске. Первые стихи опубликованы в 1999 году в городской газете, в сборнике литературного клуба «Танит» и в «Антологии поэзии закрытых городов». В 2000 году вышла книга «Блики и тени», в 2008-м — «Тот нечаянный глоток» (в кассете по итогам поэтического состязания «Король поэтов»). Публиковалась в альманахах «Поэтессы Енисея», «Новый Енисейский литератор», журнале «День и ночь».

стр. 222 Минин Евгений Аронович
Иерусалим, Израиль, 1949 г. р.

Известный поэт, пародист, организатор литературного процесса. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах. Издатель альманаха «Иерусалимские голоса», приложений к альманахам «Литературный Иерусалим», издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для шести музыкальных альбомов, выпущенных российскими студиями грамзаписи. Председатель Иерусалимского отделения СП Израиля, член Союзов писателей Израиля и Москвы, директор Международного союза литераторов и журналистов (APIA) по Израилю, литературный представитель за рубежом газеты «Информпространство» (Москва). Лауреат нескольких литературных премий. Член судейского корпуса Международной литературной премии «Серебряный стрелец» (2008, 2009, 2010).

стр. 173 Неизвестных Виталий Николаевич
Байкит, 1954 г. р.

Родился в селе Ширыштык Каратузского района Красноярского края. Окончил математический факультет Красноярского государственного университета. Работал программистом на Красноярском заводе телевизоров, служил в армии. В эвенкийский посёлок Байкит приехал в 1979 году. Работал директором станции юных техников, и. о. заведующего районом, учителем информатики в школе, тренером по шахматам в Центре детского творчества, участвовал в геологических экспедициях. Участник шахматных соревнований разного масштаба — от районных до международных. Девятикратный чемпион Эвенкийского автономного округа, четырёхкратный победитель краевых первенств сельских шахматистов, двукратный победитель краевых соревнований журналистов, победитель спартакиадных соревнований работников геологических объединений края, победитель IV Всероссийского турнира сельских шахматистов. Кандидат в мастера спорта по шахматам. Автор нескольких стихотворных сборников, книг прозы и публицистики, шахматных книг. Член Союза российских писателей.

стр. 89 Ненашев Роман Николаевич
Самара, 1976 г. р.

Родился в Самаре. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького в 2012 году (семинар Г. Н. Красникова). Публиковался в антологии писателей XXI века, антологии стихотворений выпускников, преподавателей и студентов Литературного института имени А. М. Горького «Поклонимся великим тем годам», антологии военной поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это было!..».

стр. 93 Ольхин Александр Сергеевич
Москва, 1985 г. р.

Окончил музыкальный факультет МПГУ. Впервые опубликован в журнале «Воин России» (2013). Победитель интернет-конкурса стихов издательства

«Зёрна» (2013). Лауреат международного конкурса поэзии имени Игоря Григорьева (Союз писателей Санкт-Петербурга, 2014). Финалист X международного конкурса «Союзники» (высшая лига).

стр. 228 **Пермяков Андрей**
Владимирская область, 1972 г. р.

Настоящее имя Андрей Юрьевич Увицкий; родился в Кунгуре Пермской области. Российский поэт, литературный критик, прозаик. Окончил Пермскую государственную медицинскую академию. Кандидат медицинских наук. Работает в фармацевтической промышленности. Под псевдонимом Андрей Пермяков (по девичьей фамилии матери) с 2007 года публикует стихи, прозу, критические статьи в журналах «Арион», «Воздух», «Волга», «Дети Ра», «Знамя», «Новый мир» и др., а также в ряде альманахов. Организатор различных литературных проектов в Перми и других городах России. Участник и один из основателей товарищества поэтов «Сибирский тракт». С 2008 года жил в Подмосковье. В настоящее время проживает во Владимирской области, работает в Международном биотехнологическом центре «Генериум». В 2013 году в Санкт-Петербурге вышла книга стихов «Сплошная облачность». Лауреат Григорьевской премии 2014 года.

стр. 128 **Пираев Филипп**
Казань, 1965 г. р.

Родился в Тбилиси. Окончил Грузинский институт физкультуры по специальности «тренер по шахматам». Поэт, шахматист, переводчик, художник, сотрудник Национальной библиотеки Татарстана, член редколлегии «Казанского альманаха». Публиковался в республиканских и российских изданиях. Автор сборника стихотворений «Угол взлёта».

стр. 223 **Радкевич Маргарита**
Красноярск

Родилась в городе Горячий Ключ Краснодарской области. Поэтесса, композитор. По национальности гречанка (в девичестве Афанасиади). Автор проекта компакт-диска «100 женских творческих лиц Красноярского края» (2006). Призёр краевого конкурса «Король поэтов-2004» (по итогам конкурса была издана авторская книжка «Нарисуй меня»). Дипломант краевого конкурса композиторов-песенников (2006). Автор музыкальных пьес для детей «Популярные мелодии для баяна и аккордеона» (Красноярск). Стихи печатались в периодических изданиях «Красноярская неделя», «Вечерний Красноярск», «Политехник», «Новый Енисей», «Сегодняшняя газета», «Удачный экспресс», «За Победу!», «Литературный Красноярск», в коллективных сборниках «Сатурналии», «Своей дорогой», «Поэтессы Енисея», «…И слово в сердце отзовётся…» (красноярская поэзия конца XX — начала XXI века), «День поэзии Красноярского края», «Русло», «Поэзия на Енисее», в альманахах «Часовенка», «Новый Енисейский литератор». Руководитель вокальной студии.

стр. 18 **Саввиных Марина**
(Наумова Марина Олеговна)
Красноярск, 1956 г. р.

Родилась в Красноярске. После окончания Красноярского педагогического института работала преподавателем литературы. Первая публикация — в газете «Красноярский комсомолец» (1973). С тех пор стихи, проза, эссе, критические заметки и статьи неоднократно публиковались в российских и зарубежных литературных журналах. Автор девяти изданных книг стихов, прозы, литературоведческой публицистики. Член Союза российских писателей с 1994 года. Член президиума Международного Союза писателей XXI века. Первый лауреат Фонда имени В. П. Астафьева. С 2007 года — главный редактор литературного журнала «День и ночь». Заслуженный работник культуры Красноярского края. Награждена орденом Достоевского I степени.

стр. 166 **Тенятников Сергей**
Лейпциг, Германия, 1981 г. р.

Родился в Красноярске. Обучался на инязе в КГПУ имени В. П. Астафьева. С 1999 года живёт в Германии. Выпускник Лейпцигского университета по специальностям «политолог», «историк», «филолог». Публиковался на русском и немецком языках в Германии.

стр. 205 **Тихомиров Максим**
Дивногорск, 1975 г. р.

Родился в Дивногорске Красноярского края. Окончил Красноярскую медицинскую академию. Первая публикация — в 1993 году в журнале «Пульс» (рассказ «Господь играющий»). Публиковался в сборниках издательства «Эксмо» — «Настоящая фантастика», «Дети Хедина», «А зомби здесь тихие», «Призраки и пулемёты», «Этот жестокий добрый мир», «Некроманты»; издательства «Фантаверсум» — «Квартирный вопрос», «Я + Я», «Коэффициент интеллекта»; издательства «Снежный ком» — «Фантум-2»; в альманахах «РБЖ-Азимут» и «Авторъ», в журнале Бориса Стругацкого «Полдень», в антологии «Мягкая конструкция с варёными бобами», изданной по итогам фестиваля «Роскон-2012», как победитель конкурса «Роскон-Грелка». В настоящее время работает врачом скорой помощи.

стр. 163 **Феньков Станислав Сергеевич**
Красноярск, 1973 г. р.

Окончил Сибирскую аэрокосмическую академию (ныне СибГАУ). Служил в армии. Работал токарем, фрезеровщиком, слесарем МСР, столяром,

охранником, верстальщиком-дизайнером, технологом полиграфического производства. Стихи, песни и прозу пишет с шести лет. В разное время возглавлял две рок-группы. Тогда же много путешествовал автостопом, участвовал в нескольких международных, краевых и городских музыкальных фестивалях. Автор пяти сборников стихотворений и текстов песен: «Одинокий волк» (1996), «Обнажив оскал» (1998), «Волчья молитва» (2003), «Двойная сплошная» (2010), «Ключ растворённый» (2013). Постоянный автор альманаха «Новый Енисейский литератор». Рецензент нескольких книг местных авторов. С 2002 года — предприниматель, владелец типографии «Семицвет» и одноимённого издательства.

стр. 95 **Филиппов Дмитрий Сергеевич**
Санкт-Петербург, 1982 г. р.

Окончил филологический факультет Курского университета. В 2006–2008 годах служил в армии на территории Чечни. Сотрудник студенческого отдела Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. Автор сборника прозы «Три времени одиночества».

стр. 25 **Шейхова Мариян**
(Муслимова Миясат Шейховна)
Махачкала, 1960 г. р.

Поэт, журналист, литературовед, переводчик. Родилась в селе Убра Лакского района Республики Дагестан. Трудовую биографию начинала учителем русского языка и литературы. Кандидат педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания русского языка и литературы Дагестанского государственного университета. Автор нескольких книг стихов. Лауреат республиканской литературной премии имени Р. Гамзатова, дипломант международного литературного конкурса имени Я. Корчака, номинант премии имени А. Сахарова во всероссийском конкурсе «За журналистику как поступок», победитель международного литературного конкурса «Золотая строфа». Публиковалась в «Литературной газете», журналах «Дружба народов», «Сибирские огни», «Дарьял», «День и ночь» и др. Член Союза журналистов РФ, Союза российских писателей.

стр. 3 **Щербаков Александр Илларионович**
Красноярск, 1939 г. р.

Родился в Красноярском крае, в селе Таскино, в старообрядческой крестьянской семье. Образование: история и филология, экономика и журналистика. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий, возглавлял Красноярское отделение Союза писателей России. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики, повести «Свет всю ночь», сборников рассказов «Деревянный всадник», «Лазоревая бабка», «Змеи оживают ночью», поэтических книг «Трубачи весны», «Глубинка», «Горлица», «Жалейка», «Дар любви». Печатался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Огонёк» и др. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Академик Петровской академии наук и искусств. Член Союза писателей России.

стр. 0 **Юдсон Михаил**
Тель-Авив, Израиль, 1956 г. р.

Литератор. Родился в Волгограде. Окончил педагогический институт, работал учителем математики. Автор множества критических статей и рецензий, а также романа «Лестница на шкаф». Печатался в журналах «Знамя», «Нева», «22». Помощник редактора журнала «22».

стр. 170 **Юрченко Владимир**
Красноярск, 1972 г. р.

Родился в Красноярске. Детство и юность провёл на юге края, в Краснотуранском районе. Жизнь в археологической мекке края, среди древних курганов и наскальных рисунков, определила выбор профессии. Окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева (1995). Работал учителем истории в школе, но был призван на срочную службу в Вооружённые силы. После армии получил приглашение на телевидение, где несколько лет работал телеведущим новостей телекомпании «ГТРК-Красноярск». В 2002 году решил кардинально изменить судьбу и ушёл служить в органы внутренних дел. Службу начинал оперуполномоченным в уголовном розыске. На счету десятки раскрытых преступлений, в том числе убийств. В настоящее время — заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю, подполковник. Писать фантастику начал в 2009 году. Публиковался в различных сборниках и журналах, в том числе «Полдень. XXI век», «Контр@банда» и др. Неоднократный победитель российских и международных конвентов и фестивалей фантастики.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

по прозе

Александр Астраханцев
Евгений Мамонтов

по поэзии

Сергей Кузнечихин

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

СЕКРЕТАРИАТ

Юлия Вятчина
Артём Яковлев

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков
Набережные Челны
Сергей Арутюнов
Москва
Юрий Беликов
Пермь
Вера Зубарева
Филадельфия
Анатолий Кирилин
Барнаул
Владимир Костылев
Арсеньев
Валентин Курбатов
Псков
Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург
Евгений Минин
Иерусалим
Виталий Молчанов
Оренбург
Дмитрий Мурзин
Кемерово
Миясат Муслимова
Махачкала
Александр Петрушкин
Кыштым
Лев Роднов
Ижевск
Евгений Степанов
Москва
Михаил Тарковский
Бахта
Вероника Шелленберг
Омск

В оформлении обложки использованы картины Бориса Степанова.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «День и ночь».
ИНН 246 304 2749
Расчётный счёт
4070 2810 8006 0000 0186
в Новосибирском филиале
ОАО «Банк Москвы»
в г. Новосибирске
БИК 045 004 762
Корреспондентский счёт
3010 1810 9000 00-00 0762

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru

Адрес редакции:
г. Красноярск, пр. Мира, д. 3.

Почтовый адрес:
66 00 28, г. Красноярск, а/я 11 937,
редакция журнала «День и ночь».

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 09.10.2015
Тираж: 1200 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»,
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10
эл. почта: 2007rex@mail.ru, т. 294 15 77

Борис Степанов

▲ *Старая лампа*
70 × 80 | холст, масло

◄ *Зимняя вишня*
2012 | холст, масло

Борис Степанов

Старый баркас | 60 × 70 | холст, масло

На обложке:

Вечер у реки (фрагмент) | 60 × 80 | холст, масло